web-bib.ru

БИБЛИОТЕКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

АЛЕКСЕЙ МЯСНИКОВ

*(политзэк 80-х годов)*



# МОСКОВСКИЕ ТЮРЬМЫ

***Книга первая***
***из трилогии «Лютый режим»***


SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Обыск, арест, тюрьма — такова была участь многих инакомыслящих вплоть до недавнего времени. Одни шли на спецзоны, в политлагеря, других заталкивали в камеры с уголовниками «на перевоспитание». Кто кого воспитывал — интересный вопрос, но вполне очевидно, что свершившаяся на наших глазах революция была подготовлена и выстрадана диссидентами. Кто они? За что их сажали? Как складывалась их судьба? Об этом на собственном опыте размышляет и рассказывает автор, социолог, журналист, кандидат философских наук — политзэк 80-х годов.

Помните, распевали «московских окон негасимый свет»? В камере свет не гаснет никогда. Это позволило автору многое увидеть и испытать из того, что сокрыто за тюремными стенами. И у читателя за страницами книги появляется редкая возможность войти в тот потаенный мир: посидеть в знаменитой тюрьме КГБ в Лефортово, пообщаться с надзирателями и уголовниками Матросской тишины и пересылки на Красной Пресне. Вместе с автором вы переживете всю прелесть нашего правосудия, а затем этап — в лагеря. Дай бог, чтобы это никогда и ни с кем больше не случилось, чтобы никто не страдал за свои убеждения, но пока не изжит произвол, пока существуют позорные тюрьмы — мы не вправе об этом не помнить.

Книга написана в 1985 году. Вскоре после освобождения. В ссыльных лесах, тайком, под «колпаком» (негласным надзором). И только сейчас появилась реальная надежда на публикацию. Ее объем около 20 п. л. Это первая книга из задуманной трилогии «**Лютый режим**». Далее пойдет речь о лагере, о «вольных» скитаниях изгоя — по сегодняшний день. Автор не обманет ожиданий читателя. Если, конечно, Москва-река не повернет свои воды вспять…

> Есть четыре режима существования:
> общий, усиленный, строгий, особый.
> Общий обычно называют лютым.

- Алексей Мясников
  - От автора
  - Глава 1. От обыска до ареста
    - Обыск
    - Допрос

- «Мне страшно»
- «Так нельзя мыслить»
- Чего-то я все-таки ждал
- У «Олимпийского комплекса»
- Арест

- Глава 2. Лефортово
  - Соты, наполненные страданием
  - Сокамерники
  - Володя, Женя и другие
  - Два заявления
  - Страсти-мордасти
- Глава 3. Подвожу итоги
  - Маркс родил Орвела
  - Пропавшая рукопись
  - «Экономические причины преступности»
  - Принципы бесхозяйственности
  - Бюрократизм и коррупция
  - Эгоцентризм партократии
- Глава 4. Лефортово (продолжение)
  - Изменник Дроздов
  - Непутевый и путевый
- Глава 5. Матросская тишина
  - На спецу
  - Общак
  - Главный свидетель обвинения
  - Не сами ли мы их плодим?
  - Закрытие дела
  - Дело начинается с «Поиска»
  - Конфликт с «королями»
  - Карманник Иванов
  - Адвокат
- Глава 6. Суд
  - День первый
  - День второй
  - День третий
- Глава 7. Красная Пресня
  - Осужденка
  - Первые дни на «Пресне»
  - Зэчки
  - Загадочный опер и грозный Спартак
  - Меж двух огней
  - Разборка
  - Объявляю голодовку
  - Надо найти Наркошу

- Драки
- Глава 8. По второму кругу
  - Малолетки
  - Протокол и первое свидание
  - Зэки и политзэки
  - Терновский
  - Презумпция виновности
  - Снова Пресня
  - Без вины виноватые
  - Наш Сингапур
  - Прощание с городом
  - P. S
  - Рецензия или донос?

# Алексей Мясников
# МОСКОВСКИЕ ТЮРЬМЫ
# (Свидетельство политзэка 80-х годов)

# От автора

Эта книга написана потому, что она не должна быть написана. То, о чем рассказывает автор, не соответствует действительности. Это клевета на советский государственный строй, которая карается бессрочной конфискацией рукописи и долгосрочной изоляцией автора. Такова точка зрения власти, автор по собственному опыту знает, что переубедить ее невозможно. Может ли быть прав отдельный человек, способный, как известно, ошибаться, и неправы такие солидные органы, как прокуратура и суд, которые почти не ошибаются, а также КГБ, который, как всем хорошо известно, не ошибается никогда? Такое в голове не укладывается. Именно эти органы однажды признали автора злостным клеветником. С тех пор какая ему вера? Кто его будет слушать?

Три года «в местах не столь отдаленных» автору культурно объясняли, что он не должен больше писать. По окончании срока там выдается своего рода аттестат зрелости — справка об освобождении. Автор получил ее и не собирается сидеть еще десять лет. Он не должен писать.

Того же мнения близкие автора и некоторые друзья — диссиденты. Близкие при очередной облаве жгут рукописи. Друзья-диссиденты опасаются, что я запугаю читателя. Еще никто не напугался, а они уже опасаются. Нужна, сказали, сверхзадача. В переводе на русский это означает писать о страшном, чтобы не было страшно. Для меня это все равно, что писать о веселом, чтобы не было весело, или чтоб черное не было черным. Не вижу смысла и не умею этого делать. Значит, не должен писать.

И потом когда, где? Полтора года на свободе и не вижу свободы, разве что не за колючей проволокой. Проблема с пропиской, поиски жилья, работы, халтуры, чтоб расплатиться с долгами, постоянные переезды с места на место. И сотрудник не дремлет; глаз и ухо всегда за спиной — что пишу, что говорю? Прячусь. Для отвода глаз конспектирую Библию, Однако, предупреждает начальник: не пишите, подозрения возникают. Негласный надзор. Некогда, негде, нельзя писать.

И для кого? Только два человека просили, чтоб, когда напишу, подарил экземпляр: первый — следователь Кудрявцев, второй — лагерный опер, капитан Романчук. С удовольствием, но где взять экземпляры? Одна надежда: напечатать на Западе. А как туда? Известная правозащитница вырвала из записной книжки листок: «Даже такой бумажки сейчас нельзя передать». Бесполезно писать.

Да и в этом ли только дело? Главное-то, главное; кто возьмется печатать, нужно ли кому? Наспех писал, воровато и в страхе, как попало, перо часто юзом, мыслишки в ком. Сожгли первые тетради — давай клепать заново. Видели лицо человека с искусственной кожей? Самого тошнит, кто другой захочет давиться косноязычной баландой?

И все-таки не мог не писать. Отчасти из-за особенности натуры; писание для меня — форма мышления. Только тогда чувствую себя существом мыслящим, homo sapiens, когда пишу. Надо же было осмыслить что произошло со мной, что происходит в благословенной стране? Кроме того, по образованию, основной профессии и, надеюсь, призванию я исследователь. Моя жизнь состоит из тем, которые я разрабатываю, а потом пишу статьи и отчеты.

Все шло благополучно до той поры, пока я не изумился, до какой степени наша Конституция не соответствует нашей действительности. Что же это такое — наша действительность? Как социолог рано или поздно я должен был ответить на этот вопрос. Но тема оказалась под запретом. Я — под запором. В течение трех лет по приговору Мосгорсуда я проживал в местах, столь примечательных, столь характерных для страны развитого, зрелого, реального социализма, а мы о них так мало знаем, что я воспринял арест как командировку партии и правительства на изучение малоизученной, но важной темы. В социологии есть метод включенного наблюдения. Некоторые наши социологи тоже изучают пенитенциарную систему, но их трудов что-то не видно и они почему-то предпочитают другие методы. Уж не первым ли из коллег я применил здесь включенное наблюдение? Некий Аркадий Александрович, мой коллега по образованию и мой лагерный куратор, свердловский гэбэшник по службе, заявил как-то, что враги спекулируют моим именем. Я удивился; с чего это вдруг? «А много вы знаете социологов, которые сидят?» Я не вспомнил ни одного. «То-то», — сказал Аркадий Александрович.

Мне весьма убедительно давали понять, что я сюда направлен для отбытия наказания, а вовсе не для исследования. Изъяли, похитили тетради, где я регистрировал даты, камеры, имена, события. Уж в них-то не было клеветы. Специально записывал, чтоб никаких неточностей и ошибок, именно эти тетради стали предметом истребления и особого недовольства начальства. «Хватит собирать грязь на администрацию!» — скомандовал Аркадий Александрович и объявил, что сдал тетради на экспертизу. Это была угроза нового срока. Больше всего они боятся и ненавидят правду. Если мы, зэки, сами не расскажем, никто не узнает правды о том, что творится за семью замками,

что представляют собой камеры предварительного заключения, следственные изоляторы, исправительно-трудовые учреждения. А там — миллионы. Бывшие октябрята, пионеры, комсомольцы, даже коммунисты. За что они там? Как, не имея на то объективных причин, стали преступниками? Кто и как их исправляет? Нынешние октябрята, пионеры, комсомольцы, даже коммунисты, знаете ли, что вас ждет? Миллионы проходят исправительную прожарку, освобождаются, волнами ежегодно накатывают в общество — что несут с собой? Влияние слишком значительное, чтобы не думать, какое оно? Много ли у нас семей, где кто-то не сидит или не сидел? Мы общество зэков. Мы мало что поймем в нашей жизни, если не узнаем правды о лагерях, если не задумаемся о том, что там происходит и почему об этом не пишут и запрещают писать.

Я не уголовный, я политический зэк. Это опять клевета, потому что политзэков в стране победившего социализма нет и не может быть. Однако же я три года сидел и до сих пор мыкаюсь по обвинению в том, что опорочил государственный строй. Такого обвинения и наказания, такого «исправления», действительно, в цивилизованном обществе не может, не должно быть. Тогда само собой не будет подобных свидетельств и книг. И сейчас я пишу для того, чтобы приблизить время, когда их не будет. Не должно быть режима такого в природе. Другого желания, другой сверхзадачи у меня нет.

Пусть простят меня потенциальные читатели, если это изделие не тянет на литературу. Пусть это будет исследовательский отчет, воспоминания, размышления. Называйте, как хотите, читатель всегда прав, я не обижусь. Я сделал все, что мог. И буду делать все, что в моих силах. Нельзя иначе: мы живем в столь ответственный момент человеческой истории, когда никто не вправе молчать, когда есть вещи важнее литературы.

**27.03.85 г.**

# Глава 1. От обыска до ареста

# Обыск

Отзвенела Олимпиада, наводненная милицией и голубыми рубашками в опустевшей Москве.

Рано, в начале седьмого утра 6 августа 1980 года нас разбудил долгий коридорный звонок. Кого принесло в такую рань? Кто мог так нахально звонить? Наташа накинула ситцевый халатик, пошла открывать. Какое-то замешательство, и вдруг в нашу комнату врываются люди. Один к окну, другой у двери, третий к письменному столу, двое, мужчина и женщина, застыли у порога. Чья-то тень еще металась в коридоре, испуганное лицо Наташи из-за чужих спин. Тот, кто ворвался первым, сует мне в кровать бумагу и говорит: «Обыск на обнаружение антисоветских материалов. Предлагаю сдать добровольно». На бумаге круглая печать, подпись прокурора Москвы Малькова.

— Здесь нет антисоветских материалов.

— Тогда мы сами посмотрим, одевайтесь!

— При вас? Прошу всех выйти.

— Это невозможно.

— Тогда не буду одеваться.

Человек зыркнул на меня острыми глазками, сунул постановление на обыск внутрь серого пиджака. Все вышли, а он стоит и смотрит. «Отвернитесь», — говорю. «Я не женщина», — фыркает детектив, но крутнулся на каблуке. Стоит у окна, будто спиной ко мне, а сам гнет голову так, что глаз выкатывается на самый кончик жесткого линялого уса. Небольшого роста, суховатый, остролиц и чрезвычайно решителен. «Вы хоть бы представились», — обращаюсь к нему. Он резко отскакивает от окна, разворачивает темно-красное удостоверение. Старший следователь Московской городской прокуратуры Боровик.

В комнате снова люди. «А это кто?» «Это понятые», — Боровик показывает на молодую пару, окаменевшую у порога. «А это?» — киваю на субъектов, роющихся в ящиках письменного стола, в папках, на полках с книгами. «Это мои помощники» — буркнул следователь и отошел к столу, где высокий средних лет интеллигент с импозантной проседью, в спортивном синем пиджаке с белыми металлическими пуговицами вытряхивал ящики с видом хирурга у операционного стола. Наташа убрала постель, села на кровать рядышком, бледная — смотрит на меня. А я и сам ничего понять не могу.

Было кое-что в последние три-четыре недели. Несколько вызовов в милицию наших глухонемых соседей Александровых. Они писали нам на листочках, что показывают им какие-то

фотографии, водят куда-то на опознание. Но ни слова, чтоб это имело к нам отношение. Пару раз в рабочее время звонили в дверь какие-то люди. Откроешь — на лице удивление, и тут же исчезают. Однажды открываю на звонок — стоит милиционер, спрашивает Александровых. Чего их спрашивать — они днем всегда на работе. И форма такая новенькая и будто не с его плеча, и круглое лицо светлей и осмысленней, чем обычно у милиционера. Очень похож вон на того, лысоватого, в сером костюме, который перебирает сейчас книги на полках. А недавно приходим с Наташей домой — у комнатной двери щепки, около замка косяк отодран, но дверь заперта. Вызвали участкового. В комнате вроде все на месте, никаких следов.

Открыть не смогли? Но кто? Все это озадачило, но не более — всякое бывает в городе. Неделю назад другой сосед, Величко, с которым мы давно не общаемся, вдруг по пьянке разговорился на кухне. Оказывается, на работе, в Курчатовском институте, его вызвали в первый отдел, и какие-то люди дважды брали у него ключи от квартиры. Якобы для наблюдения из его комнаты за дорогой. «Тебе это ничего не говорит?» Я отмахнулся: ничего. «Убери на всякий случай все лишнее», посоветовал Величко. Это могло относиться только к одному тексту, написанному три года назад по поводу обсуждения проекта новой Конституции. Спрятать? Сжечь? А зачем? Голову ведь не спрячешь, этот текст уберу, завтра новый напишется. Я не стесняюсь того, что думаю, и готов отвечать за каждое свое слово. Если кому интересно, пусть читают. Текст не опубликован, все четыре экземпляра машинописной закладки дома, распространения нет — значит, нет и преступления. Так по закону. А если не по закону, и подавно нет смысла прятаться — все равно сделают, как захотят. Не верилось, чтобы я или мои писания представляли серьезный интерес для госбезопасности.

И все-таки они пришли. Почему именно сегодня? Что их принесло? Спросонья я не рассмотрел постановление — по какому делу, на каком основании обыск?

— Можно еще взглянуть на постановление?

Боровик снова достал бумагу. Там значилось, что обыск производится по делу номер такой-то.

— Что это за дело?

— Разве не видите: номер такой-то.

— А конкретнее?

— Распространение антисоветских материалов. Боровик ехидничал, большего от него добиться было нельзя. А должен был ответить, чье это дело и с чем конкретно связано. Так я и не узнал формального основания для обыска, но что они ищут —

догадаться было нетрудно. Кажется, они не хуже меня знали, где что лежит.

— «Голос из тьмы»! — оживился интеллигент в синем пиджаке. Он вскрыл папку с рукописью начатого философского сочинения.

— Из какой такой тьмы?

— Не из той, на какую думаете.

С первых же строк он разочарованно замолчал. «Мы пришли ниоткуда и уйдем никуда. Из тьмы небытия, из сумерек детства разгорается свеча нашего сознания…» — трудно углядеть намек на тьму развитого социализма. Первая глава о смысле жизни. Пусть нет в Союзе ни тьмы, ни ночей, пусть вечный день и белые ночи, «надо мной небо синее, облака лебединые» — ничто в тексте не мешало так думать и петь, но я содрогнулся при мысли: а что, если б было что-нибудь вроде «На холмах Грузии лежит ночная мгла»? Этого не было. Тем не менее «Голос из тьмы» отложен в сторону. Из-под косметических коробочек Боровик вытаскивает какие-то листики, разворачивает, внимательно читает. Я узнаю свою давнишнюю записку Наташе, лирический, так сказать, анализ наших взаимоотношений, — стыд-то какой! «Простите, это не относится к тому, что вы ищете», — забираю записку и рву. Отвратительное ощущение, будто чужие пальцы змеятся по голому телу. Нет сил смотреть. Порываюсь выйти на кухню. Не пускают. «Но мы не завтракали». Пока нельзя. «Но в туалет, в конце концов». Боровик нехотя разрешает. Меня сопровождает спортивный молодой человек. Я умываюсь — он у дверей. Я к унитазу — он требует не закрываться. Пьем чай с Наташей — он рядом стоит. «Хотите чаю?» Отказывается. Личная охрана — высокая честь. Так и подмывало послать за пивом. Наташа пошла в ванную одеваться.

— Куда вы ее забираете?

— Мы не забираем, а приглашаем.

Говорят, в прокуратуру. Две черные «Волги» за окном. Наташа мне: «Я всегда с тобой». Целуемся, Увидимся ли? Время — девять.

Остался один с компанией. Круглоголовый, с залысинами, все время кого-то напоминает: то милиционера, то однокурсника с философского — может, и есть один в трех лицах? Он высыпает из двух бумажных мешков почту «Литературной газеты». Готовился обзор читательских откликов на нашу дискуссию о трудовых ресурсах. Боровик откопал в папках что-то «для служебного пользования»: «Секретные материалы! Почему дома? Кому передавали?» Сейчас шпионаж приклеят. Это старые планы социального развития предприятий да методика изучения текучести кадров. Бог весть откуда и для чего на них гриф? Что

секретного, например, в том, какой доход на члена семьи, сколько жилья на человека и почему люди бегут с предприятий? Скорее гриф от смущения: социология пока для многих руководителей нечто вроде «поэзии», вроде бы не пристало серьезным людям — боятся гласности, чтоб не засмеяли. Материалы с грифом отложены в стопку, предназначенную для изъятия. На безрыбье и рак рыба — скучный обыск.

— Книги из воинской части! — нарушает хмурое молчание круглоголовый. Несколько томов Гегеля издания 30-х годов, списанные на сожжение и отданные мне библиотекаршей в части, где я когда-то служил. Покрутили, поставили обратно на полку. Американская «Социология» на английском языке показалась подозрительнее солдатского Гегеля — ее взяли. Отложили ржавую рапиру, охотничий нож. Холодное оружие, что ли? Но вот и то, за чем они пришли: интеллигент достает в одной из папок рукопись «173 свидетельства национального позора, или О чем умалчивает Конституция». Короткое совещание с Боровиком и круглоголовым, и интеллигент, тряхнув импозантной проседью, торжественно лучится на меня: «Вы говорили, что у вас нет антисоветских материалов, а это что?»

— Я не считаю рукопись антисоветской.

— Явная клевета.

— Дальше можете не искать, ничего больше для вас интересного.

— Надо было сразу отдать, но вы не захотели, — возражает Боровик. — Теперь мы все посмотрим.

Дорывают вторую тумбу письменного стола, лезут в бельевой шкаф, потрошат папки и книги. Стопа изъятого пополняется новыми тетрадями, рукописями, конспектами, записками и даже дневниками.

«Что здесь написано?» — хмурится Боровик и протягивает мне листок с беглыми неразборчивыми записями. Помню, набрасывал тезисно планчик к критике социализма, он так и озаглавлен сокращенно «К крит. соц-ма». Боровик не разберет слово «крит.»: «Это нецензурное слово? Что оно значит?» Не стал я бросать собаке кость, тоже не разобрал, чтобы не было лишних вопросов. Но как дотошны: всякую блоху выискивают, «Народ — говно, дети — говно», — качает головой интеллигент, цитируя какую-то отчаянную строчку из дневника. Да, так можно кое-чего наклевать. Раздевают догола и говорят, как мне не стыдно.

Дивлюсь я на этих ребят! Им, как и мне, где-то между 30–40. Вроде не дебилы. Боровик, правда, простоват, но круглоголовый и особенно этот, в синем, явно не глупы, неплохо ориентируются в бумагах. В иной обстановке, случись с кем-то из них

познакомиться, совершенно спокойно могли бы говорить о том, о чем я пишу и что они сейчас изымают. В частных беседах от них такого наслушаешься: все видят, все знают, все понимают. Как человек, должно быть, приятен, начитан, умен. Дома, наверное, жена и детишки на него не нарадуются: хороший муж и отец. Неужто одного он в этой жизни только не понимает: что он сейчас ищет? Почему не стыдно ему? Не похоже, чтоб испытывал недоброе чувство ко мне. Шарит спокойно и преисполнен достоинства, как человек, который добросовестно выполняет свой долг. Такая работа. За это платят, и он отлично знает, что нужно его хозяевам. Он может ничего не иметь против того, что считается антисоветчиной, да сам в душе может быть больший антисоветчик, чем все диссиденты вместе взятые, — ему на это плевать. Нужно есть, пить, прилично одеться, содержать семью, иметь положение в обществе — это главное. Ради этого он делает все, что прикажут. В жизни — один человек, на службе — другой. В жизни, может быть, добрее не сыщешь, на службе — злее собаки. И совесть его спокойна. Не он, так другой. И может, тешит себя, что другой был бы хуже, а он все же деликатнее грабит. Скажите спасибо. И оправдает себя — он выполняет приказ. Солдат не виновен — офицер приказал, офицер не виновен — генерал приказал, генерал не виновен — он подчиняется Фюреру. Так оправдывались гитлеровцы, фюрера не стало, и нет виноватых в самой кровавой бойне в истории, никто не виновен из тех, кто истреблял тысячи жизней и сеял смерть. Они выполняли служебный долг — удобно и никаких угрызений. Так оправдывается любое зверство и любое насилие. Всегда есть на кого списать, а самому умыть кровавые руки.

Что кроется за удобной безответственной формулой «выполнял приказ»? Если б только приказ. Недавно, например, вдруг узнаю, что после освобождения меня лишили степени. Чего им неймется? Кто приказал? Кто приказал Ученому совету нашего института и председателю ВАК профессору Кириллову-Угрюмову? Был приказ? Не было? Что же было? Указание, рекомендация, посоветовали, как ни назови, но было просто неофициальное распоряжение, телефонный звонок. И они его четко выполнили, как приказ. Не по долгу службы, а из нежелания рисковать мягким креслом. Не хотел, но был вынужден — опять-таки никакой ответственности. Сначала за приказ, потом за указание; потом надо самому соображать, что желательно вышестоящему начальнику, угадывать, предвосхищать, понимать намек, схватывать с полуслова, улавливать настроение — вот тогда только ты будешь вполне хорош, тогда не сдвинешь тебя с тяжелого кресла и карьера

обеспечена. Так что не в приказе дело. А в том, кому и ради чего служишь. А это дело в конце концов добровольное. И значит не кто-то другой, не начальник, а ты самолично несешь полную ответственность за каждую свою подпись, за каждое свое слово и дело.

Есть у меня давний знакомый. Ему не надо объяснять, что хорошо, что плохо — он прекрасно все понимает. «Как же ты можешь служить злу, врать себе и людям?» — спрашиваю его. «Не будь наивен, Лексей, — говорит он. — «Ты же знаешь — это маска». «Да она приросла к тебе, не отдерешь». И у интеллигента в синем пиджаке я вижу на холеной невозмутимой физиономии такую же маску. При смене политического климата он снимет маску и скажет, что он вполне порядочный человек и не по своей воле, а по воле начальства вынужден был делать то, что от него требовали. Обстоятельства, мол, выше нас. А от него требуют подслушивать и подсматривать, провоцировать и доносить, врать и фабриковать досье на тех, кто не хочет лгать, кто говорит и мыслит не так, как велено мыслить. Может ли быть прав тот, кто служит неправому делу? В маске или без маски — какое имеет значение? Нам от этого не легче. Но для него маска удобна, убивает два зайца: и карьера обеспечена, и вроде бы людям в глаза не стыдно смотреть. Так поступают умные люди, маскируются. Калечат судьбы и никакой ответственности. Какой с маски спрос? Хорошая мина при плохой игре. Делает человек дурное дело, сгущает в мире беду — знает и делает, такой человек страшнее откровенного лиходея. Дурак не поймет — ему можно объяснить, умный под маской все понимает, но нет для него святого. Есть только он — этим и страшен. Сорвать с тебя маску и сказать, кто ты есть — мерзавец!

Три часа обыск. Понятые стоят как вкопанные. Устали, видно, что маются от скуки. Сесть им в маленькой комнате некуда. Предлагаю женщине место на своей кровати-диване: «Присаживайтесь». Она от меня пятится. Как они все надоели, деться б куда! Включил телевизор. Понятые ожили. Повернулись боком слегка. Вида не подают, что смотрят, то ли служба, то ли понятая гордость не позволяет — в доме антисоветчика, должно быть, и телевизор антисоветский. Но глаза на экран скошены. А там, в цвете, солнечная Греция, живые Афины, голубой простор Средиземного моря. Красотища! И рядом — рукой подать. Сенкевич приглашает на занимательное морское путешествие. Рад бы, да боюсь, предстоит мне прогулка совсем в другую сторону.

Краем глаза вижу: интеллигент выдвигает последний, нижний ящик стола. Аж в жар бросило, хоть из дома беги. Там

схоронена папочка, помеченная тремя буквами «СиП» — секс и политика. Стенограмма обсуждения книги Некрича на ученом совете то ли в ИМЭЛ (Институт Маркса, Энгельса, Ленина), то ли в академии Генерального штаба, письмо Ф. Раскольникова Сталину, выписки из книги Аллилуевой «Письма другу», что-то еще в этом роде. И там же несколько текстов и фотографий фривольного содержания. А тут женщина — что делать, не знаю. Подхожу к интеллигенту: «Тут есть одна папка — я ее сам достану». «Не беспокойтесь, мы разберемся». «Лучше не при женщине». Понятая вышла, и я указал на ту папочку. Политические тексты интеллигенту, очевидно, хорошо знакомы — они без задержки легли в сторону изымаемых материалов. Сексом занялся лично Боровик. Уселся с краю стола — так и не отрывался до конца обыска. Не спеша разглядывал комплект фотографий. Нахмурился и, строго топорща усы, перебрал еще раз. Фотографии отложены. Боровик пробормотал понятому, что женщина может войти, и с необыкновенной серьезностью погрузился в изучение эротических текстов. Эти тексты и фотографии у меня с холостяцких времен. Староиндийская грамматика любви «Ветви персика», переписанная, как утверждают, в библиотеке имени Ленина, «Элеонора», «Записки молодой женщины». «Возмездие» и «Баня» Алексея Николаевича Толстого. Широко распространенные тексты. Наверняка знают их профессиональные борцы с антисоветчиной и порнографией, но, видимо, не испытывают особого отвращения, коли не устают всякий раз перечитывать. Забыв обо всем на свете. Боровик сладострастно шевелил усами.

В одной из последних папок интеллигент обнаруживает рукопись давнишнего моего рассказа «Встречи». В сомнамбулической манере рассказывается о нескольких случайных связях, которые вспоминаются в форме мистических переживаний. Постельные сцены тривиальны, явно не для возбуждения сексуальных страстей. После эротических радостей А. Н. Толстого, я думал, моя психологическая кислятина не обратит на себя внимания знатоков и ценителей. Однако в том, что касается секса, Боровик оказался всеяден и ненасытен. Зачитался — за уши не оттащишь.

Шел пятый час обыска. Понятые не выдержали, принесли с кухни стулья, примостились на краешках лицом к телевизору. Круглоголовый попросил меня с кровати и разобрал секции пружинного матраца. Заглянул за телевизор. В коридоре обшарил шкафы и антресоли. Ничего интересного. Интеллигент, задвигая последний ящик стола, сказал Боровику, что можно составлять протокол. Боровик вскинул ошалелый взгляд: «Минутку». Прошла

минутка, другая — все ждут Боровика.

Интеллигент опять его тормошит: пора, время. «Да, да, сейчас», — словно сквозь сон. Залистал быстрее, застыл на последней странице и наконец встрепенулся. Со строгостью чрезвычайной и недоумением посмотрел вокруг, вспомнил, зачем он здесь, и, очнувшись вполне, решительно заторопился с протоколом. «Это, — указывая на фотографии, обратился Боровик к интеллигенту, — мы пронумеруем страницами вместе с текстом?» Интеллигент не возражает. Боровик строчит протокол обыска и изъятия. Заходят и выходят какие-то люди, похоже, водители «Волг». Круглоголовый складывает в бумажный мешок ворох читательских писем в «Литературную газету». Протокол представляется мне на подпись. Я взглянул на стопки отложенных бумаг, книг — надо сверить. «У нас нет времени», — ворчит Боровик, ерзая за моей спиной. За порнографией он не думал о времени. Я, хоть и бегло, проверил длинную опись изъятого. Опись более-менее точна, но в протокол пришлось внести уточнения. Например, Наташу увезли в прокуратуру, а в протоколе: «Омельченко было разрешено не присутствовать при обыске». Слишком уж скромно.

К 12 часам все было кончено. Протокол подписан. Почти шесть часов кошмара. Но продолжение следует — забирают. Как одеваться, что взять с собой? Спрашиваю: «Надолго?» «Не знаю, — отвечает Боровик, — все зависит от вас». Из квартиры выносят два мешка изъятых бумаг, сверток с ножом и рапирой. Я запираю комнату и в сопровождении круглоголового и еще какого-то парня выхожу из подъезда. Что подумают соседи? Садимся в «Волгу», но увозят под локотки, как арестанта. Следом вторая машина. По проспекту Мира, к центру. День солнечный. В глазах же темень.

# Допрос

Двухэтажный старый дом на улице Новокузнецкой. Строгий официоз красной таблицы на желтой стене — Московская городская прокуратура. Кажется, с другой стороны входной двери была еще табличка «Приемная». Скромняги. Я ожидал нечто массивное, серое — по масштабу и цвету их операций, а заходишь как в захудалый райсобес или ЖЭК. Тихо и сумрачно. Деревянная лестница на второй этаж. Проходим мимо лестницы, через площадку и короткие ломаные коридорчики. Высокая пустая комната. На окне решетка, за окном — зеленый двор. Голые масляно-желтые стены. Ничего на них нет, даже портрета Дзержинского. Пытают здесь, что ли? Боровик садится за стол боком к окну, я напротив него. На столе трещит телефон. Боровик то и дело хватает трубку и говорит: «Не туда попали». Кивнул Круглоголовому — тот занялся телефоном, а Боровик мной. Подает бланк протокола допроса свидетеля и тычет палец на строчки, предупреждающие об ответственности за дачу ложных показаний по ст. 181 УК РСФСР — лишение свободы или исправительные работы до года.

— Так я свидетель?

— Пока да.

— По какому же делу?

— Мы об этом уже говорили, — морщится Боровик.

— Я не понимаю: о чем я должен свидетельствовать? Кто обвиняемый?

— Почему обязательно обвиняемый? Дело может быть заведено по преступлению, когда преступник еще не известен.

— По какому конкретно преступлению вы собираетесь меня допрашивать?

— Вы знакомы с Сергеем Филипповым?

Я обомлел. Ожидал чего угодно, но только не этого вопроса. Что случилось с Сережей? Я знаю его лет десять, с выставки в фойе театра на Таганке. Они с братом Колей выставляли свою живопись, чеканку, скульптуру из дерева. Искренность, эмоциональная щедрость, глубина переживаний и умная одушевленность образов, исповедальный психологизм их работ — это было как объяснение в любви. Когда зрители уходили на спектакль, мы с братьями пили пиво в буфете. И со всех сторон их полотна. Потом какой-то чинуша, кажется, замминистра российской культуры, заглянул в книгу отзывов и разорался. Чего-то там чехи написали, еще бродил 68 год. Закрыли выставку со скандалом. Я успел тиснуть отзыв в «Комсомольскую правду».

Потом еще напечатал несколько рецензий о творчестве братьев. Получил жилье неподалеку от Коли, сблизились как родные. Сережу последние года три почти не видел, он стал заметным оператором на киностудии Горького — все время на съемках. Фильмы его идут. И вдруг дело по антисоветчине и первый вопрос о нем. Я не свожу глаз со следователя: что он еще скажет? Боровик доволен эффектом — ошеломил. Резкий переход на другую тему: «Кому вы давали статью… — вытаскивает из портфеля машинописные тексты, читает заглавие, — «173 свидетельства — гм! — национального позора, или О чем умалчивает Конституция?»

— Не помню. И давайте договоримся: я отвечаю только за себя, о других я не буду давать показания.

Боровик лихо откидывается на спинку стула, иронизирует: «Не помните? А вот Олег Алексеевич помнит. Кстати, вы его видели?»

— Когда?

— Да сейчас. Вы же мимо него прошли, он вам кивал из соседней комнаты — неужели не заметили?

Нет, Олега Попова я не заметил и вообще в этом году с ним не виделся. Кроме того, я знал, что они всем семейством сейчас в Крыму, в отпуске. Неужто оттуда привезли? Какая связь между вопросом о Сергее Филиппове и Олеге Попове, они друг друга не знают. Что «помнит» Олег? Да, Боровичок наносил неожиданные удары, успевай поворачиваться.

— Странный у вас друг, — продолжает Боровик, — кандидат наук, а работает сторожем. Почему он работает сторожем?

— Спросите у него, он же здесь сидит.

— Меня интересует ваше мнение. Сколько получает сторож?

— Откуда я знаю?

— Наверное, не больше вас — так ведь? Но у вас машины нет, а Попов недавно купил. Как вы думаете: откуда у него деньги?

— Ничего я не думаю. Насколько мне известно, машину купил не он, а родители.

— Ну да, он собирается удрать за границу, а родители жены покупают любимому зятю машину — не очень-то логично, не правда ли? — Боровик грозно насупился. — Кто ему платит? За что?

Я молчу. Боровик меняет гримасу, заявляет сочувственно:

— Вот вы его жалеете, а ведь он вас не жалеет.

— Чего меня жалеть?

— Ну как же. В каком журнале он предлагает опубликовать вашу статью? Кажется, «Континент»?

Боровик наслаждается. Демонстрировал осведомленность.

Мол, мы и так все знаем, а допрос — проверка на вшивость, что ты за птица. В самом деле, было над чем задуматься. Откуда ему известно? Где-то рядом допрашивают Наташу, но она этих дел не касалась, да навряд ли заговорит. Значит Олег? Неужели и вправду «не жалеет»? Но тогда бы он и себя «не пожалел», нет, я знаю Олега, это исключено. Откуда тогда?

— Вас неправильно информируют, — отвечаю Боровику. Он чуть не хохочет: «Неужели?» И тут же резким наклоном всаживает в меня лезвия перочинных глаз: «Вы предупреждены об уголовной ответственности за уклонение от показаний. Советую думать, прежде чем говорить». Я молчу, курю сигарету за сигаретой. Голова пухнет. Потолок в дыму. В комнату иногда заходят люди. Принесли мешок с моими бумагами. Таскают их туда-сюда, пристально зыркают на меня. Кто-то из-за двери заглядывает с любопытством. Боровику, кажется, надоело разыгрывать из себя джигита криминалистики. Пора и беседу налаживать. Спрашивает уже в нормальном тоне:

— Кто и для чего просил вас изготовить эту статью?

Как с ним разговаривать? Врать не хочется, стыдно. Всей правды нельзя, людей подведешь. И молчать нет смысла, все рукописи, даже дневники в их руках — вся изнанка моя вывернута. Пришел, видно, час объясниться с ними со всей откровенностью. Заодно попытаюсь их тоже понять: что это за люди? Что они скажут? О чем думают? Пусть и они не подумают лишнего обо мне. Из того, что касается одного меня, я расскажу все, что их интересует. Об остальном я Боровика предупредил: о других ни слова. Я ответил ему, что, во-первых, это не статья, а заметки, комментарий по поводу проекта Конституции; во-вторых, никто не просил, я писал по личному побуждению, для себя, не думал ни о какой публикации. Вот как она появилась, эта злополучная рукопись.

Как-то в сентябре 1977 г. в конце рабочего дня нас, сотрудников ВЦНИИОТ (Всесоюзного Центрального Научно-Исследовательского Института охраны и труда ВЦСПС), где я короткое время работал, согнали партийных и беспартийных на открытое партийное собрание — обсуждать проект новой, брежневской Конституции СССР. Женщины с полными авоськами, хозяйственными сумками спешили домой. Мужчины, многие беспартийные вроде меня, с блеском в глазах и интересом в голове, далеким от темы собрания, тоже спешили. В общем, на собрание всем было глубоко наплевать, никому не сиделось. Секретарь парторганизации сказал, что все мы, конечно, горячо и безусловно проект одобряем, свои предложения и дополнения как-нибудь непременно подготовим — кто за? Руки вверх и всех

сдуло. Обсудили Конституцию в пять минут. Шел я домой и думал: «Кому нужна эта инсценировка? Что толку от фальшивой кампании, от парткомовских сочинений на тему «предложения трудящихся»? Откуда у людей такое равнодушие к Основному закону, будто кому другому, не им, жить по нему? А газеты пестрят материалами якобы всенародного обсуждения: «Демократия для всех», «Закон нашей жизни», «Озарено счастьем», «Вдумайтесь в эти слова». Что если правда вдуматься?

Дома я взял проект и, кажется, что-то начал понимать. Чем больше я вдумывался, тем очевиднее становилось, что ни одна почти статья Конституции не отражает реальности. Штампы формулировок как небо и земля отличаются от действительного положения в области гражданских прав и свобод, реальной политической и экономической ситуации в стране. Конституция — легенда, мечта, норма, к которой может быть надо стремиться, а какова жизнь? Какими словами можно охарактеризовать нашу реальную действительность? Как выполняется действующая Конституция и каковы гарантии ее соблюдения? В обсуждении об этом ни слова. Затем и понадобился бутафорский треск отрежиссированной кампании, чтоб не возникало «лишних и случайных» вопросов. Пропагандистская говорильня, чтоб не допустить, сорвать подлинное обсуждение. Мнимое участие миллионов, чтоб не допустить никакого участия, чтоб никому и в голову не пришло сунуться всерьез со своим мнением. Специально устроено так, чтобы всем было до лампочки. Но я социолог, я обязан знать что происходит в стране. Мне было 33 года, накоплен жизненный, журналистский, научный опыт, достаточный, чтобы иметь собственное мнение. «Конституция перед нами, жизнь перед нами — надо сравнивать». Я изложил свое определение действительности по каждой статье двух первых разделов проекта Конституции: о политической и экономической системе и о правах и свободах граждан. Воспользовавшись схемой проекта, впервые свел в систему сложившиеся у меня представления о нашем государстве. Картина получилась жуткая.

Никакого обсуждения Конституции нет и не могло быть. Что же есть? Когда отказываешься от демагогии официальной терминологии и начинаешь называть вещи своими именами, волосы встают дыбом. Мало кому не видна фальшь правительственных деклараций, но я не предполагал, до какой степени циничен и грандиозен тотальный обман. Все не так. У власти не народ и Советы, а партократия; не демократия, а диктатура, не права, а бесправие и произвол. Вся наша жизнь не просто не соответствует, а вразрез Конституции. По всем статьям.

Кроме одной: о руководящей и направляющей силе КПСС во внешней и внутренней политике, во всех сферах государственной и общественной жизни в СССР. Эта, шестая статья Конституции, полностью соответствует действительности и, характеризуя действительность, я переписал ее без изменений. Под давлением западных компартий авторы новой Конституции вынуждены официально снять понятие «диктатуры пролетариата», но практически СССР был и остается деспотическим государством, государством, как вытекает из статьи шестой, однопартийной коммунистической диктатуры. Ничем не ограниченная, не стесненная никакими законами, опирающаяся на силу власть. Сроду она не считалась ни с какой Конституцией, а нас гонит на собрание якобы ее обсуждать. Деспотизм отвратителен, но еще хуже то, что его выдают за демократию, как ни плоха действительность, как ни утопична, ни противоречива Конституция, больше всего раздражают не они сами по себе, а нахальство официальной догмы об их соответствии: «закон нашей жизни». Если диктатура, то так и должно значиться в конституции. Да и на черта Конституция, если закон нашей жизни — диктатура, т. е. беззаконие. Хорошо это или плохо — другой вопрос. Но когда на деле одно, а утверждается прямо противоположное, и эту ложь выдают за Основной закон, то, следовательно, Основным законом нашей жизни является даже не диктатура или фальшивая Конституция, а ложь. Ее-то мы и одобряем во «всенародном обсуждении». За кого же нас принимают? Почему мы так легко позволяем дурачить себя? Впервые со всей очевидностью понял, как далеко мы зашли на пути всеобщего, всесоюзного, глобального нравственного безумства. Верхи врут — низы поддакивают, верхи самовольничают — низы пресмыкаются. Погрязли все. Трудно обвинить верхи, не возложив вины на народ, нельзя обвинить народ, не возложив вины на правительство. Положение в стране не просто плохо, а катастрофически плохо. И подлинная трагедия даже не в том, что мы так по-скотски живем, а в том, что мы миримся, мы привыкли, довольны — нам не стыдно так жить. Я стоял перед фактом нашего общего, национального позора.

Конечно, с таким открытием не выступишь на собрании. Я уяснил себе, что хотел, и не ставил перед собой другой цели. Все, что во мне нарывало, мучило, не давало покоя, выплеснулось на 25 страницах машинописного текста. Что из этого получилось — трудно сказать. Несколько вводных абзацев, две-три страницы заключительного пассажа, остальное, так сказать, практическая Конституция — нумерованные формулировки, характеризующие реальность в соответствии со статьями проекта Конституции. На

статью не похоже. Запись сугубо личного мнения, почти столь же неаргументированного, как и текст Конституции. Кому оно могло быть интересно, кого могло убедить? Нет, это не статья. Я не думал о публикации.

Можно было бы продолжать работу: аргументировать цифрами, фактами, исследованиями каждое положение. Если учесть, что я прокомментировал полностью два раздела проекта конституции, это была бы серия более чем из 60 статей на самые разные темы. Такая работа требует полной отдачи и на долгое время. Надо бросать остальные занятия, А я занимался трудом и был готов дать обстоятельный анализ по соответствующим статьям Конституции. Что делать: продолжать исследования в этой области, или «от пуза веером»? Я предпочитаю кое о чем все, чем кое-что обо всем. Тем более что государственная ложь, с которой надо бороться, столь преднамеренна и воинствующа, а выступления против нее столь затруднены и рискованны, что о легкой победе нечего и думать. Истина должна быть солидной и бесспорной, исключающей сомнения, ошибки и неточности. Я остаюсь на фронте социологии труда. Здесь я буду полезней. По остальным проблемам есть свои специалисты. Свое слово они скажут лучше меня. И рукопись, перепечатанная закладкой из четырех экземпляров, была уложена в папку и осела в ящике письменного стола. Дальнейшая ее судьба меня мало заботила.

Об этом я рассказал следователю, Круглоголовому, кому-то еще из круживших вокруг. Но сейчас я должен сказать больше. Это уже не повредит тем, кого я сейчас упомяну, но поможет получше объяснить тогдашнее мое положение и настроение.

Разумеется, я не прятал рукопись от своих друзей. Коля Елагин, мой коллега по институту социологии, эмигрировавший в январе 1978 (женился на еврейке), незадолго до отъезда высказал мнение, что если рукопись готовить для заграничной печати, то каждое положение нужно развернуть, насытить материалом, тогда она будет представлять интерес. Такая большая работа, как я уже говорил, не совпадала с моими профессиональными планами. Затем Олег Попов предложил показать рукопись людям, связанным с эмигрантским журналом «Континент», но предупредил, что там очень высокие требования. Я дал текст. Через пару месяцев Олег сообщил об отказе, сказали, что «непрофессионально». И ничего по существу, никакого намерения встретится с автором. Настолько никчемно, что и сказать нечего? Или у редакции перебор авторов, рукописей из Союза? Я не был профессиональным журналистом, хотя много лет печатался, и никто еще не говорил, что я лезу не в свое дело. Задело другое: разве профессионализм единственный критерий оценки? Как

только советский профессионал, будь то журналист, писатель, ученый, напечатается в «Континенте», он сразу слетит с профессионалов. Где же редакция наберет у нас профессиональных авторов? Причем вообще профессионализм? Править там, что ли, некому? Было бы содержание — вот что все-таки главное. И пока мне не скажут по существу, я не сочту оценку, отказ мотивированным» а в данном случае такой отказ просто бестактен. Я иду на риск, жертвую головой, работой, карьерой, я доверяю людям, своим единомышленникам, и предлагаю сотрудничество, а мне заочно от ворот поворот. Невежливо, черство. Не ожидал я этого от представителей уважаемого журнала. Кто они, кому показывал рукопись Олег — не знаю. Он предлагает связаться с другим журналом — «Ковчег». Ни до, ни после я не слышал об этом издании, но согласился. Если рукопись можно печатать, пусть она будет напечатана. Где угодно.

Всякая рукопись просится в свет, к людям. Я не верю, когда говорят, что вещь сделана для себя. Говорят «для себя», а сами показывают, держат на виду — ревниво ждут, что скажет другой человек. Делается для себя — это может быть и, наверное, так и должно быть. Я тоже, когда писал, делал для себя, никаких иных намерений не было. Но когда вещь сделана, — у нее своя жизнь, у автора — своя. Каждое произведение нуждается в общественной оценке. Без этого у него нет лица, нет жизни, нет цены. Никогда не знаешь толком, что у тебя вышло. Даже когда известно, что подобного рода творчество преследуется властями, возможные неприятности мало кого останавливают. Родительский долг выше страха. Мало ли жизней принесено во имя творческих ценностей? Мало ли жертв? И все потому, что судьба произведения для автора нередко важнее собственной жизни, когда смысл ее — творчество. Помимо страха, иной раз помимо воли несет автор свое произведение людям. Что вышло из-под пера, имеет ли это ценность или нет, как обернется судьба рукописи — решает читатель и прежде всего издатель. Без этой оценки рукопись не успокоится в ящике письменного стола, она будет томить, тревожить автора до тех пор, пока не услышит окончательного приговора. Я не мог не показывать то, что делал. В машинописном виде рукопись «173 свидетельства» чревата таким же риском, как и в случае опубликования. Рано или поздно попадет экземпляр на глаза — придут и заберут. Рукопись вместе с автором. И ничего не останется. А печать, если не спасет автора, то наверняка спасает его работу. Произведение будет жить. Оно хочет быть нужным людям, оно стремится быть напечатанным.

Кроме этой рукописи Олег взял пару моих рассказов, которые

тоже не ко двору советской цензуре. Собственноручно подписал псевдонимом «Аркадьев Николай». И я стал ждать. Полгода — Олег молчит. На вопросы уклончиво: «Некогда», «Жду человека», «Пока никак». И так год. А человек он опальный, деятельный и, когда я узнал, что рукописи все это время лежат без движения в шкафу его квартиры, то забрал папку. Пусть лучше хранятся у меня, чем у него, где они в любой момент могут быть изъяты. Примерно через месяц, в конце 1979 года, от него новое предложение — самиздат. «Уже договорился — пойдет». Я не знал тогда, что самиздат публикуется за границей. Думал: десяток-другой машинописных экземпляров. Пользы не больше, чем от моих четырех, а сидеть не за понюх не хотелось. В самиздат я отказался.

И зря. Кто бы мог подумать, что через девять месяцев, когда я о публикации и думать забыл, меня обвинят в распространении?

Вошел куда-то отлучавшийся Круглоголовый. Бросил на стол экземпляр: «Злобная клевета». Очевидно, заключение их экспертизы. Но формально меня пока допрашивали как свидетеля, по какому-то неизвестному еще делу, хотя ни одним вопросом следователь его не касался. Я свидетельствовал о себе и своих рукописях. Не считал нужным что-либо говорить о других. А как раз они-то, другие больше всего интересовали следователя Боровика: «Кому давал?» Особенно Олег — все о нем. Вопрос — ответ, из пустого — в порожнее. Долго толкли воду. Надоело до чертиков. Куда делась личина строго-усатого, но спокойного внимания, когда я говорил о себе. Теперь Боровик изводил и меня и себя. Он давно перестал разыгрывать книжных героев Агаты Кристи и Сименона. Трубка его не дымилась. (Обычно он то и дело совал в рот и вынимал трубку, все время казалось, что это какой-то лишний предмет и, выходя, он курит тайком сигареты). Боровик то капризно брюзжал, то так сверкал глазками — вот-вот даст по зубам. И чего он так нервничает? Подавай ему все сразу или он тебя съест. И вдруг лопнул. Обмяк. Глянул на меня как на пустое место. С видом глубокого безразличия следователь собрал бумаги и покинул комнату.

Остались Круглоголовый и рослый парень с пустыми, скучающе-грустными глазами и густой волнистой шевелюрой. Сидели молча и долго. Иногда кто-то из них выходил, чаще Круглоголовый, но другой неотлучно со мной. Клонилось к вечеру. Наверняка они все пообедали, меня не пускают: «С разрешения следователя». Спросить трудно или следователь не разрешает? Молчат. Вдруг в окне Наташа Попова. Гуляет во дворе, понурив голову. Значит, Боровик не обманул; Олег где-то здесь. Как же Крым — вернулись? Вызвали? Не свожу глаз с

Наташи, увидит ли она меня? Взгляд скользит иногда в мою сторону, но на окне не останавливается. Решетка, дым, сумрак в комнате — ничего со двора не видно. Мне бы постучать в стекло, да разве позволят. И вот уже нет Наташи. Совсем тоскливо. И чего жду: выйду, не выйду?

Исчез Круглоголовый, вышел кудрявый. В комнате появился пожилой дядечка — уносит мешок с моими бумагами. Увидев, что я один, тихо спрашивает: «Это вы написали?» — «Да» — «Правдиво написано». Это было невероятно. В чертогах прокуратуры мне говорят доброе слово за то, что грозит арестом. Значит и здесь есть люди? Вот уж чего не ожидал! Знал ли этот человек, как кстати, как дорого было его слово в такой момент, в таком удручающем месте? Не раз потом, в самые тяжелые времена, его доброе слово выручало меня. Я вспоминал этого человека и говорил себе: «Не все потеряно». Не зря я работал, не зря писал, если приобрел хоть одного единомышленника. Если б только он один прочитал, то и тогда не зря. Для дела такой человек важнее, чем дать почитать друзьям и знакомым. Существование его в недрах карательной машины уже признак ее развала. Его доброе слово — песчинка, трещина в колесах этой машины. Она пожрала мои рукописи, но если внутри ее находятся и такие читатели, то рукописи не совсем уж пропали, они делают свою работу.

«Можно все стерпеть бесслезно,
Быть на дыбе, колесе,
Если рано или поздно
Прорастают лица грозно
У безликих на лице»

*(Е. Евтушенко)*

Больше всего меня мучило и мучит не то, что меня посадили, а то, что не удалось спасти рукописи.

(Перепугался. Зазвонил телефон и мужской голос спросил «Алексея». Я ответил, но в трубке — гудки. Быстро все со стола, выждал время, снова сел. Но не могу успокоиться: вдруг придут? Вдруг найдут, и тогда опять все пропало. И как-то не очень успокаивает, что, может быть, мне и на этот раз где-нибудь в прокуратуре скажут доброе слово. 3 апреля 1985 г.)

Они были мне дороже опубликованных. Это было, пожалуй, самое ценное из всего, ибо ради таких страниц я жил и работал. В них — смысл моей жизни. Когда их забрали, я потерял не только

рукописи, но вместе и смысл существования. Прошлое и будущее мое казались бессмысленными. Все зря. И сам сел, и рукописи пропали. Наверное, я переживал бы сильнее, если б не тот человек. Очень он мне помог. Спасибо.

Однако не для того сюда привели, чтоб говорить комплементы. Лишь мгновение я оставался один. Вернулся Боровик и мои молчаливые стражники. Боровик засел за протокол. Через полчаса дает на подпись. Мне нужно подписать каждую страницу и в конце протокола пометить: «с моих слов записано верно». Протокол в форме диалога: вопрос — ответ. И что я вижу? Будто отвечаю следователю: «Давал на прочтение Попову и другим своим знакомым, о которых отказываюсь говорить», «имел намерение опубликовать в журнале «Континент» и что-то еще вроде того, что обыск и допрос следователь произвел корректно, и я чуть ли не благодарен ему. Я отказываюсь подписывать. Боровик, позевывая, говорит о моем праве внести в конце протокола свои дополнения и замечания. Косит настороженно: буду — не буду? Пишу замечания, возражаю против искажения моих показаний, против оговора следователя насчет «Континента». Боровик уже без стеснения встал с боку стола и следит, что я царапаю. «Попова и другие имена, упомянутые в протоколе, назвал следователь». Тут его взорвало: «Какое это имеет значение, блох ловите?» Для меня это имело значение, но, как потом выяснилось, и для него тоже: уголовно-процессуальный кодекс запрещает следователю задавать наводящие вопросы. Раздосадованный Боровик с протоколом — на выход.

— А я?

— Вам придется подождать.

— Где моя жена?

— Здесь, в прокуратуре, дает показания.

Что с ней? Какие у нее целый день показания? Сижу как на гвоздях. Час-два сижу. Распечатал вторую пачку «Явы», курю непрерывно. Круглоголовый с кудрявым открыли дверь и форточку — проветривают. «Мы выйдем сегодня?» — спрашиваю их. Жмут плечами: зависит от следователя. Несколько раз выходит и заходит Круглоголовый. Говорит, надо еще подождать, мой вопрос выясняется. После очередного захода подобрел наконец: «Следователь очень занят, поэтому просил передать вам, чтобы вы пришли завтра утром и захватили зонт — он оставил в вашей квартире».

— Я свободен? — вырвалось по-дурацки.

— Да. Но пожалуйста, не забудьте зонт.

Фиг ему, думаю, а не зонт. Мое взять не забыл, пусть теперь

за своим поездит. Вслух же снова спрашиваю о Наташе. Опять-таки они ничего не знают, но полагают, что ее уже отпустили. Выходим. В пепельнице гора окурков.

На улице их догоняет Боровик, вместе садятся в машину. Могли бы и меня подвезти, хотя бы предложить из приличия. Да верно говорят: гусь свинье не товарищ. Этаким гусем, вытянув вперед шею, припустил я вприпрыжку вдоль по Новокузнецкой, к метро. Улица кажется шире, простора больше, даже толпа обрадовала. О, как легко дышится! Никогда не замечая столько неба и воздуха. Высоко летели темнеющие перья облаков. В окнах зажигали свет. Прохожие ничего не подозревали. Никому и в голову не приходило, что тут рядом капкан, который в любую минуту может захлопнуть их бег, капкан, из которого я только что вырвался. Любовь к этим людям, к небу, к городу переполняла из страха, что я чуть было не лишился всего этого. Быстрее, быстрей отсюда. Бегу, как от погони. Скорее в метро, потеряться в толпе, пока они не передумали, не кинулись за мной. Я уже не думал ни о еде, ни о куреве. Шел восьмой час вечера. Где Наташа?

# «Мне страшно»

Наташа на пороге комнаты. Лицо заплаканное, строгое. В коротком белом плаще, в руке ключи. Ножом по сердцу: неужели сбегает? «Ты куда?» — «К маме, — и смотрит на меня как на привидение. — Ты что — сбежал? Мне сказали, тебя не выпустят». Это сказал следователь, который ее допрашивал, — Воробьев. На вопросы обо мне ей отвечали, чтоб она лучше подумала о себе. Отпустили всего на час раньше меня. Дома нагнал страху сосед Величко. Вроде его тоже допрашивали и сказали, чтоб сегодня он дома не ночевал. Убеждал Наташу не оставаться — могут снова прийти. «Я боюсь!» — Наташу трясло. Еле уговорил подождать, пока сбегаю в магазин. Надо перекусить, но больше всего хотелось выпить. Из винного магазина крюк на Звездный бульвар, к Коле Филиппову. Сережа не выходит из головы: почему первый вопрос о нем? На кухонном диване застаю трех подружек, сидят рядком непривычно серьезные. Жена Коли — Валя и ее ближайшие советницы: Тамара и Валя Муха. «Три девицы под окном пряли поздно вечерком». «Что случилось?» Валя взволнована: «Приходил какой-то мужчина с повесткой: Колю вызывают в прокуратуру. Ты не знаешь, в чем дело? Он кого-то убил?» «Да нет, — говорю, — наверняка по моему поводу. Я только что оттуда, с утра был обыск». Ахнули девушки. О Сереже ничего тревожного не слышали. Все у него как будто нормально. Попросил, чтоб Коля сразу позвонил мне, как придет. Предложил выпить. Не стали. Не помню, чтоб когда-нибудь кто-то из них отказывался. Здорово, видимо, переволновались. Но все-таки я их немного успокоил. Дело не в Коле и не в Сереже.

Бегу домой, к Наташе. Она так и не раздевается. Рвется из дома, ни минуты не может — лихорадит. Да, надо выйти. Говорить лучше не дома, и надо прийти в себя, прогуляться. Одну бутылку оставил, другую с собой.

Кружим по улицам в теплой темноте августа. А у Наташи зуб на зуб не попадает, дрожит, говорить не может. Нашли на Звездном бульваре скамейку. Пытаюсь шутить: «Вскрыть пакет Генерального штаба!» — и проталкиваю пробку в бутылку. Протягиваю Наташе, не хочет. Припал «из горла». Портвейн как на раскаленные камни горячим паром внутри. Напряжение падает. Наташа тоже оттаивает, обрела дар речи: говорит, говорит. Прорвало. Выговорится, ей станет легче.

Следователь Воробьев, молодой, толсторукий — хамил. Грубил, как с преступницей. «Вы печатали вашему мужу?» — «Я тоже». — «Плохи ваши дела, можете не выйти отсюда. Что вы

печатали?» — «Я много печатала. Это опубликовано». — «Не притворяйтесь, вам же хуже. О чем та статья?» — «Какая статья?» Опять угрозы. А я даже названия не могла вспомнить. Они не верят. Спрашиваю о тебе. «Забудьте о муже, вам о себе надо думать». Думала, что уже не увижу тебя. Разревелась. Я была в шоке.

— Дальше.

— Отпустили на час. Ходила по улицам, как во сне. Потом Воробьев показал твой текст. Я вспоминала, когда, на чем печатала.

— И что ты сказала?

— Сказала, что брали машинку у Чикиных.

— Зачем?! — Теперь Боба затаскают. А он в партбюро философского факультета, недавно по профессорскому обмену полгода в Штатах работал, мы же ему все поломаем. — Зачем ты людей называешь?

— Все равно бы нашли, ведь все машинки пронумерованы. Было бы хуже.

— Черта с два: это еще бабушка надвое, — чуть не ору от досады и злости.

Она смотрит виновато, на глазах слезы:

— Прости, ничего не соображала. Но для Чикиных криминала нет, они не знали, что я печатаю. А больше ничего такого я не сказала.

И плачет. Бедная девочка, попала как кура в ощип. Очень-то ей все это надо. При мне она заочно окончила Киевский университет. Тоже философ, но флакон французских духов ее интересует больше французских революций. Обычная домашняя девочка, которая любит со вкусом одеться. Капризная, избалованная, но очень добрая и домовитая. Мы часто ссорились и любили друг друга. Ее нельзя назвать единомышленницей — она мало вникала в мои профессиональные интересы, но она всегда рядом, где бы я ни был, чем бы ни занимался. Потом она напишет на зону: «Мне дорого твое дело, потому что дорог мне ты». Три года мы вместе, и ближе ее не было у меня человека. Странное, смешанное чувство к ней: как к жене и как к дочери, столько в ней при женском лукавстве детской незащищенности и непосредственности. И вот теперь эта взрослая девочка дрожит по моей вине ночью на скамейке бульвара. Обыск, допрос, дальше — страшно подумать. Обнимаю ее, целую мокрое от слез лицо, чуть теплые губы. «Выпей глоток, успокойся». Отпила из горлышка. Прильнула, оттаяла. «Что же нам делать? — спрашивает уже спокойно. — Поедем к маме?» — «Пойдем позвоним Олегу».

Вернулись домой. Позвонили Поповым. А там давно ждут

звонка. У них утром, в одно с нами время тоже был обыск и тоже допрос в прокуратуре, зовут: «Приезжайте немедленно». На кухне топчется прилично поддатый сосед Величко. В прошлом году он заявил участковому, что я антисоветчик. Теперь юлит: «Если тебя заберут, я не знаю, что я с ними сделаю. Алексей Александрович, как же ты так? Я же предупреждал: убери все лишнее. Ты о Наташе подумал?» Наташа наскоро готовит поесть, жалко поддакивает: «Обо мне он не думает». Хороши союзнички. Величко зудит, какой он несчастный, семьи нет, а у меня такая хорошая жена, чего мне еще надо? Если что, как она без меня?

Плюнул на них, пошел из кухни. Величко следом, что-то хочет сказать по секрету. Заходим к нему, выпили, шепчет на ухо, что ему велено сегодня не ночевать, наверное, за нами придут, надо нам поскорее уходить из дома. Странный стукач, как к его словам относиться? Мы все равно сегодня не дома ночуем, говорю, и какая разница: не сегодня, так завтра. «Тсс!» — Величко палец к губам, другой рукой на потолок, стены показывает: могут подслушивать. «Черт с ними!» — нарочно кричу. — «Чего мне от них прятаться?» А самого ужалило: они ключи у Величко брали — могли не только тайком заходить, но и прослушивать. Может, торчит в Величкиной комнате такая штуковина — ухо в стене. И вся наша семейная жизнь, зарубежное радио перед сном, ссоры, постель — брр! — все это они могли и даже наверняка прослушивали. Чего уж сейчас-то шептаться? И Величко в крик: такую-то мать! Всех их туда-растуда! И он никого не боится, тоже будет правду-матку прямо в электронные уши. Если я антисоветчик, так и он, все мы такие же — пусть его арестовывают. Вот какой стукач нынче пошел — диссидентствующий. Год назад грозил выселить меня из Москвы, сегодня, как никогда, близок к цели и все же, казалось мне, не совсем он сейчас притворяется, капелька доброго чувства, а была в нем.

Мы еще выпили, перекусили с Наташей. Одеваемся. Величко — тоже: «Я с вами. Вам нельзя одним, мало ли что может случиться». Метро в двух шагах, не надо провожать. «Нет, нет! — Его не остановишь. — Вы к Поповым? Туда не советую. Наташа, отговори Алексей Александровича, вам нельзя туда ехать». Увязался за нами. Хорошо, Володя, мы поедем в другое место, спасибо, не надо нас провожать. Нет, он боится, он не успокоится, пока лично не убедится, что мы доехали. Чересчур уж навязчив, не поручено ли ему выследить, куда мы скроемся? На темной дорожке аллеи Космонавтов потянул я Наташу за руку — сбежали. На эскалаторе метро оглядываемся — не догоняет ли?

К Поповым через всю Москву. Наташа Попова в домашних

вельветовых брюках. С ней подруга — черненькая девушка Оля. На обеих лица нет. Но рады, засуетились на кухне. Олег в ночь на работе. Я чего-то засомневался: «Может, арестовали его?» — «Нет, правда, его выпустили из прокуратуры после обеда». Петя, Петруччо, мой маленький друг, спит в спальной комнате. Уже за полночь. Перебойный стрекот женского свистящего шепота. У меня бутылка с собой. Оля отнимает стакан: как я могу пить в такой обстановке? Пытался отшучиваться, потом рассердился: «Дай, может быть, напоследок!» Олиному возмущению нет границ. С пионерской нетерпимостью клеймит мое алкоголическое легкомыслие и буря страсти о том, что с ними происходило. Крик, визг — ну и темперамент! — ничего понять невозможно. Так я ее и назвал — пионерка. Я отставил выпитый стакан. Оля разрядилась. Стала рассказывать Наташа Попова. Тут я понял, почему рвались Олины пороховые погреба. Ей прищемили пальчики — рука перебинтована. Она ночевала здесь и утром с постели пошла на звонок к двери. Только повернула замок — ее сшибают с ног и щемят пальцы между стеной и дверью. Так у них начинался обыск. Забрали пишущую машинку, несколько еврейских книжек, письма, черновые записи Олега про еврокоммунизм — больше ничего не нашли. После допроса в городской прокуратуре Олег ушел на работу, кажется, тогда он сторожил автостоянку. С юга их не вызывали, они сами вернулись. Только-только приехали и на тебе: с корабля на бал.

В январе Поповы подали на выезд по еврейской эмиграции — единственный способ уехать. Собрались на Запад, и за это их хотят на Восток. Только в этом мы угадывали причину сегодняшней облавы. Их допрашивали как свидетелей. Кроме номера дела, по которому допрашивали, тоже ничего конкретного. Но почему сегодня? И почему меня заодно, я ведь не подавал на выезд и не из числа самых близких Поповым? Последний раз я был у них в январе, когда Олег отдал документы на выезд. Он дарил друзьям книги. Мне достался американский переведенный сборник «Биология человека». Прежде у него всегда было еще кое-что, я регулярно брал и читал, но теперь чересчур рискованно. У себя Олег уже ничего не держал. Мы перезванивались, но с той поры встречаться не доводилось. И вот дал бог.

Ложимся спать. Наташа с Олей в маленькой комнате, мы в большой. Трудный день, голова свинцовая, а глаза не могу сомкнуть. Вдруг это последняя ночь, последние часы на воле, с Наташей?

С Олегом меня познакомил мой товарищ по институту социологии Коля Елагин. Коля учил язык, обстоятельно готовился

к эмиграции, от него перепадала мне литература. С его отъездом я терял доступ к литературе. Кроме того, я чувствовал, что мне уготовлен тот же путь, но его почти невозможно пройти в одиночестве. За несколько дней до Колиного вылета его знакомый привел нас на квартиру к Олегу.

Теперь уже от Олега шла тропа в мир сам- и тамиздата, информация о демократической оппозиции в стране. Я понимал, что другого пути для меня нет. Я не рвался к практической, организационной работе — это прежде времени вышибло бы меня из стен редакций и институтов. Пока есть возможность легальной работы, надо ее использовать до конца. Открытое участие в диссидентских акциях помешало бы делать то, чего не могут делать диссиденты, отвержение от научной и литературной работы у себя в стране. Олег, кажется, это понимал. Он, кандидат физико-математических наук, в пору нашего знакомства перебивался младшим научным сотрудником, грузчиком, сторожем — типичная карьера диссидента. То же светило и мне, но зачем спешить, если есть пока возможность научных исследований и критических выступлений в советской печати? Жена Олега, Наташа, специализировалась в аспирантуре по экономике, с ней нас сближал профиль занятий. Да разве это только? А Петруччо? Мы подружились семьями.

Утром пришел Олег. Он стреляный воробей, обыском его не удивишь — всегда готов, поэтому держится спокойно, увереннее нас. Разобрали события с юридической стороны. Следователи не назвали конкретного дела, по которому нас допрашивали как свидетелей, — первое нарушение законности. Свидетель вправе не отвечать на вопросы, не относящиеся к существу дела, по которому ведется допрос. Следователь обязан предупредить, нам же с Наташей об этом не было сказано — второе нарушение, фактически нас допрашивали не как свидетелей, а как обвиняемых, мы давали показания по нашему собственному делу, которое официально еще не заведено, но может быть заведено на основании этих незаконно отобранных показаний. Эх, кабы знать. Олег, например, отказался давать показания. А я полагал, что обязан давать. Можно, конечно, опротестовать протокол, но что толку? — рукописи в их руках, теперь в любом случае им ничего не мешает допрашивать меня качестве обвиняемого.

— Откуда ветер подул, Олег?

— У меня все по-прежнему, я думал, с твоей стороны.

Ума не приложу — и у меня ровно ничего.

— Был еще у кого обыск?

— Был у одних, ты их совсем не знаешь.

Опять загадка: что общего? Что за таинственное дело такое,

по которому три семейства тряхнули? Может, и дела-то нет, а так, просто номер, формальность для обыска? Но откуда им стало известно, например, о моей рукописи, почему забирают сейчас, когда я и думать о ней забыл? Очень все странно. И что дальше? Олег убежден, что изъятая рукопись совершенно недостаточное основание для возбуждения дела. Все экземпляры найдены дома, рукопись не опубликована — распространения нет, значит нет и преступления. Скорее всего, ищут материалы, криминальные для Олега. Власти охотнее сажают, чем выпускают на Запад. Следователи клещами тянули из нас с Наташей показания на Олега. Естественно, Олега волновали показания. Проанализировали подробности вопросов и ответов. В отношении Олега все нормально. Мы с Наташей наговорили только на себя. Не следовало и не обязаны мы были говорить, но мы не знали уголовно-процессуального кодекса, а главное, я принципиально не хотел уклоняться. Я не совершил ничего предосудительного или преступного, мне нечего скрывать, и если они не постеснялись ворваться в мой дом, я не постесняюсь сказать все, что о них думаю.

Пора ехать в прокуратуру. Олег обратил внимание, что устное приглашение — не официальное, и я вполне могу не идти. Зачем тогда приглашали? Ведь не только из-за зонта? И если я нужен и не приду, все равно вызовут — какая разница? Лучше не осложнять отношения. А если не выпустят? Вряд ли настолько серьезно, иначе оформили бы вызов официально. Нет, не будем дразнить гусей, надо бежать.

— Мне страшно! — затрясло Наташу Попову.

# «Так нельзя мыслить»

Вдоль здания приемной городской прокуратуры задумчиво ходит бородатый человек. Длинные пряди спадают с лысеющей головы, сливаются с проседью бороды, большой, черно-бурой. Цепкие глаза внимательно ощупывают старинный орнамент фасада. Так занят этим, будто для того сюда и пришел. Сразу видно — художник. Это Коля Филиппов. Подхожу вплотную. Увидал меня, осветился легкой, доброй улыбкой: «Я тебя жду». И так неудобно перед ним, таскают по моей милости. Ложится он поздно, его свет и заря где-то к полудню, раньше он редко встает, и вижу — глаза еще заспанные. Начинаю извиняться. Он показывает на сумку, перекинутую через плечо: «Все равно по делам». Но ведь не в прокуратуре его дела.

Чувство вины перед ним и друзьями: в неловкое положение ставлю. Коля первый, но, наверное, не последний. По записным книжкам начнут вызывать, больно им надо. Коля в Союз художников оформляется, у того докторская на носу, тот в загранкомандировку собрался, этот в горкоме партии — как им теперь выкручиваться? Если и виноват перед кем, только перед ними — своими друзьями. Не сразу углядишь все последствия того, что, казалось бы, касается только тебя одного. Круги расходятся шире того места, где падает камень. Одна надежда — на понимание. Мы сближались в радостях, выдержит ли дружба в беде? Экзамен на разрыв: кто не выдерживает, то и жалеть нечего, такой дружбе цена грош. Не будь подобных испытаний, их следовало бы выдумать. Нам придумывать нечего — началось.

С новым, особенным любопытством смотрел я на Колю. А он в двух словах уточнил возможную причину вызова, согласовал кое-какие детали, спросил время (часов он не носит). Стрелка перевалила за девять. «Пора?» — и пошел как в пивную, будто ждал, когда откроется.

В прихожей нас встретил Круглоголовый с кудрявым. Колю в одну сторону, меня опять в ту голую комнату. Спрашивают насчет зонта. Отвечаю, что ночевал не дома. «А где?» — «У знакомых». — «А поточнее». — «Поточнее не могу». Круглоголовый удалился, оставив меня с кудрявым. Крепкий красавчик. Грустные глаза, способные на все, на все, что прикажут. На штампованной физиономии никаких эмоций. Спрашиваю: где он служит, почему не в форме? Губы шевельнулись: спросите у такого-то. Назвал Круглоголового по имени-отчеству. «Он старший?» Лениво мотнул шевелюрой: «Да». Голос робота, без цвета.

Вернулся Круглоголовый: «Следователь пока занят». Больше

часа прошло — чего с утра вызывать? Делать решительно нечего, глазу не на чем остановиться. Утомительно и нелепо: зачем-то я им нужен, а мы сидим и молчим. Кто они такие? Спросил удостоверения. Не показывают. «Значит из КГБ?» Круглоголовый темнит, но дает понять, что из уголовного розыска. Какие там должности? Мегре, Пуаро — инспекторы? Улыбаются: «Вроде того». Так и разговорились. Обнаружился интерес к моей работе, к исследованием трудовых ресурсов. Как понимать дефицит при избытке? Ведь везде говорят о нехватке рабочей силы? Эта нехватка, говорю, отчасти заблуждение, а, по сути дела, обман. В условиях планового хозяйства смешно сетовать на любой дефицит, особенно, на дефицит трудовых ресурсов, — мы создаем его сами, искусственно. Дефицит трудовых ресурсов главным образом создается избыточным накоплением кадров на предприятиях, поэтому реальная проблема не дефицит, а наоборот — скрытый и явный избыток рабочей силы, от него и надо избавляться.

— Вы знаете Антосенкова? — неожиданно спрашивает Круглоголовый.

Как не знать? Он у меня в записной книжке. Исследования доктора экономики Антосенкова довольно известны специалистам, сейчас он возглавляет созданное недавно союзное управление по трудовым ресурсам — прямое начальство. Я знаю его давно, молодым, кипучим кандидатом в Новосибирском академгородке. Отвечаю коротко: «Знаю».

— У него такая же точка зрения?

— Может быть, не совсем такая, но он человек неглупый, когда-нибудь поймет — жизнь подскажет.

Не очень корректно так говорить об ученом и начальнике высокого ранга, но я так думаю и надо им показать, что есть вещи, которые выше субординации. Например, собственное мнение, убеждение. Круглоголовый читал мою последнюю статью в «Литературке», она ему больше нравится, чем «Голос из тьмы». (Через два с лишним года то же самое скажет мой лагерный куратор из КГБ, недопеченный социолог Аркадий Александрович.) Это дело вкуса, говорю, и потом «Голос» только начат, не завершен и потому мне дороже — зачем было его забирать? Не насовсем же, возражают, если ничего предосудительного нет, то вернут, а вообще, я сам виноват: занимался бы лучше трудовыми ресурсами и не забивал бы голову Солженицыным и Сахаровым. Я спорю: почему лишают права знать этих людей, то, что ими написано? Почему я не могу иметь о них собственное представление, а должен верить кому-то на слово? У Круглоголового железный аргумент: потому что они

антисоветчики.

— Да кто бы ни были, нас в университете учат судить об авторах по первоисточникам. Студентам философского факультета разрешен доступ к Ницше, Шопенгауэру, Бердяеву и в то же время сажают за чтение Сахарова и Солженицына. Где логика?

Я вспомнил, когда на встрече редакции «ЛГ» со студентами МГУ официозный писатель Чаковский спрашивал зал: слушаем ли мы «Голос Америки»? И крикнул в настороженную тишину, что надо слушать, что он регулярно слушает, иначе нельзя: чтобы бороться с идеологическими врагами, надо их знать. А следователь Боровик ставит в вину, заносит в протокол допроса то, что я слушаю. Хотя бы между собой договорились, чтоб людей не дурачить.

Молодцы посерьезнели, посерели. Круглоголовый вздул толстые губы, ворчит, что я делаю неправильные выводы и даже в опубликованных моих статьях слишком много критики, будто все у нас плохо: «Так нельзя мыслить». Какое признание! Ради таких откровений и стоит с ними беседовать. Значит, они стремятся диктовать не только поведение, творчество, слово, но и само мышление. Они считают себя вправе наказывать уже за то, что человек думает не так, как они. Политический контроль над мыслью, над мозгом, над корой больших полушарий — вот кому нужна генная инженерия. И эта отрасль знания, как и все в стране, в их руках. Мурашки по коже от успеха наук.

Круглоголовый с печалью в дутом лице корит меня за дружбу с Поповым. Похоже, и на это надо их разрешение: заводить или не заводить друзей, с кем можно, а с кем нельзя. Очень интересно: что плохого они усмотрели в дружбе с Поповым? А то плохо, что Попов — предатель. Он хочет уехать в Америку. Но это же разные вещи: если предатель, отдайте под суд, а если хочет уехать — какое же это предательство? Не нравится Попов — пускай едет, почему не даете визы? Почему, на каком законном основании вы вообще препятствуете выезду, эмиграции? Вдруг открыл рот кудрявый: «Чтоб не усиливать мощь наших врагов». Более длинной и осмысленной фразы он еще не произносил. Явная цитата из установки начальства. Вот она — подлинная позиция властей. Как она отличается от публичной демагогии для газет и Запада! Да, в своих чертогах произвол не стесняется. Я уже не жалел, что сегодня пришел.

«Тогда, — говорю, — вас совсем не пойму: чего вы церемонитесь с инакомыслящими? Они для вас и в тылу враги. Их вы не переделаете, выпускать не желаете, по вашей логике остается — всех к стенке». Кудрявый пожал плечом, мол, так-то

оно так, но начальству виднее. Этот не дрогнет при исполнении. Каменное спокойствие спортивной мускулистой физиономии делало его похожим на добротный инструмент, машину, робот, который без всяких эмоций сделает все, что прикажут. Он может избить, убить, не испытывая к вам ничего плохого, и ни на миг не усомнится в правильности того, что сделал, — таков приказ. Самое правильное в этой жизни — беспрекословно подчиниться начальству. Такова их мораль и вера. Она исключает какие-либо сомнения и угрызения, избавляет от необходимости думать. Думают наверху, а если и он шевельнет мозгами, то только над тем, как выполнять то, что велено. Оттого так спокойны и самоуверенны их лица, так чисто и честно смотрят они в глаза. Ведь по-своему они и в самом деле чисты и честны, ибо ничего от себя никогда не придумывали и не предпринимали. Все, что они делали, диктуется не их, а чужой волей, за которую, как полагают, они не несут ответственности. Главное в жизни — приказ. Святой долг — его исполнение. Дело чести — выполнить его добросовестно, чтобы начальство было довольно. И они это делают. Так воспитаны, так живут, так работают самые честные люди на земле — рыцари плаща и кинжала.

В обеденное время оставили меня одного. Добрый знак, значит, еще не сажают. Вхожу в доверие. Жду часа полтора, вернулись к трем. Может быть, хватит на сегодня? Нет, говорят, следователь просил подождать. Тогда не худо бы и мне поесть. Переглянулись, морщат лбы: «За полчаса успеете?» Да мне хоть минутку — глотнуть свежего воздуха. Со вчерашних возлияний мечтаю о кружке пива, тут есть «гадюшник» неподалеку, я знаю. Прыг-скок из прокуратуры — и вдоль по Новокузнецкой в желанном направлении. По пути за углом столовая. Мухи, вонь, духота. Иссохшие бутерброды. Раздача пуста. Женщины в грязно-белом смотрят, будто я хуже татарина, — столовая скоро закрывается. Рядом «гадюшник». А что там: кружка пива из автомата да десяток сушек. Перегорело похмелье, пиво не в радость. И полчаса на исходе. Запил сушки теплой кислятиной и обратно. Пообедал.

Бравые инспекторы сверили мою аккуратность по ручным часам. И по стрелке секундой? От скуки им морды сводит. Сонно лоснятся в духоте и сигаретном угаре. «Вам самим не надоело?» Уныло соглашаются, но что поделаешь — так надо. «Теперь недолго, — говорит Круглоголовый, — час, не больше». И уходит разузнать о следователе. Долго его не было. Зато вернулся с разрешением: «Следователь сегодня не сможет беседовать, он вас вызовет потом». Когда «потом»? У нас с женой отпуск через две недели, мать на Урале ждет на свой день рождения, путевка в

Пицунду — что прикажете делать: брать билеты или нет? Они, разумеется, ничего определенного сказать не могут, но убедительно просят пока не покидать Москвы — на этой недели мне дадут знать. «А что скажут на работе — где был два дня?» — «Скажите, что были в прокуратуре, но не говорите по какому поводу. Про обыск и допрос — не надо».

Выходим из комнаты, как из камеры. На лестнице сверху вниз мелькнул Боровик. Стрельнул в меня недовольным взглядом, будто я усугубил свое преступление перед Родиной тем, что не принес ему зонт.

## Чего-то я все-таки ждал

Мы с Наташей переживали томительную полосу неопределенности и ожидания. Часто из Южноуральска звонила мать: собираемся ли мы, когда приедем и чтоб были обязательно — она ждет. А мы не знаем, что ей ответить. Все наши знакомые в голос убеждали, что самое страшное миновало. Сразу не взяли, значит, уже не заберут. В худшем случае административные неприятности: ну по работе, ну, может, вышлют куда-нибудь — сажать-то не за что и какой из меня преступник? Надо переждать, что-нибудь нарисуется. А пока собраться с силами, чтобы подобрать хвосты, уладить дела и долги, чтоб если что никого не подвести. Несколько раз садился за читательские письма в «ЛГ». Обработка их почти закончена, осталось всего ничего, но работа не шла. В голове камень, настроение прощальное, тянуло повидаться с друзьями. На работе двухдневное отсутствие объяснил тем, что был в прокуратуре. Тут только сообразил, что нужна бумажка, в прокуратуре не выдали, и я не догадался спросить. Однако бумажку не потребовали. Коллеги заахали: что случилось? «Так себе, — отвечаю, — просили пока не рассказывать». Только распалил любопытство, ловлю сочувственные взгляды — у нас ведь в основном женщины.

Позвонила Наташа: они подъедут с Олегом. Встретились на бульваре у Пушкинской площади, где в одном из старых зданий, заселенном АПН и различными учреждениями, ютится в бывших квартирах наша лаборатория. Рассказываю о вчерашнем посещении прокуратуры, анализируем обстановку. Нельзя молчать, надо дать информацию на Запад. Олег говорит, что об этом уже позаботились, а сам чего-то оглядывается и прибавляет шаг вглубь бульвара. За нами парочка: мужчина и женщина. Когда мы встретились, они стояли спиной к нам у киноафиши-«сплетницы»: в какое кино пойти? Скромно одеты, неприметная парочка — чего Олегу мерещится? Но он уже шепотом, чтоб и я помолчал. Действительно, свернули на другую аллею, парочка за нами, дистанция в десять шагов — все та же. Олег обратил внимание: «Посмотри, как он «дипломат» держит». Да, неестественно, рука с чемоданчиком вытянута вперед. Записывают? Сворачиваем резко в сторону, на аллею, где нет прохожих. Дальше идти за нами было бы просто неприлично. Палочка исчезает из виду.

Наташа рвет и мечет: никак не остынет от своего Воробьева. «Угрозы, шантаж, привезли в прокуратуру, а в протоколе — сама пришла, я в шоке, толком не помню, что говорила, что

подписывала. Я откажусь от своих показаний, Олег, кому я должна направить протест?» Мы снова выслушали то, что она могла вспомнить. В общем, корить ее не в чем, можно обойтись без заявления. Но самолюбие ее крепко задето, допрос был унизителен. Потом, когда меня забрали, она тут же отправила прокурору Москвы заявление с отказом от показаний и жалобой на следователя. Ответ она не получила. На закрытии дела я видел протокол ее первого допроса. Воробьев действительно составил его издевательски, выставил дурочкой, но прицепиться ему было не к чему — кроме Чикиных, Наташа никого не назвала. Все-таки молодец Наташа! Не раз еще удивит меня стойкостью и бесстрашием, хотя трусиха неимоверная и такая вроде бы слабенькая и далекая от наших дел.

Приехал в командировку брат из Тюмени. Прямо с аэропорта ко мне на работу, пошли обедать в ресторан «Берлин». Днем там спокойно, можно поговорить. Старый, респектабельный ресторан. В уютном зале бассейн посередине. Выбрали небольшой столик в сторонке. Почти никого в этом зале. Ждем заказ. Вдруг среди разговора замечаю мужчину напротив. Сидит у окна, нога на ногу, держит развернутую газету, на столе чашечка кофе — классический тип детектива. Откуда он взялся, ведь не было никого? Официант приносит блюда и водку, исчезает и тут же из-за колонны вытягивается его любопытная голова. И КГБ под боком. Похоже, все связано. Вовка не видит, это за его спиной, я киваю ему на детектива. Мельком оборачивается, смеется. Кино. Говорим о своем, чего нам прятать? Договорились никому, особенно матери, пока ни слова. Если не приеду на день рождения, так он так устроит, чтоб в этот день она не волновалась. Впрочем, неделя к концу, пока тихо, может быть, образуется.

Да, мне не звонили, не вызывали. «Что я тебе говорила, все говорят, — скандировала Наташа. — Нет состава преступления, все позади». Мы решили жить, как жили, будто ничего не случилось. Вовка внес долю на подарок матери. Наташа купила длинные индийские бусы из мерцающих, как из ночи, полудрагоценных камней. Приобрел билеты в Челябинск, идем через неделю, 20-го. Несколько дней у матери, оттуда в Пицунду. На этот раз не хотелось стесняться в средствах. Пока тихо, но и перед грозой тихо. Кто знает, может это последний отпуск, последняя поездка? Мы считали дни и молили судьбу, чтобы поездка состоялась. А потом будь что будет — я был готов ко всему, но только бы не до отпуска. И потому, если поезд, то спальный вагон, купе на двоих. Если к матери, то полный багаж — от подарков до сухого вина и сухой колбасы, ничего там у них,

на Урале, нет. Если юг, то и денег побольше, чтоб хоть там не трястись над копейкой. Напоследок подарю-ка Наташе праздник. Взял командировочные сразу от двух журналов. Парой статеек между пляжами комфорт окупится. Но чем меньше дней до отъезда, тем сильнее тревога — как бы все не сорвали. Не дай бог такого подарка матери, Наташе, да и редакторов всех подведу, кому обещал или должен. Сказали бы не ехать — другое дело, но ведь не сказали, значит, надо жить, надо идти в отпуск и постараться провести его так, «чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые…»

Уши торчком. Чувствовалось, угадывалось, и практика подсказывала: живу теперь, как рыбка в аквариуме, блоха на лысине, сторожит по пятам глаз какого-нибудь майора Пронина. Под колпаком. Это значит, кому звоню, с кем вижусь — все под колпак. И, как нарочно, тянет к друзьям, хочется обойти всех. Но пришлось ограничить общение. Виделся только с теми, кто уж давно скомпрометирован моей дружбой, как Олег или Коля Филиппов, или с теми, кому нечего опасаться, как, например, художнику Вите Калинычеву — что он обо мне скажет: сколько мы бочек пива выпили? За это из их Союза, кажется, еще не выгоняют. Но звонит Миша Куштапин, симпатичный парень из журнала «Журналист», и я виляю, «не могу, не надо», потому что он в Грецию собирается, и наша встреча может ему повредить. Боб Чикин зовет на выходные на дачу — отказываемся, у Боба загранкомандировки, самый взлет профессиональной карьеры, лучше теперь ему от меня подальше. Будто чумной, прокаженный, уходил от встреч с близкими и любимыми, кого больше всех хотелось увидеть, но их больше всего и берег, чтоб не пала зараза.

Правда, не всегда удавалась. Никак, например, не смог увильнуть от Миши Куштапина. Он чего-то заподозрил, дошло до того, что на очередной звонок я ему прямо в трубку: обыск, допрос был. Вот, думаю, напугано. А он: «Сейчас же еду». А времени часов 11 вечера да еще с другом и коньяком. «Лучше бы ты в Грецию съездил, чем ко мне». Очень мечтал он, долго пробивался и недавно получил разрешение. Только рукой махнул. То ли стало ему безразлично, то ли уверен был, что этот визит не помешает. Дружок его мне не понравился. Слишком упорно корчил пьяного и молчал. Вроде он тассовский фотокорр, вроде Пушкин фамилия, я видел его с Мишей несколько раз. В этом году — весной на Мишином дне рождения, у Миши дома, где таинственным образом исчезла моя записная книжка. Может зря думаю, но ведь кто-то же спер мою книжку, и оба раза — тогда и сегодня — маячит фигура Пушкина. Потом следователь Кудрявцев с загадочной улыбкой назовет какую-то фамилию:

«Знаю ли я такого-то?» Я ответил «не знаю», кажется, спрашивал он про этого Пушкина. Может, я ошибаюсь, грех напраслину городить, но поневоле задумаешься.

«Ограниченный контингент» знакомых заполнил всю оставшуюся неделю. Что ни вечер, то выпивка, а мы, если пьем, то досыта. Внутреннее напряжение, стресс, тревога со дня обыска. Курю много. Короче, прихватило меня в полночь с воскресенья на понедельник. Лежу к Наташе валетом, головой к «Телефункену» — слушаю, как обычно, передачу для полуночников по «Голосу». А самого, как часто последние дни, одолевают мысли о Шукшине, Володе Васильеве, Георгии Радове, Саше Усатове, Высоцком — разные люди, кто писатели, кто друзья, кого лично не знал, но родные, очень близкие и все они тяжело сокрушали меня внезапным уходом из жизни. Все от сердца. Шукшин в 1974 году, Саша Усатов в нынешнем январе, Высоцкий только что, но я одинаково и по сей день не мог согласиться с их смертью. Только Радову 60, остальные сорокалетние — они не должны были умирать. И дело не в возрасте. Каждый из них занимал опорное место в моей жизни. Слишком много надежд, ожиданий, много кровного они обвально унесли с собой. Слишком многое было связано с ними. Они продолжали жить во мне, часто снились, и в то же время чувствовал себя сиротливо, как дерево с обломанными ветвями, я вынужден был жить без них. Это было несправедливо: как же так — их нет, а я живу. Частенько казалось, что я не могу, мне незачем жить без них. Вот и сейчас такое наваждение: их сердце бьется в моей груди, так же как в их последние минуты. Я чувствую, как сводит его стальной судорогой, как чугунеет левая сторона и биение то замирает до ужаса, то колотит взбесившимся молотком. Я взлетаю и падаю, все выше и ниже, еще удар — и я либо улечу навсегда, либо провались в бездну. Изо всех сил стараюсь упорядочить дыхание, напрягаю волю, чтобы не думать или думать о чем-нибудь другом, пытаюсь вслушаться в радио, но они возвращаются и еще теснее обступают меня — Шукшин, Васильев, Радов, Усатов, Высоцкий. Их сердце не выдерживало во мне. Еще миг и оно лопнет, разорвется, ударит горячей волною кровь и затопит меня. Вдруг невыносимая тяжесть в тихих звуках приемника, они бы тотчас раздавили меня, если бы из последних сил не успел его выключить. Приступ дикого страха, ужаса, жар, прошибает пот, в стальной комок стремительно сжимается сердце. Это конец. «Наташа! Наташа!» — реву что есть мочи и не слышу себя. Наташа спит. Растолкать ее — не могу шевельнуться. Секунда — и все будет кончено. Отчаянного рывка едва хватило, чтобы шевельнуть пальцем ноги и коснуться Наташи. Она моментально

проснулась и все увидела в свете настольной лампы. Острый дух валериановых капель. Сердце тикнуло, словно в раздумье: бить — не бить. Там, в груди, шла борьба, я недвижен, не спадает тяжелое жжение слева, долго не сохнет испарина на лбу. Так с час. Потом отступило. Первый раунд я выдержал.

С утра в поликлинику. Врач назначает кардиограмму на пятницу. Но в среду вечером поезд. Пишет записку, чтоб кардиограмму сделали утром в среду. Запретила пить и курить. «Может еще и кастрируете?» «Благодарите судьбу, что вы сюда сами пришли, а не увезли вас в реанимацию», — строго сказала женщина в белом.

Через аптеку — на работу. На душе штиль, полное умиротворение, покой и прозрачность. Не хочется ни пить, ни курить. В кармане вместо сигарет таблетки. Женя Руднев, кандидат, болезненно страдающий непрестижной ставкой м. н. с., после обеда выставил бутылку сухого. Я отказываюсь. Он удивляется: «Прокуратуру забыть не можешь? Брось». Стучу в грудь: «Мотор». «Ну, это серьезнее. Но что от сухого? Это на пользу». Составил компанию, запил таблетки вином. Кроме Жени и Нади в секторе никого. Признался им, чувство такое, будто этот стакан последний, прощальный. «А ты когда в отпуск?» «Послезавтра». «Так завтра день». «Конечно, отметим, если дадут». «Вон ты о чем! — сообразил Женя. — Брось ты голову забивать. Две недели прошло — что, они твоего отпуска ждут? И за что? Это ж ни в какие ворота». А сам еще наливает. Да, думаю, ни в какие ворота. Если по здравому смыслу. Но чувство откуда, предчувствие-то? По здравому смыслу и обыска не должно, а ведь был, изъяли.

Странные, невиданные сны были накануне обыска. Снилось, что я служу в армии, рядовым — дисциплина, неволя и подчинение. Истек срок дембеля, а меня держат, не отпускают. Или я в робе слесаря на аглофабрике, как 20 лет назад, только я не тот, а нынешний, и сам на знаю, куда, там приткнуться, и начальству неловко, не знают, что со мной делать. Стыдища. И так натурально, что мурашки по коже. Армия и завод, рядовой и рабочий — сны толкали меня обратно туда. Ужаснее снов я не видел, просыпался в кошмаре. Вот чего они привязались?

Или ностальгия по Карабеку. Тоже — чего вдруг? Года два назад отрубило желание куда-либо ездить. А такой был любитель — мотался по стране от разных редакций и на работе командировок хватало. От края и до края, наездился да тошноты. Чувствую, никуда больше не тянет. Везде одно и то же, объелся отечественной экзотики. Если ездил теперь, то только по необходимости, через силу себя заставлял. И лишь одно место

манило неудержимо туркменский Карабекаул, моя настоящая родина. Почему-то последнее время особенно, хоть на день, хоть глазом одним. Двух лет мне не было, когда родители переехали с уральского города Карабаша, где я родился, к отцовой родне в Карабек, в пекло Кара-Кумов, на берег оросительного канала, несущего мутную воду быстроногой, раздольной, изменчивой в песчаных берегах Аму-Дарьи. Здесь родились брат и сестра. Здесь родились мое сознание и первые впечатления о мире. Мы жили там лет пять. Потом перебрались обратно на Урал, в Каменск-Уральск. И вот через тридцать лет одолела тоска по моей настоящей родине. В июне выкроил десять дней, взял командировку от журнала «Молодой коммунист». Ашхабад, Мары, Чарджоу — галопом по Туркмении, и все для того только, чтобы коснуться иссохшей земли Карабека.

Был я там меньше суток. Ночевал в семье комсомольской секретарши. Заходили старики, вспоминали отца, мать, Но больше и лучше — деда, который и сгинул где-то в этих краях в безвестности. На Аму-Дарье покатались на теплоходике, выпили с речниками, кое-кто из них рыбачил, охотился с Сашкой, моим отцом. Искал на старом кладбище, среди скособоченных мусульманских полумесяцев, могилу прабабушки Бабани, она умерла при мне, помню пуговицу на одном глазу, монету на другом. Могилы обветрились, заросли верблюжьей колючкой, конечно, не нашел. Дом, где мы жили, перестроен, там сейчас контора, во дворе снежно белеют насыпи коконов шелкопряда, но угол дома, где были комнаты нашей семьи, сохранился — те же два окна. Пробирало до слез, всего не расскажешь. То и дело казалось: выскочат со двора обугленные пацанята — и бегом к каналу и среди них старый знакомый Ленька. Ленькиными же глазами через деревья тутовника на больницу смотрю и вижу: мать лежит с маленькой, словно припудренной Лидочкой, мать устало улыбается нам с отцом, яйца не берет, говорит, не лезут. А там, гляди, Ленька рогаткой не целится ли? Не появится ли у синей стеклянной ручки дверной ресторана в саду, где мать — буфетчица? Но нет, не появится — ресторан срыт, сад разворочен, я стоял среди строительного мусора и чахлых кустарников.

А представьте, побыл в Карабеке — и словно гора с плеч, с души отлегло, словно завершил тем самым какой-то круг жизни и на этом можно поставить точку. Это было в июне, а в августе — обыск. Сны, ностальгия по Карабеку — было ли это простой случайностью? Больше похоже на предчувствие финала — отдавало мистикой, чудом. Откуда такое предчувствие? Ведь внешне ничто не предвещало. Я был далек от мысли подводить какие-либо итоги. И только теперь пытаюсь осознать то, что давно

говорила интуиция.

Хотя внешне жизнь моя выглядела довольно сносно, все же к 35 годам не мог отделаться от ощущения тупика и беспросветности. Последняя запись в дневник: «Жизнь воткнулась в вязкое дерьмо, и я не вижу выхода». Да, молодые мечты исполнились. Исследовал, печатался. Но чем серьезней материал, чем ближе к истине, тем труднее пробивать. Тема — надо кричать, а испохабят в мышиный писк. Краснеешь над опубликованной статьей от того, что с ней сделали. Десятилетия об одном и том же, куча высоких постановлений, горы написанного — и все пишем, пишем. Толчем воду в ступе. Почему так? Где заедает? А копнешь глубоко — по рукам. Редактор говорит: «Слишком в лоб», издатель: «Чересчур негативно», начальство: «Это не наша проблема». Критикуй, разгребай навозные кучи — пожалуйста. Но как только коснешься, откуда дерьмо, как только замахиваешься на корысть и бестолковщину центрального управления — сразу шлагбаум, дальше нельзя. А ведь вся гадость оттуда. Как же работать, что исследовать, если и так ясно? Надо всерьез браться за механизм управления, либо остается по-прежнему месить седьмую воду на киселе. Если действительно что-то хочешь выяснить или сделать, конфликт с властью неизбежен, если не хочешь конфликта, живи для себя, делай карьеру, но проблема с места не сдвинется. А карьера — вступай в партию, защищай докторскую с одним непременным условием, что ты не только не помешаешь, но должен помогать, оправдывать, научно обосновывать их безобразия. Тогда ты «свой». Книжки пойдут, диссертации, высокие должности и т. п. Но если ты видишь, что интересам общего дела противоречат интересы ЦК, если интересы дела для тебя важнее ЦК, если тебе не нравится крикливо самозваная партия — «ум, честь и совесть нашей эпохи», то и ты им не очень понравишься. Слетишь отовсюду, потеряешь все, что имел. Зато останется то, чего у них нет, — совесть. Это путь диссидента. Путь жертвенный, но единственно честный путь. Умные люди находят, правда, середину: думай про себя и делай, что скажут. Для всех хорош и для себя тоже: в кармане фига собственного достоинства. Но что с фигушки толку, если служить-то приходится неправому делу? В лучшем случае никаких дел. Хороним себя заживо.

Так и так дилемма: умирать стоя или жить на коленях. Топчусь у развилки. Умирать не хочется. Жизнь на коленях — не жизнь. И надо о Наташе подумать: возраст, пора бы детей заводить. «Печально я гляжу на наше поколенье: его грядущее иль пусто иль темно». Но делать что-то надо. Что?

То, что хочу, не дадут. В стол? Но какие же рукописи

залеживаются в столе? Это опала, арест. И в стол не дадут. Работать становится все труднее, опаснее. Родная земля уходила из-под ног, выталкивало, уносило меня к другому берегу. Уехал Коля Елагин, на чемоданах Олег Попов. Работать можно только на Западе. А значит, и жить только там. Так ведь не выпустят. Я не еврей. А родные, Наташа? Мама ее, коммунистка, вдова гэбэшника, точно не согласится. А алименты? С работы погонят — на что жить?

Заколдованный круг, как в плену. Как прорубиться — не знаю, но другого выхода нет. Близилась развязка. Какой она будет, когда — этого я не знал, но знал, что она неизбежна.

Предчувствия меня не обманывали. Чего-то я все-таки ждал. Может быть, не так скоро. Я надеялся кое-что успеть написать, сделать, переправить на Запад. Туч над собой не видел, поэтому гром среди ясного неба был большой неожиданностью. Смыло рукописи, ничего не осталось из того, что было дорого, что хотел сохранить, из чего вырастал фундамент надежд и дальнейшей работы. Но вместе с горем появилось и чувство облегчения, словно нарыв прорвало. Не надо больше маскироваться. Не надо молчать, когда нет уже сил молчать, из «173 свидетельств национального позора», из рассказов, записок и дневников они узнали все, что я о них думаю, а на личном опыте я убедился, что «так мыслить нельзя». Объяснение состоялось.

Мне еще повезло, что они пришли не раньше, не позже, а именно в тот момент, когда, у меня не было чужой диссидентской литературы. Неудобно не возвращать дефицитные книжки. И потом лишние вопросы: у кого да откуда? Позже я мог написать или опубликовать что-нибудь похлеще «173 свидетельств». К этому шло. И тогда вряд ли бы отпустили из прокуратуры, засадили бы всерьез и надолго. Так что они удачно пришли. И рукописи, все экземпляры чудом оказались дома — никакого распространения. Как они повернут, найдут ли юридическое основание для суда — даже интересно. Но как бы там ни было, терзания мои кончились. Я уже не топчусь у развилки дорог, путь мой — открытая оппозиция. И я еще на свободе.

В понедельник, когда оставался всего один день до отъезда, мы с Наташей поверили своему счастью: за день ничего не должно случиться, нам дадут отдохнуть. Во вторник нам просто некогда о чем-то таком было думать. Думали и ждали две недели, ну а последний день надо готовиться к отпуску. Собрать вещи, закупить гостинцы, продукты — этим занималась Наташа. У меня на работе куча дел: сдать свои разделы в отчет, отправить тезисы на конференцию, получить гонорар, отпускные, раздать долги да поискать копченую колбасу в соседних буфетах

привилегированного АПН — где еще сыщешь? Задерган, но возбужден приятно, еще бы — все-таки едем! Даже обедать некогда. Все разошлись, я один в секторе, спешно дописываю тезисы.

# У «Олимпийского комплекса»

И тут они вошли. Круглоголовый и кудрявый. «Все!» — так и пригвоздило меня. Машинально прибираю на столе бумаги. «Ничего трогать не надо. Поторапливайтесь!» — «Одну минуту, я напишу доверенность». Написал доверенность, чтоб гонорар получила Белкина, у которой занимал, вложил в конверт, но как передать? В это время на пороге Женька с Надей. Остолбенели. Робко разошлись к своим столам. Подаю конверт Наде: «Передашь Белкиной». Хозяева мои ждут в дверях. На выходе оборачиваюсь: «Счастливо, ребята!» Смотрят вслед широкими зрачками.

Ослепительный августовский день. Солнце бьет по очкам. Пересекаем улицу к черной «Волге». Белые занавесочки на заднем стекле. Услужливый шофер дверцу распахивает. Сначала Круглоголовый, потом я, между ними. Поехали. «Что же вы не позвонили, ведь обещали?» — Зло перебарывает страх, но стараюсь быть вежливым. Молчат. «Так некстати, — говорю, — вчера приступ был». — «Хорошо, что поставили нас в известность», — деликатно отвечает Круглоголовый. Куда же везут, может не насовсем? Уж больно смотрятся мирно. «На месте узнаете». Через Трубную площадь на Цветной бульвар, мимо цирка и фасада «Литературной газеты», правый поворот на Садовое кольцо — в городскую прокуратуру? Нет, свернули на проспект Мира, за станцией метро — в переулок Безбожный. Подходящее название для переулка, где суд и прокуратура Дзержинского района. Когда-то я здесь с Леной разводился. Остановились у подъезда старого желтого двухэтажного дома — прокуратура. Заводят на второй этаж, в светлый кабинет. Из-за стола поднимается элегантный мужчина с седым крылом в темных, аккуратно причесанных волосах. Светлый костюм. Приветливая улыбка на мягком, симпатичном лице. Ореховые глаза лучатся: «Алексей Александрович?»

— Да.

— Я старший следователь Дзержинской прокуратуры, Кудрявцев Игорь Анатольевич, назначен по вашему делу.

Приличнее Боровика, думаю про себя. Кудрявцев серьезнеет, берет около пишущей машинки официальный бланк:

— Вы обвиняетесь в преступлениях, предусмотренных ст. 228 и ст. 190 ч. 1 УК РСФСР. В интересах следствия я вынужден вас изолировать. — И смотрит на меня так, будто я ему должен спасибо сказать. — Подпишите.

Расписываюсь на обвинительном постановлении. Кудрявцев

кивает ребятам: «Можно ехать».

По ту сторону проспекта Мира, около красы и гордости московской Олимпиады, спортивного комплекса «Олимпийский» — отделение милиции, вход, так сказать, со двора. В узком коридоре навстречу громила в спортивной куртке, морда лопатой. Осклабился, рычит: «Попался! Уж я с тобой поговорю!» Кулак с ведро помойное. Веселый человек, с ватагой — наверное, начальник. Они на выход, мы внутрь. Милицейский вестибюль. Справа железные двери камер, коридорчик куда-то. Прямо, очевидно, служебные кабинеты.

Слева, за стеклом, пульт дежурного. Желчный, сморщенный капитан грубо выворачивает мои карманы, сдергивает ремень, шнурки на туфлях — все на стол. «Поворачивайся, хули стоишь, как пень!» Ребята мои невозмутимы, мол, цени наше хорошее обращение. Да, разница заметна. «Товарищ капитан, нельзя ли полегче?» «Волк тебе товарищ! — толкает сучковатой рукой, лезет кривыми пальцами в карманы джинсовой куртки. — Снимай часы!» Стряхиваю эту какашку с себя, отхожу в сторону: «Прекратите хамить!» Круглоголовый бубнит что-то сердитому капитану, тот жутко хмурится, не глядя на меня: «Выкладывай сам на стол». Капитан примостился у края стола, что-то под копирку пишет. Первый экземпляр мне — акт изъятых вещей при личном обыске. С трудом разбираю корявую, малограмотную писанину. Как явствовало из этого документа, фамилия капитана Кузнецов. Перечень изъятого завершала похожая на куриную лапку подпись. Капитан увязывает в носовой платок содержимое моих карманов, забирает очки, таблетки. «Отдайте таблетки! Врачом прописано каждые два часа принимать таблетки».

— С собой не положено, — скрипит капитан.

— С собой? Куда с собой? — Кто-то внутри задает мне дурацкие вопросы, сам-то я все понимаю, но до него еще не доходит.

Капитан подталкивает меня к камере, железная дверь гостеприимно открыта. Круглоголовый и кудрявый молча стоят у стены. Грустно смотрят, показалось даже — сочувственно. И я к ним за две недели привык, жаль расставаться. Что от них? Ни одного грубого слова, одна приятность бесед. «Желаю звездочек!» — крикнул напоследок Круглоголовому с порога камеры. Так и стоит передо мной: коренастый, лысовато-одутловатый, с невозмутимым взглядом серых глаз, не знающих ничего более важного и нужного, чем то, что он исполняет. Жаль, если в моем пожелании он не услышал ничего, кроме ехидства.

Тяжело грохнула дверь за спиной. Скрежет ключа, словно провернул его капитан меж моих ребер. Примерно три

квадратные метра тяжелого сумрака. Даже лампочка — за решеткой, тускло гноится над дверью. Прямо, чуть не у самого потолка, круглое, пыльное окошко в кресте переплета — и крест за решеткой. По бокам, сантиметров двадцать от пола, два деревянных настила, на одном, слева, темнеет скрюченная фигура. Ни форточки, ни щели какой, совершенно замкнутое помещение — склеп могильный. Давит со всех сторон: справа — слева, сверху — снизу, сзади — спереди и некуда деться, стиснуло до самого сердца — жмется в дробину. Зашевелились от ужаса волосы на голове. Не переношу замкнутого пространства. Этого я больше всего боялся, не сойти бы с ума. Креплюсь. И не один все-таки: русый парень деревенского вида. И верно — он из деревни. Чего-то набуянил по пьянке, приперся в Москву, а тут на таких нюх острый. Не очень-то разговорчив, но внешне абсолютно спокоен, из тех, видимо, кому все трын-трава, а может быть, даже интересно в столичной каталажке. Его вскоре убрали. Лязгнула дверь соседней камеры, наверное, туда перевели.

Один в непроницаемых стенах. Хоть бы дырка наружу. В двери вырез, но закрыт крышкой. Чуть выше — воронка «глазка», но «веко» опущено с той стороны. Припал к свету щелей: ничего не видно. Ворчанье басов, шаги, неразборчивые стенанья женщины из камеры. Глухо, как в гробу, и крышку прибили гвоздями. «Радомес! Радомес!» — мечется у гробницы Амнерис. И хор жрецов, хоронящих заживо… Где Наташа? Что с ней? За дверью иногда оживление, всплескивают голоса, но неразборчиво. Может, она уже здесь? Догадывается ли, с какой стороны окна камер? Вцепился в край оконного проема, подтянулся: просторный вид на «Олимпийской», дорога почему-то далеко внизу — так высоко окно с улицы. Проезжая часть у самой стены, тротуар с той стороны дороги. Идут парень с девушкой, с зонтом — капает, что ли? Из немытого стекла в любое солнце пасмурно, но, кажется, действительно непогодит. Ветер задирает плащи и юбки. Оконце двустворчатое, с решеткой меж двойных стекол — не откроешь, впаяна глухо. Движение довольно редкое, прохожих мало — закоулочная сторона. Будь Наташа — я бы ее увидел. Но ее нет. И руки отваливаются. Так прыгал несколько раз. Хоть бы увидеть ее, может, меня заметит — будет точно знать, что я здесь, бог знает, что они ей наговорили?

Вдруг створка в двери откидывается и на ней миска с борщом. Забираю, крышка тут же захлопывается. Устраиваюсь на нарах. Есть не хочется, а ведь с утра ни крошки. Поводил ложкой, борщ неплох, наверное, из столовой, она рядом, на проспекте Мира. Снова створка нараспах. Сержант удивленно смотрит на полную миску, но, ничего не говоря, забирает и подает другую с

котлетой и гречкой. Года два я ничего мясного не ем из принципа «мы никого не едим». Гречку через силу втолкнул, нельзя расслабляться. Снова сержант округлил глаза, глядя на несъеденную котлету. Только прилег — сердце опять сводит судорогой. Жжет слева грудь, лечу в пропасть. Сдохну я в этом гробу, глупо и обидно до слез, а может, этого им и нужно, для того и вогнали сюда? Ну врешь, так просто не сдамся. Ковыляю к двери, стучу. Никто не подходит. Стучу громче, кулаком. В створке морщинистый лик сердитого капитана. «Дайте мои таблетки». Чертыхался, но принес. Даже дверь открыл. Я вышел налево в туалетный коридорчик, запил таблетки. Чистенько, побелено — тоже к Олимпиаде готовились. Назад не хочется. В нескольких шагах другая дверь — выход, свобода, но куда бежать — у камеры капитан с ключами стоит. Мне туда.

Таблетки не помогли. Как ни пытался совладать с собой, новый приступ панического страха поднял меня с нар. Сердце лупит молотом. Слабость неимоверная, еле двигаюсь. Стучу, зову врача. Кто-то буркнул за дверью: «Щас будет». «Откройте створку, я задыхаюсь». В ответ быстро удаляющиеся шаги. Хлопанье входной двери. Женский голос. Шепот, перебранка. Тычусь во все щели, не видно. Негодующий женский крик — боже мой, это Наташа! Барабаню руками, ногами: «Откройте!» Там тоже орут, неужели она меня не услышит? «Наташа! Наташа! Я здесь!» — хриплю что есть мочи и не узнаю своего голоса. Она что-то крикнула мне, стукнула дверь, похоже, ее вытолкали, она обратно, снова ее голос в скандале, опять хлопок двери и тишина. Отчетливая мужская ругань. Шаги в мою сторону, рывок «кормушки» и пламенеющая рожа капитана: «Я тебе постучу, такую-то мать! Пиздюлей захотел?» — «Дайте увидеть жену, мне лекарства нужны!» «Пошел на…» Удар крышки сотрясает тяжелую дверь. Мне терять нечего, продолжаю стучать: «Врача!» «Будет врач, хули еще надо?» — кричат издалека. Валюсь на нары.

Через какое-то время заворочался ключ, то был не врач, а лохматый человек в лихо распахнутом коричневом пиджаке. Дверь закрыли за ним: «Ух! Опять по новой! — тряхнул кудрями и с порога тосклива оглядел камеру. — Куда я попал? Чистота!» Упал спиной на свободные нары, руки за голову, нога на ногу, полы пиджака крыльями по бокам. С ним мне стало легче.

Его зовут Миша. Он не впервой за решеткой, но вот уж чего не ожидал, так именно сейчас здесь оказаться, и квартирка незасвеченная, и жил аккуратно, днем не вылазил, и хозяйка — своя в доску, и был-то всего пару дней — как застукали, непонятно. Соседи вложили, больше некому. Вот всегда так: как в Москву, так за решетку, больше месяца не гуляешь, будь она

проклята. И без Москвы нельзя: родной город, родня, знакомые. На этот раз и дел никаких, так, по мелочи, из-за таких пустяков даже искать не будут — как напали на след? Уму непостижимо.

Миша — вор. С детства. Больше он ничего не умел и не хотел уметь. Он — еврей. Я даже не подозревал, что есть евреи-воры. Не то чтоб торгаши или махинаторы с партбилетами, такими хоть пруд пруди, а настоящие: по карманам или квартирам. Это для меня было ново. «Что ты, — говорит Миша, — сколько угодно. Есть асы — у МУРа в особом почете». Вспомнил для примера старичка-еврея, с которым муровцы по сей день по сейфам консультируются — виртуоз. «Но он, наверное, уже завязал?» — «По медвежьей части, конечно. Зачем? Он себе заработал, ему хватит. Но, — подмигивает Миша, — он ведь не только МУР консультирует. Братва его уважает». — «Это и есть вор «в законе»?» — «Нет, это раньше было. Сейчас не та масть. Различаются путевые и непутевые, больше каждый сам по себе. Настоящих воров, можно сказать, не стало. Закона не стало». — «А что значит «в законе»? — «Много значит. Были железные правила. Стал, например, вором — ты уже никем быть не можешь. «Мокрого» не позволяли. Такие дела решали на сходняке и, если мочили, то своих — кто провинился. Проигрался — отдай, обещал — сделай. А нет — замочат. А если кто ссучился или раскололся, из-под земли доставали. Раньше было больше порядка».

— А сейчас?

— Да разве сравнить? «Козлы» на свободе спокойно пасутся.

— Что ж так?

— А кто на себя возьмет? Каждый о себе думает. Закона нет, воров повывели.

— Куда ж они делись?

— Подписка. Слышал, наверное?

Краем уха что-то слышал. Это подтвердилось из рассказа Миши. В конце 50-х — начале 60-х годов была милицейская облава по искоренению организованной преступности, когда арестовали все сколько-нибудь заметные фигуры воровского мира и потребовали подписку о прекращении преступной деятельности. Ко давал подписку — отпускали, кто нет — оставался в тюрьме бессрочно, пока не подпишется. По воровскому закону дать такую подписку означало завязать, т. е. ссучиться. Многие тогда, даже из самых авторитетных, сломались. Но не все. Этих по сей день держат «в крытой», т. е. в тюрьмах, на особом режиме. Большинство там же поумирало, но кое-кто жив, «держит стойку», предпочитая сдохнуть в тюрьме вором, чем жить на воле сукой. Они, говорит Миша, и сейчас в

огромном авторитете, слово их в цене. Из своих камер не теряют связей с воровским миром. Если есть еще понятия правильного и неправильного, то в значительной степени благодаря им — апостолам воровского закона.

Неправомерно жестоким, незаконным путем стремился «романтик» Хрущев пожать руку последнего преступника к 1980 году, объявив этот год первым годом светлого будущего, началом коммунизма, но пожал собственную опалу и смерть от таких же как он преступников, а уголовный мир, словно в ответ на беззаконие, разросся невероятно, не стало порядка в нем и больше стало жестокости. Карательная компания уничтожила не преступность, а человечность в преступности, не воровство, а рыцарство воровства, не воров, а наиболее порядочных из них. Государственное беззаконие спровоцировало беззаконие внутри воровского мира. Воровской самоконтроль государство не смогло заменить эффективным милицейским контролем. Вместо воров «в законе» множатся орды тупого, продажного, жестокого, разнузданного жулья. Зла обществу от этой стихии больше, нет на нее управы, и если из зол выбирать меньшее, то становится очевидным, что воры «в законе» — меньшее зло. И бестолковщина милицейского произвола не вредней ли вора, «в законе» которого больше авторитета и толка, чем в липовой Конституции деспотического государства? Между прочим, защитники и герои народа — Робин Гуд, Разин, Пугачев — все они с точки зрения государства воры и даже разбойники.

Я недавно прочитал в газете, что на юге Африки, в Кейптауне, состоялась международная конференция воров-карманников. «Большие сходняки и у нас есть, — говорит Миша, — даже на зонах» — «Всесоюзные?» — «Ага, — смеется, — межлагерные». Я думаю — шутка и в тон ему: «Хозяин командировку выписывает?» Но Миша серьезен. Шустрым воровским «телеграфом» объявляется сходняк на какой-то зоне. Как нужные люди попадают сюда из других зон? Есть разные способы: подкуп администрации, симулирование болезни, идут даже на новое преступление, чтоб получить нужный режим, например, ударит мента или замочит «козла» — лишь бы на этап. Чаще зэк просто отказывается от своей зоны, т. е. не выходит на работу, перестает подчиняться, требуя перевести туда, куда ему надо. За такой каприз — изолятор, бур (барак усиленного режима), голод, холод, вши. Держат месяцами, а то и больше — зэк стоит на своем. Начальству не нужны лишние трупы, от такого камикадзе оно само радо избавиться, отправляют на этап, только бы с глаз долой. Как правило, не туда, куда зэк просится. В этом случае по прибытии на новое место, как говорит Миша, зэк вообще «не

поднимается» на пересыльную тюрьму или зону, т. е. отказывается заходить, настойчиво выставляя свое условие: или туда-то или никуда, хоть убейте. Снова камера, буры до следующего этапа. И так по нескольку раз. Самое удивительное, что, в конце концов, зэк добивается своего. Если, конечно, выживет. С учетом дорожных трудностей такие сходняки назначаются не на день и час, а на определенный год. Не часто, но бывает, говорит Миша.

Легко верить, когда не знаешь. Сейчас в возможность подобных «конференций» верится с трудом. Может, это раньше было, может, не совсем так, может, приврал Миша из патриотизма — мол, наш вор не хуже кейптаунских? Однако чем черт не шутит. Мой опыт мало о чем говорит. Я сидел на общей зоне, с «первокурсниками» — первоходочниками. А Миша говорил о профессорах и академиках лагерного мира, они на режимах строгом, особом, с ними я почти не общался, к тому же они не раскалываются первому встречному. Но всем известно, что они способны на многое.

Воровской век не долог. Режим в гулаге ужесточается, и железное здоровье до 40 не выдержит: что ты себе думаешь, Миша?

— Вор живет одним днем, — отвечает Миша.

Он из вполне добропорядочной семьи. Брат, сестра, прочие родственники — люди как люди, кое-кто на высоких постах — один он такой, а почему — сам не знает. На первых порах, точнее, сроках, родня помогала, увещевала. Давно уж рукой махнули, теперь не признают — нет у него родни. Привязанность к воровскому ремеслу оказалась сильнее родственной. «Не раз говорил себе: хватит! Но отбывал срок, а где воля? На работе? В лагере — на хозяина, здесь на кого — на другого хозяина? Какая же это воля? Возьми работягу, — говорил Миша, — Сколько у него отпуск? 15 дней. А какие деньги? Концы с концами не сводит. А у меня отпуск от зоны до зоны больше года бывает. Живу в свое удовольствие. Я отсидел и вышел, а у работяги пожизненный срок. И я знаю, за что сижу, а он за что? За стакан бормотухи? Я раб поневоле, он раб добровольный — вот и вся разница. У меня мало свободы, но она есть, если работаю, то на себя. Да я день свой свободы не променяю на год кабалы».

— Но ты же людей обворовываешь.

— Каких людей? У работяг нечего взять. У кого есть что взять, те сами воруют. Такого не западло.

Эта избирательность, как я понял, отличает путевого вора от непутевого, от расплодившегося ныне хулиганья, срывающего шапки с прохожих, убивающего за поллитру, лезущего в любой

карман, любую квартиру, не брезгующего брать единственную кофту, последнюю копейку — что-нибудь да урвать. Мало чести во всяком воровстве, но если оно неизбежно, если сравнивать, то путевый вор, конечно, предпочтительней. В воровской жизни случается всякое, были у Миши поступки, о которых он не хотел бы вспоминать, которых лучше бы не было, но, в принципе, он считает себя путевым.

Врач появился часа через два. Не тюремный, а обычная бригада скорой помощи: толстая врачиха, и девушка-медсестра.

Меня увели в комнату, где врачиха, смерив давление, пробасила: «Симулянт!» Я сказал, что этот диагноз противоречит диагнозу районной поликлиники, пусть сверит с картой больного. Она остервенело сворачивает шланги прибора: «Нечего попадать сюда. Натворите, потом жалуетесь. У вас совершенно нормальное давление. Лиза, дай ему корвалол!» Лиза наливает микстуру, а я спрашиваю у блюстительницы общественного порядка в белом халате: «Корвалол — от симуляции или от сердца?» Толстая бандерша свирепеет: «Умный очень? Лиза, вылей!» И в открытую дверь дежурному: «Уведите его, он совершенно здоров!» Сгораю от стыда и возмущения.

В камере застаю третьего. Он уступает место на нарах (Миша называет их «софой»), я валюсь без сил. Угомонившееся было сердце снова взбесилось. Миша и этот, третий, не помню имени, пусть — Володя, барабанят в дверь, требуя для меня медицинской помощи. Несколько раз подходил служивый и говорил, что он доложил дежурному. «Будет врач?» «Откуда я знаю». «Зови дежурного!» «Не идет, он занят». Я прошу выдать мои таблетки, которые у дежурного. Милиционер уходит и пропадает. Ребята опять стучат, орут матом. В ответ яростный лай капитана Кузнецова, из которого выясняется, что он не доктор, а доктор сказал, что я симулянт, и х… а не таблетки.

Все-таки «скорая» приехала. Меня осмотрел и выслушал молодой врач. Вполне корректен, видно еще не успел испортиться. Действительно, давление почти нормальное, но мне надо успокоиться — приступы на нервной почве. «В аптечке есть корвалол?» — спрашивает у дежурного. «Не знаю, чего ему жена принесла», — скрипит капитан Кузнецов и несет склянку корвалола. Спасибо, Наташа, умница. Врач велит дежурному выдавать также мои таблетки. Раздосадованный капитан бросает мне весь пакетик, изъятый при обыске, а заодно замшевую куртку, свитер — с охапкой положительных эмоций вернулся я в камеру. Ложка корвалола и таблетки оказались как нельзя кстати, но лучшее лекарство — доброе отношение молодого лекаря и забота моей жены.

Поздно вечером опять выводят. В комнате, где принимали врачи, сидит в плаще темный человечек и торопливо сует бумагу: «Подпишите». Типографический бланк о задержании. Рукой вписано, что я задержан на месте преступления. Меня забрали с работы — какое я совершил там преступление? Кривая ухмылка: «Это не имеет значения, пустая формальность. Будете подписывать?» «Нет». «Не хотите — как хотите», — веселится человечек. Он был пьян в стельку.

Ночь прошла в тихой беседе и переминании боков на жестких досках. Все затекает, ребра ноют, то и дело ворочаюсь, к тому же было довольно холодно. Что бы я делал без свитера и куртки от Наташи? Ее тепло согревало меня с первой ночи, растянувшейся на три года. А ребята — как дома. Мишин голый живот вздымался из-под вылезшей из штанов рубашки. Пиджак под голову. Ему не жестко, не холодно, а я дрожу в куртке и свитере. Володя, рослый парень лет 30, рядом с Мишей. Приютился на боку, поджав длинные ноги. Изредка он неуклюже ворочается, но тоже ни разу не просыпался. Кто я им? Все мы тут словно с луны свалились да прямо к черту на рога, каждый своим горем оглушен, а ведь только благодаря их настойчивости вызвали второго врача, который помог. Выручили. С добрых людей начинается мое знакомство с преступным миром. Они мне кажутся куда человечней и садистски обольстительного Кудрявцева, и горохового пинкертона Боровика, и тупо исполнительных муровцев, не говоря уж о повстречавшемся мордовороте — начальнике и обходительном, как колючая проволока, капитане Кузнецове. Первое сравнение тех, кого сажают, с теми, кто сажает, 1:0 не в пользу блюстителей закона. Может, как люди они не хуже, но в форме, на службе в них мало человеческого. Что превращает их в изуверов, что ставит с ног на голову? Профессия? Но профессия самая гуманная: правоохрана, правосудие, воспитание. Что же их делает мерзавцами? Служебные инструкции? Приказы начальства? Если так, но нет ничего более преступного таких инструкций и нет ничего более бесчеловечного такого начальства.

Володя — шофер, кажется, «Скорой помощи». Их гараж в том же переулке Безбожном, где районный суд и прокуратура. После работы выпили с шоферами в гараже, выходят за ворота, а тут «ЧП»: люди, милиция. Какая-то машина помяла «Жигуленка», стоявшего у подъезда. Рядовой случай, но отчего полно милиции и так громко орет верзила в спортивной куртке? Оказалось, от того, что «Жигуленок» принадлежит Прокурору. Кто толкнул, где искать ту машину? Верзила печется, останавливает прохожих. Никто ничего не видел. «Ищи ветра в поле», — говорят меж собой

шофера. Верзила броском к ним: «Что? Кто сказал?!» И рожа в пьяной агрессии. Шофера улыбаются: что ему скажешь? «Повтори, падла, что ты сказал? — хватает Володю. — Это ты наехал? — и тащит к милицейскому «Рафику»: я с тобой, такую-то мать, — там поговорю!» Это был зам. начальника 22-го, «олимпийского», отделения милиции, тот самый мордоворот, который повстречался и мне на выходе. «Такой блатной, ну никак не ожидал, что он ихний начальник», — не перестает удивляться Володя. Но тревожило другое. В отделении у него забрали паспорт с поддельной пропиской в Москве, у матери. Настоящий паспорт, с пропиской в Тульской области, лежит дома. Не дай бог, проверят сейчас прописку или позвонят матери и она скажет, что сын не здесь прописан — подделка откроется и тогда не миновать тюрьмы. Можно понять его состояние. Когда-то он отсидел лет пять с лишением права жить в Москве до снятия судимости. Семь лет живет и работает по поддельному паспорту и ни разу не попадался. Живет у жены, двое детей, меньше года осталось до снятия судимости и можно прописываться официально, по настоящему паспорту. Забыл об осторожности и так вот и влип нелепо. Все теперь зависит от матери. Вся жизнь на волоске. Володя держался молодцом, но бледен и весь на иголках.

Его вызвали в середине следующего дня. Отпустили? Отвезли в тюрьму? Мы с Мишей больше надеялись на удачу. Протрезвится верзила, одумается: ни за что, ни про что засадил. Могут и не учинять проверку. Все они могут. Судьба Володи зависела от случайности. Вечером увезли Мишу. Тут гадать нечего, у него отсюда дорога одна — в тюрьму. Со мной нельзя было ничего понять. Ребята убеждены, что меня попугают и выпустят — состава преступления нет. Но их увели, а я сижу один, как перст, жду, что скажет Кудрявцев, мой следователь.

# Арест

Игорь Анатольевич лучился благожеланием и сочувствием. Мы беседовали в той же комнате, где вчера я дважды побывал у врачей, а сегодня жаловался на пьяного визитера, задержавшего меня якобы на месте преступления, и хамство дежурного капитана Кузнецова. «Акт о задержании? — улыбается Игорь Анатольевич. — Это ошибка. Не понимаю, кто это мог быть?» Конечно, признавал он, персонал в отделениях грубоватый, но это издержки трудной профессии — не забывайте, с кем им приходится ежедневно иметь дело. Он поговорит, чтобы мне не отказывали в лекарстве и, вообще, сделает все от него зависящее, чтобы облегчить мое положение. Принесла ли жена теплые вещи? Это он позвонил ей вечером и сказал, где я нахожусь и что принести. Не следует отчаиваться, это еще не арест. По закону меня здесь не могут держать более трех суток и он, Кудрявцев, ничего бы так не хотел, как выпустить меня подобру-поздорову. Арест избежать можно, но я должен ему помочь. Дело мое не стоит выеденного яйца, его интересую не я, а те, из-за кого по собственной наивности и легковерию я оказался здесь!

— Все о Попове и я гарантирую вам свободу.

— Я уже все сказал вашему предшественнику из городской прокуратуры.

— Теперь вы будете иметь дело только со мной. Расскажите снова, вспомните все, что вы знаете о Попове: как познакомились, о чем говорили, какую литературу он вам давал — все подробно. Это очень важно для вас. Лучше в письменном виде — и подает стопку чистых листов.

— Наверное, о Попове вы знаете больше меня, зачем вам мои показания?

— Да, о Попове мы знаем все или почти все. Ваше молчание ему не поможет, а вам навредит. Мне нужна ваша откровенность, можно ли вам доверять? Иначе я ничем не смогу вам помочь.

— Мне скрывать нечего, но о знакомых я отказываюсь говорить.

— Не спешите, у вас есть еще время подумать. Никто вас не посадит, если вы сами себя не посадите. Либо вы будете со мной откровенны, либо сами себе искалечите жизнь — выбирайте.

Ночь я провел в камере один. Тоска и сердце давят, но как будто начинаю привыкать: нет приступов судороги и ужаса. Ощущение от встречи с Кудрявцевым такое, что, действительно, заточение мое кажется несерьезным. Если б сажать, то сразу в тюрьму, не зря же в КПЗ держат — значит нет состава

преступления, а хотят запугать и вырвать показания об Олеге. Больше я им не нужен. Но что с Олегом? Почему так к нему прицепились? Ведь при обыске ничего не нашли, внешне Олег был так спокойно уверен — неужели тоже сидит? С нетерпением я ждал следующей встречи с Кудрявцевым. Мне не следует портить с ним отношения. Если есть возможность избежать ареста, то нельзя давать повода для подозрений и сомнений в искренности. Продержаться еще день. Завтра истекают третьи сутки, а там или свобода или тюрьма. Если от меня что-то зависит, надо постараться убедить Кудрявцева в случайности появления «173 свидетельств», в том, что я далек от политики и, разумеется, убедить в своей искренности.

На этот раз Кудрявцев был строг. Первый вопрос: буду ли я говорить о Попове? Я сказал, что могу еще раз рассказать о наших отношениях с Поповым, но сначала хотел бы узнать: где сейчас Попов и почему им так интересуются?

— Попов там, где ему следует быть. Подумайте лучше о себе.

— Его посадили?

— Не знаю, но место ему приготовлено. Итак, я вас слушаю.

Я рассказал Кудрявцеву, что с Поповым познакомился через Колю Елагина, что мы подружились семьями, ходили иногда друг к другу в гости, а в начале этого года Поповы подали на выезд и с той поры до обыска мы не виделись. Кудрявцев откровенно скучал.

— Это все? — спросил он недовольно.

— Ну я же говорил, что у нас были сугубо личные отношения, которые для вас, наверное, не представляют интереса.

— Какую литературу давал вам Попов?

— Не помню всех книг. Последняя, например, «Биология человека».

— Ну вот что, Алексей Александрович, вы, я вижу, не осознаете своего положения. Даю вам еще день.

— Вы полагаете, я что-то скрываю?

— Не сомневаюсь в этом.

— Скажите, что вам известно о Попове, может, я действительно чего-то не знаю?

— Нам известно, что Попов злобный антисоветчик. Он занимается подрывной деятельностью по инструкции своих хозяев в Америке, куда хочет удрать. Он — враг. Вот вы кого прикрываете.

— Где жить — это его личное дело, а о его подрывной деятельности я действительно ничего не знаю.

— Вы кое-что забыли и не хотите вспомнить. Тем самым вы представляете социальную опасность. Вы сами себя толкаете за

решетку. Поверьте моему опыту: вы все вспомните, но для вашего блага советую сделать это не позднее завтрашнего дня.

Кудрявцев встает из-за стол с видом оскорбленного доброжелателя.

И вот наступил день, когда все должно решиться. Я был почти уверен, что к вечеру буду дома. В третьем часу 19-го меня забрали, не позднее трех сегодня, 22-го, должны выпустить, не помню, как я провел эту ночь: спал, не спал? Но помню: была холодрыга. С утра я томительно ждал Кудрявцева или шагов к камере, освободительного звонка ключей: сейчас откроют и выпустят. Часов в 10 открывают. Спрашиваю милиционера: «С вещами?» Он заглядывает внутрь, бестолково пожимает плечами: «Зачем? Никто не тронет». Ах ты, господи, славно об этом речь!

Кудрявцев лицом к окну в решительной позе: «Даю вам последний шанс: будете давать показания?»

— Игорь Анатольевич, разве я отказываюсь?

Поворачивается ко мне: «Говорите все, что вы знаете о Попове, о «Хронике текущих событий», о фонде политзаключенным — все, что вам об этом известно, что вы слышали или читали».

— Вопрос не по адресу, вас наверное неправильно информировали.

— Тогда я выписываю постановление на арест.

— Ваша воля, если есть основание.

— Основание есть. Я дал вам три дня. Если вы не думаете о себе, подумайте хотя бы о своей жене: сами лезете за решетку и ее за собой. Последний раз спрашиваю: будете говорить?

— Если настаиваете, повторю то, что уже сказал.

Кудрявцев раздраженно грохочет стулом, садится, достает из портфеля бумаги:

— Выгораживаешь Попова — будешь сидеть сам, как козел отпущения.

Я все еще не верю в реальность этой угрозы. Вроде в уголовном кодексе такой статьи не предусмотрено и обвинение, мне предъявленное, формулируется иначе. Что-то он совсем уже по-бандитски запугивает, значит, думаю, других козырей нет. Нет у него правовых аргументов, не грозит мне закон, и это лишь убеждает меня, что на этом дело и кончится: попугают и выпустят. Посыпались вопросы, касающиеся «Встреч» и «173 свидетельств»: когда написал, кому давал, где хотел опубликовать, признаю ли вину? Отвечаю: писал тогда-то, никому не давал, публиковать не думал, вину не признаю. Кудрявцев молча быстро записывает. Само его раздражение доказывало, что никакого ареста не будет, чего бы ему сердиться — видно, это

последняя наша беседа, а он не добился нужных показаний, — вот и злится. Не посадят же в самом деле за неопубликованную рукопись, а тем более за Олега — какое же это преступление?

— Так вы не признаете вину? — переспрашивает Кудрявцев.

— Не пойму, в чем она выражается?

— В том, что вы изготовили статью, содержащую клевету на советский государственный строй.

— Что написал — признаю, но а в чем вы усматриваете клевету? Дайте взглянуть, я плохо помню, что там написано.

Кудрявцев достает из портфеля машинописный экземпляр «173 свидетельств». С первой же страницы обожгло: «СССР есть деспотическое государство… Вся власть в СССР принадлежит Политбюро, которое осуществляет государственную власть через партийные комитеты, составляющие политическую основу СССР… Диктатура партийной бюрократии, которую в СССР предпочитают называть диктатурой пролетариата» т. д., и т. п. Господи! Совсем недавно за это расстреливали, а я еще надеюсь быть на свободе. Прочь от этого текста, отказаться, уйти от всякого обсуждения! «Это бред, — заявляю Кудрявцеву. — Написано под настроение, в состоянии аффекта. Необдуманный, незрелый текст, как бывает в дневниковых записях. Я отказываюсь обсуждать этот текст».

Кудрявцев пишет, я подписываю и жду: где постановление на арест? Или свободен?

* * *

… Маразм! В голове и повсюду. Кончилось курево. За два месяца, можно сказать, впервые выдалось свободное утро, дорвался я наконец до этой тетради — так хочется побыстрее кончить и… никакого настроения писать, вообще что-то делать. Курева нет, все кажется чего-то не хватает, не могу сосредоточиться. Взять бы сейчас и бросить! Ну, на хрена оно? Дома курить нельзя — только на лестнице. Здесь, сколько ни привези, «расстреливают» в миг, а потом сам «стреляй» или со всеми потроши «бычки», набивай выкуренный «Беломор» по новой. А то и этого нет. Совсем ничего, как сейчас… Чу! Машина… Пришлось прерваться, приезжал Шепило — Саша, Шурик, Саныч — по-разному его зовут, хотя он велит «Александр Евгеньевич», но так, кроме меня, из рабочих никто. Да и я только потому, что от «Саши» он делается чересчур фамильярен. Обнимет, «братан!» кричит. Это наш начальник отряда.

Сейчас я сижу в избе деревеньки Гришкино того же Селижаровского района, куда уехал в октябре в геологический

отряд от Калининской партии. В оставшемся октябре восемь дней работал воротовщиком на рытье шурфов. Тяжело, унизительно и ставка самая низкая. По моему ультиматуму перевели помощником бурильщика. Машину в праздники разворовали, ноябрь сидели в Дружной Горке — ждали у моря погоды. В конце месяца надумали гнать установку за 300 км под Калинин, в Эммаус, на базу партии — на ремонт. До половины декабря учился в нашей московской геологоразведочной экспедиции на курсах, получил удостоверение помощника бурильщика. Уже январь, уж год другой, а установка по сей день в Эммаусе на ремонте. Конца не видно, хотя стоим из-за пустяков: нет аккумулятора, например. Шепило увез меня в Гришкино проходчикам пособить, и мне хорошо: от начальства подальше и все же в избе, а не в вагончике, есть тут угол, где я могу, наконец, писать. Впервые после ноября. Отвык. Надо, а не хочется. Муторно писать заново то, что уже было пережито-написано. Третий раз пережить — нет ни сил, ни настроения. Только ради спасения всей вещи вынужден восстанавливать уничтоженное начало. Да разве восстановишь? С души прет. И времени нет. В Москве бесконечные переезды и поиски жилья. На работе — вагончик, круглые сутки пьянки и болтовня. Вот может здесь, в Гришкино, с места тронусь? Но тоже пока работа: заготавливаем дрова, доски, колотим ящики, варим, чай пьем. Но все-таки иногда утром или вечером бывает тихо и я один. Витька-проходчик и Толик-воротовщик, кто спит, кто читает в другой комнате. И курево Шепило привез. Папироса в левой руке, ручка в правой, печка натоплена — поехали. Эх, шестерни мои ржавые, давайте, давайте, скрипите, но крутите же, черт вас побрал! Надо писать!

1985 г.

* * *

Двор отделения — не камера, почти на свободе. Садимся в милицейский «Рафик» вместе с Кудрявцевым. А куртка и свитер в камере. Куда же везут? Заворачиваем опять в районную прокуратуру. Гора с плеч — не в тюрьму. Значит, отпустят, считай, уже выпустили. И так обрадовано, с такой неукротимой надеждой снова входил я в допотопный подъезд, что нисколько не смущался грозным сопровождением милиционеров и Кудрявцева. Прокурор — не дурак. Не вынесет постановления, если нет оснований. Сейчас погрозит пальчиком и выпустит. Разойдемся при своих интересах и несолоно хлебнувшем

Кудрявцеве.

Я остаюсь с милиционерами на втором этаже, а Кудрявцев скрывается за дверью с табличкой «помощник прокурора В. Залегин». Долго ждал. Потом и меня туда. Кудрявцев уходит, и я остаюсь в просторном кабинете один на один с молодым розовощеким толстяком. Отутюженная нарядность полосатых манжет и бесподобные запонки. В одной руке у него телефон — бойко вымогает заказ то ли на билет, то ли на путевку, другой переворачивает машинописные страницы «173 свидетельств». Усаживаюсь за торцовый столик впритык к его большому столу. От нечего делать листаю сборник «Правовые вопросы экологии» издания Казанского университета. Пустая книжонка, но новизна темы делает ее диссертабельной. Ничего другого авторам подобных статей и не нужно. Пухлые пальчики с щелком бросают трубку. Подхалимничаю: «Над диссертацией работаете?» «Да, — надувается толстяк и доверительно сетует, — только, знаете, времени нет». Ни хрена он не работает. Типичный пикник, ему бы побалагурить да погуще тень на плетень. Укладывает на жирной физиономии строгие складки. «Как вы можете такое писать — за вас на войне кровь проливали», — курит, перелистывая страницы. Причем тут война? Невпопад говорит, надо же что-то сказать для острастки. Спрашивает: где работаю, сколько лет жене? «И жена молодая, — сокрушается помпрокурора Залегин. — Мерзопакостная история! Надо же знать, каких друзей заводить». Я согласно киваю, жури, жури, дорогой, только выпусти. Он берет рукопись и с облегчением сбрасывает тяжеловатую строгую маску. Это «Встречи», внимательно читает лист за листом. Весело лижет мокрые губы. «Ну даешь!» — восклицает по-свойски. Потом вслух: «Коня бы сюда, коня!» — и смотрит на меня с масленым восхищением. — Как у Шолохова! Помнишь?» У Шолохова я не списывал и ничего такого не помню, но польщен до небес: разве может почитатель Шолохова посадить человека, который пишет как Шолохов? Игривость и благодушие помпрокурора настраивали весьма оптимистично. Ни слова про клевету или порнографию, быстренько начертал протокол. Оказывается, наше забавное знакомство тоже допрос. Но постановлением на арест не пахнет. Я готов признать вину, раскаяться, лишь бы Залегин не передумал, а то, что это последний допрос и что он сейчас меня выпустит, я уже в этом не сомневался.

Однако протокол озадачил. Ни с того, ни с сего я будто бы утверждаю, что текст «173 свидетельства» содержит клевету, позорящую нашу страну и меня самого. Вношу в протокол деликатное уточнение: «В момент изготовления той и другой рукописи я не отдавал отчета и не сознавал, что это может

квалифицироваться как преступление, как нечто порочащее и клеветническое». Залегин зарывается в свои бумаги, давая понять, что беседа окончена и я ему больше не нужен. Наверное, проголодался, время обеда. Что меня ждет за порогом? Пойду ли домой или опять пропасть камеры? Выходить страшно. Спрашиваю с надеждой: «Значит, постановления на арест не будет?» — «Не знаю», — сухо отвечает перевоплотившийся Залегин. И в этих словах я слышу «не будет», ведь если не он, то кто еще может выписать постановление? И когда? Через пару часов истекают законные третьи сутки, что может измениться за это время? Тем более оно для прокурора обеденное. Бодро перешагиваю порог в полной уверенности, что меня больше уже никто не остановит.

Но в коридоре ждет милиционер. Снова «Рафик». Ну, конечно, осенило меня, ведь в отделении остались мои вещи. «Что натворил?» — интересуются в пути милиционеры. «Сам не знаю, — говорю. — Всю жизнь писал, на хлеб зарабатывал, а теперь садят». «Писатель, значит», — понимающая интонация, мол, туда и дорога. Дежурный гостеприимно распахивает дверь камеры. Я артачусь: «Не имеете права, уже трое суток». «Ничего не знаю, вас не я держу, а следователь», — проталкивает в камеру. До трех, когда будет точь-в-точь трое суток, оставалось часа полтора. Чересчур уж они пунктуальны, бог с ними, час потерплю. Выждал час, никто не подходит. Что они, с ума посходили? Забыли, что ли? Стучу: «Выпускайте!» Подходит дежурный: «Чего шумишь?» «Трое суток прошло, не имеете права». «Жалуйся на следователя». И весь разговор. Зверею, заметался по камере. Клетка, тиски, капкан. Весь в чужой власти. Физическое ощущение произвола: насилие и свое собственное бессилие. Никогда еще не был так беспомощен и надеяться на кого, если закон не защита?

Лишь часу в пятом выпускают меня к следователю. Кудрявцев в той же комнате. Деловым жестам бумагу под нос. Красная полоса по диагонали — арест.

И рухнуло все во мне. Глаза закипели. «Если своя земля топчет…» — отвернулся к окну, чтобы скрыть обидные слезы. Что сделал плохого для Родины, чем провинился? Только тем, что желал ей добра. Все, все исковеркано. Это конец. Впереди другая жизнь, неизвестная — жуть впереди. И этот, наверное, злорадствует. Могуч! Слезу вышиб. Стыдища! Перед кем слабину дал? Ведь тем и сильны они — нашей слабостью. Нет уж — выкуси! Так стыдно — на себя обозлился. Вдохнул полной грудью и воздух камнем, стержнем во мне. Есть крепость, теперь хоть на смерть. Спокойно сажусь напротив Кудрявцева и расписываюсь на

постановлении. Вину не признаю. Кудрявцев хмурится:

— Выгораживаешь Попова — будешь сидеть сам…

Да, я это слышал. Теперь я это понял. Официальное обвинение формулируется иначе, но постановление — это бумага. А то, что говорит Кудрявцев — это факт. Закон лишь фиговый листочек произвола. И Кудрявцев этого не скрывает. Я уже не человек, я раб — со мной уже не надо играть в законность. В тюремных стенах они у себя дома, здесь они не стесняются. Цинизм беспредельной власти, о существовании которого до сих пор я только читал или слышал, предстал передо мной лицом к лицу. На собственной шкуре теперь, ценой искалеченной жизни я узнаю ощеренные клыки партийной гуманности и справедливости. Отныне вся жизнь моя станет неравным поединком с этим чудовищем, имя которому — государственный произвол. Борьба непримиримая — кто кого. Я начинаю с поражения. Может, к лучшему — закалка на будущее. А кончится обязательно нашей победой. Иначе и быть не может. Ведь несправедливая жизнь не имеет смысла.

Человек или не должен быть, или должен быть добр и разумен. Надо бороться с тем, что мешает человеку быть человеком и для других. Иных путей существования нет. Мы, по Аристотелю — социальные животные, без социальности, друг без друга — просто скоты.

Кудрявцев долго крутит диск телефона. После затянувшегося молчания слышу его голос: «Я вас устрою в хорошую тюрьму». И милости-то у них карательные. «В какую?» «В Лефортово хотите?» Дух перехватило: это же политическая, КГБ, срока-то там! Кудрявцев улыбается: «И чистые простыни, не так ли»?

Отправили в камеру, продержали еще час. Круглое оконце темнеет. Выводят снова. Кудрявцев по-прежнему на телефоне, говорит устало: «Пятница — ни одна тюрьма, не берет, придется побыть до понедельника». «Ни в коем случае, я здесь с ума сойду!» Качает головой и крутит, крутит диск. Наконец: «Вам повезло, сейчас поедете». «Куда?» «Не знаю, где примут».

Вдруг в прихожей хлопанье дверью, женский голос, крик дежурного. Сердце кровью — Наташа! Ринулся, но вошел офицер и закрыл комнату. Выпроводили ее. Будто вечность ее не видел, хоть бы не ушла. Забегал Кудрявцев туда-сюда. В приемной сморщенный капитан Кузнецов выкладывает на стол мои изъятые вещи. Уже не груб, словно укротили его. Много позже узнал я, что были у него баталии с Наташей, когда я сидел в камере, и она жаловалась на него. Где-то и сейчас в наших бумагах ответ: «Просим извинить за некорректное поведение нашего сотрудника». Вещи следователю, мне только очки и копию листа

изъятия — первый документ на руки. Выводят из камер еще одного пассажира. Сначала его на выход. А вот и моя очередь. Спереди, сзади, рядом — милиция. Кудрявцев стороной идет. Во дворе холодно, ветер, тучи, как угорелые. От стены Наташа ко мне: «Лешенька!» Заслонили кителями, не подпускают. Ведут к машине вроде «Рафика», задняя дверца открыта. Наташа бежит вдоль милиции. Кричу ей: «Олег на свободе?» «Да, да, привет тебе!» В куцем белом плащике, продрогшая, зареванная, лица нет — осунулась, почернела. Около машины подпустили ее поближе, и чувствую: пожилой старшина, дай бог ему здоровья, ослабил руку. Рванулся я к ней, она ко мне, обнялись — холодная, как ледышка, дрожит на груди, целую холодные губы, щеки мокрые от слез, нас растаскивают — навсегда? — слились в отчаянии так, что когда оторвали, уносил я ее с собой неразлучно, где бы ни был. Из машины в стекло кричу ей: «Держись!» Сжатую руку вверх: «Держись!» И она с поднятой ручонкой. Следом идет. Потом сникла — жаль ее до смерти. Что с ней теперь?

# Глава 2. Лефортово

# Соты, наполненные страданием

Едем по быстро темнеющим улицам. Мы с парнем в отгороженной от кабины клетушке. Он плющит нос о стекло и уверяет, что едем в Бутырку, маршрут ему хорошо знакомый — бывал там. Однако в районе трех вокзалов въезжаем в красный кирпичный двор какого-то отделения милиции, то ли 11-го, то ли 19-го. Усадили в коридоре приемной. Напротив — двери камер во всю стену. Рядом, на той же скамье, две молоденькие девицы, у одной фингал на весь глаз, но зыркает шустро, видно ко всему готовы — се ля ви. Наши милиционеры говорят, что задержимся здесь ненадолго, но отворяют камеру — ждать будем взаперти. Что за камера! Темень, грязные стены от тусклого света еще черней. Во всю переднюю стену едва различимые нары. На полу некое существо в умопомрачительной позе. Лежит на брюхе дугой, руки и ноги за спиной в один узел стянуты так, что отвисшая голова не достает пола. Недвижен, как труп. Страшно. «Не вздумайте развязывать — сами пожалеете», — предупреждает дежурный и грохает огромной дверью. «Ласточка, — говорит мой спутник, — для буйных применяют». За час, пока мы отсиживались тут, «ласточка» не подала признака жизни.

Поехали дальше. Высаживают моего попутчика. Милиционеры говорят: «Бутырка». «А меня куда?» «Куда-нибудь пристроим». Не положено им с преступниками общаться. Останавливаемся у сплошных зеленых ворот. Ворота раздвигаются в обе стороны, и мы въезжаем в яркий свет кирпичного коридора. Ворота сомкнулись, впереди решетка. Подходит офицер, форма не синяя милицейская, а зеленая, как у военных. Решетка в сторону, и я высаживаюсь у парадных ступеней, где встречает майор с нарукавной повязкой дежурного. Околыш фуражки темно-синий, «щит и меч» на погонах — форма КГБ. Майор сетует милиционерам, что поздновато, но без суровости, напротив, с домашним благодушием. Я — в легендарном Лефортово. Сколько жертв сталинизма, сколько диссидентских судеб прошло через эти парадные двери!

Направо по коридору. Простор, сияющая чистота. Сначала к врачу. Обыкновенная бабуля, как из районной поликлиники; чем болел, на что жалуюсь, нет ли наколок? Записала приметы: очки, шрам на ноге, родинка. Оттуда в другую комнату. Там только стол и стул. «Подождите немного», — говорит майор. Сама любезность, будто приехал я на прием к генералу. Возвращается с пожилым прапорщиком. Что-то он спросил насчет вещей, но, кажется, не обыскивал. В отличие от милиции ни зла, ни

грубости. У прапора чуть ли не сочувствие в глазах, ласково смотрит, как на обреченного.

Выходим в огромный зал. Потолок выше неба. От стола дежурного широкие проходы в обе стороны и конца им не видно. Стены как соты, ленты камер в четыре этажа. Вдоль стен и поперек этажей металлическая сетка: не спрыгнешь, а спрыгнешь — не убьешься, покачаешься, как на батуте. Грандиозное и чем-то знакомое зрелище.

«Как в кино!» — Невольное восклицание мое громко аукнулось в гробовой тишине. В ближней камере захохотали. Вздрогнул от неожиданности: будто из гроба хохот. «Тише, — шикает прапорщик, а сам давит улыбку. — Нельзя разговаривать». Ковровая дорожка через весь проход. Сначала идем до конца направо, потом налево и вниз. Прапорщик запирает меня в узкий пенал крохотной камеры. Выдает полотенце, простыню, нижнюю рубашку, кальсоны. Затем ведет в душ. По пути мочалки и мыло. Вода включается снаружи. Кричишь: «Холодная! Прибавьте горячей! Нормально!» На мытье 10 минут. Сначала предупреждают, потом отключают воду. После бани получаю добротный полосатый матрац, эмалированную миску, кружку, ложку. И снова коридор. В обнимку с матрацем по железным лестницам вверх, до третьего этажа. Отсюда стол дежурного со спичечный коробок. Обозреваю фантастический интерьер с высоты птичьего полета. Мертвая тишина. Одинокие прапорщики на этажах мирно обходят камеры, отодвигают клапаны «глазков», заглядывают внутрь. Ничто больше не выдает какой-либо жизни за глухими дверями.

Дежурный по этажу открывает одну из дверей. В камере пусто. Бросаю матрац на одну из трех кроватей с продольными металлическими полосами вместо сетки. «Есть, наверное, хочешь?» — спрашивает прапорщик. Да, голоден, с утра не ел. Прапорщик смотрит на ручные часы: «Девять. Узнаю, не осталось ли от ужина?» Я оглядел обитель. Шажков пять в длину, три — в ширину. Против дверей, высоко, в глубокой нише — зарешеченное окно. Под ним — кровать и две — по бокам. Легкий столик, тумбочка, пара воздушных табуретов. Слева от двери старомодная параша «в шляпе» и жестяная раковина допотопного умывальника. Да, этот угол — не передний край НТР. Красно-коричневый пол гладкий, какой-то упругий, похоже, бетонный. Чистые, крашеные маслом стены, не помню: то ли желтые, то ли зеленые. Не то что бы уютно, но аккуратно, жить можно. Жаль, один в камере, так хотелось бы пообщаться со здешними постояльцами, да в КПЗ двое суток намаялся одиночеством, но пока терпимо, может, и к лучшему — надо прийти себя.

Стукнула кормушка. Прапор подает полную миску гречневой каши и кружку хорошего чая. Впервые за несколько дней удовольствие от пищи. Вымыл посуду, лег. Добрый матрац, свежая простыня, новое шерстяное одеяло. После деревянной софы в холодном КПЗ наслаждаюсь комфортом. Время от времени шуршит за дверью клапан «глазка». Откидывается кормушка: «Очки!» Не понял. Подхожу. Сгибаясь, заглядываю: молодое лицо надзирателя — чего ему надо? «Очки мне. Отбой!» Отдаю с изумлением. Вдруг слышу: «Спокойной ночи!» Тут я оторопел. Растерялся, не знаю, как отвечать на надзирательскую галантность. Только лег, опять голос за дверью: «Не вижу порядка». Что еще? Поправил постель, пододвинул столик. Через минуту в открытой кормушке лицо надзирателя: «Не вижу порядка!» Издевается что ли? «Говорите яснее». «Вас разве не познакомили с правилами?» «Нет еще». «Ложку в кружку и на середину стола». О, господи! Захочешь умереть — не дадут. Сетки на ярусах — чтоб на переходах не выпрыгнул, очки — чтоб стеклом вены не вскрыл, ложка — чтоб нож не выточил, и каждую минуту, каждую минуту «глазок»: наверное, чтоб не повесился. Как у Христа за пазухой у Андропова. Постель — блаженство. Меня неудержимо потянуло ко сну.

В 6 часов контролер, так принято называть надзирателя, вернул очки — подъем. На завтрак пшенка и кружка чая. Но вместо чая обыкновенный кипяток. Стучу в дверь: «Почему нет чая?» «Как? — удивляется контролер. — Вам только что наливали». «Это кипяток, а не чай». Контролер веселится: «Не может быть, покажите!» Откидывает кормушку. Я ставлю кружку. «Правильно — чай, самый настоящий чай», — явно дурит — дури до конца. «Чем вы докажете, что это настоящий чай?» — говорю. Контролер ничуть не смутился: «Пожалуйста! — тычет палец в кружку, — Видите?» — «Что?» — «Чай!» «Что вы дурака валяете?» «Нет, это вы валяете, вон: смотрите внимательно». Со дна кружки поднялась чаинка. Значит, все-таки заваривали, но что же: чаинка на кружку? «Слабовато? — улыбается контролер. — Ну, это другое дело, а вы говорите «не чай». У нас такой пить положено». «Но вчера мне приносили нормальный чай». Настала очередь удивляться контролеру: «Когда?» «Вечером». Смотрит на меня подозрительно: «Вам показалось». Кажется, так и не поверил. Выяснилось, что так называемый чай с сахаром здесь дается только на завтрак, в обед и ужин — кипяток. Вот когда я вполне оценил доброту вчерашнего пожилого прапорщика.

Впереди стоял день, каких, судя по всему, будет много. Что делать, чем себя занять? На стене картонка: «Правила внутреннего распорядка следственного изолятора КГБ». Между

стеной и картонкой вложен календарь за 1980 год. Числа до конца июля сплошь вымараны чернилами. Очевидно, последний месяц здесь никого не было. Такие календари я видел потом в каждой камере и на зоне. День закрашивается начерно уже с утра. Иногда перечеркивают крестиком. Черные или перечеркнутые дни, недели, месяцы, годы. Убитое время. Простой календарик — свидетельство отнятой, потерянной жизни.

Взобрался на окно. Верхние стекла не закрашены и через решетку вижу двор тюрьмы. Посредине странное строение, напоминающее барак без крыши, поверху часовой ходит. Напротив — окна современной пристройки: желтое двухэтажное здание соединяет крылья тюрьмы. Мне еще предстоит узнать, что это прогулочный двор и здание следственного отдела КГБ, а пока резкий стук в дверь сметает меня с окна. «Чтоб больше я вас на окне не видел!» — сурово выговаривает контролер. Спрашиваю у него книгу или газету. Оказывается, суббота — день не библиотечный и, следовательно, библиотекаря не будет. Что же делать, чем заняться? И лежал, и думал, и мерил комнату шагами: три полных шага до дверей, три назад, до кровати. Частые повороты при ходьбе кружат голову. А думать — о чем? О том, что сочтя меня преступником, они тем самым сами совершают преступление? А может, это бутафорский арест, чтобы вытянуть нужные показания на Олега? Поморочат и выпустят? Такое бывает. Но что гадать — чересчур много неизвестных. Надо знать их намерения, мысли было за что зацепиться, надо ждать следователя, а пока главное — не свихнуться от нечего делать. Прошу у контролера бумагу и карандаш. «Зачем?» «Кое-что записать». «Не положено. Бумага дается только для заявления». Для заявлений я еще не созрел, а соврать сразу не сообразил, потом каялся, хотел снова стучать, да неудобно — момент упущен. Не даст теперь. И ни строки, ни звука, ни слова: угнетающее молчание и бессмыслица. Хоть бы подселили кого или вызвали. Невтерпеж, совершенно некуда себя деть.

Вдруг короткая дробь в стенку. Соседушка, дорогой! Здесь я, здесь! Но как же мне ответить тебе, я не знаю тюремной азбуки. Поди истомился, легче, когда знаешь, что есть кто-то рядом. Надо хоть заявить о себе. Стукнул ложкой. В ответ пулеметом. Заливается, радешенек. Я трескотней наслаждаюсь — лучшая в мире музыка! Но что я ему отвечу? Стукнул два раза, мол, окей! слышу, но на большее, увы, не способен, «Что? — стукнуло с той стороны. «Да ничего, прощай!» — брякнул я ложкой. Тут кормушка откидывается, голос надзирателя: «Еще раз увижу — сразу в карцер!» Вовремя я объяснился с соседом. Будем знать, что живая душа за стеной, и того довольно. А сосед не унимается:

точки-тире, стук и россыпи — требовательно зовет на беседу. И меня любопытство дерет: кто там сидит? за что? найду ли ключ к тюремной азбуке? Поглядывая на «глазок», ложусь на кровать и ложку в рукав. Как подступиться? Для начала точь-в-точь повторяю последнюю фразу соседа, чем, наверное, сильно его озадачил. «Что, что?» — две раздраженные точки в ответ. Да, галиматья получается. Может, свою азбуку предложить? Ну, просто — что известно мне и ему: какое сегодня число? Двадцать третье. Отбиваю через паузу две и три точки. Сосед что-то свое. Какой месяц? Восьмой. Отбиваю две, три и восемь точек: сегодня 23 августа. Если б он понял, у нас появился бы ключ для общения. Можно было бы узнать, кого из нас когда посадили, по какой статье, сколько нам лет — многое говорят цифры. Но на мой язык сосед реагировал так же бестолково, как я на его. Беседа глухонемых. Я брякнул в последний раз и перестал отвечать. В тот же момент тяжелый стук в другой стене. Значит, и там человек. С обеих сторон люди — значит, жизнь еще теплится, уже не так одиноко. Надо, чтоб и он это знал: щелкаю пальцам два раза. Откликается восторженной дробью. Строчат теперь справа и слева. Я то там стукну, то здесь: слышу ребята! И стены уже не разъединяют, а соединяют нас, все легче от близости сострадальца. И чувство вины оттого, что не могу толком ответить, не с соображу ключа. Люди рады соседу, но что мои бестолковые стуки — одно разочарование. Лучше б совсем не откликаться, не обнадеживать на беседу, а не ответить нельзя — не по-товарищески, словно в беде бросать. Но пора прекращать, дальше стучать бесполезно и рискованно. А они, как нарочно, тараторят взахлеб, рады выговориться.

Сжал с отчаянья уши и голову, не могу больше слышать. Боль стучится ко мне, хотя и своей предостаточно. Застойный камерный дух плотно насыщен нашей болью. Соты, наполненные страданием, — вот что такое тюрьма. Из всех щелей камеры сочится наружу ядовитая, густая, тягучая масса зэковского страдания и травит все вокруг. Оттого мрачны надзиратели и шарахается случайный прохожий, оттого пусты близ тюремные улицы — люди обходят проклятое место, даже птиц не видно, стороной облетает. Дух зэковской камеры источается, проникает на волю, тяжело заражая общество. Кто может быть счастлив рядом с ней? Может ли быть благополучна страна, где есть хотя бы одна тюрьма? А если тюрем много? И те, кто сидит, и кто носит передачи, и те, кто сажает, — по-своему все несчастны. В зэке сконцентрированы пороки и несчастье всего общества. Можно человека заизолировать в тюрьму, но тюрьму от людей, от города не изолируешь. И стоит она большой шишкой на

общественном лбу, как упрек, как вопрос: не вы ли, кто на воле, родите преступников? Намного ли вы лучше их? Люди, разумеется, полагают, что они лучше тех, кто в тюрьме. Хотя бы потому, что не пойманы. Но все же боятся. И откуда чувство вины перед обвиненными, жалости перед осужденными? Не оттого ли испокон века традиционно народное сочувствие зэкам? Отвращение к преступлению и жалость к преступнику — отчего так?

Кажется, уже мозговая извилина за извилину. Как голову сберечь, ведь на допросе пригодится? Опять прошу, умоляю дать книгу, любую. Во второй половине дня заступил другой контролер. Он оказался покладистей: «Если найду, принесу», Вечером протягивает в кормушку книжку в самодельном темно-коричневом переплете. Без начала и конца, ни автора, ни названия. Но заворожен с первых строк, удача какая — книга хорошая. Крым времен Гражданской. Что-то знакомое, не содержание, но стиль, авторская интонация удивительно кого-то напоминает. Катаев? Нет, не он. Кто-то родной, близкий. Да кто же мне роднее Паустовского? Кто еще так искренне удивляется чуду жизни и человека в ней, ни на шаг не отходя от суровой жизненной правды? Кто так опишет маяк, строгого смотрителя, шум волн? Кто другой дарит нам столько высокой влюбленности в этот мир? Добрая ирония. Волшебный свет точного, чистого слова. Праздничная ясность каждой строки. Небесная музыка сфер в полунищем крымском бродяге. Ищу подстраничник. Должны быть указаны автор или название. Нахожу: «Черное море». У Паустовского такой повести не помню. Странно, давным-давно прочитал шеститомник и все, что ни попадало, а «Черного моря» не помню. Но нет сомнения — это он. По его волшебству исчезает тюрьма и камера, брожу вместе с ним и его полуголодными, холодными героями — писателями, поэтами, художниками, моряками — по опаленному войной побережью. И умоляю, чтоб наше путешествие не кончалось. Поэтому не спешу. Паустовский уже ушел, а я еще топчусь в этом доме, с этим стариком-татарином, подолгу стою на берегу то штормового, то лучезарного синего-синего моря.

Два дня я растягивал удовольствие. Книга выручила — что бы я без нее делал? И надо же; именно Паустовский, мой любимый писатель. Приходит в самый критический период моей жизни, когда тяжело и никто не может помочь, приходит как раз в тот момент, когда я больше всего в этом нуждался. Не чудо ли? Если случайность, то наверняка из того разряда, которые порождают жизнь, правят судьбами и миром. Если не случайность… Да, тюрьма располагает к мистике.

Спасибо, Константин Георгиевич!

В первой половине следующего дня предложили прогулку. Охотно собрался, надел замшевую куртку. Другой прапорщик, не наш контролер ведет меня по этажам вниз. Вижу сверху, как у стола дежурного машут сигнальными красными и белыми флажками. Прапорщик вталкивает меня в первый попавшийся коридор, сам снаружи. Из любопытства я было высунулся, но он страшно зашипел и задернул вход зелеными шторами. Там еще кого-то ведут, и мы, зэки, ни в коем случае не должны видеть друг друга. Для этого сигнальные флажки, остановки в зашторенных коридорчиках, для этого предусмотрены специальные отстойники, вроде шкафов, куда запирают тебя, пока другого проводят. Строгая изоляция. Скажу, забегая вперед: за все время моего здесь пребывания я не видел ни одного зэка, кроме сокамерников. Внизу от стола дежурного завернули направо, в противоположную сторону от наружных дверей, с которых началось позавчера мое тюремное существование. Прапорщик заглянул за преграждавший путь зеленый занавес, с кем-то поговорил и дал знак следовать за ним дальше.

А вот и тюремный двор. Свежий воздух. Небесная синева в раме крыш следственного корпуса и крыльев тюрьмы. Взгляд вверх не встречает препятствий, так и подмывает с земли. Налетел бы вихрь столбом, закружил бы и вынес. Если бы да кабы. Прогулочные дворики — те же камеры, только без крыши. Через несколько дней их станут затягивать сеткой, даже на прогулке ты в клетке. Но я еще застал открытое небо и не подозревал, что скоро его тоже спрячут от нас за решетку. Не такой мне представлялась прогулка. На картинках или в кино (разумеется, зарубежных) двор как двор, ходят зэки по кругу. Я шел на прогулку с надеждой встретиться со здешними обитателями, кое-что узнать, отвести душу. А попадаю лишь в другую камеру и по-прежнему один. Почему такие дворики в кино не показывают?

Но все-таки хоть признаки чьего-то присутствия. В углу у плевательницы апельсиновые корки, фантики конфет: кто тут был до меня? За стеною, в соседнем дворике покашливает женщина. Кто, откуда, за что? Первая мысль о Тане Великановой — не она ли? Как бы связаться? Но об этом нечего думать: вертухай над головой. Видны окна второго этажа следственного корпуса. Окна зашторены. Но иногда выглянет женская головка или поправит занавеску рукав офицерской рубашки. А тюрьма со двора — средневековый замок. В суровой архитектуре своя изысканность: граненый выступ на всю высоту здания, декоративные элементы окон, мощные стены красного кирпича — впечатляют. Говорят,

Екатерина строила офицерскую гауптвахту. Все бы хорошо, если б не бесконечные ряды зарешеченных окон. За каждым живое страдание. Большинство окон закрыто нелепыми деревянными щитами с косыми поперечными планками-«намордниками». Закрашенные стекла, решетки, так еще и «намордники» — света белого не увидишь. К тому же портят фасад. Это уже наш советский, андроповский ампир.

И птица сюда не летит. Редко-редко промелькнет с края крыш воробей и резкой дугою прочь. Будто на тот свет нечаянно залетел. Смотришь на чистое небо — ликует душа, там свобода! А здесь, на земле, тоска еще пуще. Лист заблудший реет над двориком. Похоже, кленовый. Дорог он мне сейчас, как живая душа, неужто мимо? Так и есть — в другой дворик нырнул. Но, словно по ошибке туда попал, взвился из-за стены и на вираже шлепнулся прямо у моих ног. «Здравствуй!» — лежит растопыренной ладонью, будто подает для приветствия. Желтеющий красавец с красноватыми жилками. Деревьев на территории нет, как он попал сюда? Передает привет с воли? Там мои друзья и Наташа — не их ли посланец? Мне бы самому превратиться в лист и улететь с первым порывом ветра. Или кажется мне, что вот-вот залетит сюда птичка и чирикнет наташиным голосом. В возможность этого я почти верю, и положение уже не представляется столь безысходным. Я человек нисколько не суеверный, но заметил: когда угнетает реальность, разыгрывается фантазия. И грезы кажутся тем достовернее, чем кошмарнее действительность, которая воспринимается как страшный сон. И дышится легче. Защитная реакция удрученного сознания.

В дверях лязгает ключ, контролер показывает на выход. Рановато, по-моему, полчаса не прошло, а по правилам положено час. Контролер хмурится, гонит: «Не разговаривать!» Разве поспоришь? У меня часов нет. В вестибюле, когда проходили, увидел круглые настенные часы — следующий раз засеку.

В камере чувствуется какая-то перемена. Вроде все на месте и все-таки что-то не так, а что не пойму. Заметил, наконец: исчез свет в верхней незакрашенной части окна, серая от пыли полоска неба сейчас совсем не видна. Закрасили? Взбираюсь на широкий подоконник: нет, закрыто снаружи. Деревянные планки под углом. Вот оно что — пока я прогуливался, и на мое окно надели «намордник». Не в самое либеральное время попал я в Лефортово: как раз стали тянуть сетки поверх прогулочных двориков, надели «намордники». А мне и без того тошно: вторые сутки сижу здесь один, да столько же в КПЗ. Без книг, без письма, без общения сроду ни дня не оставался. Если завтра никого не подселят, буду

писать заявление — откуда-то я знал, что без специального постановления держать одного более трех суток не имеют права. С непривычки информационный голод особенно невыносим, свихнуться можно. К тому же клаустрофобия. Приступами ударяло в голову, что дверь заперта, окно задраено, не видно белого света — я замурован! Кидаюсь в поисках хотя бы светлой щели в наружный мир: то к «глазку», то к фрамуге окна, а когда и это не помогает, барабаню в дверь, требую газету, книгу, бумагу — что угодно, лишь бы разрушить могильное молчание. Откроется на миг кормушка, и я приходил в себя. Похожие страхи в «отстойниках» и «стаканах». Упомяну о них заодно. «Отстойники» — крохотные камеры на одного-двух, где можно только стоять или сидеть. Они здесь вместо предбанника: в них раздеваются, меняют постельное белье, ждут очереди в душ. Они на выходе из тюрьмы в следственный корпус, где приходится ждать приема у следователя. Но особенно трудно поначалу в «стаканах» — узких шкафах, где помещаешься только стоя. Они расставлены на переходах. Тебя закрывают, когда навстречу ведут другого зэка, чтобы не увиделись. «Стакан» не освещается, это гроб стоймя. От помешательства меня спасала краткосрочность пребывания в нем: минута-другая, долго ли пройти человеку? Но в первое время ужасов натерпелся. Потом ко всему привыкаешь. Если не свихнешься, значит привыкнешь — третьего не дано. Да и чего в могиле, какой является тюрьма, гробов бояться? Хочешь выжить — привыкай ко всякой чертовщине; замкнутому пространству, одиночеству или соседу-психопату, стукачу, педерасту, сортиру на чужих глазах. И лучший способ самосохранения — сопротивление. Протест, злость дают ту жизненную силу, которая необходима, чтобы выстоять.

На третьи сутки, так и не дождавшись ни сокамерника, ни следователя, я выпросил у контролера ручку, бумагу и написал на имя начальника тюрьмы заявление, в котором назвал свое одиночное содержание пыткой и потребовал не позднее завтрашнего дня или подселить ко мне или перевести меня к людям, а также пригласить следователя по вопросам, так сказать, материально-технического обеспечения (курево, смена белья, перевод денег, передачи — сказал ли он Наташе, где я нахожусь?). Контролер, молодой парень, делано вскинул брови: «Какая же это одиночка? Камера у вас на троих». Кто третий? Слышал ли контролер анекдот про чемпиона по литроболу Васю Железкина? Он улыбнулся и взял заявление, отобрав при этом и ручку.

А вскоре повели к следователю. Опять ширмочки, «стаканы», первое знакомство со следственным «отстойником», в легком

умопомрачении предстаю перед жизнерадостным Кудрявцевым. «Вы по заявлению?» — удивляюсь я молниеносной реакции. «Нет, я сам собирался. Но мне показали заявление», — тянет рот до ушей. Ореховые очи теплы, сегодня он явно в хорошем настроении. Кладет на стол две пачки «Столичных»: «Это вам», — «От Наташи?» — «Нет, от ваших друзей». — «От кого?». Кудрявцев с веселым смущением: «От меня». Спасибо, конечно, но чего, думаю, он расщедрился? Тогда я не знал еще, что следователям выделяют деньги на мелкие расхода для своих подопечных. Да и он, хитрец, преподнес в качестве личного пожертвования, вроде свои потратил. Растрогался, говорю ему: «Зачем вы так? Надо было жене сказать». «Не видел, некогда было». «Но она знает, где я нахожусь?» «Да, я звонил». «Вы скажите, чтобы блок «Явы» вам передала, и я верну вам долг». «Не стоит, такой пустяк», — конфузится Игорь Анатольевич. (В следующую встречу он принес блок сигарет от Наташи, и я вернул ему две пачки. Он взял. Говорят, им дают по трояку в месяц на подследственного. Интересно, сколько он на мне заработал?)

Обещает сегодня же сказать Наташе, что она для меня может сделать: сигареты, белье, передача раз в месяц, деньги на лицевой счет — на 10 рублей в месяц можно выписывать продукты, тетради, бытовую мелочевку в тюремном ларьке. Обещает утрясти вопрос о моем одиночном заточении. Ну, как не спросить благодетеля о главном;

— Игорь Анатольевич, а меня надолго сюда?

— Не думаю, это только от вас зависит.

— Надо Наташу прописать, а то мы жилье потеряем.

— Ну, об этом рано волнуетесь! Я надеюсь, что до этого у нас с вами не дойдет, заговорщицки улыбается.

Раз мы такие друзья, прошу по блату: «Можно Наташе записку написать?» Кудрявцев изображает диалектическую борьбу противоречий: запрещено, но если между нами, по дружбе, пишите быстрее, попробую. Я написал короткую деловую записку без особой уверенности, что она дойдет до Наташи. Но на всякий случай надо было предупредить, что пришлю ей доверенность на отпускные и гонорары. Просил узнать, пойдут ли статьи в «Молодом коммунисте», «Литературке» и «Культпросветработе». Нужно вернуть командировочные, которые я брал в двух редакциях. Сдала ли билеты в Южноуральск? Что намерена делать с путевками в Пицунду? Советую ехать по намеченному маршруту, чтоб успеть на день рождения матери и как-нибудь подготовить ее к случившемуся, а затем все-таки на юг, отдохнуть.

# Сокамерники

Сразу по приходе от следователя меня перевели этажом ниже, в камеру № 97. Вваливаюсь с матрацем и не вижу, куда положить. Две койки заняты, на третьей чего только нет: барахло, продукты, книги. Приспосабливаю матрац на краешек этой, третьей, здороваюсь. Два человека нехотя отрываются от шахмат, кисло кивают. Вот они, долгожданные лефортовские обитатели! Нужен я им, как горькая редька, — самим тесно. Тем не менее, встают из-за столика, освобождают кровать, помогают устроиться. Один с бородкой, темным отечным лицом и словно обгорелыми глазницами. Он больше распоряжался. В позе интеллигента, потерпевшего за правду, курит сигарету с фильтром через мундштук. Типом лица, осанкой очень напоминает одного моего коллегу по институту социологии. А вот как зовут, фамилию начисто позабыл. Саша? Смирнов? Смидович? Не помню. Назову Сосновским, надо же как-то, тем более о нем есть что сказать. Второй более приветлив, юморной — Володя Баранов. Он несколько старше Сосновского, лет сорока, лысенький, кругленький, но весел и кажется моложе. Оба евреи.

Они вернулись к шахматам. Я осмотрелся. И глаза на лоб: камера бедных зэков больше походила на продуктовую лавку. Повсюду натыкано: копченая колбаса, сыр, печенье, с отопительной решетки, спинок кроватей свисают полиэтиленовые пакеты с медом и сгущенкой, на полке пачки какао, шоколадные конфеты, орехи, яблоки.

Сели обедать. Ел я да Володя, он все ест, а Сосновский к тюремному почти не притронулся. А надо отдать должное: готовят в Лефортово неплохо, норма выдерживается. Супы не хуже столовских, каша как каша, мяса чуток, но все же есть. Сосновский поморщился на кормушку и стал нарезать свою колбасу. Володя согнувшись, балагурит с раздатчицей — молодой горбоносой прапорщицей в белом халате и наманикюренными барбарисками острых когтей. Он говорит, как хорошо она сегодня выглядит, просто красавица, и уговаривает дать ему порцию Сосновского, только вместо первого два вторых и вместо двух гарниров добавочную порцию мяса. Разговаривать прапорщице не положено, добавки ни в коем случае, при раздаче контролер за ее спиной, она молчит, но нет-нет и подбросит Володе лишний кусочек. Шуточная арифметика, доброе слово и прапорщице приятны. Володя зачем-то лезет под кровать, кричит Сосновскому: «Ба! Об этой коробке совсем забыли». Достает куски колбасы, сыра, пару заплесневелых лимонов. Такую забывчивость

я себе и на воле не мог позволить. Красиво живут. От изобилия на меня жор напал. Ребята поглядывают с некоторой завистью. Ну и тюрьма, ну и зэки попались, не еде завидуют, а тому, кто ест с аппетитом. И свое двигают: угощайся, ешь вместе с нами. Им не надо объяснять, что такое КПЗ, первые дни тюрьмы. Но для меня загадка, я ем и глазам не верю: откуда у них все это? «Посидишь с наше, и у тебя все будет», — отшучиваются.

Конечно, мед, сгущенку, шоколадные конфеты, чай в передачах нельзя. Но посылками, оказывается, можно что угодно. Посылки идут не прямо в камеру, а на склад. Начальнику следственного изолятора КГБ подполковнику Поваренкову пишется заявление с просьбой выдать то-то и то-то и, если ты сидишь давно и нет нареканий, то он, как правило, разрешает. Не мелочится. Важно, чтоб те, кто отправляет посылку, знали, как надо затаривать — все жидкое в полиэтиленовые пакеты. В банках-склянках не пропустят. С твердыми и металлическими предметами тут строго. Тетради с ларя — без скрепок. Тюбики с зубной пастой нельзя, только порошок, и тот на контроле истыкают. Посылки еще чем хороши — их тут не взвешивают. Лишь бы написано было, как положено, не больше 5 кг, на почте за трояк любой вес напишут, и закладывай на все десять. Здесь на это сквозь пальцы. Знают, конечно, но не придираются. Было бы все по форме, а блох не ловят. Поэтому отношения с администрацией взаимно корректные. По разрешению Поваренкова чай со склада выдают в неделю по пачке. Ребята не чифирят — пьют по вкусу, большой рублевой пачки индийского чая вполне хватает на двоих. О личности начальника Лефортовской тюрьмы Поваренкова ни в этой камере, ни затем в других, ничего, кроме добрых отзывов, я не слышал. Много ли зэку надо? Чуть-чуть человечности, и люди, находящиеся в нечеловеческих условиях, почтут вас за отца родного. Заметил: что в тюрьме хорошо, зэки связывают с Поваренковым, что плохо — будто не он здесь начальник. Все ругают сетки на двориках, «намордники» на окнах, но я не слышал, чтобы ругали Петра Михайловича, так его звали, кажется. «Была бы моя воля, — вздыхает Володя, — я бы на весь срок в Лефортово остался». Он не новичок, четвертый или пятый раз залетает, знает и тюрьмы и зоны. «Разве здесь лучше, чем в лагере?» — я имею в виду и относительную возможность передвижений, и свежий воздух, и общение. «Никакого сравнения! Что в нашей жизни самое главное? — весело спрашивает Володя и отвечает: — Личный покой и хорошее питание. На зоне этого нет». Легкая у него манера общаться: шутливо по форме, серьезно по существу. Приятный человек. И Сосновский за чаем вроде стал помягче, уже

не глядит индюком. После хорошей сигареты с фильтром я чувствовал себя как среди старых добрых знакомых. Вполне интеллигентные люди — за что только таких сажают?

За контрабанду. Володя полгода под следствием. Сосновскому дали шесть лет. Сидит уже два года: полтора здесь же, в Лефортово, потом, после суда и кассации, полгода на зоне, а сейчас вызвали как свидетеля по делу кого-то из его знакомых. Он совершенно уверен, что на зону уже не вернется, прямо отсюда — на «химию». Треть срока позади, контрабанда — статья легкая, по закону его могут освободить условно с направлением на обязательную работу — это и есть «химия». Одной ногой дома. И как будто ему это было обещано. Сосновский с мучительным нетерпением со дня на день ждал решения, бредил «химией» и очень нервничал. Можно его понять.

Сосновский — сын бывшего то ли зама, то ли министра культуры Белоруссии, переведенного на ответственный пост в Москву. По паспорту белорус, на деле еврей, оно и по внешности: жгучий брюнет, убеленный за последние два года ранней проседью. Ему немногим за тридцать, но выглядит неважно: пепел долгого затворничества на пухлом нервном лице. Всего два года назад Сосновский выглядел совершенно иначе. Он процветал. Фотограф, фотограф-художник — подчеркивает Сосновский, он подвизался где-то на киностудии, имел частные заказы, хорошие деньги и связи, но главным делом его жизни была художественная коллекция. Один из видных частных коллекционеров русской классической живописи. Подлинники Репина, Поленова, Малевича официально зарегистрированы в его каталоге. Кроме того, хорошее собрание икон. В своем кругу Сосновский считался экспертом по древней русской живописи и иконографии. Однако он был не только экспертом, но и торговцем. Это его и подвело. Начало своих контрабандных операций он связывает с намерением переселиться за границу. С собой разрешается вывозить ценностей примерно на тысячу рублей. Куда девать коллекцию? Что делать на Западе без денег? Надо сначала завести там приличный банковский счет и переправить наиболее ценные картины — с ними он не хотел расставаться. Иконы пошли на продажу. Друг-эмигрант содержит антикварную лавку в Канаде. Здесь договорились с женой венгерского дипломата. Иконы упаковывали в машину, большие доски резали, жена на дипломатической машине мужа отвозила их в Венгрию, оттуда переправляли в Западный Берлин и в Канаду. Сосновский скупал, доставал иконы. Делались большие деньги. Все было хорошо, пока по чьему-то доносу, Сосновский в этом уверен, на таможне не проверили машину венгерского

дипломата. Жена все взяла на себя, муж не знал. Скандала раздувать не стали. Жену выслали, муж остался. Зато на отечественных участников международной торговли иконами завели уголовное дело. Что тут началось! Бывшие закадычные друзья и компаньоны, элита советской культурной интеллигенции с гипертрофированным самомнением и брезгливостью «к низам», потеряли от животного страха и честь и голову: валят друг на друга, всплывают подробности, топят себя и других уже всерьез и надолго. Собственных жен не пожалели, посторонних людей, кому отдавали на хранение. Оказалось, замешаны десятки людей. Я излагаю по рассказу Сосновского и, разумеется, с его слов он был и остался порядочным человеком. Один из всех. До него бы не добрались, если бы не подлость бывших друзей. Но он никого не выдавал и ни на кого не сваливал. А все друзья оказались сволочи. Самое большое потрясение он испытал не когда его арестовали, а когда на закрытии дела прочитал показания своих близких, то, что они про него наговорили, выгораживая себя. Дружба — это обман. Ты хорош, пока у тебя все хорошо. Попал в беду — ты никому не нужен, если и протянет друг руку, то только чтоб подальше от себя отпихнуть. «Я больше не верю ни в какую дружбу, — говорит Сосновский. — Ее не было никогда, нет и не может быть. Каждый продаст, если ему это выгодно. Рассчитывать только на себя — вот мой урок».

— А сам ты молчал на допросах?

— Я говорил только правду.

— Значит, не молчал.

Сосновский вскочил с кровати, забегал по камере.

— Какой смысл? — его аж трясет от злости. — Покрывать тех, кто тебя закладывает? Сидеть за них — за кого? Да я как узнал, что это за люди, с тех пор никого не жалею!

Зашелся в крике, позеленел. Рыльце в пуху, и себе признаться не хочет, хочется чистым быть с нечистой совестью. Трудное положение. Впрочем, черт его знает — как у меня еще обернется.

Сосновский словно мысли угадывает:

— Вот увидишь. Будешь закрывать свое дело — узнаешь цену друзьям. Все расскажут, наврут с три короба, чтобы себя выгородить. Да еще так постараются, чтобы ты подольше не выходил, чтобы в глаза им не плюнуть. Поверь моему опыту: ничего не скрывай, никого не выгораживай. Сам себя не защитишь, тебе никто не поможет. Что ты думаешь, если ты ничего не скажешь, следователь ничего не узнает? Да ему уже все известно. КГБ зря не берет. Это же машина! С кем вы хотите бороться? Вы все у них на ладони. Хлоп! — и от вас мокрое место.

Раскричался будто нарочно, чтоб вся тюрьма слышала. И контролер не стучит почему-то. Обычно голос повысишь и тут же стук, замечание. Наверное, правильный ход мыслей у Сосновского, таким здесь дают трибуну.

— Извини, нервы, — спохватился Сосновский.

— Почему ты решил, что я что-то скрываю?

— А за что ты сюда попал?

Я ему рассказал и добавил, что не публиковал и не распространял.

— Не может быть! — раздражается Сосновский. — Так просто в Лефортово не посадят. Значит что-то скрываешь — то, что им известно. Они тебе не скажут, откуда известно, но молчание тебе дорого обойдется.

Я говорю ему, что вот и следователю так кажется, обвиняет в том, что я выгораживаю Попова. Подозрительное лицо Сосновского озарилось:

— Вот за это тебя и посадили, а говоришь, не скрываешь. Кому нужна твоя писанина? Ты опасен тем, что связан с Поповым. Расскажи о нем все, что знаешь, и тебя никто здесь держать не будет. А не расскажешь — посадят по любому поводу. Не было бы текстов — что-нибудь другое бы нашли.

— Но это беззаконие.

— Ты в самом деле такой наивный или прикидываешься? — кипятится Сосновский. — Государственная безопасность! Кто в таких делах думает о законе? КГБ может всё. Если ты представляешь опасность для государства, тебя устраняют или изолируют. А как оформить — это дело десятое. Для этого существует прокуратура.

Сосновский привел несколько примеров всемогущества гэбистской машины. Одному из его бывших сокамерников на допросе прокрутили пленку, на которой был записан его разговор пятилетней давности. В Сочи на пляже случайно познакомился с женщиной. Она приглашает к себе, в квартиру. В постели спрашивает, где он работает, чем занимается. Он работал в космической промышленности. Так, шутя-любя, ненароком кое-что выболтал, а уехав из Сочи, напрочь забыл и ту ночь, и эту знакомую. Напомнили — через пять лет! Все это время за ним плотно следили, а он и ухом не вел. Есть под Москвой, — продолжает Сосновский, — излюбленное место встреч деловых людей. Ресторан в Архангельском. Это ни для кого не секрет, поэтому конфиденциальные беседы проводят в перекурах, за пределами ресторана. Одна из таких встреч состоялась в чистом поле, за стогом сена. Два человека, больше ни души. Пришли и разошлись порознь. А вскоре содержание беседы изложили

одному из них здесь в Лефортово, на допросе.

Сосновский знает много таких примеров, и все об одном: если попал «под колпак», то запираться бесполезно — КГБ знает всё. Участь твоя, говорит Сосновский, целиком зависит от степени твоей откровенности. КГБ важно знать, что ты в дальнейшем намерен делать, от этого зависит мера наказания.

Раскаиваться и признаваться — вот единственно разумная линия поведения со следователем КГБ. Если они сочтут, что ты уже не опасен, могут закрыть дело и не доводить до суда. Мой случай, уверяет Сосновский, как раз такой. Я должен, пока не поздно, раскаяться и написать заявление о чистосердечном признании. А Попова — чего жалеть? Если им занялись, он обречен. Дам я показания, не дам — ему это не поможет. Мои показания нужны КГБ, чтобы решить, что делать со мной. Так что теперь, действительно, моя судьба зависит только от меня.

Не то же ли говорил мне Кудрявцев? Точь-в-точь.

— Не лезь на рожон, старик, — присоединяется к Сосновскому Володя Баранов. — Попугают, проверят и выпустят — никакого суда над тобой не будет. Кайся, пиши, порыдай для приличия — ради свободы стоит. Эх, мне бы твое дело, я бы тут не сидел. Какой потолок по твоей статье?

— Три года.

— Тьфу! Три года я бы на параше пропел. А минимум?

— Штраф 100 рублей.

— Чего ты думаешь? На бумагу и пиши явку с повинной: чистосердечно признаюсь, глубоко раскаиваюсь — больше не буду. И ты на свободе! Не валяй-ка дурака.

Володя — это уже серьезней. Четыре судимости, и он не производил впечатление человека, завербованного КГБ. Неужто и правда Олег обречен? Добрый парень — значит добро преступление? Бескорыстная помощь людям, пострадавшим за убеждения, — угроза Советской власти? Ничем он больше не «угрожал», я был в этом уверен, и разве я покривлю душой, если напишу об этом заявление? Может быть, какое-то недоразумение, может быть, тем самым я помогу Олегу? Ну и себе, конечно. Если с него снимут подозрения, то, значит, мне не в чем его «выгораживать» и, значит, сажать меня не за что. Однако Сосновский настораживал. Надо подумать, приглядеться.

Время они в основном убивали за шахматами. Сосновский выигрывал чаще, но не всегда, хотя не было случая, чтобы он признал свое поражение. Увидит, что проигрывает, сразу спор: то ферзь не там стоит, то пешка лишняя, то Володя фигуру сдвинул — лишь бы прекратить партию. Володя дорожит «личным покоем», обычно посмеивается, но в игре он азартный, иногда

юмора не хватало и фигуры разлетались по камере. В нарды Сосновский почти не играл, потому что тут Володя был явно сильнее. Сосновский из той породы балованных сынков, которые с детства воспитаны отличниками, быть наверху. Он просто не в состоянии признать за собой какой-либо ошибки или поражения. На несогласие с ним в споре, уже на то, что с ним не соглашаются, а, видите ли, спорят, он всерьез обижался. Как это он, Сосновский, может быть не прав? Разве он глупей или меньше знает? Это исключено. И все же с Володей они живут душа в душу. Володя без претензий. Оба с юмором, хохмят артистически. На прогулке с ними одно удовольствие. Импровизации мистера Сосновского и Пузика валили меня с ног от хохота. Куда там Штепселю с Тарапунькой! У меня же с Сосновским взаимная неприязнь. Я ценил его остроумие, но терпеть не мог гонора. Его стремление во что бы то ни стало держать верх убивало всякую охоту к общению. С ним нельзя было спорить, нельзя было допустить, чтобы чего-то Сосновский не знал или не имел представления. Нет худа без добра: его самореклама помогла мне однажды выудить ключ к тюремной азбуке.

Я рассказал им о перестукивании в прошлой моей камере. Знают ли они, что это такое? «Проще пареной репы», — небрежно бросил Сосновский. Но объяснить отказался под тем предлогом, что ничего интересного в перестукивании нет. Он со многими общался через стену, как-то даже договорился с одной женщиной, после срока, вместе ехать в Париж. Пустое занятие, напрасный риск. Но я хотел бы связаться с политиками, поэтому прошу его научить азбуке.

— Зачем? Диссиденты — совершенно неинтересные люди.

— Ну какое твое дело? Ты знаешь шифр или нет?

Сосновский заерзал. Он очень не хотел говорить, но и не сказать было уже невозможно. Не мог он позволить сомнений в его эрудиции. Пугает, оглядываясь на дверь:

— А ты знаешь, что за это карцер без разговоров?

— Ты боишься?

— Я предупреждаю тебя, — окончательно оскорбился Сосновский. — Хорошо, я расскажу, но с условием, что в нашей камере ты не будешь стучать.

Рисует квадрат, разлинованный на 25 клеток. Каждая клетка — буква. Сверху слева направо: а, б, в и т. д. Алфавит для удобства сокращен на восемь букв: й, ё, ъ, ь, кажется, щ и еще три — точно не помню. Употребляют алфавит из 28 букв, но проще и более распространен из 25. С внешней стороны клетки нумеруются слева направо по порядку с 1 до 5, и так же сверху вниз. Номера означают количество ударов, которые нужно

сделать, чтоб обозначить определенную букву. «А» — два удара через паузу, «Б» — один, пауза и два коротких, «В» — один пауза и три коротких и так далее.

Это и есть тюремная азбука, если я не напутал сокращения в алфавите.

— Часто, — говорит Сосновский, — пользуются латинским алфавитом. Мало надежды найти общий язык. Даже по русскому. У одного 25 букв, у другого 28, тот сократил одну букву, ты другую.

Потребовал ни в коем случае не говорить никому, откуда я узнал про эту азбуку. Чего-то он всего боится, до дрожи — противно смотреть. Но хвастун одолел труса, и я получил полезную информацию. Воистину: достоинства есть продолжение наших недостатков. Впрочем, верно и наоборот.

Спрашивал о политических в Лефортово. Сосновский называет Татьяну Великанову, но ничего толком. Зато чуть ли не вместе сидел с Глебом Якуниным — одним из лидеров религиозной оппозиции. Причем совсем недавно, в последние два месяца, когда Сосновского снова вернули в Лефортово. Якунин, по словам Сосновского, держится христиански спокойно, мужественно. Молится. Не давали Библию — объявил голодовку, дали. И тут же ложка дегтя: Якунина не сажали — сам сел. Надо было пострадать, чтобы привлечь международное внимание к их маленькой группе человек из пяти. Все диссиденты себе на уме — ничего не делается без личной выгоды.

— Якунин так говорил?

— Прямо, конечно, не говорил, но нетрудно понять. А чему ты удивляешься? Вот другой пример — священник Дудко. В прошлом году он тут сидел. Раскаялся, отказался от своих проповедей. Сделал себе имя и в сторону. Что он, ради идеи диссидентствовал? Только ради себя, пока ему это было выгодно.

На это мне возразить было нечего. Густую тень бросил святой отец на демократическое движение в стране. Сам осрамился, и теперь его именем других срамят — все, мол, такие правозащитнички. Своя рубашка ближе к телу.

Но чувствовалось у Сосновского намеренное злословие. Само понятие честного человека оскорбительно для него. Он честный, а я, значит, нет? Бессовестный ищет самоутверждение в том, что и все такие бессовестные. У каждого своя корысть, а всякие там идеи, принципы, общее благо — обман простаков, демагогия, но его, Сосновского, не проведешь. Допусти он, что все-таки есть люди, для которых общие интересы неотрывны от личных, истина важнее собственного блага, а совесть значимей выгоды, — сразу вопрос к себе: почему он не с ними? Не так умен, честен, смел?

Он, Сосновский, хуже, трусливей этих людей? Да разве мыслимо задаваться такими вопросами порядочному человеку? Что тогда останется от его порядочности? А у Сосновского — от его элитарной исключительности? Нет, куда легче проповедовать изначальную греховность, порочность людей, куда легче охаять человека, чем признать у него достоинства, которыми сам не обладаешь. Такова психология голубого отличника, супермена, всякого, страдающего самолюбованием.

Я стал избегать беседовать с Сосновским. Не тут-то было. Если ему не говорят, что он самый красивый, самый лучший, он раздражается. Володя, хоть шутя, но фартил, с ним Сосновский чувствовал себя человеком. На меня же сердился уже потому, что я с ним не хотел разговаривать. И чем больше я уклонялся, тем навязчивее становилась его велеречивость. Стало ясно, что объяснения не избежать. Всякая ссора — тяжелое событие в маленькой камере. Долго придется дышать в отравленной атмосфере. Но иногда ее предотвратить невозможно.

На третьи наши совместные сутки, после отбоя, как положено, мы лежали в кроватях. Я читал. Сосновский уже битый час излагает мне свое кредо на диссидентство. Среди диссидентов, а он знает многих, ни одного порядочного человека. Ущербные люди. Обычно неудачники, обвиняющие в своих неудачах всех на свете, кроме себя. Другие маниакально жаждут славы, любой ценой, лишь бы создать шум вокруг имени. Третьи нацелены уехать и зарабатывают здесь моральный, а кто половчее, заодно и финансовый капитал.

— При чем тут диссиденты? — не выдерживаю. — Ты же на свой аршин меришь.

— Да, — запаливается Сосновский. — Но я не строю из себя героя. Я честно говорю, что делал деньги, чтобы уехать. А диссиденты, делая то же самое, выдают себя за благодетелей. Если этой игре кто-то придает значение, то только потому, что кому-то она выгодна. Диссидентам, чтобы уехать. Западу, чтобы скомпрометировать коммунизм.

— Во-первых, никто так не компрометирует коммунизм, как сами коммунисты. Во-вторых, Сахаров, например, не собирается уезжать.

— Сахарова не выпустят, поэтому не собирается. Выдохся как физик, вот и гонится за дешевой сенсацией.

— Если б ты хотел разобраться, ты бы не повторял газетную клевету. Сейчас ты просто брюзжишь, я не хочу тебя слушать.

— А ты разобрался? Кого ты лично знаешь из диссидентов?

— Никого. Но я знаю простую вещь: каждый человек имеет право на собственное мнение. Власть, которая подавляет свободу

мышления, это преступная, антинародная власть.

— У нас подавляют?

— Да.

— Да знаешь ли ты, что если бы было так, то никаким диссидентов у нас и в помине бы не было. Как при Сталине. Они есть только потому, что их терпят.

— Терпят, как и при Сталине в лагерях.

— Сажают не за инакомыслие, а за преступление.

— Фонд помощи политзаключенным и их семьям по-твоему — преступление?

— А как же? Он финансируется из-за рубежа. Это вывеска для подрывной деятельности. Кому нужны зэки? Не видят они этой помощи. Куда и кому идут деньги? — вот вопрос.

— Что ты городишь? Нет никакого секрета: деньги в основном Солженицына, и он прямо говорит, кому они предназначены.

— Можно говорить одно, а делать другое. Нашел благотворителя. Солженицын мстит, он ненавидит советский строй. Им движет не добродетель, а ненависть. Что ты думаешь, он из жалости раскошеливается? Он хочет свергнуть власть. Ему специально платят бешеные деньги, чтобы под ширмой помощи он финансировал подрывные акции.

— Какие акции?

— Несколько человек объявляют себя правозащитниками, раздувают из мухи слона, сеют недовольство — это не акция, например?

— Выходит, у нас недовольны только те, кто завербован на заграничные деньги. Ты, брат, чересчур.

— Да так и есть, если не считать дураков.

— А меня за кого принимаешь: агент ЦРУ или дурак?

— Кто тебя знает? Скорее всего, тебя хотели использовать, да не успели. А если ты этого еще не понял, то и в самом деле не от большого ума.

— Мне то же самое твердит следователь. Но я одного не пойму: он — за зарплату, а ты что — «химию» зарабатываешь?

Пошла ругань. Нас разнял полусонный Володя Баранов. Я не мог простить себе, что ввязался. Наскоки Сосновского слишком отдавали провокацией, а я чересчур разоткровенничался. Обычно после отбоя ни шахмат, ни шепота — контролер сразу стучит. А тут разорались часа на два и ни одного замечания. Странно.

На следующий день Сосновского вызвали, мы остались одни с Володей, и он сказал тихо: «Зря ты вчера спорил. Это может повредить тебе». Я удивился: «Ты ему не доверяешь? Вы же друзья». «В тюрьме самому себе нельзя доверять. Ты заметил, что

бы я с ним говорил о делах? Я разговариваю только на одну тему: личный покой и хорошее питание».

Да, Сосновский не внушал доверия. За внешней интеллигентностью — нутро прогнившее. Ничего святого. Сам бизнес его, то, за что он сюда попал, — отвратителен. Спекуляцию иконами он называет спасением ценностей национальной культуры. Тучи таких вот «экспертов», да и просто, кому не лень, обшаривают деревенские избы, выпрашивают, скупают за бутылку «гнилухи», а то и воруют иконы. Неудобно стало не иметь иконы где-нибудь в сортире городской квартиры. Модно подарить на день рождения. Но основная причина опустошительной охоты: нажива. И главный рынок — за границей. Оборотистые дельцы, вроде Сосновского, скупают здесь за бесценок и наживают состояние на продаже иностранцам. Последние иконы покидают родину. Дельцы становятся богаче, русская культура беднее. Вот чем оборачивается «спасение». Горькие последствия этой торговли становятся очевиднее, когда задумываешься, чем является для русского народа икона.

На иконе держалась вера, понятие что хорошо, что плохо. Она средоточие святости, символ культурной и нравственной традиции, опора национального духа. Запылали иконы в огнях большевистской инквизиции, косяками поплыли по рекам. И с ними уничтожались традиции, вера и нравственность. Заменили иконы красными плакатиками. Но они оказались фальшивками. Новые ценности не прижились, старые — разрушены. Утрачена вера, сорваны нравственные табу! С разорением традиционных святынь рухнули опоры национального духа, то, что, собственно, объединяло и делало население нацией. Распадаются, разлагаются, деградируют заблудшие люди в разгулах необузданного инстинкта, в бессмыслице существования. Религиозный страх конца света, страшного суда, сдерживал от себялюбия и преступлений, атомный страх конца света развязывает психоз вседозволенности, пира во время чумы. Насилие, ложь, пьянство, воровство, стяжательство, паразитизм. Отнимали бога, чтоб люди повернулись лицом к человеку, однако, утратив бога, люди даже в себе перестали узнавать человека. И совсем бы все потонуло во мраке бездушья и бездуховности, если б не тихий свет в углах деревенских изб. В молитвах ветхих старух на потемневшие не столько от времени, сколько от безвременья образы только и сохранилась традиция, способная образумить заблудшее общество. В слабом свете загнанных в угол икон — единственная надежда на оздоровление. Может быть, разгорится. И, действительно, в поисках выхода люди все чаще оглядываются на этот свет. Меняется отношение к

религии. Разуверившиеся в красных идолах снова помаленьку обретают веру в бога. Икона становится символом, путеводной звездой национального возрождения.

И в этот переломный момент духовного кризиса, когда свет каждого иконописного лика обещает спасение и все больше притягивает людей, обрушиваются полчища городской саранчи, вроде Сосновского. На черных досках они делают деньги. Тушат последние искры духовного света, оставляя осиротелые избы на произвол линялого флажка над грязным сельсоветом. То, чего не смогла истребить разнузданная власть, сейчас довершают доморощенные спекулянты. Конечно, иконы не пропадают. Оседают в частных коллекциях, музеях, за них дают большие деньги. Но разве там им место, разве коммерческая им цена? Это же не картина. Икона в коллекции мертва. Там она имеет эстетическую ценность, но смысл иконы прежде всего нравственный, мировоззренческий. Икона не услаждает, а учит. Икона — не иллюстрация, не искусство, а путеводитель по жизни, учение, ориентир, по которому человек ежедневно сверяет свой извилистый путь. В этом смысле икона жива лишь тогда, когда она среди людей. Лишь в постоянном интимном общении с нею светлеет душа. Отрывать икону от изб, от людей — значит губить людей, убивать надежду на духовное возрождение.

И что взамен? Какие ценности несут Сосновские вместо икон? Трешку, пятерку. Стакан «гнилухи» деревенскому забулдыге за то, что он стащит у матери или старухи-соседки. Не без гордости рассказывает Сосновский, как сам крал в гостеприимных домах, хозяева которых отказывались продавать икону. «Спасал». Свой серебряник. Надругался над людьми и их верой, выкрадывал остатки доверия к человеку. И света в этих домах становилось меньше, а тьма гуще. И зла в мире стало больше.

Человек неглупый — что он, не понял бы грешности такого занятия, если бы речь шла не о нем? Что воровать, обирать старушек нельзя. Что икона народу нужнее, чем попам и коллекционерам. Что отнимали ее у людей — кощунство, а в критический момент отнять спасательный круг у утопающего — преступление. Понял бы и осудил. Осудил бы другого за то, чем сам гордится. Другим нельзя, ему все можно. Плохое перестает быть плохим, потому что это Сосновский. Маниакальное самомнение утверждается нахальством вседозволенности. Тип человека, который возвышается в собственных глазах не своими достоинствами, а недостатками, охаиванием других. Даже когда признает, что и он дерьмо, старается доказать, что он не просто дерьмо, а дерьмо превосходное: все, мол, такие, но они скрывают, а я хоть честен.

У нас обнаружился один общий знакомый, актер. Я обрадовался, обычно знакомые сближают людей, но тут наоборот: смертный его враг оказался. Ситуацию классического треугольника — муж, жена, друг — ревнивый Сосновский, по его словам, разрешил тем, что выбросил актера с черного хода своей квартиры. Трудно представить, как удалось середнячку Сосновскому выбросить атлетического Сашу Шворина, но и этот случай доказывал, что всякий друг — подлец. Эта уверенность чрезвычайно облегчала нынешнее положение Сосновского, ибо освобождала от каких-либо моральных препятствий на пути к «химии». Сделать подлость подлецу не зазорно, Сосновский-свидетель пучит уголь глаз неистово: «Все расскажу! Меня заложили, и я от них костей не оставлю!» Назойливо убеждает нас с Володей, чтоб самому верилось, что на зону он уже не вернется; отсюда, если не сразу на волю, то на «химию», а для него это та же воля. Как свидетель он даст все показания, ничего не скроет, НИКОГО не выгородит. Он сидеть за кого-то не собирается. И заступники у него высокие: четыре депутата, четыре Героя соцтруда, известные кинорежиссеры Донской, Рошаль, Герасимов, еще кто-то ходатайствуют перед Верховным Советом о помиловании талантливого фотографа-художника.

С неделю мы были вместе. Когда его вызвали с вещами, он страшно побледнел. Истерично твердит, что уходит на волю, если не сразу, то его все равно не должны держать вместе с нами, потому что «химиков» с подследственными не держат. Сейчас я знаю, что вообще осужденных содержат отдельно от подследственных. Почему его поместили с нами — остается гадать. Ошибка в Лефортово исключена. Скорее всего открылось за ним еще кое-что, возбудили новое дело, а он либо скрыл от нас, на что-то надеясь, либо не знал до поры, до времени. Могли специально поместить по, так называемым, оперативным соображениям, т. е. для сбора информации о сокамерниках. Не знаю, как себя, но нас с Володей он убедил настолько, что мы не сомневались в его освобождении на «химию» или на волю. Порядочный человек сидел бы шесть лет, а тварь выходит через два года. Бог с ним, но было жаль людей, которые стали жертвами его показаний, на костях которых он карабкался на свободу. Прошел почти год. На Свердловской пересылке я встретил деда из Лефортово, который знал Сосновского. Он сказал, что Сосновского не выпустили. Новый суд добавил еще два года и с общим сроком восемь лет его отправили на строгую зону. Вот, оказывается, почему так нервничал, грыз ногти Сосновский. Знал за собой. Сколько веревочка ни вейся, а на чужом хребту не всегда в рай.

# Володя, Женя и другие

Володя Баранов, «Пузик» звал его Сосновский, каждый день решал трудную задачу: получить поменьше срок с минимальными для себя материальными потерями. Следователь настойчиво выжимал из него «заработанное». И сверхзадача: личный покой и хорошее питание. Благодаря неистощимому юмору, находчивости и покладистому характеру, последнее ему удавалось без особого труда. Серьезен он был, пожалуй, только в игре. Они оба с Сосновским подмухлевывали и оба сердились, когда проигрывали. Страсти кипели нешуточные. Шахматы, нарды разлетались по камере, однако через пять минут они снова выясняли отношения за партией.

Володя — ювелир. Жена купила место барменши где-то на Сретенке. Сына прочит по отцовским стопам, в ювелиры, ибо лучшей профессии в мире нет. «Володя, у тебя пятая судимость, когда же ты живешь с семьей?» «Между ходками. Я ведь долго на зоне не задерживался». Первый раз за спекуляцию. Раздобыл по блату три дефицитных ковра и на своей машине привез в Лужники на ярмарку. Пошел искать покупателя, глядь, у машины два мильтона («Два мента», — говорит Володя): «Откуда ковры?» «У частника купил по дороге». «Зачем сюда привез?» «Я носки хотел купить». Ковры конфисковали, носки обошлись в полтора года. Остальные судимости — издержки профессии: нелегальное изготовление изделий из золота, присвоение металла заказчика и т. п. И так с молодости: тюрьмы, зона, «химия», год-два на свободе и опять тюрьма, зона, «химия». На зоне всего хуже, там работать надо. Но и на зоне устраивался, руки золотые: слесарь-лекальщик, инструментальщик, по-лагерному это значит, точил на заказ всякие левые поделки — перстни, браслеты и т. п. Ментам — за чай, за лишнюю передачу. Зэкам — за деньги. Деньги в трубки и забивают в землю, в укромном месте. Один на зоне не проживешь, надо знать, кого угостить, с кем поделиться. Тогда маленького еврея лишний раз никто не обидит. Однажды отняли у него «грев» — мешок с едой. «Иду к солидным людям, — рассказывает Володя. — Это те, кто не работает, а только в карты играет. Мужики, говорю, почему меня обижают? «Кто?» Да такой-то. «Зови сюда». Я позвал. У того спрашивают: «Он тебе должен?» Нет. «Какой рукой брал? Клади сюда». Куда денешься? Тот руку на тубарь, а ему по пальцам напильником. Все — калека.

— Это раньше были авторитеты, — замечает Сосновский. — Сейчас: все подлецы. Закроешься в котельной, дверь на лом, быстро ешь, чтоб никто не увидел. Так тот, с кем ты ешь, он же

тебя и вкладывает. Ему ничего, а с тебя объяснительную: где взял колбасу?

— Да, год от года на зоне хуже, народ гнилее, — соглашается Володя, — Поэтому лучше весь срок здесь просидеть.

Открывается кормушка. Баранову дают извещение о том, что на его лицевой счет переведено 25 рублей. «Жена!» — сияет Володя. Целует квитанцию, долго крутит на свет, как бы удостоверяясь в подлинности. Гордится: «Каждую неделю шлет, чтоб я знал, что она любит и ждет». Действительно, назначение перевода, чисто символическое, т. к. больше 10 руб. в месяц не израсходуешь, не положено. «За что тебя любить? Ты же из тюрьмы не вылезаешь». «Я семью обеспечиваю, она же понимает». «Так у тебя все конфисковывают». «Все? Да-да, — несерьезно соглашается Володя. — Тем лучше, значит, она меня любит платонически». «А ты не ревнуешь?» «Зачем? Она ведь живой человек. Достаточно, что я страдаю, почему она должна страдать? Главное, чтоб аккуратно и мне не было больно».

— Отсижу срок, — продолжает Володя, — и каждый раз говорю себе: «Хватит!» Вот проверну одно дельце, куплю машину, рассчитаюсь с долгами и завяжу. Не везет. Обязательно еще что-нибудь подвернется. Ладно, думаю, это на черный день отложу. Отложил. Ну, теперь тысчонок десять на карманные расходы и баста. И так пока не остановят. Моя беда, что я азартный человек, люблю риск, не могу без дела. Иначе не интересно жить. А сейчас я снова нищий. Сколько денег уйдет, пока сижу? А выйду: долги гасить надо? Машину надо? Придется опять соображать. Но уж на этот раз точно: одно, от силы два верных дельца и точка. Завязываю окончательно.

Мне будет за сорок, здоровье не то, рисковать больше нельзя. Будем жить тихо, спокойно. Надо сына учить.

— Его очередь сидеть?

— Хватит с меня. Мой сынок не будет сидеть. Я из него не просто мастера — виртуоза сделаю. Отдам учиться к классному мастеру, деньги сами к нему потекут. Я почему сижу? Потому что я средний мастер, мне приходится воровать. Известному мастеру воровать не надо — клиенты в очередь записываются, чтобы ему свое золото и деньги отдать. Но сначала я буду учить не золоту, — размечтался Володя. — По камушкам и серебру. Камушки самое надежное, они всегда в цене. Каждые десять лет раза в два дорожают, капитал самый выгодный. И серебро. Известных месторождений хватит лет на 10–20, больше серебра найти не могут. Запасы тают, потребность растет. Цена будет резко повышаться, и, вот увидишь, скоро серебро станет дороже золота. Серебро надо скупать, пусть лежит — на весь век хватит и

детям достанется.

За серебро он нынче и угодил. В Москве, в Прибалтике скупал бытовое серебро и отдавал человеку, который его финансировал. Серебро через Афганистан контрабандой уходило в Японию, а оттуда тем же путем коробки с цветастыми платками, которые нарасхват у наших женщин, особенно восточных. Клиентура ресторана «Узбекистан» закупала коробки оптом. Володя скромно оценивает себестоимость платка в 22 рубля, продавали якобы за 23 рубля, т. е. с каждого платка он имел барыш рубль. В коробке 600 платков, значит даже по его скромным расценкам с каждой коробки они выручали 600 рублей. А сколько таких коробок прошло за год регулярной контрабанды — попробуй установи. У организатора операции только официально изъяли полтора миллиона. Реализацию товаров через Афганистан обеспечивал афганец из семьи миллионера, студент московского вуза. Из десятка участников группы Володя, по его словам, отнюдь не самая активная фигура, но и у него по официальному обвинению нажива около ста тысяч. У Сосновского эта цифра вызывала завистливое одобрение: «Молодец, Пузик! — И тут же: — Но у меня больше». Я читал его приговор: ему вменялось, кажется, 32 тысячи рублей. Тоже немало, но ведь никак не больше, чем у Володи. И глазом не моргнул: «Это следователь насчитал, на самом деле 120 тысяч заработал». Ни в чем не уступит. В ущерб себе, но дай прихвастнуть. А ну-ка завтра, спросит следователь: «Какие такие 120 тысяч? Где они? Почему мне не сказал?» Ведь это пахнет новым сроком. Сосновский понимает это прекрасно, но не может допустить, чтобы кто-то в чем-то его превзошел. Чем больше иск, тем больше уважают на зоне. Это престижно. А Сосновский везде стремится производить впечатление крупной, по возможности, самой крупной личности. Не оказался ли он жертвой собственного хвастовства, когда вместо ожидаемой «химии» получил восемь лет строгого режима?

Володя с ним на эту тему не спорил. Наоборот, искренне удивлялся, откуда следователь насчитал у него 96 тысяч? Таких денег у него отродясь не было. Долго упирался. Потом, очевидно, следователь ему объяснил и помимо контрабанды добавил спекуляцию валютой. А валютная 88-я статья — до вышки, и светит Володе никак не меньше десяти лет.

«Случайно завалялись всего несколько монет, — метался по камере Володя. — Какая же это валюта? Нарочно пришил, чтоб по миру меня пустить. Найду хорошего адвоката, надо снять валюту во что бы то ни стало. Иначе конец». Это единственное, что его серьезно расстраивало. И не без оснований. Он репетировал свои

контраргументы перед очередным допросом. Ну, нашли несколько монет, где доказательства, что он их скупал или продавал? Ах, главный организатор показывает? Так он валит с больной головы на здоровую, ему вышка грозит, он что хочешь теперь скажет.

«Это он раскололся? Как тебя посадили?» — перебиваю Володю. «Нет, другой. Всех за собой потащил». «Вот гад!» «Почему?» — удивляется Володя. — Делали вместе, и он будет сидеть, а я — как сыр в масле? Несправедливо». «Ты из-за него сидишь, и к нему никаких претензий?» «Конечно, нет. Каждый теперь себя спасает: он — себя, я — себя». «И ты тоже все говоришь, людей сдаешь?» «А как же? У нас это не западло. Никому не интересно лишнее сидеть».

Черт поймет этих торгашей.

Нажива сто тысяч, продолжает Володя, тоже оговор главного обвиняемого, ибо он заинтересован уменьшить сумму собственного иска. Сколько у меня нашли? Ничего не нашли? Так откуда же 100 тысяч? Ах, я участвовал в дележе прибыли? Нет, вы ошиблись, я не участвовал в дележе прибыли! Я получал комиссионные, 10 % стоимости скупленного мной серебра, которое я никогда не знал, где и за сколько реализуется. Поэтому я, вообще, не считаю себя участником контрабандной группы. Я действовал индивидуально. Скупка и продажа бытового серебра — пожалуйста, это я признаю. Обыкновенная спекуляция, максимальный срок — пять лет. «Ну, как, убедительно?» — проверяет на нас силу своих аргументов.

Однако аргументы следователя оказались убедительнее. Володя вынужден был отдать расчетную сумму. Но поставил условие: если срок будет не больше 10 лет, если дадут свидание с женой и оставят их наедине, без свидетелей. Следователь принял условия, за следователями КГБ прочная репутация: если сказал, то так и будет, зэки их слову верят. В кабинете следователя, когда он вышел, Володя дал жене понять, куда надо пойти, где найти, что принести. На следующий день жена принесла в Лефортово мешочек изумрудов на сумму иска. «Как я переживал, я плакал! Больше всего на свете я люблю изумруды. Я мог часами любоваться на них: такой глубокий цвет, такие волшебные переливы. А как они хороши в хорошей огранке! Всю жизнь я собираю изумруды. Им же цены нет. Знаете, сколько они будут стоить через пять лет? Я бы за них лучше десять лет отсидел, зато бы знал, что выйду не нищий. Но мне грозило 15, а это для моего возраста и подорванного здоровья — крышка. Зачем изумруды, если я умру? Но они, мои любимые камешки, сейчас спасают мне жизнь». Трогательно и логично. Однако на этом ни следователь,

ни Володя не успокоились. Володя считал, что десять лет все-таки многовато, годика два надеялся скинуть. Когда возвращался с допросов, с порога передразнивал следователя: «Дай миллион! Дай миллион! Заладил, как Паниковский. А где я его возьму?» Я шутил: «Придется дать, скосят на два года». «Из-за двух лет семью по миру пускать? — сгоряча взрывается Володя, но тут же спохватывается и на лице несчастное, жалобное, предельно искреннее выражение. — Да я бы все отдал до копейки, если б у меня хоть копейка осталась. Ничего же нет, все, что было, забрали. Свои, что ли, изумруды отдал? Наследственные, да спасибо, родственники выручают. Но и родня — не бездонная бочка. Пристал, как банный лист: «Дай миллион!»

Наверное, так и не дал. Потом я слышал, что Володю приговорили к десяти годам.

За что, если разобраться? Кому он сделал плохо? Женщинам нужны красивые платки. В магазинах их нет. А Володя доставал и у него охотно покупали. Женщины благодарны, и Володя не в накладе — все довольны. А серебро? Почему люди не продают государству, а продают Володе? Потому что Володя платит несравненно больше. Он платит реальную, рыночную стоимость товара, а государство предлагает свою, значительно более низкую цену. Достаточно в соответствии со спросом и предложением установить реальную цену закупки, и люди понесут серебро в комиссионные лавки. Разве Володя виноват, что это не делается? Содержат карательный аппарат, сажают людей, лишь бы не платить рыночной стоимости. Разве это дешевле? И разве от этого потечет серебро в государственные лавки? Наоборот. Увеличивается степень риска в частной купле-продаже, тем самым способствуют рыночному вздорожанию, то есть той же спекуляции, с которой так безрассудно борются. И почему бы в рамках борьбы со спекуляцией не наладить государственное производство красивых платков? Не получается? Значит, не можете? Тогда за что же Володю сажать? Ему спасибо надо сказать, ведь он помогает социалистическому государству воплощать его основной закон: наиболее полное удовлетворение потребностей. Он удовлетворяет те общественные потребности, которые в течение шестидесяти с лишним лет не может удовлетворить государство. Володя делает «все для блага человека», не забывая и о своем благе, и что же в этом худого, если можно быть полезным людям без рыданий героического самопожертвования, если свое благо ты зарабатываешь тем, что делаешь благо другим? Это же как раз то, что государство поставило своей целью. Володя оказался на переднем крае экономического фронта, он всегда там, где не справляется

система государственного снабжения, его деловая инициатива прикрывает прорехи позорного дефицита. Чем не Александр Матросов? Да это же подвиг! И за это полагается вознаграждение. Может быть, даже звезда Героя социалистического труда, ведь Володя делает то, что не могут сделать Герои. Или Ленинская премия, названная именем основателя государства, законом жизни которого является забота каждого о благе всех. Володя же только этим и занимается, тем более помимо основной работы, на общественных, так сказать, началах. Такое вознаграждение было бы в полном соответствии с социалистическим принципом «От каждого по способностям, каждому по труду».

А ему 10 лет. И что в результате? Искалечили жизнь, надолго вышибли из жизни инициативного работника, оставили без нарядных платков женщин, взвинтили спекуляцию — ведь платки стали еще дефицитнее, и, значит, на черном рынке будут стоить дороже. Кому это надо? Только вредителю. И это официальная политика лучшего в мире правительства. Если б правительство думало не о себе, а о благе народном — как бы оно поступило? Наверное, оно создало бы производство, которое оперативно реагировало бы на общественные потребности, на спрос. Или обеспечило бы поступление необходимых товаров с внешнего рынка. Володя нашел такую возможность, неужто Внешторг бы не смог? Была бы охота. Ну, а пока что пусть бы обеспечивал общественный спрос тот, кто может, хоть частник, Володя, например. Вполне легально, с законным процентом от прибыли — за деловую находчивость, за инициативу, за предприимчивость. Бог бы с ней, с Ленинской премией, но не десять же лет лагерей! А когда на словах провозглашается «Все для блага человека», а на деле морят людей дефицитом и пустыми прилавками — это действительно преступление. Это не управление, а вредительство. Если кого сажать, то никак не Володю, которому женщины, покупавшие у него красивые платки, говорили спасибо! Он не преступник, он жертва преступной экономической политики. Мне его искренне было жаль.

С уходом Сосновского в камере воцарился покой. Ушла нервозность. Некому было нас поучать, донимать пижонскими капризами и раздраженными спорами. В тот же день появился другой человек. Он не испортил вздоха облегчения после Сосновского. Скорее, наоборот — скрасил наше существование.

Вошел он вежливо, почти робко. Высокий, в коричневом свободном костюме. Не успел положить матрац, принялся усердно зачесывать редкие длинные пряди на лысине. Взял тряпку — протирает столик, кровати, тумбочку. «Мы протирали, садись, отдохни», — урезониваем его с Володей. Улыбается

виновато: «У меня мания чистоты. Пока сам все не вытру, не успокоюсь». Протер пол. Еще расчесался. Евгений, Женя. Фамилия, кажется, Вешкурцев или что-то вроде того. Лет сорока с небольшим. Перевели сюда из Бутырки. В ходе расследования обнаружились какие-то его связи с иностранцами. Он диву дается: «Когда-то пару икон подарил. Мне — джинсы для дочери. Совершенно была случайная встреча, я уж давно забыл. Как они через столько времени вспомнили, как узнали? Чудеса!» А взяли его по хозяйственной статье, кажется, 92-й — хищение госсобственности путем присвоения или злоупотребления служебным положением. Женя — то ли начальник, то ли главный инженер специализированного СУ по отделке кабинетов, всяких дач, в общем, был хозяином всевозможного строительного дефицита — мрамора, ценной древесины, отделочных материалов, — за которым охотятся высокопоставленные любители служебного и домашнего комфорта. Широкие связи на самом высоком уровне. Блат. Угождал выполнением левых заказов, выделением лимитных материалов. Приписки в отчетности, махинации — это неизбежно, если хочешь, чтобы управление процветало. Что-то и в свой карман. Но я верил ему, что не для себя лично — для дела. У хозяйственника, особенно у строительного руководителя, всегда должны быть под рукой наличные деньги: угостить нужного человека, быстро приобрести подвернувшиеся материалы, нанять людей для срочного заказа и т. п. А работа у них тонкая, требует художника, мастера, рабочего высокой квалификации. Им надо платить не по госрасценкам. Крутился Женя, был довольно оборотист, все успевал. Из собственных приобретений была лишь кооперативная квартирка для вышедшей замуж дочери. Больше ничего не нажил. Кому-то понадобилось его слопать. Подкопаться под преуспевающего хозяйственника ничего не стоит. Потому и преуспевает, что лавирует, иначе бы сняли за неуспеваемость. Каждый на «крюке» и каждый знает, что в любой момент его могут «подсечь». Это и заставляет хозяйственника угождать направо-налево. Испортились отношения — уходи сам по добру по здорову. Встал на принцип — твоя песня спета. Вышестоящий пришлет неподкупную ревизию, подчиненные съедят анонимками. Женя не успел или не захотел уйти. Понадеялся на свою высокую клиентуру, хотел доказать правоту. Однако хозяева больших кабинетов хороши, когда им что-то нужно, а когда нужно тебе, а им нет, то ты для них больше не существуешь. В качестве правдолюбца Женя был им не нужен. Типичная история хозяйственника, покушавшегося на независимость. Видно было, что он никак не ожидал такой катастрофы. Полгода — в Бутырке,

две недели — при мне, а к тюрьме привыкнуть не может. На этой почве заскоки. Ни с того, ни с сего вдруг: «Слышите!» — и палец антенной: «Голос!» Какой голос в толстых лефортовских стенах? «А я слышу. Мне часто идут сигналы из космоса». «Наверное, это твой внутренний голос, Женя». «Нет, внутренний голос я знаю, а этот издалека, снаружи. Я спрашиваю мысленно, он отвечает. Или сам выходит на связь, как сейчас. Не смейтесь, вполне серьезно». «И что он тебе говорит?» «Что я умру в тюрьме». Говорит серьезно, внешне спокоен. Косит? Или правда ему чудится? Не поймешь. Но это нечасто. Больше рассказывал реальные вещи.

В Бутырке он сидел в больничном крыле, в спецкамере человек на шесть. Трудно разобраться, по какому признаку водворяют вместе на спец — настолько разная публика. Интеллигентный хозяйственник и дворовый жулик, блатной урка и психопат-убийца. Женя с изумлением рассказывал об экземпляре homo sapiens, о существовании которого раньше не подозревал. Зовут Витя. Познакомились так. Женю заводят в камеру, и некуда сесть. Кровати заняты, за столом люди. И никакого внимания. Положил скатанный матрац на пол, осмотрелся. «Эта! — кричит ему с нижней кровати лихой молодец. — Подь сюда!». Женя подходит. «Принеси воды». «Ты болен?» — деликатно осведомился Женя. «Я что сказал? — парень делает страшную рожу и пальцы вилкой, — Моргалы выколю!». «А, вот ты о чем! — догадывается Женя. — Если ты, сопляк, еще раз назовешь меня на ты, я тебе мозги вышибу. Чего вылупился? Вставай, помоги устроиться!». Парень моментально преображается. Добровольно уступает свою кровать, стелит себе на полу. Женя его удерживает: не надо, он сам будет на полу, пока не освободится место. Куда там! Парень, оказывается, очень уважает старших. «Люблю сильных и умных, таких, как ты» — признается он Жене. Разговорились.

— У меня брательник такой. Мы с ним как две капли. Знаешь, какой брательник? Во дворе в домино без очереди. Три ходки сделал! И завязал. Ему больше не надо. Ложки есть, вилки есть, жена — на месте, квартира — живет, как король! У меня это вторая ходка, надо до 30 еще одну, и тоже завяжу.

— Зачем тебе, Витя, три ходки?

— Как у брательника, чтоб во дворе уважали. Две ходки не то, с третьей считаешься в авторитете.

Отца Витя не помнит. Мать пьяница. Старший брат сгинул на очередной отсидке, давно никаких вестей. Сестра — проститутка, тоже бегает от милиции, теперь неизвестно где. Один в семье «путевый» — средний брат, с которого делает свою жизнь Витя. Преступления Витя совершает нарочно, только чтоб отсидеть.

Иначе в их кругу — всю жизнь пацан и никакого уважения. В этот раз отдохнул от первых полутора лет и решил, что подошло время для второй ходки. Поставил на уши хату, как он выражается, науськал двух ребятишек лет десяти залезть в квартиру одинокой женщины в соседнем доме. Взяли что попало: халат, туфлишки, кофту. Витя все забрал себе. Пацаны обиделись, жалуются во дворе. Кофту Витя подружке подарил. Та на радостях ходит по двору, счастью своему не верит, форсит. Увидела свою кофту обворованная соседка: «Сымай!» Пацаны все рассказали. Витя не отпирается. С чувством исполненного долга поехал в тюрьму. «Ты кто?» — спрашивают Витьку в камере. Он гордо отвечает: «Вор!»

Парень, говорит Женя, добрый и безобидный. Но ужасно хочет быть не хуже людей. А кроме среднего брата, других образцов для подражания не знает. Самое интересное, что не из далекой глуши Витя — живет почти в центре Москвы, в старых дворах близ Таганки. Образование 8 классов. И совершенно иной мир, мир московского дна, о существования которого я тоже, признаться, не знал.

В ту пору много было шума о выстрелах в центре Москвы, на Калининском проспекте в ювелирном магазине «Кристалл». Писала «Московская правда», сообщало телевидение. Среди белого дня в магазин вошел молодой человек и, наставив на кассиршу пистолет, потребовал деньги. Кассирша нажала кнопку сигнализации и замертво осела под пулями. Ранен вбежавший в зал милиционер. Газеты и телевидение сообщали о героизме убитой кассирши, о подвиге раненого милиционера и практически ничего о преступнике. Маньяк. Кто, откуда зачем он это сделал — ни слова. Да как-то и не очень задавались: преступление настолько жестоко и безрасудно, что не возникало сомнений в том, что его мог совершить только сумасшедший. Но молодой человек, оказывается, вовсе не был сумасшедшим. Женя какое-то время сидел с ним в одной камере. Его звали Павел, он окончил философский факультет Московского университета, был директором сельской школы у себя на родине, в Орловской области. Мечтал поступить в аспирантуру института социологии. Несколько раз пытался и неудачно. В отделе аспирантуры намекнули, что нужно четыре тысячи. Астрономические деньги для сельского учителя. Ошеломляющее предложение для комсомольца-идеалиста, каким был Паша. Он был потрясен не суммой, а требованием взятки. И где? В святая святых, в храме академической науки, на которую он молился. В цитадели молодой отечественной социологии, с которой связывалась надежда подлинного изучения реального общества. Воспитанный

на идеалах научного коммунизма, в том же духе искренне учил деревенских детей. Недостатки реальной жизни относил к разряду временных, больше связывал с особенностями местных условий Орловской области и беззаветно верил, что они будут преодолены под руководством партии и ученых-социологов на пути к светлому будущему. Он мечтал учиться у этих социологов. Несколько лет подряд штудировал книги, готовился в аспирантуру, сдавал экзамены, не проходил по конкурсу, снова готовился. Он-то думал, что дело в знаниях, что надо лучше готовиться, а дело, оказывается, в пустяке. Не знания нужны, а деньги. В заоблачной выси марксистской академической науки он неожиданно наткнулся на ту же грязь, на те же взятки, отвращение к которым, может быть, определило его призвание к коммунистическим идеалам, к активному участию в совершенствовании общественных отношений. Там, где светлые профессорские головы озаряют путь к светлому будущему, его окунают в дерьмо ничем не лучше родного орловского. Паша был идеалист. Всю жизнь его учили презирать деньги. Такой пустяк. Он знал, где есть лишние деньги. Раздобыл самодельный пистолет и пошел в ювелирный магазин «Кристалл».

— Но почему днем, почему на Калининский, где на каждом метре мент? — спрашивали сокамерники.

— Я об этом не думал. Мне нужно было четыре тысячи, и я пошел туда, где без них не обеднеют. У меня была цель — аспирантура. Говорили готовиться к экзаменам — я готовился. Сказал, что надо четыре тысячи, — я пошел за деньгами.

— Но зачем ты стрелял в кассиршу, пожилую женщину, неужели не жалко?

— Нет. Я не видел женщину. Передо мной было препятствие, и я его устранил.

Раскольников нового, советского образца. Сюжет, достойный пера Федора Михайловича. Молодой человек чувствует в себе способности, он стремится быть максимально полезным обществу. Для этого нужны деньги. Он идет туда, где деньги выбрасывают на красивые безделушки. Он знает, что имеет высшее право на эти деньги. И если мир несовершенен, если ему не дано улучшить его, то пусть он будет жертвой несовершенного мира, чем жить и приспосабливаться в нем.

Преступление директора школы, выпускника философского факультета Московского университета зарубежное радио комментировало как признак идеологического кризиса в СССР. На обследовании в психиатрическом институте имени Сербского врач в форме полковника, не обнаружив у Паши психических отклонений, сказал: «У тебя единственный шанс выжить — коси!»

Советский контрпропаганде нужна была версия маньяка, сумасшедшего. Паша отказался. «Тебя же расстреляют! — ахнули в камере. «Ну и что? Я не боюсь» — спокойно отвечал Паша. Потом его куда-то перевели и, по слухам, расстреляли.

— Нормальный умный парень, — удивлялся Женя, — фанатик, конечно, потому что живет по идее, а в остальном — совершенно никаких сдвигов.

Любопытно, как там Лена — зав. отделом аспирантуры института социологии? Правда ли все это? Насколько я знаю, она — девушка без комплексов. Поневоле задумаешься о происхождении ленинского шарма, о дорогом перстне на пальчике, вспомнишь крутую обтяжечку обольстительных импортных штанов — неужели это стоит четыре тысячи? Несомненно, в институте, как и у каждой молодой хорошенькой, у нее были свои протеже. До сих пор меня они не интересовали. Но сейчас любопытно — кто? Сколько могу сейчас судить, в институте социологии дело замяли, но Лена там уже не работает.

Много говорили о знаменитом, тянущемся который год деле «рыбников» или «океанщиков». В Бутырке сидел зам. министра рыбной промышленности Рытов, в Лефортово — начальник управления Денисенко. Втянуты сотни людей, практически все крупные морские рыболовные пароходства, бассейны, вплоть до самого министра Ишкова. А началось, как говорят, с Фишмана, директора магазина «Океан», около метро Щербаковская. Вроде бы уехал туристом в Югославию, и в его отсутствие, якобы случайно, уборщица обнаружила в магазине тайник с несметными деньгами. Откуда у директора магазина завалявшийся миллион? Когда Фишман приехал, его об этом спросили в КГБ. Договорились, если Фишман будет молчать, его приговорят к высшей мере, если во всем признается — не больше пяти лет. Фишман назвал десятки имен. Дело закрутилось по всем магазинам фирмы «Океан», перекинулось в главки и министерство рыбной промышленности, захватило все пароходства и загранфлот. Много было всего, но чаще говорили о нелегальных поставках икры на внутренний и внешний рынок. Официально икра поставлялась в селедочных банках, и вся выручка от продажи оседала в карманах предприимчивых людей. Размах рыбной коррупции, величина наживы, отлаженность подпольной системы поражали воображение видавших виды следователей. Более крупного хозяйственного дела советское правосудие, наверное, еще не знало, Фишману, как и обещали, дали пять лет. Но в ходе начавшихся расследований всплыл какой-то мелкий эпизод, по которому возбудили новое дело, и Фишман получил все пятнадцать. Новое дело вела прокуратура,

КГБ здесь ни при чем, они свое слово якобы сдержали.

В Лефортово в одно время с нами сидел председатель Сочинского горисполкома Воронков — по коррупции в масштабах города и, как потом выяснилось, с участием руководства Краснодарского края. Кто-то из моих сокамерников, — не Сосновский ли? — сидел с Воронковым и очень его не хвалил. Примитивный, трусливый, жадный старик. Вечно ноет и постоянно жрет. Под кроватью все забито передачами, десятером за месяц не съесть, но. Скорее, сгинет, скорее, выбросит, чем даст сокамернику. Крепка Советская власть!

Говорили о кавказцах, совершивших недавно крупнейшее ограбление в советской истории — 3 миллиона из Ереванского банка. Их не могли найти, а попались случайно. На Северном Кавказе одного из них привлекли за изнасилование, грозило десять лет. Он додумался избежать наказания покаянным признанием в ограблении банка. Арестовали его брата и постового милиционера, охранявшего банк. Всем вышка. После приговора, рассказывают, он писал на стене лефортовского душа: «Прости, брат!»

Тут же, в Лефортово, сидели недавно армяне, которых обвинили во взрывах в московском метро. Темное дело. Говорят, расстреляли, да не тех, а инакомыслящих — националистов. Судил трибунал, и суд был закрытым. Ползут нехорошие слухи.

И еще говорили, что, бывает, в следственных тюрьмах сидят годами. Приводили в пример дело «шубников», в котором одного московского портного по мехам держали под следствием два с половиной года. Я же знал, что закон отводит на содержание под стражей во время следствия два месяца. Городской прокурор может продлить на месяц, республиканский — на два, Генеральный — еще на два, потом, кажется, Президиум Верховного Совета — на два, в общем, максимальный срок следственного содержания по закону не больше девяти месяцев. Как же сидят годами? Оказывается, в таких случаях издается специальный Указ Верховного Совета и тут уже нет ограничений. Но чаще подолгу задерживаются из-за суда. Есть групповые процессы, которые тянутся годами, и все это время некоторые обвиняемые томятся в следственной тюрьме. Таким макаром, не будучи официально преступниками, без всякого приговора, иные сидят в тюрьме по три-четыре года. Закон законом, а для властей ничего невозможного нет. Я не представлял, как бы я вынес с Сосновским больше недели, а если месяцы, годы? Это ж убийственно. Сам Сосновский жаловался на казаха, с которым сидел. Казах служил в армии и перешел границу в Китай. Китайцы продержали его восемь месяцев в яме, потом два года в

Шанхае, в разведшколе. Заслали в Союз. Вроде бы казах добровольно сдался пастухам. Держали его в Алма-Ате, сейчас в Лефортово. По две недели Сосновский от него слова не слышал. Я, говорит, сам с собой разговаривать начал. Есть, наоборот, чересчур буйные. Есть кто на сумасшедшего косит. Или попадется угрюмый жмот, вроде Воронкова. Такие сокамерники — пытка. Нам с Володей и Женей повезло, жили мы дружно. Скучно, конечно, быстро надоедаешь друг другу, у каждого свои бзики, свои проблемы, но ни одной ссоры. Впоследствии я не раз вспомню нашу доброжелательную компанию.

# Два заявления

После первой встречи в лефортовских стенах Кудрявцев вызвал меня через три дня — 28 августа. Принес блок «Явы». Само радушие. Передал ли он мою записку Наташе? Передал. А она мне? Нет, ничего не написала. Это меня огорчило. Как не воспользоваться хорошим отношением следователя? Неужели она не понимает, как я волнуюсь, как мне дорого получить от нее несколько строк? Не раз Кудрявцев брал записки для Наташи, я просил его, чтоб она ответила мне, и всякий раз потом он пожимал плечами и сочувственно говорил, что она не изъявила желания. А ведь она, как потом выяснилось, тоже передавала записки и тоже огорчалась, потому что ни мне от нее, ни ей от меня записок он не отдавал. Он нас обоих обманывал.

Но до этих открытий еще далеко. Пока Кудрявцев был мне приятен, уверял в личной симпатии и в том, что хочет помочь мне, как можно быстрее выбраться на свободу. «Вам не повезло с друзьями. Лично против Вас и Вашей жены мы почти ничего не имеем, во всяком случае, никто вам не желает зла». Он говорит со мной откровенно и рассчитывает на взаимную откровенность с моей стороны: «Тогда мы сразу договоримся, и вы перестанете представлять социальную опасность, а пока мне еще надо убедить в этом прокурора. Помогите же мне сделать все для того, чтобы помочь вам». — Раскрывает Уголовный Кодекс на статье 38 «Обстоятельства, смягчающие ответственность», тычет пальцем в пункт девятый: «Чистосердечное раскаяние или явка с повинной, а также активное способствование раскрытию преступления».

— Игорь Анатольевич, я раскаиваюсь, что написал «173 свидетельства», — почему вы меня держите здесь?

— Нет, вы не раскаиваетесь, а уходите от ответственности. Как я докажу своему начальнику, что вы действительна раскаиваетесь? По меньшей мере, нужно от вас заявление.

— И тогда не будет суда?

— Тогда может быть принято решение в соответствии со статьей 50-й, — Кудрявцев переворачивает страницу УК и останавливает указательный палец на третьем абзаце статьи: «Лицо, совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасности, может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление и перевоспитание возможно без применения уголовного наказания». — Самое большее, что вам грозит в этом случае, — товарищеский суд.

— Хорошо, я напишу заявление.

Кудрявцев быстро, не отрывая пера от бумаги, как бы сплошной линией, строчит протокол допроса. Дает на подпись. «Гуревич читал рукопись «173 свидетельства» — Филиппов читал «Встречи».

— Игорь Анатольевич, об этом, кажется, не было речи.

— Ну и что? — удивляется Кудрявцев. — Разве вы не давали им свои рукописи для прочтения?

— Но я не говорил, что давал. Читали они или нет, я не помню.

— Вот видите! Вы говорите, что чистосердечно раскаиваетесь, а сами отрицаете факты, вводите следствие в заблуждение.

— С чего вы взяли? Какие факты?

— Такие, что Гуревич, Филиппов и все, кому вы давали свои тексты, допрошены и все признали. Я не должен вам этого говорить, но, пока вы не вывели меня из терпения, слушайте меня внимательно. Суд поверит не вам, а свидетелям, вас будут уличать и тогда уж, будьте уверены, получите на всю катушку.

— Можно взглянуть на их протокол?

Кудрявцев обиделся:

— Если вы мне не верите, то вы их увидите на закрытии дела.

Неудобно стало. Человек хочет мне добра, а я его проверяю. Не доверять ему не было оснований, ведь, как я полагал, он меня еще не обманывал.

— Извините, я не ставлю вас под сомнение. Но хотелось бы ознакомиться со свидетельскими показаниями, может, я что-то забыл и надо вспомнить, чтобы потом не было недоразумений.

— Сейчас я не могу предъявлять протоколы допросов. Важно, чтобы вы сами вспомнили. Я помогу вам.

И он перечисляет моих знакомых, которые признались в том, что читали «173 свидетельства» или «Встречи»: Попов, Гуревич, Филиппов, Пурунджан, Захаров, Величко. А какой им смысл скрывать? За то, что читали, им ничего не будет, а за лжесвидетельство — год лишения свободы. И какой смысл мне запираться? Только наматываю себе срок. Все равно поверят свидетелям.

— Кстати, что было в папке, которую вы оставляли на хранение у Филиппова?

Удар ниже пояса. О папке знали только два человека: я да Коля. Летом прошлого, 1979 года, когда сосед Величко донес участковому, что я антисоветчик, мы уезжали в отпуск, и я не рискнул оставлять экземпляры «173 свидетельств» дома — отнес папку к Коле. Просто положил в дальний угол книжной стенки и сказал, что после отпуска заберу. Коля даже не поинтересовался, что там. Через месяц я забрал папку. И если Кудрявцев

спрашивает, он мог узнать об этом только от одного человека — от Коли. А Коля — кремень. Если он начал рассказывать, о других и говорить нечего, значит, следователь не врет: друзья мои дают показания. А я отрицаю. Какими глазами мы будем смотреть друг на друга в суде? Они говорят, вынуждены говорить правду, а я буду спорить и врать. Мы будем уличать друг друга в обмане, перед лицом суда, принародно я скажу, что мои друзья оговаривают меня. Я оскорблю их и все, что нас связывало, поставлю их в положение вдвойне оскорбительное и противное, ибо в этом случае они будут давать не просто показания, а показания против меня. Что они обо мне подумают? Хорош правдолюбец, который, чтоб снять обвинение в клевете, по сути дела, клевещет на своих друзей. Вот потеха для прокурора! Нет, этого нельзя допустить.

Про папку у Филиппова я не вспомнил, но сказал следователю: «Если кто из знакомых говорит, что читал, я отрицать не буду, им лучше знать, специально не давал, но и не прятал рукописи от своих друзей». Относительно Гуревича и Филиппова в дополнении к протоколу написал: «Не помню, не уверен». Сложные чувства боролись во мне.

Сосновский с Барановым советовали то же, что и следователь: немедленно писать заявление, пока не поздно, «не будь дураком, и через несколько дней тебя выпустят». И, правда, обидно было упускать шанс выйти на свободу, очень не хотелось сидеть без толку, и кому какой вред, если раскаюсь? Да и стоят ли «173 свидетельства» того, чтобы калечить из-за них жизнь? Рукопись все равно изъята, утрачена — тем легче от нее отказаться, пожертвовать ей, чтобы получить возможность дальше работать, сделать что-нибудь посущественней.

Я написал заявление на имя Кудрявцева. Честно изложил обстоятельства появления обоих инкриминируемых текстов. Выразил сожаление, что дал повод для обвинения в порочащих государственный строй измышлениях, хотя считаю, что в «173 свидетельствах» изложено пусть субъективное, но искреннее мнение об экономической и политической ситуации в стране, и, если оно получилось слишком эмоциональным и резким, если оно ошибочно, то за это я готов нести ответственность. Но не за клевету, которой в тексте не может быть, так как я высказывал только свои взгляды и убеждения. Да, текст имеет негативный, критический характер. Я специально сформулировал проблемы, от которых, на мой взгляд, зависит нормальная жизнедеятельность общества. При этом я не преследовал никакой иной цели, кроме той, чтобы эти проблемы нам всем сообща обсуждать и решать. Как художнику необходимы светлые и

темные краски для реалистического изображения, так и социолог не может обойтись исключительно светлыми тонами в характеристике общественной жизни. Как врач заостряет внимание на болезненных явлениях организма, чтобы их устранить и вылечить, то же самое сделал и я в отношении нашего общественного организма. В советской печати мной опубликовано около сотни статей и брошюр, «173 свидетельства» — единственное в своем роде исключение в моей работе, поэтому перечеркивать из-за него все, что я сделал, лишать меня возможности работать, было бы крайне жестоко и неоправданно. Рукопись не предназначалась для распространения. Написана на проект, а не на утвержденную Конституцию, поэтому содержание рукописи давно устарело. Три года вся машинописная закладка из четырех экземпляров лежала дома — какое же это распространение? Что касается знакомства с рукописью моих друзей, об этом точно могут сказать только они сами. Я не прятал ничего мной написанного. В числе прочих, как опубликованных, так и неопубликованных сочинений, мои знакомые могли видеть инкриминируемые тексты, я этого не отрицаю, но кто из них и что именно видел или не видел — этого я не могу сказать.

Кудрявцев советовал в качестве смягчающего обстоятельства непременно указать тех, кто заказывал мне «173 свидетельства», или под чьим влиянием сформировались у меня такие нехорошие взгляды. Хуже, если будет признано, что я самостоятельно к ним пришел. Хитрая следовательская уловка не мытьем, так катаньем выудить имена и, конечно, прежде всего Попова. Однако каяться, так каяться, логика в этой рекомендации есть, и я написал в заявлении, что некоторые понятия в рукописи усвоены мной под влиянием зарубежного радио. Наличие изъятых конспектов запрещенной литературы я объяснил тем, что брал литературу у Елагина, эмигрировавшего в 1973 г., и Усатова, умершего в январе этого года. И прошу не усматривать в этом криминала. Чтобы бороться с идеологическими противниками, надо их знать. В университете нас учили судить об авторах по первоисточникам. Поэтому на философском факультете мы изучали не только Маркса, но и так называемых реакционных философов, которые у нас не издаются, но которых мы обязаны были знать и получали доступ к их книгам. Мы изучали Ницше, Шопенгауэра, Штирнера, Бердяева, Шпенглера, почему инкриминируется чтение Сахарова и Солженицына? Здесь нет логики. Для философа и социолога знакомство с первоисточниками чуждой марксизму идеологии не только не предосудительно, но является профессиональным долгом, иначе он не может полноценно выполнять свои профессиональные обязанности.

Я сожалею, что написал «173 свидетельства». Впредь буду серьезнее относиться к проблемам социального и идеологического характера… Никак не удавался заключительный пассаж заявления. Вспомнил разговоры в институте социологии о покаянии сотрудника института, модного философа Ю.Н. Давыдова, подписавшего протест против советского вторжения в Чехословакию в августе 1968 г. На закрытом заседании он обещал искупить свою вину: «Если до сих пор я работал 10 часов в сутки, то теперь буду работать 14 часов». Обещанием честно и добросовестно трудиться на благо общества закончил и я свое заявление.

Сокамерники прочитали, сморщились:

— Нет раскаяния. Пишешь так, будто ты прав, а они нет. Повинись, попроси снисхождения. Не жалей эпитетов: гуманное правосудие, больше не буду, чистосердечно признаюсь и глубоко раскаиваюсь. Что ты в самом деле: побольше слез и соплей. Они это любят.

Добавил я про гуманность и раскаяние.

— Мало, сухо, — говорят. — Надо «самое гуманное в мире», глубоко раскаиваюсь».

Эх, взялся за гуж: насовал под конец прилагательных. Стыдища. Отдал заявление дежурному 1 сентября.

А вдогонку, 4 сентября — другое. Узнал, что у дежурного контролера всегда наготове УК и УПК — дает по первому требованию. Профессии зэка начинаешь учиться с кодексов. Жаль, что я раньше об этом не думал. И в тюрьме почти десять дней коту под хвост. Ни слова, ни шага нельзя без знания кодексов, иначе ошибки — всю жизнь потом кровью харкать. У следователя спрашивал — не дает, проси в тюрьме. Ждал библиотекаря и, спасибо, ребята надоумили: у контролера есть. Ах, как я пожалел, что поспешил с покаянным-окаянным заявлением! До сих пор себе простить не могу. В чем я, дурак, винился-раскаивался? Статья 190: «Систематическое распространение — какое же у меня систематическое? Даже если за три года кто и видел рукописи у меня дома — разве это распространение? Вдумался, наконец, в понятие «заведомо ложные» — кто, хоть одним словом, доказал в тексте ложь, а тем более заведомую? Следователь даже не пытался. В чем же я винюсь: в «изготовлении»? Но без этих двух признаков заведомой лжи и систематического распространения — изготовление не может считаться преступлением. Почему меня взяли на работе и отвезли? Это привод, они не имели права, ибо привод закон разрешает лишь в определенных случаях, например, если человек не приходит по повестке или скрывается. И задерживать,

оказывается, не имели права, так как для задержания не было законных оснований. Должны были вызвать по повестке, предъявить обвинение и уж потом… И почему в акте, который я отказывался подписать в КПЗ, было «задержан на месте преступления»? Зачем они нарочно сгущают краски? Не для того ли, чтоб на бумаге создать видимость преступления? А я, дурак, то не признаю вину, то признаю, то частично признаю и своим покаянным заявлением помогаю им наводить тень на плетень. Протестовать надо, а не раскаиваться! И 4 сентября я отдаю заявление с протестом против незаконного привода, задержания, ареста и содержания под стражей.

Кудрявцев на следующий день принял меня хмуро: «балуетесь?»

— Вы получили оба заявления?

— Да, но из второго видно, что вы ничего не поняли.

— Что именно?

— Мне надоело вам объяснять. До вас или не доходит, что вы и ваша жена висите на волоске, или еще не осознали, чем это вам грозит. И то и другое плохо. Я хотел вам помочь. Но если вы вспомнили о законе, пусть вас защищает адвокат на суде. Я умываю руки.

— А что вы имеете против закона? Почему нельзя обойтись без нарушений УПК? Почему вы держите меня в тюрьме до суда?

Кудрявцев криво улыбается:

— Какая вам разница? Для вас же лучше: раньше сядете, раньше выйдете. Чем вам не нравится привод? По повестке вам самим надо идти, а вас привезли на «Волге» — неужели хуже?

— Лучше всего, если игра будет по правилам.

— По правилам вы получите максимальный срок! — зло перекосился Кудрявцев. — Какая, по-вашему, разница между 190–1 и 70-й?

— По-моему, символическая.

— Так точно. Получите семь лет, и все будет правильно, вы этого добиваетесь?

— А может, ничего не получу. По закону нет состава преступления и козлом отпущения я не собираюсь быть.

— Суд разберется. Но я вам не завидую, если дойдет до суда. Кстати, экспертиза признала вашу статью злобной клеветой. Установлено, что должны быть еще машинописные экземпляры — где они?

Ого! Давит внаглую. Я сказал, что такое заключение ошибочно и хочу посмотреть выводы экспертизы.

— Скоро я вас ознакомлю, но оспаривать экспертизу бесполезно. — Кудрявцев подает стопку чистых листов. —

Пишите свою фамилию. Нормальным почерком, не спешите, заполняйте листы строка за строкой.

— Для чего?

— Графологическая экспертиза на почерк.

Чего ради? Я же не отрицаю, что рукописи мои. Ненужная формалистика. Показуха законности по мелочам. Показуха вместо законности. Пишу размашисто, покрупнее, чтоб быстрее отделаться. Кудрявцев бракует, подает новый лист:

— Пишите своим обычным почерком.

— Все пять листов? Полдня уйдет.

— Ничего, я подожду.

До боли в суставах бессчетное число раз пишу и пишу свою фамилию на пяти стандартных писчих листах. Кудрявцев сложил это странное произведение в папку и спрашивает:

— Кто подписал ваши статьи псевдонимом «Аркадьев Николай»? Там не ваша рука?

Это я не мог вспомнить, потому что подписывал Олег.

— Не хотите помочь следствию? Ну что ж — пеняйте на себя. Мы установим и без вас. Себя не жалеете, хоть бы о жене подумали, ее положение не лучше вашего.

Как сегодня преобразился душка-следователь! Сплошные угрозы. Но разве я не писал покаянного заявления? Будет ли оно учтено как смягчающее обстоятельства в соответствии со статьей 38 УК РСФСР, которую так настойчиво совал мне под нос Кудрявцев прошлый раз?

— С какой стати? — театрально удивляется Кудрявцев. — То, что вы написали, это слова. Вы не раскаиваетесь, а стремитесь уйти от ответственности. Чем вы помогли следствию? Что нового вы сказали к тому, что и без вас известно? Под каким псевдонимом, где печатались ваши статьи за границей?

— За границей только через АПН, под собственным именем. Других статей не было.

— Мы проверим.

Кудрявцев кнопкой вызывает контролера, небрежно кивает:

— Уведите.

Я был расстроен. Сгорал от стыда. Так дешево клюнуть на удочку! Перед кем винился, у кого просил снисхождения! Фактически я признал вину и теперь, сколько бы ни протестовал, ни жаловался, они будут колоть глаза моим покаянным заявлением. Да еще обвинят в двурушничестве. Не слишком ли опрометчиво поверил нахрапистому Кудрявцеву о людях, признавших, якобы, знакомство с моими рукописями? Но перечень его точен. Ни одной фамилии с потолка. И откуда тогда ему стало известно о папке у Филиппова? Сомнения и стыд

глодали меня.

Сосновский к тому времени ушел из камеры. Я напустился на Володю Баранова: «Какого черта насоветовали?»

— Может, ты что-то скрываешь из того, что им наверняка известно?

— Ничего я про себя не скрываю, а о других неприлично требовать.

— Следователи КГБ в основном порядочные люди, с ними можно договариваться. Иначе бы им не верили.

— Но мой — из прокуратуры.

— Так тебя прокуратура ведет? Как же ты здесь оказался? — удивляется Володя. — Тебе, старик, надо выходить на здешнего хозяина. Пиши в КГБ.

— Но следователь говорит, что все мои заявления сначала к нему поступают.

— Не беспокойся, если в КГБ, то сразу пойдет по назначению. Но учти, что там шуток не любят. Просишь о помиловке, значит, признайся честно. Если не можешь, лучше ничего не писать — хуже будет.

Как же быть? Балансирую на канате над пропастью. Дело может повернуться и так и этак. Стоять, выжидать нельзя. Идти, но как? Надо идти с акробатической точностью, рассчитать малейшее движение. Какая-то капля может спасти или погубить положение. Я верил, что положение можно спасти. Нужна какая-то инициатива, чтобы выбраться до суда. Какая? Что я должен еще предпринять? Следователь ставит условие: «Давай Попова». Но не могут же они, в самом деле, официально на этом настаивать. Чье это условие: лично его или кто-то диктует? Может действительно выйти на КГБ? Они пока не обнаруживают себя, но нет сомнения: моя судьба в их руках. Какую цену они запросят? Захотят ли встречаться со мной? Что бы там ни было, но ясности будет больше. А может, пока не спешить? Проверят публикации за рубежом, убедятся, что моего там нет, и сменят гнев на милость? Я погряз в нерешительности и ожидании.

## Страсти-мордасти

Меж тем разгорелись библиотечные страсти.

В Лефортово хорошая библиотека. Каждые десять дней прапорщик-библиотекарь, очкарик, подает в кормушку каталог размером с амбарную книгу. Примерно 1200 наименований. Едва ли не половина — редкие дореволюционные книги, издания 20–30-х годов. Глаза разбегаются. Разрешают выписывать до трех книг на одного. Нас трое. Значит, девять книг. Как выбирать? Нужна система. Для себя я заказывал так: одна — из античности, другая — что-нибудь социологическое или философское, третья — из современной беллетристики. Ребята советовали какую-то военную повесть Г. Бакланова: «Очень правдиво». До самого последнего времени в каталоге значилась «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, ныне опального и высланного на Запад. Было еще что-то в этом роде, чего в других библиотеках не сыщешь. Многое, правда, вычеркнуто, раз от раза чей-то карандаш кастрировал списки, однако еще было из чего выбирать.

Лефортовская библиотека значительно поубавила мое невежество. Такая библиотека в нормальных условиях — праздник чтения, а какое спасение здесь, где нечем заняться, где время томит и выматывает, тянется мучительно долго: минуты-часы, часы-дни, а день кажется годом! В хороших книгах больше гуманности, чем даже в «Спокойной ночи!» дежурного контролера. Ничего не скажешь: интеллигентная тюрьма. Я зачитывался античностью, которую плохо знал. Впервые прочитал грубоватые комедии Плавта, какой-то древнегреческий роман, кажется, Теодора — сентиментальная беллетристика, но для меня это было открытием, ибо романов у древних греков я и не подозревал, уверенный в том, что кроме Гомера и философов, они литературе ничего больше не дали. Особенно полюбил Аристофана. Жаль, в издании тридцатых годов нет «Облаков», но теперь я всюду буду искать его искрометные комедии. Усердно конспектировал французских графов, грезивших и грешивших социализмом. Из беллетристики самое большое событие — Гамсун. Раньше я его не читал, по-моему, в Союзе он не издавался, тем удивительнее было встретить в Лефортово 12-томное собрание 1910 года. Редкий сплав пытливого ума, детской впечатлительности, искренности и чистого, родникового слова. Обстоятельностью, стилем иногда чем-то напоминает Льва Толстого, только без его случающейся тяжеловесности и завихрений. Гамсун прост и ясен, как зеркало. Особенно в очерках, в описании путешествий. По сей день стоит перед

глазами Кавказ, увиденный и пережитый им. Поразительная точность в ясности света. И весь он, всей душой, в своем слове. Что общего у него могло быть с фашизмом? Что-то наши оцензуренные литературоведы должно быть подвирают. Вот что-нибудь против советского фашизма Гамсун мог сказать, в это я верю. Во всяком случае, Гамсуну я верю больше, чем тем, кто создает о нем репутацию.

Слов нет, хорошая библиотека, хватит лет на десять. Мало первой книги каталога — можно вторую, там столько же и такого же качества. Всего, если не ошибаюсь, в нашем распоряжении около 2,5 тысяч книг. Много отличных и даже редкостных. Не было только Библии и «Капитала». Ну, Библии ни в каких библиотеках нет, а где и есть, так просто не дают. Оно и понятно: наши библиотеки сплошь атеистические. Здесь личную Библию Якунин пробивал голодовкой. Но «Капитал»? Нельзя представить чтобы в марксистской тюрьме, имеющей большую библиотеку, отсутствовал этот катехизис марксизма. Не было бы никакой библиотеки, но «Капитал» должен быть, как есть он в каждой библиотеке, в парткабинетах каждого занюханного учреждения, а уж в Лефортово, можно сказать, сам Маркс велел, и Энгельс, и Ленин, и Троцкий со Сталиным. Однако в андроповском каталоге «Капитала» не оказалась. Какой-то подозрительный Гамсун есть, а непогрешимого Маркса нет. Педераст Аристофан есть, а у Маркса только геморрой, и его нет. Уму непостижимо! Это не по-советски.

Сначала я не обратил внимания на каталог. Заказал «Капитал», не глядя, как нечто само собой разумеющееся. Очкарик-прапорщик принес все заказанные книги, кроме «Капитала». Мямлит невнятно: то ли забыл, то ли пока нет, то ли, вообще, принял заказ за шутку. Я настаиваю и прошу доставить как можно быстрее, вне очереди, чтобы не ждать еще десять дней. Проходит дня три — глухо. Вызываю библиотекаря через дежурного офицера. Появляется — обещает. И снова нет. Опять зову дежурного офицера. Библиотекарь приносит синюю хрестоматию «Об историческом материализме» — цитатник Маркса-Энгельса-Ленина. Я отшатываюсь: «Что вы мне принесли? Мне «Капитал» нужен!» Раздраженно проталкивает книгу в кормушку: «Это все, что у нас есть. Другого нет». «Чего другого? Маркса нет?» — ушам не верю. «Пока нет. Читайте это». «Это читайте сами. Дайте хотя бы «Немецкую идеологию' или «Философию нищеты», у вас должно быть». «Говорят вам — нет!» — теряет терпение прапор и захлопывает кормушку. Хрестоматия падает на пол камеры.

Такое впечатление, будто бы не слышал никогда о «Капитале»

и не может взять в толк, почему я капризничаю, почему эта книга непременно должна у них быть. Удивительно. Контролеры здесь в основном молодые люди, дежурят с книжками, говорят, они почти все учатся в спецшколе КГБ или студенты юридического факультета. Как же они Маркса «проходят»? Нет, меня или разыгрывают, или нарочно не хотят. Но почему? Чем исправляться инакомыслящему, если не «Капиталом?» Если бы в каждой камере на тумбочке лежал «Капитал», а его бы никто не хотел читать, это бы я смог понять, но не давать, когда его просят, отказывать в настольной книге коммунизма — это не укладывалось в сознании. Анекдот.

Я написал заявление начальнику следственного изолятора КГБ подполковнику П. М. Поваренкову. В главной политической тюрьме СССР мне отказывают в главной книге марксизма, прошу объяснить почему и, если нет причин для отказа, оказать содействие в выдаче первого тома «Капитала» из библиотеки либо разрешить моей жене передать книгу, которая необходима мне для работы.

Отдаю заявление, и вскоре меня выводят из камеры. Через лабиринты коридоров на второй этаж административного корпуса. Прапорщик исчезает за черной дерматиновой дверью. Я остаюсь. В тупиковом коридорчике фикус в кадке. На окне белые шторы. Лефортовская чистота здесь до блеска паркетного и ни души, хотя кругом кабинеты. Черная дерматиновая дверь открывается, прапорщик выходит, я захожу. Внутренняя дверь настежь. В просторном кабинете трое мужчин в штатском. Двое скромно на стульчиках: у оконной стены, а за столам приветливо улыбается седой чернобровый Поваренков. Подвижное, вытянутое, тронутое морщинами смуглое лицо. Искрит из-под бровей лукаво: «Алексей Александрович? Какие трудности?» Внешность вполне соответствует добрым зековским отзывам о нем. Говорю про «Капитал». «Это недоразумение. — Паваренков иронически серьезен. — Заболел библиотекарь, его подменяет другой человек, он не в курсе. Конечно, «Капитал» у нас есть и мы его вам обязательно выдадим». Улыбка возвращается к Поваренкову, заботливо интересуется: как я себя чувствую, нет ли жалоб или других просьб? «Ничего, — говорю, — тюрьма хорошая. Вот только со следователем общего языка не найду. Вы не знаете, кто контролирует мое дело в КГБ?» Поваренков, к сожалению, не знает, но говорит, что он тоже сотрудник КГБ и можно обращаться к нему. «Я бы хотел встретиться непосредственно со своим куратором». «Ну что ж, пишите заявление, я передам куда следует».

«Капитал» доставили не сразу — через несколько дней,

штамп библиотеки Дома культуры им. Дзержинского. Этот дом культуры на Лубянке. Очевидно, в лефортовской библиотеке действительно нет ни одного экземпляра «Капитала» и, судя по невыполненным заявкам на другие творения Маркса, чекисты вполне обходятся без его руководящих подсказок. Однако ж вслух это признать пока стесняются. Требование «Капитала» вызвало явный переполох и удивление.

Следователь не шел. Затянулась проверка моих несуществующих публикаций за границей. Наверное, поспешили арестовать и теперь не знают, какое подвести основание, что со мной делать. Скорее всего отпустят. Но, видимо, поторгуются. Где та граница, до которой я могу отступать, а после нет? Что еще они могут потребовать? Подписки? Публичного покаяния? Текст не публиковался, поэтому они не вправе этого требовать. А если все-таки?.. Нет, пример Якира и Красина не вдохновляет. Одно дело спасать свою шкуру в частном порядке, другое — в угоду лживой пропагандистской машине. Допустимо уйти от противоборства, сникнуть, заткнуться, но служить им нельзя. Не смог противостоять злу, так хотя бы не помогать. До чего дожили: уже это считается заслугой и оправданием перед совестью. Учитель говорил, что в XIX веке критерием порядочности была борьба с подлостью, сейчас — хоть сам не будь подлецом. За счет падения общего нравственного критерия можно сегодня сохранить наружное достоинство хотя бы отказом служить злу, участвовать в пропагандистском обмане. Не знаю, как сам, но тебя будут считать порядочным человекам. Эта я и поставил пределом возможных уступок ради освобождения. Мало геройского, но что поделаешь, если нужны героические усилия, чтобы остаться всего лишь порядочным человеком. А большего я из себя не мнил.

Кто и что за Кудрявцевым — вот где ключ к оценке моего положения и того, что нас с Наташей ждет. Надоели его виляния, настроения, нужна какая-то определенность. И когда наконец он придет? В середине сентября я отдаю заявление на имя Поваренкова с просьбой предоставить мне возможность встретиться с сотрудником КГБ.

Через день-два контролер командует мне в кормушку: «Собирайтесь с вещами!» Володя и Женя взволнованы не меньше меня. Радость в глазах и зависть: «Домой! Что мы тебе говорили!» «Как знать». «Да куда же еще? Проверили, у капиталистов не печатал — за что сажать? Счастливый!» Коли так, захватить бы с собой Володю и Женю. Жаль их до смерти! Стыдно, как-то нехорошо уходить, словно бросаю в беде. Не помня себя, выносил свой матрац из камеры.

Действительно, спускаемся с контролером вниз. Идем по ковровой дорожке широкого коридора вдоль камер, прямо к столу дежурного офицера, по направлению к выходу. Почти дошли, осталось пройти две-три камеры, а там налево и — воля! Но контролер вдруг останавливается у камеры № 45. Дежурный прапор с первого этажа открывает дверь и оба смотрят на меня, я на них: чего, мол, встали? И уже дверь захлопнулась за спиной, а я стою с матрацем на руках, не веря своему «счастью». Чуть-чуть не дошел. Досадно.

Камера жилая, но никого нет. Занята одна кровать из трех. Аккуратно застелена клетчатым шерстяным одеялом. Такая же камера, как и две предыдущие. Стелю постель у окна. Где же жилец? Часа через два заходит. Высокий, грузный, со щеткой пшеничных усов — хмурый как ночь. Стриганул глазками. Не здороваясь, заходил по камере. Начало — ничего хорошего. Плохо, тяжелый клиент. С тоской вспомнил Володю и Женю. Теперь держись, Леня. Мало горя, сейчас меж собой еще добавим. Спружинился, а вида не подаю: растянулся на кровати, читаю. Долго, с полчаса, молча и гордо вышагивает новый сосед. Исподлобья колючки.

— Вы знаете, — говорит, — что днем не разрешается на постели лежать?

Ну, думаю, началось, но тон как будто не вызывающий, а скорее информативный. Отвечаю с ехидцей:

— Разве? Но я все-таки полежу, ладно?

Не сердится. Наоборот, обмяк, оживился лицом, сталь на зубах показалась. Интересуется: кто я, за что, откуда? Извинился, что не поздоровался. Тяжелые допросы, ему нужно время, чтобы обдумать и прийти в себя. Дроздов Виктор Михайлович. Виктор — перешли на «ты». «Только никому не говори фамилию, что сидел со мной», — предупредил зачем-то на случай, если кого из нас переведут. Немного шепелявит, но речь поставлена, видно, солидный человек и знает себе цену. За что сидит? «Поверишь ли, — смеется, — сам не знаю. Осудили за преступление, которого нет а Кодексе». Трибунал приговорил его к десяти годам по ст. 64 — измена Родине. Достает Кодекс, читает формулировку статьи. А обвинили его в том, что под статью никак не попадает. Там речь о военных секретах, а он продавал гражданские, из области космической промышленности. Его можно было бы обвинить в промышленном шпионаже, но такой статьи в нашем Кодексе нет. По советским законам в составе его дела нет преступления. «Ни за что сижу, незаконно», — хитро улыбается Виктор. И опять предупреждает, что разговор между нами, потому что ему запрещено говорить о себе с кем бы то ни было, иначе

будут осложнения. По его расчетам, где-то в декабре у него этап, и он хочет уговорить следователя на внеочередную передачу перед отправкой на зону, поэтому сейчас предельно осторожен и аккуратен. Отсидел уже пять лет на спецзоне в Пермской области, писал помиловку и думал, что по половине срока везут сюда, чтобы пересмотреть приговор, но, оказалось, привезли в качестве свидетеля сразу по двум процессам. Посадили сотрудников закрытого института, через которых он в свое время узнавал, а потом продавал американцем секретную информацию. И арестована группа из Министерства гражданской авиации во главе с начальником одного из Управлений, который руководил советской делегацией во Франции, когда на авиасалоне под Парижем при таинственных обстоятельствах грохнулся во время демонстрационного полета горбоносый ТУ-144.

Дроздов в моей тюремно-лагерной жизни фигура едва ли не самая значительная, мы сидели вместе больше месяца, потом я расскажу о нем поподробнее. Сейчас замечу только, что меня перевели к нему сразу после того, как я отдал заявление с просьбой о встрече с сотрудником КГБ, состоявшейся дней через десять. Позже откроются обстоятельства, которые дадут серьезные основания думать, что это перемещение и интервал в десять дней были не случайны.

Двадцать шестого сентября вызывают. К кому? Встречу с сотрудникам КГБ я уже не надеялся ждать. В кабинете невыспавшийся Кудрявцев. Лицо помято, злое. А может, от перепоя. Таким некрасивым я его не видел. На мое «здравствуйте!» вкатил презрением: «В обход пошли? Не доверяете? Теперь я буду разговаривать с вами только официально». Снова: «Кому давал, кто читал?» Об экспертизе: текст написан не в два дня, как я утверждаю, а за более длительное время — установлено по изменениям почерка и пасты шариковой ручки, псевдоним «Аркадьев Николай» — рука Попова; злобная клевета — статья 70, до семи лет. Новые вопросы: о свердловском профессоре Когане, бывшем моем друге и научном руководителе, благословившем меня на зарождавшуюся тогда у нас прикладную социологию; о каком-то Щипахине (Пушкине?), которого я по сей день не могу толком вспомнить, но думаю, что имелся в виду приятель Миши Куштапина, фотокорр, который приходил вместе с ним ко мне домой после обыска, и который был на дне рождения Миши, когда у меня пропала записная книжка. При этом имени у Кудрявцева мелькнула злорадная улыбка, очевидно этого человека он знал получше меня. Снова о Попове, хронике текущих событий, фонде политзаключенным, об изъятых у меня

конспектах запрещенной литературы — где брал, кто давал? На этот раз допрашивает сухо, без пристрастий и вымогательств, а просто: вопрос-ответ. Угрозы-кувалды: «Не хотите говорить — всю вашу биографию, всю грязь соберу. Вы еще в шестидесятых годах плохо отзывались о комсомоле». «Не надейтесь на 190[1] — готовьтесь к 70-й». Все это были вполне реальные угрозы. Если натянут 190[1], переквалифицировать на 70-ю — ничего не стоит. Какая критика здоровая, а какая порочащая? За что платить гонорары, а за что сажать? Какой текст порочит государственный строй, а какой «на подрыв и ослабление»? Какая разница между распространением и агитацией и пропагандой? Правовые признаки настолько неопределенны, что все зависит от субъективной оценки, как хотят, так и назовут. Но в сроках, в тяжести наказания разница весьма существенная: первая часть до семи лет строгого режима и пяти лет ссылки, о второй и говорить нечего — 10 и 5. Смысл сегодняшнего допроса Кудрявцев сводил к одному: весь ты в моих руках — хочу казню, хочу помилую, никто тебе не поможет, а теперь говори с кем хочешь, но не забывай, что я твой хозяин. После этой артподготовки Кудрявцев привел человека, которого представил как сотрудника КГБ. Объясняет ему, какую кнопку нажать, чтобы вызвать контролера, как выходить отсюда. Гэбэшнк растерянно озирался. Чей это дом: Кудрявцева или гэбэшника? Удивила небрежность тона, с каким обращался с ним Кудрявцев. Перед ГБ нормальная стойка на задних лапках, но Кудрявцев, напротив, говорил с ним как старший с младшим. Должно быть, следователь районной прокуратуры совсем не чужой и в системе КГБ. Кудрявцев вышел, оставив нас наедине.

Усевшись за стол, сотрудник представился Александром Семеновичем. Ни фамилии, ни удостоверения. Потом, говорит, познакомимся. Угрюмая, хилая физиономия. Глазки бурого угля плохого качества — ни огня, ни тепла, один шлак. Скромный черный костюмчик, белая невыглаженная рубашка с тряпочкой черного галстука, стянутого крохотным узлом, — ни дать ни взять служитель провинциального крематория. И где-то я его видел: «Я вас не мог видеть в кабинете Поваренкова?» «Да, я тоже был». Двое молчаливых в тени оконной стены. Значит, не зря они там сидели.

— Слушаю вас.

— Скажите, что меня ждет?

— Это зависит от вас. Состав вашего преступления предусмотрен статьей 70-й, но может быть оставят 190–1. Выдержав паузу, спрашивает многозначительно:

— Вы знаете о чем статья 64-я?

Как не знать — с Дроздовым сижу. Но:

— Какое она имеет ко мне отношение?

— Может быть, самое прямое.

Ах ты, гад! Чего наворачивает! С кем я встречи искал — прямо к удаву в пасть. Какая свобода? О 190[1] мечтать надо! И откуда у них столько черной фантазии?

— Ну, это уж чересчур, — говорю. — С чего вы взяли?

— У вас обнаружены секретные материалы. Почему хранили дома, кому передавали?

Снова поясняю, как раньше Боровику, что это вовсе не секретные материалы, у них гриф «для служебного пользования». Это планы социального развития предприятий и методики социологических исследований, которые я сам разрабатывал.

— Все равно: если есть гриф, вы не имеете права выносить эти материалы с работы.

— Так я часто дома работал, да и не нужен там никакой гриф, на него внимания никто не обращал, просто первому отделу больше делать нечего.

— Мы разберемся.

Ну и дела, думаю, оспариваю клевету, а мне, оказывается, измену примеривают. Какая свобода? Трешник за благо. Вот уж действительно — все относительно. Надо его прощупать. Говорю смехом, что если с 64-й статьей не разобрались, то со 190[1] пора разобраться: видит ли он по ней состав преступления — рукопись дома, не размножал, не публиковал, к тому же, из всего мной написанного, она одна политическая и я отказываюсь от нее, как и от всякой политики, — за что сажать?

— Полагаете, не за что? — И вдруг спрашивает: У вас друг был, Усатов — он тоже по-вашему ни за что сидел?

— Так у него же справка о реабилитации!

Александр Семенович ухмыляется, а я в изумлении: чего он вспомнил Сашу Усатова, умершего нынче в январе? И покойники им покоя не дают, в могилах мерещится угроза государственной безопасности! О Саше надо писать роман. Его забрали 18-летним по липовому обвинению в организации антисоветской группы. Несколько ребят, владевших английским, обменивались книгами, собирались потрепаться на языке. В Большом театре он познакомился с молодой американкой, обычное лирическое знакомство. Дали ему ни много ни мало 10 лет. Это случилось в разгар хрущевской оттепели. Международный молодежный фестиваль 1957 года Саша праздновал во время прогулок на крыше Лубянки — слышно было веселье. Через 8 лет мать выхлопотала реабилитацию. Саша экстерном закончил психологический Факультет МГУ. Но душа его была покорежена.

Он не находил себе места в родной действительности, не хотел, как он говорил, «работать на красных», остаток жизни он наверстовал отнятую молодость. Внешне под веселым девизом: вино и девушки. Внутренне, вкратце сказать, он переживал трагедию лучших наших людей, трагедию лишнего человека, не желающего приспосабливаться к режиму и не способного что-либо изменить. В 44 года он упал на улице от разрыва сердца. Двадцать пятого января гроб его на моих глазах сожгли в крематории. Мы несколько лет служили в одной конторе, он был и остался одним из близких моих друзей. О Саше в двух словах не расскажешь — настолько он был интересной, типичной и в то же время неординарной личностью.

— У вас плохие друзья, — вещает Александр Семенович. Бурые угольки тухло в упор: — Пишите.

— О чем?

— Все, что вы знаете о Попове.

— О Попове я все сказал, больше нечего, не так уж хорошо я его знал.

— Не бойтесь повторений, вас никто не торопит — вспоминайте все подробности: как познакомились, о чем говорили, кто у него бывал — не упускайте то, что вам кажется мелочью. Попов подозревается в шпионаже, он изменник Родины.

— С этой стороны я его совершенно не знаю.

— Пишите все, что знаете.

— Но какое это имеет отношение к моему делу?

— Самое непосредственное. Печально, если вы этого не понимаете. Вы его выгораживаете, поэтому подозрения падают и на вас, как на соучастника.

— Беспочвенные подозрения. О Попове я могу повторить только то, что уже неоднократно говорил.

— Пишите, тогда поговорим.

— Когда вам это нужно?

— Когда все вспомните. Нам и из зоны пишут.

Ого! Так говорит, будто зона неизбежна, само собой разумеется. Значит суд будет. Значит, Кудрявцев водит меня за нос. Но есть какой-то шанс, искорка надежды в словах «тогда поговорим». Не писать? Тогда не будет разговора с Александром Семеновичем. Останутся неопределенность и чудовищные подозрения. Тогда суд и зона. Под лежачий камень вода не течет. А если, правда, написать, объяснить все честь по чести? Отрубить всякие подозрения на Олега. Чем это повредит? Ничем. Зато будет ясность. И для них и для меня. Придет Александр Семенович и скажет свои окончательные выводы. Я не терял надежды.

В понедельник, 29 сентября, я отдал контролеру заявление в КГБ об Олеге Попове. Я повторил то, что говорил прежде, и написал, что знаю Попова как глубоко порядочного, честного и доброго человека, принципиально не способного на плохие и антиобщественные поступки. Мы дружим семьями. Если верно то, что говорит следователь об участии Попова в помощи семьям политзаключенных, то я расцениваю это как гуманную деятельность. Что может быть плохого в помощи нуждающимся семьям, детям, оставленным без кормильца? Что касается намерения Попова эмигрировать, то это их личное дело, их законное право на собственный выбор гражданства.

Буквально на следующий день вызывает сияющий Кудрявцев. Ни слова о заявлении. Лучший друг, как ни в чем не бывало. Чрезвычайно доволен. Очевидно, опасался, что сотруднику КГБ я скажу нечто большее, чем ему, и его репутация следователя могла бы пострадать. Да и самому обидно: хитрил, мудрил, заигрывал, а показания достались бы не ему, а дяде. Однако я его не подвел, не осрамил, в награду он ублажал меня разговорами. Беседа походила не на допрос, а так — зашел человек потрепаться. Не без любопытства я слушал рассказы из его следственной практики. Правда, интересные попадаются им экземпляры.

Чем-то я своим поведением, по его словам, напомнил ему грузина, который на допросах твердил: «Не знаю. Не буду!» «Чего не знаешь, чего не будешь?» Грузин страшно выкатывает глаза и опять: «Не знаю! Не буду!» Как к нему ни подбирался Игорь Анатольевич, за все время следствия ничего другого от грузина так и не услышал. Еще был цыган, который не умел ни читать, ни писать, но всегда подолгу «читал» протокол, даже когда для потехи Кудрявцев подавал лист «вверх ногами». Когда надо было расписываться, лицо цыгана наливалось кровью, на лбу выступал пот, он вставал и, зажав в кулак ручку, тараща глаза на протокол, начинал описывать круги над бумагой, все быстрее, быстрее, пока не раздавался дикий вопль и ручка клювом не падала на страницу. Получалось что-то вроде запятой. Расписался. Цыган вытирал рукавом пот со лба и гордо встряхивал кудри.

— А я вам удивляюсь, Игорь Анатольевич, — бойко пишите протоколы, без помарок — я бы так не сумел. С вашими героями могли бы детективы писать.

— Знаете ли, на литературную работу совершенно времени нет, — скромно отказывается Игорь Анатольевич.

Смотрю на жухлый циферблат его видавшей виды «Победы»:

— Много работаете — много зарабатываете?

Мнется: сколько вы думаете?

— Двести рублей?

— Немного больше.

Ну пусть 250, и за эти деньги, думаю, ты не вылезаешь из тюрем, ловчишь, обманываешь и сажаешь людей — продаешь свою совесть.

— Да, — соглашаюсь, — не много при вашей работе.

Кудрявцев расчувствовался: «Знаете, — говорит, — ведь мы с вами коллеги. Я заканчивал юридический факультет МГУ. У нас, наверное, общие профессора были, такой-то у вас не читал?

— Такого не знаю.

— А я его хорошо запомнил. Он историю партии читал. Очень доходчиво. Все запоминалось, после его лекций можно в книжку не заглядывать. Кто был в первой руководящей группе «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»?

— Пятеро как будто.

Стали вспоминать.

— Видите: вы вспоминаете с трудом, а я с первого раза и на всю жизнь. Очень хорошо запоминается, как вы думаете почему?

— Наверное, у вас память хорошая.

— Не в этом дело. Не догадываетесь?

— Нет, не догадываюсь.

— Смотрите: Плеханов, Игнатов, Засулич, Дейч, Аксельрод — ничего не замечаете?

— Не пойму.

— Обратите внимание на первые буквы. — Мой «коллега» Игорь Анатольевич, довольный откидывается на стуле. Забавная методика обучения наших юристов — блюстителей правовой и нравственной чистоты: следователей, прокуроров, судей, адвокатов, лагерных воспитателей. Иначе они не усваивают?

— Кстати, ваша жена просила сказать, что передала вам «Литературную газету» с последней вашей статьей — не получали?

— Нет, а разве меня еще печатают?

— Как видите, — рисуется Кудрявцев, будто это его заслуга. — Будете себя хорошо вести, мы вам мешать не станем.

— Значит, пока я веду себя нормально?

— Ну нет, я бы это не сказал, но мы надеемся найти общий язык.

— Разве мы не понимаем друг друга?

— Вы не представляете, как вы можете поломать себе жизнь. До вас, кажется, это еще не доходит.

— Что именно?

— В лучшем случае три года, а скорее всего дело переквалифицируют на статью 70-ю — вы получите пять лет и ссылку. Вы представляете чем обернется для вас судимость по

этим статьям? Москвы не увидите, публиковать вас уже никогда не будут, по специальности не устроитесь — корректор в провинции, это самое большое, на что вы можете рассчитывать, когда отсидите. Так что подумайте как следует.

— Над чем, Игорь Анатольевич?

— Над тем, что вас ждет и о чем мы вас просим. Все о Попове, и я обещаю не доводить до суда.

— Но ваше требование не укладывается ни в какие законные рамки.

— Алексей Александрович, я не хуже вас знаю кодекс.

— Но есть другой кодекс, которого вы очевидно не знаете.

— Какой?

— Нравственный.

Игорь Анатольевич заскучал. Я протянул заявление в милицию с просьбой прописать мою жену на нашей площади: «Пожалуйста, передайте Наташе». Поморщился, но взял. «Ваша жена, — говорит, — часто бывает у нас, говорит, какой вы хороший». Меня передернуло, зачем она унижается? Обманут, облапошат — нам обоим во вред. «Передайте ей от меня, чтоб она не мешала вам работать». «Нет, — плотоядно улыбается Кудрявцев, — это только на пользу делу. Пусть заходит». Передо мной сидел мурлыкающий кот, облизывающийся на пойманную мышку. До отвращения подступили масляные глазки жирного Залегина: «У вас жена молодая». А над ней дело висит за соучастие. Каждый день боюсь за нее на свободе ли? Какие они ей условия поставят, какую цену запросят за снисхождение? Сердце кровью, задыхаюсь от тревоги и ревности. И стыдно одновременно: нехорошее чувство, оскорбительное для Наташи, а все же щемит, щемит.

После этой задушевной беседы Кудрявцев пропал. Ответ на заявление об Олеге я не получил. Александр Семенович («тогда поговорим») больше не появлялся. Обманул-таки. Со дня на день я ждал очередного вызова, но никто меня не вызывал, не допрашивал. Обо мне славно забыли.

«Литературку» мне выдали лишь во второй половине октября, недели через три после Наташиной передачи. Комплект за полтора месяца со дня ареста и в последнем номере от 24 сентября, моя статейка «Ответ читателю», написанная по просьбе редакции по читательской почте на большую мартовскую мою статью «Дефицит при избытке». Вместе с газетами книга «Биология человека» (перевод американского сборника), подаренная мне Олегом после подачи документов на выезд. Дарственная подпись на тыльной стороне обложки грубо стерта. Спрашиваю контролера: «Почему?» Ответ на все случаи жизни:

«Не положено». Газеты и книги держали больше двадцати дней — почему не передавали так долго? «Проверяли». На атомы расщепляли? Что проверять в новой книжке издательства «Прогресс» и советской газете? И почему нет «Капитала»? Я его тоже просил через Кудрявцева. Потом Наташа скажет, что «Капитал» у нее не приняли, не приняли как раз в ту пору, когда я безуспешно добивался его из лефортовской библиотеки. Кто их рассудит: Олег — шпион, но книгу от него передают, Маркс вроде бы не шпион, но его книгу даже не принимают. Однако к тому времени эта проблема представляла для меня чисто спортивный интерес. Утратила, так сказать, актуальность. Поваренков все-таки раздобыл казенный экземпляр, «Капитал» был у меня на руках, и я вовсю работал над ним.

# Глава 3. Подвожу итоги

# Маркс родил Орвела

Четвертый раз в своей жизни я читал и конспектировал первую книгу первого тома «Капитала». И впервые почувствовал, что наконец-то понял ее. Не знаю, что больше способствовало этому: то ли четвертое чтение, то ли сам помудрел, то ли лефортовские стены помогли — скорее всего все вместе, но это чтение стало моим окончательным «разрывом» с марксизмом. Марксова критика воспринималась мною теперь тоже критически и, как выяснилась, она не выдерживает, боится такого подхода. Насколько монументален, непогрешим кажется «Капитал» издалека, при сочувственном, доверчивом, школярском отношении, настолько он несуразен, бутафорски непрочен при ближайшем критическом рассмотрении. То, что издали, представлялось горой-монолит, на деле оказалось большой мусорной кучей. Тенденциозная, злая книга. Исследование необъективно и потому не научно. Научную теорию классовой борьбы Маркс извратил в одиозное учение классовой ненависти, живую диалектику социальных противоречий подменил мертвечиной непримиримых антагонизмов. Под личиной защиты человека создано самое бесчеловечное учение, какое известно истории. Положенное в основу идеологии и государственной политики коммунистических режимов она стало источником тотального зла, неизмеримо превосходящего то зло капитализма, которое бичевал Маркс. Пристрастный подбор негативных фактов, их воспаленная интерпретация, конечно, отражали реальности современного ему капитализма, но это отражение злобно искривленного зеркала — полуправда, которая хуже лжи. Крайне необъективная характеристика того, что Маркс называет капитализмом, неизбежно привела к ошибочным прогнозам будущего развития. Если его критика старого капитализма и справедлива отчасти, она, как показывает историческая практика, не имеет никакого отношения к современным цивилизованным государствам. Отравленное тенденциозностью жало его критики оказалось не смертельным для капитализма, зато в полную силу вонзилось в него самого, в ту общественную систему, которую построили по его чертежам. Самоубийственный парадокс. Критика капитализма ныне обернулась против коммунизма. Многое из того, что критикует Маркс, гораздо в большей степени свойственно теперь коммунистическим странам, нежели капиталистическим. Более того. Изобличенные им пороки старого капитализма в нынешних коммунистических режимах выглядят уже достоинством, о которых приходится мечтать, которые еще

нужно достичь. Если б мог предположить такое прозорливый Маркс, вряд ли бы он стал писать свою зловредную книгу. Ничто так не компрометирует саму идею коммунизма, как его гениальное творение «Капитал». Может быть, поэтому мне не хотели его выдавать? Эта книга есть везде, где ее никто не читает, и ее нет, в ней отказывают там, где она может быть прочитана всерьез.

Нудно и утомительно на горе статистического материала Маркс долдонит о том, как частная собственность на средства производства сдерживает рост производительности труда, говорит об эффективности больших корпораций в качестве аргумента в пользу обобществления собственности. В СССР почти семьдесят лет все обобществлено, сорок лет, после победоносной войны, мирного времени — давно должен бы догнать и перегнать, но по сей день производительность труда в промышленности в 2–3 раза, в сельском хозяйстве в 4–5 раз меньше, чем, например, в частнособственнических США. Главная причина отставания, по признанию советских экономистов и покойного председателя Совмина Косыгина, объясняется не плохими рабочими, а плохими руководителями, плохой организацией хозяйственного управления.

Общественная, а точнее государственная монополия на средства производства породила невиданную по размерам и консерватизму бюрократию, которая стала действительным тормозом общественного развития, а по многим параметрам повернула его вспять.

Главным открытием Маркса считается теория прибавочной стоимости. Она вскрывает механизм эксплуатации собственником наемного труда. В стоимость продукта входит часть стоимости основных средств, использованных на его производство (оборудование, материалы, помещения), затраты на рабочую силу и плюс новая, приращенная, которую Маркс называет прибавочной стоимостью и которая достается владельцу предприятия. По существу, речь идет о распределении прибыли, и то обстоятельство, что она достается в основном владельцу, а не рабочим, Маркс называет капиталистической эксплуатацией труда. Капиталист не может занижать стоимость основных средств производства — себе в убыток, но он может занижать стоимость рабочей силы — заставлять работать как можно больше, а тратить на рабочих как можно меньше. Больше взять, меньше дать. В идеале — чтобы рабочие работали бесплатно и тогда вся переменная стоимость, т. е. стоимость рабочей силы, пойдет в карман собственнику в виде прибавочной стоимости. На этом скрещиваются интересы рабочих и капиталиста. Маркс

называет это противоречие непримиримым, антагонистическим, лежащим в основе классовой борьбы до победного момента, до тех пор, пока рабочие не возьмут средства производства в свои руки и сами не станут хозяевами продукта. Не будет капиталиста, и тогда вся прибавочная стоимость в виде прибыли достанется непосредственным производителям. Вот такие крайности, или-или: или капиталист доведет рабочих до полного обнищания, или рабочие ликвидируют частного собственника. Третьего по Марксу не дано.

Стоимость основных средств, которая проявляется в стоимости продукта, Маркс приравнивает к нулю. Оставшаяся стоимость продукта — затраты на переменный капитал, т. е. на рабочую силу, плюс прибавочная стоимость, «есть единственная стоимость, действительно вновь произведенная в процессе образования товара» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 230). Возникает вопрос: какая часть вновь образованной стоимости продукта приходится на прибавочную стоимость? Во всех примерах, приводимых в «Капитале», прибавочная стоимость составляет приблизительно 40–50 %. Другими словами, собственник присваивает себе почти столько же, сколько он расходует на рабочую силу. И это вызывает праведный гнев автора «Капитала». Сколько же должно? Нисколько, отвечает автор. Но ведь владелец предприятия, как правило, — главный организатор производства, он вкладывает и свой труд в образование новой стоимости, ему нужны средства для расширения и совершенствования производства. Нет, не нужны, говорит Маркс. Рабочие могут и должны обходиться без частного собственника. Он создает предприятие в корыстных целях и поэтому его управление с общественной точки зрения нерационально, не эффективно, это вредная деятельность — неужто ее оплачивать? Рабочие бы распорядились капиталом в своих интересах, т. е. в интересах всего общества. Это единственный путь к бескризисной экономике, высшей производительности и всеобщему благосостоянию — к коммунизму.

Заметим однако: как ни жаден капиталист, все-таки 50–60 % новой стоимости он отдавал рабочим. В СССР давно нет частной собственности. Какая часть вновь произведенной стоимости идет на оплату работников? Возьмем не только рабочих, а всех занятых на предприятии: от рабочего до директора. Попробуйте догадаться. Ответа на этот вопрос вы не найдете ни в трудах наших экономистов, ни в подтасованной статистике. Один социолог попробовал, провел исследование на Череповецком металлургическом комбинате. Между прочим установил, что на

оплату труда идет не более десятой доли вновь произведенной стоимости. О результатах этого исследования стало известно на Западе, говорили, что вещала, «Свобода». Социолог получил по шапке, о публикации исследования нечего было думать. Спрашиваю его: «Есть у вас такие данные?» «Мы, — говорит, — этой проблемы не касались».

— Дайте посмотреть отчет, любопытно.

— Это невозможно.

— Но вы давно работаете в экономике, скажите: какая часть стоимости приходится на зарплату?

— Не знаю.

Все он знает. И знает о том, что и я это знаю, мы потом работали вместе, да знать не велено.

Подоспела очередная потуга экономической реформы — постановление 1979 года о совершенствовании хозяйственного механизма. Фонд заработной платы стал устанавливаться не по численности работающих, а по нормативу от новой стоимости продукции. Какая часть нормативного Фонда реально выплачивается, от какого множества человек это зависит, как часто пересматривается норматив — этой акробатики я сейчас не буду касаться. Но формально хотя бы — какой норматив? На Московском электроламповом заводе в 1980 г. норматив на фонд заработной платы запланирован 11 копеек с рубля вновь произведенной продукции, т. е. 11 % — та же десятая часть. Это на базовом заводе гвардейского объединения «МЭЛЗ», привилегированном, передовом московском предприятии, что на остальных? По материалам, до которых я успел докопаться на других предприятиях, нигде норматив не превышал десяти процентов, обычно меньший, а на селе совсем ничтожный: два-три процента и меньше того. Исследование я не довел до конца — арестовали. Но по «МЭЛЗ» вышла-таки статейка — в «Литературной газете» 24 сентября, через 36 дней после ареста. Наташа передала мне сюда, в лефортовскую тюрьму. Мало, наверное, кто обратил на нее внимание, написана по редакционному заданию осветить положительный опыт, заметил ли кто эти цифры там: 11 копеек на рубль? В них-то вся соль статейки, то, что в печати и по сей день встретишь не часто. Подумал ли кто: а сколько у капиталистов? Если у них половина новой стоимости продукции идет на оплату рабочим и это Маркс называет грабежом среди белого дня, что он сказал бы по поводу десяти, а то и двух-трех процентов, выделяемых рабоче-крестьянским правительством?

То же и с прибылью. Кому достается прибыль социалистических предприятий? Какая ее часть идет на

вознаграждение, на нужды работников? Лес дремучий — ау? — кто ответит? Мы знаем только, что закон разрешает теперь отчислять примерно пятую часть прибыли в, так называемые, фонды экономического стимулирования предприятий: на развитие производства, на материальное поощрение, на социально-бытовое и культурное строительство. Но мы знаем и то, что многие эти фонды не являются исключительной собственностью трудового коллектива — всегда их могут изъять, сократить, заморозить. Как они используются — хорошо известно из нашей печати: львиная доля на личный комфорт руководящей верхушки предприятия — персональные дачи, бани, бассейны, банкеты. Какая-то часть фонда идет в центральные фонды общественного потребления, скажем, на медицину, образование, науку, культуру. Одного мы только не знаем: сколько перепадает непосредственно рабочим.

Красная мечта сторонников хозрасчета: пусть 70 % прибыли в госбюджет, но хоть 30 % оставлять в распоряжении предприятий. Писали, заявляли, доказывали — никто гласно не возражал, и тем не менее даже эта скромная норма остается недосягаемой. Предприятие получает мизерную часть своей прибыли, сколько именно — везде по-разному, это зависят от связей, пробивной способности руководителя, ибо фактическим хозяином прибыли предприятия являются не трудовой коллектив и даже не директор, а вышестоящее руководство. Рабочим — крохи с бюрократического стола. Таков результат революционного обобществления. Позарились рабочие на прибавочную стоимость капиталиста — да так ее и не увидели, по усам течет, а в рот не попадает; мало половины новой стоимости — держи теперь кукиш из нескольких процентов да не забывай облизать благодетеля, не то и того не получишь. Куда же в условиях общественной собственности деваются народные деньги? В казну. Кто ж так бессовестно распоряжается ею? Родное коммунистическое правительство, ставшее единовластным хозяином народного труда. На смену капитализму пришел государственный капитализм. Место частного собственника занял государственный собственник, и эксплуатация дорвавшейся до неограниченной власти партийной бюрократии оказалась страшнее старомодной капиталистической. За что рабочие боролись, на то и напоролись.

Маркс пророчествовал абсолютное обнищание рабочего класса при капитализме. Вышло наоборот. В капиталистических странах уровень жизни рабочих значительно вырос и продолжает повышаться. Растет потихоньку и в странах социализма, это общая мировая тенденция, но жизненный уровень соцстран,

особенно СССР, — нищенский по сравнению с развитыми капстранами.

Маркс говорит об ужесточении диктатуры буржуазии и царстве свободы в будущем социалистическом обществе — мы видим развитую демократию в капиталистических странах и оголтелую диктатуру в стране развитого, зрелого, реального социализма. Сильные, диктующие свою волю предпринимателям и даже правительству, профсоюзы, подлинные выборы государственных должностных лиц, судей, законодателей, эффективный общественный контроль и гражданские права и свободы — с одной стороны, и казенные профсоюзы, фальшивые, насильственные «выборы», являющиеся, по сути, скрытой формой административных назначений, раздавленное государством общество и никаких свобод — с другой стороны.

В «Капитале» Маркс гневно обрушивается на предложение английского фабриканта установить «известный принудительный труд для поддержания моральной ценности рабочих» (соч. 2-е изд., с.588). Он справедливо увидел угрозу закабаления, покушение на свободу людей. В капиталистической Англии это предложение не возымело силы, в Конституции СССР она узаконена в виде обязанности каждого гражданина трудиться. Уголовный кодекс статьей 209 предусматривает до 2 лет лишения свободы за так называемое тунеядство — для тех, кто не числится на государственной службе. Под обязанностью общественно-полезного труда, по сути дела, подразумевается работа на государственном предприятии, учреждении или в государственных кооперативах, колхозах, артелях. Жить индивидуальным, независимым трудом, например, ремеслом, огородничеством, практически не дают: обложат непосильным налогом либо подведут под статью (предпринимательство, незаконный промысел и т. п.). Государственная бюрократия ставит вопрос ребром: или ты будешь работать на нас, или будешь сидеть.

Маркс яростно критикует английский парламент за то, что он не вотировал ни фартинга на эмиграцию английских рабочих и тем самым «воспрепятствовал» эмиграции (с. 590) — грубое нарушение гражданских свобод. Что сказал бы Маркс об эмиграционной политике в СССР? «Капитал» был написан и издан в капиталистических странах, и Маркс ни разу не сидел. Попробуйте критиковать социализм и существующий режим в социалистическом лагере — вас тут же переселят в исправительно-трудовой лагерь. Второй год пишу и восстанавливаю эту несчастную рукопись в кромешной тайне и в страхе — как бы кто не увидел, не настучал, ибо это опять срок. А

ведь пишу только то, что видел и думаю — и это у нас преступление.

Вот чем обернулась марксова критика капитализма и торжество марксизма. Во имя человека создан самый бесчеловечный режим. Во имя коммунизма торжествует деспотизм правящей верхушки. Во имя демократии подавляется малейший признак свободомыслия. Вместо светлого будущего — черная безысходность красного террора. Маркс родил жуткую реальность Орвела.

Сокрушительное фиаско марсксовых выводов и прогнозов предопределено ненаучностью его анализа. В негативной тенденциозности его трудов, как в кривом зеркале, — перекошенная картина современного ему общества. Его индуктивный метод — от частного к общему, от товара к характеристике общественно-экономической формации — чистейшая показуха, наукообразие для солидности. На самом деле Маркс идет не от факта к выводам, а наоборот: подгоняет эмпирический материал под готовую схему. Он все знает наперед. Он ищет не истину, а аргументы к готовым выводам. Статистика для него — всего лишь отделочный материал для придуманного каркаса. Если это наука, что же тогда шарлатанство?

Все основные положения марксизма были оглашены до «Капитала». Разве Маркс в «Коммунистическом манифесте» не предрек неизбежную смену формаций и победу коммунизма в пролетарской революции? Разве уже не извратил понятие классовой борьбы, сведя ее к антагонизму революции, вооруженному столкновению, насильственному захвату власти и гражданской войне? Разве не заявлял о диктатуре пролетариата и коммунистической партии как о единственном выразителе интересов рабочих? Разве в «Критике политической экономии» не сформулировал свою прибавочную стоимость и пророчество об абсолютном обнищании рабочих? Весь каркас марксизма был сколочен до «Капитала». Зачем же понадобилась толстая книга? Драночный остов надо было обложить кирпичами. Нужна была Библия марксизма.

Черт в «Капитале» ногу сломит. Псевдомудрие обычно бракуется, здесь возведена в гениальность: смертному не понять, смертный должен верить. Поэтому «Капиталу» нисколько не повредило, что автор запутался в противоречиях, за долгие годы усердия не мог завершить труда. Главная цель была произвести впечатление. Маркс создавал не науку, не учение, а религию марксизма и собственный иконописный лик в образе нового Спасителя. Плевать ему было на историческую правду и положение рабочего класса, всю жизнь он только и делал, что

создавал ореол и обращал в свою веру. По принципу: не быть, а казаться. Пожалуй, только этот актерский эффект Марксу по-настоящему удался. Маркс обожествлен. Партийная церковь создана. Марксизм кое-где стал государственной религией. Коммунистические лозунги уже тогда воспринимались как примитивные, рассчитанные на падкую до дармовых райских садов невежественную толпу, — это отмечал, в частности, Гейне, близкий знакомый и соплеменник Маркса. Надо было напустить больше дыма, чтобы этот примитивизм обрел солидность учения, теории, идеологии. Алчущая толпа не станет разбираться в талмудах. Если при создании «Капитала» расчет был на это, то Маркс не обманулся. Этим, пожалуй, объясняется невероятная ситуация, когда марксизм давно издох, опровергнут исторической практикой, а марксисты поныне здравствуют! И чем очевиднее банкротство марксистской идеологии, тем неистовее марксистская пропаганда, чем меньше ей поддается сознание, тем сильнее разжигают инстинкты. Прямая ставка на ложь и насилие — на этом держится марксистская церковь. До предела сейчас обнажилась подлинная сущность марксизма. И стало ясно: а король-то голый!

«Капитал» загроможден материалами, свидетельствующими, по мысли автора, об ужасах эксплуатации, о плохом положении трудящихся. Неудобоваримость статистического хлама, натяжки интерпретации были бы извинительны, если бы автор не подтасовывал материал с нарочитым намерением убедить своих прихожан в прогрессирующем, неуклонном ухудшении жизни при капитализме. Это не соответствовало действительности. Жизнь была тяжелая, но в целом не хуже, чем прежде. В трех толстенных томах «Капитала» ни одного примера, ни одного факта об улучшении положения трудящихся. Маркс отсекает и думать об этом, фанатично навязывая представление об абсолютном обнищании пролетариата в условиях ненавистной ему частной собственности.

Маркс говорит об эксплуататорской природе прибавочной стоимости, о хищническом стремлении собственника больше взять, меньше дать и ни слова о том, что тот же собственник ради той же прибыли заинтересован не в хилых тенях, а в работоспособной и квалифицированной рабочей силе. Именно в силе, а не в апатичном присутствии голодного, изможденного человека на своем предприятии. «Счастливый работник — самый эффективный работник» — эта формула станет принципом капиталистического управления позднее, но подобное отношение к рабочей силе и раньше было не совсем чуждо предпринимателям. Даже если начисто исключить у капиталистов

гуманные побуждения, как это делает Маркс (хотя это не мешало ему долгие годы жить и создавать «Капитал» на деньги капиталиста Энгельса, а впоследствии Ленину готовить пролетарскую революцию на доходы с родительского имения, примеров гуманистов-эксплуататоров сколько угодно), но в любом случае капиталист вынужден выделять средства, достаточные для поддержания работоспособности рабочих, иначе он разорится. Капиталист получает прибыль не за счет сокращения заработной платы, а наоборот, за счет увеличения материальной заинтересованности работников, путем активизации человеческого фактора на производстве. Без затрат нельзя получить прибыль. Капиталист вкладывает деньги как на оборудование, так и на рабочую силу, по той простой причине, что это ему выгодно. По этому пути в принципе развиваются отношения между работодателями и наемным трудом. Маркс совершенно игнорирует эту сторону проблемы, сводя естественные противоречия к неразрешимому мирными средствами антагонизму. Да, революции были, где же обходится без драк, можно подумать в соцлагере не дерутся, но в их огне ковался фундамент классового сосуществования и эта здоровая тенденция определяла общественное развитие.

Можно понять негодование Маркса по поводу контраста в распределении национального дохода, жизненного уровня капиталистов и рабочих, но нельзя согласиться с его назойливыми, недобросовестными доказательствами «прогрессирующего ухудшения положения трудящихся» — это не соответствовало исторической правде. Он, как и многие деятели того времени, искренне хотел облегчить участь рабочих, за что ему честь и хвала. Но как и какими средствами он шел к благой цели? Только ли этого он хотел? Если он стремился к социальной справедливости, почему так несправедливо тенденциозен в анализе? Если претендует на научную истину, на непогрешимость, почему навязывает заведомую неправду? Проще говоря, зачем он врет?

Тенденция на возможность мирного решения социальных конфликтов была вполне очевидна и активно разрабатывалась здравомыслящими современниками Маркса. Он ее не хотел замечать. Она не укладывалась в его теоретическую схему, в его демонический план разрушения миропорядка. Ему нужна мировая революция.

Маркс не первый обнаружил противоречие между укрупняющимся, коллективным способом производства и частным, собственническим характером распределения продукта общественного труда. Но он выдвинулся в первый ряд теоретиков,

доказывающих непримиримый характер этого противоречия в рамках буржуазного государства. Он больше других поработал над обоснованием насильственно-политического решения этой экономической проблемы. Он внес самый большой вклад в экстремистскую теорию социального взрыва. Противоречие между способом производства и распределением может быть решено только на базе общественной собственности. Частники собственность добровольно не отдадут, надо ее у них взять. Но частнособственнические интересы охраняет государство. Нужно разрушить государственный аппарат буржуазной диктатуры, заменив ее пролетарской диктатурой. Таким образом, первоочередная задача рабочего движения — захват государственной власти. И не в одной стране, а сразу в нескольких, чтобы капиталисты других стран не подавили восстания. Курс на мировую революцию.

Экстремизм политической программы марксизма обосновывается понятием «диктатура». Это центральное понятие марксизма, определяющее его основные особенности и отличия от других направлений общественного движения. И Маркс за него держится мертвой хваткой. Именно понятием «диктатура буржуазии» разжигает он классовую ненависть и гражданскую войну. Систему государственного управления всех современных ему стран он объявляет диктатурой и весьма своеобразно доказывает это свое гениальное открытие. Вы не встретите во всех томах «Капитала» ни одного примера законодательных нововведений в защиту интересов трудящихся, расширения гражданских свобод, будто и правда тогдашние правительства только и делали, что пили пролетарскую кровь и крали. Примеры только отрицательные, куда ни кинь — всюду только ужесточение гнета буржуазной диктатуры. «Римский раб, — пишет Маркс, — был прикован цепями», стало еще хуже — «наемный рабочий привязан невидимыми нитями к своему собственнику» (с. 586). «В прежние времена капитал там, где ему представлялось нужным, осуществлял свое право собственности на свободного рабочего путем принудительного закона. Так, например, до 1815 года машинным рабочим Англии эмиграция была воспрещена под угрозой сурового наказания» (с. 586). Стало еще хуже: «Парламент не вотировал ни одного фартинга на эмиграцию» (с. 590). До того плохо, что не понять, откуда ж буйный рост рабочих организаций и партий, словно грибы после дождя? Откуда легальные собрания, литература, пресса всевозможного социалистического и анархического толка, призывающие к свержению диктатуры буржуазии. Как мог сам Маркс председательствовать на подобных открытых собраниях? Как

объяснить возникновение Интернационала и рабочих представителей в составе парламентов и правительств? О демократических процессах, открывающих путь к мирному, договорному, законодательному регулированию производственных отношений, Маркс умалчивает, хотя, благодаря оплеванным им буржуазным свободам была возможна деятельность его и товарищей, стал возможен марксизм. Если это диктатура, что же такое демократия? Неужто марксистского, советского образца?

«Открытые» подобным образом «объективные законы исторического развития» ввергли в заблуждение последующие поколения торопливых разрушителей старого мира. Спровоцированные малоразвитые народы захлебнулись в крови гражданских и междоусобных войн, погрязли в нищете и деспотизме — по сей день. А в развитых странах капитализм никак не взрывается. Классовая борьба не прекращается, но необязательно выходить на баррикады, можно успешно бороться в мирных формах, в рамках законодательства. Трудовые конфликты можно решить и за столом переговоров. Конечно, собственники по-прежнему богатеют, но и рабочие не беднеют. Высокий уровень производительных сил дает благополучие и тем, и другим. Не испытывают рабочие особой нужды в своем передовом авангарде в лице коммунистической партии, скорее, партийные нахлебники нуждаются в рабочих взносах. Не спешат трудящиеся ставить компартию у власти, предпочитая «буржуазную диктатуру» диктатуре пролетарской. А правительства не запрещают рабочим защищать свои интересы и вроде не собираются вводить жесткую диктатуру, чтоб поживиться прибавочной стоимостью за счет абсолютного обнищания масс. Да, есть забастовки, демонстрации, кризисы, безработица, но революцией на Западе что-то давно уже не пахнет — найдены более разумные, не по Марксу, способы регулирования социальных противоречий. Во всяком случае, люди из капиталистических стран в социалистические не бегут, хотя их там никто не держит, а из социалистических, стыдливо говоря, имеет место, и больше бы улепетывали да пограничники не пускают. В капстранах передовая технология, демократия, приличная зарплата. Соцстраны являют пример того, как ложная идеология превращает идеальные цели в свою противоположность.

А что же общественная собственность — панацея от всех бед и краеугольный камень светлого будущего? Из-за нее ведь сыр-бор: и диктатура буржуазии, и «пролетарии соединяйтесь!», и мировая революция — как же она? Оказалось, что собственность

вовсе не главный фактор исторического процесса, а национализация предприятий, если не отбрасывает вспять, то сама по себе не гарантирует социального счастья. Был частный собственник, стал государственный, в лице правящего чиновника — чем он лучше? Он так же держится за свою собственность, тоже стрижет с нее купоны, но в отличие от частника, его собственность — вся страна, и в своей корысти он неизмеримо сильнее, наглее, безудержней, потому что в его руках неограниченная государственная власть.

Что это: теоретический конфуз или скрытый замысел? Не к этому ли в потаенных мечтах стремился Маркс в результате мировой революции? Можно ошибиться в оценке движущих сил в истории, можно ошибиться в оценке реальности и прогнозах, но почему он намеренно игнорировал и охаивал прогрессивные тенденции общества, почему закрывал глаза на позитивные, здоровые основы общественного организма? Не мог он их не видеть — почему не учел? Если не черт попутал, то я этого понять не могу.

В его трудах, особенно в «Капитале», совершенно искажена картина современного ему общества. С претензией на объективность он дает общую оценку, исходя только из негативных, намеренно преувеличенных аспектов экономических и политических отношений, абсолютно не принимая во внимание нормализующие их позитивные процессы, которые доминировали тогда и определили здоровую перспективу общественного развития. Это анализ предубежденного фанатика. Все, что Маркс внес в социалистическое учение от себя, оказалось патологической отсебятиной. Ни один его оригинальный прогноз не выдержал проверки временем.

Многомудрый анализ привел автора «Капитала» к выводу о победе социалистической революции и начале коммунистической эры прежде всего в самых развитых капиталистических странах. Они, как известно, не спешат. Коммунисты захватили власть в довольно отсталых странах — России и Китае, оттуда военным ополznем по краям, оттуда же тычутся там и сям. Образовался солидный соцлагерь с сателлитами, но все это периферийная мелочь или самые слаборазвитые. Опять у Маркса конфуз. Однако он заставляет задуматься: а так ли верны вывески на фасаде? Действительно ли там капитализм, здесь — социализм? Не морочит ли нас и тут марксистская демагогия?

В самом деле, по какому признаку их различают? В чьих руках собственность? Если в руках госаппарата, то собственность считается национализированной, общественной — это социализм. Там, где сохраняется частная собственность, капитализм. Но мы

знаем, что национальное богатство капстран не такое уж частное, а в соцстранах — не такое уж общественное. Во-первых, в капстранах есть национализированные секторы экономики, обычно это важнейшие отрасли. В зависимости от экономической ситуации, состава правительств в разных странах национальный сектор то расширяется, то сужается, но он есть, по-моему, везде, и в некоторых странах, например, в Англии при лейбористах составляет до 70 %. Во-вторых, частное предпринимательство и доходы контролируются. С одной стороны — влиятельными профсоюзами, с другой — правительством. На высокие доходы — прогрессивный налог, подчас большая часть прибыли изымается государством и перераспределяется на общественные нужды. В-третьих, акции. Большинство трудящихся владеют акциями компаний, управляемых акционерным обществом. Каждый в размере своих акций является собственником одного, а чаще нескольких предприятий, получает свою долю прибыли. Таким образом, крупная собственность на средства производства в капиталистических странах весьма социализирована, она контролируется обществом и государством и значительная часть дохода частника изымается в пользу всего общества.

В стране развитого, зрелого, реального социализма все принадлежит народу, каждый «человек в стране у нас хозяин необъятной Родины своей». Так пишется в конституциях, поется в песнях. Не в том, конечно, смысле, что токарь, например, — собственник танка, крестьянин — земли, бюрократ — персональной «Волжанки», а в том, что все граждане, все до одного, являются хозяевами и станка, и земли, и автомобиля — всего, что ни есть в родном отечестве. Нормальному человеку это трудно себе представить. В Конституции, в песне вроде звучит, а на практике? На практике каждый труженик знает, что хозяин — начальник. Что скажет, то и делай, какой даст станок, на том и работай, захочет — больше заплатит, захочет — меньше. Есть, правда, какие-то технологические и юридические нормы, есть профком, партком, есть над начальником начальник, но по этому поводу в народе говорят: ворон ворону глаз не выклюет, а закон, что дышло, куда поверни, на то и вышло. В общем, хозяин — барин. А барин — власть.

Кому принадлежит власть в СССР? В Конституции в статье 2 говорится, что вся власть в СССР принадлежит народу, который осуществляет ее через Советы депутатов трудящихся, однако статья 6 руководящей, определяющей, направляющей силой советского общества объявляет Коммунистическую партию. Что это — двоевластие? Реальность на этот счет не оставляет сомнений: коммунисты-большевики в 17-м захватили власть, им

она и принадлежит. Советы, органы государственной власти, возглавляют коммунисты. Аппарат исполкомов — филиал, придаток партийного аппарата. На всех руководящих постах в правительстве, в народном хозяйстве, в науке, в культуре — везде коммунисты. Разумеется, пролетарская партия тоже народная, она выразитель чаяний, кормчий, авангард, но дело в том, что этот авангард составляет что-то около 7 % населения, само население в члены партии не выбирает, кого принимать — решает партийный орган, то есть как ни крути, а выходит, что власть и значит все средства производства принадлежат в СССР незначительной части населения, меньшинство управляет большинством. В партии армейски жесткая дисциплина, строгая субординация; нижестоящий беспрекословно подчиняется вышестоящему. На самом верху секретариат и Политбюро ЦК во главе с Генеральным секретарем ЦК. В Политбюро с десяток-дюжину членов да с пяток кандидатов. Этой чертовой дюжине и принадлежит вся власть в стране. Они и есть подлинные хозяева и распорядители не только средств производства, но и всякой души в благословенном государстве. Они контролируют все, но сами вне контроля, они создают законы, но сами над законами. Это называется диктатурой пролетариата.

Общества, как такового, в СССР нет. Все так называемые общественные организации возглавляются и контролируются коммунистами. Партия, монополизировавшая руководство государством, не может называться общественной. Это государственная партия. Что произошло с обобществленной собственностью в СССР? Во-первых, она стала не общественной, а государственной. Во-вторых, поскольку государство партийное и народ не имеет независимых и полномочных органов влияния на партаппарат, то он, партаппарат, в лице его высшего руководства, вождей, и есть фактический собственник. Оказывается, обобществление собственности вовсе не означает, что собственность становится общественной. До этого обществу нужно еще дорасти, и процесс созревания может затянуться до бесконечности. Мы созреваем почти 70 лет и конца не видно. Да и что созреет, когда не дают созреть, когда вытаптывают, рвут с корнем? Партийное руководство мертвой хваткой держится за единовластие, ни с кем не намерено делиться. Всякое проявление общественной независимости, будь то попытка организации или просто личное мнение, истребляется на корню, объявляется антиобщественным, враждебным народу. У карательных органов и карательной пропаганды всегда наготове ярлыки отщепенца, предателя, пособника ЦРУ, дошли до того, что, как в телефильме «Угроза стране Советов», чернят уже коричневой краской

гитлеровского фашизма: если ты не красный, значит — коричневый, других цветов для них нет. Не стесняются спекулировать пролитой кровью народа, лишь бы восстановить его против лучших сынов народа. Ничего так не боится, никого так люто не ненавидит партократия, как независимую общественность. Всей мощью государственной власти стирает ее с лица земли. Вся материальная и духовная жизнь в стране монополизирована государством, общество узурпировано. Вся власть в руках горстки людей, при Сталине — в руках одного человека. Опять завоняло гарью неосталинизма. И это социализм? Развитой, реальный, зрелый? Упаси нас боже от такого социализма! И поскорей, пока мы еще живы.

В конце концов, что человеку надо? Откуда есть-пошел коммунизм, какова его конечная цель? Обобществление? Нет, это средство, необходимый этап на пути в светлое будущее. Идеал же состоит в том, чтобы создать такую общественную систему, которая бы обеспечила полноценное развитие всех и каждого — по потребности. Для этого надо избавить людей от рутинного труда ради свободной духовной деятельности. Работать будут машины, а человек — творить и радоваться жизни. Тогда только, говорит Маркс, и начнется подлинная история освобожденного человечества. Всеобщее благоденствие. Царство свободы. Коммунизм. Это станет возможным только на основе высокоразвитой технологии, техники и науки при заинтересованном отношении к труду — от каждого по способностям. Практическая цель социалистов и коммунистов — максимальное развитие производительных сил. У капиталистов не так много красивых слов, им на них наплевать, они делают свое дело, работают на себя, однако путь к их эгоистическим целям тоже лежит через повышение производительности труда. И они к этой проблеме, мягко говоря, не безразличны. Да куда им с частнособственническим рылом в калашный ряд! Дух наживы, примат частной корысти, по мнению многих старых мыслителей, тормозит развитие производительных сил и общества в цепом. Они разработали единственно правильный метод достижения наивысшей производительности — через национализацию экономики. Такова социалистическая и коммунистическая программа.

Кто же ближе к желанной цели, чья система оказалась эффективней? Критерий истины, любят говорить марксисты, — практика. А практика долголетнего соперничества двух существенных систем, по их же собственному признанию, показывает, что производительность труда и уровень жизни в капиталистических странах значительно выше, чем в странах

социализма. И если «коммунизм — это высшая производительность труда», кто тогда ближе к коммунизму? Если основной закон социализма — «наиболее полное удовлетворение общественных потребностей», если задача социализма — свободное, всестороннее и гармоническое развитие личности, если непреложное условие — демократия, кто ближе к этому: коммунисты или капиталисты? Сравнение явно не в пользу СССР и соцлагеря. А проклятые капиталисты, сами того не желая, того и гляди нечаянно забредут на их место в светлом будущем раю. Куда тогда коммунистам — в ад? Неизвестно до чего еще доведут коммунисты свои народы, но ад они умеют устраивать здесь, на Земле.

Узнай это Маркс, он бы в гробу перевернулся и сам бы предал свой «Капитал» анафеме. При всех его «достоинствах» я все-таки сомневаюсь, что он был мизантропом. По-моему, он не желал такого социализма. Да и какой нормальный пожелает?

…Я конспектировал «Капитал» в зеленой ученической тетрадке с вынутыми скрепками (в Лефортове с ларя приносят без скрепок). Ничего от себя в конспекте. С Дроздовым говорил не обо всем, что думалось. И все же я был зеленый зэк, наверное, больше говорил, чем следовало бы. Возможно, мне это повредило. Но тетрадка прошла со мной до зоны и только в конце срока исчезла из тумбочки с прочими бумагами. В том числе с конспектом синенькой хрестоматии «Об историческом материализме». Зря я сначала отшатнулся — очень интересная оказалась хрестоматия — сливки марксизма-энгельсизма-ленинизма, были конспекты других книг и газет, в частности, томов двадцать Ленина. Исчезновение всех моих записей и конспектов не имеет другого объяснения, кроме того, что они вредны. Из них могут получиться неугодные размышления, вроде изложенного. А так мыслить нельзя. Они еще не знают, что я думаю по поводу прочитанного, что буду делать с конспектами, но уже принимают меры. Пресекают загодя. Чтобы совсем не думал. Далеко зашел идеологический контроль — в самую глубь, до костных мозгов. При конституционной свободе слова на первом же допросе в прокуратуре мне прямо заявили: «Так мыслить нельзя». Теперь я знаю больше: когда попадаешь под их пристальное внимание, под «колпак», они пресекают уже не только мысль, но саму возможность мысли, принимают противозачаточные меры до ее появления. Либо сделают из тебя айтматовского манкурта, либо не выжить. Манкурты — вот их идеал! Не знай ни себя, ни мать. Знай только хозяина и будь рабски послушен — это все, что от тебя требуется.

Так вот. Чтоб нас действительно не превратили в манкуртов,

надо мыслить. Надо мыслить самостоятельно. Надо всерьез изучать идеологию и практику марксизма, как это ни противно. Это еще и опасно: марксисты не любят «умных». Но слепо соглашаться с их религией, верить, приспосабливаться или пассивно отстраняться, будто для тебя ее не существует, куда как опасней. Ибо это уже опасно для всех, для тех, кто после нас, — для всей планеты.

Не ждите добра там, где коммунисты приходят к власти. На посулы они горазды, на посулах-дрожжах взошли и множатся, но их краснозвездные идеалы осыпаются сажей. Не благодатной — разрушительной тучей нависают они над народами. Если так называемый капитализм вырабатывает механизмы мирного решения внутрисоциальных конфликтов, стремится к взаимопониманию классов и договоренности, то коммунистическая теория и практика классовой ненависти продолжают обострять классовую борьбу вплоть до насильственного уничтожения класса собственников. Частный предприниматель и землевладелец для коммунистов был и остается врагом. Лозунг пролетарской солидарности не знает границ, какую бы лапшу они ни вешали на уши, нельзя забывать об одном: коммунисты убеждены в своем праве делать революцию, низвергать правительства, внедряться у власти в любой стране. Более того, они считают это своим долгам, святой обязанностью. Они убеждены, что время работает на них, что они действуют согласно объективным законам истории, открытым гениальным Марксом, поэтому мировой социализм неизбежен, другого исторического пути нет. Этим фанатизмом они страшны. Как Маркс не мыслил победы социализма без победы мировой революции, так и коммунисты-большевики с самого начала и по сей день не мыслят своего существования без разжигания мирового революционного процесса. Во всех пороках, немощах, неудачах они обвиняют капитализм. Капстраны — бревна в красном глазу, застят свет, не дают развернуться. Разрушить их во что бы то ни стало, подорвать изнутри, поставить коммунистов у власти — первоочередная и жизненно важная задача социализма. Для этого все средства хороши, не брезгуют, не останавливаются ни перед чем. Советские миротворцы с официальных трибун перестали пропагандировать экспорт революции, но это ничего не меняет: меньше говорят — больше делают. Тайная война и подготовка к явной войне не прекращается с момента захвата коммунистами власти. Чем больше поражение терпит лживая пропаганда, тем очевиднее ставка на подрывную работу, на силу. В современных условиях это ставка на глобальную катастрофу.

# Пропавшая рукопись

На одном из последних допросов Кудрявцев прощупывал меня на клевету. Доставал тетради с моими дневниками, конспектами. С торца торчали закладки. Открывал по закладкам страницы, тыкал пальцами: что имели в виду под тем да под этим, откуда цитата, кто давал, кто писал? Дошло до «173 свидетельств».

— Как вы, кандидат наук, могли написать такую чепуху? Такое пишут только шизофреники да те, кто собирается на Запад, — вам чего не хватало?

— Ну, выбросьте, если чепуха, о чем говорить?

— Поздно выбрасывать, но вы признаете, что это антисоветский текст?

— Нет, не признаю. Там нет ни единого слова против Советов, наоборот, я защищаю Советы как орган государственной власти. Критикуется только партия. Обвиняйте в антипартнйности, не возражаю.

— Чем же вам так не нравится партия?

— Диктатурой.

— Какая же у нас диктатура? Партия руководит через выборные Советы — блок коммунистов и беспартийных.

— Вот именно: партия руководит Советами, государством, а должно быть наоборот — закон должен руководить, а не партия.

Остались с Кудрявцевым каждый на своем, если, конечно, он говорил не по долгу службы, а по личному мнению, в чем я не вполне уверен. Скорее, ему на подобные вопросы плевать.

— Ну вот вы пишете, — продолжает Кудрявцев, — о мизерных пенсиях: «Право на материальное обеспечение в старости для многих, особенно для пожилых женщин, составляющих большинство лиц пенсионного возраста, означает право на голодную смерть». Не аргументировано. Какая у нас средняя пенсия по старости?

— Откуда я знаю? Открытой статистики нет. Где, например, можно узнать пенсионную статистику по селу, средние размеры пенсий стариков и старух? Но я знаю, что множество пенсионеров получает 20–30 рублей в месяц, а до недавнего времени и того меньше. Одна моя бабка получала 9 рублей, другая — 13, можно на эти деньги прожить?

Кудрявцев качает головой: это все слова, текст ваш не аргументирован.

Я смеюсь:

— Слава богу, а то бы вы, не задумываясь, 70-ю впаяли.

И поясняю уже серьезно, что текст написан по аналогии с формулировками проекта Конституции, ее статьи тоже не аргументированы, но авторов Конституции не обвиняют ведь в голословности. Специфика жанра.

— На суде с вас потребуют аргументы, — говорит Кудрявцев, — их отсутствие будет являться доказательством клеветы.

— Странное доказательство. Вы обвиняете — вы и ищите аргументы: опровергаете то, что мной написано, уличайте во лжи. Будем спорить.

— И охота вам спорить, — укоряет Игорь Анатольевич. — Занимались бы лучше наукой и не искали бы на свою голову приключений. — Вы лекции читали? Мне часто приходится от общества «Знание» выступать. И везде один вопрос: откуда у нас преступность? Вы как считаете?

— Я не занимался этим, но думаю, как и все растет — из среды.

— Нет, я иначе думаю: сознание отстает от общественного бытия. Объективно у нас нет условий для преступности, значит, откуда она берется? Влияние извне и дурная голова.

— Ну вот вы и ответили, чего еще тут исследовать?

— Это не так просто, — отвечает в глубокомысленном раздумье Игорь Анатольевич.

Да уж как, думаю, непросто, ведь возникает вопрос: а голова дурная отчего? Это, по сути дела, интересует аудиторию, а не расхожий штамп из газеты. Удивительно, как занашивают они свои трюизмы — им давно смеются в лицо, люди хотят услышать что-нибудь свеженькое, а они по-прежнему: отстает сознание, происки внешних врагов, «родимые пятна». Неужто больше прикрыться нечем, ничего не придумали?

Кудрявцев как бы предлагает с укором:

— Изучили бы эту проблему, вам бы спасибо сказали.

— Разве некому больше?

Я напомнил Кудрявцеву, что у Прокуратуры СССР есть свой институт по изучению причин и профилактике преступности. Его директор, член-корр, однофамилец моего следователя, производил впечатление не шибко далекого, но и неглупого человека. Да мало ли развелось открытых и закрытых заведений, изучающих преступность? В некоторых бывшие мои коллеги из Института социологии, знакомые, перешедшие туда из других почтенных заведений, кандидаты, доктора и что же — по-прежнему «родимые пятна»? От них я про «пятна» не слышал. Однако Кудрявцев говорит не по собственной глупости, на лекциях он популяризирует не свое мнение, а официальную

концепцию объяснения причин преступности, над которой еще в мое студенчество посмеивались первокурсники. Значит, по сей день ничего нового не придумали.

Нюхнувшие диамата, мы знали, что бытие определяет сознание, некоторое отставание сознания закономерно, но нельзя было понять, как можно родиться и вырасти, например, в 60-х годах с дореволюционным сознанием? Откуда в дореволюционном сознании такие стойкие гены преступности? Известно марксистское положение о том, что в кануны социальных революций общественное сознание опережает общественное бытие, это создает революционную ситуацию и приводит массы к победе. Наши прадеды, деды и отцы боролись за Советскую власть в Гражданской и Отечественной войнах, строили полный и развитой социализм. Те, кто был против или не участвовал, давно ликвидированы. Почему сознание многих молодых потомков борцов и строителей социализма оказалось несовместимым с социалистическим законодательством? Чего дурака валять?

Преступность вырастает не из капиталистического прошлого, а на наших социалистических грядках это ясно любому.

Но в чем дело? Откуда на стерильной земле пышные сорняковые всходы? Какие особенности нашей социалистической действительности порождают преступность? На лекциях и в литературе вы не получите ответа на этот вопрос. Потому что вопрос еретический, ставить его нельзя. Сказано ведь: у нас нет объективных причин. В то же время преступность растет, Гулаг переполнен. Что говорить о простых смертных? В коррупции, взятках, финансовых и валютных махинациях замешана партийная бюрократия до самого верха. В соседних камерах сочинский мэр Воронков, начальники управлений министерств рыбной промышленности и гражданской авиации. В Бутырке замминистра Рытов, которого скоро расстреляют. Снимают министров, закавказких первых секретарей. В андроповскую чистку новая лавина громких и тайных процессов. Сам министр внутренних дел Щелоков чудом удержался на свободе (вскоре он все-таки застрелился). А сколько не доходит до нас, сколько не знаем! Тоже «родимые пятна»? Что же за урод такой полный, развитой, зрелый — весь в пятнах?

От лефортовского безделья я задумался. Кроме того, пришла пора подбить бабки. Доступ к исследовательской работе отныне закрыт навсегда, надо подвести итоги тому, что сделано. Мой четырнадцатилетний опыт конкретных социологических исследований в сфере труда имел прямое отношение к тому, что интересовало следователя. Дам-ка свежий материал для его

лекций. А заодно отчитаюсь перед КГБ — все равно, что напишу, к ним попадет, И я написал статью «Экономические причины преступности». Статья не сохранилась. Передал адвокату, но с его смертью бумаги мои канули бесследно. Черновик исчез на зоне. На свободе восстановил по памяти — сожжена вместе с рукописью, которую сейчас вот пишу заново. Смогу ли изложить статью в третий раз? Пять лет я к ней возвращаюсь, протер память до дыр, но попробую — надо же дать представление, о чем иногда пишут зэки в Лефортове. (Кому неинтересно, тот может перешагнуть эту объемистую главу.)

# «Экономические причины преступности» Воровская экономика

…Людям, озабоченным государственной безопасностью СССР, следовало бы повнимательней присмотреться к тому, что у нас называется бесхозяйственностью. Это не просто отдельные недостатки при общих достижениях. Это неэффективность экономики, разорение материальных ресурсов, обманная показуха статистики и отчетов, деградация главной производительной силы — рабочих. Бесхозяйственность является главной причиной повсеместной и массовой преступности. Никакое инакомыслие, никакой внешний противник не представляет большей угрозы благополучию и государственной целостности страны, чем внутренняя бесхозяйственность. Еще более тревожит то обстоятельство, что мы не можем с ней справиться. Лава негативных явлений грозит захлестнуть будущие поколения и тогда процесс экономического и социального оздоровления отодвинется на необозримое время. Полумеры, политика куцых реформ, не исправляют, а ухудшают положение. Неотложным делом всех государственных органов становится тщательный анализ корневой системы бесхозяйственности и принятие радикальных мер.

Посмотрите, что происходит вокруг нас. Пьянство на работе и обворовывание производств. Голые прилавки и спекуляция дефицитом. Блат, взятки, «ты мне — я тебе», «не подмажешь — не поедешь» — стали нормой наших взаимоотношений. Торговцы со сторублевым окладом разъезжают в личных автомобилях. В исполкомовском бюро обмена жилплощади сидит важная женщина. Чин пустяковый и оклад соответствующий, но вся в золоте: на ушах, на зубах, на шее, на пальцах обеих рук — откуда? Газеты пестрят материалами о хищениях и махинациях большого и малого руководства. На каждом предприятии — отдел снабжения, сотрудники которого называются «инженерами-ускорителями» или попросту «толкачами». Что они делают? Ездят по конторам и предприятиям — «выбивают» поставки. Но если директору не дают, что может «выбить» мелкий служащий? Все! И даже сверх срока, сверх плана. У толкача богатейший арсенал отмычек: от коробки конфет секретарше и бутылки завскладу до крупных сделок: ты мне — прокат, я тебе — колбасу, ты мне — станок, я тебе — машину. Большинство подобных сделок не укладывается в рамки закона. Ведь все поставки наперед запланированы, передашь одному — недодашь другому, и откуда

деньги у толкача на конфеты-банкеты? Спросите у его директора, у его партсекретаря. Они ответят: попробуйте выполнить законный план, не выходя за рамки закона. Поэтому совершенно легально содержится целая армия летучих снабженцев, работающих нелегальными методами.

Что же у всех с сознанием происходит? От какого бытия отстает? Сознание, конечно, бывает разное, но у всех этих людей такое бытие, которое располагает или прямо вынуждает на нарушения и преступные действия. Чем заняться рабочим во время систематических простоев? С работы уйти нельзя — посылают гонца в магазин. Где достать пятое-десятое, чего в магазинах не купишь, а на работе гниет, пропадает, валяется? Естественно, тащат с работы. Явление настолько распространенное, что получило наименование: «несуны». Бесхозяйственность и дефицит всех нас сделали «несунами». Да и много ли купишь на сторублевую зарплату? Это по статистике она под двести, а как жить тем, кто на руки получает в два раза меньше? Врачам, учителям, воспитателям, рядовым техникам, инженерам, конструкторам, служащим? На что кормить, одевать семью тому же продавцу или исполкомовской инспекторше из бюро жилищного обмена? И всем хочется жить не хуже людей. А люди где-то что-то достают, модно одеваются, устраивают детей в институт — жизнь идет и никому не хочется отставать от жизни. Блат, взятки, хищения, спекуляция. И кто остановится, если заработать не дают, а с черного хода деньги сами идут? Что делать хозяйственнику, если невозможно выполнять законный план законным путем? Если поставки срываются, а план требуют? Если материальные ценности списать, уничтожить можно, а использовать почему-то нельзя? Коли приходится мошенничать ради государственного плана, становится не так уж зазорно и для себя порадеть.

Хочешь жить — умей вертеться. Махинации вошли в плоть и кровь хозяйственной жизни и диктуются они не порочным сознанием, а порочной системой хозяйственного управления.

Отчетливо проявляются по меньшей мере четыре фактора экономического бытия, способствующие нарушениям и преступности: плохая организация работы, недостаточная зарплата и, как следствие, слабая заинтересованность в труде, повсеместный дефицит и неотлаженность административно-хозяйственного регулирования и планирования. Эти недостатки хорошо всем известны. Издан ворох партийно-правительственных постановлений, работают не покладая рук институты, газеты о них пишут каждый божий день, ругаются на всех собраниях — седьмой десяток лет, а воз и ныне там. Странная ситуация: все

называют это безобразием, сами себе хозяева — есть все возможности исправления, как только ни перестраивались, а к лучшему положение не меняется. В чем же дело?

Вот рабочий Петров — почему он опять на работе напился? Сейчас облает мастера, даст кому-нибудь по морде, что-нибудь сопрет, продаст социалистическую собственность за бутылку, нальет шары и хорошо, если вытрезвитель, а ведь может избить, зарезать, всего жди — петровыми тюрьмы и зоны переполнены. Кто ему позволил напиться? Никто, он сам от нечего делать. Не подвезли бетона, горючего, сырья, в начале месяца всегда: забивают «козла» и пьют. Все равно безобразие! Засчитать этот день прогулом! Лучше не надо. Петров обидится, уйдет — кто в конце месяца работать будет? Другого примите. Примем, если будет кого, а чем он лучше? И Петров бы не пил, была бы работа. Так давайте работу или увольняйте, переводите лишних — зачем на производстве без дела держать? Начальник чешет затылок: он не может ни того, ни другого. Срыв поставок зависит не от него, а люди нужны — не хватает. Как не хватает, если баклуши бьют? В конце месяца наверстывают, в авралы. (Случайно упал взгляд на газету, которую постелил, и не удержался от искушения вырезать, прямо к слову:

«Иной раз в цехе чуть ли не 20 дней стоим, а в третьей декаде объявляется аврал. Приходит начальство, уговаривает на сверхурочные»).

Работают без выходных, сверхурочно, на рабочие места посылают инженеров и служащих. До зарезу понадобится каждый Петров, поэтому и приходится терпеть его фокусы двадцать дней.

Снабженческая аритмия, штурмовщина — лишь одна из причин острой нужды предприятий в рабочей силе, падения трудовой дисциплины и разложения работников. Другая — это то, что называют внеплановыми отвлечениями работников, т. е. использование их не по месту работы, обычно не по специальности. Трудовое законодательство запрещает вольности, так же, кстати, как и работу в выходные дни, сверхурочные выше установленной нормы, однако масштабы и виды внеплановых отвлечений из года в год увеличиваются. В ходе исследований мы обнаружили около двадцати различного рода таких отвлечений: от традиционных. овощных баз, колхозов, строек до регулярной уборки улиц, дорог, обслуживания больниц и военкоматов. Дергают работников предприятий, учреждений в течение всего года, куда не лень. Никто этого не хочет: ни директор, ни сами работники и закон запрещает, кто заставляет? Партийные комитеты всех уровней. Каково при этом читать партийные постановления, осуждающие практику отвлечений? Сами делают

и сами осуждают. Но не себя, а абстрактно-«порочная практика», будто не их это практика. Удобная поза: всем командовать и ни за что не отвечать. Лицемерным постановлениям грош цена. Людей отвлекают все больше, и попробуй не выполнить разнарядку — разнесут по кочкам сильней, чем за невыполнение плана, нет ничего страшнее обвинения в политической близорукости. Предприятия вынуждены держать излишек работников. На овощную базу и Петров сойдет.

А кто и когда занимается обязательной туфтой в общественных организациях: партийной, профсоюзной, комсомольской и куче других?

Работники предприятия в рабочее время. А всякие «невидимки», числящиеся в штате и получающие незаработанную зарплату: спортсмены, самодеятельные артисты и прочие нужные люди? За них тоже кому-то надо работать.

Следующая серьезная причина, почему начальник не хочет увольнять нарушителя, связана с интересом материальным. Что бы последнее время ни декларировали, фонд заработной платы предприятию по-прежнему планирует, исходя из численности персонала. Больше людей — больше фонд зарплаты, больше отчисления в фонды экономического стимулирования: на премии, благоустройство и т. п. Кроме того, от численности зависит категория предприятия, чем выше категория, тем выше оклады администрации и специалистов. Да не забыть общественных вожаков: при определенном количестве членов их освобождают от основной работы — сидят в кабинетах, худо ли?

Все это вместе вынуждает руководство предприятий стремиться к максимальному расширению штатных должностей и накоплению трудовых ресурсов. В ущерб экономической целесообразности и производительности труда, вопреки трудовому законодательству и здравому смыслу. Эта порочная тенденция настолько определяет социально-экономическую ситуацию в стране, что заслуживает особого внимания.

Прежде всего, как она образуется? Есть технологические карты, штатное расписание, лимиты численности, строго контролируется фонд зарплаты — как предприятие умудряется накапливать излишки трудовых ресурсов? Тайным операциям открывает шлюз специфический для нашего народного хозяйства прием: штатные щедроты закладываются уже на стадии проектирования и ввода производства. Очевидно, это делается в угоду основному социалистическому козырю — общей занятости. Искусственно создается избыток рабочих мест. Характерен пример нашумевшего Щекинского комбината. Комбинат, как и большинство наших предприятий, жаловался на хроническую

нехватку рабочей силы, к тому же вводилась вторая очередь производства и там некому было работать. Где взять людей, откуда? Когда выяснилось, что со стороны приглашать некого, а на второй очереди кому-то надо работать, рабочую силу нашли на самом комбинате. Комбинату в виде исключения разрешили заморозить фонд зарплаты, т. е. оставить его на существующем уровне независимо от численности персонала, а сэкономленную часть доплачивать оставшимся работникам. В этом суть пресловутого щекинского эксперимента. Сразу, откуда ни возьмись, высвобождается треть коллектива. Что за чудо? Откуда избыток при острой нехватке? О щекинском эксперименте знают все, но немногие знают, что предприятие было закуплено в ФРГ. При вводе в действие на тех же технологических процессах число работающих было увеличено на треть по сравнению с аналогичным предприятием в ФРГ. Затем комбинат продолжал раздувать штатное расписание, не переставая жаловаться при этом на нехватку рабочей силы. Вот и весь секрет.

Но если проектный избыток создается с высокого благословения, то последующая самодеятельность официально не одобряется. Дай волю, и предприятие весь город поглотит, передерутся директора из-за каждой рабочей руки и где взять деньги на ораву платных тунеядцев, откуда черпать трудовые ресурсы для новых производств? Предприятиям устанавливают лимиты численности, нажимают на сдерживающие и ограничительные рычаги. В то же время сохраняются в силе все те факторы, которые понуждают предприятие стремиться к увеличению персонала. Они сильнее заградительного заслона. Идет своеобразная борьба за существование. Нельзя официально — делается неофициально, не мытьем, так катаньем. В основе закулисных операций сплошное надувательство. Сколько человек работает на предприятии? Редко вы получите точный ответ. Чтобы побольше выбить фонд зарплаты, в вышестоящую инстанцию подается большой список. Чтобы показать острую нужду в рабочей силе, подается малый список. Для статистической отчетности какой-нибудь, как правильно, усредненный. Дефицит работников обосновывается вакансиями — не хватает по штатному расписанию, а просьбы об увеличении штатного расписания обосновываются возросшим объемом работ. В первом случае подается заниженный список работающих, во втором — стряпаются материалы на тему «работ невпроворот». Все для того, чтобы доказать: дел много, работать некому. Резонно заметить: зачем увеличивать штатное расписание, если у вас и без того полно вакансий? Наверху так и говорят. Но какая логика устоит перед мистикой господствующей

бесхозяйственности? Руководство предприятий находит столько аргументов, сколько нужно, чтобы выцарапать дополнительные вакансии. И, конечно, норовят синекурные, высокооплачиваемые, на такие рабочие места людей искать не надо — сами идут. Штаты неудержимо растут, множатся паразитические должности, куда и устремляются в первую очередь люди, ибо, как известно, рыба ищет где глубже, а человек — где лучше. При таком чрезмерном наборе оголяются малооплачиваемые и тяжелые виды работ. Там действительно возникает дефицит, вокруг которого разгорается спекулятивная феерия на театре всего народного хозяйства.

Дефицит! В промышленности и на селе, на Востоке и Западе, на Севере и Юге — от края до края. Срыв плана, плохое качество, простои — почему? Объективная причина, не хватает рабочей силы. Дефицитом прикрывают прорехи бесхозяйственности и некомпетентность руководства. Поскольку прорех много, а оправдание очень удобное, дефицит раздули в проблему № 1. На нее указывают директивы партийных съездов, создана система республиканских Комитетов по труду, ученые всех мастей неутомимо проводят многочисленные исследования. И везде — дефицит. Демографы в волнах рождаемости пугают падающей кривой, как будто вся волна только вниз, как будто не бывает подъема, как будто в пики рождаемости и взросления трудовых ресурсов хватало. Легенда в обрамлении научных отчетов, подтвержденная партийными директивами, с успехом выдается за быль. В свете прожекторов, направленных на дефицит остаются в тени миллионы лишних рабочих мест, миллионы платных тунеядцев, без которых вполне можно обойтись. Где больше, как не в селе, стонут от недостатка людей? В иных колхозах, совхозах не хватает до 30 % работников. Задаем руководителям «щекинский» вопрос: «Если бы Фонд заработной платы не планировался от численности персонала и сэкономленную его часть разрешили бы использовать на доплату работникам, нуждались бы в недостающей сейчас рабочей силе?» Подавляющее большинство (90 %) сказало «нет». Как и щекинцы, они бы не только сократили вакансии, но и с удовольствием избавились бы от своих Петровых. Зато оставшиеся получили бы возможность зарабатывать больше и при этом условии вполне бы справились с объемом работ. Вот какая нужна «рождаемость» для решения проблемы дефицита трудовых ресурсов. А демографическая — всего лишь фиговый лист для торжествующей бесхозяйственности. Легенда не выдерживает критики.

Дефицит трудовых ресурсов густо замешан на лжи и

беззаконии руководства. Что же мы хотим от Петрова? Разве по своей вине он мается без дела? Какой ему прок держаться за место, если на соседнем заводе его возьмут с объятиями, если свои 150 рэ он везде найдет? Вольготно ему — лишь на первый взгляд. Это не так. Петров пьет не от хорошей жизни. Он не разгильдяй, его делают разгильдяем. Что может быть комичней пропаганды о цене рабочей минуты, об экономии, о коммунистическом отношении к труду, когда сплошь и рядом простой, когда на заводском дворе ржавеют импортные машины, а за труд или безделье плата примерно одна. Дайте рабочему работу и платите по труду — главное, что ему нужно. Больше сделай — больше получи. Ясно и просто. И Петров бы пахал, как вол. Сам, без пьянства и понуканий.

Но бьют по карману и опускаются руки. На тарифе не разжиреешь и на сдельщине не разгонишься. Есть расценки и есть возможность заработать, есть нормы и есть возможность их перевыполнить. Рабочий перевыполнил и заработал. Расценки срезают, норму повышают. Рабочий матерится, но деньги нужны: меньше перекуров, работа на совесть, а то и после смены, в субботу. Опять у кассы приятно. Но опять режут расценки. Заработок падает, а вкалывать надо больше, дай бог дотянуть до нормы. Баста, научен: не гони лошадей — себе дороже. И идет в курилку слушать по радио о высокой сознательности и коммунистическом отношении к труду. Не хотите платить по труду — получайте труд по оплате.

Как заставить работать даром? Госкомтруд придумывает трюк: рабочим, устанавливающим себе повышенные нормы, полгода разрешается платить по старым расценкам и нормам. Полгода, а потом — суп с котом? Мы исследовали: клюют ли рабочие на хитрую наживу? Нигде не клюют. Один директор объяснил. Идет Курочка Ряба, навстречу Белая Хохлатка. Курочка Ряба поздоровалась, а Белая Хохлатка мимо прошла. «Ты почему со мной не здороваешься?» — спрашивает Курочка Ряба. Хохлатка отвечает: «А ты почем яйца несешь?» «По 90 копеек». «А я по 95!» «Ну и дура! — говорит Курочка Ряба. — Буду я за 5 копеек гузку рвать».

— Теперь дураков нет — сказал директор. По-моему, он не совсем прав. У рабочих отнята цель, интерес к труду, отнят главный стимул производительного труда — заработок. Ведь кто-то же это делает, это может быть от большой корысти, но не от большого ума. Меньше всего заслуживают упрека руководители предприятий. Не они устанавливают фонд зарплаты и показатели средней зарплаты, не они инициаторы необоснованного систематического пересмотра норм и расценок на своем

предприятии. Они лишь несут ответственность за перерасход Фонда зарплаты и невыполнение заданий по нормированию. Чтобы удержать стабильное ядро работников, заинтересовать их высокими ставками и премиями, руководство предприятий правдами и неправдами выбивает фонд зарплаты побольше. Для этого они раздувают численность, расширяют производство, строят новые участки без надежды на скорое завершение, но с расчетом увеличить штаты и получить под них дополнительные средства на оплату. Я не знаю ни одного директора, который мухлюет потому, что ему это нравится. Он бы и не подумал, если б имел необходимые полномочия в вопросах оплаты и кадров, если б была возможность платить по труду. Как только Щекинскому комбинату разрешили стабильный Фонд заработной платы, сразу пропала проблема дефицита кадров и связанных с нею манипуляций — появились деньги на оплату работы. Дым рассеялся и руководство комбината столкнулось не с легендарной, а с реальной проблемой: как избавиться от лишних людей? Директора спросили:

«Вы сократили инженерно-технический персонал на пятьдесят человек — как справляются?» «Если бы зависело от меня, — ответил директор, — я бы оставил только пятьдесят». Даже в льготных условиях эксперимента директор не имеет необходимых полномочий. Кто же управляет предприятием? Вышестоящее объединение, главк, министерство. Что же вы, товарищи, почему не даете работать ни рабочему, ни директору? Там отвечают: «Мы точно в таком положении. Мы планируем так, как планируют нам». И палец вверх: Госплан, Госснаб, Минфин, Госкомтруд и т. п. — целая туча на командном Олимпе. Выше — небесное тело Совета Министров и над всем — красное солнце обожествленного ЦК партии. Вся наша громоздкая экономика, да и все, что ни есть на шестой части планеты, управляется из единого центра — ЦК.

# Принципы бесхозяйственности

ЦК партии принадлежит честь разработки принципов и стратегии внешней и внутренней политики государства, в том числе в народном хозяйстве. Если ЦК можно сравнить со ставкой Верховного главнокомандования, то штаб экономического управления — Госплан. Какими же принципами он руководствуется? Самыми благонамеренными: планомерность и пропорциональность, полная занятость, от каждого по способности, каждому по труду, рост зарплаты на основе роста производительности труда — это мы знаем из учебников. Но что мы видим на практике? Какая планомерность и пропорциональность, если нет соответствия между количеством и структурой рабочих мест и рабочей силы? Какая «полная» занятость, если только по официальным сводкам потерь рабочего времени недоиспользуется более 10 % штатных работников, каждый десятый, по сути дела, скрытый безработный? Многие ли у нас вкалывают «по способности»? А кто вкалывает и не вкалывает — велика ли разница в их оплате? Разве это «по труду»? А как растет зарплата на основе производительности, это мы видим из практики пересмотра норм и расценок. Так что благие принципы — блуд словесный. Реальное управление строится, скорее, на извращения этих принципов.

Из принципа всеобщей полной занятости последовательно проводится лишь первая его часть: всеобщая или поголовная занятость. Причем понятие «занятость» и конституционная обязанность каждого заниматься общественно полезным трудом практически толкуется как обязанность состоять на государственной службе, в контролируемой государством организации. Независимая работа, артельная или индивидуальная, обусловлены таким ограничениями, что фактически поставлены вне закона. Артели презрительно именуются «шабашниками» и нередко привлекаются к уголовной ответственности по существу за то, что зарабатывают больше, чем государственные рабочие. Индивидуальное ремесло обложено непосильными налогами и трудностями приобретения материалов и сбыта продукции. Кому не знакомы обычные сцены на остановках, у станций метро, у магазинов, когда милиция штрафует, гоняет старух с пучками редиски, укропа, цветами? Покупатели бегут за старухой, а старуха — от милиционера, от штрафа за торговлю в неположенном месте. Стыдища! Видно, что и милиционеру стыдно, но долг службы, не его это головотяпство, а так проводится в жизнь социалистический принцип: «всеобщей

и полной занятости».

Статья 209 УК РСФСР предусматривает до двух лет лишения свободы или четырех ссылки за паразитизм и тунеядство — суду подлежит каждый, кто свыше четырех месяцев не числится на государственной службе. Статья эта охотно применяется к «шабашникам», индивидуальным ремесленникам, дедушкам и даже как в случае с Татьяной Урусовой, бабушкам, воспитывающим своих внуков. Беззаконие властей, занавешенное искаженным толкованием понятия общественно-полезного труда, определило независимых тружеников в разряд нарушителей и преступников.

В осуществление всеобщей, поголовной занятости в плановом порядке создается изобилие дешевых рабочих мест, предприятия поставлены в условия, вынуждающие стремиться к расширению штатов и увеличению численности работающих. Переизбыток рабочих мест создает искусственный дефицит рабочей силы с вытекающими из него последствиями, сдерживанием производительности труда, хозяйственными махинациями, разложением работников. Под прикрытием мнимого дефицита накапливается, загнивает лишняя рабочая сила, получающая зарплату по существу лишь за присутствие, за то, что числится на предприятии. Любопытная ситуация: государство содержит армию платных тунеядцев и преследует, так сказать, «бесплатных тунеядцев», независимых тружеников, людей, не претендующих на государственный кошт. Главное, чтобы каждый человек работал на государство и во всяком случае обязательно находился под контролем государства, Такова практическая цель и следствие принципа поголовной занятости.

Своеобразно преломляется на практике и принцип соответственности зарплаты росту производительности труда — «каждому по труду». Содержание излишков рабочей силы, оплата простоев компенсируется недоплатой, эксплуатацией производительного труда. Возможность получать незаработанные деньги открывается в том случае, если другим не доплачивают заработанное. Как это делается на индивидуальном уровне мы видим на примере пересмотра норм. То же самое происходит на уровне производств. У нас полно нерентабельных предприятий, они убыточны годами, десятилетиями, половина совхозов убыточны — кто их содержит, на что они существуют? На государственные дотации и безвозмездные ссуды, т. е. за счет рентабельных предприятий. Стимулируется не производительность, а паразитизм и иждивенчество. Какой смысл выкладываться, если нет должного вознаграждения, зачем работать, если оплата и так гарантируется? Дураков, как сказал

директор, нынче нет. Агитка дутых рекордов никого не волнует. Дотянуть до плана, до нормы и баста. А высоки план и нормы — мало, кто когти рвет, нарочно вполсилы, чтобы убедить вышестоящих в нереальности задания, скорректировать в сторону уменьшения. Напрочь пропадает заинтересованность в конечных результатах производственной деятельности. Инерция производителей — естественная реакция на уравнительный принцип так называемого стимулирования.

В подобных условиях, казалось бы, нечего ожидать нормального экономического роста. Но статистика утверждает, что определенный рост есть и даже неуклонный, поступательный. Каким чудом? Это творит чудеса принцип планомерности и пропорциональности, который на практике сводится к централизованному планированию от достигнутого или по базе. Каждый плановый период к достигнутому уровню прибавляется определенный процент — очень просто. В разных конкретных ситуациях, конечно, бывает всякое, но общая установка незыблема: рост, во что бы то ни стало рост. Выполнено задание на сто или двести или семьдесят процентов — на следующий календарный период этот уровень берется за базу. Бюрократическое уродство такого планирования очевидно: чем лучше сработаешь, тем больше потом запланируют. А соседнее предприятие, предусмотрительно не забегающее далеко за стопроцентную отметку, без особых усилий справляется с незначительным ростом планового объема. Поскольку фонды экономического стимулирования, премии зависят не от объема производства, а от выполнения планового задания, больше зарабатывает тот, у кого меньше план, другими словами, больше получает тот, кто меньше дает. Планирование от достигнутого дает рост, но это шаг вперед — два назад. По существу, поощряется сдерживание производства, накопление и утаивание резервов, чтоб не застали врасплох выкрутасы планирования. Честный хозяйственник всегда проигрыше.

В условиях эксперимента Щекинский химический комбинат, работавший под девизом «людей меньшей — продукции больше», ввел в действие все резервы, в два раза увеличил выпуск продукции, в три-четыре раза поднял производительность труда. Через несколько лет комбинат вернули на круги своя: опять стали планировать от достигнутого, а фонд зарплаты сократили по численности работающих. В результате, коллектив стал получать зарплату меньше прежней. Упал интерес к труду, а план достиг крайнего напряжения, и прогремевшее на весь мир предприятие скатилось в число самых отстающих в Тульской области. Конфузней не придумаешь.

В Барнауле на котельном заводе мне показали министерский документ, где вторая строка — возможный объем производства при мощностях, а первая — плановое задание, которое на 20 % превышало производственные мощности и подписи ответственных товарищей из Министерства. Главный экономист простонал только, что едет в Москву. Он будет не требовать, а просить, чтобы Министерство признало, что 2х2 = 4 и уменьшило бы задание до разумного предела. Вопреки всякой логике такие прошения далеко не всегда венчаются успехом. Предприятию оставляют заведомо нереальный план со всеми вытекающими для руководства и всего коллектива шишками. А на следующий год опять «от достигнутого». Предприятие надолго погружается в черную полосу неурядиц. Люди годами не видят премий, падает зарплата, разбегаются рабочие. В таких случаях искушенный директор идет на риск: резко срывает производственную программу, план выполняется, скажем, всего процентов на семьдесят. Разумеется, если директор не слетит с кресла, все равно получит большой нагоняй. Однако из зол он выбирает меньшее. Нагоняй был бы при любом невыполнении. Зато теперь план будет значительно уменьшен, а это несколько лет гарантированной передышки. А там опять повторить.

Бюрократическое планирование от достигнутого извращает саму идею плана, превращая его из метода регулирования в тормоз хозяйственного развития. Накапливаются, утаиваются неиспользуемые материальные и трудовые ресурсы, утрачивается личная и коллективная заинтересованность в результатах производства, процветает показуха и жульничество. Отсюда повсеместный неискоренимый дефицит. Легче перечислить, чего в достатке, чем-то, чего не хватает. Первая в мире лесная держава — и острая нужда в пиломатериалах и бумаге. Огромные запасы руд, мощная металлургия, — традиционная нехватка металла. Больше всех выращиваем хлопка и льна — и годами перебои в хлопчатобумажных и льняных тканях. Необъятные бассейны рек — и нет речной рыбы в продаже. Богатейшие нефтяные промыслы — и жестокий голод с горючим. Этот перечень можно продолжать до бесконечности, но проще пойти в магазин и спросить, например, колбасу, молоко, масло, сыр, чтобы стало понятно смущение, какое испытываешь перед статистикой, согласно которой все у нас в целом выполняется и перевыполняется.

Кто производит дефицит? Да тот же самый Госплан, который в титанической борьбе с дефицитом вынужден спасаться от него в закрытых спецмагазинах, чтобы прокормить своих сотрудников. Как будто нарочно создаются проблемы!

Планы на бумаге, дефицит на практике. Не Госпланом бы

именовать, а Госдефицитом — настолько велика роль этого учреждения в образовании хаоса, который гнездится в самой природе нашего планирования.

Под эгидой пропорциональности на деле традиционно планируется диспропорция. Опережающее развитие тяжелых отраслей группы «А» по сравнению с так называемыми легкими, группы «Б», основных производств по сравнению с вспомогательными, промышленного строительства по сравнению с культурным и бытовым означает запрограммированное, хроническое отставание последних, недостаточные капиталовложения на выпуск товаров массового спроса, сельское хозяйство, дорожное, жилищное и культурное строительство. В этих сферах хуже условия и организация труда, меньше техники, ниже зарплата. Здесь выше текучесть рабочей силы, которая устремляется в более развитые отрасли, из сельской местности в города, из неблагоустроенных районов в более обжитые. Диспропорция наносит огромный ущерб всему народному хозяйству. Из-за некачественного ремонта простаивает основное производство: плохие дороги гробят транспорт и жгут горючее; на прорехи сельского хозяйства, строительства с промышленных предприятий внепланово отвлекаются огромные материальные и людские ресурсы, которые из рук вон плохо пользуются; из-за плохих бытовых условий некому работать на важных объектах, а дефицит товаров — одна из причин повального пьянства: куда девать деньги, кроме бормотухи и водки? Работники ориентируются не на труд, а на иные способы удовлетворения своих потребностей: приписки, воровство, использование производственных средств и рабочего времени в личных целях.

Отрицательные последствия плановых хозяйственных диспропорций всем очевидны, всем не нравится, по этому поводу масса партийно-правительственных постановлений, а воз и ныне там. По-прежнему доминирует стремление взять быка за рога. Важные хозяйственные проблемы по-прежнему решаются штурмом, наскоком, всеобщей мобилизацией без достаточного учета всех факторов, обеспечивающих оптимальное решение этих проблем и комплексное развитие всей экономики. В основе планирования остается деление хозяйственных объектов на ударные и неударные, основные и вспомогательные, главные и второстепенные, а это значит, что диспропорции и сопутствующие негативные явления определяют не только сегодняшний день, но и будущее. В сельском хозяйстве, например, с 60-х годов форсируется подъем животноводства. Повысили оплату, понастроили дворцы для скота, развернулась кампания резкого увеличения поголовья. И что же? Рогов и копыт

стало больше, а мяса меньше. Скот нечем кормить — что возьмешь с голодного стада? Так не гнаться бы за поголовьем, а наоборот, сократить, чтобы прокормить оставшихся и повысить их продуктивность. Ясно как день: под рост поголовья надо оборудовать кормовую базу. Но это — капиталовложения. А их угрохали на пустующие дворцы. Денег на кормовую базу нет, зато есть директивы: каждая рогатая голова на строгом контроле партийных органов. Мычит в ответ захудалое стадо: фиг вам, а не молоко и мясо. От бескормицы и плохого содержания — массовый падеж. Скотникам наплевать. Кому нужна непродуктивная корова, только корм переводить. Для отчетности народят новых, чуть живых, отчитываются поголовьем, а там опять пускай дохнут. Памятниками бесхозяйственности стоят пустующие животноводческие комплексы, рассчитанные на тысячи голов, пустуют прилавки мясных и молочных отделов в торговле. Выброшены на ветер миллиарды капиталовложений — такова цена диспропорции между животноводством и растениеводством. Запущенная земля не родит. Даже лукавство статистики не сможет скрыть того факта, что продовольственное положение по ряду показателей хуже, чем 15–20 лет назад. Четвертый год стараниями уже четвертого генсека прикрывают этот срам продовольственной программой. Но программой сыт не будешь. Диспропорция между увеличением поголовья и отставанием кормовой базы по-прежнему дает о себе знать дефицитом основных продуктов питания.

Одна из главных причин дефицита в народном хозяйстве — антистимулы, порождаемые системой плановых показателей, директивный характер которых извращает интересы и цели непосредственных производителей. Действующая система планирования и экономического стимулирования ориентирует предприятие не столько на удовлетворение общественного спроса, сколько на выполнение директив. А это не одно и то же. Госплан планирует министерствам, предприятиям рубли, тонны, метры и прочие показатели, по которым оценивается их деятельность. В результате тонн и рублей в статотчетностни много, а товаров, продуктов на прилавках мало. Как же так получается? Да как и всё у нас: ловкость рук и никакого мошенничества Можно дать больше цифр и меньше реальной продукции. И не только можно — предприятие вынуждено так работать.

Плановые показатели вала, объема работ являются основными фондообразующими показателями, от выполнения которых зависит оценка работы производственного коллектива, в частности, размеры зарплаты, премии, льготы, успех в

соцсоревновании, карьера заводских руководителей. Чем дороже выпускаемая продукция, чем она тяжелее, чем больше метров, тонно-километров, тем это выгоднее предприятию, тем легче выполнять план. Продукция делится на выгодную и невыгодную. Все хотят производить наиболее выгодную для себя продукцию. Эта цель была бы совершенно оправданной и естественной, если б достигалась за счет снижения себестоимости. Однако плановые рубли и тонны достигаются методами, подчас близкими прямому вредительству. Машины и оборудование стараются делать потяжелей и дороже, создается никому не нужный запас прочности, ведущий к перерасходу и осложнениям эксплуатации. Металлурги налегают на производство крупного проката, он дороже, поэтому мелкий профиль в хроническом дефиците. Выгоднее сделать тысячу дорогих никелированных чайников, чем десять тысяч дешевых алюминиевых и последние исчезают в продаже. Кондитерская промышленность до предела засахарила свою продукцию, с сахаром она дороже и, значит, легче выполнить план. То обстоятельство, что избыточное потребление сахара вредит здоровью, нисколько не вредит предприятию: оно упрямо сластит свой вал, несмотря на протесты потребителей. На полиэтиленовых пакетах появились какие-то грязные пятна — цветочки, пакетики стали в два раза дороже. И так повсеместно: дешевая продукция исчезает с продажи.

Разумеется, государственные органы препятствуют этой тенденции. Предприятиям планируют широкую номенклатуру товаров, необходимых народному хозяйству и массовому потребителю. Однако в государственных планах запросы потребителя сильно деформируются диктатом производителя.

Прежде всего нелишне заметить, что государство само заинтересовано выкачать побольше денег с населения. Товарооборот проще увеличить удорожанием продукции, чем расширением ассортимента и лучшим учетом потребительского спроса. Не забудем, что социалистическое государство и есть главный производитель. Да и сами предприятия уже на стадии формирования плана делают все возможное и невозможное, чтобы выбить для себя наиболее выгодный план: объемом поменьше, продукцией подороже. Поскольку главное — рубли и тонны, а номенклатура все-таки дело второстепенное, то предприятия стремятся выполнять план за счет дорогих изделий и отбояриваются от производства невыгодной продукции. Ломается структура плановых поставок: избыток дорогих товаров и дефицит дешевых. Вышестоящее начальство, конечно, за это не хвалит, но директор знает, что за несоблюдение номенклатуры его пожурят, а за невыполнение объемного плана голову снимут.

Интересы производителя реализуются в ущерб интересам потребителя, все становится с ног на голову: не производство для потребителя, а потребитель для производства, покупатель просит, а продавец говорит: бери что даю, иначе и того не получишь.

А государству навязывают туфту. Магия объемных цифр соблазняет предприятия и отдельных работников на художественные украшения своих показателей. Бюрократическое планирование и формальная оценка работы возводят отчетность в абсолют, она становится важнее реальной продукции. Трудно одолеть искушение к припискам. Аморальное планирование провоцирует встречный поток аморальной отчетности.

Завышение отчетных цифр практикуется широко, но среди современных хозяйственников примитивное надувательство выходит из моды, да и рискованно: слишком легко поддается проверке. Чаще прибегают к более хитрым приемам: отчитываются за продукцию, которую делают после победного рапорта, незавершенные изделия выдают за готовые, взаимообразно договариваются с родственным предприятием о приеме излишков его продукции в свою отчетность, а некоторые совхозы, например, наловчились закупать в госторговле сельскохозяйственную продукцию и продавать государству в виде плановых поставок. Всех уловок не счесть и не все становится достоянием гласности. Но и без того очевидно: приписки были и остаются неискоренимым явлением хозяйственной жизни. Вот и получается, что на бумаге планы выполняются и перевыполняются, а продукции не хватает.

Планирование от достигнутого, приоритет валовых показателей и порождаемые ими антистимулы, с одной стороны, создают дефицит, а с другой — вызывают чрезвычайное расточительство трудовых и материальных ресурсов. Предприятия совершенно не заинтересованы в экономии, в снижении себестоимости продукции. Наоборот. Полное и рачительное использование всех резервов приведет к повышению планового задания, снижение себестоимости удешевит продукцию, которую надо будет выпускать в большем количестве, чтобы выполнить план в рублях, экономия сырья и материалов обернется урезыванием лимитов и фондов материально-технического снабжения, снижением поставок в следующем плановом периоде. Поэтому предприятия накапливают и припрятывают резервы — от машин и рабочей силы до болтов и гаек. Выбивая поменьше производственный план, одновременно стараются выбить побольше плановых фондов снабжения. Меньше дать — больше взять, эта тенденция предприятия зеркально отражает аналогичную тенденцию государственных органов в

отношении предприятий. В борьбе за существование, против волюнтаризма и нелепицы планирования выработано немало контрмер. Все они сводятся к тому, чтобы преуменьшить свои возможности и завысить свои потребности. Каждое предприятие стремится с большим количеством ресурсов делать меньший план и, поскольку это обеспечивает гарантированный успех и высокую оценку деятельности предприятия, на это и направлены главным образом искусство и усилия его руководителей. Для коллектива лучший руководитель тот, кто лучше ладит или обманывает вышестоящие инстанции. Не обманешь — не проживешь, не подмажешь — не поедешь — кредо спекулянтов и взяточников отнюдь не чуждо нашим директорам. Многие ли из них указывают экономию средств и материалов? Нет, им вечно всего не хватает. Но ведь не бывает же, чтобы чего-то не оставалось — куда девается? Утаивают, обменивают, уничтожают, наконец, — лишь бы не показать экономии, не лишиться поставок на будущее.

Давно на всех уровнях говорится об экономии горючего. Повышены цены, введен жесткий режим отпуска, машины стоят от того, что нечем заправиться, и в то же время по-прежнему горючее рекою льется на землю. Те же шофера, которые дерутся за каждый литр бензина, получив его, нередко с таким же усердием любым способом стараются от него избавиться. Дело в том, что плановое задание им устанавливают в тонно-километрах, а измеряются километры по расходу бензина (спидометру мало веры, шофера его «приручили»). Больше километров, больше зарплата. Километры приписывают, бензин сливают. Прежде водители охотно отдавали или продавали бензин частникам. В 1983 г. вышел Указ, карающий на незаконный отпуск или приобретение горючего штрафом от 20 до 100 рублей. Отдавать бензин стало рискованно, его просто сливают на землю и получают за это премии. Все это знают, но администрация автобаз смотрит на это сквозь пальцы: лишние километры помогают выполнить план, расход бензина гарантирует, что лимит на него не уменьшат. Закон и ревизионные проверки бессильны — разве уследишь за каждым водителем, где и сколько он сливает бензина?

Так же обстоит дело с использованием сырья и материалов на всяком производстве. Предприятия берут от снабжения все, что можно, что надо и не надо. Запас карман не тянет, авось пригодится. А не пригодится — можно списать или выбросить. Ржавеют на заводских дворах залежи дефицитного проката, новая техника, дорогое импортное оборудование, зарывают в землю строительные материалы, мокнут под дождем и снегом

минеральные удобрения, а где-то в них остро нуждаются, и никто практически не несет за это ответственности. На овощных и продовольственных базах на миллионы рублей «списываются», т. е. выбрасываются, разворовываются продукты питания, и это тоже сходит с рук. Никакие санкции, никакой контроль не способны прекратить разбазаривание народного труда. Ибо происходит это не по причине низкой сознательности трудящихся, а является неизбежным следствием пороков хозяйственного механизма и централизованного управления. Ни трудящиеся, ни предприятия, ни даже министерства не могут нести полной ответственности за бесхозяйственность, ибо она им навязана. Не они определяют экономическую политику.

# Бюрократизм и коррупция

Хозяйственное руководство осуществляется из единого центра, вся полнота экономической власти в руках центральных органов управления. Директивное администрирование есть главная особенность нашей жизни, определяющая всю социально-экономическую ситуацию в стране. Центральный аппарат — единственный хозяин обобществленных средств производства и потребления. Не общественный спрос определяет характер и структуру производства и распределения, а государство в лице центральных органов управления, которые директивно решают, что кому производить, сколько кому платить и что кому надо.

Бюрократия сильна только властью, поэтому, что бы она ни говорила, что бы ни делала — все ее устремления направлены прежде всего на укрепление и расширение своего влияния. Отсюда тотальный контроль над людьми и материальными ресурсами, стремление с самого верха распоряжаться каждой рабочей рукой, каждым винтиком. Отсюда строгая субординация всех этажей экономической иерархии: от Кремля до производственного участка. Отсюда же несовпадение бюрократической, то бишь государственной, целесообразности с естественными целями общественного производства и потребления. Связь между общественным спросом и производством разорвана эгоцентризмом бюрократии, подчинившей экономику своим интересам. Народное хозяйство ориентируется не столько на обеспечение общественных потребностей, сколько на корыстные нужды госаппарата.

Централизованное управление сложной экономикой не способно оперативно и эффективно решать все вопросы, возникающие на местах, а у предприятий нет для этого достаточных полномочий. Формальные показатели и критерии искажают цели производства, направляя его на выполнение плановых цифр, слабо связанных с реальным общественным спросом. Отсутствие хозяйственной самодеятельности, полная зависимость предприятий от вышестоящих инстанций омертвляют интерес к производительному труду, порождают настроения угодничества и иждивенчества. Нарушив и извратив корневую систему экономических стимулов производительного труда, бюрократии ничего не остается, как ужесточать административные, дисциплинарные, внешние меры воздействия. Не удается заинтересовать, надо заставить. Стиль армейского прапорщика: не можешь — научим, не хочешь — заставим. Это и есть главный метод бюрократического управления. В условиях

директивного администрирования все работают из-под палки.

Неумеренный аппетит и амбиции всемогущей бюрократии ориентируют экономику на развитие вширь, на форсирование объемных, количественных показателей. Бюрократия так же щедра на задания, как скупа на вознаграждения. Сколько ни делай, все мало, да разве напасешься, если плоды труда втаптываются в снег и грязь, а деньги на ветер? С другой стороны, как оплачивать бестолковый труд, результаты которого не идут впрок? Поэтому бюрократия считает вполне оправданным и единственно возможным строить свои отношения с производителями по принципу: больше взять — меньше дать. Отсюда планирование от достигнутого, несоответствие оплаты результатам труда и уравнительное стимулирование, отсюда псевдоэкономное деление объектов на главные и второстепенные, лихорадка штурмовщин и озноб простоев. Иными эти отношения в условиях жесткой централизации не могут быть: у бюрократии нет других способов подталкивать экономический рост. В противном случае пришлось бы принципиально менять весь механизм хозяйствования: оживить экономические стимулы, обеспечить прямую зависимость производства от общественного опроса, дать простор самостоятельности и деловой инициативе трудовых коллективов. Для бюрократического аппарата это означало бы ограничение его вмешательства в экономику, потерю в той или иной степени своего влияния и власти. На это он добровольно никогда не пойдет, ибо это в корне противоречит жизненному интересу бюрократии, которая отнюдь не склонна к самоубийству.

Экономика в тупике. Как использовать экономические рычаги ни на йоту не поступаясь экономической властью? Как совместить интересы народного хозяйства с интересами правящей бюрократии? В попытках решить эту проблему центральное руководство перепробовало множество вариантов. Но полумеры не дают эффекта. Как только начинают оживать экономические стимулы, возникает угроза отмирания бюрократического аппарата, ибо становится очевидной его ненужность и обременительность в сфере хозяйственных отношений. Бюрократия срочно восстанавливает свое влияние и производительность падает. Так заканчивались все эксперименты и реформы с применением элементов хозрасчета: достаточно вспомнить о трагической судьбе директора казахского совхоза Худенко и его хозяйства, реформу 1965 года и тщетную попытку ее реанимации в 1979 году, щекинский метод, бригадный подряд. Народнохозяйственные и бюрократические интересы слишком несовместимы, и пока это противоречие решается в пользу

господствующей партократиии.

Если благополучие производителя мало зависит от результатов работы, отчего и от кого она зависит? Очевидно, от того, кто спускает планы и фонды снабжения, перед кем производитель отчитывается и кто оценивает его деятельность, короче — от того, кто заказывает музыку и платит. А это Иван Иваныч, наш вышестоящий начальник. Зачем мне, директору, погонять во весь дух предприятие? Дай-ка умаслю Иван Иваныча. Как понравиться, что ему надо? От удачного решения этой сакраментальной народно-хозяйственной проблемы больше всего зависит карьера директора и благополучие предприятия. Капризная личность бюрократа приобретает в экономике решающую роль. Настроение и вкусы, симпатии и антипатии начальника имеют в хозяйственных отношениях куда большое значение, чем скажем, производительность труда. Искусство производственного руководства совершенствуется на изучении психологии и подкупа вышестоящих бюрократов. Деловая инициатива превращается в угодничество, вместо творчества — послушание, вместо честной работы — показуха. Унижается рабочая честь и возвеличивается персона начальника. Не дай бог, слово против — конец карьере. Все недостатки на совести подчиненных, все достижения — заслуга начальника, все достоинства концентрируются в личности бюрократа. Таковы экономические предпосылки культа личности. Без культа бюрократа невозможен был бы культ Сталина со всеми его страшными и отвратительными проявлениями.

Иван Иваныч — отец родной. Соседу план побольше, нам — поменьше, соседу фонды «подкорректировал», нам — не поскупился. Сосед сделал больше, но план не выполнил — плохи его дела. Мы меньше, но выполнили — и перевыполнили, — мы передовики и премия в кармане. Нет ничего фальшивей и вредней наших передовиков, за них отдуваются другие. Но и другие не лыком шиты. Понимают: не может Иван Иваныч быть для всех одинаково добр, кому-то ведь надо работать. После очередной вздрючки начинают соображать, что к чему. Скрывают резервы, приписывают объемы — сами себе куют победу. По горькому опыту знают, что за невыполнение плана Иван Иваныч голову снимает, а на приписки начхать. Хорошие показатели нужны министерству, нужны областному руководству, цифры им нужны больше, чем твоя продукция, ибо они в свою очередь отчитываются «верхам» показателями, а не реальной продукцией. Как ты их добываешь — твое личное дело. Попадешься — ответишь. Но за плохую отчетность ответишь немедленно и тут уже не будет высокой защиты. Волюнтаризм Иван Иванычей

порождает показуху на всех уровнях экономической иерархии, снизу доверху, вынуждает хозяйственников идти на сделку с собственной совестью.

Приписки, отписки, списывания — словотворческий венец бесхозяйственности. Махинации одобряются молчаливым попустительством непосредственного руководства, акты списания визируются компанией представителей администрации, советской власти, общественных организаций, а для нелегальной реализации списанного подключаются и другие, чаще работники торговли. Крупномасштабные «дела» требуют участия солидной группы: от сторожей до директоров магазинов, предприятий, ответственных работников министерств, вплоть до местных и центральных органов власти. Известны подобные дела «трикотажников», «рыбников», торговцев промышленными материалами в Узбекистане, расхитителей на железных дорогах и сколько еще таких дел не получило огласки, таится в хранилищах уголовного розыска. В эпидемии массовых хищений на железных дорогах долгое время грешили на неуловимое местное жулье. Когда начались судебные процессы, оказалось, что главные расхитители — сами железнодорожники, вплоть до начальников станций, депо, железнодорожной милиции. Коррупция захлестнула целые отрасли и республики. Скандальные процессы, расстрелы — ничего не помогает. На благодатной почве бюрократического управления коррупция неистребима. Что такое сама бюрократия, если не коррумпированное начальство? Для нее не существует закона. Вся разница в том, что хозяин — барин: что позволяет себе, не позволяет слугам, он нарушает закон открыто, а они — скрыто.

Хозяйственная и государственная коррупция вырастает из одного корня — бюрократизации центральной власти. Поэтому борьба с хозяйственной преступностью стрижет вершки, не затрагивая корни преступности. Здесь, как и во всем, бюрократия не находит иных способов, кроме волевых, административно-карательных. Создана невиданная по масштабу, разветвленная, всепроникающая система хозяйственного контроля. Помимо центральных органов, на каждом предприятии, в отрасли, в каждом районе и области. Отделы технического контроля, контрольно-ревизионные управления, финансовые и прочие всякого рода инспекции. Всюду общественные комиссии: партийные, профсоюзные, комсомольские. Недостатки бичуются, раскрываются, устраняются… И никакого толку — бесхозяйственность крепнет. Бюрократический контроль это такой же обман, как и тот, с которым его заставляют бороться…

* * *

(Уф…ф! Доконал. До сих пор, с горем пополам, я вспоминал не жизнь, а утраченные воспоминания о ней — текст, убиенный год назад позорным сожжением в унитазе. Я не мог в третий раз вполне пережить отрезок жизни. Не мог писать заново. Память перегорела. То насилие, которое я вынужден был над собой совершить, чтобы из золы восстановить текст, может быть, воскресило факты, идеи, но не воскресило сожженных эмоций, настроений, переживаний. Может быть, это защитная реакция психики: пишу ведь не о самом счастливом времени и третий раз все заново пережить — все равно, что к трем годам по приговору еще два срока сам себе. Два — это слишком. Второй раз писать было противно. Нельзя, наверное, писать в таком состоянии, Но надо сохранять факты, они важнее литературы. Надо спасать книгу. Надо было хотя бы пересказать начало моей тюрьмы, чтоб было понятным дальнейшее. И вот привинчиваю восстановленный текст к тому, что пока не горело. Может быть, все встанет на ноги и дойдет до читателя. А там его дело.)

* * *

…Приписки удобны и министерству, и областному руководству. При том колоссальном значении, какое имеет показуха, бороться о ней значит рубить сук, на котором сидишь. Результат честной и обстоятельной проверки всегда плачевен. Мало того, что руководство предприятия схлопочет неприятностей, а то и под суд, у всего коллектива упадет зарплата и возрастет план. С передовиков и обеспеченной карьеры скатишься в отстающие без каких-либо перспектив как для себя, так и вверенного тебе коллектива. Во исполнение партийной директивы критики и самокритики, конечно же, везде находятся недостатки, разбухают и неутомимы ревизии и контроль, однако обычно речь идет лишь об отдельных недостатках при общих достижениях. Таков принцип отраслевых и региональных проверок.

Правда, в семье не без урода: находятся «неуправляемые» контролеры, особенно из системы так называемого народного контроля, кто норовит докопаться и выложить всю правду-матку. Честно проводя государственный интерес, они сразу же вступают в конфликт с интересами ведомства и своих же коллег по работе. Становятся неугодны ни своему начальству, ни людям. Сор из избы, кляузники, очернители — как их только не клеймят и,

несмотря на официальную защиту, всегда находится повод зажать им рот или выкинуть вон. Нельзя быть правым, служа неправому делу. Нет ничего двусмысленнее ведомственного или народного контроля при несовместимости интересов государства и ведомства, государства и трудящихся.

Более объективен межведомственный контроль с самого «верха»: со стороны центральных органов партии и правительства, в том числе Минфина, Госкомтруда, Росбанка, ОБХСС и прочих межведомственных органов. Подчеркиваю: с самого «верха», т. к. периферийные подразделения этих органов теряют объективность по мере того, как попадают в зависимость от местных органов власти. Но периодические погромы отдельных отраслей, предприятий не меняют общей стихии. Стремление планировать до винтика, бесчисленные лимиты, ограничения и инструкции, как пятое колесо в телеге, лишь тормозят движение, расширяют хаос, плодят новые хитрости в обход очередных запретов. Центральный контроль — капля в море безбрежной экономики. Объединенный фронт предприятия, отрасли, области успешно противостоит давлению государства. Хозяйственная коррупция непобедима, пока охраняет интересы производителей.

# Эгоцентризм партократии

Иерархия бюрократического управления подобна пирамиде, рассеченной на множество подначальных ступеней. Вся полнота власти — на самом верху, непосредственное исполнение — самом низу. Животворная обратная связь снизу вверх практически исключена. Она затрудняется тем более, чем больше опосредующих ступеней, чем дальше вершина от основания. Кого послушает мастер: рабочих или начальника цеха? А начальник цеха? Мастера или директора? А директор: начальника цеха или министра? А министр: директора или…? Ну какие же могут быть вопросы? При абсолютной зависимости от вышестоящего ответ всегда однозначен. Но далеко не так однозначен ответ на другой вопрос: кто лучше знает дело — непосредственный исполнитель или начальник? Допустим, исполнитель знает свое дело не хуже, однако и в этом случае вся власть, все полномочия на стороне начальника. Кто знает дело, тот не имеет полномочий, кто приказывает, тот не знает дела. В газетах полно подобных примеров из экономической жизни, особенно, когда речь идет о территориальном руководстве райкомов, обкомов сельским хозяйством. Опутанное всякими руководящими указаниями и ограничениями, село стонет от некомпетентного вмешательства. Да и везде так.

Но и знающий бюрократ не отдаст распоряжения в интересах дела, если это не совпадает с его личной корыстью. Его служение обществу даже при самых благих намерениях сводится к принципу: чтоб волки сыты и овцы целы. И всего-то для этого надо: умерить аппетит и защитить овец. На это была направлена хозяйственная реформа 1965 г.: ограничить произвол центрального аппарата и расширить полномочия, права и автономию производителей. Реформа была произведена с таким успехом, что через 14 лет, в 1979 г., ее пришлось реанимировать. Но это было уже признаком несбыточности надежд. Волки разочарованы овцами, что не очень охотно полезли в пасть. Овцы разгадали маневр волков и не последовали примеру Щекинского комбината. Это была обманная волчья реформа. Бюрократия не думала поступаться ни толикой власти ради общественной пользы. Трюк понадобился лишь для того, чтобы, создав иллюзию заинтересованности и самостоятельности, обнажить резервы предприятий и заставить их работать с полной отдачей. Все так называемые реформы и эксперименты велись и ведутся по одной схеме: дать овечкам нагулять жирку, а потом и слопать. Неотвратимость этого «слопать» стала совершенно ясна именно

благодаря псевдолиберальным попыткам и опытам. Директор Львовского телевизионного завода жаловался корреспонденту: двенадцать ведомств лезут в кассу предприятия как в свою собственную. Из накопленных денег руководство обещало в плане социального развития детсад, бассейн, жилье и прочие блага трудящимся. Влезла лохматая лапа родного министерства и плакали денежки. Это называется фонд экономического стимулирования, созданный реформой. И с такой практикой ни одна ступень бюрократической пирамиды не собирается расставаться. Бюрократический эгоцентризм сильнее и выше общественного, народнохозяйственного интереса. Верхушка пирамиды готова на все, что угодно, на любые реформы и эксперименты, но только не на ограничение своего произвола. В этом гвоздь. И потому все идет прахом.

Допустим на минуту, что предприятия получили какую-то автономию. Отпускают продукцию по прямым договорам с потребителями. Развивают производство и устанавливают заработную плату в зависимости от прибыли. Свободны в выборе поставщиков. В организации труда и производства. Производственная деятельность планируется на основе спроса на продукцию и технических возможностей. Успех зависит от деловых качеств самого коллектива и больше ни от чего, ни от кого. Зачем тогда многоступенчатая пирамида управления? Зачем райкомы, горкомы, обкомы? Кто из них сунется руководящим носом? А сунутся, по носу и получат — не мешай. Не будет директив останется государственное регулирование. Командный тон сменится на рекомендательный и лишь по принципиальным вопросам. Вся грандиозная надстройка пирамиды рухнет, а ее производственное основание, освободившись от бремени вышестоящих инстанций, станет подлинным фундаментом общественного благосостояния.

Но тот, кто сейчас поет «и все вокруг мое», останется ни с чем, с этим уж ничего не поделаешь. Можно ли допустить хоть на секунду, что такое в наших условиях возможно, что пирамида сама свалится с основания, что тот, кто был всем, добровольно станет никем, что кровососущий паразит сам перестанет быть паразитом? Можно ли допустить, что партия откажется от реальной власти в тот момент, когда конституционно узаконивается усиление роли партии? Нелепая, право, фантазия. Тысячи штатных ученых, идеологов доказывали и будут доказывать, что благо народа — это благо партии, что государство — это мы, которые, наверху пирамиды.

При всей очевидности путей повышения эффективности экономики столь же очевидно и то, что им поперек эгоцентризм

партократии. Не обманут лицемерные «эксперименты». Заставить работать нельзя. А заинтересовать — значит поступиться не только деньгами, но и властью. Неограниченная власть ограниченных людей сделала экономику жертвой убогой политики. В попытках оздоровить не находят лучшего способа, как подстегнуть. Натягиваются бразды правления, сильнее лихорадит экономику, а вместе — и все общество. Узурпация централизованного управления и нормальная экономика не совместимы. Все разбивается об острый верх бюрократической пирамиды. А жизнь становится все лучше, красивей, все веселей…

Общество разлагается. Усиливается деградация и преступность. Бытие определяет сознание? Конечно. Как, впрочем, и сознание определяет бытие. Диаматовская схоластика не может стушевать того факта, что бюрократическое сознание, инстинкты, дух эгоцентрического руководства в значительной степени определяет экономическое бытие и через него умонастроение, поведение масс. Судьба экономики в руках ее настоящих хозяев. Шесть процентов населения с партбилетами, руководимые всемогущим ЦК и Политбюро, держатся за структуру власти, основанной на аморальной, антиобщественной экономической системе. Могут ли они разжать тиски и освободить производительные силы общества, дать возможность экономике войти в нормальное русло, стать более нравственной, более правовой, более эффективной? Разумеется, могут, кто им мешает. Почему же они этого не делают? Ведь не врагу это нужно — собственному народу. Потому что не хотят. То, что нужно для блага народа, им, этой горстке, не выгодно. Этот эгоизм, это преступное сознание властей и определяет общественное бытие. Безнравственность экономической, да и всей нашей жизни — на их совести, которой у них, видимо, нет. Эпидемический рост пьянства, преступности порожден преступным характером государственной власти. И спасение наше только в том: либо обстоятельства заставят, наконец, бюрократию осознать не только свой, но и общественный интерес, либо проснется инстинкт общественного самосохранения и сам народ вправит мозги партократии. В современном мире извечную конфронтацию «верхов» и «низов» научились преодолевать бескровно. Сумеем ли мы?

Пока наши пьяные слезы и сопли к банде, погоняющей нас: дайте хорошего государя, дайте Сталина. Пока мы потихоньку подворовываем, ведь на что-то мы пьем и даже покупаем машины. И на том спасибо. Вы воруете, мы воруем — вот квиты. Слава КПСС! А не дадут воровать — тут уж другой разговор. Нам честно? Тогда уж будьте любезны и сами — честно!

Карающая десница, ужесточая уголовное законодательство, наводняя тюрьмы и лагеря, замахивается и на себя. По какому праву сажает тот, кто сам должен сидеть? Почему тебе все, а мне ничего? Эти вопросы неизбежно притянут к ответу и гражданина начальника. Тогда ему тоже несдобровать. Поэтому он еще поломает голову, как быть: то ли пусть пьют и воруют — мне спокойней, то ли бороться с преступностью, но тогда начинать с себя? Сможет, захочет ли он сам жить честно? Без блата и закрытых магазинов, без спецобслуги быта, больниц, дач и курортов, без закрытых просмотров недоступных обществу фильмов, без махинаций, приписок, списываний и коррупции, без жульнических премий и растаскивания государственных средств, без пропагандистской лжи, цензуры и утаивания информации, без показухи и зажима критики, без нарушения гражданских прав и свобод, без преследования свободомыслящих?

Радикальные экономические перемены возможны у нас только на основе радикальных перемен в политике и идеологии. За идеологической фразеологией кроется недобрая воля властей. Станет ли она когда-нибудь доброй? Не много ли мы хотим?

* * *

Я вспоминаю лефортовскую свою статью в вольном изложении, которое дает представление, но не заменяет ее. Оригинал где-то в бумагах покойного адвоката, черновик похищен лагерной администрацией, жаль, если статья не всплывет. В отличие от этого переложения, первый вариант, помнится, имел четкую структуру, по существу представляя собой конспект книги. Арматура основных узлов очерчивала контуры здания, требовала развития, плоти, живой предметности. За каждым положением стоял большой материал, он просился на бумагу. Впервые с полной ясностью и несколько неожиданно для себя, по логике рассуждения, я пришел к выводу, что ключ к оздоровлению экономических отношений не в самой экономике, а в перемене политики, структуры и характера государственной власти. Что бы ни предпринималось в народном хозяйстве, как бы ни экспериментировали и ни пересаживались, подобно крыловским музыкантам, в нынешней политической системе вся эта музыка будет звучать похоронным маршем народному благосостоянию. Анализ нашей экономической жизни дает богатые доказательства. Их легко можно найти хотя бы в подшивке газеты «Правда». Ссылкой на эту газету заканчивалась статья. И потом, когда мне ничего практически, кроме газет, не

было доступно, когда я был оторван от накопленных ранее материалов, новые конспекты и вырезки из нашей прессы прямо ложились в русло статьи. Составлялась книга.

Время шло, объявлялись очередные эксперименты и лозунги, сочинялись гонорарные книги и рекомендации, но ничего не менялось. Вывод о бесперспективности «реформы» 1979 г. подтвердился. Куцый андроповский псевдоэксперимент 1983 года тычется в четырехлетнюю давность и нет сомнения, что и он, как и все предшествующие и более решительные попытки преодолеть бесхозяйственность, тоже разобьется о бюрократическую твердыню. Кстати, только что опубликован программный доклад нового Генерального секретаря на Пленуме ЦК 23 апреля 1985 г. Значение этого документа можно сравнить с решениями XX съезда и постановлением о реформе 1965 г. — настолько масштабна и радикальна его программа, ничего более значительного не предпринималось за последние 20 лет. Речь идет не больше, не меньше, как о революционном обновлении. И, конечно, опять решительный призыв избавить предприятия от мелочной опеки, расширить их самостоятельность, дать выход деловой инициативе. Опять говорится о необходимости расширить полномочия местных органов управления, развивать местную промышленность. Ну, думаешь, лед тронулся, центральный аппарат ослабляет вожжи, не будет лезть во все поры хозяйственной жизни и мешать производству. Шаг к децентрализации — это шаг на главном направлении борьбы с бесхозяйственностью. И тут же читаю: «Потребность в садовых участках и домиках, строительных материалах и инвентаре обеспечивается далеко не полностью. Политбюро, весьма подробно обсудив этот вопрос, поручило…» Какая же это децентрализация, если политбюро «весьма подробно» ловит блох садово-огороднических товариществ? Делать больше ничего? Неужели вопрос о выделении куска земли и садовой лопате нельзя решать на уровне райсовета и местных предприятий? Почему бы предприятиям не дать возможность самим непосредственно и оперативно реагировать на общественный спрос? Если этого нет, в чем же тогда их самостоятельность?

Этот пример из доклада настораживает тем, что центральная власть по-прежнему подменяет собой хозяйственника, по-прежнему стремится управлять каждой рабочей рукой, каждым винтиком. А такое управление даже при самых благих намерениях оборачивается произволом бюрократии и бесхозяйственностью. Ставка на сплошное администрирование исключает действенность экономических рычагов, а это значит, что «революционная» программа на практике опять сведется не к

расширению хозяйственной самостоятельности, а к усилению ответственности, к ужесточению дисциплинарных и уголовных санкций. Абсолют бюрократической власти несовместим с автономией предприятий, разорительная прожорливость госаппарата несовместима с производственной самоотдачей. Вопрос по-прежнему стоит ребром: либо центральный аппарат ограничит свое вмешательство в экономику, либо громкие слова о ее оздоровлении так и останутся словами. Что толку от призыва избавить предприятия от мелочной опеки, если Политбюро стремится контролировать абсолютно все, вплоть до производства садовой лопаты?

Не хотелось бы ставить под сомнение благонамеренность нового Генерального секретаря, однако нельзя сомневаться и в том, что нормализация хозяйственной жизни невозможна без радикальных перемен в структуре политической власти. Но об этом в докладе ни слова. Даже под натиском бесхозяйственности и социального разложения партийная бюрократия пока не собирается сдавать позиции. Что последует дальше, чем грозит обернуться «революционная» программа, мы знаем из горького опыта: насколько будут робки и ограничены собственно экономические меры, настолько круче, наглее, безудержней административный режим. Не хочешь — заставим! Суть экономической политики партии остается неизменной. Из этого корня все чертополошные всходы. Абсурдная политика. Но чем очевиднее абсурд, тем слышнее голос здравого смысла: чтобы остановить рост преступности, надо победить бесхозяйственность, чтобы, победить бесхозяйственность, надо отказаться от эгоцентризма центральной власти.

* * *

Ничего сегодня так не вредит государству, как бесхозяйственность. Нет врага опасней. И, если есть Комитет государственной безопасности, почему бы ему не обратить внимание на истоки главной угрозы государственной целостности и общественного спокойствия? Была мысль, снабдив статью этой преамбулой, отдать ее тюремщикам КГБ. Все равно отберут да ею же по башке: антисоветчину пишешь! Лучше самому отдать, может, кто и задумается? На всякий случай поверх заголовка «Экономические причины преступности» написал адрес: в 6 (?) Управление КГБ. Говорили, что это Управление занимается антисоветчиками, куда же еще обращаться нашему брату? Отдавать или нет? Кому? Через кого?

— Как ты думаешь, Виктор? — спрашиваю Дроздова.

Говорит, что КГБ статья не нужна. Они и так все знают. Но функции Комитета ограничены. Известна, например, его традиционная вражда с милицией, но сферы поделены и всесильный КГБ не имеет права вмешиваться в дела милиции. КГБ со времен Дзержинского — вооруженный отряд партии, он охраняет интересы и политику партии, какая бы она ни была. Но сам не формирует политики. Это дело ЦК.

Ох уж эта специализация! С одной стороны, каждая кухарка должна управлять государством, с другой — могучий Комитет отстраняется от управления. Сажать — пожалуйста, а как сделать, чтобы меньше было жертв негодной политики — не его забота. Да, пожалуй, невыгодно: сократиться преступность — сократятся штаты Комитета.

Ведь и тут «от достигнутого». По закону наблюдательного Паркинсона смысл жизни каждого бюрократического ведомства в расширении.

А как карательным органам расширяться без преступников? Не было бы их, так выдумали бы. Да что там — вовсю выдумывают! Надо же антисоветскому Управлению чем-то заполнять отчетность, да так, чтобы объем работы все рос, а сотрудников хронически не хватало — как иначе расшириться? Когда им надо — все могут, ничто не останавливает, когда не надо — вмиг специализация, бюрократические препоны. А как же интересы государства? На это ЦК, а мы лишь вооруженный отряд партии. Значит, вывеска на фасаде Лубянки фальшивая. Это Комитет не государственной, а Комитет партийной безопасности. Так он и должен называться — КПБ. Синоним и олицетворение коммунистической партии большевиков.

Что же делать со статьей? Оставлять рискованно, КГБ она не нужна. Отдам-ка следователю, так и так к нему попадет. Лучше сам. Ведь по его заказу, для него, собственно, написана — пригодится на лекциях. Если он действительно озабочен причинами преступности, если искренне интересуется моим мнением, то ему это надо.

Следователь появился лишь в декабре. Когда я напомнил о нашей беседе и предложил принести рукопись, он поморщился, припоминая: «О чем там?» Я сказал. «Это не ново. Несите, если хотите».

Навязываться я не хотел. Очевидно, в вопросах ко мне его интересовала не сама проблема, а мое отношение к ней, точка зрения. Он изучал меня, а не проблему. К концу следствия он решил, что меня уже знает достаточно, и больше его ничего не интересовало. Он закрывал дело, а я лез в какие-то споры, это

было уже некстати. Потом, после суда, один добрый сокамерник посоветовал избавиться от рукописи.

Удалось пронести адвокату. Черновик и все остальные бумаги, записи, как и следовало ожидать, потом исчезли.

Много было всяких бесед с разным начальством, но как и рукопись «173 свидетельства», никто не обсуждал написанное мною в тюрьмах и на зоне. Были реплики, угрозы, из которых явствовало, что бумаги у них, но по существу никто не говорил и не спорил. Они не затевали обсуждения, может быть, не желая признавать воровства бумаг, но я думаю, что им это было просто неинтересно. Ты — зэк, преступник и твое преступное мнение они не берут всерьез. Карать или не карать — к этому сводится отношение к написанному. Нового дела мне не пришили, отпустили по концу срока. И на том спасибо. Дроздов был прав: твои знания, твоя боль, твое мнение — им это не нужно. Общественные, государственные проблемы решаются далеко наверху, оттуда виднее, а люди в погонах всего лишь исполнители. Они не лезут в политику. Они, имеющие определенную власть, считающие себя образованными и неглупыми, не трогают то, что может обжечь, а ты — никто, изолированное, подневольное существо, и без того горишь синим пламенем и еще лезешь туда, куда даже им недоступно. Кто ж тебя будет слушать? Твоя писанина только раздражает, настораживает и сердит их. Умник, дурак безнадежный — вот ты кто. Там надо было доказывать, а не здесь. За решеткой ты никому ничего не докажешь. Тебя просто не слушают.

# Глава 4. Лефортово (продолжение)

# Изменник Дроздов

Вертикаль и горизонталь. Власть и подвластные. Тюремщики и камерники. Все для меня было ново. Каждый день давал пищу для размышлений как о начальстве и характере власти, так и о людях, с кем столкнула тюрьма. Эта горизонтальная сторона отношений складывалась так непросто, люди выглядят и ведут себя здесь так необычно, что, казалось, я впервые начал узнавать людей.

Дроздов — колоритная фигура. Умен, нахватан. Жил «наверху». Последние пять лет — на самом «низу». И сладкого, и горького в своей жизни хлебнул вдоволь. Казалось бы, должен уметь относиться к людям. А нет — хищный и жадный. Первая реакция — подмять под себя. Он ведь не случайно не поздоровался, когда вошел, и долго ходил большой и хмурый. Персону разыгрывал. С первой минуты следовало трепетать. Не слушать, а слушаться. Я — дикарь, новичок, естественно, отнесся к нему, как к старшему, опытному, многострадальному. Показал мне шелуху на ногах — кожа сохнет от витаминного голода. Зубы сплошь железные, еще во время следствия выпали — нервы. Нагибаться больно — радикулит. Камеру полагалось каждый день протирать. Мы это делали дважды — утром и вечером. И всегда налет тонкой угольно-черной пыли. Откуда? Ни одной щели, все кругом закупорено. Окно задраено и в «намордник». А пыль откуда-то оседала. Верная чахотка, если не жить в чистоте. Виктор предложил мне протирать пол, а сам все остальное: кровати, которые по-зэковски надо называть «шконарями», столик, окно, умывальник. У человека радикулит — под кроватями я с тряпкой ползал.

Рассказам его внимал, открыв рот. Учился у него и восхищался его знанием уголовного кодекса назубок. Память незаурядная. Я называл любую страницу Кодекса и он наизусть говорил, какие там номера и формулировки статей. Откроешь кодекс — все правильно. Второй раз в жизни встречаю такого. Один был в армии, с исторически яркой фамилией — Шкуро. Тот знал наизусть «12 стульев», «Золотого теленка». И так же его проверяли. Но здесь закон был нужнее, феноменальная память и знания Дроздова оказались весьма кстати. У него — личный учебник «Советское уголовное право. Часть особенная», там кое-что и по моим статьям. Непривычный к сухоте и многозначности юридических формул, я привыкал их понимать благодаря Дроздову.

Но что у него был за тон, что за обращение! То и дело ворчит,

раздражается по пустякам, вместо объяснений — нотации, лавина замечаний, упреков и так каждый день. Поначалу терпел, во многом по существу он был прав. Да и он извинялся расшатанностью нервов. Но пришлось-таки осадить. На стене висят «Правила внутреннего распорядка». Написано, что прогулка два часа, а у нас час. Почему? Виктор говорит: «Не может быть, читай внимательнее». Раз пять прочитал — два часа. Он встает со шконки, смотрит, куда я тычу.

— Это для осужденных, а ты кто? Болван!

Да, осечка. Как-то в голову не пришло, что в следственной тюрьме есть и осужденные и что их режим может отличаться. Но, простите, почему болван?

— Еще раз так обзовешь, и я прекращаю отношения.

Он промолчал. В обращении, в разговоре, в игре ли — всегда брал верх. Знал он, действительно, больше меня. А в игре я совсем не ровня. У него были шашки и кости для нардов — зары. Картонная: шашечная доска с обратной стороны аккуратно разлинована карандашом для нардов. И домино. Но в домино мы не играли, оно было для преферанса. К обычному набору добавляется 10 костей — получается нужное количество карт. Чтоб отличить эти десять костей, закрашиваем поперечную прорезь зубным порошком — все кости разные. Эта, например, семерка, эта — восьмерка, эта — дама, туз — надо только запомнить значение каждой костяшки. Сначала я пользовался таблицей, через два дня играешь уже свободно, как настоящими картами. Пуля на пятьдесят занимала полдня. Время за преферансом летит стремительно. Я засыпал с комбинациями в голове. Вот, думаю, завтра я ему покажу. Но, кажется, ни разу так и не выиграл. Проигрывать стал меньше, копейки, но выиграть у Виктора невозможно. В шашки, нарды я еще сопротивлялся, потому он не любил их, а в преферансе Дроздов царил. Очень он не любил проигрывать. Азартны мы оба, но с опытом я стал подозревать, что он иногда передергивает. Точно помню однажды, когда пуля закрывалась в мою пользу и карта шла, Виктор нарочно неправильно положил кости. В таких случаях приходится пересдавать. Впрочем, я чаще ошибался, он всегда меня поправлял, у него ошибок не было, а появляться стали, когда игра пошла серьезней и всегда лишь в критический для него момент. Правда, такие моменты создавалась довольно редко. Играл он превосходно, рассчитывал далеко вперед. Я же играл, как повезет. Никаких, естественно, натуральных денег, только спортивный азарт. Но какой! И какое удовольствие на глазах надзирателей шпариться с утра до вечера в карты, которые строго запрещены. И не в дурака, а в самую денежную игру —

преферанс. Контролеры или не догадывались, или придраться нельзя — со стороны ни дать ни взять — домино. На зоне, в Пермском спецлагере, где-нибудь в укромном месте, в баньке Виктор ежедневно коротал время за преферансом. Подобралась своя компания.

— Есть политические? — спрашиваю.

— Есть, конечно, но они в своем кругу. Вообще дружба и всякие разговоры на зоне ни к чему. И среди политических стукачи. Человек там — подлый.

Прямо как Сосновский говорит. Но тот про бытовых уголовников, а этот про государственных и политических. Неужели и там довериться никому нельзя? Сам видно хорош, чувствовалось в нем что-то поганое. Работал в цехе экономистом. Свой кабинет. Договорился с вольным получать деньги, посылки. Что приходит на адрес вольного — половина Дроздову. Каждый день бутерброды с икрой, балычком, колбаской. Показывал руки — гладкие, тонкие пальцы: «Вот, ни одной мозоли. За пять лет весь физический труд — хлеб нарезать». Зашла речь об ужасах карцера, бура: холод, сырость, мыши, вши. Спрашиваю:

— Сидел?

— Один раз, — обнажает в улыбке железные зубы Виктор. Перед большим шмоном (общелагерный обыск) попросили его спрятать фотоаппарат (вот дела — фотоаппарат на зоне!). Обычно его кабинет дотошно не проверяли и спрятал он хорошо. На этот раз будто знали, что здесь — нашли. Наверняка кто-то стукнул. Нет, нельзя ни с кем никаких дел, никому нельзя доверять. Живи один для себя, и тогда все будет правильно. Однако после 15 суток карцера его оставляют экономистом.

— Сказал, чей аппарат?

— Ну что ты! Потому и посадили, что не сказал. Грозили больше, но обошлось.

Странно, что такое ЧП, как фотоаппарат у государственных зэков, так легко для него обошлось. Это же не нож, это для администрации страшнее пулемета. Но я сейчас что-то стал понимать, а тогда но сводил глаз с Дроздова, все принимал за чистую монету.

Судьба его складывалась на редкость удачно. Папа ленинградский партийный босс. Служебная дача в Крыму. Школа с золотой медалью. МИМО — московский институт международных отношений. Для привилегированных. Работал в спецотделе МИДа, какой-то сверхсекретный отдел. Все там, до машинистки, партийные, это обязательно. Высокие моральные требования. Развод или откроется любовница — тут же вылетишь. Никаких посторонних контактов. О случайных знакомствах,

беседах — сразу доклад начальнику. Хвастал: обычного паспорта не держал — был красный, в любой момент за рубеж. Дроздов много темнил, ссылался на неразглашение, но давал понять, что его отдел — что-то вроде инспекции советских посольств. Дроздов ездил по разным странам и проверял посольства. Английский знает со школы. После МИМО два года в дипломатической школе. Знать язык — не просто говорить и читать. На его работе язык надо знать в совершенстве, как родной, чтобы англичанин, например, в разговоре не усомнился, что ты англичанин. Так учат в дипломатической школе. И Виктор знал английский. И так же почти знал арабский (турецкий?) — второй основной по институту. Гортанил и правда очень экзотично. Голос вдруг менялся и передо мной будто совсем другой человек: харкает, лает. Неплохо, видно, учи ли. Да он и сам трудяга. В годы учебы не знал ни выходных, ни праздничных. Не то чтобы заставлял себя, а больше самому нравилось заниматься, чем гулять без толку. Образцовый рос мальчик. И на службе, несмотря на молодость, быстро пошел вверх, кажется, до заместителя начальника сектора, у них это важный чин. А какое будущее светило! Все пророчили.

Однажды чуть было все не испортил. Поехал на день в Ленинград. Обратно — до поезда часа полтора. Проветрился до Исаакия. А там подходит краса неписанная, лучит глазищами: «Покажите Исаакий, пожалуйста!» А, решил Дроздов, завтра поеду, время позволяло. Показывал Исаакий на квартире ее подруги, которой не было. Вдвоем с ночевкой продолжали интересную экскурсию. Она коньяком потчует, похоже, спаивает. Он незаметно из рюмки в цветок, сам хмельным притворяется. Сделал вид, что уснул. Сколько ни лежи, а в туалет надо. Возвращается: девица в мертвом сне, но его чемоданчик, «дипломат», тронут. У него привычка: запоминать что как лежит, до мелочи. И вот какая-то мелочь на чемоданчике сдвинута. Однако чемоданчик закрыт, ключи у Виктора и замок непростой. Утром рано, так и не сомкнув глаз, поехал. Она с ним засобиралась продолжить в Москве экскурсию. Но он ограничился рабочим телефоном: дал какую-то фабрику игрушек. Тут девица и говорит: «А это не ваш телефон». Да, это телефон друга и через него она с ним свяжется. Расстались дипломатично и бежал он в страхе, не оглядываясь. Скоро и думать забыл. А через месяц вызывает начальник: «Напишите объяснительную обо всем, что произошло с вами с Ленинграде». Дроздов похолодел — конец карьере. Расписал все в деталях, покаялся, что сразу не доложил. Месяц ему ничего не поручали, отстранили от дел. Спасли полное раскаяние и безупречная доселе репутация. Его временно

понизили, а через год восстановили в должности. О девице ничего не говорили, но стало ему известно, что она работала на американскую разведку. За ней давно следили и взяли где-то под Киевом.

В 1972 г. на одном из приемов-коктейлей познакомился с человеком, связанным с американским посольством. Через год, пользуясь контактами с разными закрытыми учреждениями, регулярно продавал секретную промышленную информацию о космическом топливе, например.

— Денег тебе было мало?

— Нужды не испытывал. Но, — Дроздов изобразил оглушенную улыбку, — люблю красивые вещи. Дома кушал из серебряного сервиза работы Фаберже — можешь представить. Деньги — магнит, чем их больше, тем больше надо. Но главное не в этом, — Дроздов стал серьезен. — К тому времени, особенно после истории с девицей, изменились мои убеждения. Я же был честным, правоверным большевиком. А когда изнутри разглядел аппаратную кухню, карьеризм — ничего общего с тем, как я представлял, во что верил. Каждый живет для себя. Внешне — строгая мораль, внутри — весь прогнил. Можно все, лишь бы тихо. Все так. Кому служить верой и правдой, если сверху донизу нет ни веры, ни правды? После девицы я понял, что карьера моя остановилась, застрял надолго. Так что был готов служить кому угодно, кто больше заплатит.

За два года осторожной торговли с американцами Дроздов имел за границей солидный счет и «окно» для моментального выезда. Чуть запахнет и он тут же исчезнет. Однажды поручает ему начальник отвезти бумаги директору одного учреждения. Сел в машину, повез. Не успел зайти в кабинет, подхватывают его на руки, чьи-то железные пальцы распяливают ему рот и через секунду он совершенно голый. Так работает группа захвата. Переодели в другую одежду и — в Лефортово. Чтобы спасти жизнь, мало во всем признаться и раскаяться. Надо было сдать с поличным американского сотрудника. Из кабинета следователя Дроздов звонит американцу и договаривается о передаче очередного контейнера. В назначенный час едет на «Волге» к условленному месту и, не останавливаясь, бросает контейнер — что-то вроде пенала или трубки. Следом подруливает машина американца. В тот момент, когда американец поднимает с земли контейнер, его опережают машины. КГБ и славные чекисты разоблачают шпиона. Вся картина снимается на кинопленку. Американец, обладавший дипломатической неприкосновенностью, объявляется персоной нон грата и уезжает домой, а Дроздову дают по ст. 64 минимальный срок — 10 лет.

Он полушутя-полусерьезно считает, что статья применена неправильно. Ведь государственные, военные секреты он не продавал. Только промышленные и не оборонного значения. Подобные действия должны классифицироваться как промышленный шпионаж, а такой статьи в советском законодательстве нет. Значит, нет и преступления. Официально Дроздов своего мнения не высказывал. Какая может быть защита, если судит трибунал? Защитой был отец. Отец отрекся от него, но выхлопотал минимальный срок.

Имущество и, надо полагать, Фаберже конфисковали. Оставили лишь самое необходимое жене и двум детям. Жену не тронули. По-прежнему работает в аппарате Совмина, под крылом одного из друзей, сохранивших верность Дроздову. Дал он ей вольную, но никто ей не нужен, буду, говорит, ждать, сколько бы ни пришлось. На свидания ездит регулярно, раза три в год.

— На длительные? Так на строгом одно разрешается!

— Ох, Алексей, ну и гнилой ты, я посмотрю. Откуда ты все знаешь? Не обижайся, на жаргоне «гнилой» — не обидно, это мудрый, прожженный. Ну, как три? Уметь надо. Перетрешь с начальством, с зэками, — Дроздов вытягивает кисти рук и трет по указательным пальцам, это означает «перетереть», т. е. договориться, характерный, принятый среди зэков, жест. — Не ко всем же ездят, — продолжает Дроздов, — Находишь такого и вместо него договариваешься. Конечно, что-то ему, что-то начальнику отстегиваешь, не без этого. Ты вот зачем «Яву» куришь? Это же деньги, они тебе на зоне пригодятся. Простынь целую, робу ушить — мало ли чего — там за все платить надо. Кури «Приму», а с фильтром бери с собой, пачка там рубль стоит. Я увезу пачек четыреста.

И правда, большой полиэтиленовый мешок Дроздова набит пачками хороших сигарет с фильтром, а курит «Приму». Я внял совету, пачек десять тоже оставил.

О моей работе сказал, что информация по труду наряду с промышленными секретами тоже имеет значительный спрос у зарубежных агентов. Причем небольшие страны, скажем, Бельгия, Дания, платят больше, чем штатники. У американцев солидная агентура и потому они скупердяйничают, а небольшие страны мало кого имеют и потому привлекают высокой платой. Если мне нужно, он даст координаты. Мне это предложение не понравилось, но я сказал: «Штатникам надо помогать». За месяц сожительства с Дроздовым это была, пожалуй, самая неосторожная фраза. Никто мне ее потом не вспоминал, но ему так говорить не следовало.

Несмотря на пятилетнюю изоляцию, Дроздов лучше меня был

информирован о внешних событиях. Не на воле, а именно от него я узнал, например, о подоплеке Афганских событий. В Кабул вошли советские части, гэбэшчики, и ликвидировали Амина. Кармаль был вызван из Чехословакии, он еще не доехал до Кабула, когда выступил по телевидению в Душанбе от имени нового правительства. Коммунистический режим был обречен. Через день-два Кабул бы заняли исламские отряды, шедшие двумя колоннами. Поэтому Кремль принял решение об оккупации и смене руководства Афганистана. Как в своей вотчине. Незваные гости, как известно, хуже татарина. Народ суверенной страны ведет священную войну с оккупантами. Дроздов настроен оптимистично. Два с половиной миллиона взрослых беженцев у границы родины. Полгода-год на них обучение и вооружение и они двинутся на Кабул. Все афганцы за освобождение. Эта страна никогда не покорится. Дай бог, подождем годик, посмотрим.

Перед арестом, в июне, я побывал в Туркмении, В Ашхабаде номер на двоих с подполковником из Кушки. Представился замполитом. На мой вопрос о наших жертвах сказал: «Пустяки! Больше разговоров. В самом начале по неопытности постреляли сами себя, а сейчас никаких жертв нет».

— А двести гробов наших десантников, я слышал?

— Болтовня.

В Карабек возил меня туркмен, брат комсомольской секретарши. Парень служил в ГДР, недавно вернулся из армии. Говорил он уклончиво, но все-таки подтвердил и жертвы, и дезертирство наших среднеазиатов. «В Афганистане, — говорит, — наши братья, родственники. Одна семья там, другая — здесь. Как мы их будем стрелять?» А сам собирался в школу КГБ, уже документы сдал. Сводил меня в кибитку фотографа. Заснялись вместе. Клятвенно обещал прислать карточку. Но что-то ему, наверное, помешало. Месяца через полтора у меня — обыск.

Много мы ждали с Дроздовым от польских событий. И опять он знал лучше меня. Откуда? Хитро смеется: «Хорошие мастера на зоне все умеют». Действительно, если фотоаппарат есть, то и приемник достанут или сделают — чего удивляться? Вглядываясь в ближайшее будущее, видели мы много крови. Эскалация битвы за Афганистан, борьба в Польше, начало распада соцлагеря. Это была бы очистительная кровь. В Афганистане мы окончательно осрамились перед цивилизованным миром, да и внутри страны. Была надежда.

Дроздов чуть не каждый день ходил на допросы. Возвращался бледный. С час что-то обдумывал, черкал на лоскутах бумаги, потом рвал и отправлял в парашу. Вроде бы попались его

знакомые из одного закрытого института, через которых он в свое время получал информацию, да еще дело с ТУ-144 — шел трудный диалог со следователем, а то и с группой следователей, перекрестные допросы, и в этой психологической борьбе решало каждое слово, каждая интонация. Дроздов говорил, что он так планирует свои показания, что знает, что ему надо сказать через месяц и даже то, что он скажет через три месяца. Следователь ценит его профессионализм и потому, мол, работает с ним прямо-таки с профессиональным увлечением. Как два гроссмейстера за хороший приз. Дроздов надеется выкрутиться, на худой конец, добавят года два-три. Пять лет сидит, а все простить не может себе, как он тогда арест проморгал. Ведь все было готово к побегу. Многие ценности из дома убрал. И были признаки. Задним числом вспоминает кое-какие перемени в отношениях на работе, машину против окон его квартиры, которую за месяц до его ареста поставили якобы с ремонтом во дворе. Как он мог не учесть? Зарвался, потерял чутье. «Моя жизнь кончена, — говорит. — Выйду стариком. Но сын будет жить на Западе. Остались люди, которые мне вот так обязаны, сделают что надо».

Мы поругивались по мелочам, но я видел в нем союзника. Борется, не унывает человек, чего же мне унывать? Выдюжим. Я выйду через три года, он столько же еще будет сидеть, но мост перекинут — не растеряемся. Он, как и предшествующие мои сокамерники, тоже не исключал, что меня могут выпустить до суда или зачтут на суде отбытое, но на зону не вышлют — это самое вероятное, слишком уж странен и юридически не оправдан мой арест. Однако психологически советовал настраиваться на худшее. Я настраивался на три года. Чирикало иной раз «авось», но уже не надеялся.

Через сотни людей прошел я по тюрьмам и лагерю, И Дроздов, если не считать чуда встречи с одним моим постатейником, был наиболее интересен. Исходил от него запашок, но в уме и знаниях ему не откажешь. Коснется ли разговор властей, говорит так, как будто каждого щупал руками. «Кузнецов, — говорит, — самый смирный был зам у Громыко. Никогда ничем ни плохим, ни хорошим не выделялся. Добросовестный исполнитель, который — на каком бы верху ни был — всегда незаметен. Это его единственное достоинство. Типичный функционер, совершенно инертен как личность, чем и привлек Брежнева».

Кстати, от Дроздова узнал, что Политбюро заседает, как правило, по четвергам, что у Суслова прозвище «кремлевский интриган», а Пельше и Пономарев, хоть и в тени — в числе самых влиятельных в Политбюро. Пельше — глава партийного контроля

и его боятся, а Пономарев, хоть кандидат, но с ним согласовывают свои решения члены Политбюро Громыко и Андропов, — Пономарев руководит международной политикой ЦК. Спрошу ли Дроздова о тюремной азбуке — целая лекция. Вмиг заполнил клеточки и русским и латинским алфавитом. Под его началом начал приспосабливаться к английскому. Мы приветствовали друг друга с утра и желали доброго дня, доброй ночи — по-английски. Он мог приветствовать и изъясняться на всех европейских и нескольких азиатских языках. Подробно рассказал о различных системах шифровки цифровых, буквенных — ни одна ЭВМ не разгадает. От него узнал, почему лишают книг и газет, если заметят, что ты чуть надорвал или хоть точку поставил. Такими пометками можно сообщать информацию в другие камеры, куда потом передаются газеты и книги. Любопытна история так называемого свердловского шифра, ставшего классическим и вошедшего в шпионские учебники. Этим шифром Свердлов передал решение большевистского руководства о расстреле всей царской семьи в Екатеринбурге. Простой, но трудно поддающийся шифр. Специалисты всего мира долго искали ключ и подобрали лишь лет через десять, кажется, в Японии. Я, естественно, тут же начал осваивать цифровую азбуку. Зэк — мудреная профессия, авось пригодится.

Где-то рядом с нами сидит начальник управления гражданской авиации, который руководил советской делегацией в авиасалоне под Парижем, когда рухнул ТУ-144. Дроздов знал его. Тоже жадность сгубила. Нашли в гараже флаконов триста французских духов, дома франки — и чего у себя держал? Давал смехотворные объяснения, мол, духи коллекционировал, а франки из своих экономил. Их у него столько, что за всю жизнь бы не получил. Выкраивал из казенных. Да, наверное, урвал-таки куш на той самолетной аварии. Сам не признает, но то обстоятельство, что наши не первыми подъехали к месту аварии, когда контейнер самолета исчез бесследно, выглядит не случайным. Версия гибели самолета определилась года через четыре, совсем недавно. Какой-то западногерманский профессор исследовал любительские снимки полета и на одном через сильное увеличение заметил рядом с ТУ-144 маленькую точку. Похоже на небольшой самолет или снаряд, который очевидно, сбил машину, «ТУ» летел нормально, вдруг на высоте 9 тысяч метров обрывается связь, и самолет — камнем вниз. Чем еще объяснить, если не заранее спланированной операцией по уничтожению близнеца-конкурента «Конкорда»?

О «рыбниках» или «океанщиках» Дроздов знал всю подноготную. Жалел Денисенко, начальника управления

министерства рыбной промышленности, ветерана, много сделавшего для модернизации рыбного флота. Вменили ему в вину какие-то подарки, магнитофон на день рождения, банкет в его честь в ресторане — кому-то понадобилось сожрать его. Оправдывал Рытова. Он всего два года был зам. министра, новый человек, подписывал бумаги, доверяя старым работникам. Любой бы подписывал на его месте. Коррупция вовсю химичила за несколько лет до него при министре Ишкове. Но Ишков — министр с 1939 года, самый старый в правительстве. Косыгин его прикрыл, дело ограничилось отставкой, а козлом отпущения сделали Рытова.

После генеральный прокурор сообщил в «Известиях», что высшая мера Рытову приведена в исполнение. Расстреляли.

Часто я вспоминал Сосновского, когда Дроздов говорил о бесполезности и беззащитности диссидентства перед лицом могучей электронной машины КГБ. Оба они говорили так похоже, что сейчас я, наверное, в чем-то их путал. Оба приводили любопытные приметы, характеризующие особенности и стиль чекисткого сыска. По поводу Сосновского я писал уже, как одному на следствии припомнили разговор пятилетней давности со случайной сочинской любовницей, как оказалась записанной тайная беседа двух сообщников в поле около ресторана «Архангельский». Добавлю, что подслушивающие устройства размером с булавочную головку могут, по рассказам, незаметно прицепить прямо на улице к одежде. Куда бы ни зашел, где бы ни разделся — все твои встречи будут услышаны и записаны. Машина! Ничего для них невозможного нет. Но надо отдать должное, говорит Дроздов, зря не берут. Годами будут пасти, соберут неопровержимый материал, а когда надо изолировать, если нет законного повода, возьмут под любым предлогом, пришьют какую-нибудь липу и скажут: «Знаешь за что». Могут кое-что показать на следствии или намекнуть, чтобы не оставалось сомнений, что они все знают, и был бы спокоен при любой юридической липе, которая нужна для суда. Обычно свои материалы КГБ никому не предоставляет. Дроздов уверен, что и меня не просто так взяли, а знают что-то такое, чего я не хочу говорить. Впрочем, меня официально ведет прокуратура, и тут всякое может быть, но когда непосредственно гэбэшники, то дело верное — процентов 80 они уже все знают, иначе не получат санкции на арест. Неплохая характеристика стиля Юрия Владимировича, не так ли? Вообще о разведке Дроздов говорил как будто со знанием дела. Между разведками разных стран — особые отношения. Например, во Франции контрразведка долго охотилась за советским агентом. Точно зная характер его

деятельности, никак не могла поймать с поличным. И что же сделали? Хватают среди улицы в машину и мчат в аэропорт, где первым же рейсом вталкивают в самолет на Москву. Никаких нот, ни жалоб. Всем все понятно. К взаимному удовольствию.

Немного о юморе Дроздова. Государственные преступники (статьи от 64 по 73) содержатся и этапируются, как известно, отдельно от остальных. С обычными уголовниками Дроздов не встречался. Где-то на пересылке, когда вели по тюремному коридору, видел партию и видел, как надзиратель бил длинным ключом по ребрам. Но вместе не был. Однажды заболел на зоне, и отправляют его в Пермскую лагерную больницу. Спецпалаты заняты, кто-то умирал, место вот-вот освободится, а пока помещают к четырем парням из строгой или даже общей зоны, на территории которой больница. Дроздов без смеха не может: «Веришь ли, я даже не предполагал, что такие люди бывают, что они вообще могут быть в природе». Ему строго-настрого приказали ничего о себе не говорить и не вступать в контакты, не то выкинут и хоть подохни. Лежит он в палате, молчит. Через какое-то время парни спрашивают: «Ты за что?»

— За халатность.

Парни искренне удивляются: «На хуя халаты пиздил?» На полном серьезе. Цензурных слов они почти не знают. Все диалоги, разговоры, в основном, одним словом на букву «х», весь смысл в интонациях. Заносить на бумагу неудобно, но кое-что попробую, иначе не будет представления. От нечего делать парни пытаются вспомнить, кто какое кино видел. Никто ничего припомнить не может. Что-то просветлело у одного, название забыл, но напряг лоб, медленно вспоминает: «В общем, приехал пацан в город. Видит: три вора от ментов отмахиваются. А тех до хуя, щас повяжут. Ну, пацан накидал пиздюлей, оторвались от ментов. Воры говорят: «Ты пацан, путевый, будешь с нами — вором станешь». Давай они лягавых крошить. А у тех крыса была, сиповка сивая…» Что он рассказывал? Я не сразу сообразил, Дроздов звонко хохочет: «Три мушкетера!» Однажды предлагают ему: «Хочешь девочку?» Выясняется, что они бегают в ванную комнату к педерасту. «Какая же это девочка?» — отшучивается Дроздов. «Ништяк! — подают обложку «Советского экрана» с полуголой актрисой. — С понтом по мнению». То есть актрису кладут на спину педерасту и получают большое удовольствие. Спрашивает Дроздов: сколько классов кончили? У всех 8–10, среднее образование. Поголовная занятость, поголовная грамотность.

А вот настоящий анекдот, как один из таких парней, выйдя на волю, устраивается на работу. Заходит в приемную начальника

шахты. Там секретарша.

— Привет, раскладуха! Пахан у себя?

— Туда нельзя, там совещание.

— Какой базар, какой сходняк без меня! — заходит в кабинет. — Привет кодле! Ты, что ли, за козырного?

— Ну, я… — теряется начальник.

Тот протягивает татуированную руку для приветствия:

— Держи набор костей.

— А вы, собственно, по какому вопросу?

— В яму возьмешь?

— А что вы умеете делать?

— Бугром могу.

— А справитесь?

— Куда они на х… денутся!

— Нет, бригадиров нам не надо, нам рабочие нужны.

— Сосал бы ты х…!

— Да как!.. — возмущается начальник.

— А вот так: чмок, чмок! — и хлопает дверью.

Первые ласточки лагерного фольклора. Скабрезно, конечно, но люди эти и жизнь их не лучше. И таких комсомольцев вылупливает инкубатор коммунистического воспитания. Цветы в навозе развитого социализма. О них еще будет что рассказать.

* * *

…Идут по следам, суки! Чего неймется, чего вынюхивают! Только что получил по телефону туманное сообщение о том, что посетили квартиру, где я на два-три дня останавливался, бывая в Москве. Допросили женщину, которая снимает квартиру, вот и хозяев нашли, кто ей сдает. Всех перепугали. Куда теперь ехать, где останавливаться, не знаю. К маю, если все слава богу, поеду, узнаю, в чем дело. Может, в связи с Сережей Кореховым? Или еще что-то? Сколько пишу, столько боюсь. Сейчас нагрянут, найдут тетрадку — поехали. Тороплюсь отчаянно. Пишу в любую минуту, в любом состоянии. Вижу, со стыдом вижу, плохо пишу. Но хоть как- то, чтоб было. Первейший долг — оставить свидетельство. Чтоб не пропал прожитый мной маразм бесследно. Чтоб можно было бросить когда-нибудь эти три года им в харю. Отквитаться бы за себя и за других. И люди чтоб знали, как можно больше людей, как можно больше бы знали то, что так тщательно и жестко скрывается. Всем надо знать подлинную физиономию этой проклятой власти. Верю: такие свидетельства приблизят ее конец. И потому пишу, несмотря ни на что. Только бы успеть. Хоть до

суда описать или лучше до зоны, а там уж по обстоятельствам. Больше всего боюсь, чтоб не случилось как в тот раз: забрали все и посадили. Ни одной копии, почти ничего не осталось. Сидел без толку. Так если еще суждено, пусть хоть что-то останется. Об этом молю и боюсь пока каждого шороха. Не идут? Тогда продолжим. Но надо опешить. А вдруг? Куда я это дену?

***(ст. Старица, апрель 1984 г.).***

* * *

И все же сидеть с Дроздовым было трудно, у меня характер, но у него еще хуже. Постоянно замечания, брюзжание: не так пошел, не так сел, не так лег. Не выдерживаю: «Ты почему командуешь? Здесь только менты командуют». Нервозность в камере, лежу, например, читаю. Он начинает считать: «Раз». Через несколько минут: «Два!» Досчитал до шести. Оказывается, гмыканья мои считает, они его раздражают. У меня нос поломан, хронический насморк с детства. Что делать? Его тоже понять можно. Силюсь, не гмыкаю. Забудусь, и опять. Ссора. Он аккуратист. Встает по подъему в шесть. Обязательно на полчаса зарядка. А я поднимался к завтраку. Ему не нравится: «Я кушаю, а ты зубы чистишь». Сначала я отвечал примирительно: «Подожди минутку». Да и что за капризы. Умыться — ведь не параша. Газами громыхнуть он не считает зазорным. Но каждое утро Дроздов стоял на своем. Это нам обоим до чертиков надоело. Однажды, сидя за пшенкой, строго командует:

— Чтоб с завтрашнего дня по подъему вставал.

Беру крышку от параши:

— Еще раз вякнешь…

Он с деланным спокойствием ложится на шконарь и, улыбаясь, цедит сквозь зубы:

— Попробуй, печень отобью.

— Козел вонючий!

— Ты знаешь, что это значит?

— Знаю.

Да, я уже слышал, что козел — самое последнее ругательство, равносильное «стукач», «пидарас» (пишу по принятому произношению). За это полагается бить. Кто смолчит, значит, остается «козел», а это слово ломает зэковскую биографию. Дроздов смолчал. С этого момента мы прекратили отношения. Надолго, дней на десять, до последнего дня. Я не замечал его. Тяжело на душе, нервы натянуты, лучше в одиночке сидеть. Ни я к нему, ни он ко мне — ни словом. Но у него что ни день —

вызов, по полдня пропадает, а я, как зверь в клетке, книгами и спасался.

Молчание прервал Дроздов. Приходит с допроса бледнее обычного, мелко его трясет. И ко мне: «Какой сюрприз! К концу допроса заходит подполковник, начальник следственной группы. Вы, говорит, тут ваньку ломаете, а за нашей спиной своему Хозяину пишете. Узнали про мое письмо Картеру! Представляешь: сколько уже прошло, когда Брежнев с Картером в Вене встречались? Года два с половиной? Так я перед встречей отправил из зоны на английском письмо с просьбой меня обменять. Знаю точно: за океан ушло. Подождал с год и думать забыл. И теперь вдруг всплывает. Сначала думал — разыгрывает подполковник. Нет, дословно цитирует последние строки. Как они узнали? Когда? Само ли письмо у них или копия, но содержание им известно. Чего-чего, но с этой стороны не ожидал удара. И момент выбрали — сегодня, не зря, теперь точно добавят».

Как могло открыться содержание письма? В Штаты доставлено надежными людьми, Дроздов в них уверен абсолютно. Ничего не оставалось, кроме одного: где-то там в департаменте есть «наши» люди. Вскрыли письмо или, скорей всего, сняли копию. От этого становилось действительно страшно. Мы проговорили весь день. Лед растаял, я снова сочувствовал и был расположен к этому человеку.

А на следующий день мне приказали: с вещами, Дроздов взволнован больше меня. Он сильно бледнеет, дрожит, когда волнуется. Просит никому из сокамерников не говорить о нем и ни в коем случае не называть его фамилии. В последнюю минуту дал телефоны двух своих московских друзей. По всем вопросам к ним — все могут. Абсолютно надежны, ибо зависят от Дроздова. Одного назвал по имени-отчеству, другой — начальник районного управления внутренних дел. О, этот точно пригодится! Я зашифровал координаты в конспектах «Капитала».

Во время суда через адвоката я сообщил Наташе телефон начальника РУВД. Ее к тому времени прописали в нашей комнате и тут же выписали. С матерью жить невозможно. С работы прогнали. Ей было негде и не на что жить. Чем черт не шутит, может, помогут? Тогда она не рискнула звонить. На первом свидании я все-таки настоял попробовать, хотя бы снять жилье помогли. Она позвонила, ответили, что такой не работает.

Когда я освободился, месяца через два-три позвонил из автомата по второму телефону. На том конце мужчина. Спрашиваю по имени-отчеству. А он меня спрашивает: кто я такой? Так, говорю, знакомый Виктора Михайловича». — «Какой

знакомый? Какого Виктора Михайловича?» — заметался голос. Ну, думаю, не туда попал. А чувствую: ждет чего-то голос, только встревожен. «Дроздова», — говорю. «А вы кто?» Вот прицепился, говорить или нет? Сказал. «А-а, так это я» — «Кто ты?» — «Да я, Дроздов!» Вот это номер! По моим подсчетам, ему еще лет пять париться. «Как ты здесь оказался?» — «Так это моя квартира, а Сергей Александрович здесь уже не живет. Где ты, когда встретимся?»

— Почему ты на воле, у тебя все чисто?

— Конечно, — неуверенно отвечает Дроздов и как бы оправдывается: — Помиловка. Давай увидимся.

Встретились на следующий день в метро. Народу тьма, еле нашел: сидит на скамейке. Тот же Дроздов, только жирок набрал, на воле обычно дородней. Зимнее пальто, барская шапка. Солидный вид, но с палкой и хромает. Сломал ногу и чуть не год провалялся. Радушен, даже как будто заискивает. Куда проще, чем иной раз в камере. Ну, пойдем. Куда пойдем? Мне приглашать некуда. Ему через час на работу. Вот возьмет он там четвертной и тогда… впрочем, только не сегодня, к вечеру домой позарез надо.

В общем, вышли мы из метро, поговорили. «Понимаешь, помиловка. Да ты слышал, наверное, человек сорок помиловали». Ничего я не слышал и вообразить не мог, чтобы сорок шпионов помиловали. Говорит, как всегда, недомолвками, с ужимками и лебезит, лебезит — раньше в нем этого не замечал. Понял так его, что освободился через год или раньше после того, как мы расстались. Работает в строительном управлении, между прочим, системы потребсоюза, где и я приткнулся. «Что ж ты, говорит, в такую даль? Мы в Мытищах строим, надо тебя туда перетащить, я подумаю». Я заметил, что странно получается: меня с трешником к Москве не подпускают, а он с изменой живет — как же так? «Ты же знаешь, есть связи, отец. Я ведь говорил тебе, что он генерал-лейтенант, бывший начальник штаба Закавказского округа». Федот да не тот: в Лефортове — папа работал в Ленинградском обкоме. Я смолчал, начал прощупывать: «Где ж ты сидел?». «Там же, под Тулой. Из Лефортово обратно отправили, из зоны ушел по помиловке». А говорил, с пермской спецзоны. Слышал я про тульскую зону — привилегированная. Называет ее коммерческой, сидят там торгаши покрупнее и проворовавшееся начальство, да только не изменники родины. Но молчу.

Хихикает Дроздов: «Здоровье уже не то, была норма — три-четыре бутылки, теперь строго литр — сердечко сдает. Никаких дел, весь в быту, картишки по мелочи, женщины. Эх, тебя не было, позавчера славно позабавились, до сих пор сердце стучит —

отойти не могу. Работа — не бей лежачего. Свободный режим, когда хочу, ухожу, триста рэ — куда еще прыгать? Связи старик, с друзьями не пропадешь!» Храни меня бог от таких друзей. Напомнил ему о начальнике РУВД.

— Сидит. Всех пересажали.

Кого всех? Почему сидит? Был ли в природе у него друг такой? Всех друзей пересажали, а его, изменника, выпустили? Не этой ли ценой он выкупил свою помиловку? Зачем давал мне телефон, зачем врал? Какую роль сыграл в моей судьбе? Мне он, может, не повредил, иначе, думаю, что-нибудь всплыло бы, следователь как-нибудь бы проговорился. Но кто его знает? Когда с ним сидел, в голову не приходило, а сейчас сопоставляю. К Дроздову поревели сразу после того, как я отдал заявление с просьбой о встрече с сотрудниками КГБ. Разговоры об Афганистане, Польше, его предложение помочь в продаже информации по моей специальности, и мое «штатникам надо помогать». И затем встреча с Александром Семеновичем. На этом фоне его угроза 64-й не с потолка взята. Я пишу заявление в защиту Попова и на то же примерно время — агрессия Дроздова и наш разрыв. Интересные совпадения. Подлинный характер его измены у меня теперь не вызывает сомнений: он предавал всех, с кем сидел. Надо было с ним повидаться, чтоб убедиться в этом. Больше я ему не звонил.

# Непутевый и путевый

Сосновский, Дроздов. Упало подозрение на человека и в следующей камере, туда меня поселили в середине октября. Камера № 48, через две двери от Дроздова. Застаю человека, только что прибывшего с зоны: лежит, съежившись, под зэковской телогрейкой. Плешивый, средненький, лет сорока. Две шконки свободны. Бросаю матрац на ту, что вдоль окна.

— Там дует, лучше сюда, — показывает на шконарь против него.

Благодарю за совет, но стелю у окна, там светлей. Лиловая закраска, решетки, намордник, но в верхней незакрашенной полосе днем что-то пробивается. Все дальше от параши и блике к свету и воздуху, а главное — удобней читать: книга не заслоняет лампочки, Зовут соседа, кажется, Владимир, фамилия Ивонин. Судорожный, бесприютный какой-то. Намаялся этапом. Из Калинина в Москву — два с половиной часа электричкой — его везли двое суток, через Горький. Ни курева, ни грева, а деньги с зоны — когда придут? Поделились моим. Берет как должное, выбирает: это он не ест, это любит и никакой благодарности, мол, закон такой — все поровну. По-моему, так и должно быть, однако должна быть и добрая воля дающего и «спасибо» берущего. У Дроздова кули конфет, колбас, сыра, но я не претендовал и не забывал благодарить, если перепадала конфета. Любой закон лучше воспринимается в согласии с этикетом. Эта мысль так пришлась кстати, что я высказал ее вслух. Ивонин немного сконфузился, но не возразил. Хамство у него в натуре, поэтому и впредь приходилось осаживать. Он обычно не обижался, однако черта эта мешала сойтись, да и неинтересен был.

Инженер из подмосковного Зеленограда. Попался, говорит, на обмене мелкой валюты. Дали три года усиленного режима. Полгода отсидел в зоне в Калининской области. Пристроился чем-то вроде художника или письмоводителя, был допущен к зэковской картотеке, по которой проводят проверку. Там фотография, статья, срок. Статью 190 не помнит, видно на их зоне таких нет. Он, по его словам, равнодушен к политике. Но при мне то и дело ругает Брежнева, власть. Ругается грубо, невпопад, примитивно — совершенно неясно было, зачем он так нервничает? Эти неожиданные взрывы меня несколько настораживали. Стрелять их, такую-то мать, вешать! Войной на них, пожечь до тла! Зачем так шумишь, Володя, что не нравится? Как надо, как должно быть? Он замолчал, дальше бутафорской ругани его социальная активность не простиралась. О зэках на

зоне резко отрицательно: «Это не люди, 90 % я бы бульдозерами подавил».

В первые же дни на зоне поставили его дежурить старшим по столовой. Сразу навел порядок: проследил заправку котлов по нормам, отвадил блоть — целая революция. В такое бахвальство и не знающему человеку трудно поверить. Некому больше, будто только его и ждали: вот поселят Ивонина и наведет он порядок на зоне. Одно ясно — он полгода просидел в кабинете отрядника, под крылом администрации. С людьми не сжился. Сейчас я знаю: зэки таких не любят. Администрация берет под опеку только «своих» людей, и делается это не за красивые глазки. Непутевый Ивонин зэк. Видно было, что Ивонин в отчаянии не остановится ни перед чем, напуган и обозлен на людей. Костит всех — один он хороший. Особенно доставалось жене, она-то и была причиной мирового зла. По при бытии на зону полагается свидание. Жена телеграфирует, что пока не может: через неделю едет в санаторий, а из Зеленограда до зоны всего часа три. Скрипит зубами. Никаких вестей. Ему еще раз переносят свидание, он шлет письма, телеграммы. Приходит сухая записка, чтоб не ждал. Ни ее, ни денег, ни посылки, ни передачи. Бандероли табаку не прислала. Она — член партии, депутат, работает в горисполкоме — не может с ним оставаться по принципиальным соображениям. «Я знаю, на чьих она машинах катается, — рычал Ивонин. — Я ей устрою: на десять лет сядет». Он был уверен, что новое дело, по которому его выдернули с зоны и привезли в Лефортово, — ее рук дело. Нашла в квартире спрятанные им ценности и заявила. Назвала его знакомых из секретного института, с которыми он был связан по сбыту ворованной продукции. Но и они хороши.

— Когда меня арестовали, я им передал, чтоб все прекратили. На год, по крайней мере, надо было уйти на дно. Месяц продержались, а потом опять — кабаки, загуляли. А на какие деньги? Менты их выследили.

Ивонин сокрушался, что теперь лет десять схлопочет, не меньше. Но что-то он знал и про жену, которая за его счет шкуру спасает. Если он не выкарабкается, то ее тоже посадит. А нет, так убьет. Сколько бы ни сидел, как вернется — убьет. Она знает его характер, и потому сейчас будет делать все, чтобы упрятать его подальше. Как не беситься! Тошно слушать Ивонина, но как всякого, кому грозит большой срок, жаль его.

А случай с платиной заставляет задуматься. Примечательно то, что друзья Ивонина, арестованные инженеры, по делу которых он вызван из зоны, очевидно талантливые люди. Платина им выдавалась на технические цели. Они разработали новую технологию, позволяющую обходиться без дорогостоящей

платины, которую утаивали несколько лет. Это было совершенно незаметно по техническому процессу — ценнейшее изобретение! Но, видимо, награда за него настолько несоизмерима с реальной выгодой, что инженеры решили вознаградить себя сами. Если не мириться с уравниловкой, со скудностью оплаты, то талант — преступление. Даже в технической области, даже в хозяйственной. Сколько таких примеров!

Вспоминаю Худенко. В конце 60-х это имя гремело. Радетели хозрасчета изучали и пропагандировали его опыт. Созывались представительные совещания. Был он и у нас, в институте социологии. В Казахстане Худенко взял плохонький то ли колхоз, то ли совхоз и сделал из него образцовое хозяйство. В конторе оставил лишь троих; он — директор, агроном и бухгалтер. Сократил все рабочие вакансии, фонд зарплаты распределил оставшимся, люди зарабатывали у него по 400–500 рублей. Сразу исчез недостаток рабочей силы. Наоборот, к нему рвались, а он не каждого брал — по выбору. Людей меньше — зарплаты больше — выработка больше и лучше, чем в остальных хозяйствах. Похоже на щекинский метод в промышленности. А кончили трагичнее щекинцев. Если обманутого директора Щекинского комбината выпроводили на пенсию, то Худенко посадили. Сначала опечатали кассу, но надо платить зарплату — вместе с месткомом он срывает печать. Его арестовывают, и в следственной тюрьме он умирает. Мой адвокат Швейский ездил туда от «Литературной газеты». Никакого нарушения законности не было — была лишь нормальная работа и оплата по труду. И это, оказывается, преступление. В социалистическом государстве убивают человека за практическое воплощение основного принципа социализма, утвержденного Конституцией. Не парадокс ли? И вся наша жизнь так. Выгода хозяйственного расчета абсолютно бесспорна. Люди в два раза получают больше, чем раньше, зато в пять раз больше производительность. Все бы хозяйствовали так — было бы у нас больше и хлеба, и молока, и мяса, и никакого дефицита товаров или рабочей силы. Кому от этого плохо? Наверное тому, кто хочет, чтобы люди работали бесплатно. Тому, чей лозунг «пятилетку — в три года», а об оплате умалчивается. Тому, кто трубит о моральных стимулах, о сознании, загребая результаты бесплатного труда. Кто не хочет платить и не терпит самостоятельности производителя, усматривая в малейшем движении к хозяйственной независимости и благосостоянию покушение на власть. Такой работодатель — рабовладелец. Они и съели Худенко.

В ту пору министром сельского хозяйства Казахстана был тов. Месяц, затем его назначили министром сельского хозяйства

СССР. На словах он, конечно же, за хозрасчет. Активный запевала экономических экспериментов Брежнева, Андропова и нового владыки. А на деле, убивая таких, как Худенко, убивает всякую попытку реального хозрасчета. Кто поверит словам и псевдореформам такого правительства? Почти 70 лет сплошного вранья и выкрутас до корней обнажили его подлинные намерения. Это не эксперименты — это экскременты поганой власти. Все живое она превращает в дерьмо, в котором захлебывается наша экономика, да и все общество. И ничего другого ждать от нее пока не приходится, разве что новых трупов. Она пожирает наши мозги и жизни. Ей нужны не люди — машины. Она жива, пока мы мертвы. Смердящее зловоние этой власти душит, но уже не обманет нас.

…С неделю без особого удовлетворения друг другом сидели вдвоем с Ивониным. Он был за старшего, а я, хоть и отдавал должное отсиженному им, сохранял независимость. Часто он нервничал, доходило до ругани, но, как и все, что делал Ивонин, ругань его была не настоящая. Его поведение и выходки напоминали переводные картинки: несерьезно и быстро смывается. Настроение в камере менялось ежечасно. Потом я перестал обращать на него внимание.

И тут заводят к нам третьего: высокий, молодцеватый брюнет лет за сорок. Дверь закрыли, он секунду помедлил и решительно шагнул к вешалке: «Рубашкам можно найти другое место». Снял рубашки и повесил свое пальто — жест довольно бесцеремонный. Рубашки были Ивонина. Тут бы ему и проявить характер, но он только нахмурился и промолчал. Поджал хвост. Молодец среди овец, а среди молодца — сам овца. Его сразу стало незаметно. Рявкнет иной раз ни с того ни с сего: просто в воздух, на Брежнева или на одного из нас, но мы, если и удостаиваем ответа, то галантно с иронией. Ивонина нельзя было принимать всерьез. Эдик Леонардов — так звали нового — был неизменно вежлив и выдержан. Мы быстро сошлись, Ивонин отстранился от нас, даже на прогулку ходил один. Если мы шли на прогулку, он оставался в камере. Резкость и бахвальство при Леонардове были невозможны, Ивонин его побаивался, а иначе вести себя не мог. Что-то он все хмурился, досадовал про себя. Однажды, когда Ивонин ушел на прогулку, а мы остались, Эдик сказал: «Ты с ним осторожней — темная лошадка». Что его насторожило — не знаю, но спорить не стал. Леонардову можно было верить.

Он чрезвычайно располагал к себе. С ним было легко. Вначале он показался бесцеремонным, но это не походило на наглость. Рубашки он снял правильно — занял принадлежащее ему место. Это нам следовало помочь ему устроиться, но мы

только молча смотрели на него, поэтому он стал располагаться по справедливости. Камера — твой дом, дом каждого из нас, здесь не принято церемониться, тут ценятся жесты простые и правильные. Что правильно, Эдик знал лучше меня и Ивонина с его полгодом на зоне. Мы-то по первому разу, а Эдик — пятый. Пятая ходка, как тут говорят. Однако ничем не выпячивался, держался ровно, далек был от того, чтобы прихвастнуть или подразнить кого-то. Это было ему совершенно несвойственно. Все, что он говорил, не вызывало сомнений, ничему не противоречило в нем. Исключительно цельная натура и добрый, судя по всему, человек. Мата от него не помню.

Леонардов никогда в общепринятом смысле не работал. Его стихия — всякого рода подпольный бизнес, «дела». Где бы ни числился, на работе его видели редко или не видели совсем. О «делах» слишком не распространялся, но из разговоров я понял, что это были всевозможные коммерческие махинации, валюта, контрабанда — делал деньги. Чувствовался размах. Крупный, матерый махинатор. Это представление складывалось не столько из его довольно скупых признаний, сколько из образа жизни и привычек. Главные увлечения — бега и карты. Играл крупно. Но умел не разоряться. Даже когда проигрывал в пух, несколько тысяч всегда лежали дома, это были неприкосновенные деньги — бытовые расходы. На игру добывал от новой операции. Он еврей, но стяжательства ни на грош. Никогда ничего не копил, деньги нужны ему только для игры, В крупной игре он видел смысл и азарт своей жизни. Есть у него то ли жена, то ли сожительница — милая добрая женщина, кажется, главный редактор какого-то отраслевого журнальчика. Его деньги ей не нужны, она сама неплохо зарабатывает и отложенное им на черный день никогда не трогает, совсем не касается, ибо знает их происхождение, да и нужды не испытывает. Понадобилась ей как-то срочно тысяча на дубленку, а Эдик третий день в игре, дома не видно. Знала, где его можно найти, разыскала. «Возьми, — говорит Эдик, — ты же знаешь, в серванте лежат». — «Нет, я сама не могу». Пришлось прервать игру, взять такси и скорее обратно. Понимающий человек знает, какая это жертва для картежника оторваться от игры, но ради этой женщины Эдик готов на все, кроме одного: не может совсем бросить карты. Он очень нежно говорил о ней: никогда себе ничего не купит, в магазин только за едой, странная, по нашим понятиям, женщина. Не то чтобы не ценила красиво одеться или была безразлична, а все ей некогда, думает, что у нее нет вкуса. Может, так и есть, во всяком случае, одевал ее Эдик. Он в барахле дока, и все ее размеры знает наизусть, сам покупал ей все, вплоть до чулков и бюстгальтеров. По тому, как

светлело его лицо, видно было, что делал он это с удовольствием. В свободное время — домосед, все больше по хозяйству да с сыном. Ни вино, ни женщины его не интересуют. Одна только страсть — игра. Женщина примирилась с судьбой, каждый раз ждет его с очередного срока. Отними у него эту единственную слабость — и по всем понятиям был бы идеальный муж. Но любила бы она его? Это для меня вопрос. Думаю, что не так бы любила. Не было бы в нем терпкости, того романтического куража, который исходит сейчас от его сильной, полетной фигуры.

В денежных аферах его, сколько могу судить, не было воровства, они не вызывали у меня чувства брезгливости. Это чистый в человеческом плане бизнес, никого из людей Леонардов не обворовывал и не обижал. Кому плохо от того, что кто-то промышляет валютой или контрабандой? Есть спрос — и он удовлетворяет его, кто страдает от этого? Это невыгодно только абстрактному государству, которое не может или не желает обеспечить общественную потребность. Почему нельзя пренебречь таким государством, которое пренебрегает интересами людей? Это, как тут говорят, «не западло».

Пятый раз арестован Леонардов по довольно тяжелым статьям, а я не видел в нем преступника — такой преступник симпатичнее многих законопослушников.

Перед арестом он числился слесарем при каком-то министерстве. Арестовали совершенно неожиданно, он не знал, на что и подумать. Было за что — это он, конечно, знал, но не все же им стало известно, а что именно — не мог сообразить. Известно как начинает следователь: «Слушаю вас». Два месяца молчал Леонардов, каждый день вызов и один и тот же вопрос и тот же ответ: «Что вы хотите слушать?» Следователь не может бесконечно тянуть, у него свои сроки, как-то надо сдвигать с мертвой точки. В конце концов он намекает, о чем бы хотел поговорить. Картина сразу проясняется. «Вот по какому делу, — соображает Леонардов, — там были заняты такие-то люди, на него могли выйти только через них — значит, кого-то взяли и тот раскололся». Выходит, вся эта операция следователю известна, артачиться нет смысла. КГБ зря не берет. Мне говорили об этом в предыдущих камерах. Эдик по собственному опыту держался такого же мнения. Теперь ничего не остается, как бороться за минимальный срок. Первый шаг — чистосердечное признание. КГБ любит откровенность, да и какой следователь не любит, но по сравнению с прокуратурой или ментами у следователя КГБ важное преимущество; он держит слово, с ним можно договариваться и торговаться. Главное, для следователя КГБ — не

посадить, а вскрыть канал связи с заграницей и взять у преступника больше денег. По этим параметрам оценивается его работа и ради этого он идет на уступки. Леонардов решил разыграть эту карту. Он знал, что по этому делу с учетом прошлого — ставка 10 лет. Но несколько лет можно выиграть, скостить срок. Не давая никаких показаний, он предлагает следователю письменное чистосердечное признание. Следователь охотно дает стопку бумаги. Кажется, речь шла даже о явке с повинной, это меня удивило: «Какая явка с повинной, если ты уже два месяца под арестом?» Оказывается, такое возможно, если ты не давал показаний, не врал, не отрицал, не путал следствие, но до сих пор молчал, то первое полное признание может быть квалифицировано как явка с повинной, смягчающее обстоятельство. В камере Эдик исписал 58 листов. Ничего, конечно, не скрыл из того, что наверняка уже было известно из показаний расколовшихся соучастников, восстановил доподлинную картину своего участия, точно выделил все эпизоды, даты имена. Рассчитав нанесенный государственный ущерб, свою наживу, глубоко раскаиваясь, обещал все возместить сполна. По существу, он со знанием дела написал на себя обвинительное заключение. Следователю оставалось только подредактировать. Через несколько дней приносит. Следователь протягивает руку к бумагам. «Одну минуту, — говорит Леонардов, — я свое обещание сдержал, теперь за вами слово».

Начинается торг. Ну, если все правильно и ничего не скрыто, следователь соглашается два года скинуть, т. е. получается не более восьми. Только тогда Леонардов вручает свой шедевр.

— Вот увидишь: доведу до шести, — говорит он мне.

— Как?

Он избегает прямого ответа, но дает понять, что откупится. Это значит даст деньги сверх арифметики расчетной наживы. Возможно, придется что-то продать, влезть в большие долги, но он был уверен, что на покупку двух лет свободы деньги найдутся. Через 8 месяцев на свердловской пересылке я встретил старичка из Лефортово. Он знал Леонардова и сказал, что тому действительно дали 6 лет. Старичок тоже отозвался о нем хорошо.

Эдик в Лефортово не впервой, и на этот раз сидел уже порядочно. С политическими не соприкасался, но среди прочих неплохо знал, кто здесь сидит и что происходит. Снова говорили о «рыбниках», о темном деле армян, обвиненных во взрывах в московском метро и приговоренных к расстрелу, об ограблении Ереванского банка и надписях в лефортовской душевой: «Прости брат!»; помню, я внимательно высматривал в душе эту надпись,

хотя и знал, что ее уже не может быть, что она никак не могла сохраниться, а самих братьев-грабителей увезли, по слухам, в Бутырку дожидаться в камере смертников исполнения высшей меры. Подтвердились нехорошие сомнения о Сосновском. Когда тот обвинял в предательстве своих друзей, он больше всего ругал некоего своего близкого друга, который сидел где-то здесь, в Лефортово. Эдик хорошо знал этого человека, и как только я упомянул Сосновского, он не сдержался, лицо его скривилось от злобы: «Какой подонок! Ведь он сам всех вложил. Не только двух друзей, но и жен, даже на свою жену наплел. Продал Гарта, а сейчас, значит, сваливает на него, ну и мерзавец!». Эдик, оказывается, сидел вместе с Гартом и знает всю подноготную их дела. Никакого дела могло бы не быть, если бы еще до ареста Сосновский не струсил и в качестве свидетеля не наговорил бы лишнего. Он сдал, по крайней мере, человек 15 и так зарапортовался, что сам угодил в тюрьму и других потащил. Одни оказались на скамье подсудимых, другие проходили на суде свидетелями — друзья, любовницы, жены — и всех Сосновский поливал грязью. Гарт сидел рядом с Сосновским, он отказывался от показаний, ничего не сказал ни следователю, ни суду про Сосновского. Но на суде, когда жена Сосновского добавила на всех и своей грязи, Гарт не выдержал и достаточно громко при всех сказал Сосновскому: «Я е… твою жену. Это было тогда-то и там-то, спроси ее — она подтвердит». Вот почему Сосновский возненавидел Гарта и мстит сейчас, как только может. О личности и поведении Гарта Эдик отзывается с восхищением: «Держит стойку!». Гарт — кандидат наук, старший научный сотрудник института международного рабочего движения. По «блату» еще во время следствия специальным прокурорским постановлением ему устроили месяца три одиночки. Но Гарт, по словам Эдика, был молодцом: с веселой злостью переносил удары и не ломался, а только креп духом, становился еще злей и веселей.

Ежедневно медсестра приносила Эдику сердечные капли. Он протягивал в кормушку ложку и пока сестра отсчитывала капли, забавлял ее добрыми шутками. Но однажды возник скандал: вместо обычной сестры, совершавшей у нас обход, заявилась другая, о которой я уже слышал краем уха. Всю жизнь, говорят, торчит в этой тюрьме и славится утробной ненавистью к нашему брату. Ее прозвали Эльза Кох — в честь знаменитой изуверши из гитлеровского концлагеря. Она отклонила протянутую Эдиком ложку и потребовала кружку. Он сказал, что кружка занята, в ней чай:

— Ничего не знаю, положено в кружку.

— Чего вы выдумываете, мне все время капают в ложку!

— Есть инструкция.

— Но поймите, остается сильный запах, из чего я буду пить чай?

— Прекратите уговаривать! Я сказала: кружку! Или вообще не получите лекарства.

— Да какая вам разница?

— Кружку!

— Нет, в ложку! — психанул Эдик.

Кормушка захлопнулась. Таким Леонардова я еще не видел: красный, разъяренный, барабанит в дверь. Просит контролера позвать дежурного офицера. Тот пришел. Эдик поставил его в известность, что сестра отказалась выдать лекарство, и он будет жаловаться. Минут через 10 дежурный офицер приходит в камеру вместе с Эльзой. Она говорит, что есть инструкция, Эдик говорит, что нет. Дело было в воскресенье, большое начальство отсутствовало, и дежурный офицер принял соломоново решение:

— Сейчас я прошу вас принять лекарство в кружку, а завтра вы обратитесь к начальнику за разъяснением.

Эдик принимает почетный компромисс:

— Хорошо, но только потому, что вы лично об этом просите, а завтра я запишусь на прием к Поваренкову.

Он выплеснул чай и подал кружку и долго не мог успокоиться: «Всегда она так, садистка! — говорил Эдик. — Ей удовольствие назло зекам». Если бы он подал кружку, она потребовала бы ложку. Часто жаловались на нее, люди отвечали ей ненавистью. После какого-то крупного конфликта ее отстранили от обхода камер, но она продолжала работать в медпункте. Ее не увольняли, поговаривают, что она пользуется чьей-то высокой протекцией. Запомнился облик ее: пожилая, сдобная, внешне довольно благообразная дама с ухоженным, красивым когда-то лицом. Держится просто, но с достоинством. Эдик, горячился, а она спокойно и твердо стоит на своем. Лишь зная о ней, угадываешь в наружном покое холеного лица цинизм и холодное презрение. С каким наслаждением эта пристойная на вид тетушка дала бы не корвалолу, а яду, заколола бы отравленным шприцем, мучила и издевалась, будь ее воля, и притом с абсолютной невозмутимостью, разве легкий румянец выдал бы внутреннее удовольствие от чужого страдания; и как страшны должны быть боль и мучения жертвы, чтобы девичий румянец выступил на нежных щеках. Обыкновенное издевательство, скажем, порка, мордобой вряд ли всколыхнут ее чувства. Вот что может скрываться за благополучным фасадом доброй тетушки. Невозмутимость ее от презрения. Презрение так

велико, что она не удостаивает показать даже ненависть, что она вообще что-либо может чувствовать при виде такой твари, как ты. Если уж нельзя досадить, то ты для нее ноль, вещь абсолютно безразличная — какие могут быть чувства? Лишь на секунду мелькнуло бритвенное лезвие в серых, красивых еще глазах. Тип, созданный для медицинских пыток и потаенных спецзаданий.

Наверное, этого нельзя сказать об основной части здешнего медперсонала. Меня водили на второй этаж к зубному врачу. Я боялся — впервые приходилось рвать зуб, а был наслышан, как это больно, видел, как корчатся люди. Но увидел врача и успокоился. Симпатичная, уверенная в себе женщина решительно усадила в кресло, спросила, замораживать или нет, четко и безболезненно воткнула в десну иглу, взяла щипцы и рванула. Зуб совсем прогнил, корень остался. Щипцы заскрежетали вглубь десны, как по дереву. А она перешучивается с контролером, словно пироги печет, И мне передалось, что зуб мой — совершенный пустяк, и было досадно, что два месяца трусил, терпел ненужную боль, которая в камере становится гулкой, преувеличенной и потому особенно раздражает. Обращение этой женщины по-медицински грубовато, она выговорила мне за запах чеснока, который я прикладывал ночью, чтобы заглушить боль, но доверие к ее профессионализму было полным и от других я слышал добрые отзывы о ней. Кроме больного зуба, у меня весь верхний и нижний ряд почему-то стачиваются у основания. Одна врачиха советует порошок, другая — пасту, в академической поликлинике назначили электрические процедуры, и все, кажется, без толку. Лефортовская врачиха сказала: «Болезнь века. Как следует не изучена. Но не беспокойтесь, с этими зубами проживете долго». На том бы и делу конец, ведь это не академическая поликлиника. Однако она назначает притирания. Несколько дней я ходил к ней лишь за тем, чтобы она, стоя передо мной, терла каким-то порошком мои зубы. Мне стало неловко, и я перестал ходить. Впоследствии лагерные врачи тоже предлагали эту же процедуру, но порошок давали с собой, и я тер сам, пока не надоедало. А вот лефортовская брала труд на себя. По-моему, это нечто такое, что выше профессионализма и врачебного долга.

Эльза, скорее всего, исключение. Хотя, судя по стажу, она — необходимый атрибут тюремщиков. Я сочувственно отнесся к предложению Леонардова атаковать ее. Он попросил написать жалобу начальнику тюрьмы, я согласился, но «лучше я тебе продиктую». «Нет, говорит Эдик, — ты напиши, а я перепишу. А черновик в парашу». Была не была, мы обсудили текст, и я написал. Яду не пожалели. Написали, что капризы этой

медсестры ничем не отличаются от умышленных издевательств, что обращение ее с заключенными не соответствует призванию медицинского работника, не зря весь следственный изолятор жалуется на нее и называет Эльзой Кох. Эдик просит начальника тюрьмы разобраться и отстранить ее от обслуживания заключенных. Эдик шпиговал текст колючками, я их укладывал в строки жалобы. Ивонин угрюмо лежал, не обращая на нас внимания. Потом Эдик долго и тяжело переписывал, выяснилось, что этот умный и вполне цивильный человек, муж главного редактора, почти совсем не умеет писать. Переписал коряво, с детскими ошибками. В понедельник утром он записался на прием к Поваренкову. Вскоре его вызвали, а затем и меня — с вещами.

Господи, куда опять? Так и не узнал о результатах визита Эдика. Полагаю, что первой реакцией на жалобу было выдворение меня из камеры, о моем участии в ее написании могли доложить либо бдительный контролер, либо тайком Ивонин.

Скатав барахло в матрац, выхожу в коридор. Повели налево, вниз к бане. Там сдаю постель, тюремные книги, весь скарб. Повели обратно к выходу. У парадных дверей свернули в коридорчик, и я оказался в пустой комнате без окон, вроде той, с какой начал обживать Лефортово. Стул и длинный стол. Вещи на стол, контролер тщательно прощупывает складки на каждой тряпке. Снимаю нижнее тюремное белье, кальсоны, рубашку — переодеваюсь в свои трусы и майку. Приносят вещевую передачу и квитанцию расписаться в получении. Передача от Попова — Олег на свободе! Значит, миновала его чаша сия. Передачка символическая: зубной порошок, шерстяная нательная рубашка. Но как важна весть от Олега! Он на свободе и помнит — не это ли он хочет сказать передачей? Спасибо за сообразительность. Я стал спокойнее за него и за обеих наших Наташ — они не одиноки. Передачу приняли числа 13 ноября, а сегодня 17-е — быстро отдали. Комплект «Литературки» и книгу «Биология человека», переданные Наташей, держали почти месяц.

Но что происходит? Меня-то сейчас куда? Неужели выпустят? Ничего другого в голову не приходило. И в то же время не верилось. «Есть во что вещи сложить?» — спрашивает контролер. Бумаги, вещи лежат на столе грудой, собрать не во что. Приносят белый холщовый мешок — безвозмездный дар на добрую память. Оставляют одного. Выкуриваю сигарету за сигаретой, вышагиваю голую комнату, теряясь в догадках. Свобода? При одной мысли ноги отрываются от пола. Бегом бы до дома бежал. Не знаю, что еще думать, толкаюсь поминутно — куда же еще? Но веры не было. Единственно, в чем был почти уверен, — что покидаю Лефортово.

Три месяца необыкновенной, томительной жизни. Почти два месяца с исчезновением следователя, никаких вестей о Наташе, о близких. Что там происходит? Хотя бы записку, хоть слово какое. Однажды, когда я сидел с Дроздовым, мне показалось, что была возможность что-то передать на волю. Разносили обед, Дроздов еще не вернулся с допроса, в камере я один. Обычно еду раздает одна из двух молодых женщин в белых халатах поверх зеленой формы. Гроздьями ярко наманикюренных барбарисовых ноготков подает наполненные миски. Это жены прапорщиков, мы их знали по имени и не скупились на комплименты. А в тот день разливала старушка. Подала первое, ушла. На второй заход дает рыбу и кашу, мельком глянула в камеру и, видя, что я один, тихо и быстро: «Ничего не надо?» Долю секунды замешкалась у кормушки, а я рот разинул, не зная, верить ли своему тугому уху. Кормушка захлопнулась. Нет, не мог я ослышаться: произнесено было тихо, но четко. Ах, как пожалел, что упустил старушенцию! Не представляя толком, чем бы она пригодилась, в жар бросало уже от того, что вот, пришла бы она к Наташе и принесла бы записку от нее. Тонкий волосок мог соединить меня с волей, а я не подхватил конца. Появится ли еще бабуля? А может, провокация? Не специально ли дрессируют таких? Хороша проверка на вшивость. Мыслимо ли, чтоб в глубинном чреве ГБ оставался хоть какой-то микроб, которому зэк мог бы довериться? Это казалось невероятным. Однако чем черт не шутит? Очень ведь натурально клевало. Позже я спросил у Дроздова: допускает ли он возможность надежной связи с кем-то из персонала? Он ответил, как всегда, со знанием дела: «Да, но здесь это очень дорого стоит». Едва ли не тысяча — за записку. Отрезвляющая цена, я сразу меньше стал угнетаться. Где я или Наташа взяли бы такие деньги? Да и что мы могли написать друг другу? Конечно, слова любви бесценны, но тысячу мы не могли заплатить. Как ни дорога весточка, Наташе она обошлась бы еще дороже.

Три месяца абсолютной изоляции. Ни одного живого лица, кроме дежурного персонала и одного-двух сокамерников. С какой жадностью, бывало, слушаешь перестук за стеной или покашливание женщины в соседнем прогулочном дворике! Близкое присутствие невидимого человека будоражит любопытство, хочется все о нем узнать, и слышать этот стук или кашель — дороже многих личных знакомств на воле. В последней камере по утрам слышны были за окном шумы и отдельные голоса. Говорят, это выходит на работу хозобслуга. Вроде бы их всего человек десять, набирают из осужденных уголовников, но только не лефортовских, а из других тюрем. Они метут, выполняют различные хозяйственные работы. Живут в камерах

четвертого этажа, куда лефортовских постояльцев сейчас не селят. Рассказывают, сравнительно недавно был наплыв из-за какой-то демонстрации, забили все этажи, но демонстранты схлынули, и 4-й этаж снова зарезервировали. Жить хозобслуге несравненно вольней нашего: каждый месяц свидание, частые передачи, да и работа — не тягость — развлечение. Видеть их ни мне, ни кому другому, кого я знал, не доводилось. Очень тут с этим строго.

Да чего тужить? Как бы сейчас ни обернулось, распахнутся какие-то двери — все ближе к людям, а через них и воля видней, все должно быть не так взаперти. А вдруг и правда, совсем выпустят? Пусть ссылка, хоть куда, к черту на рога, чтобы было только чем дышать, чтоб было пространство. Чем меньше пространства, тем больше время, тем дольше оно тянется. Не знаю, что говорит физическая теория, но тюремная практика приводит к такому открытию. Дальше в тюрьме неинтересно — что тут делать? Может, прямо домой — куда еще? Обмирал я при этой мысли.

Наконец дверь открыли, в комнату вошел ироничный майор. Он будто знал, о чем я гадал в одиночестве. Вежливо, с улыбочкой, зовет за собой. Выходим в парадные двери. Крыльцо. Дальше ворота и воля. Но не вижу ни ворот и ни воли, стоит у крыльца воронок. Вижу громоздкий, заслоняющий мир кузов. Салон его пуст, загорожен внутри решетчатой дверью. Меня почему-то вталкивают в боковой шкаф — «стакан». Как раз на одного, есть лавка сидеть, в полный рост там не встанешь. Хуже всего то, что, когда его закрыли, я оказался в кромешной тьме. Глазок в двери, или, как его еще называют, «волчок», закрыт снаружи. Хотя попривык к лефортовским стаканам, куда загоняют по пути, но там стоишь минуту-другую, пока кто-то пройдет, а тут надо ехать, и в этой черноте на меня накатывается дикий ужас. Я застучал. Майор открывает темницу, я прошу не закрывать плотно дверь, ведь все равно воронок закрыт. «Не положено. Тут недалеко, потерпи», — отечески возражает майор.

Пришлось терпеть. Вся жизнь теперь, каждая минута, час требовали терпения. Терпения и терпения. Надолго ли хватит? Надолго, если другого выхода нет. Начал различать светлые щели в двери. Глаза обвыкали, свет как будто становился сильней, стакан уже не казался таким непроглядным — полегчало. Громыхали с полчаса. Встали. Выбираюсь из кузова, мешок тащу за собой и вижу солдат, военных, тесный двор и кусок кирпичной стены огромного, как показалось, здания. На окнах везде решетки. Решетки и стены. Засасывает жерло бесконечного прямого, холодного коридора. Окошко с дежурным офицером:

«Фамилия? Статья? Когда арестован?»

— Где мы? — спрашиваю майора.

— В тюрьме, — благодушно смеется майор и успокаивает: — Не расстраивайтесь, это чистая тюрьма.

Так я попал в следственный изолятор № 1 МВД, известный под названием «Матросская тишина».

# Глава 5. Матросская тишина

# На спецу

Сборка. Большая голая камера, скамья вдоль одной стены. В разбитое окно через решетку задувает промозглый ноябрьский ветер со снегом. Здесь собирают поступивших, а потом разводят по жилым камерам. Через сборку проходят также все, кто временно или совсем покидает тюрьму: на допрос на суд, на этап. Есть сборки поменьше, для спецконтингента, за три года случалось бывать во всяких, но эта, первая, была большой, народу все прибывало, в основном, из КПЗ. Я примостился со своим мешком у стены. Народец продрогший, жалкий, испитой. Гудят разговоры, кто-то кого-то узнает, кто-то забавляется анекдотами. Есть люди внешне пристойные. С одним, в желтых ботинках, разговорился. Работал он на аттракционах парка им. Горького. Мухлевал, как и все аттракционщики, билетами на карусели, пропускной способностью аттракционов, т. е. обслуживал больше, чем указывал в отчетах. За счет массовости на копейках гребут тысячи. Газеты писали о судебных процессах над аттракционщиками ВДНХ, Измайловского парка, теперь вот — живой представитель центрального парка Москвы. Воруют там все, а попадаются лишь те, кто прозевал облаву ОБХСС или кого подставляют, чтобы прикрыть остальных. Моему собеседнику, его зовут Слава, не повезло. Срока им дают приличные, лет по 10, но, похоже, он надолго не рассчитывает. Даже назначил мне встречу в ресторане гостиницы «Советская»: «Спроси Доцента, меня там знают».

Подходит ко мне невысокий, коренастый парень, тертый калач. Узнал, откуда я и за что, потеплел: «Трудно тебе будет на общем режиме. Не связывайся ни с кем. На строгом было бы легче. Путевые зэки к политическим нормально относятся. А здесь чего надо — держись меня». Пока находились вместе, он был внимателен; принесет пайку хлеба с дележки, достанет ложку, отгонит надоедливого говоруна.

Вечером прапор в кормушку: «Дайте закурить женщине!» Потянулись пачки, сигареты, а с ними и желающие взглянуть. Кто-то крикнул: «Пусть сама возьмет!» Дверь отворили — нам улыбалась писаная красавица со шваброй: высокая блондинка в трико, обтягивающем аппетитные формы. Публика ахнула и подарила ей целую пачку. Первая женщина за три месяца! Первый раз вижу зэчку, и какую! Я воспринял ее как чудо. Позже, когда нас вели по коридору, встретилась еще одна: тоже очень миловидная, пышная, но глаза ее были грустные. Эти женщины могут быть из следственных камер или из больничных, говорят,

женская санчасть здесь на «Матросске», все венерические здесь, беременные или с малышами. Но на уборку отряжают, видимо, здоровых и покладистых. На вкус надзирателей. Судя по первому впечатлению, у них неплохой выбор.

К ночи заводят в другую камеру, с двухъярусными нарами. В это время коридор и свободные камеры мыли женщины. Толпа у глазка, у каждой щели в дверях. Кричат кто во что горазд. Иная девица подойдет, отшутится, ругнет или спросит что-нибудь. Остальные убирают молча, стараясь не проявлять внимания к шуму камер: надоедает, да и нельзя. А все же держатся, как на сцене. Накрашены, выряжены, одна как на свидание собралась — в кружевной белой блузке орудует шваброй. Губы, сережки, прически, все движения — конечно, с расчетом на публику. Да, тут повеселее, чем в Лефортово.

На следующий день выстраивают нас в коридор. Вызывают по карточкам, разводят группами. Меня на третий, кажется, этаж. Крупная зубоскальная молодуха с лычками на погонах открывает камеру № 220.

Я вошел.

Камера шагов на шесть-восемь, чуть больше лефортовской. Двухъярусные кровати по сторонам: две слева, одна справа. Посреди стол. Справа от двери в углу — «толкан», унитаз обычного типа, зашторенный по пояс тряпкой. Рядом умывальник, над ним врезан в стену квадратик зеркальца. Висит картонная коробочка самодельного календаря, украшенного фантиками, — внутри нее бумажный рулончик с датами, который переводится сбоку коробки. Обстановка, близкая к холостяцкому общежитию. Даже динамик над дверью — радио. Потеснее, но уютнее лефортовского. Два парня, стоя за столом, мечут зары, двое на нижнем шконаре играют то ли в уголки, то ли в шашки, третий сидит «на победителя». На верху еще человек — читает книжку. А в дальнем углу у окна, за кроватями, тулится на полу фигура калачиком. Я прислонил мешок к кровати. Людей больше, чем спальных мест. На пол что ли? Сухощавый паренек кавказского типа отвлекся от нард: «Откуда?» Стали знакомиться. Не поднялся один, кто лежал на полу. Кавказца зовут Мухамметдин, или Муха. Он тут за старшего: «Не гляди, что я такой, — показывает на свою щуплость, — сила тут не имеет значения. Кто больше знает эту жизнь, того надо слушать».

Муху привезли сюда из лагеря строгого режима в Коми, месяц не досидел из пяти отмеренных лет. В Нальчике, откуда он сам, накрыли большую группу, промышлявшую бандитизмом, дело оказалось громкое, расследование ведет Москва, по этому делу доставили Муху сюда на следствие. По показаниям

арестованных Муха когда-то тоже был к ним причастен. Он отрицает, говорит, что его путают с братом, с которым он очень похож. Брат тоже сидел, освободился с чахоткой и в апреле умер. Родители наняли столичного адвоката. Или оправдают, или не меньше червонца. Муха не теряет надежды. Не перестает удивляться арестованным бандитам, показавшим на него. Не зло в нем, а именно удивление. Никак не возьмет в толк, как может, например, такой стальной человек, как Аслан, верховодивший группой, плакать на следствии и закладывать своих друзей, валить на невинных. Понятно: спасает шкуру, расстрел неминуем. Но ведь знал, на что идет, и ведь сам же говорил — пан или пропал. Муха еще пацаном восхищался отвагой и дерзостью Аслана. Его шайка нагоняла страху по всему Ставрополью и Нальчику. Но докатились до беспредельного зверства. Между Нальчиком и Ставрополем придорожный ресторан. Там свадьба. К закрытию на мотоциклах подлетает шайка и врывается в ресторан. Зал уже пуст, однако в банкетном зале догуливают. Аслан с порога расстреливает из автомата застолье. А касса пуста, деньги уже увезли. Шайка исчезает в ночи, оставляя после себя пятнадцать трупов. Всего им инкриминируют более 30 убийств. А теперь главарь банды роняет слезы на допросах, не подымает глаз на очных ставках — этакая овечка. Мухе, которого оболгал, на очной ставке сказал: «Ты знаешь, я тебя любил, теперь не могу иначе — извини». Он еще надеется на извинение. Впрочем, сам Муха, кажется, действительно извиняет, он не осуждает Аслана, только удивляется.

Мир Мухи — карты и наркотики. Профессия — карманник, иначе говоря, щипач, за то и сидел. Удачливый игрок на зоне живет не хуже других. На работу не ходил — платил 25 рублей в месяц бригадиру, и тот ставил ему рабочие дни. Одевался в «милюстин» — черная блестящая ткань, модная у зэковской элиты. Питание свое, в тумбочке. Всегда к услугам «девочка» — молодой педераст, обычно из свеженьких, вновь прибывших. Водились наркотики. Увидев у меня сигареты «Ява», выпросил в обмен на все, что хочешь. Выложил пачки без фильтра, табак, сыр. На хорошие сигареты он выменивает у надзирателей и баландеров какие-то допинговые таблетки — «колеса». Как наркоману ему и без того что-то приносила врачиха, но этого мало. Как он дрался за каждую таблетку! Просил, умолял, клянчил, божился, что ему полагается на одну таблетку больше. Когда ничего не помогало, хватал лезвие и рвал рубаху на брюхе: «Вскроюсь!» Врачиха видит исполосованный шрамами живот и уступает. Жуткие сцены разыгрывались у кормушки. Это была камера наркоманов.

Толик, типичный уголовник станционно-поселкового пошиба, простой грубоватый парень тоже жадничал до таблеток. Освободившись после очередного срока, приехал проветриться в Москву и загостил у проводницы в пустом поезде. В купе заходит поездной бригадир: проводница раздета. Что такое? Девица оказалась находчивой: «Насилуют!» Суд ожидается в Сокольническом районе, где судит женщина, которая по всей Москве славится максимальными сроками за изнасилование. Все мечты Толика на сегодняшний день сводились к тому, чтобы не попасть к этой судье.

Петя почти не слезает с верхнего шконаря. Бледный, спокойный, всегда с книжкой или пишет. В доме у него нашли опиум, «машины» — шприцы, кое-кто показал, что кололся у Пети. По кодексу это квалифицируется как притон, лет десять, не меньше. Петя показывает свои записки: он пишет программу «нарколюции». По решительности, грандиозности, всеохватности — примерно то же, что и программа компартии: переустройство мира на основе всеобщей наркомании. Прием наркотиков становится для всех обязательным. Учреждается партия наркоманов со структурой вроде КПСС, с органами карательными, издательскими, пропагандными. Походило на пародию. Но Петя серьезен. Смысл наркомании видит в том, что мир будет добр. «Не могу выразить, словами это не передашь, что приходит с первой волной, после укола, — говорит Петя. — Хорошо, так фантастично хорошо — не поддается пересказу. Это можно только самому испытать, но передать это нельзя. А суть в том, что человек и весь мир становятся не такими, как обычно, — все полно чудес и любви. Человек, который укололся, никогда не скажет плохого слова. Он улыбается, уступает место в трамвае, он готов помочь любому. Наркомания одним махом решает все социальные проблемы. Игла переносит из ада в рай».

— На час-два, — возражаю я, — а потом обратно: из рая в ад?

— Во-первых, хорошо уколоться хватает на полдня. Во-вторых, очередная инъекция не будет представлять никакой проблемы. На каждом углу, как сейчас сигареты, наркотики будут продаваться за копейки. Ведь опий технологически совсем не дорог. Цены взвинчивают запреты.

— Все будут колоться и кайфовать, а работать кто будет?

— Что ты! Знаешь, как повышается работоспособность? В десять, в сто раз! Человек за час будет делать больше, чем сейчас за несколько дней. Такое вдохновение — после иглы я всегда работал как зверь.

— Так быстро сгоришь. И дозы все время растут.

— Ничего подобного. Так пугают тех, кто не знает. У каждого

настоящего наркомана своя доза и больше ему не надо. Когда наркотика нет, люди жадничают, стараются ухватить побольше, и это действует плохо. Но когда они будут доступны, люди быстро научатся регулировать свои дозы, две-три инъекции в день — и живи хоть лет до ста. Многие наркоманы доживают до глубокой старости. Но разве это главное? Пусть я проживу 40–50 лет, зато богаче всякого миллионера, каждый день содержательнее, интенсивнее всей жизни обывателя. Это не передашь словами, но будь уверен: правильное употребление наркотиков не сокращает, а сохраняет и обогащает жизнь. Люди больше изводят себя, болеют, умирают от повреждений, а наркотик серую тяжелую жизнь превращает в удивительную сказку. Физическое долголетие не имеет значения, но кому это важно, может быть спокоен: наркотики не укорачивают жизнь. Всех нас убивают отрицательные эмоции, наркотики их снимают, делают жизнь абсолютно положительной, счастливой — какой же тут вред?

Петя мог пропагандировать нарколюцию бесконечно, и я видел, что его фанатизм не лишен логики. А на чем основана, откуда укоренилась моя неприязнь к наркотикам? Порывшись в памяти, не вспомнил ни одной обстоятельной статьи на эту тему: то огульная ругань, то мерзкие портреты опустившихся наркоманов, то сообщения о контрабанде, убийствах и прочих их преступлениях. В то же время говорили, что Марьянович, этот югославский певец с московской пропиской, ширяется прямо на концерте. Зайдет за кулисы между песенками и колется через штаны, и ничего. Давно об этом слышал, а он вроде бы все еще поет. О тех, кто принимает наркотики, в этой камере говорят: «Наш человек». «Алка (о Пугачевой) — наша чувиха, частенько балуется, битлы — свои люди, с иглы не слазят» и так далее. Петя, по-моему, фанат, но серьезный парень, нарочно, агитации ради, врать не будет. Он говорит, что волны наркомании докатились до нашей страны. За последние 10 лет число наркоманов резко возросло. Много студентов, особенно медиков. Несмотря на сногсшибательные сроки за крошку плана, ампулу морфия, эпидемию эту власти остановить не могут. После я слышал об этом много раз и из разных источников. Много сейчас сидит патриотов нарколюции. Жмутся они друг к другу, свои особые разговоры, и вот что интересно: это в основном порядочные люди, получше и поумней многих. Может, это только мое впечатление, но оно не случайно. Начиная с Пети, я мог бы назвать с десяток своих знакомых по тюрьмам и зоне, которые укрепили меня в этом мнении. Наркомания, похоже, дело интеллигентное.

— Если не вредно, почему везде запрещают наркотики? —

спрашиваю Петю.

Отвечает прямо-таки с партийным негодованием:

— А зачем власть, если есть наркотики? Власти боятся своей ненужности. В мире наркомана нет места иллюзиям государства и политики. Наркоман абсолютно свободен, а всякая власть ограничивает свободу. У наркомана самоконтроль, внешний контроль для него неприемлем. Все прежние революции в принципе ничего не меняли. На место одной государственной машины ставили другую, ничем не лучше.

Нарколюция делает ненужными всякую революцию и политику, всякие отношения государства и подчинения. Возникнет совершенно иное, свободное общество. Оно будет жить по своим внутренним, имманентным законам. Этого никакая власть не хочет. Это равносильно отказу от власти. Они преследуют, чтобы не потерять контроля.

— Дело еще в том, — продолжает Петя, — что наркомания необратима. Кто понял, что это такое, ни за что не откажется от наркотиков. Не потому, что физически невозможно, а потому, что никто не хочет отказываться. Дай каждому пару раз уколоться, и нарколюция свершится. В один миг произойдет такой социальный переворот, какого не знала история. Поэтому власти препятствуют производству и распространению. Что же люди — такие дураки или так испорчены, что стараются во вред себе? Нет, наркоман, счастлив, и нет такой силы, чтобы заставить человека отказаться от своего счастья. Нас ругают, иногда жалеют, а мы сами искренне жалеем тех, кто не познал счастья. Пропаганда, запугивает наркотиками, нагло врет, преследует нас, хотя мы ничего плохого не делаем. Колоться или не колоться — дело добровольное. Если я хочу пить водку, государство продает ее сколько угодно. Спаивать народ власть не боится. А ведь алкоголь страшнее наркотиков. От него дурь в голове, разрушение организма, наследственности — он грозит вырождением человечества. Алкоголь портит и порабощает человека. На некоторое время затуманивает мозги, а в целом не только не освобождает человека, но делает его еще более зависимым от государства. Алкоголик вполне зависимый, легко управляемый человек. Наркоман — независимый, самоуправляемый. Поэтому власти поощряют алкоголизм и беспощадно преследуют наркоманию. Казалось бы, кому какое дело? Нет, получай 12 лет и принудлечение. Вот где права человека! Если так о здоровье нашем пекутся, что готовы скорее убить, чем позволить наркотики, то почему алкоголь не запрещают? Потому что его не запретишь, бесполезно. Потому что он разрушает организм и укрепляет власть. Наркотики же при

правильном употреблении ничего не разрушают, зато меняют мировоззрение, создают мир, где нет места власти. Власть все благодеяния приписывает себе, а наркоман и без власти счастлив. Но как стремление к счастью, так и нарколюция — непобедимы.

— А воровство, преступность, связанные с добыванием денег на наркотики? — снова возражаю я.

Петю не застанешь врасплох:

— Кто провоцирует преступность? Что создает ситуацию, вынуждающую на это? Наркотики? Наоборот — отсутствие их. Не мешайте, не отбирайте, не преследуйте — и не будет преступности. Почему бы в аптеках, в каждом медпункте не продавать наркотики, как продают лекарства, и по нормальной цене? Ведь знают прекрасно, что наркоман не может без наркотика, ему плевать на жизнь, он на все пойдет, а попробуй обратись в аптеку — кто поможет? Только спекулянт, нелегально и по сумасшедшей цене: 10 рублей за 30-копеечную ампулу. Это делают врачи, которые больным выписывают воду, а на морфии делают себе состояние. Тоже наркоманы виноваты? Преступность наркоманов — вынужденная реакция на преступные действия государства. Разрешите наркотики — и ни один наркоман не совершит преступления. Но пока есть запрет, будут и преступления. И никакие кары не помогут, единственный способ прекратить преступность — разрешить наркотики, и будет рай на земле, без всякой политики.

Наверное, Петя все-таки преувеличивал наркотическое счастье и преуменьшал его вредоносность. Не мне судить, но ясно одно: наркомания — не пустяк, а серьезная проблема, которую надо решать. Прав Петя или неправ, ответ надо искать у серьезных ученых. Мне же ему возразить было нечего. Я никогда не то что не пробовал, а в жизни не видел ни одного наркотика и наркомана. Только сейчас, после всяких рассказов, вспоминаю двух психиатров. Все, кто знал их, отмечали некоторую странность. Оба приятны, охочи до прекрасного пола, и вместе с тем — стоячие глаза, внешняя инертность, ленивая речь, какое-то механическое, будто заученное поведение, делали их похожими на игрушечных роботов. Сейчас мне кажется, это могло идти не от особенностей характера, а от употребления наркотического зелья. Сами они об этом не говорили, слишком рискованно. Но если, по слухам, все психиатры и наркологи мухлюют с морфием и таблетками, чем лучше мои знакомые? Хорошо бы устроить дискуссию между ними и Петей. Почему в нашей печати вообще нет материалов об отечественной наркомании? Явление эпидемическое, серьезное, а делается вид, будто ничего подобного у нас нет. Почему?

Парень, который все время лежит в дальнем углу на полу, тоже наркоман. Его не замечали. Я не видел, чтобы он что-то ел. Потом узнал, что он держит голодовку. Про себя я смекнул, что спать мне придется тоже на полу, где-нибудь рядом с ним. Однако Муха между разговорами намекал на шконарь, и я не мог понять, что он имеет в виду. Если кого сгонять, я воспротивлюсь: буду спать на полу, пока не освободится место. Но где? — и на полу не сразу устроишься. Петя заметил мое беспокойство:

— Не думай, Муха найдет место, на полу ты не будешь.

— Но я не хочу, чтобы кого-то сбрасывали.

— Это как Муха решит, но тебе на полу нельзя.

— Почему?

— Потом узнаешь, Муха объяснит, — улыбается Петя.

Объяснили следующим образом. На полу мужикам не место, на полу место педерастам. Тот, кто сейчас лежит на полу и голодает, вовсе не такой кроткий, как кажется. Еще недавно он хозяйничал в этой хате, была одна молодежь, и он делал все, что хотел. Забирал у ребят тряпье, дошло до того, что самому молодому дал «вафлю», т. е. заставил пацана взять в рот. Забитый, запуганный паренек стал отверженным. Отныне ему не место среди мужиков, искалечена вся жизнь, теперь, где бы он ни был, в другой камере, в лагере, каждый может сделать с ним то, что сделал тот парень, который сейчас сам в углу. Обиженный ел отдельно, спал на полу, ни к чему не прикасался. Пришел опытный Муха и обвинил насильника в «беспределе». С ним сделали то, что полагалось по правилам: избили, а потом то ли сам Муха, то ли обиженный — кто-то из них провел своим сокровищем по лбу и губам его. Отныне и на всю лагерную жизнь беспредельщик сам стал педерастом. Это называется «чуханули» или «опустили».

Так с первого же дня в обычной советской тюрьме я столкнулся, пожалуй, с самым страшным и отвратительным явлением нашей жизни, имя которому — «пидарасы». В неволе это означает сексуальное насилие, беспощадное издевательство, превращение человека в нечеловека, в буквальном и переносном смысле — в половую тряпку. В тюремной, лагерной системе это уже навсегда, возврата к мужикам из пидараса нет. Это относится и к тем, кого хулигански изнасиловали, кто пострадал безвинно — таких большинство. Мне еще не раз придется говорить об этом, ибо в каждой камере, до последнего дня на зоне этот кошмар перед глазами…

Звали его, кажется, Валера Макаров, лет 28. Никто с ним не общался, и мне не советовали подходить к нему. Но интерес дороже денег — я разговаривал с ним. Замученный, тихий,

симпатичный на вид парень. Однако наворочал немало, бес в нем. Ничего не скрывает, втянулся в наркоманию, скоро стало не на что покупать, стал воровать. В основном грабил церкви. На действующем ныне Богородском храме, около Преображенского метро, попался. И не один — с подручными сопляками, которых посылал воровать, а потом угощал то дурью (гашиш или анаша), то иглой (опиум). За сопляков добавили ему помимо грабежа и наркотиков совращение малолетних, и как организатор пошел «паровозом» — срок на полжизни. На то, что чуханули, не сетует — сам виноват. Но получил обвинительное заключение, дошло до него, что светит пятнашка — 15 лет в пидарасах, — и заскулил. Вроде бы сам в церковь не лазил, пацаны на него много лишнего валят и следствие подкуплено, зря из него «паровоза» сделали, и он не хочет отдуваться один за всех. Перед судом перестал принимать пищу. Обычно голодающих переводят в особые камеры, они есть и рядом с нашей, но там, видно, нет мест. Макаров остался. Раз в день его выводят, возвращается с красными слезящимися глазами и всклокоченной головой. Кормят насильно, через зонд. Вставляют в рот шланг и закачивают питательную смесь кашицы, яиц, сахара. Валера всякий раз отказывается и всякий раз надзиратель бьет под дых, тот сгибается, и в это время за волосы резко откидывают голову, вставляют в рот распорку и вводят зонд. Хочешь не хочешь — покушаешь. Это, конечно, не «Арагви», но с голоду не умрешь. Впрочем, все мы комфортом не избалованы, такова уж особенность нашего сервиса: его не всегда отличишь от пытки. Достоевский утверждал: есть свобода, которую никто не может отнять, это свобода умереть. Знал он царский острог и каторгу, но не знал наших тюрем. Не хочешь умирать — убьют, а хочешь — не дадут, наиздеваются вдоволь. Правда, на зоне начальник оперчасти Рахимов как будто не противоречил Достоевскому: «Пусть голодают, личное дело — подохнуть, зачем мешать?» Но служба не дает развернуться либеральному оперу, обязывает и его насильно кормить голодающих, и делается это на зоне еще более издевательски: зонд вставляют не в рот, а в задницу.

Голодовка Макарову не помогла. После приговора его кинули в осужденку (камера для осужденных), откуда мы узнали, что дали ему 13 лет. Обычная в таких случаях жалость не шевельнулась ни в ком из нас. Непутевый парень, непутевая голодовка — нашел чем добывать снисхождение, только разъярил суд и прокурора. В Лефортово говорят, что не каждая голодовка одобряется зэками, а только та, которая держится по принципиальным причинам и лишь в самом крайнем случае, когда действительно нет выхода, и ты готов держать ее до

последнего, до смерти. Поэтому начальство относится к голодовке как к чрезвычайному событию и, как правило, удовлетворяет голодающего. Не давали Глебу Якунину Библию, объявил голодовку — дали. Если же голодовка просто, чтоб досадить начальству или по малозначащим, шкурным соображениям, то сами зэки таких останавливают, а могут и поколотить: не шали с голодовкой, пригодится на черный день. Спекулировать голодовкой нельзя.

В камере было еще трое, всего со мной — восемь на шесть спальных мест. Один татарин — Алик, зрелого возраста, служитель Центральных бань. Мы хорошо сошлись с ним за игрой в уголки. Занимательный партнер, азартный и добрый человек. Приглашал после отсидки посетить Центральные бани. Он уверен, что снова будет работать в том семейном отделении, где за отдельные кабины платят рублей 25, а в кассе билет стоит трешник. Но в кассе не купишь — аншлаг. Надо идти к аликам. Мне обещал без очереди и с полным комфортом по блату. С удовольствием бы, но о цене не договорились — вдруг потребует четвертак?

Женя — высокий, симпатичный парнишка лет 19. Воровал книги из библиотеки, несколько сот на его личном счету и, разумеется, самые ходовые. Ладно бы себе, а то на продажу — существует и такой бизнес. До чего комсомолец додумался! И это массовое явление. Вспоминаю сетования библиотекарей, обличительные статьи газетные: библиотеки разоряются. Не просто взял и не вернул, а тащат десятками, воруют, чтобы снести на черный рынок, обменять на джинсы, магнитофон. Женя из интеллигентной семьи, воспитан, мил. И ни капельки укора, нисколько ему не стыдно: книга — не вещь и не деньги, вообще ничто — какое же это воровство? Какая же все-таки мразь растет в наших интеллигентных семьях!

Был еще мальчик в камере, но совсем неприметный, его толком не помню.

Обедали все, кроме Макарова, за столом. Все общее. Табак, дачки, ларь делились поровну, без обиды. В этом отношении в камере был порядок.

На ночь Муха спрашивает меня: куда хочу лечь.

— На полу, естественно, где же еще?

— Что ты, профессор, я не позволю. Пацаны могут по двое спать, а ты бери шконарь, какой нравится.

Ребята зашевелились — какой разговор! Ложись куда хочешь, всем места хватит.

— Спасибо, — говорю. — Клопы есть?

— Внизу полно, наверху поменьше. Ты, главное, к стенке не

прикасайся.

Стелю на втором ярусе, а Женя перебирается вниз к другому парнишке, Муха зовет Женю к себе наверх, его шконарь напротив моего. Так улеглись. В камерах свет на ночь не выключают. По грязно-зеленой стене бегут клопы. Я холодею от омерзения и ужаса. Отодвинул от стены матрац, подушку, стараюсь не прикасаться. Клопы бегут вниз. Там, видно, все нипочем — похрапывают. Внизу темнее, клопы не так заметны. А я не свожу глаз со стены, так и засыпаю настороженно. Среди ночи просыпаюсь от размеренного чавканья. Лежу спиной к камере, вслушиваюсь: что бы это значило? Вздохи слышны, похоже, любовные. Да полно, думаю, что-то другое. А повернуться боюсь — вдруг и в самом деле. С тем и уснул. Наутро глянул на Муху, на Женю — как ни в чем не бывало. Что же такое могло быть? Другой раз среди ночи — то же чавканье. Открываю глаза, Толик шлепает в три шага от шконаря до дверей и обратно. Его место на первом ярусе под Мухой свободно, Муха с Женькой наверху под одеялом. Ахает Женька сдавленно. А Толик, значит, на стреме, чтобы мент не засек. Этакая гадливость. Неужто другие не видят и не слышат? Впрочем, сердцу не прикажешь, милуются втихаря, не хамят, значит, меня не касается.

Проходит с неделю. Сидим после ужина с Аликом на нижней шконке, в уголки шпаримся, в мечтах в Центральных банях паримся. Подают мне клочок бумаги, читай. А на доске ситуация острая. И неинтересна литература сокамерников. «Не мешай», — говорю. У них зуд со вчерашнего дня: все что-то пишут и меня уговорили написать стихотворное послание нашей книгоноше, библиотекарше Вале. Толик в нее влюбился и хочет объясниться в стихах. Валя ничего себе девушка, к тому же от нее книги. А с книгами здесь похуже лефортовского. Раз в десять дней кидают в кормушку листок. Из 20 примерно написанных на листке наименований разрешено выбрать три книги на всю камеру, да и книги неважные, надо договариваться с Валей. Газеты тоже через нее. Какую кинут? Выпросим ли две? Все зависело от Вали. Но завоевать ее сердце непросто. Камер много, кавалеров еще больше, комплименты из каждой кормушки, и стихами ее не удивишь. Требовалось что-нибудь экстраординарное. Толик насел на меня, дрожит от нетерпения: скорей, завтра она придет. Ему нужна любовь, мне — книги. Нацарапал я романсеро, помню начало: «Вы до сих пор, наверное, не знали, что бывший вор души не чает в Вале…» Утром Толик на карачках под кормушкой передал Вале «свои» стихи. И был премирован обворожительным смешком и пятиминутной аудиенцией через кормушку. Он был счастлив, а мы получили дополнительную газету и несколько

книг сверх нормы. Литературное творчество оказалось делом приятным и выгодным.

В тот день все в камере что-то писали, читали вслух. Сплошные скабрезности. Я отмахивался, они не настаивали. Однако, когда я завернул этот последний листок, Муха серьезно попросил все-таки прочитать, это важно. То был исчерканный черновик с плохо разборчивой галиматьей. Автор рассказывал, как собрались они выпить и послушать музыку, как один парень стал к нему приставать и он дал ему по морде, как он пьяный уснул, а проснулся с членом в заднице.

— Для начала неплохо, — я отшутился и снова за уголки.

Муха раздраженно:

— Профессор, ты зря смеешься, судьба человека решается. Знаешь, кто написал? Женя!

— Ну и что?

— Как что? Он же о себе написал!

Женя сидит на корточках под окном, обхватив поникшую голову руками. Зло берет на мухинский спектакль, не пойму, зачем он его устраивает. Муха спрашивает:

— Что с ним будем делать?

Я внимательно гляжу на Муху и тоже спрашиваю:

— У него и сейчас… в заднице?

— Нет, говорит, только тот раз, случайно, — смотрит на меня бесстыжими черными глазами.

— Тогда пусть живет как жил. Забудем, и пусть больше не болтает.

— Ты пустишь его за стол? Посадишь на свой шконарь?

Муха спросил каждого. Народец не злой, поддержали меня. Муха разыгрывает возмущение:

— Как хотите, но предупреждаю, потом с вас спросят. Если его кружак останется в телевизоре (навесной шкаф для продуктов и посуды — А. М.), я свой уберу. Если вы пустите его за стол, я буду есть отдельно. Если он уйдет в другую камеру, мы обязаны туда шинкануть, что он пидарас. Иначе с нас спросят, как с него.

Народец дрогнул, заволновался: «Ладно, бить не будем, но пусть знает свое место». Я спросил:

— Какое место?

— В углу, на параше.

— А нам — смотреть на него? Самим не будет тошно?

Муха меняет пластинку:

— Как хотите, можно простить. Случайно, один раз, сам признался. Если никто не против, пусть остается в мужиках.

На ночь «мужик» Женя снова лег с Мухой, а через пару дней просыпаюсь от шума. Старший контролер корпуса, «корпусной»,

открывает дверь, заходит Женя, собирает вещи, сматывает матрац.

— Будешь знать, как прыгать по шконарям, — рычит корпусной.

— Конечно, если спать жестко, — наивничает Женя.

Камера не спала, не было Толика. Женю уводят, Толика заводят.

Радостно сообщает:

— У меня ничего не нашли, а у него задний проход красный.

— Замели парня ни за что, — сокрушается Муха.

Он все еще разыгрывает невинность, его бы проверить, и стало бы ясно, почему у Жени задница покраснела. А Толик, видно, еще не успел — контроль засек. Отважный пидор Женька! Ведь у Толика два шара больше шишки. Мода такая у зэков — вставляют на конце под кожу шары, считается, что это доставляет большое удовольствие партнеру. Толик так постарался, что в бане на него страшно смотреть. А ну-ка, вдул бы, что с Женькой бы было? И ведь знал Женька, а полез.

Весь следующий день Муха грустил, материл ментов, не мог примириться с потерей Женьки:

— Такой парень хороший, чего им моча стукнула? — страдал он, как по любимой девушке.

Их отношения уже ни для кого не секрет, но все молчали. Женю перевели в другую камеру. Позже я встретил человека оттуда. Женька жил мужиком. Никто там ничего о нем не знал. И не приведи господь. Если узнают — а он среди мужиков, — убить могут. Да он такой любитель, что все равно угла не минует. Охота пуще неволи — сам полезет. Меня в нем поразило самообладание. Или уж совсем совести нет. После письменного признания и нашего прощения он по-прежнему ел за столом, но не садился, а стоя. Ребята его чурались. А он хоть бы хны: спокоен, доволен, как будто так и надо, никакой униженности или стыда. Напротив, исполнен достоинства. Сроду не подумаешь, даже когда знаешь. По-моему, стыд ему совершенно не свойствен.

А Муху я не осуждал. За что? Женька — пидарас добровольный, никто его не принуждал, и он не стеснялся своей слабости. Наоборот, Муха хотел оградить его от презрения, но почувствовал, что скрыть невозможно — покрывая Женьку, он себя ставит под удар. По зэковским правилам, если он знает пидараса и скрывает это от мужиков, допускает его за общий стол, то берет на себя страшную ответственность. Любой может сделать с ним то, что делают с пидарасом. Поэтому он разыграл спектакль с Женькиным признанием, чтобы снять с себя

ответственность хотя бы в глазах камеры. О том, что будет потом, зэки не думают — живут одним днем. Тюрьма казнит сексуальным голодом. Особенно молодежь в избытке нерастраченных сил. В таких условиях педерастия неизбежна. Мухе лет 27, вся молодость в тюрьмах и лагерях, пять лет безвылазно. Ничего, кроме воровства и наркотиков, он в жизни не успел. А в камерах своя школа. Тут свой секс, свои правила жизни, своя наука. Все учатся друг у друга, и образованный человек в авторитете. Муха с восхищением говорил об «академике», с которым сидел в предшествующей камере. Тот, очевидно, такой же академик, как я — профессор, во всяком случае, как я понял, человек с высшим образованием. Говорил с ними о химии, о происхождении драгоценных камней. Муха и меня просит:

— Расскажи о черной магии.

Я в этом ничего не понимаю, но интересуюсь: что он имеет в виду? А то, что «академик» говорил. Выясняется, что для Мухи — вся наука черная магия. О чем бы ни зашла речь, все время сводит к чудесам, колдовству, летающим тарелкам, телепатии. Как я потом убедился, это — одна из главных тем зэковских разговоров, к чудесам здесь повышенный интерес и, если хотят, так сказать, узнать из области чистого знания, то обычно спрашивают о черной магии. В этом смысле я мало чем мог быть полезным, поэтому от сокамерников узнавал больше нового, чем они от меня. В Петиной нарколюции, в Мухиных рассказах о зоне для меня было больше черной магии, чем в загадках Бермудского треугольника. Чего стоит один, например, кум, т. е. начальник оперчасти, Амелькин с Мухиной зоны. Король мордобоя. Выходил на развод на работу или с работы всегда в перчатках. Стоит, говорит Муха, как фашист, расставив ноги. Зэков обыскивают — «шмонают» — и если находят деньги или что-то неположенное — чаи, поделки, какой-нибудь «стрем» — Амелькин бьет. А не находят — все равно бьет — за незастегнутую пуговицу, мятую робу, за то что ты ему не понравился или понравился, — бьет. Не уходил с развода, не исхлестав кого-нибудь в кровь. Зэки его боялись, ненавидели и жаловались. По одной из жалоб приезжал прокурор — приехал и уехал. Амелькин засадил автора жалобы в штрафной изолятор и там мордовал без свидетелей. А у того кончается срок. Видели ребята, как он выходил, хромая из изолятора, в отряд его не пустили, так и вышел на свободу через штаб. От зоны до станции километра два. В тот же день на зоне стало известно, что дорогой его убили. «Надо вызвать прокурора из Москвы — от местных только хуже, они с Амелькиным водку пьют. А сколько ни писали в Москву — жалобы не доходили. Ты

напиши, профессор, пусть к нам приедут, вот адрес…»

Я завел тетрадку, где начал фиксировать подобные факты с фамилиями, адресами.

Но и здесь в камере не все было ладно. Мы изнемогали от полчищ клопов, и никому до этого не было дела. Открываешь глаза — по подушке на тебя клоп ползет. Сидишь на шконаре, глядь — на штанине, мерзавец. На столе хлеб, а из щелей мелюзга прет. Бр-р! Ничего омерзительнее не знаю. С ума сходил: вскакивал, орал, долго не мог уснуть. Кому-то наплевать, но всем надоело, неужели нельзя вывести? «Да мы говорили — без толку!» Несколько раз говорил и я надзирателям, корпусному, наконец, офицеру — воспитатель есть такой, старлей. Обещал перевести нас на пару дней в другую камеру, а здесь продезинфицировать. День проходит, неделя, я напоминаю, он улыбается. Кроме того, не работало радио. В бачке приносили остывший кипяток, не давали бумаги для туалета. Воспитателю наши жалобы — о стену горох. Наконец, я понял, что он просто издевается над нами, когда я ему порядочно надоел, он отрезал:

— Ничего, привыкнешь.

Ах, так? Тогда к начальнику тюрьмы, самому майору Кеслеру.

— Напиши, профессор, может, тебя послушает — благословила камера.

Жалобу писать не стал, тюремщики этого не любят, а повод не слишком значительный, чтобы вступать в конфликт. Попрошу-ка приема, изложу устно, чтобы понял нас по-человечески. Написал Кеслеру заявление с просьбой принять меня по вопросам, касающихся условий содержания.

А на следующий день меня перевели этажом ниже — в общую камеру № 124.

# Общак

Небольшие камеры, такие как 220-я, предназначены для особой изоляции, их называют спецкамерами. Где сидел? — На спецу. Основная масса содержится в общих камерах, рассчитанных человек на 30–40. Несудимые и судимые порознь: общак и строгачи. Особняк (рецидивисты) тоже отдельно. 124-я — общак. До сих пор тюрьма была ко мне милостива. То были цветочки — теперь ягодки. Настоящая скверна, подлинные злоключения начинаются с порога общей камеры. Я понял это сразу, как только вошел.

По обе стороны ряды двухъярусных шконарей. Посреди — большой деревянный стол: платформа. Напротив дверей два глухо зарешеченных, пыльных, темных окна. Между ними железный ящик для провианта — «телевизор», и народу, как на вокзале. Правда, кафельный пол чист, толкан огорожен стеночкой, по пояс более-менее занавешен. Но главное — стены. Точно такие, как на прогулочных двориках: обляпаны грубой пористой штукатуркой — «шубой». Это делается, чтобы на стенах не писали. На самом деле, не знаю, для чего это делается. Ведь в Лефортово и здесь, на спецу, гладкие масляные стены, никто их не портит, А «шуба» — раздолье клопам. В заскорузлых пещерах они неуязвимы, ничем не выведешь. После тесноты спецов в общей камере кажется просторно.

Оглядевшись с порога, я прислонил мешок к столу и сел на лавку. Достал кисет, трубку. В этой тюрьме трубки не принимают, моя с Лефортова, Наташа передала. Вытащили металлический стержень из мундштука, но отдали. Если трубка с тобой, то на Матросске не изымают. Здорово она меня выручала. Сигареты передавать здесь не разрешается, только табак, с ларя сигарет не напасешься, и ларь не всегда, не у всех — курили, в основном, самокрутки. Но трубка, особенно при постоянной нехватке газет, была удобней. Давний подарок Коли Филиппова, долго, необкуренная, она лежала дома, ждала, подруга, своего часа. Теперь со мной неразлучно.

Раскуриваю. Со всех сторон глаза гроздьями. Молчат и смотрят. Несколько шутников, резвятся на крайней шконке, косо поглядывают. Зовут к себе. На «вы», но как бы с насмешкой. Знакомимся. Феликс, Володя, а это Гена — или Лена — не желаете? — Феликс хлопает сидящего на полу парнишку с идиотской улыбкой. Тот сидит на матраце, видно, тут, на полу, его место. С соседних шконарей кучками придвигаются любопытные. Обычные вопросы. «О, над нами ляжете, будете нам

рассказывать», — решает Феликс. Он, верно, за старшего, все в рот ему смотрят.

— Иди, Леха, ознакомь товарища с нашими правилами, — посылает кого-то из окружения.

Парень ведет меня к «телевизору», открывает железные створки: «Читай».

На внутренней стороне дверцы приклеен рукописный листок такого примерно содержания: «Запрещается: 1) сидеть на верхних шконарях во время еды, 2) ходить на толкан во время еды, 3) играть после отбоя, 4) курить днем более трех человек, 5) курить ночью более одного, 6) ходить на толкан во время концерта. За нарушение назначается до трех «химий»:

— Что за «химия»? — спрашиваю.

— Наряд вне очереди мыть полы, — отвечает Леха.

— А вообще-то по очереди?

— Нет, полно химиков. Солдат вон схлопотал уже двадцать химий, месяца два ему одному убирать.

Шконарь Феликса отдельный, без верхнего яруса, стоял у окна рядом с «телевизором». От него по ранжиру располагаются его приближенные и на дальнем конце, у толчка, новички и «черти».

— Эй, алкоголик, хватит тебе тут брать! — кричит кому-то Феликс наверх.

Вниз спускается смиренный человек с виноватыми глазами. Феликс пинает его под зад:

— Иди на край, к чертям, там тебе место! — А вы, — обращается ко мне, — ложитесь на его место, — показывает на верхний шконарь рядом со своим персональным ложем.

Каждый вечер пристают: «Расскажи что-нибудь».

— А что вас интересует? — спрашиваю.

Редко что-то определенное, чаще: ну что-нибудь. Побрякушки из меня не вышло, отстали. Когда освободилось место внизу, подальше от этой шайки, я перебрался от них.

Вечером написал заявление начальнику тюрьмы обо всем, что хотел устно сказать по поводу 220-й камеры. Заодно упомянул банщика. Еще по прибытии на Матросску, перед разводом по камерам, сборку пропускали через баню, стрижку и прожарку. Голову стригли по желанию, я так и остался с бородой, а пах и под мышками обязательно. Стригли зэки в черных робах, черных пилотках под руководством пожилого сердитого прапора. Он непрестанно визжал, торопил. Высокий раздражительный голос, словно ржавой пилой по шее. Сам тоже стриг электромашинкой. Я попал к нему. Электромашинка снарядом по яйцам, буравит пах, как овцу. Больно до крови. Рядом зэк правит седую голову

старого армянина.

— Что ты с ним возишься? — визжит прапор, — гони в шею, давай следующего!

— Здесь еще подравняй, пожалуйста, — показывает на белые виски старик.

Зэк подравнивает.

— Я тебя, суку, в карцер загоню, — обрушивается прапор на своего подручного и выхватывает машинку. Старик-армянин встает и, еле сдерживаясь, говорит ему:

— Ты, наверное, в тюрьме родился.

Вот об этом я тоже написал в заявлении и еще добавил: «Пожаловался на клопов, а в ответ перевели туда, где клопов еще больше».

Утром на проверке отдаю заявление корпусному. Ответ я получил косвенный, в бане. Привели камеру в баню, разделись, как обычно, до трусов, приготовили майки, носки, платки — простирнуть. Ждем, когда откроют моечное отделение. Является этот банщик-прапор визгливый:

— В трусах не пущу, только мыло, мочалки, как положено.

Ропот:

— Как же так? Всегда можно было, а где стирать?

— Не нравится? Будете знать, как заявления на меня писать. Я сам читал. Пока бородатый здесь (кивает на меня), никого не пущу. Снимай с себя все без разговоров!

Так я испортил ребятам баню. Кое-кто покосился, но ничего не сказали. Через десять дней то же самое. Но тучи уже сгустились надо мной.

Переводили нас на три дня в холодную неустроенную камеру. В нашей морили клопов. Сказали, по моему заявлению. «Короли» — Феликс и компания — были недовольны. Им неудобно куда-то перебираться с хорошо насиженного места и толку, говорят, от дезинфекции нет: через пару дней клопы опять всюду. Чего ради переходить, мучиться в холодной камере? «Ты, профессор, зря заявления пишешь. Всю хату подводишь», — ворчали «короли». Отчасти они правы. Намаявшись три дня в отстойнике, вернулись в свою камеру. Острая вонь, кружится голова, резво выбегает навстречу первый клоп. Соскучился. Однако я спорил. «Короли» лежат ближе к окнам, там прохладнее, поэтому их меньше кусают. Если плохо дезинфицируют, надо добиваться, чтобы делали лучше. Надо снова жаловаться, не отдавать же клопам себя на съедение. Ведь есть камеры, где их нет, значит, и тут не должно быть. Если нарочно загоняют в холодные отстойники, чтоб не жаловались на клопов, то это издевательство. Следующий раз мы не пойдем туда, а потребуем нормальных условий. И

кроме того, заявление мое относилось не к этой камере, а к 220-й. Тем не менее потребовали, чтобы впредь свои заявления я показывал хате. Внутренняя цензура. Отношения с Феликсом и «королями» портились.

Правая рука Феликса, Володя, тиранил всю камеру. То и дело кого-то пинает, щелкает, над кем-то потешается. Однажды положил на мой шконарь спичечную коробку с клопами. Вскакиваю, кричу в рожу:

— Это не шутка, это издевательство, убери сейчас же!

Он несколько оторопел, но коробку убрал. Матюкнулся для престижа:

— Такую-то мать, настроение испортил!

Пользуясь поддержкой Феликса, Володя наглел с каждым днем.

«Королями» здесь называют тех, кто ест за столом, остальные на нижних шконарях: кто сидя, кто на корточках с пола. К кормушке выстраивается длинная очередь. Короли не стоят, им подают. В первую очередь им, потом берет себе первая семья, вторая и так по ранжиру. Как-то я оказался у бачка и стал наполнять кружки кипятком на свою семью. Мне говорят: «Сначала на стол». — «Не маленькие, сами нальют». После обеда подходит от них Сережа-армян:

— Обижаешь, профессор, зачем плохие слова на нас говоришь? Сам сядешь за стол — тебе будут подавать, такой закон.

— Почему я должен тебя обслуживать? — отвечаю. — Кто хочет, пожалуйста, а я не хочу.

Вмешивается Володя с угрозой в голосе:

— За почему в тюрьме бьют по кочану. Делай что говорят и не спрашивай.

Кому дачка приходит, сначала на стол. Подходит Феликс — берет, другой из них — берет. Володя загребает без зазрения совести. Остается лишь то, чего у них и без того полно. В нашей семье — дачка. У нас открыто не крохоборничали. Но садимся есть, и «Смоленск», хромой, хамовитый парень откуда-то из Смоленска, сам ни разу ничего не получавший, отрезает сыр, колбасу — дань королям. Я его останавливаю.

— Мне нервы дороже, — отбрехивается Смоленск и ковыляет к Володе. При этом, конечно, наушничает на меня. Рядом со мной лежит юркий дедуля — Миша. Небольшой росточком, звали его Пирожок. Говорит, отмахал пятнашку. Нынче слонялся по деревням, делал печки. Иногда ездит на могилу к матери под Москву. На Белорусском вокзале проверили документы — ни прописки, ни работы. После отсидки нигде не брали, устроился с

трудом где-то в глуши на кирпичном заводе. Тяжело, да и на воле воли не видно. А больше нигде не берут, не прописывают. Сбежал он оттуда и вот залетел. По ночам на ухо шепчет мне:

— Беспредел. Таких королей в парашу кидают.

А им ни гугу. Наутро сам же им служит. Что за человек? Видно боялся. Все норовил без шуму уйти к строгачам или к особнякам — к своим.

Однажды заводят длинного, в летах.

— Куда я попал? Общак? Ошибка — мне в строгий надо.

Но делать нечего, кидает мешок на свободный шконарь. С крыла Феликса кричат ему:

— Убери сидор, там занято.

— Кем?

— Не твое дело. Ляжешь, где скажут.

— Я делаю правильно. Имел я ваши приказы.

Чуть не до драки. Все-таки длинный перелег. И с ходу в карты. Их называют «стиры». Сережа-армян его облапошил. Длинный начал свои точить. Режется на куски газета, листки склеиваются в несколько слоев разжиженным жеваным хлебом. Снаружи тетрадные или чистые листы. Края тщательно обтачиваются о шероховатую поверхность.

Потом рисуют. Бывают отличные стиры, удобные, прочные, гибкие и красивые. Кстати, хлеб, оказывается, не только превосходный клей, он обладает и другими ценными для тюрьмы техническими качествами. Еще в Лефортово все фишки для нардов, шахматы — из хлебного месива. Если долго растирать, скатывать в ладонях мякиш, получится шарик, упругий и твердый. Об пол — подскакивает к потолку. А сколько всяких поделок, сувениров из хлеба!

Длинный точил стиры о шероховатую стенку вокруг толкана. Откидывается кормушка. Надзиратель требует: «Неси сюда!»

— Чего «неси»? — оборачивается длинный.

— Карты, говорю, неси!

— Спятил что ли — какие карты?

Надзиратель матом, в том смысле, что неси, мол, сюда, а то плохо будет.

— Х… тебе в шары! — взвинтился длинный.

Так они друг друга чехвостили, никакая бумага не выдержит. Через пять минут заходят в камеру несколько надзирателей и уводят длинного. Миша-Пирожок сказал, что длинный специально мента отхуесосил, чтобы уйти из этой хаты к своим. Действительно, больше мы длинного не видели.

Замечу одно, что даже бывалые зэки-строгачи не могли изменить обстановку в камере. Один против стенки не воин.

Королей человек десять, а в камере нас под шестьдесят. Но забитая масса всего боится. Все молчали или подхалимничали. Более или менее сильных, активных Феникс отбирал, сажал за стол, задабривал королевскими привилегиями. Беспредел крепчал.

Я больше общался с Петей. Забыл фамилию, похоже, Корюшкин.

Иссохший, бледный, морщинистый, моих лет, он ни во что не впрягался, его не трогали. Днем спит, ночью сидит за столом, пишет повесть о своем детстве. Перо у него набитое. Кончил в свое время Литинститут по семинару Долматовского. Стихи, говорит, в камере не пишутся, а проза идет. Работал по договорам в разных издательствах, без особого успеха, но печатался. Как человек, производит приятное впечатление. Сидит в этой камере одиннадцать месяцев, всех пережил, и это очень странно, так как сидит за алименты, кажется, а по этой статье срок всего год. Сейчас вспоминаю, правда, что висела над ним еще статья о краже, история была запутанная. Петя кражу отрицает, поэтому следствие затянулось. Он надеется на суде оправдаться, адвокат уверял, что обвинение в краже снимут и тогда засчитают отбытое за алименты, и сразу с суда на свободу. По слухам, так у него и вышло. Когда уходил, хотел подарить мне свое стихотворение.

— Не боишься? — шутя предупреждаю о возможных подозрениях в связи со мной.

— Нет, — сказал твердо, но подарка не сделал.

В камере ходили другие стихи. Автор их — Коля, самонадеянный, вспыльчивый парень, близкий к королям. Стихи ничего себе, упругие, задорные, но без живой мысли, флибустьерская бравада. После закрытия своего дела я показывал и читал выписки из показаний, из текста «173 свидетельства». Коля тоже поинтересовался и сделал вывод:

— За такую антисоветчину не сажать, а расстреливать надо.

Больше никто из сокамерников расстреливать меня не хотел, наоборот, отношение безусловно сочувственное. Чем вызвано особое мнение Коли, не знаю, не объяснялся, но, думаю, просто затаил зуб на меня за то, что я не проявлял к его стихам и к нему особой симпатии. Отсутствие должного почитания для короля оскорбление. Особенно если король — поэт.

Практиковалась «прописка» для новичков. Наберется новых человек десять, и короли устраивают представление. Это давняя камерная традиция, сейчас она отмирает. Во многих камерах прописки уже нет, а здесь вовсю. Начинается с прогулки. В прогулочном дворике новичков ставят в ряд. Назначают затейника, он командует:

— Приседаем сто раз. Слушай сюда! Раз-два! Три-четыре! Быстрей-быстрей!

Кто не выдерживает до ста, будет приседать следующий раз. Кто выдерживает, тем затейник командует: «Побежали!» Нужно бежать метров 10–15 до противоположной стены и обратно. Но с первым шагом все падают — такая потеха. После прогулки новичков садят за стол. У каждого кружка, им говорят: «Вы на свадьбе. Кто что будет пить?» Один заказывает водку, другой коньяк, третий шампанское — кому что заблагорассудится. Всем наливают воду. Пьют по полной кружке. Снова заказывают и снова пьют воду. Где-то на десятой кружке начинают выскакивать на толкан — их рвет. И снова за стол до изнеможения. Освобождают лишь тех, кто на вопрос: что будешь пить, скажут на ухо тамаде, например: то же, что и ты. Тест на сообразительность. Соображают те, кто либо раньше знал, либо друзья по камере подсказали, хотя это строго запрещается. Таких немного. Потом новичков по очереди укладывают на крайний у окна шконарь, подальше от надзирателя. Берут книгу толщиной с «Капитал» и говорят: «Ты умер. Поп сейчас будет читать тебе отходную». «Покойник» закрывает глаза, могут дать ему в руку что-то вместо свечи, начинается отпевание.

«Поп» что-то бормочет, спрашивает «покойника»: «Слышно, что говорю». — «Да». Бух-бух со всей силы книгой по лбу. «Ты умер?» — «Да». Бух снова. «А где ты сейчас: в аду или в раю?» Что бы покойник ни ответил, тяжелая книга все равно сотрясает мозги. Тоже тест на сообразительность. Нельзя ничего отвечать — ведь ты уже умер.

Разные есть приемы прописки. Например, ставят человека в матрасовку (мешок для матраца вместо простыни) и завязывают вокруг шеи. Еще так одного-двух — бег наперегонки. Они падают, барахтаются в мешках, их поливают водой. Но есть номера опасные. Новичков загоняют за одеяло, чтоб ничего не видели. Одного посылают на верхний шконарь, где он становится с краю на колени или на корточки, руки назад. На полу перед ним стоит на ребре костяшка домино. Надо упасть вниз головой и ухватить костяшку — зубами. Глаза завязывают полотенцем. Два метра вниз головой на кафель — верное увечье или смерть. Кто отказывается, тому предлагают: «Или прыгай или выпей воды из толкана». Могут предложить на выбор все, что угодно, самое позорное. Некоторые соглашаются, лишь бы не прыгать. При мне один пошел пить воду из унитаза. Забросали башмаками. И под шконарь. Отныне ему не место среди мужиков, он черт, почти пидор. Его может избить, ему может приказать каждый, и он не скажет ни слова против. Большинство знают, что их ждет, и

предпочитают прыгать. Внизу двое подхватывают падающего. Тест на смелость, на доверие к братве. Это испытание — первая ступенька к авторитету. Не всегда обходится гладко. Случается, говорят, что падающего роняют из рук или опаздывают подхватить. Из этой камеры одного уже отправили в больницу. При мне несчастий не было, но все равно — дурацкая затея с этой пропиской. Защитники ее полагают, что прописка помогает отобрать стоящих ребят, что это лучшая проверка на выдержку, смелость, сообразительность. По-моему, это просто издевательское развлечение от скуки. Короли и сами признают: «А хули делать?»

Как и в прошлой камере, больше всего здесь интересуются тем, что они называют черной магией. На Новый год в полночь гадали по книге. Берется непременно черная книга. Пропускается нитка через 13-ю страницу, держат книгу за нитку на весу. Вызывают святого духа. Задают ему вопрос, касающийся кого-либо из сидящих вокруг. Ну, скажем, кто самый хитрый, самый умный, кто козел? Слегка ударяют пальнем по обложке, книга медленно вращается. На ком остановится — значит тот. Самое удивительное, что большинство сидят, затаив дыхание, — верят! Феликс в абсолютной тишине взывает к своему тезке: «Феликс Эдмундович, дух святой, отзовись!» Когда книга переставала колебаться, останавливалась, значит дух отозвался. «Сколько мне дадут, дух святой?» Книга качается, Феликс считает: раз, два, три, четыре. Книга останавливается, Феликс в восторге: — Ну, что я говорил, больше пяти не дадут!

Феликс Запасник — белорус из Гродно. Женился на москвичке. Работал, кажется, сцепщиком в депо Павелецкой дороги. Разоблачили там все депо вместе с начальником: растаскивали контейнеры — шубы, сапоги и т. п. — популярный на железной дороге промысел. Сколько писали об этой напасти, сколько возмущались железнодорожники, — только преступников не находили. Да и мудрено было найти, если, как оказалось, сами железнодорожники и милиция тащат. Феликс сидит уже месяцев восемь, большая группа у них — человек 30. Группы по одному делу обычно долго суда дожидаются, кто-нибудь да буксует: тот заболел, этот капризничает, у третьего адвокат что-то опротестовывает. Но через восемь месяцев их группа была на подходе к суду. Говорили, что писала о них «Московская правда». Феликс стал камерной знаменитостью, но это его не радовало. Огласка грозила показательным процессом и большими сроками. Феликс метал икру.

Первое впечатление от него, пожалуй, приятное. Чуть выше среднего роста, плотный, мягкие черты славянского лица

исполнены добродушного юмора. За словом в карман не лезет, не глуп, силенка есть — все это располагает к нему. Но присмотришься и вспомнишь про врага, который хитер и коварен. Феликс из тех, кто, спасая себя, да просто из выгоды, продаст и растопчет кого угодно. Редко ударит сам, весь беспредел творил через таких, как Володя. Плел и науськивал втихаря, сохраняя внешне приятельские отношения. На проверке, когда заходили менты, выбегал в голову строя и хоть на полступни, но вперед. Однажды корпусной объявил благодарность за чистоту в камере, Феликс воспринял это как личную благодарность и каждый день потом на проверках заискивал перед надзирателями: «Правда, у нас лучшая камера? Правда?» С ментами короли в ладу, Феликс, Володя, Сережа-армян и прочие выманивали под разными предлогами, а по существу отбирали у ребят шмотки и обменивали контролерам на чай. Набивали свои мешки, которые зэки зовут баулами или сидорами. Позже видели Армяна в коридоре Пресненской пересылки: два туго набитых мешка при нем, просит помочь дотащить. Успел, подлюга. Но Феликса мы остановили.

Но это будет еще не скоро. А пока Феликс продолжал исподтишка травить меня. Мое присутствие создавало неудобства, стесняло их:

— Профессор, не обижайся, но без тебя мы жили спокойно. У тебя свое, у нас свое, шел бы ты в другую камеру, — стал заговаривать Феликс.

Мне и самому тошно смотреть проделки королей. Кроме того, мало приятного, когда из-за тебя притесняют других. Каждая баня — проблема с банщиком. Стирают белье в камере. Кипятка не хватает, многие ходят в грязном белье.

— Хорошо, Феликс, я подумаю.

— Подумай, профессор.

# Главный свидетель обвинения

Меж тем наступила странная пора следствия. Два с половиной месяца сижу, как в яме, никаких шевелений по делу. Александр Семенович: обманул. Следователь пропал. Для чего я сижу? В голове не укладывается. Вроде бы давно всех допросили, заявление я им написал, чего еще тянуть? По закону следователю отводится два месяца. Продляют лишь в исключительных случаях. Мы вполне уложились за месяц. К концу сентября меня уже допросили по нескольку раз об одном и том же. Тогда же Кудрявцев оповестил об экспертизе. Чего им еще надо?

10 ноября из Лефортово я отправил прокурору Дзержинского района заявление с просьбой ответить на ряд вопросов о нарушениях уголовно-процессуального кодекса по моему делу. Почему в КПЗ мне было предъявлено постановление о задержании «на месте преступления», а не о приводе, как это было в действительности? Почему привод, если по УПК для этого не было никаких оснований? Как может следователь объявлять результат экспертизы, не предъявив предварительно постановления о производстве экспертизы? И еще что-то в том же роде спрашивал я у прокурора. Он не ответил. В начале декабря ему же я отправил заявление о бессмысленном затягивании предварительного следствия, требуя либо передать дело в суд, либо отпустить за отсутствием состава преступления.

И вот красно солнышко — явился. Когда вели по подземным и наземным лабиринтам «Матросски» на второй этаж административного корпуса, не верилось: неужто прибыл Кудрявцев, неужто есть этой канители хоть какое-то завершение? Сидит серьезный, пялится карими. А у меня рот до ушей — человека вижу! Какой ни есть, а все же человек с воли, первый за два с половиной месяца! Уже не верилось в какую-то другую, вольную жизнь. Но вот пришел человек оттуда, значит, она еще есть и там еще кое-кто ходит. Сейчас о Наташе расскажет.

— По заявлению пришли? — спрашиваю.

— Нет, сам собирался.

— А что долго?

— Дела. Назадавали вы мне проблем, да и не один вы у меня.

Позднее стало известно, что одновременно с моим Кудрявцев вел дело Гривниной.

— А у меня сюрприз для вас, — лукаво улыбается Кудрявцев. — Вот, посмотрите, — достает протокол допроса.

Свидетель Гуревич Михаил Аркадьевич по делу Мясникова. Протокол от 27 октября 1980 г. Надо же, до Мишки добрались! До

Перми. Чего их туда занесло, какая необходимость? Начинаю читать — волосы зашевелились. За такими показаниями не то что в Пермь — в Занзибар бы слетали! В последние годы Мясников попал под влияние антисоветски настроенных людей. По словам Мясникова, один из них, Горбун, говорил, что коммунистов надо стрелять из автомата. Другие играли на самолюбии Мясникова, говорили, что он талантливый журналист, в антисоветской кампании подговорили его на изготовление статьи «173 свидетельства национального позора, или О чем умалчивает Конституция». По словам Мясникова, Попов обещал передать эту статью в журнал «Континент». Мясников давал мне эту статью для прочтения в 1979 г. и говорил, что это самое антисоветское сочинение из всего им написанного. Мясников также давал мне читать изготовленный им порнографический рассказ «Встречи». Его жена Омельченко тоже была знакома с этим рассказом и перепечатывала его. Отрицательное влияние на Мясникова оказывает его друг Николай Филиппов, который называет себя художником, а на самом деле ведет паразитический образ жизни, пьянствует, ругает советский государственный и общественный строй. Однажды у Попова в гостях я видел туристов из ФРГ. Попов и его жена злобно клеветали на советский государственный строй. Потом Попов выспрашивал у меня информацию о секретных предприятиях Перми явно со шпионскими намерениями и подарил мне портрет Солженицына.

Таковы вкратце были показания давнего моего коллеги и приятеля Миши Гуревича. Протокол написан следователем, но приписка «С моих слов записано верно» и подпись — знакомым почерком Миши. И содержание не вызывало сомнения — это действительно его показания. Только ему, например, я говорил о Горбуне. Это было лет пять назад. В гостях какой-то горбатенький композитор изнурял присутствующих доказательствами засилья евреев во всех творческих союзах, говорил, что в Союзе композиторов 90 % евреев, что с конца прошлого века осуществляется международный сионистский заговор мирового господства. Не знаю, насколько все это подтверждается фактами, но его патологический антисемитизм испортил весь вечер. Об этом я сказал Мише, когда вернулся домой и застал его у себя. Но зачем он сейчас вспомнил? Что ему до этого Горбуна, которого он никогда не знал и не видел? Зачем переврал? И почти все его показания якобы с моих слов, которые он безбожно извращает, очевидно, не без участия Кудрявцева. Что ему дался Олег, которого он видел всего один раз? Года полтора-два назад в один из его довольно частых наездов в Москву (обычно он останавливался у меня) я приходил вместе с ним к Олегу. На

кухне сидели его друзья — супруги из Штутгарта. Он, кажется, по национальности югослав, она — подруга Олега с детских лет, еще по кубанской станице, где они вместе учились когда-то. Супруги ездили в Краснодарский край, навещали ее мать. К Олегу зашли на час перед самолетом в ФРГ. При нас же и распрощались. Никаких особенных разговоров, во всяком случае, при нас с Мишей, не было. Я не видел, чтобы Олег дарил Гуревичу портрет Солженицына, неужели бы мне не показал? И надо же так вывернуть обычный дружеский визит. Ходи после этого в гости с такими друзьями, вовек не отмоешься. Оболгал меня, мою жену, друзей. Полуправда, которая в условиях предвзятого следствия, действительно, хуже всякой лжи.

— Ну как? — улыбается Кудрявцев.

— Чушь!

Следователь смеется, он доволен. Еще бы — в его руках козырная карта обвинения. Но он рано смеется, карта эта бита. Я отрицаю показания Гуревича. Это сделают все, кого он очернил. Его гнусность обернется против него — слишком очевидны лжесвидетельство и клевета. Например, он показывает — опять-таки с моих слов — что еще в 1969 г. (ну и память!) я потерял папку со своей антисоветской статьей, из-за чего меня вызывали в горком партии и уволили с работы. Чепуха. Эта так называемая статья изъята на обыске с другими бумагами, на суде я потребую предъявить ее, и все увидят, что это просто два рукописных листа с записями сугубо личного дневникового характера. Они были в папке со служебными материалами, которую я забыл в метро и которую мне вернул директор I московского часового завода, где я работал тогда социологом. Кто-то что-то подчеркивал в моих записях, директору они не понравились. Но он их вернул. В горком же меня вызывали до утери папки и не для нагоняя, а для подготовки постановления бюро горкома об опыте социального планирования на I МЧЗ, первом таком опыте в Москве. Постановление затем было опубликовано в «Московской правде». Уволился я с завода по собственному желанию.

Миша показывает, что Попов с компанией уговорили меня написать «173 свидетельства» для журнала «Континент». Для меня было бы честью получить заказ от столь авторитетного издания, но, к сожалению, этого не было. Текст был написан в 1977 г., а с Поповым я познакомился в 1978 г. Клевета бесспорная, и этот эпизод был чрезвычайно важен. По Гуревичу выходит, что я преднамеренно писал для антисоветского журнала, т. е. с прямым умыслом, наличие которого и составляет субъективную сторону преступления по ст. 190. Не выйдет. Не было прямого умысла, не было никакого уговора с антисовесткой

компанией, значит, по советскому кодексу нет состава преступления. А вот у Миши есть — заведомо ложные показания в соответствии со статьей 181 — до года, если же оно соединено с искусственным созданием доказательств обвинения или совершено с корыстной целью — от двух до семи лет. Ну, Миша, друг любезный, держись на суде!

Но как же ты мог так обкакаться? От кого угодно, но от него не ожидал. А между тем, именно он оказался тем единственным, кто предал меня. Мы познакомились в 1967 г. в Свердловске на ниве зарождавшейся тогда отечественной эмпирической социологии. Он учился в Уральском университете, я заочно в Московском. Вместе входили в группу Л. Н. Когана, проводившего пионерские тогда социологические исследования на предприятиях, вместе жили и работали социологами на Северском трубном заводе. В одной комнате бок о бок, почти год. Сколько его знал, всегда он был более информирован, мыслил более радикально, чем я. Он регулярно подрабатывал от «Знания» лекциями о международном положении. Не расставался со «Спидолой» — это у него впервые я услышал «Свободу», «Голос», «Би-би-си». Охотно изо дня в день посвящал меня в перипетии вселенской борьбы между диктатурой и демократией. Трезво, со знанием дела оценивал положение в стране. Я не знал никого, кто мыслил бы более критически и высказывался более откровенно. Вот уж кто был инакомыслящим!

С 1968 г., живя в Москве, долгом своим почитал ему первонаперво доводить столичные новости, давать сам-тамиздат и, конечно, дорожил его оценкой своих сочинений. И у него, как ни появится, первый вопрос: «Нет ли чего почитать?» В этом отношении я ему доверял как никому другому. Знал, что ему это интересно и нужно, — единомышленник. Вот почему меня потрясли его показания. Пусть — напугали, это они умеют. Он, не скажу коммунист, точнее — член партии, старший преподаватель политехнического института, кандидат наук. Квартира, жена, дочь. Полставки в социологической лаборатории, гонорарные лекции от общества «Знание». Все это жаль, конечно, терять — годами, трудом добыто, штанами протерто. Пусть обезумел от страха. Но грязь-то скрести на что? Зачем говорить, чего не знаешь, не помнишь? Зачем подписывать явно превратный протокол? Ведь что-то человеческое, хоть мизерное зернышко личного достоинства должно остаться? Неужто совсем совести нет, а только шкура и дрожь поганая? Ну ладно, своя рубашка ближе — так говори, что знаешь, не выдумывай, говори, как на духу. Маслин, например, приятель мой, инструктор Московского горкома, так говорил — я на него не в обиде. Он избегал

диссидентства, не корчил из себя единомышленника, не просил почитать Сахарова и Солженицына. Он, не сказав обо мне ничего хорошего, не сказал и ничего лишнего. Может, как друг, он и предал меня, но не оболгал. Гуревич же оболгал не только меня, но и всех вокруг меня, кого знал и кого не знал. Даже Наташу, жену мою, от которой он ничего, кроме добра, не видел, которая никогда ему худого слова не сказала, а всякий раз привечала, кормила его. И потом, как рассказала Наташа, набрался наглости, в тот же день, подписав предательский протокол, приехал к ней с утешениями, мол, дал хорошие показания, Лешке ничего не будет. А сам развязал руки следователю. Кудрявцев и ребята из ГБ, конечно, могли с ним поработать. Могли сыграть и на том, что если скажешь, как надо, о друзьях Мясникова, то тем облегчишь его участь. Не сам значит дошел, а попал под влияние. Мне так подшпаргаливал доброжелатель Кудрявцев. Такое предположение как-то может объяснить клевету Гуревича на моих знакомых. Но ведь он и меня и жену мою не щадит. Нет, тут что-то другое. Ни страх, ни клев на обманчивые уловки следователя — ничто не объясняет появления таких показаний. Откуда же они? Со временем у меня сложилась некая версия.

Миша рассказывал, что вначале он поступил в Московский университет, но то ли отчислили, то ли самому пришлось уйти за, как он говорил, критические высказывания. Пострадал за правду. На официальном языке университетского начальства это означает «идеологическую незрелость». После не без труда — истфак Уральского университета. Учился хорошо, кандидатскую раньше меня начал, но долго не давали защититься. Несмотря на усилия влиятельного руководителя, так и не смог в Свердловске. Устроили, наконец, защиту в Ростове. Лет десять положил.

Другой факт. В заключении, в Тагильской лагерной больнице, встретил я парня из Полевского, где Северский трубный завод и где Миша долго после меня работал. Парень тот был мужем тамошней комсомольской активистки и знал Гуревича. Оказывается, на заводского социолога чуть уголовное дело не завели. Таскал книги из библиотеки дворца культуры, порядком натащил — на несколько лет лишения свободы. Но дело замяли. Миша сматывается в Пермь, на кафедру к Файнбургу.

Третий штрих. В тот Северский период призывали его на год в армию. Служил на Дальнем Востоке в контрпропаганде, что-то связанное с радиопередачами. Как я понял, что-то очень секретное — он не распространялся.

Подытожим. Социологу с подмоченной в раннем студенчестве репутацией долго не дают защититься. Но в один прекрасный момент все-таки дали. Социолог, лектор, член партии

мошеннически проворовался, но в один прекрасный момент дело замяли, что нисколько не помешало ему выгодно устроиться в другом место. Человека с такой вот неказистой биографией забирают в армию и в один прекрасный момент доверяют допуск к работе в засекреченной контрпропаганде. В чем чудо прекрасного момента? Ответ напрашивается сам собой, если штришки биографии Гуревича сопоставить с некоторыми чудесами по моему делу.

Дело в том, что Гуревич давал показания не только 27 октября, но и гораздо раньше. Это обстоятельство не зафиксировано ни в одном протоколе, не упомянуто следователем, вообще никак не фигурирует в деле. Предшествующие его свидетельства, таким образом, скрыты, засекречены. Однако то, что они были, не вызывает сомнений. Два примера. В день обыска 6 августа следователь Боровик огорошил меня на допросе:

— Кто предлагал опубликовать статью в журнале «Континент»?

Откуда он узнал? На закрытии дела я убедился, что никто из допрошенных не давал подобных показаний. Кроме Гуревича. То, что запротоколировано 27 октября, следователю было известно 6 августа. В конце августа озадачил Кудрявцев:

— Какую папку вы оставили в квартире Филиппова?

Откуда он знал? Тогда я не мог ни на кого грешить, кроме как на Колю Филиппова. После этого я поверил следователю, что все те, кого он называл, признали, что я давал им тексты. Если Коля заговорил, чего удивляться другим? На суде я буду уличен своими же друзьями. Чтоб нам не позориться, я написал заявление: если кто говорит, что давал, значит, давал. Тем самым подарил следователю важную зацепку для доказательства распространения. Однако на закрытии дела выяснилось, что ни Коля, ни кто иной о папке не говорили. Только Гуревич в протоколе от 27 октября. Я совсем забыл, что к Коле в тот день я заходил вместе с Гуревичем. Потом мне напомнили. Тогда он нахваливал Колины работы, теперь обливает помоями: пьяница, блудник, несет антисоветскую ересь. Протокол Гуревича датирован октябрем. Как могли следователи знать его показания в августе? Значит, он дал их еще до обыска.

Последний раз Миша был у меня в мае, за три месяца до обыска. Спросил, сохранились ли «173 свидетельства»? Снова читал, обещал появиться в июле. В июле был в Москве, но ко мне не зашел. Протокол его допроса появился намного позже остальных — почему? Может, его вообще не хотели раскрывать, держали в тени, в резерве. Так бы и остался моим «другом». Что

же их вынудило? Да то, наверное, что ничего другого не оставалось. Ни один из допрошенных не признал знакомства с рукописью — обвинение лопалось. Выходить на суд, не имея никаких доказательств распространения, было бы совсем смехотворно. Гуревич оказался единственным и последним козырем обвинения. И, выпуская его с цепи, они использовали его как хотели — и в хвост, и в гриву. До 27 октября все были чисты. Он обгадил всех, — лебединая песня сексота.

Нет, не простой свидетель Миша Гуревич. Их человек. Иначе незачем было скрывать его. Незачем было бы прикрывать и потом, когда дали ему возможность не присутствовать на суде. Он знал, что его не вызовут в суд, еще в октябре говорил об этом Наташе. Попов подавал на него в Пермскую прокуратуру заявление за клевету. Ему ответили, что Пермь не располагает материалами Мосгорсуда. Я из зоны отправлял в Пермь заявление о лжесвидетельстве Гуревича, мне ответила Московская прокуратура: показания Гуревича подтверждаются материалами дела. Циничные отписки. Своего человека из-за антисоветчика не тронут. За подобные преступления своих людей не карают — награждают. Офицерское звание, должно быть, повысили. Может, завкафедрой уже. Везет студентам Пермского политеха: такой человек их учит и воспитывает! Мне с ним уже повезло. Кто следующий? Кого он еще заложит?

Мишкина, прямо скажем, незавидная судьба, боюсь типична. Смышленый, развитый парень. Нахватал горя от ума. Ломалась карьера, и выбор — либо гордый, но законченный неудачник, либо карабкаться по чужим спинам. Где, когда, на каком изломе судьбы поставили перед ним партийную альтернативу — с нами или против нас? — остается угадывать. Может, завербован, когда попался с хищением книг, услуга за услугу? Может, в армии на засекреченной службе? Или в обмен на гарантированную защиту? Как бы то ни было, на каком-то спотыке его поставили перед волчьей ямой и он продался. Сначала продал себя, потом стал предавать друзей. А дальше границ у подлости нет: клеветать, охаивать все, что угодно по команде начальников, потом по своей шкурной выгоде, а там, глядишь, из спортивного интереса: приятно себя создавать вершителем судеб, хоть ты и сука, зато сука большая. Умный, способный парень с задатками хорошего человека, вырождается в безнравственное чудовище, превращаясь в дворового пса на цепи мерзавца-хозяина. Начал с протеста злу, кончил — служением злу. Хорошенькая перековка! Жернова коммунистической системы воспитания перемалывают косточки в порошок и пекутся предатели. Сегодня продал совесть, т. е. бога в себе. Завтра — друга. Сподобит случай — предаст и хозяина, да

кого угодно. Это уже не манкурт, это такой тип гомосоветико, такая человеческая реальность, какую ни народная фантазия, ни айтматовский гений еще не вообразили. Но мы узнаем этот тип у проницательного Орвела и среди окружающих нас. Трудно, невозможно после такой перековки стать человеком, и запоздалое раскаяние вряд ли очистит. Испорчена жизнь. Дети будут стесняться, отрекутся от такого родителя. Проклят навек.

## Не сами ли мы их плодим?

Разложение общества зашло так далеко, что даже в лучших слоях подобная эрозия. Даже среди тех, кто имел мужество возвысить свой голос в защиту попранных прав человека, с нравственных высот падают в выгребную яму, отрекаются от веры и совести. Якир, Красин, Дудко, из свежих — Репин, Радзинский. Немало их. А кто ж назвал своим именем? Знаю людей, кто по сей день гордится знакомством и дружбой с ними, и не знаю, кто устыдился бы. Дудко публично, в газете и по телевидению, отказался от своих книг и проповедей. Обманывал, говорит, прихожан и вас, добрые люди. Больше не буду и вам наказываю: не поддавайтесь происка врагов отечества. Десять лет он рыцарски, открыто сражался под флагом совести. Яркий пример благородства, служения народу и богу. А посадили — отрекся, да еще и охаял. Гибкая совесть: сегодня флаг, а поприжали — тряпка для сапог гэбэшника. Какой же ты священник, если в час испытания изменяешь своему делу и вере? Какой человек, если нет для тебя ничего святого? Если своя тленная шкура всего дороже? Кому сейчас молится православный отец Дудко? Безбожный священнослужитель продажный правозащитник — какой разврат для народа! Как теперь людям верить? С кого брать пример? Да лучшие бы ты совсем не высовывался, чтобы не позорить святое дело! Предатель!

И что вы думаете? Спрашиваю одного здравствующего поныне диссидента:

— Как ты к Дудко относишься?

— Я на его месте не был, — говорит, — не могу осуждать.

То есть допускает ситуацию, при которой можно поступиться и богом и совестью. Ради чего? Ради какой более высокой ценности? Ради шкуры — чего же еще! По сути дела, оправдывается предательство. Вот тебе и поборник прав человека. Да я такого на атас не поставлю, не то что в делах довериться.

Ленинградец Репин, помогавший политзаключенным, как взяли под стражу — публично раскаялся, заложил десятки людей. Какая польза от его прошлой деятельности, если сейчас столько вреда. Капля меда в бочке дегтя. Не нужен никому такой мед, слишком горек. И что я слышу в диссидентской компании от его сподвижников?

— Ведь знаете, — вещает авторитетная женщина, — Репин немного заикается, а когда по радио выступал, не заикался. Это не он говорил.

А дело и люди из-за него уже пострадали, всем это известно.

И никто из присутствующих не возразил подобной нелепости. Нет веры своим ушам, глаза откройте: покаянного Репина по телевизору показывают. И все равно, нарочно закрывают глаза, оправдывая предательство.

Радзинский — один из основателей пацифистской группы Доверия между советским и американским народами. Боролся за мир. Не мнимый, дипломатический — с ножом за голенищем, а подлинный мир, настоящую разрядку, основанную не на фальшивых улыбках и демагогии, а на доброй воле, доверии. Что может быть сейчас актуальнее и благородней? А взяли за белы ручки борца — вмиг разворот на 180° и на колени: описался, больше не буду. Провокационное письмишко Рейгану состряпал: ты, дядя, обижаешь благодетеля нашего Андропова, нас баламутишь, незрелых, ты меня в сибирскую ссылку отправил. КГБ запускает письмишко во все иностранные агентства. Столь же широковещательно заявление о выходе из группы Доверие. Такие, дескать, сякие, на одном гектаре больше с ними не сяду. Приемник Годяк подарил — пусть забирает обратно, все равно поломался. Отчего крутой разворот? Отчего оболгал друзей и соратников? Дело святое скомпрометировал — отчего? Шкуру спасает, ссылку вместо лагеря выторговал. Но и оттуда поносит. Не без успеха: числится в ссылке, отсиживается в Москве. Чем же торгует? Совестью. Какой ценой? Ценой предательства. И что после этого вижу? Майки с его чегеваровской бородой. Думаете, на пузе гэбэшников? Нет, на животах им же оплеванных пацифистов-соратников. Слышу по радио от выехавшего правозащитника:

— Письмо Рейгану Радзинский не сам написал. Это все КГБ.

И это вопреки очевидному, вопреки фактам. Опять апология предательству.

Да не сами ли мы их плодим, предателей? Как за совесть заступимся, если бессовестного защищаем? Кто нам поверит, кто пойдет с нами, если трус и спекулянт на щите и на пузе? Жалуются оставшиеся правоборцы и миротворцы: нет людей, никто не идет к нам. Да кто же пойдет, если мразь кишит среди вас? Если предадут и продадут на шаге первом? Вот чем стало диссидентское движение. Пугает и отталкивает оно. Люди не так репрессий боятся, как своих же правозащитников. Сами диссиденты стали бояться друг друга. За крикливой внешностью — внутренний разброд, хлипкость диссидентских душ. Из-за таких, как Дудко, Репин, Радзинский, отворачиваются люди от правого дела, губится на корню освободительное движение, начатое подлинными борцами за права и свободу. И еще из-за тех, кто оправдывает предательство, благословляя тем самым его

и впредь. Надо быть поразборчивей в людях, тогда и людям легче разобраться в вас.

Диссидентское движение было начато как нравственное возрождение нашего общества, как оплот искренности, разума, свободомыслия. Аморальность и спекуляция в его рядах абсолютно нетерпимы. Не надо стесняться называть предателя своим именем. Не надо замалчивать то, о чем вы первые должны сказать вслух. Закроете глаза на бессовестность — оскорбите совесть, за которую ратуете. Не осудите труса — люди осудят вас. Не отвернетесь от псевдораскаянного — отвернутся от вас и те, кто еще симпатизирует вам. Не проклянете изменника — вас проклянут. Ибо это конец надеждам, конец героическому движению, загубленному вашей же беспринципностью и все надо будет начинать сначала. Но уже без вас.

Мы не прощаем унижение человеческого достоинства со стороны властей. Тем более не можем прощать нравственного падения своих коллег. Всепрощение безнравственно. Оправдывать Дудко, Репина, Радзинского — значит подрывать репутацию всего демократического движения, сеять сомнение в духовной стойкости остальных. Это значит оставлять их имена рядом с именем Солженицына и Сахарова, с именем Великановой, Осиповой, Санниковой — хрупких женщин, силой духа посрамивших наших карателей и недостойных мужчин. Нет, не место им рядом. Насколько низко пали одни, настолько высоко держат факел другие. Во имя спасения освободительного движения в стране, во имя святых жертв партийного террора отречемся от спекулянтов, предателей, как отрекаемся от деспотизма их хозяев. Предадим гласности черные дела и тех и других. Пусть общественное мнение воздаст им должное. Пусть горит земля под ногами гуревичей и радзинских. Тогда малодушный подумает, что лучше — спасаться ценой предательства или отсидеть, да хоть бы и умереть с чистой совестью.

Сердцу больно, что делается сейчас. Распались «Хельсинки», завяла «Амнистия», чахнут «Хроника» и самиздат. Остались наследством от Радзинского «Писники» (группа Доверия или Мира), да и те растеряны, ищут не мир спасать, а как самим бы спастись. Не в репрессиях только дело. Червь в самих. Он-то, по-моему, и пожирает все движение. Не было что ли репрессий? Были всегда, но были и люди, готовые на крест за святое дело. И шли. И шли за ними, свято место пусто не бывало. Сажали одного — двое вставали. А нынче кто? Прижгло иль отсидел — и сразу пас: самороспуск, замереть, не хочу сидеть. Ну, бог с тобой, сам замер — не давать же делу замереть. Не для него разве страдал и

жил? Нужна ли самому такая жизнь с поджатым хвостом? Найди замену, помоги ищущему — сколько людей тянется к вам да найти не может. Это же долг ваш перед людьми, перед совестью, перед Богом. Нет, как отрезали. Ни адвоката найти, ни проконсультироваться, ни листка передать. Книги, и той днем с огнем нынче не сыщешь. Всего боятся, никому не доверяют, людей боятся. Тех, кого защищали. «Защитнички» — с мечом картонным. Кто же страху нагнал? Власти? А когда они миловали? Нет, свои же: дудко репины, радзинские. Дам я книжку очередному Радзинскому или Гуревичу, а он и вложит меня. Лучше не буду. Вот мышление сегодняшнего диссидента. Боятся тюрьмы, боятся людей, боятся дела. Слова, которым прославились и гордились, боятся: «Нет, — говорит, — я не диссидент». Довели движение до бесславной кончины такие вот ратоборцы. Шкура возобладала над совестью. Страх погасил долг.

Сережа Корехов в свои неполные тридцать дважды парился по 70-й, восемь лет отсидел. И снова санкция на арест. Из Тагила, из-под надзора в бега — в Москву, хоть подышать напоследок. Обежал диссидентов: ни денег, ни укрыться негде. Правда, посочувствовали. Вышел с последним рублем в самый центр Москвы. Выпил кружку пива на глазах всесоюзного розыска, тут и сцапали. Фонд помощи политзэкам Солженицын создал и на блюде поднес: ради бога, только раздавайте, помогите страждущим, их женам и детям. Выходят люди из зоны: после Гинзбурга не видно помощи. Народ обозлен на фонд. При Ходоровиче фонд держался, при Кистяковском еще был фонд, но уже слышались стенания: «Где денег-то взять?» Но деньги были, куда же шли, если на зону не попадали? Сквозь пальцы текло? Не придумали ничего лучшего: взяли и разбили солженицынское блюдо в междоусобных дрязгах. С ложки дается — удержать не могут, гуманисты тщедушные. Сковырнули Кистяковского, объявился Михайлов. Через неделю отказ: «Не буду, духовник не велел». Не нужен им фонд. А зэков спросили? Кто перед ними ответит? С Михайлова и надо спросить. То, чего не мог сломить могучий КГБ, Михайлов взорвал изнутри. Это ли не предательство? Запятнанная репутация обрекает на одиночество и смерть нравственное движение. Скисли, сникли оставшиеся диссиденты. Оторваны и оторвались от людей. Предают друзья, отворачиваются родные. Пропадает дело. И если вдохнут в него новую жизнь, то только те, кто очистит свои ряды от скверны. Кто заклеймит измену, не подпустит малодушного к делу, кто сплотится плечом к плечу. Меньше болтовни, больше организации и дела. И обязательно — конспирация. Нельзя без нее. Хватит, поиграли в открытую: загубили лучших, осталась

дохлятина. В КГБ опытные селекционеры. Мужественных, деятельных людей надо беречь. Их немного, они на вес золота, в них наша надежда. «Я вас узнал, святые убежденья…» — оттуда, из толщи лет, будят наше сердце и совесть лучшие люди России:

«Средь мрака лжи, средь мира мне чужого,
Не навсегда моя остыла кровь;
Пришла пора, и вы воскресли снова,
Мой прежний гнев и прежняя любовь!»

*(А. К. Толстой)*

А люди у нас есть, их не может не быть. Есть кому заменить арестованных и уехавших. Не безлюдье — причина развала диссидентства, а сами оставшиеся диссиденты с их келейностью и неустойчивостью. Сами изолировали себя и подорвали авторитет движения. Между тем порядочных людей больше, чем гуревичей и радзинских. Я убедился в этом на закрытии своего дела.

# Закрытие дела

В предпоследний день года, 30 декабря, Кудрявцев выложил на стол толстую книгу с подшитыми и пронумерованными карандашом листами — первый том моего дела. В соответствии со статьей 201-й УПК РСФСР следователь закрыл дало для передачи его на подпись прокурору и затем в суд, предоставляя мне возможность ознакомиться со всеми материалами, которые будет рассматривать суд. В первом томе — все постановления, протоколы моих и свидетельских допросов, заключение экспертизы, заявления. Всего в моем деле 4 тома, но пока Кудрявцев предъявил первый — самый интересный и важный. Долго с нетерпением ждал я этого часа, и вот он наступил: все показания друзей и прочих свидетелей лежат передо мной.

Из 22 допрошенных лишь один сказал, что я давал ему «173 свидетельства» — Гуревич. Никто больше не то что не читал, но и не видел и не знал о существовании этого текста. Я удивленно посмотрел на Кудрявцева: надул, Игорь Анатольевич? Кто называл имена и говорил, что эти люди признались, что им ничего не будет, если читали, а что мне, если буду отрицать, лишний срок? Вот их протоколы — ничего подобного, они уличают не меня, а вас, Игорь Анатольевич, во лжи. Тут только я понял, какую ошибку сморозил, поверив следователю и написав заявление с признанием, что люди эти могли видеть текст. Ах, если б не папка у Филиппова, убедившая меня в том, что заговорили друзья-приятели! Разве я взял бы на веру хоть одно ваше слово, Игорь Анатольевич? Но и тогда и до сих пор не мог, конечно, представить, на какую низость способен вершитель отечественного правосудия. Что вот сидит человек, улыбается, рассказывает анекдоты, всем видом выражает готовность помочь и сочувствие, и все это делает лишь для того, чтобы, ловчей обманув, накинуть петлю и затянуть. Тут только я понял, что не человек передо мной, а враг. И с самого начала был им, да не разглядел я клыков за улыбчивой маской. Смотрю в глаза ореховые, карие:

— Обманывали, Игорь Анатольевич?

Ни капли смущения, победоносно улыбается, мол, и не таких вокруг пальца вожу. Потом посерьезнел, заторопился:

— Некогда, читайте быстрей, суд разберется.

И сует акт ознакомления на подпись. А я в этот момент раздумывал, не отказаться ли сейчас от ознакомления до тех пор, пока дело не будет приведено в порядок. Листы едва подшиты, их можно тасовать, как колоду карт. Следователь потом что-то

может убрать, что-то добавить — карандашную нумерацию легко исправить. Я имел право и должен был потребовать подготовить дело как следует. Но бог знает, сколько он заставит себя ждать? Затянет со зла еще на полгода, а мне тюрьма осточертела, особенно 124 камера. Куда угодно, лишь бы вон отсюда. Да и любопытство раздирало. Ведь все показания тут. Кто на что горазд, кто есть кто? Надо мной суд впереди, а мне судить — теперь. В общем, подписывать акт пока не стал, но ознакомление все-таки начал.

Закрытие дела, свидетельские показания по твоему делу — редкостная возможность проверить людей в час серьезного испытания. Экзамен на прочность отношений с людьми, с которыми жил, дружил и работал. Кто они есть? Кто я для них? За кружкой пива — один человек, на допросе он может стать другим. Независимо от их показаний я был счастлив самой возможности проверить своих близких и друзей. Хотя бы раз в жизни надо испытать это. Страшные иной раз могут быть разочарования. Лефортовский сокамерник Сосновский на закрытии своего дела вообще разуверился в людях. «Не существует в природе никакой дружбы, — говорил он. — Все эгоисты, каждый думает только о себе, а те, кого я считал друзьями, оказались подлецы». В таких уроках находят оправдание и собственной подлости: все так и мне не зазорно. Другие сокамерники, например, Володя Баранов или Эдик Леонардов, тоже не испытывали особой радости на закрытии, но и не особо огорчались — каждый спасается как может, это они считали естественным. Дня меня же день ознакомления стал одним из главных итоговых событий жизни. И это был торжественный день. Кроме Гуревича, все остальные мои друзья, все, знакомством и дружбой с которыми я дорожил, оказались вполне порядочными людьми. Как бы ни отличались их показания, как бы ни относились они сейчас ко мне, я горжусь ими и благодарен за то, что они есть, что были со мной. Не огорчили и родственники. На что уж теща, вдова гэбэшника, курица, слепо бегущая за петухом власти, и та обо мне: «Добрый и честный». Первая жена, осрамившая в свое время скандальным разводом, не гнушавшаяся бегать по работам, милициям, грозившая выписать, посадить, дорвалась, наконец, отыграться. Вижу по протоколу, что и Кудрявцев ее науськивает, сгущает краски. Высказывался, написано, критически против советской власти. Пишет-то следователь, и в шоковой обстановке допроса часто подписывают протокол не глядя, а если глядят, то не видят и машинально подписывают, лишь бы скорее убраться. Тем не менее Лена узрела «антисоветчину» и сделала в конце замечание:

«Про антисоветские высказывания я не говорила». Маслин, инструктор горкома, по должности и ради желанной карьеры должен был бы всяко изгадить меня. Но не нашел больших грехов, кроме того, что я ему говорил, что слушаю «Голос Америки» да читаю Солженицына. Для меня это почти комплимент и никакого криминала. Официозный литератор Чаковский публично агитировал нас, студентов МГУ, слушать «Голос Америки»: «Я слушаю и вам советую. Чтобы бороться с врагом, надо его знать». Действительно, как узнаешь врага без радио, не по цековским же газетам. Была бы объективная информация, а кто наш подлинный враг и с кем бороться — вывод мы сделаем сами.

Боб Чикин, давний и близкий, тоже в щекотливом положении. Член парткома философского факультета МГУ, недавно вернулся из шестимесячной командировки по Штатам. Не охаять меня — конец карьере, ну и охаял: «В спорах со мной обнаруживал идейную незрелость в марксизме». Идейно отмежевался. Но не сейчас, а несколько раньше, когда мы стали крупно спорить и наши разногласия не очень портили личные отношения. Нисколько он не покривил душой в протоколе, я по-прежнему уважаю его мнение, каким бы оно ни было, независимо от того, согласен я с ним или нет. На этом его хула исчерпывалась. Да и хула ли? Просто констатация разных взглядов. По-моему, не много чести быть зрелым марксистом, особенно заодно с советским «зрелым» социализмом. Про меня мог бы сказать не «незрелость», а что я вообще не марксист — так точнее. Хула это или похвала, зависит от точки зрения. Во всяком случае, я не в обиде.

Даже перепуганные коллеги высказались обо мне пристойно. Не доставало следователю грязи, хватался за самую малость. Вот, говорит, ваша сотрудница Белкина сказала, что вы бываете «разный». И смотрит на меня многозначительно. «Ну и что? — спрашиваю «одинакового» Кудрявцева. — Когда пролетарский, когда буржуазный — так что ли?» Нет, она даже этого не сказала. Маловато для обвинения в аморальности и антисоветчине. Слегка лягнул Борисов, новый наш зав. сектором: «Превыше всего для Мясникова материальный интерес». Эта строка из его в общем-то положительного протокола имеет забавное происхождение: месяца за три до ареста дошло у нас с ним, смешно сказать, до драки. Пишу в лабораторской библиотеке статью. Никого нет, можно потихоньку курить, комфорт. Вдруг является Борисов: «Как смеете писать халтуру в рабочее время?» Я онемел. Совсем недавно он был под моим началом. Он демограф, и хотя к нашей работе его занятия не имели прямого отношения, я не наступал

ему на пятки. Я же писал по теме, в печать — это наша обязанность. Но он даже не спрашивает, что я пишу. И вообще у нас, среди научных сотрудников, не принято ловить блох.

— Ты что, спятил? — говорю.

— Хам!

Тут мы и повозились немного. Потом вызывает меня директор. Там Борисов сидит. Потом я начал искать работу. Потом директор сказал, что в этом нет необходимости. Заросло. Отношения выровнялись. Но, видимо, зуб у Борисова остался — укусил на следствии. Хотел бы насолить, да больше нечем. На суде я спросил Борисова, почему он счел нужным доложить следствию о моем материальном интересе и почему решил, что материальный интерес для меня превыше всего.

— Мне казалось тогда, что вы ничего не делаете бесплатно.

В зале рассмеялись. Не рой другому яму…

Больше всех отличился Олег Попов. Не перестаю удивляться, как сошло ему? Вот чего он творил. Всех свидетелей допросили, а его, которого калеными щипцами тянули из меня, даже не вызывали. В октябре он пишет Кудрявцеву заявление с просьбой принять его в качестве свидетеля по делу Мясникова, заявление подшито в первом томе. Кудрявцев принимает Попова. То, что произошло между ними, Кудрявцев излагает в рапорте на имя прокурора. Кудрявцев спрашивает у Олега паспорт. Паспорта нет. Олег в свою очередь требует документ, удостоверяющий личность Кудрявцева. Пришлось показать. Следователь спрашивает:

— Что вы хотели сообщить по делу Мясникова?

— В чем он обвиняется?

Следователь произносит общую формулировку статьи 190.

— А конкретно?

— Это достаточно конкретно.

— Нет, — говорит Олег, — такого человека я не знаю.

— Вы не знаете Мясникова?

— Такого Мясникова не знаю.

— Я расцениваю ваш ответ как отказ от дачи показаний.

Кудрявцев пишет соответствующий протокол и дает на подпись Олегу. Тот рвет протокол и, сунув бумажки в карман, уходит. Кудрявцев изливает свое негодование в рапорте об оскорбительном поведении Попова. Зачем рисковал Олег — толком не пойму. Не мог он не знать, не предполагать, что и на него заведено дело. А он в раскрытую пасть еще палку сует. Однако пронесло. С облегчением прочитал постановление о прекращении его дела за недоказанностью. Все-таки не пойму, зачем и этот рапорт, и это постановление подшиты к делу. Некоторых моих заявлений прокурору, к примеру от 10 ноября,

нет, а документы, не имеющие ко мне прямого отношения, добросовестно подшиты. Зачем? Не пойму.

А вот и сюрприз: показания некоего Герасимова. Взяты в конце декабря, буквально перед закрытием дела. Как, для какой цели его откопал Кудрявцев? С первого взгляда на протокол ясно: для грязи, конечно. Кудрявцев набрел на него по указке Гуревича: в центре показаний все та же «антисоветская статья» двенадцатилетней давности Мясников еще в 1968 г. написал клеветническую статью, где утверждал, что в нашей стране казарменный режим, нет демократии и т. п. Статью «173 свидетельства» он не читал, но полагает, что написана она с антисоветских позиций. И вообще Мясников недисциплинирован, имел выговоры и вследствие этого был уволен с I МЧЗ.

Я мало знал этого человека. Месяцев девять, с апреля 1968 г. по февраль 1969 г., я подвизался социологом на I МЧЗ в отделе НОТ, где работал и Герасимов. Ничего с ним общего. Да и никто не относился к нему всерьез. Болтун, с придурью. Так, курили иной раз на одной лестничной площадке. Там был другой человек, с которым я успел сойтись под конец, — Володя Климовских. Очень симпатичный, профессионально увлеченный волейболом (судья республиканской категории), но подверженный горьким запоям. Володя был сыном известного генерала, расстрелянного в начале войны за неудачи в Белоруссии. Сполна хлебнул участи сына врага народа, вплоть до реабилитации в 1956 г., когда получил разрешение вернуться в Москву. Трезвый он не касался пережитого, но, когда напивался за столиком какой-нибудь укромной пельменной, по отдельным словам, недомолвкам можно было догадываться, каких мук ему стоили эти годы, все его детство и юность, с какой болью в душе он живет. Зря никогда ничего не говорил. Он-то однажды сказал о Герасимове: что с него взять, придурок, состоит на психиатрическом учете.

Как-то в последние годы приходил я однажды на I МЧЗ. Герасимов уже возглавлял службу НОТ. Это свидетельствовало не столько о его возвышении, сколько об окончательной дискредитации НОТовского движения. Повсюду сокращались и ликвидировались отделы и лаборатории, оставались жалкие аппендиксы для проформы. Во главе такого аппендикса вместе большого когда-то отдела и был поставлен Герасимов. Пустой человек на пустом месте. Тогда он не вспоминал о моей «антисоветской статье» и недисциплинированности. Они знали, что я защитился, читали мои статьи. Тогда Герасимов лебезил. Больше я его не видел. И вот этот человек дает сейчас подробные и обличительные показания. Предвзятость и ложь очевидны.

Выговоров я не получал, а уволился сам, вызвав, кстати, своим уходом недовольство своих патронов из МГУ, с которыми начинал первый в Москве опыт социального планирования. Утерянную в метро папку мне вернули. Было нарекание со стороны партсекретаря. Но не за личные записи, а за шестой экземпляр проекта постановления бюро горкома, который я готовил, но почему-то не должен был оставлять у себя. Проект постановления они забрали из папки, а записи возвратили. Правда с чьими-то пометками. Замдиректора нагрубил: «Ты не социолог». Это была просто ругань, он не гнал меня и не мог без ведома кафедры, которая устроила меня сюда, однако, несмотря на увещевания своего научного патрона, я обиделся и ушел. Вот и вся история. Зачем понадобилось Мише Гуревичу вспоминать о ней «с моих слов», чего ради уцепился и развил эту тему Кудрявцев — непонятно. Если для грязи, то вранье настолько очевидно, что не меня, а себя же они пачкают. На суде, казалось, докажу это в два счета.

Сосед Величко и его приятель Гаврилов дают показания по порнографии: я-де читал им рассказ «Встречи». Показания до смешного путаны и несерьезны. Величко: «Мы выпили, пришел Мясников, стал читать, до конца не дослушали». Кто мы? Сначала Величко называет Барановского. На следующем допросе Гаврилова. Гаврилов: «Крепко выпили, пришел Мясников, помню смутно, уснул». Во-первых, оба признают, что были в состоянии, когда утрачивается способность нормального восприятия и потому, согласно процессуальному кодексу, такое показание не может быть принято во внимание. Во-вторых, Величко необъективный свидетель. Хронический алкаш. Путает туалет с ванной и коридором. Соседи убирают за ним, ходит в вонючих штанах по квартире. Мы с глухонемыми Александровыми неоднократно обращались в милицию. Его штрафанули, тогда он пригрозил выселить меня из Москвы. Я не придал никакого значения, но он, оказывается, знал, что говорит. В 1979 г. донес участковому, что я антисоветчик. Не с той ли поры органы обратили на меня негласное внимание? Как бы то ни было, заявления соседей в милицию есть, наказание за коммунальное хулиганство есть. Сообщение участкового о доносе Величко подтверждает Наташа. Предвзятость показаний Величко с приятелем бесспорны, они только компрометируют следствие.

Итак, из 22 опрошенных в активе обвинения всего четыре свидетеля: Гуревич, Герасимов, Величко, Гаврилов. Герасимов не имеет к делу совсем никакого отношения, а его предположения больше характеризуют его, чем меня. Остальные клеют распространение порнографического рассказа. Давал читать «173

свидетельства» говорит только Гуревич. В юридических толкованиях это может считаться распространением. Однако для обвинения в систематическом распространении надо как минимум еще двух свидетелей, а их Кудрявцев так и не наскреб. И все четверо так заврались, что диву даешься — неужели будут стряпать дело на таком гнилье? Какой суд возьмется за такое дело?

Заключения нескольких экспертиз: рукописи написаны рукой Мясникова, псевдоним — рукой Попова, текст «173 свидетельства» отпечатан на машинке в количестве не менее пяти экземпляров. Последнее чепуха, пятого не было и не могло быть, т. к. на этой бумаге он вышел бы совсем слепым, четвертый-то еле виден. Два заключения по поводу «Встреч». Первое из управления охраны государственных тайн в печати. Цензор категоричен: рассказ — порнография. Но какое отношение имеет охрана государственных тайн к эротической теме? Секс — государственная тайна СССР? До сих пор я об этом не догадывался. Чувствуя нелепость этого отзыва, Кудрявцев подкрепил его заключением литературоведа. Кандидат филологии Гальперин, отметив мое знакомство с литературным мастерством, а также свое знакомство с реминисценциями и рефлексивными перверсиями, заключает, что рассказ может считаться порнографическим. Литературовед жмет руку цензору. Но меня удивило другое. Постановления на производство экспертизы датированы ноябрем-декабрем, а Кудрявцев сообщал мне о результатах еще в сентябре. Результаты экспертизы известны до ее производства — изумительны трюки следователя! А где, кстати, мое заявление прокурору о нарушениях уголовно-процессуального кодекса по моему делу? Где жалоба Наташи на беззаконие и нахальство следователя Воробьева, который допрашивал ее в день обыска?

Кудрявцев скорчил гримасу:

— Читайте дальше, так мы никогда не кончим.

Но и дальше этих заявлений я не обнаружил. А было нечто совсем иное. Почти четверть тома занимает подборка материалов о прошлогоднем конфликте с милицией в Пензе.

— Зачем это? — спрашиваю.

— Для характеристики вашей личности.

Яснее становится стиль расследования. Не грязь удивляла, Кудрявцев обещал ее с первых допросов, поражала бессовестность, с какой он наскребал компрометирующий материал. Чем хуже, тем лучше. Так, извозить, чтоб не отмылся. Не брезговал ничем.

Что такое пензенский инцидент? Дело было так. Из нашей

лаборатории пригласили несколько человек в Пензу сделать доклады на всесоюзном совещании по трудовым ресурсам. Нас встретили и разместили в лучшей гостинице. У одной из наших женщин — день рождения.

Решили отметить в номере. Женщины — на базар, мы с Женей Рудневым — за водкой. А водки нигде в Пензе нет — ни в центре, ни по краям. Часа три пробегали, не возвращаться же с пустыми руками, хоть бутылку коньяка — на командировочные больше не разбежишься. У центрального гастронома очередища с улицы в два хвоста. Что такое? Водку выбросили! Где дефицит — там и избыток: взяли мы две и одну про запас.

В номере все давно накрыто, нас потеряли. Литр на шестерых — три тоста. Первый — за Надежду Афанасьевну, второй — с приездом, третий — за прекрасных дам. Чуть-чуть не хватило для личного счастья. Достали из заначки третью. Разливаем, пьем, и все дружно отставляем стаканы. Рты перекошены — разбавлено! Нахожу пробку от этой бутылки — так и есть, порчена, «золото» наполовину содрано, свинцовый отлив. Ой, как это было некстати! И как неприятно. Женщины отшутились и по номерам, а нам с Женей не до шуток. Спустились вниз в ресторан, грамм по сто. Заказали, правда четыреста. Закуски никакой: ни рыбы, ни овощей. Мясного я не ем, да и сыты — только из-за стола. Официантка трясет блокнотиком, карандашом постукивает: не нравится, что не берем что попало. Ну, сыр нашелся, хвост селедки, кофе на посошок. Рассчитались сразу, чтоб не засиживаться. Тут музыка, танцы. Посидим-ка с полчасика, что в номере делать? Отлучился в туалет, прихожу: на скатерти недопитый графин, ни хлеба, ни закуски, ни Жени нет. Вот идет Женя. Где закусь? Жмет плечом. Я к официантке.

— Восстановите, пожалуйста.

И кого-то на танец пригласил. Возвращаюсь, стол совсем пуст. Женьки опять нет, официантка за соседним столиком в мужской компании. Я к ней. Кто-то из ее кавалеров мне тарелку с хлебом подает. Зову метрдотеля. Появляется Женя вялой походкой.

— Где ты бродишь? — накидываюсь. — Ты выпил?

— Нет.

Подходит женщина-метрдотель с недовольным желтым лицом. Даже не запирается, а просто:

— Идите отсюда, пока милицию не вызвала.

Просто и нахально. Полдня бегом по всей Пензе, разбавленная водка в награду и еще хамство, доселе невиданное. Ну нет, этого я тебе не спущу:

— Зовите кого хотите! Я не уйду, пока не восстановите.

Женя что-то замямлил, я предложил ему с глаз долой. Он и так анемичен, а чуть выпьет — сидя шатается. Сам-то в норме, но со стороны… Пусть лучше уйдет. Сижу, жду администратора. Вдруг появляется рослый старшина милиции:

— Почему скандалите? Документы? Уходите, а то…

Тут, каюсь, действительно прорвало меня:

— Пошел вон!

Он, ни слова не говоря, ушел. Ну, думаю, за офицером пошел. Должен ведь кто-то разобраться. Нет, в дверях тот же старшина. Решительной походкой ко мне. Без лишних слов выдергивает из-за стола, заламывает руки и через зал на выход. Руки я вырвал, музыка прекратилась, отвисли челюсти со всех сторон. Я, в чем был, шагнул в холодную темень пензенского октября. У подъезда — наготове милицейский «Москвич». Через площадь — в ближайшее отделение. Там их целая свора. Один за столом заполняет протокол. Остальные куражатся:

— Умный больно! Собьем спесь — на всю жизнь проучим!

— Где дежурный офицер? Кто вы такие?

— Мы — власть! Выворачивай карманы! Снимай шнурки!

Я не стал. Тогда меня обыскали, выгребли все из карманов, разрезали шнурки на ботинках. Дают протокол: «В нетрезвом виде приставал к публике, оскорблял персонал, работников милиции, выражался нецензурными словами».

Бросаю бумагу на стол:

— Ложь!

И меня отводят в камеру. Большая, темная. На цементном полу скрюченная фигура, пьяный, наверное. Холодно. Фигура в пальто, а на мне рубашка да кофта. Вдоль одной стены узкая доска, больше присесть некуда. Потихоньку народец прибывает. Все пьянь. Кручусь намятой костью на жердочке, мерзну, ни сесть, ни лечь. И такое отчаяние взяло! Такая обида жгучая! Не будь дрожи, физической муки — с ума бы сошел, никакое бы сердце не выдержало. «Так и надо, так и надо, — говорю себе. — Носом нас сюда нужно тыкать, чтоб знали, что делается. Пострадай и подумай — вот она, власть в чистом виде!». Вдруг к полуночи называют в кормушку мою фамилию. Спохватилась, сволочи! Покричи, покричи — теперь даром вам не пройдет. А может, им просто скучно стало, поговорить захотелось? А у меня бумажник в заднем кармане брюк — проглядели. Жду, что дальше. А ничего — до утра проелозил на узкой деревяшке.

На полу зашевелились. Угрюмое пробуждение. Нескольких человек взяли на уборку. Загалдели за дверью. Милицейское утро, рабочий день. Кого-то, выкрикивают. Обо мне словно забыли. И только часов в 9 — меня. Захожу в ту же комнату. За

столом — штатский в спортивной шапочке. Люди в форме стоят, не шелохнутся. Тишина. Штатский пишет. Минуту стою, другую. Шапочка театрально откидывается от листа и с места в карьер:

— Почему хулиганите? У нас своих хулиганов полно.

— Вы ваших сотрудников имеете в виду?

— Что-о?! — руку в сторону, вполоборота кому-то — 15 суток!

Спрятали опять в камеру. Стучу, рвусь к телефону. Где Женька? Где обком партии, пригласивший нас? Кроме того, вчера забегал ко второму секретарю обкома комсомола, есть у меня поручение от журнала «Молодой коммунист». Только бы до телефона добраться. В камере слушок: к 12 повезут в суд. Разрешили, наконец, позвонить. Связываюсь с организаторами семинара. Кто-то испуганно долдонит в трубку:

— Ах, как неприятно, как же теперь быть? Ваш доклад сегодня. А вы не знаете, где начальник отделения?

Набираю номер вчерашнего знакомого, второго секретаря обкома комсомола. Так, мол, и так — сижу в кутузке. Приветливо отвечает:

— Сейчас разберусь. Перезвоните минут через десять.

Перезваниваю.

Говорит с презрением:

— Мне сказали, что вы не можете представлять журнал «Молодой коммунист». Ничего не могу для вас сделать.

Зовут меня к телефону. Знакомый голос председателя местного общества «Знание»:

— Говорят, у вас что-то серьезное, Алексей Александрович? Очень прошу, извинитесь перед начальником. Вы его очень обидели, но, уверяю вас — он очень хороший человек.

В полдень нас четверых погрузили в зеленый газик и отвезли в райсуд. Судья под гербом, рядом — сопровождающий нас офицер милиции. Минут по пять на человека. Суд скорый и правый, 15 суток, 15 суток, два месяца. Что за срок? — впервые слышу. Их удаляют. Ну, думаю, недели две мести мне пензенские улицы. Вердикт судьи — мелкое хулиганство.

— Вы находите состав преступления?

— Да. О вашем поведении будет представление по месту работы.

Гора с плеч. Значит, только «телега», отделался самым малым.

Но все равно мало приятного. Во-первых, признан виновным я, а не хамье из ресторана и кормящаяся там милиция. Во-вторых, по работе как раз некстати. Я исполнял обязанности завсектором и предстояло утверждение в Комитете. Все летит к чертям. Но

поборемся. Если ничего не добьюсь, если не заставлю принести официальное извинение, тогда и об остальном жалеть нечего. Тогда все равно.

Нас доставили обратно в отделение, выдали изъятые вещи, и я направился в гостиницу. Мятый, в шлепающих туфлях без шнурков. Через площадь мимо елочек по фасаду обкома и облисполкома. С твердым намерением сразу уехать из проклятого города. Но доклад мой перенесли на следующий день. Заверения, что все уладится. Отчитал. Уезжал в сочувствиях и не сомневался, что обидчикам несдобровать.

В Москве посоветовался с ребятами из журнала «Советская милиция». Восприняли кисло: шансов никаких. Однако заявление мое направили в Пензенское УВД. Вопреки обещаниям пензенских устроителей, на работу пришла-таки «телега». Комитет теребит директора: какие приняты меры? Первый удар я отвел: «Жду ответ от «Советской милиции» и расследования. Ответ пришел от замначальника пензенского УВД Уланова: «Провоцировал драку, бил в ресторане посуду». Хлеще сержантского протокола. Спрашиваю в «Советской милиции» — будете разбираться?

— Бесполезно, старик. Теперь у них на каждое слово куча бумажек и свидетелей. Сплюнь и забудь.

Тогда я направил заявление замминистра внутренних дел Олейнику. В одном из последних номеров ЛГ он рассказывал, как хорошо работает с письмами граждан. Он отфутболивает мое заявление тому же Уланову. Получаю тот же ответ. Продолжать битву не было сил и времени. Да и к кому обращаться?

И вот теперь я листаю показания каких-то официантов, метрдотеля, милиционеров, Уланова, Не было только того, с чего все началось: первого милицейского протокола и «телеги» на работу. И не случайно: их версии не совпадали ни между собой, ни с более устрашающей версией Уланова. Противоречивы показания опрошенных официантов и милиционеров. Заявляю Кудрявцеву протест против включения не расследованных материалов в дело, к которому они не имеют к тому же никакого отношения. Он отклоняет протест. Тогда требую подшить недостающие документы.

— Это вы можете потребовать на суде, — зевая, заявляет Кудрявцев. — Давайте заканчивать.

Что заканчивать, если следующий лист обухом по голове! Кровь ударила. Передо мной постановление о возбуждении уголовного дела по статье 17–190' на Омельченко Наталью Борисовну. Соучастие в преступлении. Тут же подписка о невыезде. Все это совсем недавно, дней 10 назад. Ах ты, подлец!

Переворачиваю лист — другое постановление, тремя днями позже, кажется, от 22 декабря — обвинение Омельченко в преступлении по ст. 190', уже без смягчающего соучастия статьи 17-й.

— Что вы делаете, Игорь Анатольевич? Вы же прекрасно знаете — она ни при чем, это не тот человек. Как у вас рука поднялась?

Он улыбается:

— Читайте дальше.

— Она на свободе?

— Читайте, читайте.

— Если с ней что-нибудь случится, если арестуете…

— Стрелять будете?

— Нет, зубами перегрызу!

— У вас психология преступника! — рассердился Кудрявцев.

Следующее постановление, помеченное буквально вчерашним днем, 29 декабря, было о прекращении уголовного дела Омельченко с зачетом ее личности, не представляющей социальной опасности, и передаче дела в товарищеский суд.

Я еще не знал, что прописку Наташи на нашей площади признали недействительной, что ее силой выкинут из квартиры, что она уже без работы и не может устроиться, что врываются к ней в комнату участковый и пьяный Величко, но уже то, что я сейчас вычитал, поражало бессмысленной, озверелой жестокостью. Ненавидящими глазами смотрю в упор на Кудрявцева. Всякие попадались люди, иные крепко досаждали и, может, желали большего зла, но никого из них я не назвал бы врагом. И вот враг сидит передо мной. Ранняя седина в волнистой шевелюре, ореховые глаза, располагающая, на первый взгляд, почти интеллигентная внешность. Не Змей Горыныч, не Кащей, не гестаповец, а наш, советский. И враг. Подлый и страшный. Нацеленный только на зло. И страшен тем, что всесилен. Не тем, что лжив и беспощаден, что разбойничает, творит беззаконие, а тем, что делает это от имени закона, государственной власти. Личная подлость его многократно усилена мощью государственной машины. Огромное государство против слабой, ни в чем не повинной женщины. У государства много солдат, много танков, колючей проволоки, и атомных бомб, и никого оно так не боится, как тех, кого призвано защищать. Вся эта мощь росчерком пера подлого человека обрушивается и давит женщину, вина которой лишь в том, что она — моя жена.

Много откровений подарило мне чтение первого тома. У меня были друзья, и они были подарены мне вновь. У меня была жена, она осталась со мной. Это делало меня счастливым и за

решеткой. Тюрьма не разлучила нас, а сблизила. И теперь, думаю, навек. Это умножает силы. Трусоватая нейтральность кое-кого из друзей и знакомых не огорчала, ибо в такой момент и нейтральность — мужество. Даже Гуревич теперь не огорчал. Скорее, мне было жаль его. Его предательство отравит мне несколько лет, а ему всю жизнь. Я знал Мишу и знаю, что в тюрьме мне будет легче, чем ему на воле. Нигде не будет он чист и свободен, никогда, до гробовой доски. О грязи, которую насобирал следователь среди величек и герасимовых, говорить не стоит. Такого добра у нас навалом, это не удивляет. Но то, что правосудие делает ставку на мразь, что не содеянным тобой, а собственной грязью изгаживает тебя, — с этим я еще не сталкивался. Слышал, читал, но самому изнутри, вот так лист за листом пройти через это — надо пройти, чтобы разглядеть их в упор. В циничной откровенности сфабрикованного дела — прямой вызов. Ответ на него может быть только один — борьба. Сосуществовать с этим нельзя. Кто-то должен быть стерт с лица земли. Либо человек, либо они — подлые вершители человеческих судеб.

Как ни торопил следователь, первый том занял весь день. Я не просматривал, а внимательно вглядывался в каждый лист своего дела, как в чудное зеркало. «Свет мой, зеркало, скажи, да всю правду доложи», и оно выкладывало обо всех без утайки. Было над чем подумать. Пришлось Кудрявцеву везти остальные тома на следующий день.

Во втором томе — все экземпляры «173 свидетельств» и «Встреч». В третьем — не инкриминированные, но подшитые к делу рассказы и «Голос из тьмы», первые машинописные экземпляры. Прочие экземпляры и рукописи, как сказал следователь, вошли в вещественные доказательства, которые он не потрудился доставить на ознакомление. Все погибло. Последний раз просматриваю свои детища. Задерживаю страницу и… невыносимо, как невыносимо матери, у которой отнимают детей. Ведь не то для нее главное, какими они уродились, а то, какие бы они ни были, они — часть ее самой и, может быть, лучшая часть, и не просто часть — в них смысл ее жизни. Так и у автора. Листаешь и думаешь, как вынашивалась каждая вещь, сколько муки и творческой радости в этих страницах. А незрелого, недоношенного больше всего жаль. Словно от сердца отрывают и в огонь. Корчится душа на распятии. И так безнадежно — в глазах черно. Хоть что-нибудь бы спасти, хоть лоскутки бы на память. Я знал, что имею право выписывать из материалов дела. За что хвататься? Что успею? Начинаю конспектировать «173 свидетельства». Кудрявцев лапу на лист:

— Нельзя.

— Имею право. Нарушаете процедуру.

Кривится угрожающе.

— Антисоветчину в камере распространять?

— Необходимо для защиты, — лихорадочно пишу, чтобы больше успеть.

Опять встревает:

— Не позволю все переписывать!

— Я конспектирую.

Хоть краткий, но вырвал-таки конспект криминальной статьи. Дает представление. Чувство пусть маленькой, но все же победы.

Фразу спасти — казалось невозможным, а тут приличный фрагмент, он еще обрастет и выживет — это ли не спасение. Единственный способ общения с ними — сопротивление. Только протест, сила на силу, способны заставить их уступить. И в тюремном логове, в пасти чудовища можно и нужно вести поединок — тогда только можно чего-то добиться. Иначе не выдюжить.

Давно уже следователь нетерпеливо подсовывает акт о закрытии дела. Пора кончать. Надо записать свои замечания и поставить подпись. Ввиду того — пишу, что, как выяснилось, следователь меня обманывал, некоторые мои показания были спровоцированы и потому ошибочны. Я отказываюсь от них. В ходе расследования имели место грубые нарушения уголовно-процессуального кодекса: угрозы, шантаж, наводящие вопросы, тенденциозное составление протоколов и подбор свидетелей. В деле отсутствует ряд принципиально важных документов, например заявление Омельченко о противоправном поведении следователя Воробьева и отказе ее от данных ему показаний, мое заявление прокурору Дзержинского района о процессуальных нарушениях по моему делу…

Кудрявцев злился. То и дело заглядывал, что я пишу, чертыхался:

— Чепуха! Это вам не поможет.

Места для замечаний отведено в акте мало. Убористо заполнил все, что доставало перо. Наверное, и правда, это мне не поможет, но настроение у Кудрявцева за полдня перед Новым годом все-таки испортилось. Только после этого я подписал акт. Больше Кудрявцева я никогда не видел.

# Дело начинается с «Поиска»

Был в первом томе документ, над которым я раздумываю по сей день. Первый лист, с которого начинается все дело. Это постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого по статье 1901 по делу Абрамкина, Гримма, Сокирко и др. Постановление датировано, кажется, 26 июля. За десять дней до обыска.

Не забыть тех дней. Трещали звонки, Москва гудела, ошарашенная внезапной смертью бессмертного Высоцкого. В понедельник, 29 июля, невиданное столпотворение у театра на Таганке. Никаких надежд проникнуть на панихиду. Загодя, через забор попадаю на Ваганьковское, а оно полным полно. Кругом люди, люди, породненные общим горем. На скамьях — кассеты магнитофонов. Живой голос Высоцкого вместе с нами ждал его гроб, он хоронил себя под собственные песни. На цыпочках через кордон милиции и голубых рубашек, опоясавших могилу, через людские головы и зелень ветвей, вижу выплывающий из машины гроб и белый, меловой профиль Высоцкого. Актеры, Влади с ребенком, какой-то распорядитель в штатском, чьи указания проворно выполняет милиция. И солнце с золотого купола кладбищенской церкви… Не чуял, не гадал, что уже и надо мной коса. Десять дней ходил под ней, ничего не подозревая. После обыска спрашивал себя: страшно ли мне? И отвечал — страшно. И думал: жить еще страшней. Сиротеешь без таких, как Высоцкий. А я потерял в тот год и Сашу Усатова, несколько раньше Володю Васильева, Шукшина. Не было им достойной замены, не будет никогда. Пусто стало вокруг, стыдно жить после них. «Когда теряешь других, теряешь частицу себя». Я чувствовал, что во мне потеряно больше, чем осталось. «Жизнь воткнулась в вязкое дерьмо, и я не вижу выхода», — последняя запись в дневнике. И вот он, выход — тюрьма.

Почему 26 июля? Кто эти люди: Абрамкин, Сокирко, Гримм? Каким боком меня к ним? О них я узнаю в камере для осужденных от Терновского. Это группа «Поиск», редакторы и авторы самиздатовского журнала, издаваемого за границей. К тому времени они находились под стражей, в течение 1980 г. были осуждены. Как я оказался причастен к ним, совершенно о них не ведая? У них были статьи о Конституции, у меня тоже, — ну и что? Единственное объяснение я находил тогда в том, что дознаватели искусственно пристегнули меня к «Поиску», чтобы получить формальный повод для обыска. После изъятия моих текстов выделяют из группы и 16 августа заводят отдельное дело.

С этой точки зрения привлечение по делу «Поиск» выглядит как абсолютно произвольная, безосновательная акция. Предлог откровенно фальшивый, ордер сфабрикованный — значит, обыск был незаконный. Могут ли инкриминироваться материалы, изъятые при незаконном обыске?

Прошло четыре года. Я отсидел. Больше года на так называемой воле. И только сейчас, узнав о судьбе редакторов «Поиска», кое-что вспомнив и сопоставив, родилась иная версия о моей причастности к ним, проливающая свет на загадку моего ареста, на открытый пока вопрос: как я попал под колпак, с чего и с кого началось? До сих пор у меня было несколько гипотез.

Первая исходила из доноса Величко, который заявил, что я антисоветчик. Я опротестовал донос письменным контрзаявлением, которое отнес начальнику отделения. Тем не менее, КГБ мог начать негласную проверку. В гостях исчезают записные книжки с адресами и телефонами, берут за жабры Гуревича, который, если и не был осведомителем, теперь стал им.

Последний месяц-два, взяв слово о неразглашении, таскают по моим делам для скрытого опознания тех, кто ко мне заходит, наших глухонемых соседей по квартире Александровых. Воровские посещения квартиры в наше отсутствие. Щепки, вмятины на косяке — следы взлома замка комнатной двери. Дважды брали ключи у Величко. И так далее, вплоть до официального обыска, когда они уже прекрасно знали, где что лежит. Однако мало ли что наговорит человек в коммунальной дрязге. Да и что мог сказать Величко: слушает радио, критикует? Эка невидаль! О существовании «173 свидетельств» он не знал, поэтому особых оснований для слежки за мной не было. Вероятность того, что все началось с Величко, не убедительна.

Вторая гипотеза — Гуревич. Вольный и невольный, но есть основания полагать, что он — агент КГБ, а коли так, то органы могли знать о «Свидетельствах» едва не с момента написания, и все это время держали меня на контроле. Потом мы с Гуревичем у Поповых. Он узнает, что Олег просит статью в эмигрантский журнал, что Олег — такой-сякой диссидент и контактирует с иностранцами. Возможно, после этого КГБ всерьез берется изучать мои намерения и связи. Олег подает на выезд. КГБ принимает решение пристукнуть нас одним хлопком: взять меня, а через меня и Олега. В мае ко мне приезжает Гуревич. Снова интересуется текстом, читает, убеждается, что рукопись у меня дома. КГБ идет по его следу. И финиш. В общем логично, но я не очень верю, что первый настучал Мишка. Сколько его знаю, вряд ли он мог сексотить давно и усердно. Если бы он настучал по первому чтению, они нагрянули бы году в 77–78-м — чего

выжидать три года!

Когда опубликую, что ли? Правда, у органов могли быть свои расчеты, о которых я не догадываюсь. Но в рамках здравого смысла эта гипотеза под сомнением. Скорее всего, они подцепили Гуревича по моим записным книжкам, с весны, с исчезновением первой книжки. Объяснений масса, а тьма не рассеивается.

Ну а во тьме шаришь наощупь. Когда остаются вопросы, ничего нельзя исключить. Я не исключаю даже Олега Попова. Больше года, с 1978 до конца 79-го первый экземпляр текста был у него. Сначала намекнул на «Континент». Я жду. Он — как забыл. Напоминаю. Теперь речь идет уже о каком — то «Ковчеге». И опять долгое молчание. Через год тереблю: «Ну, как?» «Ты знаешь, говорит, сам я литературой не занимаюсь и показывать некогда. Пока лежит». «Где лежит?». Да тут где-то, дома». Я забираю рукопись: «Пусть лучше лежит у меня. Понадобится — скажешь». Затем Олег предлагает самиздат: «Это наверняка». А что, думаю, наверняка? Изготовят дюжину машинописных экземпляров, которые тут же конфискуют, а мне срок наверняка. Стоит ли такая игра свеч? Да и проволочка охладила. Коли для «Континента» «непрофессионально», в «Ковчеге» не нужно — раз никому это не надо, чего навязываться? Значит, не состоялась вещь. Сидеть за нее я отказался. Почему Олег упрямо не хотел свести меня с редактором? Я же просил его. Почему брал на себя роль несведущего и занятого посредника, когда можно было обеспечить прямой контакт автора с издателем. Как мог больше года хранить рукопись в своем шкафу, когда каждый день жди обыска, когда не мог не знать, чем чревата она для автора? Когда он заговорил о самиздате, я уже не мог вполне доверять ему. Осталось впечатление, что независимые авторы КГБ интересуют больше, чем диссидентов и эмигрантские издания. При таком отношении каши не сваришь. Работать в таких условиях — самоубийство. И цена ему грош, ибо все достается органам.

С первого допроса и до конца срока твердили об Олеге: ярый антисоветчик, шпион, выгораживаешь — потому и сидишь, знай, с кем водишься. Тем не менее он чуть не плюет в морду следователю, дело его закрывают, а через пару лет дают визу на выезд. Если бы действительно хотели посадить, неужели бы постеснялись? Если он так страшен, как говорили, — неужели бы выпустили? Как будто без моих показаний не нашли бы повода — не верю я этому. Раз не посадили, значит не очень хотели. Вот вам и антисоветчик и шпион. Несколько лет активно крутится в самой гуще диссидентства, постоянные контакты с иностранцами, вокруг всех сажают, ему — ничего. Уже после моего ареста Олег сразу везде: в «Фонде», в «Амнистии», в группе отказников, чуть

ли не в «Хельсинки». За это сажают, а с него как с гуся вода. Редкое везение. На зону мне от жены далеко не все письма доходят. Кирилл Попов поздравил обычной открыткой с днем рождения — целый скандал, так и не отдали. От Олега — получил все письма. От «антисоветчика и шпиона». Не странно ли? После моего ареста собрал подборку моих публикаций и исследовательских материалов. Сказал, что по ним опубликован обзор в солидном английском еженедельнике «Экономист». Сколько просил через людей экземпляр журнала или оттиск — без толку. Неужели труднее получить, чем отдать? Была ли такая публикация? Уже не верится. Оставались у него бумаги, имеющие ко мне отношение. При отъезде сказал, что передал кому-то и тому-то. Выхожу из зоны: нет ни у того, ни у другого. Канули бумаги в лету. Что за дела? Много возникает вопросов. На каждый, очевидно, есть и ответ. Но ответить может лишь сам Олег.

Через десять дней после эмиграции Поповых, в июле 1982 г., в Тагильской лагерной больнице навестили меня два кагэбэшника:

— Попов — агент ЦРУ!

— А может КГБ?

Выпучились на меня:

— У вас шпиономания. Почему так считаете?

— Ну как же, — говорю. — Меня вы называете «патриотом», а он не «патриот», я сижу, он — на свободе, мне — тюрьма, ему — виза на выезд. Концы с концами не сходятся.

Нахмурившись, помолчали, потом сказали:

— Парадокс.

И смех и грех, но парадокс действительно есть. Пока есть вопросы, остаются сомнения. Я стыжусь своих сомнений относительно Олега. Мне бы поговорить с ним, я уверен, ничего от них не останется. Тем более что по-человечески он мне глубоко симпатичен. Олег нанял хорошего адвоката. Очень помог Наташе. В беде оказался ближе всех моих друзей. Мать, Наташа и он. Я не просто благодарен ему, я давно почитаю его, как родного. Но пока есть неясности, ничего нельзя исключать. Страшный, заблудший мир. Палеозойское кишение нравственных чудовищ и ящеров среди нас. Исподлился человек настолько, что даже от лучших слышу: «Самому себе нельзя доверять». В этом мире, чтобы доверять человеку, не должно быть открытых вопросов.

Четыре года прокручиваю три эти версии и ни одна не удовлетворяет. Последняя же настолько беспардонна — думать неловко. Чувство вины и черной неблагодарности перед Олегом.

Но логика ставит вопросы. Платон мне друг, но истина дороже. Надо же хоть для себя уяснить, с чего и кого началось. Эта загадка не дает покоя. Остается открытым главный вопрос: почему мое дело начинается с «Поиска»?

На пресловутой свободе, по эту сторону колючей проволоки, я расширил свое представление о группе «Поиск». По-разному сложилась судьба его редакторов. Абрамкину — три года, и к концу срока влепили еще столько же с переводом на строгий режим. Гримм получил три строгого и отделался половиной, живет сейчас недалеко от Москвы. Сокирко — совсем сухой из воды: три года условно. Живет по-прежнему в Москве, дает у себя какие-то салоны словоблудия и, говорят, открыто записывает разговоры на магнитофон. Все еще считается диссидентом. Журнал делали вместе, а судьбы, как видим, разные. Что же это такое? А вот что: Гримм и Сокирко раскаялись, признали ошибки, сказали волшебное слово: «Больше не буду». Кто же «детишек» ввел в заблуждение? Да, наверное, такие враги, как друг и коллега Абрамкин. Наверняка они назвали имена всех своих растлителей, выложили всю кухню изготовления и транспортировки журнала, рассказали про всех авторов и кто намечался в авторы. Все — про всех, без этого ЧК раскаяния не принимает, дураку ясно. Будь сейчас Олег, я бы спросил его: «В какой самиздат ты хотел толкнуть «173 свидетельства»? Не в «Поиск» ли? Если бы он подтвердил, я бы еще спросил: «Значит, ты говорил там обо мне?». И если так и было, то мое обвинение в связи с группой «Поиск» и последующий обыск перестали бы казаться надуманными, необоснованными, формальными. Тогда все стыкуется. Попалась недавно мне на глаза огромная книженция «С чужого голоса» изд. «Московский рабочий», 1982 г. Там целая глава о «Поиске» — она-то и надоумила на то объяснение повышенного внимания ко мне, которое представляется наиболее правдоподобным.

Олег сообщил мне о договоренности с самиздатом где-то в конце 1979 г. — начале 1980. Вскоре начались аресты редакторов и авторов «Поиска», с которыми Олег, вероятно, обсуждал возможность публикации моей статьи, а может, и нескольких статей и рассказов. Кто-то из раскаянных чистосердечно вспомнил об этом и назвал мое имя. Ему — в зачет, меня — на учет. Тогда-то с весны стали пропадать мои записные книжки. К маю завербован Гуревич. Дальше пошло-поехало. Таинственные пришельцы, скрытый обыск. Рукопись в нижнем ящике письменного стола. Сняли возможно копию. Прячь, жги — уже не отвертеться, улика у следователя. И 26 июля обвинение в связи с делом «Поиск». Очень резонно и по-советски обоснованно. Не

придерешься. Хотя привлекли по «Поиску», о нем меня ни на одном допросе не спрашивали. Впервые узнаю об этом обвинении лишь на ознакомлении! Как, почему? Кудрявцев на этот вопрос отмолчался. Чем объяснить щепетильность следователя? Да чтоб не было лишних вопросов, чтоб не засветить ненароком диссидента, ставшего стукачом. Он еще им пригодится. Известно, что не все показания подшиваются в дело. Самые сокровенные остаются в анналах органов. Думаю, что и по моему делу там есть свое досье, пошире тех трех томов, которые переданы в суд. Вот бы туда заглянуть. Однако и то, о чем проговорились они в книжке «С чужого голоса», достаточно для объяснения загадки первого листа первого тома моего уголовного дела. Во всяком случае сам себе я могу ответить теперь на вопрос: с чего и с кого началось?

# Конфликт с «королями»

Одолели праздничные дни Нового года. В такие дни особенно тошно. Службы не работают: ни передач, ни ларя, ни вызовов, ни обвинительных заключений. Никаких новостей, и газеты нет. Как замурованы. А по радио веселая музыка без конца. Дави клопа и радуйся за тех, кто сейчас гуляет. Кто мог, завели новые календари. Первые кресты на первых числах 1981 г. В камере становилось все нестерпимее. Банщик по-прежнему не позволял стирать во время мытья белье. Всем можно, а нам, пока я здесь, нельзя. В неволе пустяков нет, проблема со стиркой причиняла большие неудобства. Феликс раздражался больше всех, но пока не открыто. Втихаря настраивал «королей» против меня, а мне по-дружески:

— Сжалься, профессор, уходи!

Я написал начальнику тюрьмы заявление такого примерно содержания: «Такого-то числа я обратился к вам с просьбой принять меня по вопросам, касающимся бытовых условий в камере 220. На следующий день меня перевели в другую камеру № 124, где клопов еще больше. Тогда я направил вам заявление, где изложил то, что устно хотел сказать по поводу нарушений правил содержания и недостойного поведения некоторых лиц административного персонала, в частности, зав. банным отделением. Ответа не последовало, зато банщик запретил всей камере стирать в душе, выдвинув условие: «Пока среди вас бородатый». Я расцениваю это как травлю заключенных. Подобная реакция на жалобу и подобные методы воздействия на неугодных администрации лиц — противозаконны. Я требую немедленного отстранения этого человека от работы с людьми. Если это требование невыполнимо, прошу перевести меня в другую камеру и указать банщику на недопустимость подобных действий».

По желанию «королей» я показал им заявление. Весь день они шушукались между собой, потом завернули:

— Не пойдет. Опять жалоба. Из нашей камеры жаловаться не надо. На хрена козе баян — всем хуже будет. Опарафинь мента — он тебя сам выведет без заявлений.

Не нарочно ли провоцируют? Нет, лезть на рожон из-за этой шоблы не стоит. Пошел на компромисс: заявление порвал и жду, что дальше.

В новогодние праздники устроили шабаш — что-то вроде концерта: полная программа прописки с песнями-плясками. Особенно на все лады заливался Хохол — шустрый, услужливый и

хитрый малый. Короли назначили его шнырем — заметная фигура в камере. В его ведении все хозяйство: уборка, мытье посуды, общий порядок. Сам уборкой не занимался — назначал. Как хотел, так и назначал. Графика дежурства не было. Назначения проводились в виде наказаний за провинности; не так сел, не так встал, не так закурил. Всего больше доставалось слабым и безропотным. Они всегда были в чем-то виноваты перед шнырем, на бумажке которого «химия» расписана впредь на два месяца. Короли делали что хотели, общие правила их не касались. Уборка или сделать кому-то из них замечание — у шныря и мысли не было. Он служил им, как собака. А сам отыгрывался на слабых. Пол, сортир драили практически одни и те же. Меня не трогали, я даже имел привилегию пользоваться столом или, как его называют, платформой. Писал, играл в шахматы.

В один из новогодних дней сижу за столом, за шахматами. По радио музыкальный спектакль. Отлучился отлить, только начал — голос шныря:

— Профессор! Три химии.

Оглядываюсь.

— Чего ради?

— Не слышишь? Музыка!

Какая к черту музыка, она целый день, что же никто не ходит? Кроме того, в самодельных правилах на дверце «телевизора» речь идет о музыкальных концертах, а здесь спектакль.

— Нет, концерт — видишь, поют?

— Нет, спектакль, видишь, заговорили?

— Ты ссал, когда пели.

Хохол прилип. До сих пор он мне не досаждал. Видно, кто-то решил развлечь меня «химией», поручил Хохлу, тот долго ловил момент и сейчас ни за что не хотел отступать. Надо ставить его на место.

— Коля, подари эту «химию» себе. Когда все слушают, толкан закрывают палочкой, предупреждают, чтобы никто не ходил. Это делает шнырь, ты этого не сделал, спектакль не слушали, так что заткнись.

— Не пудри мозги, профессор. Был концерт, я пишу тебе «химию».

— Пиши, что хочешь.

Итак, первый почти открытый выпад со стороны королей. Натравив шныря, Феликс и команда начали активные действия, чтобы выжить меня из камеры.

Ночами, когда все спали, я засиживался за столом. Курил

трубку, читал, писал. Здешнюю библиотеку не сравнить с лефортовской, но кое-что было: «Амур-батюшка» Задорнова, «Что делать?» Этот роман Чернышевского мне никогда не нравился, я ставил его много ниже «Пролога», а тут вдруг перечитал с большим интересом. Но боже мой, в каком состоянии книги! То начала нет, то конца, то середина вырезана. В корешках полно клопов, на листах кровавые полосы. Из-за нехватки туалетной бумаги рвут книги. Но их нужно возвращать, поэтому вырывают отдельными листами — варварство вынужденное. Администрация экономит на бумаге — и разоряется библиотека. Характерная черта всей нашей хозяйственной жизни: экономить копейку, разбрасывая рубли. «Экономика должна быть экономной» — масло-масляный девиз безхозяйственности и расточительства. Тут еще хуже — пропадают не рубли, а книги. Куда смотрят воспитатели в погонах? За что зарплату получают? Это же они по сути дела пускают книги в сортир. Не напасешься книг на такую ораву — поэтому в общие камеры дают обычно хлам. И все же на 60 человек попадали две-три, за которыми я просиживал спокойные ночи.

И тут как-то Феликс делает мне замечание: не годится после отбоя сидеть, нарушаю распорядок. Но ему-то какое дело? С каких пор он взял на себя функции надзирателя, по какому праву? А вот по какому:

— Хата на хорошем счету, не стоит портить отношений с ментами.

Откровенно козья установка Феликса не вязалась с личиной блатного парня. Мы поняли друг друга. Отбой в десять, договорились, что до 12 менты на меня не обидятся. Однако серые бегающие глазки Феликса затаили зло. Он не мог мне простить, что вынужден был проговориться, что я понял, кто он и чьи интересы здесь блюдет. Ведь он корчит из себя блоть, ходил обычно голый по пояс. Выйдет на середину, поигрывая лопастями широких мускулов: «Я е…л!» Двинет попавшемуся под руку затрещину. Тот не должен обижаться — тот должен весело захихикать, уважительно почесаться, что означало: «Спасибо, Феликс, за внимание. Ну и силища!» А он был и оставался обыкновенным обывателем с психологией простого сцепщика железнодорожных вагонов, кем и работал. Хитрость и мясо на костях дали какое-то преимущество за 8 месяцев пребывания в этой хате. Усвоил личину, которая давала авторитет: сильного и блатного. Но то был молодец среди овец. Блатной ведь мента в грош не ставит. Водворение строгой дисциплины в камере — было вполне в духе администрации. Феликс говорил одно, делал другое, хитро, маскировано, чаще чужими кулаками, которые

неплохо научился направлять. Отношение мое к заведенному им «порядку» для него не было секретом, теперь мы объяснились, поставили точки над i: либо он оставляет меня в покое, либо в одной хате нам не жить. Этого не было сказано, но так мы поняли друг друга.

…Прогулочные дворики на крыше тюрьмы, это такие же камеры — железная дверь, смотровой «волчок», засов — только без потолка. Стены в «шубе», обледенелые, зассанные углы. Иногда подметено, чаще притоптанный снег в окурках, по оттепели — ледяные залысины. Нередко пятна и брызги крови. «Матросская тишина» в районе Сокольников. Тут рядом дом, где когда-то снимал комнату у алкоголика. Минутах в 20 отсюда — ВДНХ, наш дом, рукой подать до Коли Филиппова, будто перед глазами Яуза, мост до Преображенки. Небо, воздух — те же, каким сейчас дышит Наташа. Кажется, сейчас услышу ее. И эта птица — не к ней ли летит? Все, чем ты жил, о чем так истосковался — рядом с тобой и в то же время далеко-далеко, будто не стена разделяет, будто я не в Москве, а на Чукотке, за тюремной стеной мир одинаково недоступен, где бы ты ни был. Тундра ли внизу или кипение столичных улиц — ты видишь одну и ту же унылость серого зимнего неба да может быть верхний кусок обгорелой кирпичной заводской трубы, стынущей на ветру.

Тоска во дворике одолевала в первые дни, когда, будучи в 220 камере, мы прогуливались трое-четверо. Из общей камеры во дворик выводят десятками. Обычно ходят цугом, кругами. Но у нас — культ спорта. Борьба, чехарда, футбол. Сшили в камере тряпичный мяч и проносили под пальто. Иногда дверь дворика открывалась, надзиратель забирал мяч, но обычно смотрели сквозь пальцы. Мяч благополучно возвращался в камеру на текущий ремонт. Играли в две команды: в одной короли, в другой четверо-пятеро простых смертных. Одни ворота — дверь, другие — противоположная стена, в виде двух башмаков или шапок, Феликс в спортивном трико, ботинках, снятых с кого-то за 8 месяцев обирания, браво вел свою королевскую рать только вперед. Защита противника падала под локтями и подножками высокопоставленных атакующих, в то же время проход в их сторону, гол частенько не засчитывался из-за нарушения правил игры: то, видите ли, толчок, то кто-то ногу высоко задрал. Короли никогда не проигрывали. Мы не страдали честолюбием — разминка важнее, на счет мы не обращали внимания. До тех пор, пока короли не обратили. Полушутя-полусерьезно стали поговаривать насчет 200 граммов конфет. Я на интерес ни во что не играю, отказался. «Шутка, профессор».

И в эту прогулку мы резвились, как обычно, и, как обычно,

короли победили. В тот день разносили ларь. Много ли возьмешь на 10 рублей в месяц? Сигареты, конфеты, сыра кусок, если есть. Слышу опять про 200 г конфет. Уже кто-то из нашей команды отдает — короли вымогают. Феликс пауком зыркает со своего угла. Всеми двигал, но сам не лез. Это поможет ему впоследствии снять с себя ответственность за беспредел в камере, но не знаю, надолго ли? А вот Сережа — армян, заместитель его, орудует вовсю. Это бывалый зэк, непонятно как залетевший в общую камеру. Из королей он — главный мастак по игре и поборам. Со всех конфеты собрал, подходит ко мне с сердечной улыбкой:

— Проиграл конфеты? Давай!

— На конфеты не играл, — говорю.

Изумляется:

— Как же, был договор!

— С кем договаривался, у того и бери, я с тобой не договаривался.

Укоризненно, с глубокой обидой:

— Эх, профессор, люди дают, а ты 200 грамм конфет пожалел. Дай хоть сто.

— По-моему, ты не беднее меня, чтобы тебе милостыню давать.

— Ладно, ладно, — обиженно и с угрозой проворчал Сережа-Армян.

А вечером Хохол объявляет, что завтра мне исполнять «химию» — убирать пол. Я наказание не признаю, а что касается уборки, ставлю вопрос: либо график, либо сам шнырь должен убирать — за это он получает от каждого по пачке сигарет. Так делается в «путевых» камерах. Запахло гарью. На следующий день наседает Феликс:

— Не нравится у нас — уходи. Мы с тобой договорились, ты обещал. Чего ждешь?

— А кто заявление завернул?

— Короче, или уходи, или три дня «химии». Базара нет. Хохол! С завтрашнего дня — швабру профессору!

Миша-Пирожок шепчет:

— Не связывайся. Я бы на твоем месте убрал. Это не западло.

От королей подходят:

— Один день уберешь и все. Так надо.

Смотрит камера выжидающе. Утром еще сплю, дергают за ногу. Хохол:

— Вставай! Солдат уже начал!

Лягнул Хохла, сажусь на шконарь. Солдат — крепкий, высокий, но безвольный и добрый парень, подсевший, кстати, на срочной службе в Ташкенте, чтоб не отправили в Афганистан,

трет шваброй желто-коричневые плитки пола. Подходит заспанный Феликс, поднимаются со шконарей короли. Я на своем: график или шнырь. Не признаю «химии», а сам думаю: «крышка», дожил до хорошей жизни. И как в воду глядел. Феликс надвигается с кулаками:

— На пиздюли нарываешься? — поворачивается к камере. Сверху и снизу все глаза на нас. — Лучше всех. Солдат за него убирает. Порядки свои устанавливает, падла, — скороговоркой агитирует Феликс. — Чего вы смотрите! Ломай об него швабру, Солдат! Видали мы таких профессоров!

Никто, кроме двух-трех послушных королей, не двинулся. Феликс подскочил к Солдату, влепил пощечину:

— Ты что, сука, не слышал? Обоим шею сверну!

Надо решаться.

— Прекрати, Феликс! На проверке уйду из хаты.

— Останешься — костей не соберешь.

Нечего делать — надо уходить, другого выхода я не видел. Короли насупились в своем углу. Собираю мешок, скатываю матрац, снимаю полотенце, которое мочил перед сном и натягивал над собой под верхней шконкой, чтобы клопы на лицо не падали. Чудовищно. Лишенные жизни, погруженные в страдания, мы еще больше травим сами себя. Внутрикамерный раздор переносится много тяжелее всех притеснений администрации. Жить можно либо с зэками, либо с администрацией — другого в тюрьме не дано. Когда прессуют и те и другие, некуда деться — ты в тисках. Тупик, безысходность, отчаяние. В таком положении борьба за остатки личного достоинства — кровавая борьба, чреватая отбитым здоровьем или новым сроком. В камере беспредел. Мог ли я что-нибудь изменить? Как тут говорят организовать «стенку» против королей? Теоретически должен был это сделать, ибо это единственный достойный выход. Или сломают тебя, или ты должен ломать. Конечно, лучше всего не лезть в уголовный муравейник, держаться стороной: у вас свое, а у меня свое. Но так не всегда получается. То ли я действительно помешал королям, то ли нарочно устроили конфликт. Уступать им нельзя — сядут на шею, да и совесть не позволяет мириться, не замечать беспредела. Только стенка, только сопротивление. Но с кем? Одного забьют — и это ничего не изменит. Нужна поддержка. Откуда? Хохол юлит рядом, просит закурить. Подходят люди, советуют, как что уложить, молчат участливо. Но никто не скажет оставайся. Никто не смеет против королей. Сейчас поздно их поднимать — слишком запуганы. Мог ли я предвидеть такую ситуацию, мог ли что-либо сделать? Наверное, следовало бы

заручиться поддержкой кое-кого из самих королей. Их костяк — Феликс, трое-четверо, остальные в принципе неплохие ребята, их можно было бы убедить. Но что для этого было надо? Надо было ежедневно с ними общаться, искать подход к каждому, разъяснять и вкладывать в это не меньше усердия, чем тот же Феликс, который постоянно высматривает, задабривает и отбирает себе актив на платформу. А я был занят только собой. Не было ни малейшего желания упражняться в камерной дипломатии, вмешиваться в то, с чем худо ли бедно мирились 60 человек. Кроме того, я вообще не лидер. Не хочу, не умею работать с людьми, да с такими еще, от которых поташнивает. Не мой это мир — ваш, вы и улаживайте. Отвратителен разгул хамства и насилия, но не менее противны покорность и подхалимаж пресмыкающихся. Почему я должен разгребать это дерьмо? Своих забот мало? В результате один. А камера в руках королей. Я совершенно бессилен перед ними. Осторожные симпатии силе не противопоставишь. Да и цена им грош. От крика утухнете, от оплеухи будете делать то, что скажут. Несчастная, подлая публика. Жалею и ненавижу.

После завтрака отворили дверь на прогулку. Камера собралась у выхода. Я с мешком и матрацем. Контролер останавливает:

— Куда?

— Хоть куда, не хочу здесь.

— Постой, я доложу.

Я сел на шконарь. Повалили на прогулку. Мимо злобное шипение Феликса:

— Не дай бог, когда вернемся, застану.

Глаза в глаза. Ах, как я его ненавижу. В камере остались Хохол и еще несколько человек. С уходом Феликса стали такие друзья, что диву даешься — где раньше были? Хохол расстилался, жаловался, как трудно всем угодить. Меня вывели до окончания прогулки.

В конце коридора кабинетик. Лейтенантик там:

— В чем дело?

— С королями не поладил.

Лейтенантик уткнулся в бумаги. Весь разговор.

Контролер повел меня по каким-то лабиринтам, прошли длиннющий подземный переход и на первом этаже другого, видимо, корпуса сдал другим контролерам, которые закрыли меня в тесном метр на метр блоке. Внутри свет. Деревянная тумба. Можно сидеть, стоять, шевелить пальцами, ушами, но шагу сделать нельзя. Стены и дверь в зеленой масляной краске. Обычные надписи карандашом и ручкой: «Толик, к. 143», «Привет,

Стас! Вольдемар» «Денис, люблю. Лена», «Ухожу на Пресню. Алик». В этом отсеке, как я заметил, шесть таких блоков по три с обеих сторон. Напротив женщина через волчок переговаривается с надзирателем. Из соседнего блока стук в стену, глухой голос:

— Земляк, слышь, курить есть?

— Есть, — говорю. — Как передать?

Тот барабанит в дверь:

— Начальник, начальник!

В кармане куртки, что висела на спичке в «шубе» в изголовье шконаря, должна быть пачка «Дымка». Сунулся — нет. Вот напасть! То-то Хохол крутился вокруг меня, кто, кроме него, мог стибрить? А табак остался в мешке у контролеров. Стучу соседу:

— Извини, нет курева. И табак в мешке остался.

Тот с досадой:

— И у меня тоже. За что сидишь?

— Прекратить разговоры! — рявкает контролер.

Напротив хлопает тяжелая дверь, выводят женщину. Вскоре увели соседа. Через час-полтора стали затекать ноги. Переминаюсь — то стою, то сижу, но тело скованно. Принесли обед: алюминиевая миска щей, кусок хлеба, каша. Сижу на тумбе, ем щи с колен, каша рядом стоит. Отдаю посуду, спрашиваю:

— Почему долго держите, не забыли?

— Скоро, скоро, должны прийти за тобой.

В других блоках, похоже, нет никого. Видел, когда отдавал посуду, что все двери распахнуты. Зэчка там выметала. Да и не может никто здесь долго сидеть. Эти щели для короткого ожидания. Говорят, дольше часа держать в них не разрешается. Не знаю, как по инструкции, но часа за два моего томления кости гудели. Стены все сильней стискивали отупевшую голову. Мочи нет. Иду на хитрость, стучу:

— Начальник, в туалет!

Подходит надзиратель к двери:

— Через полчаса.

Часов нет, но чутьем прикидываю: прошло полчаса, час уже жду, не меньше. Опять стучу.

— Чего надо?

— Как чего? Туалет!

— Сейчас.

И пропал. Мне уж не в шутку понадобилось, выждал порядочно. Издеваются что ли? Кулаками бью в дверь.

— Чего стучишь?

— Почему в туалет не выводите?

— Первый раз слышу.

— Как первый? Два часа назад обещали.

— То другая смена была.

— Так открывайте.

— У меня ключей нет, — чувствую издевку в голосе.

— Что прикажете делать?

— А х… его знает.

Подождал еще минут десять, опять стучу. Никто не подходит. Долблю уже кулаками, ногами. Быстрые шаги:

— Пиздюлей выпрашиваешь?

— Хамье! Открывай сейчас же!

— Сейчас я тебе открою…

Скрежет ключа, в распахнутые двери звериная рожа.

— Выходи!

В боковой комнате получаю мешок. Рычащий надзиратель ведет в конец коридора, вталкивает в пустую камеру:

— Жалуйся, стучи, сколько хочешь!

Черно-смоляная железная дверь ударяет, сотрясает камеру. Справа от двери протекающий унитаз, кафельный пол наполовину залит. Умывальник с испорченным краном тоже льет. Напротив двери решетчатое окно с разбитыми стеклами. Надеваю пальто, коченеющими пальцами достаю из мешка шапку. Омертвелые мышцы радуются движению. Ноги, огибая лужу из унитаза, носят вдоль камеры. Какая мука, оказывается, 4 часа без движения! Пусть холодно, но лишь бы двигаться, двигаться. Убыстряю шаги — в осеннем пальто не согреешься, выше и выше подымаю колени. Морозец покусывает мелкими острыми зубками. Перехожу на гимнастику. Кручу вокруг пояса тело, размахиваю руками. Падаю на пол — отжимаюсь. От меня уже пар. Откидывается кормушка: изумленное лицо надзирателя:

— Как ты попал в нежилое помещение?

И вскоре пришли за мной. Из двух контролеров один — тот, который кинул сюда. Молча оглядели, видно, удивлены жаркой испарине на моем лбу, взмокшей от дыхания бороде. Они-то ожидали, что на мне сосульки будут висеть.

В кабинете оперчасти двое: за столом капитан, у окна стоит лейтенант, которому я сказал, что с королями не поладил. Высказал я капитану все: и про 120-ю, и про 124-ю, и про то, как в боксе замуровали.

— А что в 124-й, с кем именно конфликт?

— Вам это и без меня должно быть известно.

— Вас притесняли? Нам нужно знать, кто, мы их накажем.

— Не будем об этом.

Капитан смотрит внимательно, изучающе.

— Товарищ капитан, они 190-я, нигде не уживаются, — небрежно замечает лейтенант. — Везде им не нравится.

— Как он попал в 124-ю? — повернулся капитан к лейтенанту.

Тот несколько смешался, пробормотал, что кто-то попросил его принять меня в свой корпус. Капитан недоволен:

— Зачем это нам? Берешь на свою голову. — И ко мне: — Куда бы вы хотели?

— Где потише. Мне необходимо подготовиться к суду.

— Камера на четверых устроит?

— Вполне.

Меня отвели на третий этаж, через несколько дверей от 220-й, в спецкамеру, номер которой я точно не помню, кажется, 210-ю.

# Карманник Иванов

Это было, по-моему, числа 14 января, а несколько раньше, 11-го, я получил обвинительное заключение, листов 16 машинописных. Надо было до суда как следует подготовиться к защите. Не представляю, как бы я смог это сделать в нервозности 124 камеры, а когда вошел в эту, первая мысль: «Здесь можно работать!»

Справа два двухъярусных шконаря. Слева, у стены, дощатый некрашеный стол. Трое: Витя Иванов, Володя Арбатов и еще один Толик — неприметный такой малый. Володя Арбатов совсем молодой, но степенный, длинноногий, русый парень, чрезвычайно удивлен тем, что я рассказал о 124-й камере. Месяца три назад он оттуда, и все при нем было иначе. Это была, как он говорит, вполне путевая камера, а Феликс… «Кто такой Феликс? — вспоминает Володя. — Ну да, был такой… на побегушках. Угождал. Перед моим уходом посадили его за стол. Сжалились, уши прожужжал, давно сидит. Хитрый, а больше ничего в нем не было». Ретиво блюдя режим и поборы в камере, Феликс при мне все время приговаривал: «Не нами заведено. Посмотрели бы, что пару месяцев назад делалось». На самом деле, по свидетельству Володи, никто никого не тиранил, ни прописки, ни химии, ни правил на телевизоре — ничего этого не было. Как могло все так измениться за какие-то три месяца? Володя был поражен. Приспешников Феликса он и вовсе не знал — это все новые люди, из старых почти никого.

— Значит, всех разбросали, — сказал Володя.

Менты давно точили зуб на эту камеру: непослушание, дух товарищества, камера жила своей, независимой жизнью. Случилась драка, и ею воспользовались как предлогом, чтобы перетряхнуть камеру.

Так Володя попал сюда, остальных тоже куда-то порознь. На их место и насадили феликсов. Было по-зэковски, стало по-ментовски.

— Ну и гад! — мотал светлым чубом Володя. — Знал бы, что он такой, он бы у нас с параши не слазил!

Несмотря на молодость, Володя твердо стоял, так сказать, на позиции преступного мира, он был вором и, видимо, имел определенный авторитет. Это сближало его с Витей Ивановым.

Вите за тридцать. Сухощав, небольшого роста, уравновешен, с редеющей головой. Золотая фикса поблескивает. Говорить с ним одно удовольствие, умен, вежлив, каждое слово взвешено, мата не услышишь. Вся жизнь — по тюрьмам и лагерям.

Профессиональный вор-карманник. «Щипач» — так их называют. Его уже осудили, дали полтора года, но по протесту прокурора начато новое расследование. Допрашивают о ком-то, о ком он не имеет, разумеется, никакого понятия. Этот последний арест, несмотря на малый срок, огорчает его, как никакой другой. Арестовали так. Едет с приятелем в автобусе. У пассажирки, рядом с которой стоял Витя, из сумочки пропадает кошелек, который обнаруживают на полу, на задней площадке автобуса, где в толпе пассажиров стоял и Витин приятель. Двое в штатском уводят их обоих. В отделении милиции выясняется: из милицейского рафика увидели, как заходит Иванов с кем-то в автобус. Узнали его: фото Иванова под стеклом в МУРе. На остановке в автобус вошли два переодетых мента. Когда пропал кошелек, они без разговоров забирают Витю и его приятеля и теперь дают против них свидетельские показания. Никто другой — ни потерпевшая, ни пассажиры на них не показывают, только два мента. Версия их такова: Иванов вытаскивает из сумочки кошелек и передает приятелю. Тот отходит на заднюю площадку и, когда женщина спохватилась, что сумочка открыта, а денег нет, бросает кошелек себе под ноги. Витя и тот, другой, все отрицают и даже то, что знакомы друг с другом. Никакие они не приятели — где доказательства? Адвокат на суде спрашивает у мента-свидетеля:

— Вы видели, как Иванов лез в сумочку?

— Да, со спины, правой рукой.

Адвокат, показывая на Иванова, спрашивает потерпевшую:

— Этот человек стоял рядом с вами?

— Кажется, да, было много народу, точно не помню.

— Постарайтесь припомнить, как он стоял.

Женщина припоминает, и по ее расстановке Витя никак не мог за ее спиной дотянуться до сумочки правой рукой.

Тем не менее суд приговаривает его и приятеля по показаниям ментов. Поскольку состав преступления по сути дела не доказан, дают небольшие сроки. Рецидивисту Иванову — полтора года — до смешного мало, прокурор заявил протест. А для Вити — это нахальство, сфабрикованное дело. Он не говорит, так было или не так, как свидетельствуют менты. Он говорит, что нет доказательств. Так можно сфабриковать любое дело, посадить любого человека. Витя в принципе ничего не имеет против ментов:

— У них своя работа, у нас — своя. Каждый делает свое дело. Взяли с поличным, доказали — какие могут быть возражения? Но вот так — это уже беспредел.

За это зэки ненавидят милицию. Не за то, что она их ловит,

сажает, морит в тюрьмах и лагерях, а за то, что частенько она делает это не по закону. Вор знает, на что идет. Любишь кататься — люби и саночки возить. Попался — какие претензии! Но есть правила. Зэки не любят произвола, от кого бы он ни исходил. Милицейский произвол вызывает «беспредел» — вот что разжигает вражду, вот почему «мент» звучит как «враг». Профессионал уважает профессионализм. Витя не любит, когда искусство розыска подменяется враньем и подтасовкой — халтура! Как карманнику дальше жить? Ведь в таких условиях невозможно «работать». И мастерство не спасает. Большая, неразрешимая перед Витей проблема. Не столько срок его волновал, сколько то, как жить после того, как выйдет.

Никогда ничего, кроме воровства, всерьез он не делал. Но свое воровское дело, судя по фотографии в МУРе, знал неплохо. Прописка и работа в Москве ему запрещены. Прописался в колхозе где-то под Тулой. Там и числился на работе и, надо полагать, от его «заработка» кому-то там что-то перепадало, раз ставили ему рабочие дни. Фактически жил он дома в Москве. В Бабушкинском районе, за ВДНХ, жена, сын. Семью свою очень любит, обеспечивает на все случаи жизни, чтоб не нуждались и в часы его вынужденного безделья. Дома, естественно, не каждый день и чаще в ночное время, чтобы не мозолить глаза участковому. Есть товарищи «по оружию», есть знакомые — есть где отсидеться, переночевать. А дни — в работе. С утра до вечера карманник «на марках» — так они называют общественный транспорт (автобусы, троллейбусы), где упражняют свое искусство. Выбирают маршруты в направлении больших универмагов. Наметанным глазом находят потенциальных покупателей: обычно женщин, сумки легче брать, чем карманы, кроме того женщины — основные покупатели, при них чаще деньги. Работают, как правило, в паре. Один тащит, спуливает другому. Задача напарника — вовремя унести ноги и «заработок», а если возникает шум до остановки, избавиться от «гомонка», т. е. кошелька, не внушив подозрений.

Как я понял, самое трудное в этой операции — закрыть выпотрошенную сумочку. Оставить открытой — быстро заметят, закрыть — проблема. Гомонок уже в кармане, скорей бы к выходу, вор боится пальцем шевельнуть, а тут надо снова делать рискованное движение, да так, чтобы, дай бог, сумочка не щелкнула. В такой момент чаще попадаются — здесь нужно большое искусство. Вершина же его состоит в том, чтобы не просто закрыть сумочку, а лишь после того, как пустой кошелек вернется на прежнее место. Тогда безопасность и успех гарантированы, можно, не вылезая, с первой добычей

приниматься за вторую. «И Машка не зачешется», что означает, что облапошенные граждане долго еще не спохватятся. Городской карманник вид держит интеллигентный, сразу не подумаешь. Подсадить даму в автобусе, подать руку на выходе, уступить место — набор галантных приемов, открытый доверительный взгляд тщательно отрепетированы. И когда дама наполняется благодарностью, в этот момент опорожняется ее карман или сумочка. Одно прибывает, другое убывает — и тут закон сохранения материи. Частый гость карманник в очередях, у касс, особенно когда дают что-то солидное, скажем, мебель, ковры, шубы. Из рассказов Вити я вынес впечатление, что в их мире в последнее время борьба за существование ожесточилась. Нет теперь строгой специализации по районам промысла и воровскому профилю. Карманник теперь может и «хату на уши поставить», т. е. обчистить квартиру, а «домушник» нередко лезет в карман. Где что могут. В то же время я слышал, что щипачи принципиально против «мокрых» дел, т. е. ради наживы не убивают. Так ли это?

— Всякие бывают обстоятельства, — уклончиво признает Витя.

Три-четыре раза в день варили они с Арбатовым в алюминиевой кружке чай. Как они его доставали, не знаю: но догадаться несложно — покупали или обменивали на что-то у надзирателей. Тогда я не интересовался чайной проблемой, но сейчас с уверенностью могу сказать, что 200 грамм по вольной цене не более двух рублей стоит здесь никак не меньше пяти, а скорее 10–15 рублей. Значит у ребят водились деньги. При шмоне (обыске) чай изымают, однако серьезного шмона в камере при мне не было, мешочек с чаем благополучно хранился в «телевизоре».

Чаепитие обставляется со всей предосторожностью. Один заслоняет глазок, другой засыпает чай в кружку с холодной водой — горячей в камерах не бывает. Скатывают из газет несколько длинных трубок-факелов, и вот уже держат под кружкой огонь. Летит хлопьями пепел, нагар обстукивается о края унитаза, ловким движением, не прерывая огня, зажигается новый факел, догоревший падает в унитаз. Так, пока не закипит. Оба, колдуя над унитазом, чутко прислушиваются. Если шаги, то все тушится, гремит, спускается в туалет вода, один прячет кружку и обмахивает полотенцем дым, другой, заслоняет глазок, делая вид, что мочится или застегивает ширинку. На окрик надзирателя «Отойди от двери!» еще раз спускает воду, мол чего орешь — к сортиру нельзя подойти? При мне их не ловили, впрочем, Витя — опытный человек, знает, когда контролеры меняются, когда

выпускают на прогулку отдельные камеры, когда обедают — варили чай в эти, наиболее безопасные минуты. Чайная каша закипает, кружку накрывают — дают запариться, отстояться. Сливаются в унитаз последние огарки, подбираются черные хлопья с пола, свистит пропеллером полотенце, миг-другой — и никаких следов, лишь легкий дымный дух. Из прокопченной кружки заварку, которую называют «чифир», «чифа», выливают в чистую кружку и пьют по два глотка, передавая друг другу — «хапают». Я попробовал — горько! Тугая волна в голову, до кружения, больше не стал. Да мне и не по средствам — дорогое удовольствие.

Однажды Витю куда-то водили. Говорит, к одному из вокзалов, к железнодорожным путям — то ли следственный эксперимент, то ли еще что. Жена узнала, тоже приехала, и ей удалось через кого-то передать блок «Явы». Ночами мы с ним обычно не спали. Я изучал обвинительное заключение, набрасывал последнее слово. Он часами шагал взад и вперед по камере. Удивляюсь, когда он спал? Ведь и днем он лежал очень мало. Видно было, что нервы на взводе, и что самое удивительное — никаких срывов, как всегда, уравновешен и выдержан.

Жили мы мирно, ничем не досаждали друг другу — как награда после нервотрепки предыдущих камер. И вот в одну из ночей с черным окном и сонной тишью, нарушаемой лишь посапыванием спящих ребят, Витя садится с «Явой» за стол:

— Можно трубку?

Даю ему трубку и кисет. Он распечатывает пачку, крошит сигарету. Затем смешивает с табаком из кисета, набивает трубку, закуривает. Что за гурман, думаю, сигареты портит.

Ходит по камере, трубкой попыхивает. Выкурил, возвращает трубку:

— Хочешь попробовать? — и подвигает свою смесь на бумаге.

— Что это?

— Попробуй, может, догадаешься.

Закуриваю по его рецепту. Ничего особенного — табак как табак. Он лукаво посматривает. Меня смех разбирает:

— Валяем мы с тобой дурака, зачем сигареты портишь, ведь табак есть? — Весело почему-то смеюсь, не могу успокоиться. И у него все фиксы наружу, рот до ушей:

— Подействовала.

— Что?

— Анаша.

— Никакого привкуса.

— Хорошая анаша, поначалу на смех тащит.

И правда, с полчаса я не мог сомкнуть губ, смеялся.

Ощущение душевной легкости, ясная голова. Первое впечатление от наркотика осталось самое приятное. Но больше не тянуло. Веселила сама мысль о том, что в жизни ничего такого не пробовал, хотя где только по стране не мотался, а в тюрьме, где строжайше запрещено, где пачку чая-то не достанешь, угораздило — курю анашу. Умеют жить коренные обитатели тюрем — ни в чем себе не отказывают. Но это не просто. Не тогда ли я впервые подумал, что зэк — это профессия? Свой язык, свои секреты и навыки, и овладеть этим так, чтобы у тебя что-то было и не уронить репутации — этому, как и каждой профессии, надо учиться. Надо уметь договариваться, торговать с ментами, прятать концы даже от соседа по шконке, а когда, положим, у тебя что-то есть, надо так пользоваться, чтобы не обидеть, не вызвать зависти и раздражения сокамерников. В идеале — у кого что есть, всем поровну. Практически так не всегда получается. Есть мало — всех много. Кто-то рискует, достает, платит деньги, а кто-то палец о палец не ударит — и поровну? В то же время уплетать колбасу, сыр, конфеты на завистливых глазах тех, у кого этого нет, кто давно этого не видал, мало радости. И вот хитрят, ищут уединения, едят тайком, по ночам, делятся с сильными, чтоб остальное без опаски съесть самому.

Витя же делал просто. Раскладывает на столе все, что у него есть, никому не предлагает, сам ни у кого ничего не просит. Но если у него просили, никогда не отказывал. Новому человеку, мне, например, объяснял сразу:

— Считаешь нужным, бери, ешь со мной. Сам я не навязываю.

Оснований есть на «халяву» мало у кого находится. И никто не в обиде, тем более что мы все-таки угощали друг друга, но никто ничего не трогал без разрешения. Подобные правила вырабатываются опытом, им надо учиться, ибо отступление от них чревато серьезными осложнениями. Каждый жест, каждое слово приходится взвешивать. «Петух», «козел», «гребень» — прозвища совершенно недопустимые, равнозначные словам «стукач», «сексот», «пидарас». За это полагается бить, будь это блатной или мент. Смолчишь, испугаешься — тебя забьют, так и станешь тем, кем обозвали. Обычные на воле «пошел на три буквы» и все в этом роде — здесь страшное оскорбление. Между собой мат-перемат, но только не это, ибо подобные выражения применимы лишь к пидарасам и, значит, недопустимы для мужика, на эту тему даже не шутят.

Вообще, жить подолгу с разношерстной публикой в условиях, когда возможны придирки, натянуты нервы, и не давать повода для ссор — трудное и большое искусство. Витя никогда не ругался, был чрезвычайно выдержан и тактичен. Трудная

профессия научила его разбираться в людях. И еще он был добр.

Однажды вечером заводят смугловатого парня, туркмена. Володя и Толик сразу с расспросами: кто, как, откуда? Тот бойко затараторил: сидел в общей камере. Подогнали ему «дурь» в сигаретах (Ого, большой плюс парнишке, это не каждый может). Угостил одного, другого, и вот вчера на проверке мент устраивает ему шмон и забирает остатки заряженной «Примы». Кто-то стукнул, ночь продержали одного на сборке, теперь сюда, к нам. Мы ахаем, что же будет — ведь верный карцер, а то и «раскрутка», т. е. новое дело? Витя молчал, лежа на шконаре, никакого внимания. Свободных шконарей нет, туркмен разместился на ночь на лавке у стола. Проходит день. На другую ночь сижу за столом, туркмен с той стороны на своей лежанке сидит, не спится ему, надоедает вопросами. Володя с Толиком вовсю похрапывают. Витя на верхнем шконаре у окна, руки за голову, вроде бы дремлет. Вдруг оттуда голос:

— Подойди-ка сюда, — туркмену.

Тот будто ждал, стремглав к Вите, который приподнял голову и говорит ему тихо:

— Ты молодой еще, я должен предупредить тебя: ты плохо кончишь. Понял меня?

Туркмен затрепетал, страшно заволновался:

— Витя, я знаю, тебя не обманешь… Я не хотел… я боюсь…

— Здесь тебе нечего бояться, надо подумать, чтобы потом не было неприятностей. Выкладывай по порядку.

Оказывается, туркмен продулся в карты. Поставил последнее — золотой зуб и опять проиграл. Надо рвать зуб, он уговаривает своего земляка написать от его, туркмена, имени заявление с просьбой срочно перевести в другую камеру. Так они и сделали. Туркмена тут же убрали, однако должок за ним остался, от него в тюрьме не убежишь. Надо откупаться, либо вырывать зуб. Иначе… В общем, парень напуган, растерян. Положение действительно щекотливое. Чтобы не нести за него ответственность, камера, куда он попадает, должна требовать от него уплаты долга или гнать вон.

— Ну и что ты собираешься делать? — спрашивает Витя.

— Клянусь, рассчитаюсь. Разреши остаться, я жду анашу — как придет, рассчитаюсь.

— Крутись, тебе ничего не остается. Но никогда не обманывай. Пожалеешь, да поздно будет. Учти, я желаю тебе добра.

— Прости, Витя. Дурак, молодой. Больше не буду, клянусь, Витя, — жалобно, со слезой, тараторил туркмен.

— Как ты его расколол? — спрашиваю потом у Вити.

— Сразу было видно, что врет, а раз врет, значит, что-то неладное.

По его мнению, после изъятия «дури» никак не могут просто перевести человека в другую камеру. Это «ЧП». За это сразу карцер, а не сборка. Непременно расследование, затаскают, пока не скажешь, откуда и через кого получил. И, как правило, обвинение в наркомании. Бывало такое в витиной практике и не раз, чего зря говорить?

— Слушай, Витя, а этот, как его, Толик, что за человек?

— Подсадной, кумовский, сам сказал. Сидели-сидели, сам и выложил: знаете, говорит, кто я такой? Я куму подписку дал. Вот ходит, якобы, к следователю, а на самом деле опера вызывают — хочешь, не хочешь докладывай. Потом нам рассказывает, что наплел. Нарочно он не навредит, но ты все-таки поосторожней с ним, кумовья — народ дошлый — выжмут с него, сам не заметит. Я ему подсказываю, что можно говорить, что нельзя. Про чай, например, они знают, но это их не волнует. Им базары давай.

Прикинули мы с Витей, сколько у нас в стране сидит. Мне в 1977 г. один человек, близкий к МВД, назвал 1,7 млн., Дроздов на 1975 г. приводил цифру в 1,5 млн.

— Не может быть! — отрезал Витя. — По следственным изоляторам и «крыткам» (тюрьмы для осужденных — А. М.) похоже, а всех куда больше. Да только в лагерях… — он зашевелил губами, загибая пальцы. — Давай бумагу.

Прикинул, сколько у нас всего лагерей. Он знал все управления — сам из них не вылезал, друзья все оттуда — в общем, знал. И знал, сколько примерно лагерей в управлениях. Всего насчитали семь тысяч.

На каждый лагерь, то бишь зону, положили в среднем по полторы тысячи человек. Вышло около 11 миллионов в лагерях всех режимов, да плюс тюрьмы — «крытки», «химики», поселенцы, ссыльные. Да плюс условные (условно осужденные, условно освобожденные). Вместе с подследственными получается и того больше.

— Это ближе к истине, — подытожил Витя.

Так это или не так, кто знает, ведь официальных данных в полном объеме нет. А как прикинешь — ошарашивает. Да, видно, и не зря говорят, что полстраны отсидело или сидят, — расхожее мнение.

Хитра статистика! Даже закрытая, внутриведомственная — и та обманная. Сколько сидит? — Полтора миллиона, — по секрету отвечает доверенным лицам внутриведомственная статистика для служебного пользования. И многие удовлетворяются. Создается впечатление, что всего в стране полтора миллиона заключенных.

Такого впечатления и добиваются, давая частную цифру на общий вопрос. Предположим, вы усомнились: бесспорным расчетом приперли статистику. Думаете, она стушуется? Ничуть… «Я утверждала и утверждаю, что в тюрьмах полтора миллиона!» — с благородным негодованием ответит наша безупречная статистика. Но только тут станет ясно, что речь идет лишь о тюрьмах, а не о всех узниках, коих гораздо больше. Сколько же всех? На этот вопрос даже статистика не дает ответа. Где-то за семью печатями, наверное, есть более полные и конкретные цифры, но только не для широкой публики. Для общества определенной статистики либо вообще нет, либо какая-то бестолочь, чтобы не задавали лишних вопросов. Цифрой заслонить правду, соврать, не обманывая — в этом хитрое искусство статистики. А кого она не обманывает — тот клеветник. Нет данных, значит, не может быть, значит, вопроса такого возникать не должно. Подумаешь, прежде чем усомнишься в нашей статистике.

Попалась на глаза «Московская правда» — статейка на тему дискриминации негров в США. Негры там составляют 12 % населения, а среди заключенных 90 %. Статейка клонила посочувствовать неграм, мы посочувствовали: пусть к нам приезжают, у нас им хорошо. Нет, предпочитают тюрьмы в Америке свободе в Советском Союзе — странные люди. Мы бы охотно поменялись местами, выручили бы их в горькой доле, но ведь не хотят — как тут поможешь? Не помню цифр, но, зная численность черного и белого населения США, можно вывести число черных и белых заключенных, сложить и получить общее число зэков в США. Вышло восемьсот с лишним тысяч. Пусть миллион — есть разница с 11 миллионами в советских лагерях? Есть: 1 к 11, не говоря уже о всех осужденных и подследственных узниках, по расчету бывалого Вити Иванова. Это при том, что у нас еще негров нет. А если только белых сравнивать? В глазах чернеет — бедные советские белые! Слышу, Толик с Володей между собой беседуют:

— Кем лучше: белым в Союзе или негром в Америке?

— Негром в Союзе!

День и ночь Витя метался по камере, нагуливал километры. Можно понять — осудили и держат в следственной. Чем вызван протест прокурора: малым ли сроком или новое дело шьют? Он рвался на пересылку, на Пресню — была бы уверенность, что нет нового дела и следствия. Там легче сидеть, все знакомо. И кормят лучше, и режим помягче. Главное среди своих, строгачей. Игра, общие знакомые, крик в решетку: «Колупай! Фиксатый пришел!» Пресня — мать родная, там не соскучишься. Витя дождался. Чего

— не знаю, вызвали с вещами. Уходя сказал мне:

— Придешь на Пресню, спроси Фиксатого. Это я. Меня там знают, — на сухом нервном лице расцветает мягкая улыбка. — Может, встретимся, — последний блеск знаменитой, оказывается, фиксы.

# Адвокат

Я еще неделю корпел над обвинительным заключением и последним словом. Следователь Кудрявцев на 16 страницах обвинял меня в клевете на советский государственный строй и в изготовлении и распространении порнографического сочинения. Клевета состояла в том, что я в рукописи «173 свидетельства национального позора, или О чем умалчивает Конституция» опорочил внутреннюю и внешнюю политику КПСС, Конституцию СССР, утверждая, что власть в нашей стране не принадлежит народу, который лишен основных гражданских прав и свобод, что СССР — тоталитарное, деспотическое государство. Мясников не мог не знать, что пишет клевету, т. к. живет в Москве, имеет высшее образование, кандидат философских наук и потому ему должна быть известна забота Советского государства о благосостоянии народа.

Следователь излагает некоторые положения текста и тем самым как бы иллюстрирует клевету, не затрудняя себя какими-либо контраргументами — настолько она, по его мнению, очевидна. Мясников, по свидетельству Маслина, одобряет антисоветскую писанину Сахарова и Солженицына, слушал «Голос» и другие зарубежные радиостанции. Пытался опубликовать свою клеветническую статью в «Континенте». Единственная цитата из текста касалась внешней политики, где я писал, что СССР наращивает наступательную мощь вооруженных сил, участвует в военных действиях в Афганистане, Индокитае, Центральной Америке, Африке. Свинцовой, смердящей тучей нависли мы над народами. Чего мы суемся туда? Чем облагодетельствуем в результате мировой революции? Что несем? Нашу же нищету и боль. Это лживое утверждение следователь опровергает ссылкой на Ленина и миролюбивую политику партии, якобы несовместимую с идеей экспорта революции. Не знаю, что он имел в виду у Ленина, но знаю, что Ленин до последних дней проводил курс на мировую революцию и никогда не стеснялся пропагандировать и делать ее. Пара позднейших тактических уверток вождя мирового пролетариата относительно экспорта ничего не меняют в его внешнеполитическом экстремизме. Что касается заявлений КПСС, то ни для кого не секрет, что они делаются, чтобы скрыть подлинные намерения. Зачем говорить об экспорте, если можно без лишних разговоров оккупировать пол-Европы и протянуть щупальца по всему миру? Если верить партийному словоблудию, у нас не только «экспорта» — ни одного преступника нет — разве

не было обещано пожать руку последнему в 1980 году? По программе КПСС, мы уже вступили в фазу коммунизма, всех догнали и перегнали, всего вдоволь — по потребности! Весь юмор в том, что следователь срамит меня ссылками на директивы и закон, в то время, как я о том и пишу, что они не выполняются, что практика осуществляется в вопиющем противоречии с официальными заявлениями, обещаниями и Конституцией. Я про Фому, следователь про Ерему. Ни одной цифры, ни одного факта в опровержение моей заведомой лжи. Сказал «клевета» и точка. Судьи поверят на слово.

Становится понятным, почему зэки называют обвинительное заключение — «объебон». Я не видел другого способа защиты, как защищать свой текст. В отличие от следователя, у меня найдутся аргументы. Скажу все, что о них думаю и знаю. О положении в стране, о характере власти, о бессовестном следствии. Я скажу это в последнем слове. Бог знает, может, оно и в самом деле — последнее? Выскажусь до конца и будь что будет! Чтобы речь была более полной и точной, чтобы не ловили на слове, я заготовил письменный текст — ответил на каждый пункт обвинительного заключения. Аргументировал каждое положение «Свидетельства». Показал на лжесвидетельство Гуревича, опротестовал обман и прочие приемы следователя. Обвинение не доказано, состава преступления по ст. 190 нет.

Тот же вывод и по ст. 228, о которой и речи не было бы, не будь политического обвинения. Каким бы ни было содержание рассказа «Встречи», он написан восемь лет назад, т. е. уже за давностью лет инкриминироваться не может. О том, что я давал его читать, свидетельствуют Гуревич, Величко, Гаврилов, Перов. Однако, Перов, писатель, отрицает наличие порнографии, а показания остальной троицы скомпрометированы настолько, что суд не должен их брать во внимание. Вину отрицаю, обвинение не признаю. Дело сфабриковано.

Исписал две ученические тетради. Начал переписывать набело. Дни, ночи напролет. Тороплюсь — уже две недели со дня получения обвинительного заключения. Успеть бы до суда. Я решил зачитать последнее слово. Длинно — потерпят, я больше терпел, я должен высказать все.

Вдруг часов в 9 вечера вызывают. Что за напасть? Ведут по опустевшим коридорам туда, где следователь принимал. Чего он забыл? Но в кабинете не Кудрявцев, а незнакомый мужчина лет 60. Приветливо улыбается, руку жмет:

— Давайте знакомиться, Алексей Александрович, меня зовут Швейский Владимир Яковлевич — не слышали?

— Нет.

— Я защищал Буковского, Амальрика, если не возражаете, и вас буду защищать. С делом уже ознакомился.

— Но я не просил адвоката, по-моему, он ни к чему.

Швейский посерьезнел:

— Вы можете отказаться. Подумайте. Если вы примете решение участвовать в процессе без адвоката, то мы с вами прощаемся. Если не будете возражать против адвоката и, в частности, против меня, то приступим к делу. Завтра суд. Вы знаете?

— Нет. А почему вы так поздно?

Швейский развел руками:

— Раньше не мог, занят.

— Простите, а кто вас прислал?

— Моим клиентом является ваша супруга, — Швейский выдержал паузу и тихо, скороговоркой, заметил: — По рекомендации Олега Александровича.

Попов! Ну тогда и думать нечего, я согласен!

— Дело для защиты, — начал адвокат, — выглядит удовлетворительно. Защита на подобных процессах имеет, разумеется, чисто символическое значение, для морального престижа, практически шансы выиграть равны нулю. Но для общественного мнения, — Швейский многозначительно посмотрел на меня, — кое-что значит. Несколько портят картину некоторые ваши показания и заявления, обернувшиеся против вас, но вы хорошо сделали, отказавшись от них в акте ознакомления с делом. Сейчас нам важно выработать общую линию защиты. Разбирать ваш текст я не буду и вам не советую. Содержание написанного не играет роли для защиты. Главный вопрос: есть клевета или нет? Клевета — это когда человек лжет себе, когда он знает, что лжет. А ваша статья — это ваши убеждения, не так ли?

— Так.

— Значит, независимо от какой бы то ни было оценки содержания статьи клеветы в ней не может быть, вы не лгали себе, когда писали, состава преступления по статье 190 нет. Договорились? Это ваши убеждения, — подчеркнул Швейский.

Не зря он подчеркивал. На первых допросах я отмахивался от текста: эмоции, нервное возбуждение, минутное настроение, бред, не хочу обсуждать. Открещивался в надежде выйти из-под стражи. А следователь вовсю раздавал эту надежду, ему того и надо было. Доигрался в кошки-мышки. Теперь будут носом тыкать: сам-де говорил. Стыдно.

— Ваш рассказ «Встречи», — продолжает Швейский, — прямо скажу, мне не понравился. Но ведь это личное мнение, не так ли?

Оно не может служить критерием оценки художественного произведения.

Он рассказал об одной нашумевшей повести, опубликованной в 53-х годах в «Новом мире», которая вызвала бурные нападки критиков, обвинивших автора в безнравственности и натурализме.

— Прошло несколько лет, и подобные вещи стали восприниматься совершенно спокойно, что значит мода! Сейчас даже не верится, что та повесть могла вызвать бурю. Более того, потом ее стали хвалить. Я это к тому говорю, что мнение рецензента вовсе не означает истину в последней инстанции. Я буду настаивать на комиссионной экспертизе, не возражаете?

У Швейского руки рабочего — натруженные, в грубых морщинах, прочерченных, словно тушью, несмываемой чернотой. Как-то они не вязались с заграничными часами, дорогим модным костюмом. Кирпичное обветренное лицо поседевшего трудяги. Говорит с расстановкой, подбирая слова, внимательно следя за реакцией собеседника из-за стекол роговых очков. Цепкий взгляд морщинистых серых глаз. Кряжистый, крепкий мужчина. Трудно отделаться от впечатления, будто он только что из-за станка. Умылся, переоделся, поужинал и — в тюрьму. Другие — в пивную, а он — сюда, хобби такое. Никак он не был похож на известного, блистательного адвоката, каким он слыл, как я потом убедился. Четкий план защиты, вежливость, пожалуй, и дружелюбие — располагали к нему. До сих пор в этих зарешеченных комнатах, с этим стулом, припаянным к полу, со мной говорили как с преступником, этот был первый, кто говорил по-человечески. Казалось, даже с уважением. И уж точно с желанием не утопить, а — помочь. Он был свой. Странно было видеть его в чужой, враждебной обстановке. У нас оказались общие хорошие знакомые в литературных кругах, он ездил от «ЛГ» в Казахстан по делу Худенко и рассказал мне подробности. На прощание передал привет от Наташи:

— Ее волнения позади. Она просит не беспокоиться о ней.

— Передайте, что я прошу у нее прощения. Спасибо ей за все и скажите, что она совершенно свободна.

— Это обидит ее, она верна вам и держится достойно.

Хороший заряд перед судом. С чувством благодарности к Олегу, Наташе, Швейскому вернулся я в камеру.

Всего только ночь перед решающим испытанием! Как ждал я этого часа! Увижу всех, кто со мной, и всех, кто теперь против меня. Как истосковался по вас, друзья мои! Неужто, правда, завтра увижу? И праздник, и битва — суд! Всю ночь лихорадочно переписывал последнее слово. Черновик — груда заметок, первая

заготовка. Но сути дела, я не переписывал, а только начал писать связный текст. И, конечно, ночи не хватило. Она была чересчур коротка.

# Глава 6. Суд

# День первый

В четыре утра полный сбор и вперед — на сборку. Сонные ребята:

— Ни пуха ни пера, профессор!

Внизу на сборке двое-трое. Тоже суд, кому куда — по районам. Один уже почти месяц вот так катается. К шести сборка полная. Народ жужжит, кому на суд, кто на пересылку, кто еще куда — как на станции — сейчас пойдут воронки в разных направлениях. Дали завтрак, мучное варево с облезлой рыбой. Кусок не лезет в рот. Тугая пружина во мне. Хлопнет дверь и — вылечу снарядом. Уже вызывают, по одному, по двое, по трое. А вот и моя фамилия. Ведут по коридору к выходу, туда, откуда пришел. В открытую дверь виден тюремный двор. Набычены кузова воронков, кругом шастают менты. Взревела машина, отходит. В нос сладковатая гарь, в голове помутилось. Прапор по карточке: «Фамилия? Имя? Статья?» Из мешка все на стол. Копаются в барахле, в тетрадях. Скалятся: «Ого, в библиотеку собрался? Студент?» Замшевую куртку в сторону: «С собой нельзя». — «Почему?» — «Не положено». Необъяснимо, разве что по вкусу пришлась. Ну уж, дудки, не обломится:

— Квитанцию на хранение!

— Надо было раньше сдавать, здесь не камера хранения!

— Без бумаги не отдам!

Изматерились, но квитанцию выдали. И вот второй в моей жизни воронок. Черный ворон, черный ворон, что ты вьешься надо мной? На этот раз не в «стакан», повезли одного в кузове. Тут же, за решеткой, двое солдат. Меня на замок, сами языки чешут. Служба, дело привычное. Ни окна, ни щели. Где едем, где этот самый Мосгорсуд — не представляю. Спрашиваю у солдат, называют незнакомую улицу: «У Каланчевки». А, теперь ясно: где-то у трех вокзалов.

Остановились. Без промедления — в дверь. Только успел заметить кусок серой, стылой стены да сугроб у забора. В подвальной комнате офицер и солдаты:

— Куда его?

Короткий ответ офицера, и я оказался в коридорчике с батареями тюремных дверей. О, черт, и тут блоки! Но не очень тесно. Можно ногу вытянуть. Достаю из мешка тетради, приспособился, строчу на коленях. Последнее слово.

Шел примерно девятый час. Глазок что-то часто открывался. Любопытные. Легкий стук:

— Слышь, друг! — вполголоса, глаз в волчке.

Поднимаюсь.

Спрашивает:

— Ты политический?

— Вроде бы. А ты кто?

— Тише, тише, я тебя караулю, солдат.

— Отойди чуть, а то тебя не видно, — припал к глазку, вижу: парнишка с двумя лычками на погонах, младший сержант.

Снова ко мне, шепчет с оглядкой, торопится:

— Пока нет никого, давно спросить хочу: социализм у нас есть?

— Да я, брат, сам не знаю, есть что-то кривобокое.

— Нет, я серьезно, ты не бойся, — смеется он. — Кому у нас все принадлежит, кто хозяин?

— А как тебя в школе учили?

— Ну, ясно народ, — но я сомневаюсь. Земля моя, а не дают, косить нельзя, скотину кормить нечем.

— А кто не дает?

— Исполком.

— Вот ты и ответил на свой вопрос.

Озадачен, скребет затылок. Посмотрел по сторонам, нет ли кого, и размышляет сам про себя:

— Та я не то хотел, — хохол, видать, — это я и так знаю. Ты скажи, почему, если земля моя, он мне ее не дает?

И вдруг мне же, другим, громким голосом:

— В туалет? Не могу. Надо разводящего обождать, а-а, вот он пришел, сейчас позову.

Действительно, вывели в туалет. Около умывальника человека четыре солдат, сержант с ними. Мой тут же, вида не подает. Кто-то мне:

— Не спеши, может, пить хочешь?

Постоял у зеркала, расчесался. Видок, прямо скажем, не комильфо. Борода больше, чем надо. Усталая сосредоточенность на лице. Металлические глаза. Морщины вдоль лба. И длинное черное извалянное пальто. Форменный зэк. Оформился. Закрывают опять в зеленый застенок — и в Мосгорсуде тюрьма. Неужели нельзя хоть здесь-то попристойней, в комнате, например? Нет, держат в щели, в подвале, сдавили стенами. Для контраста, что ли? Время идет, приближается мой выход на сцену. Сердце колотится. Топот сапог перед дверью. Скребут ключом — не поддается. Торопят друг друга, приносят другой ключ. Дверь настежь. Пошли. Солдаты со всех сторон, офицер впереди. Стараюсь шагать твердо. В мятом пальто, в шапке, белый холщевый лефортовский мешок в руке. Ведут преступником, а позора не чувствую. Горд — и не стыжусь, это моя

психологическая защита. На бесчестье отвечаю честью, на силу — гордостью. Всю жизнь стремился к истине, добру, справедливости. Чего греха таить — не всегда удавалось. Пробил час постоять за них. Доказать свою верность. Вспомнишь подвижников, поймешь, почему не страх, а торжество перед мукой. Не только себе надо это доказывать.

А сердце, сердце замирает до жути, будто с того света возвращаюсь. Проститься — и снова туда… По лестницам вверх, вдоль широкого коридора, мимо кабинетных дверей. Пару ступенек вниз — и из-под притолоки аж дух захватило: толпа родных и знакомых. Как же я истосковался по вас, милые! И незнакомые есть, друзья друзей, очевидно.

Офицер негромко командует. Солдаты возле меня плотным кольцом. Другие солдаты шеренгой вдоль толпы. Схожу с последней ступеньки, солдаты ускорили шаг, подталкивают к желтым дверям напротив.

Прорвалась Наташа:

— Лешенька!

Успел губами щеки коснуться. Истощала, глаза в синих впадинах, лицо в косточках. Раздвинули нас, она рядом трусит, что-то говорит невменяемо. Олег Попов рывком навстречу, жмет руку:

— Леша, молодец!

Целуемся. Распахнутые, сияющие глаза Наташи его. Мама моя, в слезах тянется. Ей уступили, на секунду уткнулся в ее пуховую мокрую щеку.

И сразу зал. Хлопок дверей за спиной. Пусто. Меня за перегородку — скамья подсудимых. Судейский стол на возвышении. Под ним друг против друга два стола — для прокурора и адвоката. Сбоку судейского — бюро, вроде аудиторской кафедры, там секретарша сядет. Напротив меня у стены два ряда стульев по шесть-восемь, со стороны дверей — три-четыре — солдатами заняты. Один рядом со мной у перегородки стоит. Зальчик мал, все не вместятся. Пока, кроме солдат, никого нет. Задержка — ждут адвоката.

А вот и Швейский вбегает впопыхах. Коротко здоровается — и за свой стол, бумаги перед собой. Из боковой комнаты мимо меня девочка-секретарша и симпатичная темноокая дама. Стройненькая, в зеленой облегающей кофте и с бусами. Просто, со вкусом. Посмотрела на меня с вежливым любопытством, села за свой стол напротив Швейского. Вот так прокурор — загляденье. И молода еще — около 30. Медленно, словно на цыпочках, заходят мать с тещей. Мать не сводит с меня горестных глаз. Теща осунулась, серьезна, как на профсоюзном собрании. А

вот они — трое стандартных мужчин, в светло-коричневых костюмах. Садятся на второй ряд, за матерью и тещей. Морды сомкнуты, спины вытянуты, глядят вперед сквозь меня. Не шелохнутся. Так и проторчали болванами полдня, потом сгинули.

— Суд идет! — секретарша встает из-за своего бюро.

Все встали, из боковой двери заходят три женщины. Пожилая, с короткими редеющими патлами подкрашенных волос — судья, сразу видно. Две коровы помоложе, с искусственными горками волосяного хлама на голове — народные заседатели. Пожилая зло дернула отвислой щекой, рявкает на ходу:

— А вас что, не касается?

Гляжу по сторонам. Кому она? Воткнулась в меня серыми колючками:

— Не притворяйтесь, я вам говорю — встаньте, подсудимый! Делаю вам замечание!

Ба! И правда, что это я? Встаю покорно и тут же вместе со всеми сажусь. Суд начался.

Не помню всех деталей процедуры, в шоке был от ударной волны впечатлений. Мать тут сидит, смотрим друг на друга. Давненько не виделись. Как звала меня в августе! Тогда ей исполнялось 55, и уходила на пенсию. Вовку, Лиду, меня — всех нас ждала. Арестовали меня за день до отъезда. Славный подарок ко дню рождения. Прости, мама. За слезы твои горькие прости. Ты да Наташа — больше ни перед кем не виноват.

Судья бубнит, что она — Байкова Нина Гавриловна, прокурор — Сербина, адвокат, народные заседатели, секретарь такие-то и такие-то. Есть у меня возражения против состава суда? Нет. Еще что-то механически поддакиваю, как водится.

Длинной пулеметной очередью судья прострочила обвинительное заключение. Вот, мол, товарищи, какой нехороший человек перед вами — порнографический антисоветчик, антисоветский порнограф. Тон задан. Началось разбирательство. Спрашивает у меня судья:

— Есть замечания, пояснения по существу обвинения?

— Их столько, что я скажу об этом в последнем слове.

Кивает молча, как бы в знак согласия. Зачитывает список свидетелей. Один не может присутствовать на суде — Гуревич. Как же так? Главный свидетель обвинения! Адвокат встает, настаивает на участии Гуревича. Я прошу отложить суд до его появления. Судья зачитывает бумажку, из которой явствует, что Гуревич находится в длительной командировке с чтением лекций. Затем ссылается на постановление, согласно которому это уважительная причина, и суду разрешается рассматривать его показания в его отсутствии.

— Я отказываюсь участвовать в суде без Гуревича.

— Вам слова не давали. Суд состоится и без вас.

Гляжу на Швейского — тот молчит. Три болвана, как три ребра отопительной батареи, непроницаемы. Спрашиваю у судьи:

— Почему не запускают в зал публику?

Желтые, вислые щеки дрожат от злости:

— Не смейте задавать вопросы суду!

— Как же к вам обращаться?

— В форме ходатайства, и говорить будете только тогда, когда вам разрешат.

— Но суд открытый, я настаиваю, чтобы впустили всех, кто за дверью.

— Нет мест.

— А это что? — показываю на пустые ряды.

— Если вы будете мешать суду, я вас удалю из зала, — гневается суровая дама. — Это места для свидетелей.

— Тогда почему нашлись места для посторонних? — лезу напролом и ожидаю взрыва.

Но судья вдруг спокойно, иронично:

— Это не посторонние, это и есть публика, а всех мы не можем впустить.

Те трое абсолютно невозмутимы.

Адвокат заявляет ходатайство о приглашении в качестве свидетеля одного моего довольно близкого друга. Странно все-таки, многих моих близких знакомых не потревожили, даже Олег Попов не был вызван, а сам пришел к следователю, и в то же время откапывают Герасимова, например, да и Гуревич бывал два-три раза в год наездами из Перми, мало ли у меня в записной книжке иногородних адресов?

Уже по списку свидетелей было совершенно очевидно, что суд интересуют не те люди, с кем я работал или часто общался, а те, кто завербован в свидетели обвинения. Адвокат пытался исправить соотношение, его ходатайство не удовлетворили. Отказали и в комиссионной экспертизе рассказа «Встречи». Но обещали пригласить эксперта, давшего неверное заключение о количестве экземпляров «173 свидетельств». Этот эксперт в лице бойкой, с плутовскими глазами, девицы прибыл в разгар допроса свидетелей. Судья по-матерински пригласила ее на середину и подозрительно уставилась на адвоката. Швейский сделал акцент на технических несуразностях экспертного заключения. Я на логических: представляет ли эксперт, как выглядел бы пятый экземпляр на той бумаге и той же машинке? Пробовал ли эксперт отпечатать закладку в пяти экземплярах? Зачем мне было отдавать «слепой» экземпляр, если есть четыре удобочитаемых?

Девица о чем-то негромко перекинулась с судьей и громко сказала:

— Я попрошу приготовить вопросы в письменном виде, завтра я на них отвечу.

Забегая вперед, скажу, что на следующий день она появилась, но ненадолго, затем лишь, чтобы зачитать подготовленный текст ответов на наши вопросы. Ничего, кроме болтовни, там не было. Проформа, повторяющая невразумительное заключение — лишь бы ответ эксперта значился в протоколе. Сразу после чтения судья заботливо спровадила ее, не дав нам с адвокатом и рта раскрыть.

Свидетелей стали вызывать после обеденного перерыва. Когда объявили перерыв, в зале остались лишь я да солдаты. Несколько раз подходил адвокат, так, вскользь, как бы мимоходом. Я передал ему для Наташи телефон друга Дроздова, чтобы позвонила в случае большой нужды. Мать рвалась дать что-то поесть, не разрешили. Повели обратно в подземные казематы, где не помню — ел что или не ел, зато хорошо запомнил всех, кто стоял в вестибюле. Поблагодарил на ходу Колю Филиппова за подаренную когда-то трубку. Лежала-лежала и вот пригодилась. Дорог подарок друга, особенно когда выручает в трудный момент. Олег и Наташа Поповы. Он бледен, но оба лучатся, говорят что-то ободряющее. На столе вольно уселся молодой русый парнишка, улыбается — знакомое лицо, но не узнаю:

— Где я тебя видел?

Он еще шире смеется. Витя Калинычев, недоуменный и грустный, видно, глазам не верит, художник, общий наш приятель с Филипповым. И несколько человек малознакомых рядом с Олегом. Что ж, теперь будем знакомы. И с ними Наташа. Дай бог ей выдержать все это. Господи, а что еще впереди?

В каком порядке шли свидетели? Очевидно, перевру кого за кем вызывали, почти четыре года прошло и каких! Но помню самих людей и их показания. По одному входили они в зал заседания. Любопытно наблюдать за знакомыми лицами со скамьи подсудимых. Самые незабываемые впечатления. Первая была, кажется, Наташа. Похудевшая, остроносая, жгут перетянутых нервов, но решительная. Байкова сурово теребит ее вопросами. Наташа отвечает по показаниям. Говорит резко, раздражена и раздражает судью. В одном месте и мне не понравилось. Спрашивает судья:

— Как сложились ваши отношения с подсудимым? — явно с ехидцей, знает, поди, что мы ссорились. Но какое ее дело, развод тут что ли? Взять и поставить на место, чтоб не лезла, куда не следует. А Наташа отвечает:

— Нормально.

Нашла кому докладывать. А почему не «прекрасно»? Зачем вообще отвечать на ехидство? Сердце стонет при виде ее. Вот кара — ей-то за что? Осталась в зале. Все три дня судилища не сводил с нее глаз. Будто разрывали нас по живому, как одного человека. Дорога она мне была, а стала еще дороже.

Вошел некий Гаврилов, товарищ Величко. Раза два всего его видел: года полтора назад, в первые месяцы поселения в нашей квартире Величко. Оба раза мы пили в комнате Величко, оба раза Гаврилов пел песенку про картошку. Вот и все. Мне на его месте было бы неудобно давать на суде показания против, в общем-то, незнакомого человека, да еще собутыльника. Похоже, и ему было неловко. Ко мне, мол, ничего не имеет, но коли надо говорить, то приходится сказать то, чему он был свидетелем. Клянется говорить правду и только правду. «Был пьян, а когда мы с Величко пригласили Мясникова, то выпили еще и я уснул». Тем не менее, хорошо помнит, что я начал читать какой-то порнографический рассказ, но, «кажется, не дочитал».

Помню я то застолье. В винных парах зашел разговор о женщинах, каждому было чем поделиться, и Гаврилову тоже, а я принес свой рассказ и немного читал, пока не свалились они оба. Почему ему не стыдно за свои устные рассказы, а я должен стыдиться написанного? Почему он сейчас стоит здесь и садит меня? Почему он считает себя порядочным человеком, а меня преступником? В этом главная фальшь его «правдивого» показания, давать которое он не имел морального права. И юридического тоже, поскольку, по его же признанию, был пьян, т. е. в состоянии, когда утрачена способность к нормальному восприятию. В соответствии с УПК суд не должен принимать во внимание подобные свидетельства.

Работает этот человек в Курчатовском институте атомной энергии. Выручил Величко, когда того из-за пьянки уволили с прежней работы и он долго не мог устроиться. Взял к себе, теперь работают вместе. Солидный институт, и сам вроде неглуп — что заставляет его сейчас играть постыдную роль? Жалуется суду на Наташу. Мясников, говорит, сам по себе ничего, а вот супруга — настоящая истеричка. Учинила скандал, когда приходил Гаврилов, и сама же вместе с супругом написала на них с Величко клеветническое заявление в милицию. Я попросил слова и спрашиваю Гаврилова, какое заявление он имеет в виду, к какому времени относится? Выясняется — в сентябре. А я сижу с августа. Писала Наташа. Что там происходило? Наташа ни на кого зря не напишет. А пьяные буйства этих гавриков я знаю. Всерьез встревожился — что же они, сволочи, вытворяли без меня?

Нервные реплики Наташи. Вайкова грозит удалить ее из зала. Однако по общему настоянию дает ей слово.

Когда меня посадили, Величко стал частенько появляться в квартире. При мне он бывал редко, жил у женщины, с которой я поначалу его познакомил. А тут зачастил и, как всегда, пьяный. Стучал и врывался в ее комнату. Однажды грохот в коридорную дверь за полночь. Мужские голоса, Наташа испугалась: не за ней ли? Если сосед, то у него свой ключ, да и боялась его. Не стала открывать. Квартира на первом этаже. Величко с Гавриловым влезли через окно в свою комнату и сразу к Наташиным дверям: ломятся, оскорбляют, унижают. Хорошо, у Наташи ночевала мать. Вызвали милицию, написали заявление. Вот как это было. А потом Величко открыто стал изгонять ее из квартиры: ты не прописана, соседи возражают. Насел участковый, которого в свое время я заставил извиниться перед ней за хамство. Сейчас он отыгрывался всласть. Но она прописалась. Казалось, хватит: она здесь жила и живет и никто не имеет права издеваться над ней. Нет, через неделю выписали, признали прописку недействительной без всякого объяснения. Куда только ни обращалась — бесполезно. Постарался Кудрявцев — отомстил за ее твердость на допросах. И, когда он завел дело на нее, она не пошла кланяться, а наняла адвоката. За это объединенными усилиями ментов и стукачей, во всеоружии беспредельной власти и подлости, они мстили женщине. И Гаврилов — физик-атомщик мелочно мстит ей здесь, в зале суда. Ни чести, ни совести. Сосуществовать с такими людьми подло и страшно. Если атомная энергетика в подобных руках, страшно уже за всех.

Судья с подчеркнутой любезностью предложила Гаврилову занять место в зале заседаний. Он мотнул головой и шарахнулся к выходу. Стыдища, конечно. Среди кого бы он сел? Троица его сотоварищей в штатском после перерыва исчезла. Остались наши матери и Наташа. За дверями — толпа друзей. Да он был бы рад провалиться сквозь землю, чем задержаться здесь хоть на миг. Тот самый случай, когда сидеть среди публики позорнее, чем на скамье подсудимых. А судья так хотела заполнять свободные места своими людьми, предлагала, упрашивала Величко, Гаврилова, Маслина — ни один не принял любезного приглашения. Всех как ветром сдуло. Зато моих не пускали, кому разрешали потом — сидели до конца. Моральный и численный перевес был на нашей стороне, но, к сожалению, не он решает судьбу подсудимого.

А вот и другой физик-атомщик — Величко. Высокий, нарядный, в темных очках, скромно робеющий и такой трезвый, каким я его никогда не видел. Бархатным голосом, весьма

доброжелательно вещает о том, что глубоко уважаемый им Алексей Александрович читал рассказ, названия которого он не знает. Рассказ ему не понравился, но он, Величко, не считает его порнографическим. Ни дать ни взять — лучший друг и даже, смотрите, оправдывает. И при этом глаза за очками прячет и держит камень за пазухой. Не для судьи камень — для подсудимого, не Шемяка же он, а Величко. Кого проведет растроганность наигранных интонаций? Пришел, чтобы посадить, как и обещал пару лет назад, для этого достаточно того, что он сказал, а друг подтвердил — факт распространения. Больше ничего от него и не требовалось. Его мнение насчет порнографии уже не имело значения, ибо суд сам определяет характер текста. Величко хотелось сохранить хоть видимость хорошей мины и он усердно пытался произвести на нас впечатление. Хитрая дипломатия, и хитрость какая-то козявочная, подленькая, потом мне скажут, что он кичился тем, что произнес на суде прямо-таки защитную речь. Однако при всей вальяжности был тверд в показаниях распространения. Я пытался подрезать его на деталях. Как внешне выглядел текст, который я якобы читал? Когда это было?

Отвечает, что текст машинописный, принесен в желтой папке, а по времени — было это зимой, в начале 1979 г. Близко к правде, и мне нечего было возразить, кроме того, что я ничего такого не помню. А вот он, сука, был в стельку пьян и все помнит. Вспомнил бы заодно еще кое-что, например, как упросил меня познакомить с женщиной, как я привел его к ней в гости, а потом насексотил Наташе, что ходили, мол, с Лешей по бабам. А ведь та женщина из нашей лаборатории стала его женой, он живет с ней до сих пор. Ну, не подлец ли? Есть, наверное, люди, у которых наушничество в крови, кому угодно, на кого угодно лишь бы насплетничать. Если есть такие одаренные от рождения, то Величко такой. Стучал на меня Наташе, милиции, теперь следователю и на суде. А может, еще кое-где и при том необязательно из-за корыстных целей, не испытывая вражды и даже сохраняя дружеские отношения. Чего ради было предупреждать меня перед обыском, что у него дважды брали ключи от квартиры, что за мной тайная слежка и советовать, чтобы я убрал из дома все лишнее? Сложность натуры? Обыкновенная, по-моему, беспринципность. Отсутствие или распад нравственного стержня. Подлость в натуральном соку. Тип человека, способного абсолютно на все. На все хорошее и на все плохое, в чьи руки, смотря, попадет. И такой человек вместе с гавриловыми, в академических недрах отечественной атомной энергетики. Он нажмет атомную кнопку над какой угодно

Хиросимой, над родным городом, если прикажут. Но в отличие от американского летчика от этого никогда не сойдет с ума. Разве что напьется до бесчувствия, но это его обычное состояние. Как престижен еще недавно совсем был МИФИ — институт инженерной физики! Сумасшедший конкурс. Поступали отборные. Увидишь, что из МИФИ, — оглядываешь со всех сторон: вундеркинд! В полемике «физиков» и «лириков» запросто побивали «лириков». И кто бы мог подумать, что из технически способных ребят, из интеллектуальной элиты вырастут чудовища типа Величко, Гаврилова, Мозговой компьютер — это еще не человек. Грош цена физики без лирики — без нравственного начала талант работает на саморазрушение и разрушение.

Я взял слово и отвел показания Величко как незаслуживающие внимания. Он не может быть для суда объективным свидетелем. Во-первых, потому, что как и Гаврилов, был пьян, во-вторых, обуреваем чувством мести: два года назад угрожал выселить меня из Москвы, сделал клеветнический донос в милицию и теперь дает компрометирующие показания.

Величко криво ухмыльнулся:

— Я мог бы мстить Алексею Александровичу за кляузы на меня, но не хочу этого делать.

Кляузы? Я прошу суд затребовать из милиции соседские заявления, по которым он был оштрафован и предупрежден.

Суд промолчал и не удовлетворил ходатайства.

Недавно, после освобождения, я видел наших соседей Александровых. Они живут теперь в другом месте, всех разбросали, квартира занята другими людьми. Рассказали они, как пьяный Величко загуливал по квартире, орал:

— Одного посадил, всех пересажаю!

От коммуналки до коммунизма один шаг.

Кого вызвали следующим? Не помню, кажется, мою первую жену Лену. Через 8 лет представилась ей, наконец, возможность свести со мной счеты. В конце 1972–1973 гг. в канун развода обложили меня с отцом, как волка. Звонили в «Комсомольскую правду», где я тогда печатался. Редактор стал поучать, я порвал с этой газетой. Посещения курсов, где я читал лекции, наветы руководству института, где я работал. Перерыли мои бумаги, нашли рассказ «Встречи», носили в милицию. Меня вызвали в отделение и отдали тетрадь, не усмотрев криминала. Не говорю о жути домашних сцен. Шипение недавно еще благоволившей тещи:

— Жаль, закон на твоей стороне, будь моя воля — вон из Москвы, в желтый дом…

Теща — педагог, учит детей, отец — подполковник в штабе

ракетных войск. Да и Лена тогда была уже не маленькая, с высшим уже образованием. И люди сами по себе не злые. И я им вроде бы зла не делал, во всяком случае, не я был инициатором развода. Но вели они себя безобразно. Запрет на посещение дочери. Снимается через три года, с условием: «Не говори, что ты папа». До сих пор изредка навещаю дочь под псевдонимом «Дядя Леша».

Ну, Лена, твой час — руби! Здесь ждут не дождутся твоей грязнухи. Но то ли забылось — одумалась, то ли мать моя здесь, сохранившая отношения с внучкой, Лена выступила, в общем, доброжелательно. Правда, завралась и запуталась. Противоречивые чувства — противоречивые показания. Она, конечно, не признала, что рылась в моих бумагах, что подпаливала меня со всех сторон выкраденной тетрадью. Сказала, будто я сам показывал ей рассказ, и она нашла его омерзительным. Я взял слово и спросил ее, когда показывал? Она назвала 1969 год. Но рассказ был написан в конце 1972-го и я не мог его показывать, ибо тогда мы уже с ней не жили. «Значит, было что-то другое», — вывернулась Лена. Но это значит и то, что «Встреч» я ей не давал, и факта распространения нет.

Прокурор Сербина потом скажет, что Мясникова отказалась от своих первоначальных показаний под давлением наводящих вопросов подсудимого и потребует частного определения суда относительно лжесвидетельства гражданки Мясниковой. Что прокурор усмотрела тут наводящего — я не понял, но примечательно уже то, что все-таки прокурор помнит о недопустимости наводящих вопросов. Почему же тогда она замечает их у меня, и не замечает у следователя? Почему пропускает мимо ушей заявления о непозволительных, приемах следователя — обмане, угрозах, шантаже и все тех же, сплошь и рядом наводящих вопросах?

Спрашивает судья Лену о моих друзьях — товарищах той поры. Так все ничего, но про Сашу Усатова — «омерзительный тип». Далось ей это словечко, вбивает со всей мощью непонятной крови темперамента. Мать у нее вроде хохлушка, отец белорус, но, наверное, что-то скрывают — есть там какие-то лукаво-взрывчатые смеси. За эти годы она пополнела и подурнела. Типаж изворотливой мещанки. Все это Саша Усатов угадывал в ней лет десять назад. Она, видно, чуяла это и недолюбливала его. Но такой ярости, как сейчас, в ней не было, это для меня неожиданность. Нарочно, наверное, клеймит, зная о его прошлом. С юности он 8 лет сидел по 58-й, был реабилитирован стараниями матери, но сам «красных» не реабилитировал, Лена доказывала суду, что я сошел с рельсов под влиянием Усатова.

С победоносным видом заступницы, весьма довольная собой, села рядом с моей матерью. Наташа на другом конце. Какие они разные! В возрасте разница всего три года, но измученная Наташа выглядела девушкой по сравнению с Леной. Никогда их не сравнивал, а теперь вижу, что Наташа особенно хороша, и желанна — глаз не отвести.

Судья приглашает Маслина. Секретарша покидает бюро-трибуну и возвращается ни с чем:

— Маслин просил передать, что не мог больше ждать, будет завтра.

Шестой час. Байкова закрывает заседание и объявляет продолжение завтра. Друзья мои терпеливо толпятся в вестибюле, все утомлены. Я как в дыму. Воронок. Тюрьма. Путь через сборку занимает часа три-четыре. К недоумению проснувшихся ребят, я снова в камере. Час или два еще силился закончить последнее слово. Потом рухнул замертво.

# День второй

На следующий день солдаты завели меня в зал пораньше. Ни в коридоре, ни в зале еще не души. Вскоре появилась мать, затем вдруг Вовка — брат мой, неужто для того прилетел из Тюмени? К началу заседания вестибюль, как и вчера, был полон. А запустили матерей, Наташу, прибавился Вовка — что ж, остальным снова в коридоре стоять? Какое, в конце концов, заседание: открытое или закрытое? Этим вопросом я встретил судью Байкову. Крыть ей нечем: трех остолопов сегодня нет, свидетели обвинения оставаться стесняются, мест полно, в самом деле, почему не пускаете?

Она на офицера:

— Обращайтесь к охране, я залом не распоряжаюсь.

Офицерик тут же сгинул.

Говорю сержанту:

— Почему не впускаете?

— Нет мест.

— Вы шутите?

— Нет, не шучу, эти места для солдат.

Вместе с сержантом солдат четверо, сидят двое, у них справа от входа шесть стульев. Я показываю на два пустых ряда для публики:

— А эти места для кого?

Подыгрывая судье, сержант нахально улыбается:

— Тоже для солдат, — и смотрит мне прямо в глаза, как будто давая понять: все равно у тебя ничего не выйдет.

Судья делает мне замечание, требует замолчать, но я настаиваю: заседание не начнется, пока все свободные места не будут предоставлены тем, кто ждет в вестибюле. Суд называется открытым, а ребята второй день за дверями. Кто должен повлиять на судью? Адвокат молчит, будто его не касается.

— Сколько солдат будет присутствовать на судебном заседании? — спрашиваю сержанта.

Выпучился на меня, не знает, что сказать.

— Сколько человек у вас сегодня в наряде? — бью и бью ему по лбу.

Игра его кончилась. «Не знаю, спросите лейтенанта», — смущенно бурчит сержант и уходит.

Судья грозит удалить меня из зала. Надо подождать офицера, тогда и столкну их лбами с Байковой. Заседание началось. В перерыве появляется офицерик.

Я к нему:

— Впустите людей!

Он морщится:

— Я здесь не хозяин, обращайтесь к судье!

О как знакома эта обычная бюрократическая спихотехника! Отфутболивают друг к другу, пока не измочалят, и никто ни за что не отвечает. Зла не хватает.

Байкова ушла в боковую комнату.

Подошел адвокат.

— Владимир Яковлевич, как досадить судье, чтобы людей впустили?

Швейский отпрянул от меня и резко бросил:

— Я здесь не для того, чтобы досаждать суду.

Меня покоробило, что он, шуток не понимает? Если я неудачно выразился и юмор не к месту, не мог же он не видеть серьезности вопроса. Я бьюсь об стену, он молчит и сейчас не желает помочь. А если бы я спросил: «Как повлиять на судью?» — что бы тогда он сказал, какой повод придумал бы, чтобы уйти от ответа? На хрена мне такой адвокат, чем он лучше Байковой? Он мог сделать мне замечание, но не мог не ответить по существу, не должен придираться к слову и уходить, когда подзащитный обращается за помощью. Я перестал замечать его.

Однако после перерыва кое-кого впустили. Зашел Олег со своей Наташей. Коля Филиппов с Валей, Наташа Чикина. Сразу стало повеселее. Сегодня я чувствовал себя лучше, хоть немного, но в эту ночь я поспал. Кроме того, вполне обнажился характер суда — это было судилище. Нужно вскрыть весь позор такого «правосудия», раздеть их догола, чтобы всем было ясно, что здесь происходит на самом деле.

Первым в этот день был, кажется, Маслин. Стоял, как троечник у доски. Что-то говорил, но больше запинался. Подтвердил прежние показания про то, что я говорил ему о Солженицыне и Сахарове, что я слушал «Голос Америки», но больше ничего не сказал. По-своему он был честен, и я не имел претензий к нему. О «173 свидетельствах» он не знал, однако долг партийного человека, казалось бы, понуждал заклеймить меня, вылить положенный в таких случаях ушат грязи.

Маслин этого не сделал. Конечно, можно оскорбиться: какого черта ты вообще даешь такие показания? Но можно понять и то, как много было поставлено у него на карту. Отказ от показаний мог повредить его карьере, а в ней — вся его жизнь. Чего ради ему жертвовать ради меня? Не столь уж мы были близки. Его показания поставили в один ряд с Гуревичем, Герасимовым, Величко, Гавриловым, но применительно к этой подлости Маслин выглядел порядочным человеком. Четко рассказал все, что ему

было известно обо мне. Ни больше ни меньше. Спас свою карьеру, не пускаясь до облыжного охаивания. Разве не видно на примере этого суда, как трудно и рискованно оставаться порядочным человеком? Давать показания на друга-антисоветчика и при том сохранить себя в рамках приличия — очень непросто. Если не мужество, то выдержка необходима. А Маслин по натуре, насколько я его знал, человек несмелый и осторожный. Представляю, как пришлось ему поволноваться. Не охаял — уже хорошо, большего нельзя и требовать. Клещами выдирали из него нужные суду показания. Судья нежнехонько, чуть не заискивающе — все-таки горкомовский чин! — но гнула и гнула свое: клеветник Мясников али нет? Саша мнется, отмалчивается. Прокурорша подключается:

— Вы знакомы с публикациями Мясникова в нашей печати, не замечали ли вы противоречий между его высказываниями, взглядами и тем, что он отдавал в печать?

Молчать уже неудобно, сказать «не замечал» еще неудобнее. Пришлось выдавить, что противоречия есть. Им того и надо, и мне не легче.

Задаю ему вопрос:

— Назови конкретные работы — в чем противоречие?

Он молчит.

— Ну, хоть один пример?

Сашка смотрит на судью: отпусти, старая вешалка, меня ради бога. Байкова не стала от него требовать ответа на мой вопрос. Любезно предложила остаться в зале, но он ломким голосом сослался на занятость и распрощался.

Должность свою Маслин сохранил. Надеюсь, дело мое не очень повредило его карьере, как и он мне не особенно навредил. Нехай живет в спасительных шорах объективной закономерности. Так он однажды сказал: «Плохо ли, хорошо — но мир развивается по объективным законам — нужно принимать его таким, каков он есть». Прямо по Гегелю: все действительное разумно, все разумное действительно. Критике нет места. Его или мои единичные усилия нечего не изменят — какого рожна пупок рвать? Спокойно плыви по течению. Вот его, Маслина, философия. Активная роль субъекта сводится, очевидно, к исполнению объективных законов. На практике это означает, что любой начальник, любая власть — олицетворение объективной закономерности. Кому угодно служи и все будет правильно. Если начальник окажется преступником, а, значит, и ты соучастник, с тебя как с гуся вода: «Я не сам, я исполнял приказ». Очень удобно. Все списывается на кого-то, на объективную закономерность — философия приспособленца и личной безответственности.

Я знал Маслина по институту социологии. Кандидатскую он защитил по прикладной социологии. Всегда, на комсомольских, потом на партийных постах. И умудрялся никогда никому не мешать. Не вылезал и не хотел выделяться. Держался товарищески, слыл скромным, добрым парнем. Когда сошлись ближе, стало ясно, что он обычный эпикуреец в самом тривиальном смысле. Любил охоту, выпивку, развлечения. Чаще всего мы виделись в банях. Кроме радостей быта, ничего ему не надо. Всякая работа — средство существования, карьера нужна для личного благополучия. Творческого стимула, интереса к работе у него нет, а это помогает уживаться везде. Для карьеры достаточно исполнительской добросовестности, это импонирует начальству, и Саша потихоньку идет все выше и выше. Мне было бы неприятно, если бы из-за меня он где-то споткнулся. Слишком большое огорчение для маленького человека. Пусть делает карьеру, если аппарат власти нуждается в таких. Бюрократический эскалатор тащит его, а он только и делает, что не мешает этому. Чем он виноват? Что аппарат этот преступен, что непорядочно делать карьеру, служа неправому делу? Вряд ли он вполне сознает это, не будет и не хочет он думать об этом. Нельзя осуждать человека за то, ото он мал и бездарен. Мне уже то дорого, что нет в нем личного зла, ничем не обманул меня.

Швейский несколько раз пытался пристыдить Маслина:

— Мясников ваш друг, неужели вы не можете сказать, что сближало вас, что-то ведь в нем нравилось вам?

Саша молчал.

В перерыве адвокат сказал со злостью:

— Какой подлец! Что ты ему не высказал это?

А мне его было жаль. Я чувствовав себя виновным за то, что невольно причинил ему лишние треволнения. Не нужна ему никакая социология, наука, политика — не нужна. Он не хочет никому зла, но и не столь силен, чтобы со злом бороться. В сравнении с маразмом правосудия и некоторых свидетелей — разве это подлость? Радуешься уже и тому, кто не пал так низко. А за то, что я слушал «Голос» и читал Солженицына, я отвечу. Не вижу греха быть благодарным читателем великого автора. Куда огорчительнее быть виновником чужих неприятностей. Они бы непременно возникли у Маслина, если бы он показал себя моим другом. «Вы — друг Мясникова, значит, вы друг Сахарова, Солженицына и прочих пособников иностранных разведок, — вот что сказали бы ему на работе, и жизнь человека пошла бы вверх тормашками. Кому это нужно? Мне такой жертвы не надо, и я не сужу его.

Судья вызывает Чикина, он не явился, вместо него жена —

Наташа. Встала для дачи показаний: супруг занят. Судья удовлетворена. Странно, судья даже не вникает в причину отсутствия важного свидетеля, суровую Байкову это даже не сердит. Как будто ей заранее было известно, что Чикин не придет. Круглая, флегматично уравновешенная Наташа сдержанно отвечает на вопросы судьи. Машинку? Да, давали. Мясников брал ее для переписки своих статей, которые потом появлялись в печати. О других его сочинениях не знаю. Мясников давний друг мужа, нередко встречаются, часто спорят. У них идейные разногласия, но личные отношения хорошие. Нет, антисоветских высказываний не слышала от Мясникова. Ну и все, собственно.

Кстати, Наташа — бывшая жена брата Маслина. А Валя Филиппова, что сидит сейчас рядом с Колей, — бывшая жена Чикина. Все смешалось, как острит один мой знакомый, в доме облезлом. Впервые случай свел представителей трех враждующих семейств здесь, а у меня со всеми — близкие, приятельские отношения. Забавная ситуация.

Что касается Боба — так я зову Борю Чикина, — то он первый, самый давний московский друг мой. В 1963 г. мы вместе поступали на заочное отделение философского факультета МГУ, познакомились на первых вступительных лекциях. С тех пор встречались на сессиях до моего переезда в Москву в 1968 г., переписывались. Все было интересно в нем и его окружении. Влияние его на меня, уральского провинциала, было огромно. Впервые открылся мне богатый, напряженный, темный, загадочный мир незаурядного, ищущего человека. По сей день плутаю в нем с искренним любопытством и любовью. На многих дрожжах заброжен Боб, и все эти годы не покидает меня родственная близость к нему. Поэзия, музыка, литература, живопись, люди, творящие искусство, — все это я узнавал через него. Иные из них, например братья Филипповы, стали и моими друзьями. Много моей московской жизни завязалось и протекало под знаком Боба.

Нищий, оскорбленный изменой жены и друга, залитый дешевым вином — как он выжил в полоске той? А так: после университета поступает сразу в Литинститут и аспирантуру философского факультета, продолжая работать в технической службе телевидения. Везде принят, но выбирает аспирантуру. Защитился, стал преподавать в университете. Я, отставший из-за армии, сдавал ему экзамены. Недавно по профессиональному обмену он полгода провел в США — слишком большая привилегия для простого смертного. Все, кто знал его близко, догадываются о подоплеке подобных командировок, заподозрив в сотрудничестве с КГБ. В свое время он поступал в какую-то школу

КГБ, но темнил, и почему-то не поступил. Есть в душе его темные пласты, я это всегда чувствовал, но это не мешало мне любить его таким, каким я его знал.

Нынешняя моя история могла стать ему поперек. Очень интересовало Кудрявцева, встречался ли Чикин с Елагиным в Нью-Йорке? Моя Наташа на первом допросе сказала, что «173 свидетельства» частично могла перепечатывать на машинке Чикиных. Выяснилось, что это не так, но их притянули, исследовали машинку, допрашивали, и вот теперь вызов в суд. Чувство вины перед Бобом. Совсем ему это не нужно. Как и Маслин, он немало вложил в карьеру, не одному черту продался, и вдруг, только наладилось, — оказался близким другом антисоветчика. Как он выкарабкался, не знаю. Но ни слова худого обо мне. Защитить не мог, но и не осудил, не захотел быть свидетелем обвинения, а иначе свидетельствовать нельзя — конец благополучию. Взял и не пришел. У КГБ, наверное, отпросился, потому и судья не настаивает. Как бы то ни было, Боб не погрешил против нашей дружбы. Насколько знаю, карьера его не пострадала. По-прежнему ездит по загранкам. Как это у него совмещается — загадка.

Наташа Чикина сидела в зале весь день, может, и на следующий день была, не помню. Ждал упрека от нее, если не ругани, а она глядит дружески. Кричу в перерыве:

— Привет Бобу!

— И тебе от него привет, — улыбается.

Не побоялись принять меня и после освобождения. Спросил только Боб:

— Рецидивы возможны?

Сказал, что не от меня это зависит. Сейчас, кажется избегает. Разведет нас судьба или нет, или уже развела — время покажет. Но если и будет он враг мой, он был и останется брат мой.

Встает Олег Попов. Бледный, заметно дрожит. То ли от страха, то ли от ненависти — все тут, наверное было. Нельзя ему сейчас сделать ни единой ошибки. Он тоже висит на волоске, и бог знает, как этот процесс может обернуться для него. Не зря ведь его тащили из меня, и адвокат, знакомый с материалами дела, наверняка просветил и остерег его. На сером курносом лице — волнение. Скороговоркой, несколько гортанно, прокатывает языком слова — фразы так, чтобы ничего не сказать, а ответ был. И никакой зацепки, ничего лишнего.

— На вопрос о том, чьей рукой написан псевдоним под текстом Мясникова, отвечаю, что не помню никаких текстов Мясникова с каким-либо псевдонимом.

— На вопрос о том, давал ли Мясников мне свои сочинения,

отвечаю, что не помню, чтобы он давал мне свои сочинения.

И т. д., в том же духе.

Байкова раздраженно зачитывает заключение экспертизы о том, что псевдоним «Аркадьев Николай» везде написан рукой Попова. Олег твердит одно:

— Не помню.

Как ни подбиралась судья разговорить Олега, ухватить за язык не удалось.

Потом мне скажут разочарованно: «Так это и есть Попов? Жидко он выглядел — не борец». После моего ареста в моей среде о нем много говорили, представляя его одним из лидеров диссидентства, одним из героев, почти в одиночку бросившим вызов всесильному госаппарату. Ожидали увидеть романтического Овода, блеск в глазах и пылкую речь книжного революционера. Или фатальное спокойствие человека, готового идти за идею на крест. Олег же держался обычно, как и все мы, грешные. Это было естественно и, по-моему, правильно. Хватит нам мифических Оводов и самого Христа, хватит героев над народом да и, пожалуй, для народа. Мало кто из диссидентов мнит из себя революционера или политического борца. Это просто люди совести, какими и должны быть самые нормальные люди, не желающие жить вопреки своим убеждениям. Только и всего. Сугубо нравственная, оборонительная позиция. Готовность помочь людям, нуждающимся в защите от чекистского своеволья. Многие годы Олег боролся за право быть самим собой, помогая людям в том же, и каждый день — ожидание расправы. Всему есть конец и терпенье — в конце концов, подал с семьей на выезд. Забирают меня с прицелом на него. Никогда, пожалуй, не находился он в такой опасности, на грани Запада и Востока, свободы и лагеря. И то и другое дышит рядом, решается вся его жизнь; маленький крен — и прощай свобода. Как же было не волноваться? Он дрожал, но не дрогнул. Блеска не было нужно, надо было пройти через суд тихо и осторожно, как переходят по тонкой жерди через пропасть, и он провел свою партию без ошибки. Это главное. Тут не до эстетики, не до показного героизма. Героизм состоял в том, чтобы в невероятных условиях выполнить свою задачу. Для этого не надо быть Оводом или Христом, не надо самосожжения, а просто надо знать кодекс и не давать улик. Олег своим примером на суде показал, что это посильно каждому порядочному человеку. Ведь пример диссидентства как раз в том и состоит, что каждый нормальный человек может и должен противостоять произволу. И нет таких сил, которые бы заставили подличать. Наоборот, прибавилось сил, пробуждающих совесть и справедливость. Крепнет сила, на

которую каждый может опереться в борьбе за свои права, за достойное место под солнцем. И главная сила внутри нас — стойкость духовного стержня. Пример Олега и многих таких, как он, показывает, что не всегда, но все-таки человек, не скрывающий своих убеждений, сейчас может выжить. При соблюдении правил игры с властями это доступно любому из нас. Что это за правила и как себя надо вести? Олег и друг его Володя Альбрехт объясняли неустанно. Можно бояться ареста, кто ж не боится? Но не бойтесь оставаться собой, не бойтесь быть честным.

В этом я вижу урок Попова и на суде, и на следствии. А разорванный протокол на допросе у следователя? А бесценная помощь Наташе и мне? А приезд его на зону? Разве это боязнь? Олег показал, что можно быть смелым и в рамках колючего законодательства, но, разумеется, со всеми мерами предосторожности и хорошим знанием повадок этого зубастого, клыкастого и обманного законодательства. Наташа говорила, что Олег и его товарищи приходили на суд с цветами. Теща и вроде бы моя мама воспротивились: праздник, что ли? А мне было приятно об этом узнать, еще приятнее было бы увидеть тогда их с цветами. Но я и так вижу. Благодарю вас, друзья мои!

В зале давно электрический свет, черны полузашторенные окна за спинами судей. Сегодня заседание затягивается.

Круглит серые, бесстыжие глаза, врет словоохотливостью старого трепача Герасимов:

— Мясников еще 12 лет назад написал антисоветскую статью, из-за чего уволили. Уверен, что и этот последний текст изготовлен с клеветническими целями.

— А вы читали его? — спрашиваю.

— Нет, но не сомневаюсь, что это антисоветчина.

— Какую статью 12-летней давности имеете в виду? Как она выглядела?

— Наполовину на машинке, наполовину от руки.

Прошу суд найти в вещественных доказательствах то, что Герасимов имеет в виду. Нашли два рукописных листка личных заметок, утерянных и возвращенных мне в свое время руководством завода. Никто за них меня не увольнял. Не возьму в толк: зачем самому Герасимову эта сучья роль? Зачем давать показания на малознакомого человека? Запутался, пристыжен на людях — зачем это ему? Как его откопал Кудрявцев, зачем понадобился он ему перед самым закрытием дела? После 1 МЧЗ я работал на «Серпе и молоте», в депо Москва-сортировочная, в центрах НОТ Минхимпрома, Минбумпрома, в институтах социологии и охраны труда, наконец, в лаборатории трудовых ресурсов Госкомтруда РСФСР. Сколько лет, сколько мест, но на

суд вызвали почему-то забытого сотрудника с забытой работы, где я работал-то всего меньше года. Наверное, здесь заслуга не столько Кудрявцева, сколько самого Герасимова. Свой он для них человек, и следователь не нашел никого ближе и лучше. Дрессированная дворняга. Фас, Герасимов, фас! — и он заливается лаем. Так делаются свидетели, любому сексоту скажи — и он покажет, что надо.

Борисов вел себя иначе. Обстановка суда его явно стесняла. Никогда он не чувствовал расположения ко мне, как я уже говорил, мы даже дрались, но такой участи он мне явно не желал. Что говорить зав. сектора о сотруднике, который на скамье подсудимых? Хорошо? Скажут, симпатизируешь антисоветчику. Плохо? — вроде нечего, совесть не позволяет.

Борисов отозвался нормально, по существу, повторил характеристику с работы, зачитанную в первый день суда, которая была положительной. Кроме замечания о том, что не уживался с коллективом. Отчасти это было верно, но и тогда, и сейчас, когда вижусь с сотрудниками, таких претензий от них не слышу. В характеристике деталь эта выглядела второстепенной, в целом же характеристика обрадовала и удивила. Высококвалифицированный специалист, проводил такие-то и такие исследования, публиковал научные статьи, печатался в прессе. И три подписи: директора, парторга, профорга. Когда судья спросила, что я могу сказать по поводу характеристики, я сказал:

— Спасибо на добром слове!

Те же слова адресую Борисову, который не хвалил, не защищал, но и не охаял меня. С учетом наших с ним неприязненных отношений и его положения непосредственного начальника, он вел себя на суде благородно.

Дошло, наконец, до Гуревича. Мы с адвокатом в который раз потребовали его присутствия на суде. Его показания особенно спорны и важны — главный свидетель обвинения. Судья опять цитирует постановление о том, что неявка свидетеля вследствие длительной командировки считается уважительной. Встревает прокурор Сербина:

— Согласно статье такой-то суд вправе в подобных случаях ограничиться разбирательством показаний отсутствующего свидетеля, данных на предварительном следствии.

Я прошу назвать конкретный срок командировки Гуревича и объяснить, какой отрезок времени характеризуется понятием «длительная»: три дня, неделя, месяц? И добавляю, что готов ждать столько времени до появления Гуревича, сколько понадобится. Судья недовольно бурчит, что закон не

интерпретирует понятие» «длительности» и она не может бесконечно затягивать судебные заседания. Тогда снова заявляю, что отказываюсь участвовать в процессе, пока не будет Гуревича.

— Как угодно, суд состоится без вас.

— Кому угодно? — раздался вдруг голос из загробно молчавшего до сих пор ряда.

Судья встрепенулась, хищно нахохлилась на родных и друзей:

— Кто сказал? Встаньте!

Смотрю, солдатик толкает локтем Колю Филиппова. Не глядя на него, Коля слегка тряхнул плечом, процедил что-то вроде: «Заткнись, сопляк!» И сидит прямо, невозмутимо, Байкова просверлила его взглядом, да, видно, нашла коса на камень, переключилась на показания Гуревича. Что-то сказала на ухо женщине справа, другой слева, те, как заводные куклы поочередно наклонили к ней головы, закивали — их, народных заседателей, так и зовут «кивалами». Одна из них берет протокол Гуревича, встает и начинает зачитывать. Кстати, весьма характерный жест на суде, часто он повторяется — судья мотает жидкими космами направо-налево, иной раз просто для проформы, ничего не говоря, а заседатели поочередно кивают — это называется посовещались. Не бывает такого, чтобы заседатель хоть раз не кивнул, т. е. воздержался и не согласился бы с судьей — нет, всегда кивают. Целыми днями, не проронив ни слова, сидят и кивают, а тем временем на их основной работе идет зарплата — кто-то за них вкалывает. И ничего они не значат — все единолично решает за них судья, это совершенно очевидно, сколько бы судья к ним ни поворачивался и сколько бы ни трясли они своими париками и шиньонами. Дешевые, бесполезные статистки на подмостках убойного балагана, даже на роль актрис не тянут — сидят, как набитые чучела. За два дня ни слова от них. Немые, что ли? И сейчас, когда у одной прорезался голос, удивительно стало, что это чучело, оказывается, и говорит и читает. Читает старательно и вдохновенно, как второклашка — рада, доверили. Потом скажет тем, кто за нее работает: на суде выступала. И правда, большой труд — с полчаса тараторила.

Много Гуревич наворочал, на полдюжину дел. Хоть сейчас заводи: на некоего Горбуна — за терроризм, подрыв и ослабление, на Колю Филиппова, — за пьянство, измышления и тунеядство, на Усатова, если б дожил, за злобную антисоветчину, на меня — ясное дело, на Омельченко — за соучастие во всех моих преступлениях, а уж Попову совсем не сдобровать — антисоветчик, отщепенец и шпион. Никого не забыл, даже тех, кого и не знал вовсе. И я же, дурак, пригрел змею на груди, везде его водил и знакомил. Коле он похваливал его работы, Наташа

всегда привечала его: теснились втроем в комнатушке. С Усатовым пил на брудершафт. Резвился нигилизмом с Олегом Поповым. Десять лет я таскал его по Москве, знакомил с друзьями, вел доверительные беседы, проталкивал его писанину в газеты, журналы, помогал чем мог, никаких секретов, предельная близость, и он отвечал как будто бы тем же, и вот все осквернено, заплевано, испохаблено, вывернуто наизнанку и в таком виде подано на судейский стол. И для чего? Чтобы посадили меня, чтобы пересажали всех, кто к нему относился как к другу, потому что он был моим другом. Я виноват перед людьми, которых он сейчас, устами кивалы, публично поносит, виноват за все неприятности, причиненные бодливым вероломством своего друга-предателя. Но до сих пор вслух, по крайней мере, никто из них не упрекнул меня, не выставил за дверь, не высказал то, что я, очевидно, заслуживаю. И потом достанет у них душевной щедрости остаться моими друзьями. Ни в ком, кроме Гуревича, больше я не ошибся — дай же им бог не ошибиться и во мне.

Гуревич — гвоздь обвинения. На нем сколочена, и только на нем держится шаткая постройка обвинения. Убери этот гвоздь — и все рассыплется. Не останется ни одного свидетельства распространения, ни одного показания о моем намерении печатать текст в «Континенте». Поэтому следователь, судья, прокурор держатся за этот гвоздь зубами. Но гвоздик ломаный. Прошу слово и привожу суду факты, обличающие ложь в показаниях Гуревича. Как мог Попов подбить меня на написание «173 свидетельств», если с Поповым я познакомился через год после написания текста? Как суд оценивает явную сплетню, искажавшую обстоятельства утери папки, где находились два листка моих записей, и причину моего увольнения с I часового завода? Как можно доверять показаниям, сделанным якобы с моих слов, когда я все отрицаю и никем и ничем больше они не подтверждаются? Такие показания не заслуживают доверия. Я прошу суд отметить это в протоколе заседания и либо официально признать Гуревича лжесвидетелем, либо отложить суд до его появления. Но, как и в случае с истребованием соседских заявлений на Величко, судья упрямо не замечает ходатайства и переводит разбирательство в другое русло:

— Назовите возможные мотивы оговора со стороны Гуревича.

Что я могу сказать? Личных причин я не вижу. Скорее всего, страх, угрозы, давление следователей вынудили Гуревича подписать то, что от него требовали.

— Ваши предположения не могут являться доказательством оговоров, нет оснований не доверять Гуревичу.

— Как нет? Я привел факты явного лжесвидетельства, прошу

их проверить: вы их должны подтвердить или опровергнуть.

— Гуревич ваш друг, зачем ему на вас лгать? — упрямо сворачивает Байкова на то, чего я не знаю и не могу точно знать.

— Его запугали.

— У вас есть доказательства?

Кое-что есть. Не хотел говорить, но ничего другого не остается. Гуревича надо убрать во что бы то ни стало. Есть пример, из которого следует, что Гуревичу есть чего опасаться, что, закладывая меня, он спасал свою шкуру. Были, возможно, и более серьезные причины для шантажа, но я не мог говорить о них, опять сочтут домыслом. Нужен мотив, факт, не вызывающий сомнений. Придется резать Гуревича его же ножом.

— Есть, — говорю, — доказательство.

Судья оторопела, настороженно ждет, что я скажу.

— Следователь имел повод шантажировать Гуревича обвинением в распространении порнографии.

— С чего вы взяли? — перебивает судья.

— С того, что лежит на вашем столе в вещественных доказательствах. Среди прочих бумаг при обыске был изъят экземпляр рассказа «Баня», который приписывают советскому классику А. Толстому и который, по цензурным понятиям — несомненная порнография. Его прислал мне Гуревич по почте. В соответствии с уголовным законодательством — это распространение, статья 228-я до трех лет.

— Как вы докажете, что это, — Байкова брезгливо тряхнула машинописным текстом, — прислал вам Гуревич?

— Если бы Гуревич был здесь, думаю, он и сам не стал бы отрицать. Кроме того, это может подтвердить моя жена — почтовый конверт распечатывала она.

Судья удалила Наташу из зала и расспросила об обстоятельствах получения рассказа. Когда, как выглядел конверт, что побудило Гуревича прислать его и т. п. Затем вызывают Наташу и повторяют те же вопросы. Наши показания совпадают.

Итак, Гуревичу было чего опасаться, повод для шантажа и мотив оговора доказан. У судьи больше вопросов нет, какое примут решение?

Встает прокурор:

— Показания Гуревича совпадают с первоначальными показаниями подсудимого и потому заслуживают полного доверия. Если кто-то вводит суд в заблуждение, то это сам Мясников, который отказывается от показаний, данных на предварительном следствии и стремится уйти от ответственности.

Симпатичная козочка лягнула ниже пояса. Трюк, отвлекающий от Гуревича, перехват инициативы у защиты. Аукнулось. Спасательный круг, подсунутый в свое время следователем, теперь камнем летит из прокурорской пращи. Речь идет о моем сентябрьском заявлении, где я писал, что если Филиппов, Попов и другие утверждают, что я давал им текст, то, значит, давал. Это показывает и Гуревич. Однако следователь обманул меня, никто, кроме Гуревича, ничего подобного не говорил и, обнаружив это на закрытии дела, я сделал в акте запись об ошибочности спровоцированных следователем показаний. Показания Гуревича отчасти совпадают только с тем, что было подсказано мне следователем, в остальном у нас с ним ничего общего. Прокурорша демонстрирует высший пилотаж изворотливости:

— Где вы писали свое заявление: в кабинете следователя или в камере? В камере? Хорошо. Присутствовал ли при этом следователь? Не присутствовал. Вот видите, граждане судьи, Мясников писал свое заявление сам, а пытается нас уверить, что писал под диктовку следователя.

Логика идиота оказывается все же лучше, когда никакой другой логики нет. Она и сама понимает это, губы, глаза не скрывают иронии, но чем-то надо скреплять обвинительную развалюху. Шьет той же гнилой дратвой, которой сшито все дело. Конечно, на такой нитке ничего не держится, да это и не требуется, сажают просто потому, что они сильнее. Но должна же быть хоть видимость правосудия, какой-никакой логики обвинения. Навести тень на плетень — это искусство сейчас демонстрировала прокурор Сербина. Это совсем не сложно, когда плетень подрублен, когда все решено до суда. Надо отдавать ей должное: она не очень скрывала того, что играет. Да, я артистка, у меня работа такая — я играю. Иной раз взглянет проникновенно, как бы подсказывая: «Разве можно к этому относиться серьезно?» «Не лезь в бутылку — играй и ты — тебе же лучше!» До сих пор теплы были эти коричневые глаза над облегающим зеленым свитером. Но за два дня, возможно, подумала она, что я так ничего и не понял, не принял их условий игры и вообще не собирался играть. Наоборот, несколько раз ставил обвинение в трудное положение. А это, по их понятиям, совсем уж недопустимо. И коричневые глаза засветились кошачьей яростью, стали мы, как кошка с собакой. Судья и прокурор уже не стесняются. Каждым жестом и словом теперь дают понять, что все сказанное в защиту не имеет для них никакого значения. Им все позволено. Приказано сшить дело — и оно будет сшито, любыми нитками. Только это имеет значение. И

если я не хочу этого понять, тем хуже для меня.

В мою же задачу как раз и входило заставить их признать это. Я не строил иллюзий насчет защиты, но поставил перед собой с предельной ясностью обнажить юридическую несостоятельность обвинения, сорвать ширму показного правосудия, раздеть их догола. Какому судье или прокурору это понравится? И Сербина взбеленилась и понесла, поскакала не разбирая дороги, сжигая коричневыми сполохами ненавидящих глаз.

— Практика показывает, уважаемый суд, что наиболее достоверны именно первоначальные показания обвиняемого. В дальнейшем, при знакомстве с материалами дела часто отказываются от своих первых показаний в стремлении уйти от ответственности. По этой проторенной схеме поступает и Мясников. Ничего оригинального. Его первые, а значит, истинные, показания соответствуют тому, что затем показал и Гуревич. Нет оснований не доверять этому свидетелю.

Я возразил, что мое заявление вовсе не является первым показанием. До провокационной лжи следователя я твердо стоял на том, что не помню, что кому-либо давал свои тексты. И откуда у прокурора эта теория предпочтительной достоверности первых показаний? В каком нормативном акте она зафиксирована? Вместо прямого ответа прокурор просит судью достать протоколы моих первых допросов:

— Подсудимый хочет убедить нас в истинности своих первоначальных показаний. Я хочу обратить внимание суда на то, что он тогда говорил.

Зачитывает избранные места из протоколов: «Бред, эмоциональная, незрелая рукопись, написанная под настроение… Есть высказывания, не соответствующие действительности… Текст позорит меня и мою страну…»

Вскакиваю с места:

— Что вы делаете! Вы цитируете следователя, а не меня. Читайте мои замечания к протоколам!

Прокурор изящно контратакует:

— Разве не ваша подпись под протоколами? «С моих слов записано верно», — это же ваша рука.

Обращаюсь к судье:

— Прошу зачитать мои замечания к протоколам или дайте мне прочитать самому.

Судья долго и усердно ищет, наконец, что-то находит, шевелит губами про себя, небрежно вскидывает брови:

— В протоколе за 22 августа есть запись. Ну и что? Ничего особенного, протокол остается в силе.

— Почему только за 22 августа? И почему «ничего

особенного»? В конце этого протокола я написал, что никогда не предполагал, что рукопись может квалифицироваться как преступление, что она может позорить меня или мою страну. Это же перечеркивает то, что написал помощник прокурора Залегин и сейчас цитирует прокурор Сербина!

С наигранным удивлением Байкова рассматривает протокол и решительно отставляет том дела в сторону:

— Ваши замечания не по существу.

Излюбленная затычка, когда нечего больше сказать. Прокурор подводит черту:

— Материалы дела в совокупности и первоначальные показания подсудимого не оставляют сомнений в том, что Гуревич говорит правду.

Адвокат молчит, как воды в рот набрал. Сегодняшний раунд закончен. Десятый час вечера. По судьям не так заметно, а на лицах родных и друзей крайнее утомление. Очевидно, процесс все более их удручает. Первый день еще походил на суд, второй же смел все рамки процедурных приличий. На глазах неискушенных людей разыгрывалось судилище. Пусть знают. Пусть знают, что такое советский народный суд в подобного рода процессах. Для этого я добивался их присутствия в зале. Одна задача выполнена, я был доволен истекшим днем. Но главный бой завтра. На очереди последнее слово…

# День третий

Третий день заношу свой тюремный скарб, лефортовский белый когда-то мешок за ограду скамьи подсудимого — никакой скамьи, правда, нет, обычный конторский стул. Мешок в угол, пальто и шапку поверх мешка, дописываю последнее слово. На одном из антрактов второго дня судья предоставила возможность под наблюдением адвоката вторично ознакомиться с материалами дела. Зная, что закон дает такое право, я ходатайствовал об этом с самого начала заседания. Но закон-то дает, а судья долго упорствовала. Сначала отказ наотрез. Я ссылаюсь на статью УПК. «Вы уже ознакомлены». Говорю, что имею право ознакомиться вторично, в ходе суда. Кроме того, следователь не показал мне всего дела — я не видел того, что отнесено к вещественным доказательствам. А там — без малого полмешка бумаг и я не знаю, что это за бумаги. Байкова недовольно бурчит, что даст мне дело в удобное для суда время. В первый день не дала, во второй — опять двадцать пять. Однако, уходя на перерыв, дала адвокату все тома минут на 15–20. Ему тоже там что-то понадобилось. Уселись мы с ним за его стол. Что успеешь за 15–20 минут? Еле хватило, чтобы пролистать груду бумаг, отнесенных зачем-то в вещественные доказательства. Это тетради моих дневников, записей, конспекты, отдельные листки с заметками, стенограмма обсуждения книги Некрича, письмо Раскольникова Сталину и проч. В том числе несколько машинописных экземпляров ходивших по рукам баллад Евтушенко о скопцах и «Разбег»: «Ах, лебеденок, отставший от стаи! Тебя понимаю — мы оба отстали…» И конец:

Бежал от завмага, от красной удавки,
От давки, от вашего лаянья, шавки,
И взмыл в небеса — в свой отеческий край.
И слышалось снизу, из гор и урочищ:
«Счастливо, милок, улетай куда хочешь,
Но только подальше, милок, улетай!»

Хорошие стихи когда-то писал Евтушенко. Жаль расставаться со своими бумагами. В процессе они не фигурировали, к делу никакого отношения не имеют, но ясно было, что включение их в вещественные доказательства — своего рода форма изъятия непотребного. Баллады в нескольких экземплярах вряд ли заметят, если один сопру. Но как? Рядом адвокат — неудобно.

Солдаты снуют, кто-то лезет носом в бумаги. Этим я и воспользовался. Дал солдатам том с криминальными рукописями «173 свидетельств» и «Встреч», и когда они облепили его, незаметно переложил в свои тетради экземпляр одной из баллад. Думал «О разбеге», оказалось «О скопцах». Последняя не менее интересная, но менее острая, больше шаловливая. Ходила она со мной по камерам, пока кто-то не настучал и ее снова не изъяли.

Тогда же, на этом беглом ознакомлении, заметил я и рукописные листки давних своих заметок, об антисоветском характере которых говорили Гуревич и Герасимов, а также «Баню», присланную Гуревичем. Не знаю, что эти бумаги доказывали обвинению, ни прокурор ни судья их вообще не касались, но для защиты они весьма пригодились.

Результаты судебного заседания, свою оценку суда по свежим следам я тоже заносил в Последнее слово. И убрал по совету адвоката из черновика акцент на то, что «173 свидетельства» написаны в состоянии нервного возбуждения, большого волнения. Тем самым я хотел убедить, что текст не заслуживает криминального внимания и, полагая данное обстоятельство смягчающим, рассчитывал усилить аргументы защиты. Но уже на первой нашей встрече Швейский категорически предостерег: такой подход, по его мнению, грозил психушкой. Это принудительное лечение, неизвестно когда выпустят, лучше отсидеть три года, Кроме того, акцент на душевное волнение противоречил бы основной линии защиты, согласно которой в тексте не может быть клеветы, т. к. я изложил свои взгляды и убеждения. Если твердо стоять на этом, то «психовать» не надо.

Помню, на первой же встрече Швейский спросил, не осталось ли где вырезок, подборки моих публикаций, он хотел бы их использовать для защиты. Я отослал его к Наташе. На суде я видел у него на столе кое-что из последних моих брошюр и журналистских оттисков. Ждал его речи. И писал в Последнем слове, что в советской печати мною опубликовано около сотни работ, а судят за одну неопубликованную, судят за клевету — не лучше ли было бы гласно обсудить статью, чем негласно судить ее автора на практически закрытом заседании?

Перед началом заседания отпросился у солдат в туалет. Единственная уважительная оказия, чтобы пойти покурить и на ходу перемолвиться с друзьями. Толпа в вестибюле не редеет. Прибавилось незнакомых, от Олега, наверное. Может, корреспонденты есть? Весьма желательно. Чем больше людей узнает о подобных судилищах, тем скорее можно с ними покончить. С судилищами я имею в виду. А впрочем, как знать, может, с людьми быстрее покончат? Власть, истребляющая

истину, не терпит знающих. Больше людей будет знать — больше их истребят и только, впервой им, что ли? И все же живешь надеждой: когда-то ведь должно безумие прекратиться. Не в тот ли момент, когда большинство людей до рези в глазах поймут, наконец, что то, что происходит в благословенной стране, противно разуму, губительно для всего человечества? Так пусть знают.

Прохожу мимо брата Вовки, едва не задеваю кожаный пиджак. Тяну руку:

— Привет! Ты-то как здесь? Спасибо, что прилетел!

Он отпрянул, смутился, таращится на конвой, мол, неудобно, нельзя же. Фу ты, память! Начисто забыл, что он ведь у нас хорошо воспитан; когда призвали в армию, служил в Тобольской тюрьме. Не надзирателем ли? Что-то о том периоде он мало рассказывал, да я и не интересовался, не знал, что это такое. Правда, его как спортсмена туда пристроили, не на чужих костях карьеру делал — свои ломал на хоккейных кортах, да и недолго там был. И все же… Олег сам прорвал солдатский кордон, а родной брат руки не подал. Напомнил, братишка! Ну и семейка! Сестра — офицерская жена, к тому же партийная. Самый младший брат, сродный, ныне, когда пишу эти строки в Старицком захолустье, обрадовал: «Хотел поступать в школу КГБ». Неужто еще не расхотел? И в кого я такой уродился? Отец родной сам не успел откинуться с Тагильской 12-й строгой (с молодости по зонам бытовичком — хулиганом), плачет на короткой свиданке, а через стекло кулак показывает. Не ментам — мне. Так я его, видите ли, расстроил. Только мать моя, давно уже с ним разошедшаяся, напишет на зону: «Читала, сынок, твои пункты, мне судья давала, и вот что тебе скажу, не обижайся: все там верно написано, все так думают, но никто об этом не говорит. Ты, как и я, что на уме, то и на языке. Не будь таким». Может, правда, в мать? Ну, тогда мы одни в родне «инакомыслящие». Стоит рядом с Вовкой, сердешная. Синие тени на бледном опухшем лице. Последний сегодня день, долго ее не увижу. А теща, похоже, уже осудила: качает головой, укоризненно-строго. Глаза измученные и чужие. Говорили потом, как терзала она в коридорах суда Наташу, чуть не за волосы таскала — так стыдила, гнала друзей и цветы из-за нее повыбрасывали. Нет опоры в родных. Но все-таки есть мать и Наташа. А это главное. Не сжить бы их со свету раньше времени — вот что больно.

Сегодня прения. Процедура судебного заседания состоит из трех частей: судебное следствие — когда зачитываются материалы обвинения, судебное разбирательство — слушание свидетелей и заключительная часть — прения: выступления

прокурора, адвоката и Последнее слово. Потом суд удалится на совещание и — приговор.

День начался с речи прокурора. Сербина владеет словом. Говорит без бумажки, четко, изысканно, умело модулируя голос. Ну, всем взяла — прямо повезло с прокурором! Не стандартный «чумадан» с красным испитым носом, стекляшками вспученных глаз и заученными ругательствами. Нет, Сербина была прекрасна, как серна. К лицу ей янтарная брошь и нити серебряной цепочки, слегка спадающей с красивой шеи на изумрудную грудь. В акцентах плавно касается изящным пальчиком каштановой пряди за розовым ушком, речь льется легко и свежо, избегая словесного трафарета. Очарованный ораторским искусством, я не пропускал ни слова. Конспектировал. На то, что она говорила, нельзя было не ответить. Яркий образец того, как можно в изящной, мастерской форме подавать отнюдь неизящное содержание. С грациозностью феи она обносила всех фарфоровым блюдом с кучей дерьма.

— Мясников не просто оклеветал, он глумился, — нежно вздымается аккуратная грудь прокурорши, — над своей страной, давшей ему образование, все, о чем может мечтать человек. Глумится над государством, благами которого пользовался в полной мере… Когда обвиняемому начинают предъявлять данные предварительного следствия, тогда он начинает говорить… Следователь и Залегин никакого давления не оказывали… Что тогда говорил Мясников? «Это явно незрелые и неистинные мысли. Бред… Есть высказывания, не соответствующие действительности. Я понимаю, что здесь заведомо ложные, порочащие высказывания. Я раскаиваюсь и отказываюсь обсуждать этот текст». Только эти, первые показания, истинны… Болезненное самолюбие. Позирует перед своими друзьями… Отрицает, так как хочет оправдаться. Но в протоколах никаких поправок подсудимого нет… Мясникова отказалась от своих показаний, данных на предварительном следствии, вступила на скользкий путь лжесвидетельства под наводящими вопросами подсудимого. Прошу суд сделать по этому поводу частное определение… Жена подсудимого Омельченко из чувства мести провоцировала коммунальные скандалы, чтобы опорочить Величко и Гаврилова… Показания Гуревича полностью перекликаются с показаниями подсудимого. Никогда на предварительном следствии Мясников не говорил о мотивах оговора Гуревича. Вы слышали, как показал Мясников, что Гуревич, бывая у него, спрашивал: нет ли чего почитать? И Мясников сам говорит, что давал порнографию, хотя, заметьте, Гуревич ее не просил, а просил, очевидно, какую-нибудь

литературу, а получал порнографические сочинения.

В то же время, желая опорочить Гуревича, подсудимый пытается обвинить его самого в распространении эротического рассказа… Может быть, когда-то Мясников и был порядочным человеком, но сейчас от былых достоинств не осталось следа… В одном месте он пишет: «подневольный тяжкий труд», в другом — «могут числиться и не работать». Где же логика? В своих публикациях Мясников много писал об улучшении условий труда, спрашивается, как могут эксплуатируемые трудящиеся улучшать условия своего труда? Подсудимый назвал такую постановку вопроса абсурдной, но она вытекает из его писаний — с чьей стороны абсурд?..

У советских людей нет почвы для клеветы на государство и общество. Нет, сомнения, что Мясников попал под влияние антисоветски настроенных лиц. Факт знакомства с текстом «173 свидетельства» Елагина и Усатова не отрицается подсудимым. Он пишет в своем заявлении, что этот текст «отражает точку зрения комментаторов зарубежных радиостанций». Вот, уважаемый суд, истоки морального падения и клеветы подсудимого… Состав клеветы совершенно очевиден: пишет об угнетенном положении советской женщины, о преследованиях верующих — и не может привести ни одного примера, ни одного факта… Не вызывает сомнения, что статья была изготовлена не менее, чем в пяти экземплярах… Изучение материалов дела с учетом образования, личности подсудимого… Умышленное преступление. Заслуживает максимального наказания по ст. 190-й. Два года по ст. 228-й.

Конспект не передает ораторского искусства, зато слово в слово фиксирует приемы и содержание обвинения. Лягушки выпрыгивали из уст прокурорствующей наяды, я их усердно отлавливал на бумагу, чтобы сполна вернуть в Последнем слове. Ни слова правды. Образчик фактических искажений и словесного подлога. Была ли она искренна, верила ли в то, что говорила? Не думаю. Это ей совершенно не нужно. Она — обвинитель, ее орудие — черная краска, перед ней единственная задача — вымазать подсудимого сверху донизу. Как бы ни было сфабриковано дело, сколько ни будь козырей у защиты, роль прокурора состоит в том, чтобы все это превратить в сажу. Так они понимают свою задачу и отрабатывают зарплату. Клеветники-профессионалы. Каково выслушивать от такого обвинение в клевете? Клеветой клевету поправ — не сумасшедший ли дом этот суд?

В перерыве между прениями и приговором адвокат, подойдя ко мне, щелкнул языком:

— Какова? Очень умеренный тон, без обычных грубостей — талантливая речь!

Без грубостей? Разве что матом не ругалась. Талантливая? Пожалуй, если наглость — это талант. Я был далек от того, чтобы любоваться стилистическими красотами — так ошеломлен содержанием речи. Другой, может, посмеялся бы, но восторгаться — чем?

Мне говорили, что по окончании суда коллеги, в том числе и адвокат, поздравили Сербину с удачным выступлением. В том же или в 1982 г. она была признана лучшим прокурором Москвы. Речь на моем процессе дает представление о технологии ее успеха. Из конспекта видны технические уловки, которые она практикует в своей блистательной карьере.

С порога отметаются всякие сомнения в обвинительных материалах следствия. Процедурных нарушений и незаконных приемов у следователя не может быть. Понятно почему: ведь следствие ведется под контролем прокурора, и прокурор же подписывает обвинительное заключение — никогда прокурор на суде не усомнится в действиях своего коллеги, он его всячески защищает. Зато в отношении подсудимого прокурор не дает себя сбить с непримиримо атакующей позиции. Когда нечего ответить на аргументы защиты, они пропускаются мимо ушей либо фокус вопроса смещается так, чтобы загнать защиту в тупик, выставить в смешном виде. «Вы писали заявление в камере? В камере. И утверждаете, что следователь стоял и диктовал вам?» Хотя я этого не утверждал, речь шла совсем о другом. Обвинитель старается не быть голословным, но в обоснованиях не брезгует ничем — вплоть до извращения фактов и прямой лжи. Выдумывается, например, какая-нибудь несуществующая теория или аксиома вроде истинности первых показаний, хотя через некоторое время прокурор может утверждать прямо противоположное. Почему, собственно, именно первые показания истинны? Оказывается потому, что «когда обвиняемому предъявляются данные предварительного следствия, только тогда он начинает говорить». Но материалы следствия предъявляются не в начале, а в конце, на закрытии дела. Получается чепуха, а не «теория» Но дело сделано, создается впечатление обоснованности — кто будет ловить прокурора на слове? Доводы защиты прокурор стремится обратить против подсудимого.

Замечания и дополнения к протоколам? Где же они? Никаких поправок там нет. Там с ваших слов записано: «Бред… незрелые мысли, не соответствующие действительности…» и т. д. Ваша подпись стоит? Стоит. Прокурор знает, что если она поправок к протоколам «не заметила», то судья тоже их «не увидит». Адвокат

помалкивает, а мне на руки протоколы не дают. В результате подсудимый и здесь «лжет», вводит суд в заблуждение, оправдательные аргументы перековываются в обвинительные. Подсудимый уличает Величко в мести и оговоре? Полноте! Это сам подсудимый со своей женой из чувства мести и стремления избавиться от неугодных свидетелей порочат Величко и Гаврилова. Соседские и наши заявления, вызовы милиции, официальные предупреждения, штрафы Величко не потребуются и в расчет не берутся. Для прокурора свидетель обвинения — голубь, свидетель защиты — потенциальный преступник. Первая жена Мясникова на суде изменила прежние показания в пользу подсудимого — значит, лжесвидетельствует, это преступление, прошу частного определения. Подсудимый утверждает, что Гуревич прислал ему порнографию? Этому нельзя верить, ибо ранее подсудимый сам признавал, что не Гуревич, а он сам давал ему порнографию. Так она вывернула мои слова на суде о том, что Гуревич мог без меня ознакомиться с рукописью «173 свидетельств», ибо имел свободный доступ к моим писаниям и всегда проявлял интерес к самиздату. В огороде бузина, в Киеве дядька — эта нескладушка в арсенале прокурорского мошенничества. Если протоколы прокурор цитирует избирательно и толкует по-своему, то с устными показаниями на суде вообще не церемонится, извращает, как хочет.

А уж всякая двусмысленность, неточность в твоих показаниях — и вовсе раздолье для обвинения, тут уж прокурор совсем не стесняется. В протоколе первого, кажется, допроса Кудрявцев написал якобы с моих слов: «есть высказывания, не соответствующие действительности». Когда я возразил, он объяснил эту фразу следующим образом: «Но вы же признаете кое-какие неточности в тексте — в одном месте ошибочно проставлен номер статьи Конституции, вместо понятия «подневольный труд» вы находите более уместным понятие «принудительный труд», говорите об излишней эмоциональности отдельных выражений — значит, есть некоторые несоответствующие высказывания, это я и имею в виду».

«Если в этом смысле, тогда другое дело, но лжи и клеветы в тексте нет», — так мы с Кудрявцевым условились, и так я записал в замечаниях к протоколу. Прокурор Сербина замечаний в упор не видит, зато протокольная фраза «есть высказывания, не соответствующие действительности» используется ею как главный козырь обвинения — дескать, подсудимый сам признавал клевету. Следователь первые дни, желая «добра», подсказывал: признай, кто на тебя влиял и тебя выпустят, если «сам дошел», получишь на всю катушку. Вроде резонно. Пишу в

сентябрьском заявлении: «Некоторая терминология в тексте заимствована из зарубежного радио». Думал, всех обхитрю: я же не говорю, какое радио, может Прагу имею в виду? Доюлил — попало прокурорше на зуб: «Вот истоки морального падения… В советской среде нет почвы для клеветы». Отщепенец, попал под чужое влияние, говорит с чужого вражеского голоса. Своя же земля, родная власть таких не родит. Мясников «сам показал».

Впредь урок и наука: нельзя допускать никакой двусмысленности. Как только подпустил дымка в показаниях, будь уверен — сделал прокурору подарок. Тебе же глаза выест. В дыму прокурору проще доказывать, что белое — черное. В мутной воде рыбка легче ловится. Правда, по закону всякое сомнение, двусмысленность должны толковаться в пользу защиты, но об этом нечего думать. Прокурор всегда толкует в сторону обвинения. Такова практика. И, значит, всегда надо давать определенные четкие показания, взвешивать каждое слово. Или не давать показаний: не знаю, не помню. Или молчать. Но ни в коем случае не давать никакой зацепки. Всегда надо помнить, что следователь, прокурор только и ищут повода, чтобы дать тебе в зубы. Не этому ли учили меня в свое время на кафедре научного коммунизма? Наш преподаватель как-то предостерег меня: «Ты относишься к людям, будто каждый хочет тебе добра, а надо быть готовым к тому, что каждый может дать по зубам. Тогда ты никогда в людях не ошибешься». Теперь этот преподаватель — профессор, а я, плохой ученик, — на скамье подсудимых. Сам виноват — лучше надо было усваивать уроки научного коммунизма.

Важный элемент «искусства» обвинителя — умение задавать вопросы. Сербина вопрос формулирует так, что любой ответ льет воду на мельницу обвинителя. Например: «Как эксплуатируемые трудящиеся улучшают условия своего труда?» Сказать «никак» — нельзя, все-таки условия труда с годами улучшаются, строятся новые цеха, механизируется производство — об этом я писал в своих статьях. Отрицательный ответ усилил бы обвинение в клевете. Положительный, если, например, рассказать, как улучшается, непременно вызовет еще вопрос: «Хорошо, но если условия труда улучшаются, почему же трудящиеся «эксплуатируемые»? Опять клевета. И молчать неудобно: получилось бы, что приперт, возразить нечего. Провокационный вопрос: как ни ответь, прямо на зуб прокурору. Так я его и назвал — внутренне противоречивым, абсурдным. И весь ответ. Сербина молча кивнула. Но в речи вывернула так, будто абсурдность вопроса не ею придумана, а вытекает из сопоставления моих легальных и нелегальных сочинений: «С чьей стороны абсурд?»

Вот как она работает, звезда карательного кордебалета. Полуправда и циничная ложь, дым и сажа, оргический танец бессовестной шельмы. Исходный принцип прокурора, то, что Терновский назвал «презумпцией виновности». Это значит, что на суде прокурор руководствуется предположением (так переводится лат. «презумпция») о заведомой виновности подсудимого. Да какое предположение — уверенность. Каждое его слово, каждый жест для того, чтобы любыми средствами показать, что ты — преступник. Как только прокурор подписал постановление о возбуждении дела, а тем более обвинение или арест, с этого момента ты осужден без всякого суда, ты преступник задолго до приговора, который лишь формально подтвердит то, что давно решено. «Презумпция виновности» почти не знает исключений, а если они и случаются, то лишь подтверждают это неписанное правило, не имеющее ничего общего с советским законодательством, в основе которого заявлен противоположный принцип, заимствованный из римского права, — «презумпция невиновности». То есть и прокурора, и следователя, и судью закон обязывает все сомнения, противоречия, спорные моменты по делу толковать в пользу обвиняемого, исходя из предположения о его невиновности. На практике же, как видим, все делается наоборот. Блюстители закона — первые же его нарушители. Один из примеров вопиющего противоречия между официальным словом и делом, тотального обмана, раздирающего и отравляющего всю нашу жизнь. Подмена объективного расследования противоправной установкой на обвинение неизбежно ведет к фабрикованию дел. С презумпции виновности начинается мошенничество советского «правосудия». Для прокурора, следователя, судьи закон не имеет самостоятельной, абсолютной общественной ценности. Для них его просто нет, а есть набор юридических штампов, которые власть использует по своему усмотрению. Использование закона преимущественно в качестве инструмента карательной политики низводит его защитную функцию до минимума, до ноля. Такая практика ведет к беззаконию, а презумпция невиновности неизбежно превращается в свою противоположность.

Единственный человек в составе суда, который видит в законе не одну карательную сторону — это адвокат. Швейский с того и начал деловую часть своего выступления, что как бы мы лично ни относились к содеянному подсудимым, эмоции не должны возобладать над законом. Нам может многое не нравиться, мы можем не соглашаться со взглядами и высказываниями подсудимого, однако нет такого закона, который запрещал бы кому-либо высказывать свои убеждения. Надо отдать

должное блистательной речи прокурора Сербиной — это яркое выражение личного негодования, нравственного осуждения подсудимого. Но это было бы уместно везде, кроме зала суда. Мы находимся здесь в качестве полномочных представителей закона и в этом качестве не должны позволять эмоциям захлестывать нас. Долг адвоката защищать подсудимого кем бы он ни был. В данном случае, как только мы становимся строго на точку зрения закона, мы видим, что подсудимый невиновен. Заведомая клевета — это когда человек знает, что лжет. Мой подзащитный не лжет себе и не лгал в момент изготовления рукописи, она является выражением его убеждений. Это не вызывает сомнений. Значит, клеветы и состава преступления по 190 статье в его действиях нет.

По поводу распространения Швейский остановился на неубедительности технической экспертизы о том, что «173 свидетельства» отпечатаны в количестве не менее пяти экземпляров. Что касается другой инкриминируемой рукописи, то адвокат обращает внимание суда на то, что она написана более восьми лет назад. Если допустить, что за все это время рассказ видели три-четыре человека, неужели это распространение? Хотя закон не оговаривает, нельзя не учитывать фактор времени в вопросе распространения. Повторил Швейский и рассказанный мне пример с повестью, признанной фривольной в 50-х годах и расхваленной в 60-х. Как можно о качестве художественного произведения судить по отзыву одного какого-то лица? Мне, говорил Швейский, рассказ «Встречи» совершенно не нравится, но это не исключает того, что он может нравиться другим, что завтра это произведение может и на меня произвести другое впечатление. Оснований для обвинения по статье 228 нет. Поскольку ни по той, ни по другой статье состава преступления нет, адвокат просит суд дело производством прекратить.

Швейский говорил раза в три короче прокурора, минут 15. Половину выступления посвятил тому, что он коммунист, участник войны и потому разделяет плохое отношение к тем, кого называют антисоветчиками. От содержания текста сразу открестился тем, что даже и говорить об этом не будет, т. к. для юридической оценки текста имеет значение не то, что написано, а как сам автор относится к написанному. Но как бы он ни осторожничал, ни лебезил, он сказал главное: не виновен. Нашелся-таки юрист и коммунист, для которого закон выше партийной дисциплины. Впоследствии это очень помогало в спорах с затюканным боязливым лагерным начальством. Для администрации осужден — значит виновен и другого мнения быть не может. Да еще Мосгорсудом, да еще по инициативе КГБ

— и в мыслях не усомнится в правильности наказания уральский охранник. Единственное, что могло поколебать — это ссылка на адвоката-коммуниста. Значит, позволено коммунисту иметь точку зрения, отличающуюся от приговора, значит, есть какие-то аргументы моей невиновности — от такого прозрения начальник смелел до того, что спрашивал у меня подробности в попытке составить собственное мнение по моему делу. Осторожно, как ребенок, учится ходить, начинал думать, рассуждать, и в этом случае спор часто складывался в мою пользу.

Сама по себе речь Швейского мало меня впечатлила. Покоробил фимиам, воскуренный «талантливой» прокурорше. Не мог пристыдить или хоть отмежеваться, так отмолчался бы — зачем говорить комплименты подлости? По-человечески — не этично. По стилю речь была проста и рассудочна, больше взывала к здравому смыслу, чем к сердцу. Это что-то доказывало, но не впечатляло. По содержанию все время казалось, что он не столько защищает меня, сколько извиняется за то, что по адвокатскому долгу вынужден делать это. Судья нарочно переговаривалась с кивалами, листала бумаги, писала, всем видом давая понять, что не хочет слушать речь, которая не имеет никакого значения. Я тоже слушал вполуха, торопясь записать в Последнее слово все, о чем умолчал адвокат и что следовало сказать по доводу речи прокурора. В перерыве он спросил меня:

— Ну как?

Я только и мог сказать:

— Спасибо, ничего.

Байкова объявляет прения законченными. Тон такой, будто все сказано и надо лишь зачитать приговор и объявить заседание закрытым. Собирает бумаги и между прочим, как о чем-то необязательном, спрашивает:

— Подсудимый будет брать последнее слово?

— А как же! — я положил две тетради на край заграждения. Взглянув на тетради, Байкова хмурится:

— Учтите, что последнее слово не имеет доказательной силы.

Что-то новое. Что это значит? Что ей наплевать, что я скажу?

Может, то, что последнее слово не заносится в протокол и не влияет на решение суда? Почему же в начале первого дня заседания, когда на все ее вопросы я обещал ответить в последнем слове, она не предупредила об этом? Почему соглашалась? Почему молчал адвокат, зная, как серьезно я готовлюсь к нему?

Впрочем, сейчас это ничего не меняет. Я долго готовился к этой минуте. Все наговорились досыта, пора и мне высказать то, что думаю. О характере следствия и судилище. О том, что, на мой

взгляд, происходит в стране и что побудило меня прокомментировать проект Конституции. Обвинение доказывает клевету отсутствием аргументов в тексте — сейчас они будут. Кто я такой и чего заслуживаю, прокурорша сказала, сейчас я скажу, кто они такие и почему я так думаю. Что-то, возможно, западет в их бесстыжие головы. Пусть их было только двое — прокурор и судья — все равно стал бы говорить. Но тут еще люди, с десяток родных и друзей, солдаты, да и кивалам, девочке-секретарше полезно послушать.

«Уважаемый суд!» — начиналась рукопись Последнего слова. Я опустил это обращение, ибо никакого уважения к этому суду не испытывал. А начал с того, что считаю обвинение в клевете и сам суд оскорбительным и потому не буду оправдываться. Обвинение неправомерно, дело сфабриковано. Минут десять ушло на разбор обвинения в порнографии по статье 228-й. Судья то и дело перебивает:

— Не по существу! Короче!

Но стоило приступить к 190-й, перебивает на каждом слове, не дает говорить. По закону не должна этого делать, я могу говорить, что хочу и сколько хочу — закон не ограничивает время последнего слова. Но говорить невозможно: она перебивает, я огрызаюсь. Делаю заявление судье, что она фактически лишает меня последнего слова. Нет, у вас не будет основания для такого заявления! Продолжаю читать. Судья верещит от негодования:

— Не по существу!

— Какое ваше дело, я говорю то, что считаю нужным.

Читаю снова. Байкова уже не скрывает намерения сорвать Последнее слово. Встревает ежеминутно, с бойцовским упорством, вынуждает прекратить. Я продолжаю. Публика моя волнуется. Мать машет рукой:

— Остановись!

Олег делает знаки: спокойней.

Не обращаю на судью внимания, повысил голос, чтобы перекричать ее. Гоню коней. Байкова не выдерживает, встает, дрожит от злости:

— Я не позволю разводить антисоветскую пропаганду!

Я продолжаю читать.

— Если вы сейчас же не прекратите, я поставлю вопрос о переквалификации обвинения на статью 70-ю!

Знакомая угроза! Не раз на эту мушку брал Кудрявцев. Встает адвокат и просит судью сделать перерыв. Судья, кивалы, прокурор на несколько минут исчезают в боковой комнате. Адвокат подходит ко мне:

— Она не шутит. Опомнитесь. Кому вы хотите доказать? Всем

и так все ясно. Суду вы ничего не докажете, заработаете лишний срок. Попросите о чем-нибудь и довольно.

Швейский раздражен.

Друзья машут:

— Перестань! Ну их!

Мать ломает руки, теща угрюмо качает головой.

Входят судьи. Прячу тетради в полиэтиленовый мешочек и обращаюсь к своим друзьям. Они смотрят во все глаза, лица встревожены, словно умоляют: «Ради бога, не наговори лишнего!»

Говорю о том, что серьезно готовился к последнему слову, которым хотел объясниться, попрощаться с вами. Хотел пункт за пунктом разобрать обвинение, чтобы показать неправосудность происходящего здесь судилища. Мне тяжко было бы уходить от вас с чувством вины перед вами. Горько видеть вас здесь, горько от того, что доставил вам большие переживания, третий день из-за меня вы мыкаетесь в этих нечистых стенах. Знайте, что вы, ваше присутствие здесь — неоценимая поддержка. Счастлив видеть вас и не обману вашей доброты никогда. Где бы я ни был, в вас вся моя вера и надежда. Простите, если можете, но, видит бог — страдаете вы не по моей вине. Я не совершил ни нравственного, ни уголовного преступления. Единственное, к чему всю жизнь стремился, — это жить по совести. И если прокурор считает это преступлением, я не могу с ним согласиться. Надеюсь, вы не осудите меня за это.

Вы вызваны свидетелями по уголовному делу, а стали свидетелями грязного судилища. Обвинитель в попытке обличить меня, обличил себя, наглядно продемонстрировав безнравственные и незаконные приемы обвинения. Я хотел ответить на них, но мне отказано в праве на последнее слово — еще один пример беззакония. Нисколько не корю себя за то, что писал и не уничтожил рукопись, когда предупредили меня за несколько дней до обыска. Готов нести ответственность за каждое написанное мной слово. Но за сфабрикованное дело, за несуществующие преступления отвечать не могу. За это должны нести ответственность те, кто сфабриковал и поддерживает сфабрикованное обвинение. Это не суд — это надругательство над правосудием. Главного свидетеля обвинения нет. Несмотря на явное лжесвидетельство его протокольных показаний, они берутся в основу обвинения. Других свидетелей обвинения вы видели — они не заслуживают не только доверия, но и элементарного уважения. На таком гнилье строится обвинение — чего же стоит такой обвинитель и такое обвинение? Прокурор, сама женщина, не гнушается срамить ни в чем не повинную женщину, вся вина которой состоит в том, что она моя жена.

Омельченко, доведенная до отчаяния дебошами двух хулиганов, просит защиты, а прокурор обвиняет ее в клевете из чувства мести! Это же верх цинизма! Прокурор не брезгует ничем, чтобы очернить меня и моих близких и обелить свидетелей обвинения. Даже ваше присутствие расценено как доказательство моей аморальности: по мнению прокурора я не раскаиваюсь только потому, что позирую перед своими друзьями. Извращено каждое слово, обругано все, что мне дорого. Но грязь ложится на тех, от кого исходит. Моя совесть чиста, я не злоупотребил правами, гарантированными нам Конституцией. Гарантированны ли они на самом деле — покажет решение суда.

После большого перерыва, часа через три, зал был полон. Масса незнакомых, несколько шикарных девиц, дам, особенно неотразимых из-за моего барьера. Лысый, свеженький дед в центре толпы. Чей он? На приговор запустили всех желающих.

Читает Байкова. Буква и дух обвинительного заключения. Нового было то, что добавили ряд инсинуаций Сербиной, да убрали Наташу из куцего списка жертв распространения инкриминируемых текстов. Осталось несколько имен: «Встречи» давал Гуревичу, Величко, Перову и др., «173 свидетельства» — Гуревичу, Елагину и др. Кто такие «др.»? Три дня выясняли, а дыра так и осталась.

Именем Российской Федерации приговаривают по ст. 190-й — к трем годам лишения свободы, по статье 228-й — к двум годам, в соответствии со ст. 40-й определяют окончательный срок по максимальному — три года с отбыванием в исправительно-трудовой колонии общего режима.

Слава богу, а то после выступления прокурора я пять лет насчитал. Что это за 40-я статья и почему решили ее применить — до сих пор не знаю. Думал, это обычная практика, но нет: нередко встречал тех, кому суммировали срока, иногда полностью, чаще частично к максимальному, например, прибавляется год или два от сроков по другим статьям. Любопытные бывают букеты, а почему мне повезло — ума не приложу. Вроде не очень растрогал судью на снисхождение. Надо будет узнать, все-таки интересно. Однако не думаю, что тут замешана добрая воля суда, что-то не верится. Потолок по 190-й какое уж тут снисхождение! Да и по порнографии немало, статья 228-я тоже от 100 рублей до трех лет, кроме того пристегнута символически, аморальным довеском, а на срок не поскупились. В общем, трешник.

Закончив чтение, Байкова и присяжные вышли из зала. Хотелось вдогонку: «Позорный приговор!», но не было сил, в зале было тяжелое, подавленное молчание. Мать вытирает слезы, у

Наташи вот-вот польются. Теща грозит пальчиком, свершила, значит, и свой приговор. Как и Мосгорсуд, приведет его в исполнение — ультиматум Наташе: с ним или со мной. Вычеркнула меня из жизни. До сих пор Наташа скрывает от нее наши отношения. Почему сразу после ареста теща не порвала — смех и грех: была уверена, что я сижу потому, что так надо. Выполняю задание. Выполню и выйду с повышением в гэбистском чине — вот какой любовью и доверием тещи пользовался! Ей в голову не приходило, что рядом с ней может быть кто-то, кто рассорится с властью. А я и подавно — ведь эта власть все мне дала в том числе в виде драгоценного приложения и ее, профсоюзную курицу, вдову заслуженного сталинского-бериевского чекиста.

Всех давно вывели, я один в зале. Солдаты ждут машину. Сегодня закончили сравнительно рано, времени около трех, адвокат обещает скоро увидеться перед кассаткой. А пока мы договорились, что я сразу подаю заявление на ознакомление с протоколом судебного заседания.

Ну, пора, солдаты зашевелились. Снует офицерик, все напряглись перед последним выходом. Не зря — толпа напирала на двери. Солдаты сделали коридор, иду между ними в новом качестве осужденного. Теперь я — уже настоящий, официально узаконенный преступник. Мать с горестным лицом, Наташа, брат, Олег кричит:

— Молодец!

Коля Филиппов с поникшим веником бороды, много других людей. И все молчат. Мне бы матери, Наташе слово сказать, но такая усталость, только и смог на прощание:

— Счастливо, ребята!

Мало кого из этих людей я вижу сегодня. Кто за границей, кого совсем не знал, но кое-кого все же встретил через три года. И всем им признателен. Дорого присутствие друзей, когда идешь на мытарства. Толпа была благословением мне, с нею не одиноко. Шел за наше общее дело, в полной уверенности, что когда, даст бог, выйду, у меня будет еще больше друзей.

На дворе смеркалось. Два шага по стоптанному снегу и привычно забрасываю лефортовский холщовый мешок в железный створ воронка. Следом два солдата. Мотор на взводе. Офицерик в кабину. Что-то стоим, бензиновая гарь кружит голову. Только поехали, слышу глухие голоса, будто издалека кричат. Мои, что ли? Да нет, думаю, сколько стояли, чего они на морозе ждать будут? А сам льну ухом то к боковой, то к задней стенке, удары по кузову, голоса, визг женский, но не разберу ничего. Воронок набрал скорость — дорога скатертью.

# Глава 7. Красная Пресня

# Осужденка

Снова «Матросская тишина», но камера уже другая. Первый этаж, длинный, сумрачный коридор. Помимо своих мешков («сидоров», «баулов», как их здесь называют), держим у ног черно-серые мешки «матрасовок» — наматрацников с жидким клочковатым матрацем, такой же подушкой, казенной алюминиевой кружкой — обычный тюремный скарб. Другой конец коридора пропадает в темноте. По обе стороны ряды грязно-зеленых мрачных дверей — весь коридор для осужденных. Надзиратели сортируют нас по группам: общий, усиленный, строгий режим — в разные камеры. Застойный кафельно-бетонный дух, плохо освещенные серые стены, тяжелые балки, нависающие над нами поперек потолка — все это угнетающе давит.

Потом я живо представляю себе этот коридор, когда ближе к ночи раздавался там топот и кто-то, пробегая, истошно кричал:

— А-а… Убивают!

Сумасшествие, никуда из этого коридора не убежишь, разве что завернешь в другой такой же, где наткнешься на кулаки и сапоги контролеров или дубинки солдат. Такие коридоры будто созданы для расправ. Выдергивают из камеры провинившегося или просто «крайнего» из провинившейся хаты, и несколько надзирателей набрасываются на одного человека. Отбив бока, закидывают обратно, чтоб другим неповадно. В камере нас много, тут надзиратели не страшны, но коридоры их владения, здесь страшновато. Вся тюрьма — коридорное сито. На прямолинейных ветвях тяжелые гроздья камер. Коридоры мне никогда не казались пустыми. Даже когда никого нет, и тебя ведет один надзиратель, чувствуется многоликое присутствие, учащенное дыхание многих людей, ибо вся камерная жизнь прикована к смотровому глазку и кормушке двери. Выводят, заводят, новости, книги, баланда, дачки, ларь, надежды и ожидания, горе и радости — все, чем живет заключенный, — идет из коридора. И даже когда он пуст, он плотно наэлектризован напряженным вниманием сотен и сотен людей, замурованных по обе его стороны. Идешь и смотришь: вот кто-то появится, кого-то еще проведут, нового человека увидишь — это всегда событие. Вокруг коридора клубится тюремная жизнь. Зловещая, питающая, пульсирующая артерия тюрьмы.

Контролер рванул тяжелую дверь 145-й камеры. Втаскиваем свои мешки. Стиснулись у порога, не зная куда податься — камера переполнена. Ударила дверь за спиной, делать нечего,

надо как-то располагаться. Камера мест на сорок, народу в два раза больше. Напротив густо зарешеченные два полуподвальных темных окна. По сторонам двухъярусные ряды сдвоенных шконарей. Слева отделанный каменным барьером унитаз — «толкан», и все сверху донизу кишит людьми. Чуть свободней на пятачке от двери до «платформы». Здесь, потеснив других, мы поставили свои мешки.

— Профессор! Леша! — слышу обрадованный, срывающийся голос. Поворачиваюсь, из-за голов, тел, мешков зовет меня Жора: — Иди сюда!

Тот самый, которого пнул под задницу Феликс, сгоняя с места, отведенного мне. И этот человек раздвигает на полу, рядом с собой щель, чтобы как-то устроить меня. Встреча с бывшим сокамерником всегда интересна. Пробираюсь через людей к площадке между крайней шконкой и туалетным барьером. Место не самое приятное, но в такой давке на это не смотрят. И тем хорошо, что по тебе не будут топтаться, как на середине камеры.

Жоре лет 30, радушный, добрый парень. Мягкость характера подвела его в 124-й. Каждый, кому не лень, мог обозвать его, дать по шее, зная, что Жора покорно смолчит, глянет виновато и отойдет. Вечно со шваброй. По камерной табели о рангах — черт. А сейчас не узнать — посвежел, обородился, будто разогнулся, скинул что-то тяжелое. Сидим на его матраце, мои мешки под шконарями, больше деть некуда. Жора достает полиэтиленовые мешочки: сыр, яблоки. Ба! Откуда? Ни разу при мне в 124-й ему ничего не приносили, ни дачек, ни ларя. После суда принесли.

Дали ему год по 209-й. Полгода тюрьмы позади и главное — 124-я позади. То, что Жора ожил, стал похож на человека, объясняется тем, что избавился, наконец, от камеры, где ему, как и многим, житья не давали. Крутит коричневыми зрачками по сторонам, показывая, что здесь совсем иначе, совсем другие отношения, живешь сам по себе — здесь хорошо. Самое страшное, самое тяжелое в неволе не карцер, не голод, не менты, а камерный зэковский беспредел. Особенно невыносим так называемый козий беспредел, отрежиссированый втихаря операми для вящего умиротворения одних зэков кулаками других, завербованных. Такой беспредел в «пресс-хатах», когда забрасывают на «молотки» неугодного, в этом роде была и 124-я. Жестоких избиений я там не видел, но бесконечные придирки, притеснения, щелчки, вошедшие в норму, преследующие постоянно, запугали людей не меньше мордобоя.

Попавший впервые думает, что везде так, на то и тюрьма, и эта безысходность подавляет слабых, как подавляла Жору. И

лишь после суда, попав в осужденку, человек узнает, что то, что творилось в прошлой камере, называется беспределом, это, скорее, исключение, чем правило, и в путевых хатах с «королей» спросят за это. Для человека, срок которого впереди, весьма утешительное открытие. Вот почему со смуглого лица Жоры не сходит сейчас жизнерадостная улыбка, которой в 124-ой у него не было и в помине.

Дает мне целое яблоко. Тут только я почувствовал жуткий голод — днем на суде ничего не ешь. Возвращаешься поздно и тоже ничего, время кормежки прошло. С утра на сборке иной раз что-то перепадет, но перед судом не до еды. И так три дня. Запасы мои с дачек и ларя кончились, на суде, как ни просила мать, ничего не разрешили передать. Я был пуст и голоден и сейчас не мог принять угощение, так как самому нечем поделиться.

— Спасибо, Жора, боюсь, не рассчитаемся.

— Ешь! Что я, не знаю, как после суда? — Жора щедро двигает сыр и яблоки, хотя сам получил первую передачу почти за полгода и, конечно, в 124-й его никто не угощал.

Еда в тюремных условиях роскошная, теперь же нечаянное угощение воспринималось как чудо.

— Ну, как там? — спрашиваю о 124-й.

— После тебя еще хуже. Феликс оборзел. Дачки, лари, вовсю дербанят. Невмоготу, люди стали ломиться, — смуглое, одутловатое лицо Жоры потемнело. — Никакого сравнения, — снова оживился он, обводя глазами камеру.

История Жоры такова. По специальности техник-строитель, работал на инженерных должностях. Халтура, левые деньги, пьянство. Ушла жена. На книжке оставалось с тысячу. Просадил за месяц с облепившими его, как мухи, друзьями. Остался без гроша, жить не на что. С работы уволен, друзей, как ветром сдуло. А не пить уже не мог. Стал вещи из дома таскать и продавать за гроши, менять на бутылку. Опустился вконец. Тут его милиция и выручила. Одно, второе предупреждение и в кутузку, по тунеядке. В КПЗ на другой день без вина черти стали из-за углов выглядывать. Настоящие черти — подмигивают, ушами прядут и норовят черными липкими лапами Жоры коснуться. А то покажется кровь — стекает по стенам струями, уже и пол залит. Забьется Жора в угол деревянной софы, а кровь выше, выше, на софу под него подтекает. Натерпелся жути. Сокамерники стучат в дверь, вызывают врачей — белая горячка. Прибитый, больной попал в 124-ю, где насмешками, затычинами совсем его доконали. Так и был пришиблен до самой осужденки.

А человек-то, оказывается, не пропащий. Прост, но не глуп.

По голове и образованию куда выше всех тех «королей» вместе взятых. За это они и пинали его с особым удовольствием:

— Инженер, алкоголик, держи, черт, швабру!

Он покорно мыл пол каждый день. Страшнее белой горячки была та камера. Зато теперь он воспрянул духом. Нашел в себе желание и силы одуматься, поправить пущенную под откос жизнь. Благо сейчас он трезв. С дрожью и отвращением вспоминал все, что с ним было. Не пить, начать жизнь заново — об этом он думал. Но надо сохранить комнату, где прописан. Если его увезут в лагерь, то площадь и прописка пропадут. Осталась же ему чуть больше полугода — как продержаться здесь, в московских тюрьмах, чтобы не увозили? Мы стали прикидывать. Во-первых, выписать могут лишь через 6 месяцев после вступления приговора в законную силу. Оттянуть законку можно заявлением на ознакомление с протоколом суда и кассацией. В среднем это задерживает месяца на два. Второй вариант — остаться в рабочей бригаде, «рабочке», при тюрьме. В «Матросске», как и в других тюрьмах, есть зэковские строительные бригады, хозобслуга. В осужденку часто наведывается капитан-хозяйственник и записывает нужных ему специалистов. По зэковским понятиям, «рабочка», а тем более обслуга, — западло, но какой Жора зэк с его неполным годишником? Ему главное — продержаться в Москве, говорят, кто сидит в Москве, того не выписывают. Так и порешили: Жора подаст на кассацию и запишется у капитана. Кумекаем, как писать кассационную жалобу. Это же протест против приговора, значит надо с чем-то не согласиться в решении суда. Крутим и так и этак — прицепиться не к чему, у Жоры приговор-то на полстранички. Процедуры соблюдены, состав преступления ясен. Ну, рассказывай, Жора, подробней с самого начала, как тебя брали.

Со второго предупреждения, учуяв запах гари, Жора уехал в деревню к родителям, где его откормили, сводили к бабкам заговорить от проклятого зелья, вернулся было человеком, да встретил собутыльников. Решил: в последний раз. Запой затянулся. Тут и сцапали. Жора оправдывался: болел, ездил в деревню лечиться. Требуют справку. Бабки, как известно, справок не дают.

— Ну ты же мог в поликлинике взять справку, что болен, — говорю ему.

Оказывается, поликлиника давала направление на лечение, а он сбежал в деревню.

— Что ж ты лечиться не стал?

Жора морщится, как от чего-то противного, машет рукой:

— Что толку, разве они вылечивают?

В кассацию это не напишешь, но все-таки тут что-то было.

— Давай так. Ты был болен? Был. В деревне лечился? Лечился. Это же не просто тунеядство. А суд это учел? Вот мы и обжалуем.

Жора с радостью согласился. Для проформы годилось. А то он совсем нос повесил: нечего было писать. Пишу кассатку:

«…Суд не учел, что я не работал не умышленно, а потому что был болен, что и подтверждает направление на лечение, выданное мне поликлиникой. Поскольку клинические средства не помогли, я вынужден был уехать в деревню, где лечился средствами народной медицины».

Прочитал вслух. Жора сосредоточенно выслушал, одобрил. Сейчас он перепишет своей рукой и отошлет. А я представил кассационный суд, рассматривающий эту жалобу, и расхохотался. Чем в народе обычно лечатся? Водкой. Это же первый национальный яд и лекарство. И вот, берут судьи жалобу: ну, скажут, крючкотвор! Жаль, такие мозги для юриспруденции пропадают. Долечился до белой горячки! Хохочу. Жора недоумевает.

— Скажи, Жора, — говорю ему. — Ты ведь в деревне закладывал? Он все еще серьезно, признается:

— Ну, было немного… но не так, как в городе.

Я хохочу, он в смущении. Ничего не понимает, однако прячет жалобу под подушку, долой с глаз:

— Чего смешного?

Соседи на нас смотрят, любопытствуют, заранее улыбаются: что такое? А мне и Жору жаль, ему неловко, и смех разбирает:

— Да вот, говорю, человека ни за что осудили. Лечился средствами народной, медицины, а посадили за тунеядство и пьянство. Теперь кассатку пишет!

Дружный хохот — тут ведь таких половина «невинно осужденных» по статье 62-й на принудлечение.

Жора обиженно комкает кассатку. Я с трудом делаюсь серьезен:

— Что ты, Жора, не рви, для кассатки лучше придумать нельзя — весело и логично. Ты всерьез надеешься, что тебе срок скостят? Нет? Так какая тебе разница, что там будет написано — главное, время выиграть.

— Неудобно, на смех поднимут, — угрюмо сомневается Жора.

— Наоборот хорошо, что весело. Посмеются судьи и пожалеют. «Смотри, какой сообразительный, ума не пропил» — возьмут да и отменят 62-ю. Хуже не будет.

Вроде убедил. Жора опять начинает мне верить, светлеет, заулыбался.

— Средства народной медицины, — повторил про себя и расхохотался. На час смеху хватило.

И начался кассационный зуд. До сих пор большинство и не думало подавать. Всякий суд людьми воспринимается, как кара. Кассационный пугает: еще добавят. Да и написать надо уметь, а тут выясняется, что жалоба не только не повредит, но может быть и полезна, в иных случаях даже необходима. По закону кассационный суд не имеет права выносить определения об ужесточении наказания по тому же делу. А отменить или смягчить приговор может — чем черт не шутит? Дай-ка напишу, все равно делать нечего. Подходят со всех сторон: напиши.

— Всем не напишешь, — говорю, — пишите сами, потом будем смотреть.

Умолкли анекдоты, трепатня, камера очнулась от безделья и угрюмых переживаний. Запыхтели, закорпели над тетрадками. Потом показывали, я редактировал.

С той поры это занятие преследовало меня до конца срока, неся свои выгоды и свои неприятности. Надо ли пояснять, что неприятности в связи с этой, так сказать, общественной адвокатурой, приходилось терпеть исключительно со стороны администрации, которая запрещала мне помогать зэкам. Об этом речь впереди, а пока благодарная камера с уходом первой же партии на этап предоставила нам с Жорой два шконаря на первом привилегированном ярусе.

Забавные были кассатки. Например, Анатолий Крысюк, рыжеватый, самолюбивый парень, с гордым видом показывает сочинение о том, что «правильное изучение моей личности не подлежит к такому воспитанию, как тюремное заключение». Когда я сказал, что этого аргумента для отмены приговора недостаточно, он обиделся, вскинул сухощавую конопатую мордашку, как бы давая понять: попробуй, сам напиши так, как написал я!

Зорин А. с товарищем убежал из части недалеко от Баку, где проходил срочную службу. Жалоба его в таком духе: «А к командиру части я не пошел и не сказал, потому что у нас в части есть рядовые Шмарин и Терентьев. Шмарин пидарас, а к Терентьеву пристают тоже лица туркмены или узбеки, я не знаю. Они у него сломали хрящи в ухе, а когда просили перевести в другую часть и отказали…»

— Сколько ты классов окончил? — спрашиваю.

— Одиннадцать, — отвечает.

И подобные перлы всеобщего среднего на каждом шагу. Тем не менее, дело Зорина очень серьезно. Я сам служил, но даже не слышал о педерастии в армии, хотя в 60-х годах мы служили не

два, а три-четыре года. Теперь, после Зорина, нарочно интересовался на зоне и после у солдат, только что демобилизованных: как у них с этим? Везде почти есть это. Зорин же с товарищами попал прямо в гнездо насилия. В их части русских было процентов десять. Остальные, включая начальство, азиаты, которые ненавидят и презирают русских. Восточная молодь и здесь, в московских тюрьмах, не стесняется смаковать, как живут они с ишачками и какой шик лишить девственности молодую ишачку — не каждый почтенный отец семейства отказывает себе в этом удовольствии, предоставляя другим пользоваться животным лишь после него. Не знаю, насколько это распространено, но легко представить звериную похоть сытых молодых ишаков на горстку русских среди них. Особенно когда командиры из местных смотрят на это сквозь пальцы.

Зорин с товарищами жаловались — не помогло. Просили перевести в другую часть — куражиться над ними стали еще наглее. Не видя выхода, убежали из части. Скрываются в горах, переодеваются, перебираются подальше к железной дороге и на товарняках добираются до Москвы, где живут родители Зорина. Вместе с родителями решили идти в Министерство обороны. Но ребят ждали не только родители — арест за дезертирство. Куда только ни писали, вплоть до Устинова, — все-таки трибунал: четыре года, с учетом, очевидно, смягчающих обстоятельств. Наверное снова будут писать: «…Сломали хрящи на ухе», — кто из военных чиновников всерьез воспримет такие жалобы? Посмеются и бросят в корзину. Я написал Зорину другую кассатку — такую, чтоб никто не смеялся.

За кассаткой Михалеву сделал выписки из его приговора как очень типичного и вместе с тем бессмысленного и жестокого. Эта выписка — одна из немногих, чудом сохранившихся у меня. Преступление Михалева состоит в том, что он бросил работу, чтобы водиться дома с двумя малолетними внуками. Дети слабы, часто болеют, в сад их нельзя. Почему не мать и не бабка? Потому что женщины в этой семье главные кормилицы обе здоровы. А дед, хоть не стар, 47 лет, часто прихварывает и толку от его куцей зарплаты меньше чем от бабки-продавщицы и халтуры оборотистой дочери. В общем, семья решила, что сидеть с детьми удобнее деду. Да и какая разница, кто занимается домашним хозяйством: дед или бабка? Разница, оказывается, большая. Если бабка, то все правильно, если дед, то «год лишения свободы в ИТК общего режима по ст. 209 ч. 1 УК РСФСР». Таков приговор Красногвардейского райсуда под председательством Шевченко Л. Н. с участием народных кивал Новикова и Батурлина. За что? «С ноября 1979 г. не работал, жил на нетрудовые доходы — средства

жены». И тут же, ничтоже сумняшеся: «Михалев и его жена пояснили, что не работал, т. к. оставался с малолетними внуками, прогулы совершал по болезни». Разве ведение домашнего хозяйства да еще с детьми — не работа? В отличие от разгильдяйства государственной службы, это настоящий труд, где не посачкуешь. Махалев готовил пищу, возился с детьми, таскал их по больницам — разве это «паразитический образ жизни?» Кроме того, почему «нетрудовые доходы», когда это средства жены — суд ведь не ставит под сомнение, что средства жены заработаны, а значит, это семейные доходы, и они трудовые. Дед получает из семейного бюджета за свой труд. Приговор обвиняет: «До января 1981 г. мер к трудоустройству не принял». Самое поразительное то, что в январе его забрали, когда он уже устроился на работу. Слишком долго устраивался — больше месяца. Это было до андроповского ужесточения преследований того, что власти называют тунеядством. Сравнительно либеральное время. Что же сейчас?

Мало того, Михалев приговорен к «лишению свободы «с принудительным лечением от алкоголизма по ст. 62». Повидал я алкоголиков в камерах, их опухшие рожи — Жора не даст соврать. Михалев совершенно свеж лицом, моложав. Я удивляюсь:

— Ты правда алкоголик?

— Какая мать или бабка оставят алкоголика с детьми, сам подумай. Выпивал, конечно, как все: кружка пива, стакан вина в день — обычная норма.

— Как же они тебя алкоголиком признали?

— Зашли вечером домой, мы все ужинаем, на столе бутылка стоит. Меня вроде на минутку в отделение пригласили. Оттуда повезли в диспансер. Нарколог, естественно, дал заключение, что я выпивши. Им того и надо — сразу в КПЗ, через три дня суд, и я здесь…

Приговор это формулирует так: «Употреблял спиртные напитки, ведя паразитический образ жизни». Употребляют все, но это не означает, что все алкоголики. Что же является признаком алкоголизма, основанием для принудлечения? Очевидно, то, что власти называют «паразитическим образом жизни», — других аргументов в приговоре нет. Замечательный вклад творческого содружества советских наркологов и милиции в отечественную медицину! Вскоре, ознакомившись с десятками подобных дел, я перестал удивляться. Если что и удивляло теперь — это люди, не работающие годами, которых никто не тревожит, я знал таких. Чего же Михалеву так не повезло?

Из-за участкового — тот затаил зло на него, то ли нагрубил ему Михалев, то ли из-за жены. Стал наступать на пятки, нашел

предлог, полетели рапорта. Жал, жал — дожал до суда, а суд — ручной и послушный: как сказал милиционер, так и сделали. Не будь предлога по 209-й, что-нибудь другое бы накрутил. Мал участковый, но закон и суд делают рядового слугу жилого квартала владыкой населяющих его людей. Была бы охота, управу участковый всегда найдет. И если у него зуб на тебя, да еще начальник науськивает, участковый прет буром, легко растаптывая бумажные ограничения закона. Ты беззащитен, власть у него неограниченная — съест с потрохами.

Однажды я заставил своего участкового извиниться перед Наташей — за хамство. Когда меня посадили, он куражился над ней, как хотел: зимой выгонял из дома в одном халате, в конце концов выселил силой. Совершенно незаконно, но при поддержке вышестоящих и прочих органов. Случай далеко не единичный и, судя по Михалеву и другим, — типичный. Произвол возведен в норму, в будни нашей поруганной жизни. Какая же страшная власть у тех, кто повыше, если участковый может сделать с тобой все, что угодно! Пока не коснется, трудно даже вообразить, насколько все мы зависимы, насколько не принадлежим себе. Если мы думаем, что живем так, как нам хочется, что наш образ жизни определен естественным порядком вещей, рано или поздно дадут понять, как сильно мы ошибаемся. Мы можем жить и думать лишь так, как нам позволено — не больше того. Ты сыт, одет, крыша над головой — не забудь полюбезничать с участковым, благодарить власть имущих от мала до велика, иначе всего лишишься. «Пришла зима, настало лето — спасибо партии за это!»

В первый же час моего водворения в 145-ю, когда мы с Жорой хрустели нарезанными дольками яблока, через весь базар-вокзал, отталкиваясь и небрежно раздвигая чужие спины и головы; ко мне подлетел шустрый парень лет 25-ти. Был он сух и рус, в облегающей красной футболке и джинсах, по-камерному франтоват. Заговорил решительно, но нервно, торопясь и запинаясь, видно, искал нужный тон: повежливее и в то же время дать понять, что передо мной фигура номер один:

— У вас какая статья? У нас с вами много общего — я тоже своего рода политический. Слышали о Виноградове, Сокове? Я — Соков, давайте знакомиться.

О Сокове я не слышал и сейчас не уверен, что точно воспроизвожу фамилию, но о виноградовском деле тюрьма жужжала. Соков тут же предложил прочитать его приговор, чтобы я убедился, какой он политический. Я был только что после суда, и голова моя плавилась, я хотел отложить знакомство, но Соков бросился назад и уже подавал мне толстую ксерокопию своего

приговора:

— Читайте! — но еще не дает, сам быстро листает: — Вот! — гордо ткнул пальцем и исчез, оставив приговор. Там, куда он ткнул, было написано: «Нанесен моральный ущерб авторитету советского государства».

Я читал с перерывами допоздна. Приговор был на группу человек в 15 по делу о бандитизме. Первым, т. е. «паровозом», шел Виноградов, вторым действительно Соков. Они делали вот что: в ресторанах московских интуристовских гостиниц их девицы кадрили иностранцев. Девица приглашает к себе, садятся в такси и едут за город. Иной осторожный клиент за чертой Москвы начинает нервничать: «Куда мы едем?» Девица крепко обнимает его: «Скоро, милый, почти приехали». На глухом отрезке шоссе кто-то обязательно голосует, шофер тормозит, а голосовавший, сев в машину сразу, или немного проехав, обшаривает с помощью таксиста карманы перепуганного иностранца. Бумажник остается в такси, иностранец — на темной дороге. Машина исчезает.

Другой вариант — без «пассажира». Такси с девицей и иностранцем нагоняет милицейская машина — настоящая, с фонарем, вертушкой, сиреной и даже громкоговорителем на крыше. Такси останавливается, из служебной машины выскакивает милиционер, люди в штатском предъявляют удостоверение КГБ. Начинается проверка документов с изъятием всего ценного у иностранца. Как и в первом случае, его оставляют на глухой дороге. Были и квартирные дела, хозяйки которых служили наводчиками на своих состоятельных клиентов. Была контрабанда, спекуляция валютой.

Года два продолжалась охота на иностранцев. Невероятный срок, если учесть гэбистский контроль за каждым иностранцем и то, каким ЧП был для властей каждый такой случай. Группа действовала внезапно и неуловимо, а попались средь бела дня за Абельмановской заставой. Богатый афганец навестил свою московскую подругу. Она высмотрела, что его дипломат набит деньгами и, прежде чем выпустить из пылких объятий, дала знать своим приятелям. Тут же подвертывается «такси», следом еще машина. Неизвестно, где бы клиент расстался со своим дипломатом, если б это был простой афганец. Но он оказался агентом КГБ — неспроста навещал сегодня подругу, неспроста был с большими деньгам. На Нижегородской улице их настигли машины, загородили дорогу. На тротуарах милиция. «Таксист» с друзьями, бросив афганца, выскочили из машины, пытаясь прорвать окружение. Виноградову прострелили плечо, взяли всех. От них потянулись ниточки к остальным. Так вышли на Сокова и выявили крупный преступный синдикат в несколько десятков

человек. Группу человек в 15 выделили отдельно и судили первыми. Виноградову — 15, Сокову — 14 лет, другим много, но поменьше.

Вот такие еще бывают «политические». Своеобразная форма протеста — намекал Соков. Формула приговора о моральном ущербе государству, очевидно, возвысили их в собственных глазах. Не просто бандит, грабитель или сутенер, а с «идеей» — это престижней. На самом деле людишки мелкие, противно было читать приговор. Не исключено, что на следствии они с таким же успехом могли объяснять свои действия с противоположной, самой патриотической позиции. Например, экспроприировали экспроприаторов. Иностранец — значит, капиталист, трудящемуся иностранцу не на что рассиживать в дорогих ресторанах и покупать девиц. Не советских же трудящихся грабили — чем не смягчающее обстоятельство? Почему бы не взглянуть на дело, как на посильный вклад в классовую борьбу? Наши пролетарии грабят из солидарности с ихними пролетариями: вы там, мы — здесь, пусть везде горит земля под ногами буржуев. Чем не в духе марксизма-ленинизма? Находим же мы в этом оправдание западной преступности, за что же своим пролетариям 15 лет? Властей особенно рассердило то, что в ограблении иностранцев участвовали люди в милицейской форме и с удостоверениями КГБ. Получалось, не классовое сознание масс, не стихия пролетарской солидарности, а будто сама власть грабила. КГБ в роли Соловья-разбойника — действительно, большой конфуз. Правительство слишком дорожит репутацией, чтобы признаться в собственном грабеже, и если кто-то грабит от имени правительства — совсем обидно. Тут целых два преступления: покушение на монопольное право правительства и серьезный ущерб его и без того подмоченной репутации в мире.

Не удалось как следует поговорить с Соковым. Не помню, что больше этому помешало: то ли, что я не принял его за «своего», или сам он избегал говорить о себе подробно? Да и через несколько дней его выдернули. А любопытно было бы узнать, как составилась эта группа, каково происхождение ее членов, что натолкнуло их на столь экзотический промысел? Милиционер с ними был самый настоящий, постовой Гостелерадио. И удостоверения КГБ на настоящих бланках. Ведь надо же иметь к органам какое-то отношение, чтобы достать бланки и усвоить дерзостный стиль гэбэшников. Я знал некоторых «бывших», оставивших службу по разным причинам, в том числе уволенных за пьянство, моральное несоответствие — от них всего можно ожидать. Был ли кто из таких в виноградовской группе, не знаю, но думаю, что это не исключено. Да и вряд ли сказал бы Соков,

если бы я спросил — в камере не рискуют признаваться даже в бывшем сотрудничестве с милицией и КГБ. Во всяком случае, приговор оставлял неприятное впечатление об этой компании.

Виноградов меньше всего походил, на атамана. Молодой, лет 22, нервный, неуравновешенный, стоял на психучете. Скорее всего, не он, а им вертели, выставляя главарем и организатором. Нарочно муссируется его имя, идет слава о нем, чтобы пустить его «паровозом», оставив в тени другого. Это тем проще, что у него в момент захвата взяли самодельный револьвер. Соков говорит, что тот им не пользовался, завел совсем недавно и только для бравады — помахать под носом иностранца. Приятели отговаривали его, в их делах револьвер был совсем не нужен. Не послушался, дурачок — носил с собой втайне от остальных. И всех подвел: припаяли бандитизм и сроки увеличили. На допросах вел себя унизительно: каялся, всех выдал. По его показаниям забрали Сокова, других, вскрыли отягчающие эпизоды, о которых следствие могло не узнать. Остальные не лучше — валили друг на друга. Немало способствовали этому открытия, который каждый делал в ходе следствия. Разбирается, к примеру, эпизод ограбления иностранца, скажем, Сидоров выворачивает карманы иностранца. За рулем «таксист», назовем его Козлов, и девица. Следователь спрашивает Козлова:

— Сколько получил от Сидорова?

— 50 долларов.

— Значит, у него осталось 350 долларов.

— Не может быть, — не верит Козлов.

— Почему?

— Потому что уговор был — всем поровну.

— Тем не менее, — говорил следователь, — у иностранца было 400 долларов, и Сидоров подтвердил, вот его показания.

И так едва не в каждом эпизоде, отмеченном в приговоре. Постоянно надували друг друга. Девицы жалуются: при дележке им ничего не перепадало. И суммы смехотворные: полторы сотни марок, тысчонка иен, несколько десятков франков, долларов. Один раз 400 долларов, больше не было. Стоило из-за этого садиться на 15 лет! На эти крохи мобилизована милиция, такси, гаишные громкоговорители, удостоверения КГБ — целая банда народу. Больше на игру, на забаву похоже, какой уж тут бизнес — крохоборы! Трудно поверить, чтоб на такой риск шли из-за нескольких долларов. Логичней согласиться с Соковым, что они это делали из принципиальных, идейных соображений, чтоб скомпрометировать власть. И то и другое — дурь, но в последнем случае она хоть объяснима. Однако чтение приговора и беседа с Соковым не оставляли сомнений в том, что делалось это ради

денег — самое удивительное в этой истории. Ну, сколько может оказаться денег в кармане подгулявшего иностранца? На ресторан и проститутку? За ресторан он расплатился, и вот долю проститутки-то и забирали дерзновенные сутенеры. Героизма здесь мало, а мерзости хоть отбавляй. Может, поэтому понадобилось Сокову, украсить себя среди сокамерников политическим румянцем? Тогда ему лучше было бы никого не посвящать в подробности своего дела и крохоборства. Он сделал ошибку, дав прочитать приговор. Я высказал ему свое мнение. Больше он ко мне не подходил.

Авторитет в камере ему обеспечен и без «политики» — огромный срок говорил сам за себя, внушал уважение. Недоливает баландер, ему говорят — он всех подальше посылает, с той стороны кормушки не страшно, тем более мент за спиной стоит. Подлетает Соков: «Сыпь, сволочь, норму! Мне терять нечего — за тебя больше года не дадут!» Действует безотказно, отходим от кормушки с полными мисками. Вскоре Сокова увели, очевидно, к своим — в камеру усиленного режима. Он ждал этого, потому что непонятно было, как он очутился с общим режимом. А может, как все — ушел этапом. Обычный путь из осужденки — в пересыльную тюрьму на «Красной Пресне». Оттуда — на зону.

Так ушел Жора. Перед тем заходил в камеру капитан-хозяйственник, Жора записался у него строителем-мастером. Думали, оставят в стройбригаде на «Матросске». Но то ли срок слишком мал, то ли по другой причине — не оставили. Спрашивал я у капитана, не записывает ли он со статьей 1901. Он тупо воткнул в меня глаз, соображая, что за статья такая, да видно не сообразил, потому что ответил растерянно:

— «Почему бы и нет?»

Дальше я не стал экспериментировать. Бесполезно. К тому же зэки не любят тех, кто остался при тюрьмах. С этим приходится считаться, чтобы избежать подозрений и придирок.

Вслед за Жорой и я в туго набитом воронке — на «Красную Пресню». Шла середина февраля. Сразу после суда и выходных дней, 2 февраля я отправил два заявления. Одно на ознакомление с протоколом судебного заседания и соответствующем переносе срока кассационной жалобы, другое — прокурору Дзержинского района на следователя Кудрявцева. Напомнил прокурору о своем заявлении от 10 ноября 1980 г. с рядом вопросов, касающихся неправомерных приемов расследования и привел новые, бесспорные факты нарушения законности со стороны следователя, которые всплыли после закрытия дела и суда. Кроме того, просил вернуть изъятые при обыске и не вошедшие в список

вещественных доказательств тетради и записные книжки. Ответ, как и на предыдущее заявление, не получил. Однако записные книжки они возвратят Наташе. На Пресню отправили так и не ознакомив с протоколом. Согласно УПК, должны ознакомить не позднее чем через три дня после составления протокола, т. е. через несколько дней после суда. Прошло около двух недель, пройдет еще много времени, когда привезут, наконец, протокол. Но сначала я досыта хлебну пересылки.

# Первые дни на «Пресне»

Из глухого воронка никак не определить, куда везут. С берега Яузы от Сокольников мы должны ехать по хорошо знакомым улицам центра Москвы куда-то на Пресню, в следственный изолятор № 3. Где он находится, я не знал, как не знал до ареста ни одной московской тюрьмы, хотя бессчетно проходил и проезжал мимо Бутырки, а рядом с Матросской одно время даже снимал комнату. Но тюрем не видел — так неприметно скрыты они в глубине жилых кварталов.

Год на свободе, бывал наездами в Москве около той же Бутырки или Матросски, но только скажут: «Вон за теми домами», — а с улицы не увидишь, надо специально идти, а на это времени как всегда не хватает. Эти тюрьмы я хоть примерно знаю где. Пресня же по сей день загадка. Где-то в стороне от метро «Беговая», минут 20 на автобусе. Соберусь ли взглянуть, не знаю. А хочется. Внутри хорошо знакомо, мясо мое на шершавых стенах камер наверно еще не обсохло. А как снаружи? Представить бы как ехали, увидеть то, что страшно хотелось, но не дано было увидеть тогда, три года назад. Годы прошли, а жжет любопытство, требует свое: сходи, посмотри…

Когда ехали на Пресню, в глазах было черно от темноты и невероятной давки — воронок доверху набит тремя десятками согнутых, поваленных друг на друга людей. Да еще каждый старался мешок удержать. Я стоял, вернее, касался пола одной ногой, лежа на плече и голове кого-то из сидящих. И на меня, казалось, навалились все остальные.

— Потерпи, тут недалеко, — говорил офицерик при посадке.

Может, и недалеко, но за 40 минут стойки на ушах, хруста ребер от болтанки и дерганий, они казались бесконечными. Вывалился бы наш ноющий ком на полном ходу — мы были бы рады. Черт с ними, с ушибами, хоть на секунду распрямить затекшие руки и ноги, скрученное стонущее тело. Когда, наконец, доехали, были счастливы. Не поверите — счастливые заходили в тюрьму! Проста, оказывается, формула счастья: хочешь человека сделать счастливым — заставь пострадать. Какое другое счастье может сравниться с тем, которое испытывает выходящий на волю из тюрьмы или зоны. А в тюрьме — из карцера? На зоне — из штрафного изолятора или ПКТ? Так что не будем унывать — резервы человеческого счастья огромны. Родное правительство делает нас счастливыми и в тюрьмах и в лагерях. Сиди и радуйся!

Что говорить о воле! Под руководством партии наш народ доказал, например, что без мяса и масла жить можно. Без хлеба

пока сложнее, еще не привыкли. День хлеб не везут — плохо, два — хуже, но сегодня хлеб привезли — и мы счастливы. Было бы столько радости у деревенских, если б хлеб был, как в городе каждый день? Ну, а кому этого мало, кто не понимает, от жиру бесится, тот в другом месте поймет. Любимая поговорка педагогов уральских лагерей: «На Поняле не понял, на Вижае завизжишь». В карцере покажут личное счастье. И тому будет рад, что не выебли и не выломили, как кого-то в соседней хате, как ебут и ломят сейчас вот в эту самую минуту, когда я пишу или вы читаете эти строки, кого-то в камерах наших тюрем или изоляторах бесчисленных наших зон. А бычок там перепадет или лишняя тюха — это и есть верх блаженства, никакая шоколадка на воле такого блаженства не дает. Так что будь счастлив тем, что есть. Кто сказал, что хреново живем?!

Все относительно. После такого воронка и тюрьма — рай. Непонятно только, зачем было набивать воронок — Пресня была пуста. Контрастом переполненной Матросске, столпотворению осужденки гулкие наши шаги в пустых коридорах Пресни. Будто пришли на экскурсию, после того как генсек пожал руку последнему преступнику.

Черные двери многих камер открыты. В сборке просторно. В душевой одни пассажиры нашего воронка, больше никого не видно. И по камерам рассовали так, что в 410-ю нас вошло всего шесть человек. А там лишь двое. Восьмером в камере на сорок мест — где же это видано? И это на Пресне, которая, говорят, как и любая пересылка, всегда переполнена. Что случилось с тюрьмой, куда делись люди? Ах, вот оно что — съезд. Дней через десять, 23 февраля, начнется XXVI съезд партии. Неделю назад Пресня была забита народом. И всех развели по зонам, вон из столицы. У большинства впереди кассация, приговор еще не вошел в силу, их не должны отправлять. Вернут после съезда обратно. Зачем эта морока с этапами, временными зонами? Возможны комиссии, всякие посещения, в адрес съезда идут тысячи и тысячи жалоб. Это мы узнали от тех двоих, кого застали в камере.

Они лежали рядом, посреди нижнего яруса нар. Рослый рыжий грузин лет 30 — Давид и малорослый, плотный, стриженный круглоголовый парнишка, как пишет Толстой, «еврейского типа» — Давид его звал Шуриком.

Шурик вертляв и хвастлив. Уверяет, что за ним приедет «Волга» и отвезет во Владимир, где, то ли в тюрьме, то ли на зоне, у него есть блат и где не далее, чем через месяц его непременно освободят.

Давид серьезный, вначале даже показался чересчур замкнут.

Не разговаривал, общался только с Шуриком, молча лежал и сидел на нарах в войлочной самодельной шапочке грузинского крестьянина. Присматривался. А к кому присматривался? Нас шесть человек, один другого проще. Самый заметный, мальчишка — Курский, хулиганишка из Подольска. Еще в осужденке лип ко мне, забавлял рассказами о своих налетах на чужие сады и частные автомобили. Худенький, шустренькай — жалко было видеть этого воробья в тюремных стенах.

Я занял край нар у окна и батареи, неподалеку от тех двоих. Из окна дуло не очень, у батареи теплее. Можно сушить сухари, есть куда положить и развесить полотенце, носки, шмотки. Остальные расположились напротив: кто внизу, кто наверху. А Коля, мелкий, мятый, битый, но улыбчивый и тихий мужикашка, скромно устроился на краю со стороны туалета. Видно, знал свое место — черта.

Давид разговорился на следующий день. С сильным акцентом, страшно серьезно спросил, обращаясь ко мне:

— Я вижу, вы человек, у которого есть наколка?

Его интересовали адреса состоятельных людей, которых я знаю, но ими не дорожу. Спрашиваю, сколько ему еще сидеть? Что-то около пяти лет. Зачем же сейчас эти адреса? А зачем, говорит, зря время терять, выйду, сразу пригодятся. Он — вор-домушник, специализируется на квартирных кражах. Живет в Грузии, промышляет в Москве. Профессией своей чрезвычайно доволен: доход хороший, риск минимальный. Лишь к 30 годам впервые залетел, а ворует с юности. Раз в десять лет отсидеть не грех, это издержки профессии, к ним он всегда готов. Домушников сейчас развелось много, трудно стало искать подходящие квартиры. Хорошая наколка — половина дела и эту половину он решил подготовить до освобождения. Чтоб вышел — и сразу в дело.

Адрес я ему не дал, но мы разговорились. Посетовал он на новые затруднения, связанные с модой на сигнализацию квартир.

— Открываешь, панымаешь, дверь, а где-то в милиции звонок и лампочка загорается. Тревога!

Чтоб не тревожить лишних людей, приходится квалификацию «электромонтер» осваивать. Изучишь одну систему, глядь, другая, более хитрая появляется. Не квартиры, а волчьи ямы стали, того и гляди провалишься. И чем заманчивей квартирка, тем хитрей сигнализация. Пошли какие-то заграничные системы, черт ногу сломит. Поэтому, хоть и хорош генерал, но к нему опасно. Лучше всего завсклад или академик какой-нибудь. Эти больше на замки налегают, считай, что квартира настежь. Пока пару раз к ним не залезут, сигнализацию не ставят. Да и денег, ценностей у них

побольше, чем, скажем, у другого начальника или генерала. Торгаш держит в квартире, потому что боится на книжке держать. Спросят: откуда? — а что он скажет? Интеллигенция — по безалаберности, все некогда в сберкассу сходить — под рукой деньги держат. Конечно, припрятывают, редко, чтобы снаружи. Теперь чаще норовят под паркет, под подоконник, или где-нибудь в туалете и ванне за кафельной плиткой тайничок. Но такие «захоронки» для профессионала не представляют трудностей. Опытный вор в полчаса найдет. Давид рассказывает с примерами: где как брали, какие бывают неожиданности. Я получил наглядное представление об этой распространенной «профессии» домушника. И не мог взять в толк: ведь неглупый «чэлавэк», степенный, серьезный, вполне мог бы освоить любую другую не столь предосудительную специальность — отчего стал делать зло людям, наживаться за счет других? Ни капли стыда, говорит о воровстве, будто грибы собирает или яблоки из собственного сада. Я спросил: не жалко ли ему своих жертв. С акцентом, который я затрудняюсь передать, отвечает:

— Нисколько! Все воруют, только каждый по-своему.

Разумеется, он имеет в виду тех, у кого водятся деньги. Прочий люд, обывательские ковры и мелкий хрусталь Давида не интересуют.

— Ну, завсклад, такой же вор, понятно, — не унимаюсь я, но возьми художника, ученого — они же честно зарабатывают.

— Так они еще заработают, — удивляется Давид наивности. Если богатый, то должен делиться с обществом. Зачем деньгам лежать мертвым капиталом?

Дальше он развил целую теорию о том, какую пользу вор приносит обществу. Отнимая излишки, замороженные в чулках деньги, недвижимые ценности, вор пускает их в оборот, стимулируя одновременно обкраденного к новым покупкам, к приобретению новых ценностей. В результате — оживление товарооборота, прямая выгода государству и обществу.

— Не зря, — подымает палец Давид, — за хищение личного имущества предусмотрено не больше пяти лет, но мало кто отсиживает полностью и мало кому по первому разу дают все пять.

Да, за хищения государственной собственности сроки гораздо больше, а в крупных размерах — высшая мера, «вышка». Но морально не устыдишь: все по-ленински — грабь награбленное.

А, собственно, кто был Робин Гуд? Разбойник, похлеще наших.

Тем не менее — легендарная личность, национальный герой. Дуб его в Англии до сих пор чтут национальной святыней. Это в

буржуазной, частнособственнической Англии. А у нас? Откуда у нас апология воровства? На чем стоит непреклонная уверенность Давида, что у нас все воруют, что состояние нельзя нажить честным, путем? Не на том ли, что у нас выделился класс состоятельных жуликов из всех родов торгашей, хозяйственных руководителей, бюрократов, ушлых врачей и оборотистой интеллигенции? Не на том ли, что у них накопился значительный капитал, высосанный из общества? И они не знают уже, куда этот капитал деть? Вкладывают в золото, в дорогие вещи, в побрякушки, сорят в ресторанах. И выколачивают, и сосут воровскими, потаенными насосами. Но если есть капитал, значит, есть и класс капиталистов со своими явными и неявными привилегиями, которые дают деньги. Чем же такое общество принципиально отличается от того, где прославился Робин Гуд, где коммунисты призывают грабить награбленное? Робингуды появляются там, где несправедлива структура государственного распределения. Они — естественное порождение порочной системы и необходимый ее элемент. Они служат обществу уже тем, что, как индикатор, указывают на перекосы в распределении национального дохода и по мере возможности их исправляют. Чего в самом деле стесняться Давиду? Напротив, он уверен в своей правоте и самодоволен.

— Но вы же и честных, простых людей обворовываете? — допытываюсь я.

Давид не возражает. Конечно, бывают ошибки: рассчитываешь на барыш, а попадаешь в простую хату.

— Я, — гордо заявляет он, — такие хаты не трогаю, это мелкие жулики тащат все подряд. Это западло. Я работаю верняк, по наколкам — зачем ты думаешь я их собираю? Чтоб не ошибиться, простых людей не трогать, понял?

Да, в логике ему не откажешь.

Понятно становилось и то, почему с таким уважением произносится в тюрьме слово «вор». Признание высшего авторитета в преступном мире. Никто сам не назовет себя вором, а назовет, схлопочет так, что забудет, как звать. Это высокое звание присваивается сходняком и, конечно, не на общем режиме. Поэтому настоящего, признанного вора я за три года не видел. Только рассказы о них, кто-то что-то слышал или видел.

«Идет Бриллиант по коридору, стиры тасует. Зубы все в золоте. За ним два мента сидора его тащат. Бля буду, сам из кормушки видал», — один из рассказов о знаменитых ворах, которых держат пожизненно, пока не дадут подписку завязать с воровской деятельностью. Кто не дает подписку, становится легендарной фигурой. Таких даже менты уважают, содержат

особо, позволяют им то, чего другим не положено. Говорят, воров «в законе» мало осталось. Стареют, умирают в «крытых» — так называют тюрьмы для осужденных в отличие от следственных изоляторов. Иные сидят еще с хрущевских времен, когда ворам был объявлен ультиматум — даешь подписку, выходишь, нет — сгниешь в «крытой». Таких воров с уважением называют «глухарями». Авторитет их беспрекословен, слово — закон.

И все же, с кем бы ни говорил, я не одобрял личных краж. Не знаю, как раньше, но сейчас убеждался в беседах, что вор не столь уж разборчив в средствах и в людях, как пытался представить Давид. Карманники-щипачи, например, принципиально против «мокрого», т. е. убийства, однако, как признавал Витя Иванов, «бывает по крайности». На зоне потом беседовал с первым авторитетом, с путевым, спрашиваю:

— Вот ты сидишь в вагоне-ресторане, дружески пьешь с человеком, который тебя угощает, а потом его же бумажник тибришь — это путево?

— Конечно, — отвечает, — для того и подсаживаются, масть такая — они же на этом специализируются.

— Да как после этого людям верить? Если в бумажнике документы, последние командировочные?

— Ну тогда не зевай, — смеется. — Лопоухих надо наказывать. В руки просится — грех не взять.

Домушников сколько встречал: крадут из квартир без разбору. У иных по тридцать краж — ясно, лезут куда только могут.

— Нехорошо, — говорю, — ведь вы против крысятничества, зачем у простых людей тащите — такое же крысятничество.

Нет, проводится четкая грань: крысятничество — когда тащат друг у друга в заключении, а хату поставить на уши — не за падло.

— А бедного обворовать — не западло?

— Не лезь не в свое дело, не тебе указывать.

«Каждый живет для себя» — другой морали они не знают. Кто поумнее, вроде соглашается: да, нехорошо, но жить как-то надо. Я им о Робин Гуде — грабь, дескать, только награбленное — с этим, бесспорно, согласны. Ну, а кто у нас главный грабитель, кто забирает, гноит, пускает на ветер, корыстно и бестолково распоряжается национальным богатством? Известно — государство, его управленческий аппарат. Так и грабь его, если руки чешутся, зачем же людей обижать? Собеседник мнется: так-то оно так, но государство кусается, уж больно сроки большие. У частника тыщу возьмешь — три года, стандарт, а я вот в прокуратуре сторублевый ковер упер — пять лет вкатили, еще,

говорят, пожалели, потому что смеялись очень.

Парнишка один из нашего отряда освободился, через три месяца слышим, опять посадили. Спрятался на ночь в магазине с прицелом на кассу. Подвела сигнализация. Взять не успел — только попытка, и 8 лет! Строгого! В газете «Труд» опубликовали, вся зона за газетой гонялась. Где видано, чтоб за частника столько давали? В 1982 году максимальный срок за личные кражи подняли с пяти до семи лет. Все равно меньше чем за государственные хищения. И куда безопасней. Судя по зэковским беседам и настроениям, лавина личных краж вряд ли спадет. Думаю, что она по-прежнему будет расти по мере того, как растет класс советских буржуев, накопителей нечистого капитала.

## Зэчки

День ото дня народ в камере прибывал. Жили мы дружно, спокойно. Люди, очумевшие от суда и осужденки, быстро оттаивали, приходили в себя. Искали развлечения. Хлебные нарды, шашки, домино, многие мастерили из клееной бумаги и цветных ниток шариковые ручки. Кто-то рисовал. Но главным, общим развлечением был «конь». Так называют кисет с записками, которыми мы обменивались через окно с верхней камерой над нами. Это была женская камера. Когда мы пришли, Давид и Шурик вовсю гоняли «коня». Женщины из своего окна запускают на длинной нитке кисет с записками. Шурик с верхних пар, просунув через решетку палку, ловит нитку и подтягивает к себе. Вытаскивает из кисета записки, закладывает свои послания и выбрасывает «коня» наружу. Двойной стук по трубе отопительной системы означает «подъем». Прыгуч кисет, потому и назван «конем». — Все делается стремительно, чтоб менты не заметили. Вверх, вниз, на все этажи до первого… А то пролетит через весь двор тюрьмы в корпус напротив. Для этого используют приспособление вроде самострела. Клеится из бумаги трубка, в нее вкладывается стрела с запиской. Стрела оттягивается резинкой и запускается, как из лука, через «решку» точно в нужное окно напротив. Оттуда записку могут переправить своим «конем» в другое окно. Посредством «коня» налаживается связь со всеми камерами. Самый верный и быстрый гонец. Если, конечно, не перехватят надзиратели. Увидят, врываются в камеру. Кого застанут, наказывают вплоть до карцера. Увидят, что по трубе стучишь, — грозный окрик и тоже наказать могут.

Можно переговариваться с соседними камерами кружкой. Стучишь по трубе три раза — «вызов», тебе отвечают, прикладываешь кружку дном к трубе и кричишь, что надо. Затем кружку переворачиваешь и, приложив ухо ко дну, слушаешь ответ. Одно неудобство — кричать надо громко. Надзиратели в коридоре слышат. Если засекут, нужно стукнуть по трубе один раз — «атас». Нет «конь» лучше всего: сохраняется конституционно гарантированная тайна личной переписки практически с любой камерой в зоне прострела. Конь — огонь, гонец — молодец. Нет лучшего способа передать что-либо важное по делу отчего могут зависеть судьбы. Выручает «конь». Чего больше всего лишен человек в изоляции? Общения. Захочешь пообщаться — делай «коня», время с ним летит незаметно. Пока пишешь, ждешь, отвечаешь — день пролетел. Когда впервые после долгой изоляции, да еще с женщинами — волнение

необыкновенное.

У Давида, который, переписывался под псевдонимом Захар, разгорелся роман. Зэчка экспансивно объясняется ему в любви, требует взаимности, а он отвечает сдержанно, дразнит, «чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей». Вскоре вся камера была прикована к драматической интриге. У Давида неважно с грамотой, писал Шурик, а он диктовал или задавал тему. Чем нежнее и нетерпимее она, тем грубее и изощренней он. Все больше мата и эротики. Женщины над нами строгого режима, бывалые, за словом в карман не лезут. Тамара просит Захара подойти сразу после отбоя в 10 часов к решке — хочет услышать голос возлюбленного. Дня два Захар отнекивался — какой он Захар с грузинским акцентом? В записках все наврано. Потом сдался. Надзиратель простучал ключом дверь, крикнул: отбой, отошел к другим камерам. Слышим в черном ночном окне густой хриплый женский голос:

— Захар! Захарушка!

Давид нехотя взбирается на верхние нары, но смущается и молчит. Она орет на всю тюрьму испитым горлом:

— Люблю, отзовись! Где ты, милый?

Давид прокашлялся в руку, крикнул сдавленно, тихо:

— Я!

— Захарушка, ты? Повтори!

Давид постарался громче, вышел писклявый скрип.

— Что? Говори! — женский голос загудел в ночи обрадовано страстно. — Захар, люблю, слышишь? Люблю-у! Отзовись! — Волны, рвущиеся из истомленной женской груди, прокатились по затихшей тюрьме, ударили в стены решетки. — Что? Повтори, не слышу! Люблю, Захарушка, навек твоя-а!..

А Захар уже лежит на нарах, то ли от бессловесности, то ли от смущения, то ли боясь ментов. Женский неистовый голос одиноко трепетал за темным окном: словно билась большая птица, отлетая в ночь и снова разбивая грудь о решетки. Потом ее кто-то вспугнул. Голос оборвался и все стихло.

«Конь» — чудо, спасительное средство от камерной скуки и томления. Это, конечно, суррогат чувств и общения, больше безделицы, игры, выдумки, но чем же заполнить пустое, гнетущее время? Особенно интересно вначале, когда все в новинку. Потом приедается. Одно и тоже: как зовут, статья, за что, какая ходка, сколько лет, как выглядишь? Большинство посланий примитивны, на диалог и содержательную переписку наши корреспондентки не тянут. Ты пиши, а они в ответ: «Расскажи еще что-нибудь…» Более-менее писучие после обязательной программы первых записок, скатываются на эротику. Или пришлют скабрезную

шутку, рисуночек. Мат обычно с обоих сторон. Но бывали длинные диалоги с юмором, выдумками, персонажами — романы.

Полученные записки обычно читают вслух, обсуждаются все интриги. С каждой почтой грохот смеха. Самыми смешными были те записки, которые писались якобы в строгом интиме. Она, например, спрашивает, дает ли он кому читать ее записки? Он отвечает: «Что ты? Даже как зовут тебя, не говорю!» Записки идут более доверительные, раскованные, обычно рассказывают о себе. Поскольку на первом плане секс, то все детали: с кем жила, сколько было мужчин, как бы она сейчас хотела. И приписка: «Только тебе, как на исповеди. Никому не давай». Камера похохочет над ее каракулями, крепкими выражениями и дружно садится за ответ. И тоже приписка: «Никому не показывай». А затем пишут кому-то из нас: «Смеялись до слез. Верка такую юморную записку читала. Напиши, по секрету, как он выглядит, половой разбойник, а то больно себя расписал. Не бойся, никому не скажу». Но бывает, кто-то всерьез распишется. Пишет уединенно. Молча, с нетерпением ждет ответа. Прыгает к каждому «коню». А получит — хвать драгоценный пакетик и забирается вглубь нар, перечитывает, думает о своем, улыбается. К такому не подходи. В таких случаях, когда он и она находят общий язык, больше мечтают, рассказывают друг другу, как они встретятся, куда пойдут, как жить будут.

Страшная тоска по воле и женщине. Часто не знали что написать, а переписку терять не хотелось — подходили ко мне. Обычно я не отказывал. Потом сам попробовал. Имя, статью — все придумал. Скоро не о чем стало писать. Получаешь односложные ответы или вычурные послания с пустынными рассуждениями. А хотелось бы больше узнать о них. Кто эти женщины? Как дошли до жизни такой, как у них там в камере, как на зоне? В ответ встречный вопрос: «Расскажи сначала о себе». Надо врать, не интересно. Видно им о себе тоже не интересно или почему-то неудобно. Переписка захлебывалась. Мало искренних записок, больше штампы. Начнет себя описывать — портрет точь-в-точь, как у подруги моего соседа. Эротические записки тоже часто списывались с заготовленных текстов. Бабенки дошлые, на откровенность не выведешь, ведь знают они прекрасно, что у нас, как и у них, все читается вслух. Однажды я два дня с одной переписывался. Как будто не дура и пишет охотно. Сделал попытку более честного и короткого знакомства, чтоб больше узнать о ней. «Знаешь, Таня, — пишу, — должен перед тобой извиниться. Меня зовут не Виктор, а Алексей, и статья не 206-я, а 238-я». О 190, разумеется, не говорю. Она не поверила и обиделась: «Слишком красивую статью ты себе

выбрал, Жора. Я действительно хотела с тобой по-честному, а ты завираться начал, — и подпись завирательская — Элла».

Но вот как-то получаю записку от неизвестной. Пишет, что ее подруга, которой я перестал отвечать, в трансе. Не могу ли я объяснить, что случилось, и простить ее подругу, если она виновата? Четкий почерк, грамотный слог — вот кто мне нужен. Я ответил, что ее подруге напишет более замечательный человек, я не люблю переписываться и потому замолчал, а вот если вы захотите рассказать мне о своей жизни, то с вами с большим удовольствием. На этот раз мне повезло. Мы обменялись парой шутливых, пристрелочных записок и попали в тон. Теперь только стал понимать, почему даже писучие женщины болтают о чем угодно, только не о себе. Они не могли поверить, что в мужской камере может быть что-то интересно, кроме скабрезностей и секса, что кому-то там действительно интересна их жизнь. Они предполагали в нас тех мужчин, среди которых жили на воле и вполне логично думали, что нам прекрасно известна их жизнь. Поэтому не брали всерьез мои вопросы. Откуда им было знать, что я никогда не общался с сидевшей женщиной, с воровкой, и что для меня сейчас едва ли не единственная возможность узнать их поближе. А Галя, так зовут эту женщину, поняла и поверила мне. Уже со второй «ксивы», как называют записки, она сказала свое настоящее имя и то, что впервые встречает по переписке человека не из уголовного мира, она расскажет все, что меня интересует. И я стал задавать вопросы. С самых истоков: где родилась, кто родители, как училась, когда начала воровать? А она, словно рада была — выговориться, подробно рассказывала свою жизнь, вмещая ее в частые ровные строчки до отказа заполненных листков. Писала она красным, и этот цвет был цветом ее трагедии.

Ей 32 года. Себя описывает так: небольшого роста, худенькая, короткая стрижка, «но ты не думай, я выгляжу, моложе своих лет, бюст и все остальное на месте». Кого-то из нашей камеры водили на суд свидетелем, а ее на медэкспертизу, столкнулись у «воронков», она узнала, что он из 411-ой — спрашивала обо мне. Я спросил, как она выглядит? Он сказал: «Симпатичная. В шапке. На пацана похожа». Родилась и выросла в центре Москвы, на улице Герцена. Отец умер, мать — запила. К 16 годам, школьницей, подружилась с девчонкой-сверстницей. Та познакомила ее со своими приятелями. Это была компания воров-карманников, «щипачей». Отсюда все и пошло. Сблизилась с Русланом. Сначала натаскивала подружка, потом стала «работать» в паре с Русланом. Школу бросила, первый срок — в «малолетке», т. е. в исправительно-воспитательной колонии для

несовершеннолетних, до 18 лет. Вернулась — опять в ту же компанию. Вышла за Руслана замуж, родился ребенок. И снова — ссылка на два года по тунеядке. Руслана посадили, ребенок — у ее матери. Ссылка в Вологодскую область, подселили к старушке в одной деревне. Дали на откорм поросенка. Чем и как кормить, когда самой нечего? «Через два месяца он бегал по избе, как собака, все ребра наружу. Мы оба были голодные, но с ним было весело». Сошлась с местным трактористом, стала у него жить. Материально полегче, но надоел он ей до смерти. «Всегда от него воняло мазутом. Каждый день пьяный. Напьется и поет: «Еду полем на комбайне, волнует ветром рожь». Я ненавидела его, но куда денешься». Вернувшись из ссылки, твердо решила было завязать с воровством. Устроилась работать швеей. «Но, знаешь, это болезнь какая-то: еду в автобусе, а рука сама к чужой сумочке тянется, дух захватывает, азарт и уже ни о чем не думаешь». На этот раз ей дают приличный срок и лишают материнства. Удар в самое сердце — она любила свою девочку и нежно рассказывала о ней. Проклинала свою воровскую слабость. Каждый раз, отбыв очередной срок, клялась завязать, жить только для дочери. Но темная сила заволакивала мозги, тянула к чужим кошелькам. Она не могла проехать в автобусе, в троллейбусе без приключений. И опять попадалась. С мужем виделась редко: то он сидит, то она. Носят друг другу передачи. Последний раз она вышла, он сидит, мать попала в ЛТД — лечебно-трудовой профилакторий для пьяниц. Ребенок — у родителей Руслана. В московской прописке ей отказали, устроилась в колхозе, где-то в Калининской области. Ну какая там жизнь, если дом, ребенок в Москве? На сей раз ее забирают за нарушение паспортного режима, за то, что жила в Москве, не имея московской прописки. Ей грозит два года. Суда еще не было — в предсъездовской перетасовке, оказывается, на Пресню отправили часть подследственных. В их камере женщины еще ждали суда. «Я буду косить на психушку, — пишет Галя, — скоро должны отвезти на обследование на 13-ю Парковую. Если сама не успею предупредить, тебе напишет моя подруга. Так что не теряй, вечером обязательно буду». Если поставят ее на психиатрический учет, тогда сохранится их квартира на улице Герцена, и она сможет жить в Москве вместе с дочерью. Если, конечно, сумеет убедить врачей, что она сумасшедшая. Если нет, тогда зона и безысходное будущее. Кажется, она даже намекнула, что нарочно нынче далась ментам, чтобы провернуть эту операцию. Ничего другого не оставалось. Надо было, чтоб посадили в Москве и признали ненормальной. Тогда суда не будет. Подержат в психушке, а потом она получит право жить в Москве. Иначе Москвы не видать. Как притвориться, как обмануть

врачей — это она знала. За плечами солидная школа. И все-таки очень волновалась перед 13-ой Парковой (улица, где находиться психиатрическая клиника). Слишком много в ее судьбе зависело сейчас от этой поездки.

В первых записках она писала, что это ее пятая «ходка». По ходу повествования я насчитал семь и усомнился в ее искренности. Она обиделась. Написала в ответ, что вот она душу передо мной выворачивает, может быть, первый раз в жизни, а я считаю ее дешевкой, которая врет и нарушает данное слово говорить только правду. Если, мол, не веришь, то нет смысла писать. «Не пытайся меня ловить на словах, это оскорбляет. Я сказала пять, значит, пять. А малолетка и административная (т. е. ссылка) судимостью не считается». Ну где же тут знать, что имеется ввиду под «ходкой». Я думал всякий арест и лишение свободы, формально, оказывается не совсем так. Ладно, пусть будет пять, если женщина хочет, приятно было убедиться в ее честности и в том, что она вовсе не гордится числом «ходок», наоборот. Она негодовала не только на то, что я усомнился в ней, но и на то, что я прибавил ей две «лишние» судимости. Пять, по ее мнению, куда ни шло, но семь в 32 года — это уже слишком, это, видно, не красит женщину. Пусть будет пять. Она успокоилась и больше размолвок у нас не было.

Однажды полдня не получал ее «ксивы». Вообще прекратилась почта. Что случилось, «конь» ретивый? Ребята волнуются, стучат в трубу. Наверху, над нами какая-то возня, приглушенные потолком голоса, топот. К вечеру, в момент пересменки надзирателей, вдруг труба отозвалась. Сверху торопливо простучали два раза — «принимай коня». В первой партии была и мне записка. Вот что там произошло. Одна «мымра» на проверке пожаловалась ментам, что ей не дают культурно отдыхать из-за почты. Пишут всякую порнографию и хохочут. Ее увели, а затем вместе с ней нагрянули с обыском, позабирали «ксивы», ручки. «У меня ничего не осталось, один стержень на всех, вышли парочку», — пишет Галя. Я обомлел: мои записки попали к ментам. Ничего особенного там нет, но они же вывернут, как угодно, дай только повод. Жди наказание за «незаконное сношение». «Где мои ксивы?» — спрашиваю. «Да, я их хранила, но за кого ты меня принимаешь? Перед шмоном все порвала и утопила в сортире. У меня ничего не нашли».

— А где та «мымра»?

— Ушла с вещичками.

Значит, бабы дали ей оторваться, выломили из камеры. Съездила Галя на 13-ю Парковую. Вернулась довольная. Окончательного решения пока нет, но дело движется по ее плану:

есть признаки психической ненормальности. Впрочем, у кого их нет? Через несколько дней после этого получаю несколько торопливых слов: «Неожиданно вызвали на этап. Куда — не знаю. Если успею, еще напишу. На всякий случай мой адрес (она дала адрес на улице Герцена). Ради бога, пришли пачку курехи, у нас шаром покати. Спасибо за все!

Мы ждали ларя, с куревом и у нас было туго. У меня осталась начатая пачка. Я взял несколько сигарет, остальное выслал, объяснив обстановку. Тут же, следующим «конем», пришла последняя записка: «Все, ухожу. Эту ксиву отправят уже без меня. Целую за все и сигареты. Век буду помнить. Не забывай».

Недели за две переписки (три-четыре записки в день) у меня скопилась целая пачка, несколько десятков густо исписанных, обстоятельных, исповедальных листков. Каждый как бы глава уникальной автобиографической повести незаурядной женщины, молодость которой прошла в тюрьмах и лагерях. Она писала без помарок, на свободном дыхании, с хорошим чувством данного ей от природы стиля. Изложение точное и ясное, рассказывает интересно, с горьким юмором и личным отношением к тому, что описывает — к технологии карманной кражи, например, к быту на женских зонах. Из-под ее пера могла бы выйти отличная книга. Я говорил ей об этом, но она без всяких ужимок ответила, что я, наверное, преувеличиваю, ей ксиву-то трудно писать, но если бы кто взялся, она могла бы рассказать на целую книгу. Но кто возьмется? Кого она знает, те не пишут, кто пишет — стараются не знать о таких, как она. А меж тем в каждой тюрьме есть женщины. Я слышал их голоса и покашливания в прогулочном дворике Лефортово, я видел их в коридорах тюрем и в переполненных камерах. Это тысячи судеб, целый пласт женщин, совершенно почти неизвестный нашей литературе. Есть прекрасные воспоминания матери Аксенова — Гинзбург. Но она политзэчка сталинизма, пишет о прошлом. О судьбах и жизни современной зэчки-уголовницы я не читал ничего и не слышал, чтоб было что-то написано. Как будто их, зэчек, вообще нет. И вдруг у меня в руках ценнейший материал, пачка убористых листков, повествующих о том, о чем мало кто имеет даже приблизительное представление. Насколько я знаю, небывалые еще воспоминания. Настоящее открытие для литературы и общества. Я всерьез задумал найти Галю, когда выйду, и помочь ей сделать эту уникальную книгу. Но недооценил обстановки, в которой мы находились, положение мое в камере резко ухудшилось. Менты устроили мне личный обыск, тряхнули содержимое мешка, забрали кое-какие бумаги. Пачку Галкиных писем они не нашли, письма лежали под матрацем. Но когда

переводили в другую камеру, я знал, что в коридоре могут снова ошмонать, поэтому все записки, весь крик заблудшей души я утопил в туалете.

На зоне я случайно наткнулся в своих бумагах на затерявшийся листок, исписанный знакомыми красными строчками. С ним ни за что не хотел расставаться. Придумал способ хранения. Он всегда был в моих бумагах, но ни на одном шмоне его не заметили. Даже на последнем, генеральном, в штабе, перед выходом с зоны, когда дружина ментов ощупывала швы моего белья и рылась в конвертах с накопившимися у меня письмами — они и тогда не заметили. Чудом удалось сохранить и пронести эту единственную записку. Не иначе провидение позаботилось. Я переписываю, ничего не меняя.

«Виктор, за чуток запоздала на работу. Извини, начальник, отработаю в ночь. Ладно? Что-то в спячку ударилась. Вчера не спала всю ночь, и в этом твоя вина. С последней лошадью пришла твоя ксива. Тамарка мне кинула и с концами. Так мы всей семьей лазили под столом, перевернули все тапочки и туфли, — нашли ее под нарами у самой стены. Ну и конечно, все разгулялись, было не до сна. Утром в баню, после бани постирушки. Вот вся причина моего опоздания на работу. Нет, нет! Виктор, я не устала писать, ты меня занял делом, возможно, нужным. Витек, смотри меня не перехвали, а то сглазишь, пишу, как могу, просто своим языком. Если бы ты меня попросил описать природу или еще что, тогда надо подумать. А здесь я пишу о себе, о людях, которые меня окружают полжизни. Но это, конечно, всего лишь маленькие ксивенки, на большее меня не хватает. Скажи мне, Виктор, сколько тебе дали, режим? О встрече на свободе ничего определенного сказать не могу, я освобожусь в этом году, и куда меня судьба и на сколько лет забросит, не знаю. Встретиться бы нужно, конечно, если ты человек слова и дела, тогда у нас что-нибудь и получилось бы. Я уверена, Витек, что ты хочешь меня увидеть, хочешь посмотреть, как выглядит женщина, отдавшая столько лет хозяину, я тебе не б… божусь, что по сравнению со своими одногодками, которые всю жизнь жили с мамами и папами, я против них пацанка.

Теперь, Виктор, за дело. Я не встречала воров, которые посещали бы театр или консерваторию, дальше кинотеатра их не затащишь, почти все любят эстрадную музыку. Им не до театра и не до книг, весь день погоняй-ка марку. Им лишь бы ноги до кровати дотащить, день кончился.

Как они относятся к властям? Никто вслух не высказывает свои мысли, т. к. за такое свободное слово можно уехать еще дальше, чем по 144 ст. Но по-моему, спроси любого, не взирая на

масть, все возмущены и хают все законы. Разве это жизнь? У нас нет заключенных, у нас есть «временно изолированные» на 15 лет, а в зоне можно раскрутиться и на 30 лет.

Ту свою подругу я видела очень давно, совсем случайно встретила в кафе «Хрустальное». Из ее рассказа я узнала, что она тоже была на выселке, где-то в Красноярском крае. Больше судьба меня с ней не сводила. Виктор, я тебе говорю только за одну масть «щипачей», все мои подруги, а их было всего 3, давно на строгом. Никто из них не завязал с прошлым, я тебе говорила, что это болезнь, а у нас медицина пока не вылечивает такие болезни.

Как ты уже знаешь, с 1974 года меня в Москве не прописывают, дома я гость, на каждый звонок и шорох дрожу, как осиновый лист. Сплю спокойно ночью только тогда, когда приму хорошую дозу спиртного, поэтому, когда бываю в столице, живу у одной знакомой на Арбате, она сама никто ничто, но знает всю систему. Хата там не засвечена, только там можно отдохнуть.

Как меня может ревновать муж, если я «тружусь» с кем-то? Я могу и лечь спать со своим партнером совершенно спокойно. Но а если фраернут, то разговор короткий. Я тебе говорила и говорю, что в зоне есть люди, которых уважают, к мнению которых прислушиваются, а есть люди «ползунки», которые бояться, чтобы их лишний раз в рот не выебли. Поэтому они начинают угождать, шестерить, все делают добровольно.

Из камеры идут на «выпуль» по разным причинам, если надо кого-то найти, или народ хуевый, из-за драки. В других камерах встречают, как и всех, радости не выражают, но и не угнетают, пока не узнают человека. Ведь если человек неоднократно сидел, то в любой камере найдется человек, который знает его, хороший он или подленький. Под интерес никто не играет у баб. Старые жучки иногда играют в карты. Галка».

…До того как начал переписываться, я думал: нам тяжело, каково же им, настолько противоестественны условия обшей тюремной камеры для женщины. Но, когда в одной из записок я спросил об этом, то получил любопытный ответ, что нам, мужчинам, приходятся тяжелее, женщина легче ко всему приспосабливается. Никогда бы этому не поверил, если б сказал кто другой, а не сама зэчка. Впрочем, в женских камерах меньше драк и они не такие убойные, как у мужчин, почти все женщины находят себе занятие, рукоделие, чего о мужчинах не скажешь, психологически женщины, наверное, более терпеливее и не так агрессивны, как мужчины — может, поэтому им легче? Но когда сам сидишь и надрываешься в муках, когда что-то ноет и стонет в тебе непрестанно, хотя ты себя считаешь не слабым, не хватает воображения представить женщину в этих условиях, с этой

гнетущей болью в душе, невозможно подумать, как бы она стала на твоем месте. Дико и жутко. Наташа была близка к этому, я чуть дотрагивался до этой картины: тюрьма и в ней Наташа — волосы шевелились, с ума сойти. И вдруг: «женщина легче приспосабливается», поразительно, неужели правда?

## Загадочный опер и грозный Спартак

Меж тем в нашей камере назревали события. Спокойствие было нарушено сразу после ухода Шурика. Пришел офицерик с двумя контролерами и устроили у меня обыск. Обыск целенаправленный — они взяли из мешка только бумаги, больше их ничего не интересовало. Что за напасть? На следующий день вызывают к оперу. По коридору направо, в конце — отстойник в виде прихожей с двумя блочными камерами по сторонам и прямо — дверь в кабинетик. За столом молодой лейтенант, перед ним стопка моих тетрадей. Показывает на два машинописных листа со стихами: «Откуда это у Вас?».

— Из дела.

— Органы порочите? — тычет в строки, где, помнится, есть такие:

«Жить без опера возможно?

У нас, в стране Советской, — нет».

— Так это же не я сочинил!

— А кто?

— Евтушенко.

Речь шла о «Балладе о скопцах», которая ходит по рукам с 60-х годов, которая в числе прочих моих бумаг была изъята на обыске, зачислена в вещественные доказательства и которую я спер во время суда из материалов своего дела. Лейтенант смешался, вспомнив очевидно, что есть такой скандальный поэт Евтушенко, и отложил балладу в сторону. Берет со стопки зеленую ученическую тетрадь, куда я заносил даты своих передвижений по камерам, их номера, фамилии сокамерников, даты допросов и заявлений — короче, хронику своего дела со дня обыска. Записывал также факты произвола.

— Эту тетрадь, — говорит лейтенант, — я тоже вам не отдам.

— Почему?

— Тут есть запрещенные и порочащие записи. Что такое «кум»? — опрашивает обидчиво-строго.

Смешно мне стало, говорю примирительно:

— Ну, это не я придумал. Давайте вычеркнем это слово, если не нравится.

— Нужно вырвать весь лист.

— Зачем?

— Вот в этой записи содержатся сведения, не подлежащие разглашению. Указующий палец стоял на бисерных строчках в середине первой страницы, которые я записал в 220-й камере со слов Мухи. Он рассказывал про «хозяина» — начальника их

строгой зоны в Коми АССР, про «кума» Амелькина — начальника оперчасти, про все то, что у них там творится. Например, идут зэки с работы, с промышленной зоны в жилую. На вахте пьяный Амелькин демонстративно надевает перчатки, ноги нараскоряк («как фашист» — говорит Муха) и каждого обыскивает. Найдет, не найдет — в рожу. Если что недозволенное, скажем, деньги, грелка водки, тому соколику перво-наперво по зубам в кровь — стой здесь. Одного так, второго, а затем отыгравшись здесь ведет к себе в кабинет. Там лупят уже как следует, в хоровом исполнении: опера, контролеры да кому не лень. Мордобой, взятки, произвол — вот о чем рассказывал Муха, а я только записывал номер зоны, фамилии начальников и пострадавших зэков. В том числе и того, которого морили во вшивом буре, переломали кости, а когда в конце срока он выходил, хромой, избитый, и говорил, что едет в Москву к прокурору, то на пути от зоны до станции кто-то убил его. Все зэки были убеждены, что это работа ментов. Среди зэков у этого человека врагов не было. Вот о каких вещах рассказывал Муха, и меня удивило, что лейтенант называет это «сведениями, не подлежащими разглашению».

— Да об этом надо немедленно написать и проверить. Вы первый, кто должен поставить в известность органы надзора.

Лейтенант уперся:

— С этой записью тетрадь я вам не отдам, — и нашел предлог, — тут номер части воинской.

Это был номер, где сидел Муха. Предлог явно надуманный, но надо спасать тетрадь.

— Ну так вырвите это место, зачем же весь лист?

Неожиданно он согласился, видно, действительно больше всего его беспокоила эта запись. Но сказал: «Вырвите сами». И я оторвал полоску из середины листа. Так и жила со мной эта изуродованная тетрадь, с двумя хвостами вместо первой страницы. Но и в этом виде не дожила до воли — перед концом срока ее похитили вместе с другими моими бумагами. Передавая лейтенанту оторванный лоскут, я сказал ему:

— Вы лишаете меня возможности поднять вопрос о проверке фактов грубейшего беззакония. Следовательно, вы должны это сделать сами. Теперь это на вашей ответственности.

Вряд ли он бросил лоскут в корзину. Скорее всего, бумажка попала в то потаенное новое дело, какое заводится на каждого осужденного, где накапливаются новые материалы на него. Нет никакой надежды, что сигнал Мухи дошел до надзорных органов. Хотя, если не бумажка, то наш разговор с лейтенантом был доведен до сведения начальства и сотрудников КГБ, т. е. несколько должностных лиц узнали о нарушении законности на

той зоне. И если они не придали значения, не приняли мер, а так скорее всего и есть, то тогда они сами преступники. В затылок моей 190[1] дышит статья 190 УК РСФСР — недонесение о совершении преступления.

Я сделал, как обязывает закон, — донес. И меры были приняты, только не к преступной администрации зоны, а ко мне. Хотя тетради, кроме «Баллады», лейтенант отдал, через пару дней подают в кормушку на подпись постановление начальника тюрьмы майора Котова о лишении меня очередной передачи и приобретения продуктов питания, т. е. ларя. «За хранение запретной литературы». Узнай об этом Евгений Александрович, весьма был бы доволен. Евтушенко запрещен — лучшего комплимента ему не придумаешь. Но мне тогда было не до комплиментов. Во-первых, постановление незаконно. «Баллада» числится в вещественных доказательствах (чего они доказывают, — другой вопрос), а по закону материалы, относящиеся к делу, я имею право хранить при себе. Мало того, что они незаконно изъяли «Балладу», так хватило наглости меня же наказать. Во-вторых, лишение передачи — не только еда. С каждой передачей, когда я расписывался на заполненном бланке, я видел косой, острый почерк Наташи и успокаивался: слава богу, она на свободе, передача — единственная весточка от нее. Есть передача — значит с Наташей ничего страшного. Вот чего они лишили меня, и этому я воспротивился. Написал в постановлении «не согласен» и жалобу Котову. Вернее, заявление. В ту пору я писал только заявления. Слово «жалоба» мне не нравилось, оно унизительно. Я ведь вовсе не жалуюсь, а протестую, требую, потом, когда раз пять заставляли переписывать заявления на жалобы, ничего не оставалось, как принять их правила игры. Жалобы им тоже не нравятся, но от самого слова «заявление» их, наверное, судорогой сводит.

Прошло три дня, на жалобу нет ответа. А день передачи на носу, пишу прокурору. В тот же день выводят меня опять в знакомый кабинетик. Сидит старлей. Я, говорит, ваш воспитатель. Есть такая должность в тюрьме, по Матросске знаю. Морда у воспитателя цвета красного кирпича и мыльная такая улыбочка. «Возьмите, — говорит, — ваше заявление, начальник отменил наказание. Хотя я считаю, — криво усмехается, — что напрасно. Надо, бы вас наказать. Сигналы поступают не в вашу пользу». И начал воспитывать. Вы, мол, должны помогать администрации, а не мешать. Зачем вы настраиваете заключенных, зачем пишете им кассатки и жалобы, зачем рассказываете о своем деле? Бросьте воду мутить, а то плохо будет. То кнутом помашет, то пряником. А пряник в том, что вот,

мол, администрация идет вам навстречу, простила вас, разрешив передачу, и если мы сейчас с ним, со старлеем, о чем-то договоримся, то и другие милости мне будут оказывать.

— Звание отличного зэка присвоите?

У старлея потухло в блудливых глазах, хмуро, уже без улыбочки, махнул: «Идите». Дежурный надзиратель отвел меня в камеру.

С чего началось, как они вышли на злополучную «Балладу» — не составляло загадки. «Балладу» я показывал только одному человеку — Шурику. И о делах своих с ним только и говорил. Больше просто не с кем было. А Шурик, понятливый, любознательный, так и лип. Сошлись на сочувствии диссидентам, правда, уходил он как-то спешно, пряча глаза, толком не попрощавшись. Но вспомнил я об этом после шмона.

Следом еще происшествие. Игры в шашки, нарды продолжаются здесь и после отбоя. На Пресне не так с этим строго. Но в некоторых сменах есть зловредные менты — придираются, не разрешают. В одно из таких дежурств старший по смене — «корпусной» — после отбоя барабанит в дверь. Сделал замечание, обматюгал, значит. Но мат мату рознь. Есть такой мат, на который уважающий себя зэк не смолчит. Из камеры ему: «Сам такой-то». Открывает кормушку, ворочает белками: «Кто сказал?» Тишина. «Ну, погодите, суки, я с вами разберусь!» Дрысь кормушкой — пушечный грохот, прошла ночь. На утро у них пересменка, мы о перепалке не помним, эка невидаль. Однако входит тот самый корпусной, а в коридоре маячит еще несколько. В два шага корпусной подходит к краю нар и без лишних разговоров выкидывает за шиворот Колю Тихонова и в коридор: «пошел!» Никто ничего понять не может. Что натворил Коля Тихонов? Самый безобидный, самый слабый, эпилептик, инвалид второй группы. Заводят минут через 20. Жалко улыбается, как обычно, но видно боль кривит, держится за бок. «Чего тебе, Коля?». «А за вчерашнее. Ты, говорит, меня обозвал. А я ведь спал, ничего не слышал. Хули ему докажешь: опарафинил всего, озверел, лупит в живот, я, говорит, вам устрою — зона покажется раем. Получай, чтоб другие язык в жопе держали». Рассказывает растерянно, слабым голосом. «Скотина, за вчерашнее отыгрался!», «нашел кого крайним пустить!» — загудели со всех сторон. На жаргоне «парафинить» — значит оскорбить, обматерить, «крайним» — вроде козла отпущения, когда, не найдя виновного, начальник наказывает любого, кого вздумает. Однако, нашел кого — хилого инвалида, и ведь поднялась же рука у бесстыжего!

— Пиши, Коля, жалобу!

Он конфузится, видно сроду ни на кого не писал и боязно: не будет ли хуже? Гвоздь поддержал: «И я напишу!» Гвоздь — типичная дворовая бестолочь, где шум, там и он, его и слышно, но в данном случае ничего — пусть пишет. Еще несколько человек вызвались, были свои претензии к надзирателям. Коля ко мне «Я не смогу, ты напиши, я подпишу».

— Накатай, профессор, — раздались голоса.

Жалоба получилась острой, прямо под яйца корпусному. Он бил и оскорблял невиновного, к тому же инвалида, да еще накануне дня Советской Армии и XXVI съезда. Действительно, завтра, в понедельник, 23 февраля — праздник и открытие партийного съезда. Коля Тихонов, Гвоздь, еще двое отдали свои жалобы новой смене. Всегда лучше отдавать жалобу другой смене, а не той, на которую жалуешься. Больше шансов, что дойдет по назначению. Другая смена, как правило, передает начальству жалобу с удовольствием — отчего не насолить коллегам? И тут ведь социалистическое соревнование — чья смена лучше. Лучше та, на которую меньше жалоб.

Буквально через час вызвали Колю, потом остальных подателей жалоб. Вернулся Коля поникший, сконфуженный. «Ну что?» Криво дыбится, глядит в пол: «Сказали: изорви жалобу, а мы примем меры. Спрашивают: кто написал».

— А ты?

— Изорвал. Хули, буром давят. Сказал: сам написал.

— Да на хрена было рвать, пусть бумага у них лежит.

— Да ну их, против ветра ссать, — смущенно лепечет Коля.

Вернулись остальные со своими жалобами в руках. Их тоже уломали. Неустрашимый Гвоздь оправдывается: «Обещали разобраться. А что? Мне это и надо было». «Дурак, — говорю, — как только ты жалобу забрал, о ней тут же забыли. Сейчас они не с тобой, а с камерой будут разбираться». И как в воду глядел. Несмотря на то, что был воскресный день (даже в Лефортово жалоба ждет до понедельника), в камеру нагрянул некто в штатском со свитой офицеров и контролеров. Нас выстроили в две шеренги. Человек в штатском представился помощником начальника следственного изолятора и спросил: «Какие претензии к администрации?» Все молчат. «Есть еще жалобы?» Прошелся вдоль строя, буравя глазами.

— Ваши требования относительно старшего контролера мы рассмотрим. Если он виноват, то будет наказан. Но вы должны соблюдать внутренний распорядок. Нарушителей будем строго наказывать. — Остановился наискосок от меня (я стоял во второй шеренге) и, глядя на меня вполглаза, сурово добавил: — Среди вас есть подстрекатели, баламутят людей — вы их не слушайте.

Кто организовал недовольство администрацией? молчите? Мы все равно узнаем, — помощник начальника уже вилами в упор смотрит на меня. — К подстрекателям примем особые меры.

Круто повернулся и вышел. За ним остальные. Грохнула дверь.

На следующий день меня вызвали. Контролер сказал: «К оперу» — и кивнул в сторону знакомого кабинетика. Иду по коридору один, без сопровождения, видно, примелькался, вошел контролерам в доверие. В кабинетике сидит капитан средних лет с печальным желтым лицом. Заговорил без предисловий и как будто даже с теплой интонацией в голосе: «Перестаньте баламутить камеру. Не суйтесь в чужие дела. У нас больше возможностей на вас повлиять, чем вы думаете. Мы можем отправить вас во Владимир, а можем и подальше, в Тюмень. Записки, бывает, подбрасывают, знаете? Не гонитесь за дешевым авторитетом, вы не знаете этих дел. Сегодня они с вами, а завтра продадут и отлупят. Давайте по-доброму, договорились?»

— Кто вчера приходил к нам в камеру в штатском?

— Заместитель начальника по оперативной работе.

— А вы?

— Начальник оперативной службы этого корпуса.

— Спасибо, понял.

Как не понять. Прямое предупреждение. Монолог с открытым забралом. Набор оперативных мер: дальняя зона, записка, подброшенная как бы от зэков, что ты «козел», провокация конфликтов через своих людей в камере — обычная подлянка оперов против неугодного зэка. Но почему он откровенно сказал мне то, в чем никогда не признаются? И тон показался доверительным. Может, что-то затевается, а он хочет предупредить меня? Я уходил от него с чувством, будто в его лице встретил доброжелателя. И, вообще, все три года вынужденного общения с представителями администрации я при первом знакомстве смотрел на них с той точки зрения, что за человек передо мной, есть ли в нем что-либо человеческое, не томится ли он сам своей службой? Кажется, я встречал таких горемык. И еще мне показалось, что среди них есть люди, сочувствующие мне не просто как человеку, а как «политику», как человеку, выступившему против того, с чем и сами они не согласны, но

«Современник Галилея
Был Галилея не глупее —
Он знал, что вертится Земля,
Но у него была семья».

*/Евтушенко/*

Не из таких ли был тот капитан? Через два месяца, когда я опять вернулся на Пресню из Матросски, этот капитан распределял нас со сборки по камерам. Я попросился в ту, откуда увезли на Матросску. Он сделал вид, что меня не узнал, и никак на просьбу не отреагировал. Направили в другую камеру. Была причина не замечать меня и устыдиться. Об этом сейчас я хочу рассказать.

Вскоре после истории с жалобами и визита к загадочному капитану в камеру вошел рослый черный грузин, лет 30. По-свойски осмотрелся: «Э, да тут все новые». Спросил настороженно: «Из Бутырки есть кто?» Из Бутырки никого не оказалось, все из Матросски. Грузин повеселел, с шутками-прибаутками, рубахой-парнем прошел вперед и бросил свой скромный мешочек на нары, человека на два от меня. Там подвинулись. Он уселся, попросил закурить и, сияя зубами, обратился ко мне: «На воровском месте лежишь? Это мое место, я с него на больничку ушел. Ничего, — здесь то ж неплохо». Это был Спартак Аржанидзе. «Вот о ком говорил Давид», — вспомнилось мне. Давид ушел после Шурика, почти неделю назад. Он был из Бутырки. И все кого-то ждал. «Должен прийти один человек, — говорил Давид. — Увидите, как два грузина дерутся».

— Кто? — спрашивал я.

— Спартак. В санчасти отсиживается. Нет, вместе нас не сведут, — вздыхал Давид, — слишком много хвостов за ним по Бутырке.

Что к чему он не говорил, но счеты к темному тому «человеку» были определенные. Впрочем, меня это не касается, мало ли у воров кто кому должен? По манерам, на вид этот грузин даже приятен. Слова Давида скользнули в памяти и на некоторое время я забыл о них.

Мы в тот момент торжествовали победу. После нашествия зам. начальника и его обещания разобраться, мы ждали известий о принятых мерах. Вместо этого, словно в насмешку, на следующий день явился к нам делать проверку — кто бы вы думали? — тот самый корпусной, правда он был не такой резвый как обычно, стоял, потупив глаза в свой блокнотик, на котором делал пометки, пока другой контролер считал, однако его появление было воспринято как издевательство над нами.

— Ты что пришел? — невольно вырвалось у меня. — Иди отсюда!

Спохватившись, я тут же прикусил язык, но к моему изумлению корпусной даже не поднял глаз. Он повернулся и вышел. Так же молча, сделав проверку, вышли бывшие с ним два контролера. Ай да Пушкин! И никаких последствий, если не считать вызова к капитану с печальным, желтым лицом, который, кстати, по этому поводу не сказал ни слова. Зато корпусной у нас больше не появлялся. Говорили, что его перевели в другой корпус. Мы были на взлете боевого духа, камера звонко шумела, обсуждая подробности нашей победы, когда пришел Спартак Аржанидзе.

В несколько дней он стал главной фигурой в камере. И то сказать — бывалый зэк, вторая ходка. Целыми днями толковал воровской закон и зоновские понятия. Не чета нам, первоходочникам-первоклашкам. У нас были понурые мужики из семейных хулиганов, несколько тунеядцев, мелкие жулики вроде бывшего шофера КГБ, а в основном, пацаны вроде вчерашнего малолетки Курского и дворового разгильдяя Гвоздя. Естественно, мы смотрели Спартаку в рот. Каждому хотелось побольше узнать, что нам предстоит. Говорил он только на жаргоне, к тому же был весел и общителен. Однако, что касалось зэковского беспредела и зэковской этики — был строг. Приходили люди из Матросски, некоторые со 124 камеры, сидевшие там после меня. Новости не утешительные: обираловка, самодурство «королей». За платформой набралась новая банда, хуже прежней. У Феликса начался суд, он притих. Но действуя не так открыто, исподтишка по-прежнему верховодит, пользуясь данью с наглых поборов. «Не дай бог кто из них придет сюда, — сверкал черными зрачками Спартак, — я ему покажу «короля». И рассказывал, как в этой самой камере он один расправился с шестью крохоборами, отбиравшими у людей сахар с утренней баланды. «Все ихние сидора заставил вытряхнуть мужикам». Каждого, кто поступал к нам, он подзывал к своему месту на нарах или к столу и дотошно расспрашивал, где сидел, с кем жил, как относится к преступному миру. Кто покрупнее и хорошо относится к преступному миру, устраивал на нары рядом с собой, сажал за стол, мелочь и «быков», как он называл тупоголовых и апатичных, отпихивал напротив, на верхние нары. Слабомощных и запущенных, вроде Коли Тихонова, посылал к чертям, на самый край у сортира. Колю он особенно невзлюбил, хотя тот ему не мешал, и, будучи робкой натурой, жался на своем краю, стараясь не попадать на глаза грозному грузину. Но Спартак то и дело орал через всю камеру: «Эй, урод! Не видишь мусор на полу? Найду окурок — убью, собака!» Коля брал швабру и мел или мыл пол. Когда выметал под нарами Спартака, тот не упускал пихнуть Колю ногой,

отвесить подзатыльник. Скоро выяснилось, что поводом такого отношения была жалоба Коли на корпусного. Спартака тогда не было, однако он внушал всем, что жалоб быть не должно. «Выше х… не прыгнешь, — утверждал Спартак, — только хуже бывает. Из-за одного жалобщика потом страдает вся хата». Эк как вывернул. Хотя прекрасно знал, что инициатором «жалобной» кампании был я и закончилась она небезрезультатно. Тем не менее, ко мне относился уважительно, а Колю мордовал. Я, как мог, смягчал наскоки Спартака. Парень он отходчивый и через минуту переключится на игру или свои разглагольствования.

Однажды заводят очередную группу из Матросски, подзывают меня мужики с верхних нар: «Смотри, шнырь со 124-й пришел». Вижу знакомого парня, мы с ним в команде мужиков против «королей» вместе в футбол играли на прогулочном дворике. Был первый игрок и нормальный парень. Говорю мужикам, что знал его за путевого. «Он и был путевым, пока «короли» его не подняли. Как сел на платформу, будто подменили, дерьбанить стал всех подряд». Я к Спартаку: вон «король» пришел, надо разобраться. Спартак подскочил: «Кто? Ну-ка иди сюда», — поманил пальцем того парня, стоявшего с мешком в группе прибывших. Звали его, кажется, Сашка Комаров — Комар. Спартак садится за стол, я рядом. Комар напротив. «Знаешь этого человека?» — спокойно спрашивает Спартак, кивнув на меня. «Знаю, вместе сидели», — напряженно улыбается мне Комар. «Рассказывай, как сидел, кем ты жил?»

— Нормально, мужиком, конечно, кем еще? — хмыкнул Комар.

— А мужики говорят, с Феликсом за платформу сел, — уточняю я.

— Да, последнее время. А куда денешься — пригласили, надо садиться, — встревожился Комар.

— Дачки у мужиков брал? — напружинился Спартак.

В камере гробовая тишина. Все затихли. Серые, узкие глаза Комара забегали над треугольником скул:

— Когда шнырем был, не мной так заведено, — не шевеля губами, тихо процедил он.

Вдруг Спартак, резко бросив себя через стол, треснул Комара широкими ладонями по ушам:

— Ты знаешь, падла, что за это бывает?

Оглушенный Комар побледнел, сидит не шелохнется.

— Откуда я знал? Думал, везде так, — оправдывается виновато.

Целы ли у него перепонки? Я не рад был, что затеял. Но и спускать беспределу нельзя — сколько такие, как Феликс, Комар,

людям кровь портят! Он, видите ли, не знал, что нельзя зря обижать людей, нельзя отбирать чужое. Отъелся на чужих хлебах, теперь отвечай. А жаль, неплохой был парень.

«Развяжи баул! — приказывает ему Спартак и кулаком по столу. — Клади сюда!»

Слетелись к столу Гвоздь, Курский. Комар выкладывает из мешка белье, несколько пачек сигарет, кусок колбасы, несколько конфет — ничего лишнего.

— Откуда это? — показывает Спартак на колбасу и сигареты.

— Дачку в осужденке получил.

— Что будем делать, мужики? — обращается Спартак к камере.

— Забрать на хуй, — выскочил Гвоздь.

— Заткнись, Гвоздь, пусть мужики скажут, — прикрикнул Спартак.

— Забрать, чтоб почувствовал, — раздались голоса, — пусть подавится.

— Отъебать волка!

— Отпиздить и выломить, на хуй он нам здесь нужен.

Тяжело смотреть на Комара, ожидавшего своей участи. Я предложил, чтоб он извинился перед всеми и неделю убирал камеру, добавив при этом, что в свое время знал его не с плохой стороны.

— Жалеешь, профессор? — окрысился вдруг на меня Спартак. — Он мужиков не жалел.

— Мужики, лучше отпиздите, только на полы не ставьте, — умоляюще повел глазами Комар.

Спартак смягчился:

— Ага, знаешь что западло, а дербанить не западло? Ладно, проси прощение. Если мужики простят, твое счастье, — останешься мужиком. Если нет, как решат, так и будет.

— Простите, мужики, — согнул голову Комар.

— Встань, чертогон! — опять взорвался Спартак. — Проси громко, у всех!

Порешили отлупить и на первый раз, с учетом того, что Комар, кроме 124-й беспредельной хаты нигде не сидел, другого порядка не знал, — простить. Я заикнулся было, что он уже получил свое и больше лупить не надо, но поддержки не получил.

— Наказать надо, — сказал Спартак, — пусть каждый его ударит, а кто не хочет, пусть плюнет в рожу.

Так и сделали. Комара посадили с краю, в угол стены и нар, и каждый подходил, ударял или плевал в него. Кто бил символически, а кто рад был дорваться: бил с маху и еще добавлял.

— Всем, всем подходить! — зорко следил Спартак. — Что, гад, чистеньким хочешь быть? — кричал тому, кто не хотел бить и плеваться.

Я не хотел, Спартак посмотрел на меня, но ничего не сказал. Комару уступили место на верхнем ярусе, среди мужиков.

# Меж двух огней

Дошла очередь до меня. Назревало постепенно. В ту пору я опять сцепился с ментами. Передача от Наташи так и не пришла. Лишили все-таки? Может, с Наташей что? Прошу контролера позвать дежурного офицера. Но здесь не Лефортово. «Что ему делать не хуя, к каждому подходить?» — грубит контролер. «Так пусть меня примет!» — кричу в захлопнутую перед носом кормушку. Через некоторое время вызывают. В кабинетике воспитатель-старлей. Кирпичная физиономия нарочито надута: «Слушаю вас». Я напомнил его слова о том, что наказание мое отменено и потребовал показать соответствующее постановление.

— Этим вопросом занималась оперчасть, к ним обращайтесь, — сухо отвечает старлей.

— Так узнайте в дежурке: приносили мне передачу или нет?

— Узнаю, — нехотя обещает старлей, устремив на меня пронзительный взгляд. — На вас, кстати, матерьялец поступил, не догадываетесь?

— Нет, не догадываюсь.

— Нелегальные сношения. Кому вы там пишите? Рисуночки всякие, понимаешь.

Наивно было думать, что они не знают про «коня», но ведь не признаваться же.

— Вы меня с кем-то путаете, я не художник.

Старлей растянул один угол губ в мыльной ухмылочке, не сводя интригующих глаз:

— В вашем деле кое-что появилось, вот увидите.

Врет. От Галки им ничего не перепадет, ей-то я верю больше, чем ему. Больше об этом со мной не заговаривали. Да и Галка в эти дни покинула камеру. Однако с передачей вопрос завис. От старлея ни слуху, пишу начальнику тюрьмы заявление с просьбой ознакомить меня с постановлением об отмене необоснованного наказания. Только отдал заявление, снова меня выдергивают из камеры, но по другому поводу. На верхних нарах брали коня, а тут менты — «атас»! Ребята отпрянули от окна, улеглись, но надо просигналить наверх, чтоб забрали коня. Я ближе всех к трубе, перегнулся с нар, стукнул один раз — «атас!» Дверь открывается, и уводят меня проторенной дорожкой в кабинетик. Но до кабинетика не дошел. Остановились в прихожей, прапор, очевидно, корпусной в этой смене, звякнул ключами и водворил меня в блочную камеру — «отстойник». Коробка в шаг шириной. Скамья — можно сидеть. Ноги не вытянешь. Стены в «шубе», крашенные, зеленые. Чистенько, но очень уж неудобно, минутку-

другую потерпеть можно, но проморили часа два. Стучал, орал, барабанил — без толку. Наконец, открывают. Тот же прапор. Высокий, гнутый, как червь, змеиная растяжка длинных тонких губ, весело ему, паскуде. Заводит в кабинетик. Садится вальяжно, нога на ногу, спешить некуда.

— Садитесь.

— Я насиделся.

Запрокидывает, довольный, змеиную головку на длинной шее:

— Придется еще посидеть, — и двигает по столу в мою сторону чистый лист. — Писать любите?

— Ненавижу.

Настаивает с ехидной вежливостью:

— Садитесь, пишите.

— Я не люблю писать.

Стою. А он раскинулся на стуле, уперся пустыми глазами, как удав, посмеивается. Так минут пять. Я стою, он лыбится.

— Не надоело стоять?

— Надоело.

— Тогда пишите.

— Чего писать?

— Как чего? — вскидывает притворно ниточки бровей. — Объяснительную! Сношения с соседней камерой, почему нарушаете правила внутреннего распорядка?

— Гражданин начальник, — в тон ему развожу руками, — так бы сразу сказали. Это я с удовольствием.

Галантным жестом, «культурно», протягивает мне ручку. Сажусь и вывожу на листке: «Жалоба». Пишу, что старший контролер беспричинно продержал меня более двух часов в блочной камере, где содержание более часа не допускается. Он перегнулся коромыслом, мельком взглянул, этот лист в сторону, достает другой: «Это вы на меня написали, а сейчас про себя». И снова уселся, давая понять, что будет так сидеть хоть до конца дежурства, пока не напишу объяснительную. Змеиная ухмылка не сползает с ехидной физиономии: плюй в глаза — божья роса. Беру обратно жалобу и переписываю точь-в-точь на новый лист. Прапор с удовольствием достает третий лист: «А теперь про себя». Трудно оказать, чем бы кончилось, если б не вошел громоздкий, как антикварный шкаф, прапорщик. Он был корпусной в другой смене и, видно, заступал на дежурство. Увидев меня, удивился и спросил: «Чего ты его держишь? — будто знал, что эта ехидна уже полдня мной занимается. — Отпусти ты его, — добавил, протискиваясь между столом и шкафом и, не дожидаясь ответа, сказал мне: — Иди». Я мигом сорвался, унося ноги от липучего

гада. Спасибо доброму прапору, из дерьма вытащил. Не слышал о нем худого слова, зэки на него не жаловались.

Параллельно открылся у меня второй фронт, самый тяжелый — в камере. Атаковал Спартак Аржанидзе. 26 февраля принесли мне приговор. Ротапринтная копия на семи листах. Для наших бичей — солидный документ, такого приговора в камере еще не видали. У всех на папиросной бумаге, листка два-три. Кроме того, статья, дело необыкновенное. У моих нар куча народу. Я показал приговор. Кто посильней в грамоте, брали читать. Без участия Спартака в камере ничего не происходило, а тут он интереса не проявил, лежал один со скучающим видом. Зато в тот же день возник у него интерес к тому, что я там в тетрадке все время записываю?

Как я упоминал, помимо хроники своего дела, всевозможных заявлений и вызовов, т. е. всего, что касалось моих отношений с администрацией, я делал выписки из чужих приговоров, записывал из рассказов факты правонарушений со стороны начальства, ну и все то, что казалось мне важным и интересным. Например, меня интересовали «кликухи», т. е. клички. В тюрьме обязательно дают кликуху, общаться по имени не принято. И вот иной раз не получается, как ни назовут — все не то, не клеится. Но непременно находят. А то сразу, только зашел человек — бац, кто-то обратился шутя, и готово на всю лагерную жизнь. Кликухи, жаргон — явление словотворчества, оно происходит ежедневно, на глазах, это было любопытно. Иногда приходят с готовой кликухой, с воли. У кого нет, практикуется такая шутка. Новичку говорят, чтоб он забрался на решку, т. е. на окно, и крикнул в фрамугу: «Тюрьма, тюрьма! Дай кликуху, да не простую, а воровскую!» Доносится откуда-то: «Козел» или «Петух». Новичок в смущении спрыгивает с окна. Дружный хохот. Кроме развлечения, это считается проверкой на смелость, ведь новичок рискует быть замеченным надзирателем. Был такой в 124-й камере, тезка мой, а кликуху долго бились — никак не могли подобрать. Трудно сказать почему, но не липнет к нему ничего. А парень он невысокий, плотный, округлый. Как-то завозились они с соседом по шконарю, тот хлоп Леху по заднице: «Пончик!» Сразу было услышано так и стал он Пончиком. Или заходит кто грязный, мятый, коричневый. Из камеры раздается: «Копченый пришел!» Лучше не придумаешь. Никто не знает его имени, с этого момента он Копченый. Или зовут человека Бабочка. Спрашиваю: почему тебя так назвали? Жмет плечами: «Не знаю». А кто-то встревает: «Ты что, не видишь? Он на месте не может сидеть, порхающий». И верно. Другого спрашиваю: ты почему Филин? Он удивлен моей несообразительности, разве не очевидно: «Ну я же

днем сплю. Филин спит днем, а ночью ухает». Другого имени будто у него не может и быть.

За каждой кликухой — человек. Она обязательно схватывает какую-то его главную особенность, иначе не держится. Я их коллекционировал. По кликухе легче вспомнить человека, чем по фамилии, легко восстановить портрет. Этимология, происхождение, кликух представляет несомненный интерес. Гвоздь, например, — как прикажите объяснить такое прозвище?

Гвоздь был моим неизменным спутником на прогулке. По правде сказать, не до него мне там было. Эта камера в футбол не играла, ходили внутри дворика кругом. В соседних двориках кого-то заводят, выводят, за стеной то и дело кричат, спрашивают нет ли у нас таких-то. Из наших тоже кто-нибудь ищет. А чаще просто так, горло прочистить да со свежим человеком перекликнуться. Небо над головой. Много света и воздуха. Гуще тоска по воле. Ходишь, свое перебаливаешь, хоть бы никто не тревожил. Но именно на прогулке часто подходят с вопросами, разговорами. Видно, у всех тоска здесь сгущается и многим невтерпеж с ней наедине, стараются отвлечься в общении. А Гвоздь ходил неотлучно. Треп один и тот же: как воровал, какие менты у них в Тушино замечательные, кто сколько выпить мог, кто сколько ходок сделал. Надоело, но не прогонишь, надо человеку выговориться. Я приспособился почти не слушать его так, что он перестал мне мешать. Но кое-что в его рассказах было любопытно. Так я узнал, что уголовный мир Москвы не столь уж разрознен. Шайки делят районы. Внутри шайки беспрекословное подчинение. Приходят к Гвоздю домой и говорят: сделай то-то, — он не вправе отказаться. Все бросит и сделает. Делал в основном домашние кражи. Раздел добычи, сбыт брали на себя главари. Такие рядовые «труженики», как Гвоздь, плодами своих «трудов» почти не пользовались, мало им что доставалось. Зато если что нужно, например деньги, то Гвоздь знал — никогда не откажут. Главарь для него высочайший авторитет. Спор, конфликт, совет какой нужен — идут к главарю. Добраться до него непросто, сначала надо с кем-то из приближенных договориться. Довольно сложная, но отлаженная иерархия. В случае неуплаты долгов, несдержанного слова, невыполненного задания, не говоря уж о том, что у них считается предательством, виновника достают из-под земли, где бы он ни скрывался, рано или поздно найдут его со штырем в боку. Гвоздь боялся своих руководителей и одновременно уважал. Без них, говорит, делать нечего: или посадят раньше времени, или конкуренты укокошат. Все районы, даже кварталы разделены по сферам влияния. Там, где промышляет одна банда, другая не суйся. Вот тебе, бабушка, и

Юрьев день! А говорят, искоренена организованная преступность. Как бы не так.

— Почему у тебя такая странная кликуха — Гвоздь? — спрашиваю его.

Он заломался:

— А черт его знает, — потом не без гордости сказал:

— Думаю потому, что я твердо держусь воровского понятия.

Он и в самом деле, несмотря на бестолковость, корчил из себя знатока и приверженца воровского закона. Никто его, правда, всерьез не воспринимал, ясно было, что место его на побегушках и масштаб дворовый, но то, что он сын преступного мира, — не вызывало сомнений.

— Зачем ты, профессор, кликухи собираешь? — с вежливой подозрительностью спрашивает меня после этой прогулки Спартак.

— Да так, — говорю, — мне интересно.

— А чего ты все пишешь, пишешь — это ты кликухи пишешь?

— Кликухи тоже.

Спартак таращит глаза бильярдными шарами и обращается к своей «воровской» компании: «Слышали? Это он про нас пишет». И ко мне: «А если это к кому попадет? Для кого пишешь?» Опасение на первый взгляд небезосновательное. «По кликухе менты человека находят. Если опер узнает кликуху, он записывает ее в дело», — говорит Спартак. Но при чем тут мои записи? Кликухи и так всем известны, обычная форма общения. Кроме того, записывая кличку, я не ставлю настоящего имени. Напрасные опасения. Я высказал свое мнение, но остался нехороший осадок. Всем стало неловко. До сей поры никто в камере не делал мне замечаний. Напротив, люди тянулись ко мне и мое слово кое-что значило. Многие знали меня по Матросске. И все-таки я был не «свой», а Спартак «свой». Они сходились на воровских интересах, и тут он лучше знал, чего можно, а чего нельзя. И вот оказывается я делаю то, чего нельзя делать, что вызывает сомнения. Репутация моя покачнулась. Спартак дальше раскачивает:

— Много пишешь, никто не пишет, ты один пишешь. Откуда мы знаем что ты там пишешь? Может быть еще что-нибудь про нас пишешь?

Я рассердился:

— Спартак, не лезь в мои дела. Что я пишу — сказано в приговоре, возьми и почитай.

— Что ты, Спартак, в самом деле? Мы профессора хорошо знаем, — послышался ропот в мою поддержку.

Вечером Спартак приглашает меня на партию в нарды. Я

отказываюсь. Он сидит за столом, взгляд исподлобья не предвещает ничего хорошего. Кровно обиделся.

В день ларя мне, как и другим, имеющим на лицевом счету деньги, разрешили отоварку. Значит, наказание действительно отменили, т. к. передачи лишают вместе с отоваркой. Почему же не было передачи? Непонятно. На душе тревожно. Из головы не идет Наташа. Ларь же был весьма кстати — кончилось курево. С куревом в общей камере всегда тяжело: курят все, а передачи и ларь не у каждого. Большинство «стреляет». В этот раз совсем было глухо. Многие и в следственной тюрьме не успели отовариться и сюда на пересылку — когда еще придут деньги? В среднем месяца два ждали перевода из матросски на Пресню, долго идут деньги. И передачи запаздывали: пока родные узнают да разыщут Пресню, да попадут в день приема передач. Но к нам, кто пришел с первой партией в пустую Пресню, деньги уже поступили. Ждали ларя и перебивались как могли. Сигареты давно у всех кончились. Держались на табаке. Я курил трубку, табак у меня всегда был. В передачах в общих тюрьмах сигареты почему-то не разрешают, поэтому Наташа не скупилась на табак, закладывала по полкилограмма. Последнюю неделю перед ларем спасались моим табаком. Народу человек 50, курили экономно, кому-то самокрутка на день — больше не выходило. Но и этого табака не стало. Ждали ларя как манны небесной. Что брать на 10 рублей? Конечно, курево. Подешевле и побольше. Надо быть готовым к этапу.

Спартак на очередной бане подстригся наголо. Без пышной, вороньего крыла, шевелюры голова его стала маленькой, нос оказался несоразмерно большим и уродливым. Вместе с ним подстриглась и другие «воры», те, кто ему подражал: Гвоздь, Курский, еще несколько человек. Я не ждал скорого этапа, но тоже чем черт не шутит? Многих отправили на зону до кассации, потом возвращали, кроме того, всегда жди сюрприза: могут лишить следующего ларя, могут перебросить в другую тюрьму, а курить всегда и везде хочется. Все, кто отоваривался, брали по несколько десятков пачек. Делились между собой, оставляли на текущий день, а большую часть укладывали поглубже в мешки — на этап. Этот запас наши мастера запаивали в полиэтиленовые пакеты. Нагревают спичкой края и склеивают, получается герметичный пакет. Я взял пачек сорок «Солнышка», из них половину запаяли. Несколько пачек раздал соседям. Остальные подходили, закуривали. Спартак не отоваривался.

Вообще, положение его выглядело странным. Он объяснял это тем, что у него хороший адвокат, закупленный с потрохами, и что адвокат не исключает возможности вызволить его на свободу

прямо с Пресни. Но почему ему не несут передачи и нет денег на ларь? Осужден по 147-й — за мошенничество. То ли он был «кукольник» т. е. брал деньги, а возвращал сверток бумажек — «куклу» и исчезал, то ли просто брал и не возвращал — у него, несмотря на болтливость, ничего нельзя было понять. Жена в Киеве, сожительница в Москве — курсировал между ними на собственной машине. А в камере гол, как сокол. Однако не стеснялся привередничать над чужим ломтем: черный хлеб ему нельзя — подавай белый, баланду не любит, а съест лучше кусок колбасы или сыра, не забывал между прочим посетовать что никак не дождется тысячи рублей, которые ему давно выслали, или на то, что опять-де менты передачу, наверное, не приняли. Хотя ни ларя, ни передачи никто его не лишал. До него каждый ел свое, угощали, делились, но собственность оставалась частной. Спартак ввел социализм. По его «воровским» понятиям стол — одна семья и в ней все должно быть общее. Это не вызывало возражения, мы объединили припасы. Но как-то стало так получаться, что неимущие под тем или иным предлогом изгонялись, а имущие, хотя и пришли позже других, а значит, по нашему правилу их очередь садиться за стол еще не дошла, оказывались-таки за столом. Спартак делил людей на путевых и непутевых, нередко «путевый» задерживался за столом ровно столько, пока не съедали его запасы, потом попадал в немилость и шел хлебать баланду на нары, уступая место «путевому» с дачкой. Как ни странно этот принцип воспринимался как должное. Прежнее наше правило, допускавшее за стол в порядке очередности, кто раньше пришел, было отменено. «Черта за стол? Так не бывает. Я с ним на одном гектаре не сяду», — витийствовал Спартак. Его поддерживали те, кто крутился вокруг него, но и те, кого он называл чертями, тоже не возражали. В результате за столом почти не переводились деликатесы — масло, сыр, белый хлеб, колбаса, — а Спартак нарезал и распределял как главный кормилец, без которого мы бы, наверное, с голоду подохли. Обобществление собственности в сочетании с мудрой кадровой политикой вознесли Спартака во главу котла. Выгодное дело — социализм. Столь же выгодное, как и язва. Спартак жаловался на язву. Черный хлеб, какой давался с баландой, почти не ел, оставлял себе с дачек белый. Той же причиной объяснял и то, что периодически отсиживался в санчасти. Там масло, молоко, чище и получше, чем в камере. Но не завидовать же, больного человека надо жалеть, и мы жалели Спартака, отдавая свою долю.

Все, кто отоварился, дали ему по пачке сигарет. Я тоже, все-таки в одной семье, протягиваю, а он вроде берет и не берет. Как

брать от человека, которого оскорбил, который отказывается играть с ним в нарды? Делает ловкий ход: «Алик, — говорит соседу-казаху, — возьми, а мне дай «Астру», ты же знаешь, я «Солнце» не курю.» Алик берет мою пачку «Солнышка», а ему дает более дорогую «Астру». И значит Спартак у меня ничего не взял. Ну, молодец, даже спасибо не сказал. Ну, да бог с ним, курево есть, вся камера сладко задымила. Нары затонули в сизом дыму. Раздражен был один Спартак, причину раздражения открыто не высказывал, но намекнул между прочим: «Дружба дружбой, табачок врозь. Неправильно живем, мужики, — в воровской семье все поровну. Во всей хате ни одного путевого. Вот ты, Курский, — вор?» Курский смущенно морщит конопатый носик, смеется: «Мне до вора далеко. Я — пацан!» Спартак считает себя обделенным. Ему дали пачек 10, гораздо больше, чем кому-либо другому. Он брезгливо смел их в сторону, будто не он, а мы должны благодарить его за то, что он, скрепя сердце, согласился принять такой пустяк. У него меньше, чем у тех кому принесли ларь. Кто-то клеит пакеты на этап, а у него такого пакета нет. Правда, он не собирается на этап, но как мириться с тем, что у него нет того, что есть у других. Это не соответствует положению «первого вора в хате», и это его раздражало.

Зло срывал на смирных и слабых. Помимо Коли Тихонова, было еще несколько забитых ребят, которым Спартак внушил панический страх и покорность. Трепетали от одного окрика. Если Спартак заводился, на жертву жалко было смотреть. Стоит перед ним, согнувшись, трясется, готов ноги ему мыть и воду пить. Спартак особо не бил, ну оплеуха или пнет под зад, но обругивал изощренно, с фантазией, всей мощью кавказского темперамента: «Я маму твою ебал. Весь твой род, сестру, бабушку в рот давал! Пытичка на твоем дворе летит, — Спартак показывает рукой как летит «пытичка», — я ее ебал!» В ругани у него проявлялся акцент, который обычно был не заметен, и этот акцент, приумноженный беспричинной агрессией, производил дикое впечатление. Казалось, сейчас убьет, разорвет на куски, надо спешить разнимать, но на самой высокой коте Спартак вдруг останавливался и совершенно спокойно говорил, например: «Доставай, Гвоздь, зары». И шел играть в нарды. Смеялся, болтал, пока снова не скапливалась у него желчь и не взрывалась на очередной жертве. Это был мошенник милостью божьей. Мошенничал разными правилами, которые выдавал за «воровской закон», выворачивал слова как хотел, тщательно прятал свои подлинные намерения в хитросплетении камерных интриг. Ему ничего не стоило найти повод, чтобы придраться к одному и выманить что-нибудь у другого. Завораживал блатным

красноречием тех, кто был ему нужен, и унижал, «ставил на место» тех, кто переставал быть ему нужен. Так же он играл и мошенничал со своими эмоциями. Верить в его доброе отношение было нельзя, понравилась чья-то майка — сажает того человека за стол, обласкает, тот с радости все отдает в обмен на привилегии, которые, он надеется, даст ему близость к Спартаку и элите стола. Поужинает с нами, Спартак помажет ему хлеб с маслом — и майка на нем. На завтраке человек маячит уже у стола, ждет, что Спартак снова пригласит его. Но Спартаку он больше не нужен, а лишний рот — самому меньше: «Чего стоишь? Видишь люди едят? Пошел на хуй!»

Тем же мошенническим ключом он стал подбираться ко мне. Было очевидно, что он хочет дискредитировать меня и ищет удобный повод для открытой атаки. Пока ему это не удавалось. Внешне сохраняя уважительное отношение, цепко следит за каждым моим словом, каждым жестом. Как только находил зацепку, моментально менял тон и переходил в наступление. Втолковывает, например, своим слушателям, что редкий вор сидит по воровской статье, настоящий вор (подразумевается, конечно, такой как он), когда чувствует — напали на след, старается сесть но мелкой статье, чтобы замести следы крупных дел. В доверительной беседе какой-нибудь дурачок тоже начинает говорить, что и он не лыком шит, что шьют ему одну кражу, а он «поставил на уши» тридцать хат. Спартак профессионально интересуется: где, когда, как это было? Собеседник выкладывает подробности. Не нравилась мне ни эта теория Спартака, ни такого рода беседы. Место мое через два человека от Спартака, я поневоле в кругу. «Я сидел, — говорю, — с настоящими ворами, у них по четыре-пять ходок и все по воровским статьям…» «Вы слышали? — перебивает Спартак. — Он сидел с настоящими ворами! А мы значит хуепуталы? Слышали что профессор говорит? — кричит уже на всю камеру. — Он — профессор, а мы все здесь — хуеплеты!» Но подобные наскоки не достигали цели. Люди не испытывали вражды ко мне. Но Спартака боялись. С охлаждением наших с ним отношений, все больше людей стали относиться ко мне настороженно. Так уж случилось, что под агрессию Спартака попадали те, кто чаще общался со мной, кому я написал жалобу или кассатку, или записки для «коня». Спартак завладел камерой и все настойчивее искал повод, чтоб нанести мне прямой удар. Я чувствовал неизбежность конфликта, и не в моих силах было предотвратить его.

И не до того мне было. Съедала тревога за Наташу. Я добивался у ментов: приносили мне передачу или нет, если нет, значит что-то случилось. Но ни официального решения об отмене

наказания, ни сведений о передаче — не было. Тогда я написал прокурору. Снова вызывают в кабинетик. На этот раз молоденький лейтенант. Очень серьезен, как и подобает начинающему сотруднику оперчасти. Он подтвердил, что наказание отменено и я должен получить передачу. Наверное, не приносили.

— Этого не может быть.

— Если сомневаетесь, напишите, чтоб принесли передачу — для вас ее примут в любой день.

— Кому написать?

— По вашему адресу. Я отошлю.

Невероятно! Я остолбенел. Лейтенант, довольный произведенным впечатлением, оставаясь строго серьезен, все-таки на градус потеплел. Подает бумагу: «Пишите». Кому писать — не составляло вопроса, но куда? Наташа на суде успела сообщить, что в нашей комнате ее прописали и тут же выписали, что ее выселяют и она не знает, где будет жить. Написал на адрес ее матери. Как продиктовал лейтенант, ни слова больше. Наташа этого письма не получала и скажет она потом, что передачу у нее не приняли. Мать ее, после суда, отреклась от меня, поставив дочери ультиматум: «Или с ним, или со мной». Возможно по этой причине до Наташи не доходили письма по материнскому адресу. Но в ту пору об этом я ничего не знал.

# Разборка

В разгар тяжбы с ментами разразился открытый конфликт со Спартаком. На столе появился табак. Коля Тихонов получил передачу и отсыпал часть табака в коробку из-под сахара — на «общак», т. е. кури, кто хочет. Хорошее нововведение, особенно для тех, у кого нет курева. «Стрельба» прекратилась, люди подходили и сворачивали цигарки. Захотелось и раскурить трубку, к которой привык, но мой табак кончился, а слабым «Солнышком» не накуривался. Общак так общак — набиваю трубку, закуриваю. Затягиваюсь с наслаждением: «Хороший человек придумал общак».

— Ты зачем, профессор, табак оттуда берешь? — спрашивает Спартак.

Он сидит напротив, на нарах вместе с Курским. Развалились, скучают в вялой беседе, рыскают глазами по камере. Я со своих нар ноги свесил, отвечаю:

— Так общак же.

— У тебя своих сигарет нет?

— Какое твое дело? — говорю. — Я в сигаретах никому не отказываю, почему не могу трубку закурить?

— Свои 30 пачек запаковал, а сам общаковый табак куришь? Общак для тех, кому курить нечего, какое ты имеешь право?

— А какое ты имеешь право в мой сидор заглядывать? Кончится табак, будем курить сигареты.

Я упаковал не 30, а 20 пачек. Спартак накручивал на скандал, выставлял меня скрягой. Это было возмутительно. Но чем больше я заводился, тем спокойнее говорил Спартак, обращаясь к камере:

— Говорит за народ сидит, а сам последний табак у мужиков тащит. («За народ» я никогда не говорил.)

— Ты в крысятничестве меня обвиняешь? — ставлю ребром, чтобы пресечь всякие недоразумения. «Крыса» — человек, уличенный в камерной краже. Страшное обвинение.

— Я не сказал, что ты крыса, я сказал, что ты не имеешь права брать общаковский табак. У тебя свои сигареты есть, — Спартак заговорил в примирительном тоне. Перед ларем вся камера спасалась моим табаком, когда появились сигареты — давал сигареты и все-таки чувствовался нехороший привкус в том, что я, заряженный собственным куревом, брал общаковый табак, предназначенный, как выясняется, для тех, кому нечего курить. Это факт, остальное — оправдание. В этом коварство несправедливого обвинения: Спартак заставил меня оправдываться. Картина получилась неприглядная, надо было

немедленно сгладить нехорошее впечатление. Обращаюсь к камере: «Мужики! Вы знаете — я курю трубку. Дайте мне табаку, а на общак я кладу сигареты». «Чего там, кури профессор». Я положил две пачки сигарет, выкупив таким образом право пользоваться общим табаком.

Обстановка разрядилась. Но это не устраивало Спартака. Вечером того же дня заводит речь о том, что вот, мол, ты занимаешь на нарах и за столом почетное воровское место, а по правилам не должен его занимать. Он не хотел об этом говорить, но раз я начал беспредельничать, брать у мужиков общаковый табак, то он обязан поставить меня на свое место. Я не имею права занимать воровского места, потому что на Матросске я выломился из хаты. По правилам это нельзя делать ни в коем случае. Хата — твой дом, и, если там беспредел, ты должен навести порядок, а не искать защиты у ментов, не проситься в другую хату.

— Мы наказали Комара за беспредел, — продолжает Спартак, — но он чище тебя, не так виноват как ты, потому что ломиться из хаты еще хуже.

— Кому хуже? Что за грех такой?

— Самый большой грех перед зэками. Видишь, что беспредел, мужиков обижают — ты должен их защищать, а ты бросил, сам ушел.

— Чего же я мог один сделать?

— Почему один? Если бы ты дал «королю» по роже, все бы мужики встали на твою сторону.

— Эти мужики сейчас здесь, спроси — почему они не встали на мою сторону? — показал я на людей, прошедших 124 камеру. — Я потому и ушел, что дело до молотков дошло, а эти бараны в штаны наложили. Комар, скажи: можно было тогда справиться с королями? Ты бы стал с ними драться? — Комар побаивается Спартака, но отвечает честно:

— Хули толку, измудохали бы… Если б еще кто, тогда можно.

— Видишь! — подхватывает Спартак. — Ты бы начал, а Комар поддержал, все бы встали, так, мужики? Эти мужики, молчавшие, когда я ссорился из-за них с Феликсом, с заискивающей улыбкой чесавшие задницу после пинков, угодливо несшие свои дачки, теперь перед грозным лицом Спартака так же угодливо отвечают:

— Так.

Я психанул.

— Что ж ты сам не дал «королю» по роже, Комар? А вы чего? На воле вы шпана и воры, а в тюрьме — дети малые? В конце концов, это ваша среда, и не мне среди вас наводить порядок. А мнение свое я тогда высказал.

— Все равно ты не должен был ломиться, — твердил Спартак.

— Из-за меня менты камеру прессовали, стирать не давали — кому это было нужно? Предложили уйти, я и ушел — что мне «молотков» дожидаться? Ну дождался бы — что б изменилось?

— Да я один шестерых вот в этой самой хате не побоялся. Ты за народ сидишь — почему не заступился? Курский, ты бы что сделал на его месте?

Маленький, глупенький мальчишка Курский бойко отвечает:

— Швабру бы обломал! — Спартак доволен своим пацаном:

— Видишь, даже Курский знает что надо делать, когда беспредел. А у тебя хватает совести после этого на воровском месте лежать.

Я сказал, что не претендую на высокое звание «вора» и если Спартак считает себя вором и если правда, что место мое «воровское», мы можем с ним поменяться местами, мне все равно.

В этот момент Спартака вызвали из камеры. На душе горько. Наскоки его становились невтерпеж. И конца не видно. Остановится или нет? Если нет, что дальше? Мне безразлично было где сидеть, где валяться, я хотел только, чтоб меня оставили в покое. Камерная грызня надрывала меня бестолковостью, ненужностью, мешала сосредоточиться на своем. Надо уйти в себя, жить особняком, ни во что не вмешиваться, чтоб никто не видел в тебе конкурента, чтоб не возникало ни повода, ни желания для придирок. Ради этого я готов был идти на уступки. С этой братвой делить мне нечего. Все мы в тюрьме, все страдаем. Я мог их жалеть, но стравливать друг с другом, вербовать сторонников против Спартака не мог и не хотел. Вошел в чужой дом — уважай его порядок. Здесь царствует уголовка и я должен считаться с ее правилами. Если место мое «воровское», надо уступить. Но надо это сделать достойно. В следующем раунде, если Спартак снова его навяжет, я решил не поднимать перчатки, а кончить миром.

Спартак вернулся в хорошем настроении, подает мне сигарету с фильтром. Говорит, что был у адвоката и тот обещает, что дело его скоро будет пересмотрено: «пересуд». У меня отлегло. Я еще допускал, что нападки Спартака идут от недоразумения и так или иначе они должны прекратиться. Но нет. На следующий день снова враждебный тон:

— Почему ты, Профессор, не уходишь с воровского места? Разве не ясно сказано?

— А кто ты такой, чтоб приказывать мне? Давай сядем вместе с мужиками и разберемся спокойно. Как решим, так и будет.

Спартаку будто того и надо было:

— Сходняк, мужики! Все сюда, Профессор разборки хочет!

Садимся за стол. Мы со Спартаком рядом. Тут же Гвоздь, Курский. Остальные стоят, расположились ближе к столу на нижних нарах, свесили головы с верхних нар.

— Говори, профессор, что ты хочешь? — начал Спартак.

— Я хочу, чтоб в камере не было больше склок. Я хочу понять, что тебе от меня надо?

— Даете слове, мужики? — подыгрывает на публику Спартак. — Профессор думает, что мне от него что-то надо. А мне ни хуя от него не надо, я хочу, чтоб все было правильно. Потом вы же мне спасибо скажете. Если мы будем жить неправильно, в другой хате с нас спросят. Вы как хотите, а на х… мне за какого-то х… отвечать. Клянусь матерью, в своей хате я наведу порядок. Буду драться со всеми — посмотрите, что вам потом тюрьма скажет, профессор считает, что он — профессор, а мы хуеплеты, даже хуже — хуепуталы. Он думает, что мы не знаем, зачем он пишет, кликухи собирает, думает мы такие дураки, что ничего не соображаем…

— Я достану все свои тетради и вы посмотрите что я пишу.

— На х… мне твои тетради, может, я читать не умею. Дай сказать.

— Погоди, профессор, не перебивай, — урезонивает собрание.

Спартак продолжает:

— Запудрил мозги мужикам, они думают, что он за народ, защищает их, а он только шкуру свою защищает. Хуево ли? Забрался на воровское место, делает, что хочет — где видно, чтобы простой мужик на воровском месте лежал? С тебя уже за это надо спросить. Если б ты за народ стоял, ты бы не выломился.

— Но он же не знал, что нельзя ломиться. И хата беспредельная, — сказал кто-то.

— И ты бы выломился? — грозно осадил Спартак.

Тот вздрогнул:

— Нет, я бы не стал ломиться.

— То-то. А этот, — Спартак кивнул на меня, — пошел у ментов просить защиты. А менты ничего просто так не делают. Что ты сказал ментам?

— Сказал, что с «королями» не поладил.

— Слышали? Сдал людей — «с ко-роля-ми», — многозначительно протянул Спартак, — а менты разве не знают, кто «короли»?

— Это ты загнул, Спартак, — мы профессора знаем, — вступился звонким ребячьим голосом стоявший одной ногой на скамейке Гвоздь. Спартак бросился через угол стола и закатил Гвоздю оплеуху: «Отвечаешь за свои слова? Ты был, когда он с

ментами говорил? Убью, собака!» Гвоздь покраснел битой щекой, захлопал глазами.

— А ты был? Сидишь тут, накручиваешь! — заорал я.

— Тише, тише, — зашевелились мужики, вклиниваясь на всякий случай между мной и Спартаком.

— Я не говорю, что ты специально кого-то сдал, — сдерживаясь, рассудительно поднял палец Спартак и загнул крючком на себя, — но ты мог сдать, если стал просить у ментов защиты.

— Какой защиты? Я просто ушел от беспредела, ушел потому, что вынудили, и не к ментам, а в другую камеру. Никто мне до сих пор слова не сказал. Вот есть свидетели, — показываю на людей из 124-й, — таскали кого-нибудь после моего ухода?

Нет, ответили, все «короли» остались на месте, стали еще наглее — вот и все перемены.

— По-вашему выходит надо из хаты ломиться? — ярился Спартак.

— Нет, — говорят, — ломиться не надо.

— Так хули мы тут базарим — виноват профессор или не виноват?

Все мужики, молчат. Кто-то сказал: «Виноват».

— Я сначала не понял, — подобострастно зазвенел Гвоздь, — думал менты сами его выдернули. А он и правда выломился.

Послушен флюгер на ветру. Вспомнил я того печального, желтого опера-капитана: «Вы не знаете этих людей, сегодня они с вами, а завтра продадут и отлупят». На весах камерного правосудия чаша моя пошла вниз. Спартак торжествует:

— А теперь давай приговор, посмотрим как ты за народ борешься.

— Не дам.

— Боишься? Никакой он не профессор и не политик. Это он вас дурачит, а меня не наебет.

— Зря, Спартак, мы читали, — сказали те, кто читал и кто, хотя и с опаской, продолжали сочувствовать мне.

— Что вы читали? Пусть все прочитают, почему мы должны вам верить?

— Если все хотят, я покажу приговор, — достаю приговор и кладу на стол.

— Читай, Гвоздь! — командует Спартак.

Гвоздь рад услужить, вдохновенно читает: «Изготовление и систематическое распространение рассказа, содержащего натуралистические, непристойно-циничные описания полового акта…» Спартак сияет. «Изготовление и систематическое распростанение статьи, где автор утверждает, что в Советском

Союзе нет демократия, народ лишен элементарных прав и свобод…»

— Дальше, Гвоздь, — перебивает Спартак. Гвоздь озадаченно смотрит: откуда же читать дальше? Продолжает неуверенно: «В статье «173 свидетельства национального позора, или О чем умалчивает Конституция…»

— Дальше, дальше, — навострил ухо Спартак.

— «Порнографический характер рассказа «Встречи» доказан заключением эксперта…»

Спартак оживляется:

— О! Громче читай!

Вот куда клонит Спартак! Хочет создать впечатление, что меня посадили исключительно за порнографию. Как будто заранее знал, что приговор так и составлен, чтоб создавалось такое впечатление, что он как начинается с обвинения по 228-й статье, так и заканчивается ею. Откуда он мог это знать, он же не читал приговора? Как бы там ни было, надо прекращать издевательство.

— Хорош паясничать! — говорю Гвоздю. — Или все читай, или давай сюда приговор.

— Отдай, Гвоздь, уже все ясно, — разрешает Спартак.

Он доволен. Зачитано несколько абзацев, касающихся порнографии, и что бы сейчас ни думали об избирательности чтения, о наличии еще какой-то статьи в приговоре, в головы запало прежде всего то, что я изготавливал нечто «непристойно-циничное», за то и сел. Может не только за это, но за порнографию несомненно — сами слышали. Это и застолбил Спартак, дальше читать было не в его интересах.

Честно говоря, я растерялся от каскада его махинаций. Столь откровенная наглость приводила в замешательство. Отвечать на нее становилось все более унизительно. Не отвечать и вовсе нельзя — обгадит с головы до ног. Как ни очевидна была предвзятость, злонамеренность Спартака, я с ужасом чувствовал, что обрастаю грязью. Я не настолько серьезно относился к его нелепостям, чтоб драться, не щадя живота. Думал, не пристанет, отскочит само, как о стенку горох. Однако неодооценил коварство лжи. Слишком явная нелепость может действительно отскакивает, ибо так всеми и воспринимается — как нелепость, но в смеси с крупицей чего-то реального ложь облипает. Недаром подмечено: полуправда хуже лжи. Впрочем и откровенная ложь, если настойчива, начинает мерещиться правдою. Скажут на человека, например, что у него бородавка на носу, — как он отреагирует? «Шутки дурацкие!». Третий раз скажут — он уже за нос потрогает, пятый — в зеркало будет глядеться. В десятый —

«раз люди говорят, значит, что-то такое есть», сам поверит и люди подумают, что есть у него на носу какая-то незаметная бородавка. Такое уж свойство лжи: называй постоянно человека свиньей и он захрюкает. Ну, а ложь, помноженная на силу, вообще воспринимается как эквивалент истины. Все знают, что это ложь, но будет сказано: «Так надо!» и все сделают вид будто не замечают лжи и верят во все, во что приказано верить. Да еще сами внушат себе, что так действительно надо, да еще воспоют применительно к подлости, но с горделивым достоинством: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Не знакомо ли? И вот все эти чудодейственные свойства и сочетания лжи я ощущал сейчас на собственной шкуре. Казалось бы, ложь должна больше влиять на отношение не к тому, на кого направлено ее жало, а к тому, кто лжет. Но происходило обратное: Спартака боялись и придирки его казались не совсем уж безосновательными.

Я тоже чувствовал неловкость: в самом деле, некрасиво с табаком получилось, и в 124-й поступил не геройски — не бил «королей» и не стал от них дожидаться, кроме того, мое положение ведущей фигуры среди жулья в этой камере мне самому не представлялось естественным.

— Хватит гнили, Спартак. Давайте, мужики, — предлагаю я, — примем решение и на этом раз навсегда покончим.

— Какие мнения? — перехватывает инициативу Спартак.

Все молчат.

— Если разрешите, — либеральничает Спартак, — я скажу.

Высказывает как бы не свое только, а общее мнение, от имени и по поручению, так сказать. Говорит о том, что я виноват во многих грехах: выломился, взял общаковый табак, занял воровское место, пишу «всякую х… про хату», которая наделает зэкам много вреда, если попадет к ментам, а она, мол, обязательно попадет при первом же шмоне.

Сверху, с нар, один неплательщик алиментов добавляет враждебно: «Попросил его кассатку написать — он, как прокурор допрашивает».

— Что с ним будем делать, мужики? — прокатил шары белков по сходняку Спартак.

Я тоже смотрел на этих людей. Ни один из них до сих пор не говорил мне ни слова плохого. Отношение было — лучше не надо. Но сейчас большинство отводят глаза, иные, такие «путевые воры», как Гвоздь, смотрят на меня с веселым презрением и лишь в некоторых вижу сочувствие. Дальше молчаливого сочувствия их смелость не простиралась. А ведь половине из них я писал кассационные жалобы, дотошно расспрашивал о деле, изучал

приговор, искал основание для зашиты и обжалования. Молчание нарушил человек, которому я не писал кассатки. Неприметный, серьезный парень, занимавший место надо мной, на верхних нарах.

— А что надо делать? — спросил он. — Разобрались и помирились, чего еще?

— Ты подумай пока что говоришь, — неодобрительно заметил ему Спартак. — А мы послушаем тех, кто знает, что надо делать.

— Отвесить пиздюлей, как Комару, и пусть уходит с воровского места! — прозвенел Гвоздь.

— Ты охуел, Гвоздь! — возражают из толпы. — П… — то за что? Что он тебе плохого сделал?

Гвоздь вопросительно смотрит на Спартака: угодил или нет? Невыносимо видеть и слышать все это. Словно режут тебя на куски. Пора кончать позорище:

— Давайте так: если большинство считает, что место, которое я занимаю на нарах и за столом, должно принадлежать вору, я поменяюсь с любым из вас. И на этом закончим.

— Хитрее всех хочешь быть? — зло щурится Спартак. — место ты давно должен освободить. Как будем наказывать, мужики?

Все молчат. У Гвоздя, не умевшего молчать, что-то вертится на языке, боится опять невпопад.

Спартаку надоедает играть в демократию:

— Я назначаю такое наказание: за то, что выломился, пусть уйдет с воровского места, за то, что табак взял, пусть на общак десять пачек кладет, за то, что пишет, — пусть больше не пишет.

— Много берешь на себя, — говорю ему, — Никакого наказания не принимаю, вины моей перед вами нет.

— Я маму твою… — замахивается Спартак. Его останавливают, он орет. — Весь сидор выложишь, если я захочу!

— Подавишься!

Оба вскакиваем. Между нами втискиваются люди, разводят руками.

— Клади сидор на стол! — орет Спартак.

— Отвяжись, Профессор, дай на общак несколько пачек — вместе курить будем, — предлагают компромисс.

Несправедливо, по-моему, но не драться же из-за сигарет. Достаю из мешка упакованные 20 пачек и швыряю на стол. Спартак неистовствует:

— Хули вы на него смотрите? Он вам, как собакам, бросает!

Однако сходняк расходится, спектакль надоел: пересол слишком очевиден. Спартак в одиночестве исторгает коронный

вопль: «Я пытичку, которая на твоем дворе летит…!» И чего он меня так ненавидит?

Я тоже обозлен, но ненависти к нему не чувствую, первый не смог бы его ударить. Он — зэк и сострадание к общей нашей несчастной доле перевешивало всякую злобу. А он долго не утихал, ругался. Видно массированная атака не до конца ему удалась. Он сумел скомпрометироватъ, унизить меня, но разжечь вражду ко мне не сумел. Внешне его нападки по-прежнему имели характер личной вражды, которая, как было заметно, не делала ему чести в глазах камеры.

Я переселился на противоположные нары, ел, как и прочие, там же и, смешавшись таким образом с основной массой, не чувствовал каких-либо перемен в по-прежнему добром ко мне отношении. На воровском месте лег другой человек, о нем я скажу позже. Спартак остался на своем. Сигареты, брошенные мной на общак, долгое время никто не трогал. Люди ели, играли за столом в нарды, но сигареты как бы никто не замечал, Потом за игрой в нарды кто-то машинально (или притворился, что машинально) распечатал пачку и все стали курить. Голод — не тетка, у многих курева не было. Когда у меня кончились оставшиеся сигареты, делились со мной своими последними, предлагали с дачек табак. И первый — Коля Тихонов. Отсыпал из полиэтиленового мешочка и сказал: «Не надо было тебе с общака брать, спросил бы у меня, а то в самом деле — нехорошо получилось». Резануло по сердцу. Если даже у Коли осадок остался, неужто правда сложилось впечатление, будто набил я тогда трубку, чтоб сэкономить свое курево? Неужто оплошал? Впредь наука — надо быть осмотрительней. Следить за каждым своим жестом, каждым словом — как это может быть воспринято? Я никогда не жил с оглядкой, не умел, не чувствовал в этом большей необходимости. Теперь надо учиться смотреть на себя со стороны. Глазами окружающих тебя. С учетом разной кривизны зеркал, в которых отражаешься. И стараться не ошибиться в возможной реакции на то или иное твое поведение. Слишком дорого эти ошибки могут стоить, признаться, я так и не научился как следует это делать, т. е. смотреть на себя со стороны, сверять свое поведение с реакцией окружающих. Но это необходимо.

Особенно в тюрьме и на зоне, среди скопления, когда ты — объект повышенного внимания. Когда есть кто-то, кто ищет повода, малейшей зацепки, чтоб дать тебе в зубы. Когда особенно велика опасность быть истолкованным превратно.

Недавно меня спросили: как надо первое время держаться в камере? Вопрос был не праздный: близился суд над Олей Медведковой, друзья ожидали, что ее посадят, вопрос застал меня

врасплох — трудно советовать. К тому же у женщин свои особенности. Но сейчас, размышляя над этими строками, я бы сказал так: первое — быть предельно осмотрительным во всем и второе — не выделяться из общей массы. Даже когда стечение обстоятельств или уважение сокамерников выносят тебя на первые роли, дают какие-то привилегии, лучше самому от этого отказаться и жить середнячком. Выше станешь — ниже падать. Нашему брату, со статьей 190, удержаться в кругу зэковской элиты, играть ведущую роль — менты не дадут. Не допустят. Пожалуй, и уголовка тоже. Во всяком случае, на общем режиме трудно представить такую уголовную среду, которая вполне согласилась бы с гуманитарными понятиями политзэка на устройство внутризэковских отношений. Обязательно появятся какие-нибудь «короли», «рыси», «положняки», «отрицаловы» — вся эта блоть, которой, если быть принципиальным, ты будешь мешать. И тогда конфликт неизбежен и почти нет шанса на то, что он закончится в твою пользу. Менты это назовут конфликтом антисоветчика с осужденными, т. е. с народом, и придадут соответствующую окраску. Блатные скажут, что тюрьма — их дом родной и, если ты вошел в их дом, то уважай заведенные ими порядки. Их много, а политазэк в камере или на зоне один, — плетью обуха не перешибешь. Лучше жить особняком-середнячком, иметь, конечно, свое мнение, не стесняться высказывать его, когда спросят, но не лезть с реформами в парашу. Если тебя уважают, а насколько я знаю, «каторжане политзэков уважают, то само твое присутствие и точка зрения заставят уголовку как-то с тобой считаться и это в той или иной степени смягчает, очеловечивает их междоусобные отношения. Прибавится немного, пусть на градус, тепла, но в массе людей, как в массе полярных льдов, это кое-что значит. Попытки крутых перемен, прямого вмешательства — бесполезны, себе дороже. Для этого надо менять условия содержания, обуздывать инстанции, исправлять сознание зэков — непосильно одному изнутри, будь хоть семи пядей во лбу. И не дадут. Ни менты, ни сами зэки. Может, мой трехлетний опыт не дает еще права на окончательные выводы? Я не претендую. Любопытно, что скажут другие.

# Объявляю голодовку

Итак, я стал особнячком-середнячком. Устроился среди простых смертных. Ни во что не совался. Считал дни, когда дойдет до Наташи необыкновенная записка от опера-лейтенанта и когда должна быть передача. Ждал со дня на день протокола суда, который давно должны бы привезти на ознакомление. Набрасывал по приговору кассационную жалобу. Но уж неделя марта, а ничего нет: ни протокола, ни передачи. Скулеж внутри, мочи нет — хуже всего такая неопределенность.

А Спартак, черт, не унимается. Кажется, уступил я — дальше некуда. И разборку затеял, чтоб порешить разом все претензии Спартака и больше к ним не возвращаться. Но чересполосица: день — спокойно, день опять ругаемся, старое перемываем.

Попросил у меня Алик-казах лирическую, записку наверх написать. Очень просил. С моим устранением от общих дел полкамеры с «коня» сошли, не давалась переписка, не знали, что написать, а переписываться хотелось — ведь единственное развлечение. Алику совсем туго, не может писать. Ему пишет одна любвеобильная графоманка, царапаю ответ на несколько накопившихся посланий. Вдруг слышу Спартак: «Ты почему, Профессор, за столом сидишь?»

Отвечаю, что никому писать и играть за столом не запрещено.

— Тебе запрещено.

— Кто запретил?

— Я тебе сейчас запрещаю! — его колотит, вот-вот набросится.

Но больше уступать нельзя, есть граница.

— Да кто ты такой, чтоб кому-то запрещать?

— Я имею право, я знаю, потому что больше вас сидел! — козыряет тем, что у него вторая судимость.

Но как он со второй судимостью в общей камере? Так ли это? Пора и с ним разобраться. Так ему и говорю.

Он выскакивает с нар, морда кровью налита: «Я тебе свой приговор покажу!» Бежит к двери, где у него куртка висит. Обратно на ходу разворачивает пару мятых листков. Сует мне под нос, дрожит от злости, а сам рукой текст закрывает, вижу только первые строки: его фамилия да мошенническая статья 147-я.

— Ну и что? — говорю. — Где вторая судимость? Покажи!

Выхожу из-за стола.

— Я тебе покажу! — ревет Спартак и стремительно налетает головой мне на грудь.

Одной рукой ухватываюсь за край верхних нар, другой зажимаю его голову к своему бедру. Держусь что есть силы, иначе пихнет на нижние нары, задавит массой. Все бы хорошо, но он свободной рукой взял в клешни мое горло. Не могу дышать. Стискиваю его шею покрепче. Душим друг друга — кто кого? Но хватка его не слабеет Голова налилась свинцом, хриплю. Там у бедра тоже кряхтенье. Кинулись Алик-казах, кто поздоровее, растащили нас. Отлеживаемся на своих нарах.

Спартак отдышался и прорвало: «Я маму твою… Я птычку твою…!»

В ругани он непобедим. Где конец кошмару? Убивать нам друг друга, что ли? Камера инертна, Спартака все боятся, опоры никакой. Но была в камере одна фигура, которая вполне могла разрядить обстановку.

Несколько дней назад, как раз накануне разборки, появился у нас Володя. Спартак еще ему замечание сделал: «Почему не здороваешься?» Но Володе было наплевать. Косая сажень в плечах, морда шлакоблоком. Уверенно прошел через всю камеру, занял место на верхних нарах у окна. Обедать сел, никого не спросясь, прямо за стол. Есть ли за столом свободное место, как отнесется тот, чье место он занял — это его не смущало. Он вел себя так не потому, что был здоровее всех нас, находят и на таких управу, а потому, что поступил сюда с зоны. Значит на голову выше, знает, чего мы не знаем. Был он стрижен, светлый волос немного подрос, серая зоновская роба на нем. За что его сюда? К добру ли, к худу? Никто не знал. Он был немногословен. Говорил мало, но категорично, четко и исключительно на жаргоне, точно никакого другого языка для него не существовало. Поневоле с ним приходилось ученически лепетать на жаргоне, нормальные слова застревали, казались невыразительными, пресными, детскими. Однако жаргон — острый язык, обращаться с ним надо уметь. Иные выражения, как нож, — можно порезаться. Возникали недоразумения. Я написал срочную записку, хочу вызвать «коня». Володя пишет свою записку, «тормози чуток». Я «торможу», он пишет, время идет. «Скоро?» — спрашиваю. «Подожди минут десять». За это время «коня» бы снова пригнали. Ладно, жду. Десять минут давно минули, у него конца не видно, мне бы по-русски сказать, мол, не могу больше ждать, а я ему: «Ты за свои слова отвечаешь?». Он оторопел, смотрит с верхних нар, будто удивляется: откуда такой голос прорезался? Рассердился: «Ты на слове меня не лови, я тебя так подловлю — тошно станет».

Дело в том, что на жаргоне выражение «за слова отвечаешь?» содержит угрозу. Скажешь «не отвечаю», значит, слово твое ничего не стоит, значит, ты непутевый. Скажешь «отвечаю», а

выяснится, что не сдержал, — будут бить. Именно так и воспринял Володя, хотя я употребил это выражение полушутя, как жаргонный штамп, бытующий в нашей бесшабашной камере.

Однако бессмысленное ожидание тоже надоело. Вся камера ждет, пока Володя напишет. Я постучал по трубе и отправили «коня» без Володиной записки. Он не успел ее написать даже к следующей почте. Тем не менее, затаил ко мне неприязнь. Оснований для вражды не было, я сказал тогда резковато, но правильно, и все же симпатий друг к другу не испытывали.

Внешне это было равнодушное, нагловатое животное. За столом норовил кусок взять потолще, намазать побольше. Ни во что не вмешивался, жил для себя, считал себя знатоком зэковских правил — чего можно, чего нельзя — к нему обращались иногда за разъяснением, но делал он это неохотно, лишь бы отстали. Со Спартаком они почти не общались. Это было странно: два маститых «вора» как бы не замечают друг друга. Я надеялся, что присутствие Володи дисциплинирует Спартака. Ничего подобного. Именно с появлением Володи Спартак начал открыто травить меня. Володя никак не реагировал. Во время разборки он молча сидел за столом. Я спросил: насколько справедливы обвинения Спартака с его точки зрения? Он пробурчал, что это зависит от того, как я буду отвечать, потом сказал, что не видит в обстоятельствах моего ухода из 124-й и курении общаковского табака нарушения зэковских правил, но добавил, что при желании можно повернуть и так, и этак. Это он сказал лично мне, а не собранию, и на кары, назначенные Спартаком, не возразил. «Ваше дело, меня не касается», — делал вид. Между тем, это он лег на мое «воровское» место. Есть вещи, которые путевый зэк обязан рассудить. Оба они со Спартаком утверждают, что путевый зэк не допустит беспредела и обязан навести порядок в хате. Ко мне претензии именно от того, что я не сделал этого в 124-й, а ушел. А что происходит сейчас? Спартак же явно беспредельничает. Оскорбления и оплеухи слабым и безответным, пародия на сходняк, наскоки за мнимые прегрешения, наконец, очевидный произвол с запретом сидеть за столом и драка — разве это не беспредел? А Володя лежит на боку, на бывшем моем месте у батареи и делает вид, что ничего не видит, не слышит. Как-то «непутево» получается.

Подхожу к нему и говорю: «Сколько можно терпеть выходки Спартака? Что делать?» Володя поворачивает опухшую от лежания физиономию, крайне недоволен: «Хули тебе от меня надо? Надоел хуже редьки». И опять к батарее. Сгораю от стыда и оскорбления. Спартак торжествует. Кричит про «пытичку» на моем дворе, про то, что никого и ничего не боится, предлагает

послать ксиву строгачам: пусть скажут кто из нас прав, кто виноват. Трясет неистово широкими ладонями: «Когда уснешь, задушу своими руками!»

Наутро все же проснулся живым. В кормушке принимают пайки хлеба и сахара. Гремит бачок кипятка. Камера готовится к завтраку. А меня тошнит. Отвращение ко всему. Не хочется ни есть, ни просыпаться. К кормушке выстраивается очередь — начали раздавать баланду. Обычный завтрак — вываренная до костей рыба с жидкой картошкой. Кто ест, сидя на нарах, кто ставит миску на нары, а ест с пола на корточках. Завтрак я провалялся. Ребята оставили тюху (хлебную пайку) и порцию, две чайные ложки сахара в кружке. Двигают: ешь. Никакого желания. Спартак продирает глаза, лежит напротив, курит. Утреннюю баланду он всегда пропускает, поест, когда захочет, с чужого ларя и дачки. Вор должен хорошо питаться, иначе какой же он вор? Поесть бы ему сначала, нет, день начинается с ругани. Что ему самому за удовольствие — заводиться с утра? Решил, очевидно, не давать мне ни минуты роздыха, «покажи приговор, я хочу прочесть». Я не обращаю внимания. Да и слабость по телу, одно только нужно — покоя.

Спартак рычит, требует приговор.

— Не дам.

— Я маму твою… Сам отберу! — вскакивает с нар.

Пытаюсь отвести очередное столкновение, говорю спокойно:

— Все видели, читали — хватит.

— Уй! — гримасничает с гадливым презрением. — Даже голос, как ты говоришь — противно! Я таких профессоров на х… вертел — убью! — кидается к моим нарам.

Схватились посреди камеры. Ударил меня вскользь по челюсти. Хватаю обе его руки за локти. Вырывает руки, пока не удается, летит головой в подбородок, но промахивается, таскаем друг друга по камере, рук его не выпускаю. Гляжу в упор в носатую морду, в пылающие угли озверелых глаз, а треснуть не могу, рука на зэка не поднимается, потом, когда нагляжусь на таких зверей, да сам хлебну от них досыта, перестану жалеть. Хоть убей его, скажу только: собаке собачья смерть. Слишком много горя от них, слишком необратимо исподличались. Но в первых потасовках еще заслоняло то, что враг твой — брат твой, потому что зэк. Лишь потом станет ясно, как плохи бывают зэки, как жестоки, несправедливы, страшны они для других зэков, чтоб не видеть между ними огромной разницы, приходится наказывать и бить одних, чтоб защитить других. Поэтому таких, как Спартак, нельзя жалеть.

Нас разняли. Чувствую удушье, словно петля на шее.

Затягивают с двух сторон: менты — с одной, Спартак — с другой. Невыносимо. И нет ни сил, ни возможности остановить, скинуть удавку. Вроде бы все сделал, что мог, чтобы отменить неправедное наказание и добиться передачи, а добился пытки «отстойником» и угрозу нового наказания. Как мог пытался загасить конфликт со Спартаком, а он разгорелся до мордобоя. Дальше некуда. Остается одно — голодовка.

К завтраку я не притрагивался, можно считать, что голодовку начал. Надо объявить об этом дежурному офицеру. Стучу в кормушку.

Открывает молоденький белобрысый контролер с комсомольским значком на зеленом кителе, прошу позвать дежурного офицера, которого я должен поставить в известность о начатой голодовке. «Пошел на х..!» — кормушка с треском захлопывается.

Камера наблюдает молча. Даже Спартак заглох. Достаю из мешка лист писчей бумаги, подаренной адвокатом, и пишу на имя начальника тюрьмы майора Котова объявление о голодовке. В связи с незаконным лишением передачи, угрозами и издевательствами администрации, создавшей невыносимые условия пребывания в камере, отказываюсь от принятия пищи до личной встречи с прокурором по надзору. Чтоб не вызывать лишних разговоров и подозрений, кладу бумагу на стол: «Читайте». Если не покажу, могут подумать, что это жалоба на Спартака или что я прошу перевести меня в другую камеру. И то и другое по зэковским понятиям «западло». Вездесущий Гвоздь первый подлетает к бумаге. Читает вслух, с ухмылкой делает ударение на словах о невыносимых условиях в камере, поскольку речь идет об условиях, созданных администрацией, текст не вызывает нареканий.

Отдаю листок контролеру. Вскоре меня выводят все в тот же кабинетик в конце коридора. Все тот же сугубо серьезный лейтенантик — опер. Говорит, письмо Наташе о передаче лично отправил, без обмана. Наверное, не хотят нести. Я не верю, предлагает написать еще. Чего зря писать? Пусть лучше позвонит ей: получала письма или нет? Лейтенант почему-то смутился, но телефон записал и обещал позвонить, но не из кабинетика, где нет связи с городом, а с другого телефона, только времени у него нет и нет уверенности, что дозвонится. (Наташа говорит, что звонка не было.) Какие еще у меня требования? Все мои требования изложены в объявлении о голодовке: показать официальное решение об отмене наказания и прекратить провокации в камере. Лейтенант притворно удивлен:

— Какие провокации?

— Вы это знаете по долгу службы.

— Если вам не нравится в этой камере, переведу вас в другую.

— Не возражаю, если гарантируете нормальные условия.

Не успел возвратиться в камеру, откидывается кормушка: «Мясников, с вещами!»

— Далеко не уйдешь, я тебя везде достану! — петушится Спартак.

На случай шмона рву Галкины записки и в унитаз. Открывается дверь, контролер ждет на выход. У меня в обеих руках по мешку: большой — матрасовка с матрацем, одеялом, подушкой, и поменьше — холщовый лефортовский, с личными вещами. А тяжести не чувствую, ноги сами несут из проклятой камеры. Скорее по привычке, чем от души: «Счастливо, ребята!» Нестройный гул в спину. «Давай, катись!» — с крыла Спартака. «Пока! Не обижайтесь, Профессор!» — кричат, кто посмелее.

В коридоре вздох облегчения. Будто тонул, шел ко дну и вдруг спасательный круг — и вот выплыл. Что бы ни говорили о голодовке, она была и остается самым действенным средством, единственный шанс в бездоходности. Нет, не шутил опер-капитан с грустно-желтым лицом: «Сегодня они с вами, а завтра продадут и отлупят». Сбылось его предсказание. Шурик, Спартак, Володя — вот исполнители оперативных угроз. Неслучайно же именно с подкреплением Володи ринулся нахрапом Спартак. Не случайно именно Володя занял место, с которого меня изгнали. Да и как он с зоны попал на Пресню? Чего ради, как и Спартак, ждал смягчения приговора? Чем можно заслужить милость опера?

Должен сказать еще об одной темной фигуре, мелькнувшей на пару дней в первую неделю моего пребывания в этой камере. Еврей. По этому родству или еще по какому стыковался два дня, пока был здесь, с Шуриком, прибыл, говорит, из Лефортово. Я обрадовался: какие новости? Этого он знает, о том слышал, а нового ничего, и говорит неохотно, невнятно.

— Сигареты лефортовские? — указываю на «Яву», которую он курил.

— Да, — говорит, — перед этапом отоварился.

— Как отоварился? Ведь в ларе не бывает с фильтром, тем более дефицитной «Явы». Мне через следователя передавали.

Насупился, спорит упрямо, что есть в лефортовском ларе «Ява». Не знаю, при мне точно не было. Ну да бог с ним. Больше всего и настораживало в этом человеке то, о чем он полемизировал со мной, полемика в камере всегда публична, люди прислушиваются к «умным» беседам. С нарочитым апломбом и резкостью он костил диссидентов, утверждал, что у

нас нет и не может быть политических заключенных, а есть двурушники, клеветники, т. е. самые настоящие уголовники. Себя он считал честным человеком, попался на валюте, сейчас честно отбывает за совершенное преступление. А диссиденты, отрицающие вину, это нечестные люди, не признаются в своих преступлениях.

— Скажи на милость: какое, по-твоему, преступление я совершил? — спрашиваю его.

— Ты в печати публиковал одно, а для себя или на сторону писал другое, писал не то, что ты думал. Значит, ты лгал, клеветал — ты двурушник, — понравилось ему словечко.

— На суде, — говорю, — никто, ни прокурор, ни свидетели, не могли привести ни одного примера такого противоречия.

— Но в печати же ты не писал, что СССР — деспотическое государство.

— Да, в печати я не касался политики, публиковал в основном статьи по труду, трудовым ресурсам. Ну и что? Разные темы — при чем тут двурушничество?

— Ты публиковал критические статьи и одновременно шипел, что у нас нет свободы печати и слова — как это называется?

— Это называется так: воробья критиковать можно, а коршуна нельзя. Выше пояса можно, а ниже нельзя — чего непонятного?

Притворная наивность раздражала, словно с Луны свалился. Но прилип пиявкою и вертелся угрем.

— Значит, свобода критики все-таки есть, нельзя же утверждать, что совсем ее нет. А критиковать все подряд нигде не разрешается — это уже анархия.

— Меня посадили за критику партийной диктатуры — это не все подряд, это главная причина всех наших бед и проблем. В рамках официального курса можно болтать о чем угодно, чем и занимается наша пресса, но запрещено критиковать сам этот курс, нельзя ни писать, ни говорить, ни думать о самом главном — это ты называешь свободой?

— А почему ты об этом в райком, в ЦК партии не написал? — точно такой же вопрос задавал мне Кудрявцев.

— Потому что кто об этом писал, у того руки отсохли. Да и зачем туда писать? Сами пришли и прочитали. И что хорошего?

Все равно он упрямо называл меня двурушником. На том основании, что опубликованное мной отличается от неопубликованного, будто можно обвинять человека за то, что он написал, но по той или иной причине не напечатал в советском издании. И какой же изворот подлый: отнесешь — не печатают, не

понесешь — значит, специально порочишь. Как ни крути — клеветник! Пресса под прессом, глухая стена перед ищущей мыслью и автора же обвиняют в том, что он не бьется головой о стену, не ложится под пресс, который сделает из него штамповку. А если автор что-то печатает и в ящиках стола сыщики обнаруживают непечатное, — это совсем непростительно. Тогда не просто клевета и двурушник, а, как сказала прокурор Сербина, такой человек «глумится» над благами, которыми осчастливило его государство. Почти измена.

Как все же легко обвинить пишущего в Советском Союзе!

Несвободная печать автоматически лишает свободы писателя. Взять в руки перо — значит, готовить материал для собственного обвинительного заключения. Профессия, обреченная на репрессии. Карается беспощаднее воровства и многих других преступлений! Место для честного журналиста, писателя в тоталитарном режиме — тюрьма. Но это творческая гибель, в тюрьме не дают писать. Самая обреченная профессия. Можно приспособиться, можно. Напялить шоры, присягнуть принципу партийности и не уклоняться от направления, в каком тебя гонят. Порхай по вершкам, но не смей в корень. Так и пишут. Кому стыдно, а кому нет. Ну, чего стыдиться Пескову с его зверушками? А коснулся гибнущего Байкала — цыкнули, больше не трогает за горячее. Как может стыдиться Стуруа, если он совесть давным-давно на сертификаты разменял да так удачно, что кажется будто совести у него отродясь не бывало. Стыдился Аграновский. К старости и при славе своей надоело порхать, а к корню его не пустили. Замолчал и умер. Подобрался к корням Шукшин, совсем близко, но чего ему это стоило — сердце не выдержало. Национальная боль — так любили его и так много ждали от него. А дождались бы? Тяжелый вопрос. Посмертное «До третьих петухов» вызвало недовольство властей. Самое страшное в его смерти то, что ловишь себя на мысли, что ушел он из жизни вовремя, ушел от страданий, которые все равно бы добили. Если писателю не дано говорить о главном, это убивает его. Писания же со стыдом приспособленчества или бесстыдством вранья — не литература. И ограниченность честного мелкотемья может спасти писателя, но не спасает литературу. Литературы как выражения общественного сознания в условиях несвободы печати нет и не может быть. Она погибает в лагерях или спасается на чужой земле. То, что остается, пишется и печатается в заданных рамках режима, за редким исключением, нельзя назвать литературой, явлением общественного сознания. Это пустячки, живописание луж в стороне от главного русла реальной жизни или пошлятина холопского угодничества. Если тебя это не устраивает, лучше не

пиши, иначе обломают не только твое перо, но и всю жизнь.

Мало из тех, кто печатается, не грешит перед собой и читателем. Мой путь газетного автора начался с того, что я пришел в редакцию свердловского «Уральского рабочего», чтобы помочь женщинам, работавшим на конвейере железных игрушек одного из заводов в Алапаевске. Острые края штампованного металла резали пальцы, дирекция экономила на рукавицах за счет изрезанных женских рук, пальцы обматывали тряпьем. Меня поразило это зрелище и жалобы женщин. Я приехал к ним с лекцией, но не лекция им была нужна, а рукавицы. В редакции меня выслушали и обещали разобраться, но сказали, что писать об этом не надо, а лучше мне написать на тему своих социологических исследований, скажем, «духовный облик коллектива». Я написал, и они опубликовали статью под этим названием. Решился ли вопрос о рукавицах на фабрике детских игрушек — так я и не узнал, мало того, что кто-то выгадывает на искалеченных женских руках, еще и я забываю о них, выгадывая более проходную публикацию. Позднее в «Известиях» сказали, что опубликуют все, что ни принесу, если не буду настаивать на печатании материала о махинациях в ресторанах и системе общественного питания, которым потакает администрация и ОБХСС. И я напечатал другую статью. А сколько приходилось кроить, смягчать, румянить, сколько приходилось дописывать цитат, чтобы спасти статью или брошюру! Уже пишешь с оглядкой на цензурные требования, так еще редакция поворачивает так, что стыдно читать. А куда денешься? Краснеешь, но уступаешь — гонорар, жить-то на что-то надо.

Чем ближе к истине, чем глубже анализ, чем актуальней проблема, тем отчетливее понимаешь, что этот материал не пройдет на страницы нашей печати. И тогда в стол, тогда начинается тернистый сам-тамиздат. Жизнь в самом деле раздваивается. Но двурушничество ли это? Нет. Не автор раздваивается, а раскалывает его несвобода печати, Это не вина автора, а беда его. Цензура валит с больной головы на здоровую, когда автор обвиняется в клевете и двурушничестве. Преступление вменяется жертве этого преступления — что может быть циничнее и несправедливей? Талантливый Янов перебивался в печати на мелкотемье, а подспудно писал историческое исследование об истоках русской автократии. С точки зрения властей и моего камерного оппонента Янов — двурушник, потому что опубликовал свое исследование не в журнале «Молодой коммунист», где мы печатались, а в журнале «Континент». А почему он напечатал там, а не здесь? Почему ему удалось это лишь после того, как он эмигрировал? Что вынудило

его покинуть Родину? Кто в этом виноват? Не те ли, кто обвиняет его в двурушничестве?

Нас столкнули с ним организаторы одной вшивенькой дискуссии на страницах комсомольского журнала. Фальшь беззубой дискуссии была всем очевидной, но это считалось хорошим делом, авторов похвалили и заплатили хорошие гонорары. Между тем, мы оба, оказывается, чтобы остаться самим собой, писали в стол. Но это уже клевета и двурушничество. Янов унес ноги на Запад, меня отправили на Урал. Наиболее важное и серьезное в его творчестве приютилось в эмигрантских изданиях, а мое уничтожено или заперто в застенках КГБ. Мы оба, как авторы, каждый по-своему, страдаем, но больше всего страдает русский читатель. Самое искреннее, самое продуманное, а значит, самое нужное в нашем творчестве, не доходит до тех, для кого предназначено, кто больше всего в этом нуждается. Уничтожают источники на глазах жаждущих. Пей тухлую жижу приспособленческих испражнений! Кто обманывает и травит читателя? Те, кто не дает нам честно работать. Пусть бы обвинили в участии в фальшивой дискуссии, в вынужденном цитировании, в печатании коммерческих статей — куда ни шло, тут действительно приходилось компромиссно лукавить, нет — клеветой называют то, что выношено в сердце, чего, даже рискуя, ты не мог не написать, то для чего ты рожден, в чем видишь смысл своего творчества и собственной жизни. И обвинитель это знает. Что может быть циничней такого обвинения?

Не мог это не понимать мой камерный спорщик. Почему же, вопреки очевидному, он упрямо долдонит: «двурушник, двурушник»? Меня он не убедит, я его тоже, он меня не слушает, кому же он хочет втемяшить словечко? Сторон было три: он, я и камера, с которой тогда у меня были прекрасные отношения. Не прощупывал ли заодно чем дышу? Другого объяснения странной нашей полемике я не нахожу. Вряд ли ошибаюсь в догадке кому и для чего она понадобилась, на кого он работал. Под конец еле сдерживался, чтоб не дать ему по рогам, другие аргументы не действовали.

В итоге вырисовывается определенная тактика. Шурик и этот залетный, оставшийся для меня безымянным, — оперативная разведка. Они исчезают, появляются рослые ребята: Спартак и Володя — оперативная обработка. Не дремлют опера на Красной Пресне. Неплохо поработали, пора бы и отдохнуть. Но что у них еще на уме? С опаской, и все же надеясь на перекур, заходил я в другую камеру.

# Надо найти Наркошу

На той стороне коридора, почти напротив прежней, чуть левее, кажется, № 402. Грязней, чернее, чем прежняя. Пол не кафельный, а грязно-бетонный, как асфальт. Перефразируя Маяковского: «для счастья хуже оборудована». Наверное демократичная камера — менты свою агентуру стараются содержать в более комфортных условиях. Кафельный пол, например, все почище. А бетон сыреет, чернеет, вода не сохнет, окурок упадет — не просто вымести. Мест так же — человек на 40, но людей кажется больше, чем в прежней камере, может, потому так кажется, что здесь больше движения, гвалт, хохот, на нарах все шевелится — заметный контраст с угрюмой тишиной и сольным кукареканьем Спартака. Ставлю матрасовку у края нар. Стихло враз, глаза со всех нар, как из кустов, светятся. Несколько человек ко мне, впереди пацанистый, весь на шарнирах, спрашивает густым, прокуренным голосом: «Откуда, земляк?» Говорю, что напротив, из 410-й.

— А что так?

— Выломился.

— Выломился? — парнишка посерьезнел, в камере тишина, еще несколько человек придвинулись. — Ну рассказывай.

Я рассказал, парень опустил руку мне на плечо и авторитетно сказал:

— Больше никогда так не говори. Ты не выломился, а ушел. Да по голодовке. Это не западло.

Опять подводит меня незнание жаргона. Хотел на их языке объясниться, а только сам на себя наговариваю. «Выломился» — это когда «ломят», т. е. гонят из камеры, или человек задолжал кому — выбегает в коридор под защиту ментов. А ушел — это когда тебя переводят, или тебе самому надо уйти, т. е. тот случай, когда вины перед зэками нет, тогда в другой камере принимают нормально. «Ломленных» переводят обычно куда подальше, чаще в «обиженку» — камеру для обиженных и ломленных. Потому что в общей камере ломленного ждет то, от чего он бежит: избиение, место под нарами и снова ломят, либо еще хуже — производят в «девочки». Вот на краю такой пропасти я балансировал. Похоже специально менты подвели да я помог жаргонным косноязычием. Хорошо, ребята путевые, разобрались и поправили. А если б второй Спартак?

Паренька звали Семен. Заводила неугомонный. Камера покатывается — всех ментов изобразил и передразнил. Слышу: «Семен, изобрази Профессору!» (Из-за очков меня везде называли

Профессором). Семен охотно вытанцовывает по проходу к моим нарам, застыл, вытянувшись, руку вперед: «Товарищи!» Затем поясняет: «Стоит Ленин на броневике — делает революцию. А внизу Крупская на цырлах, — Семен встает на цыпочки и трясет вверх руками, — Володенька, разобьешься! Не надо, Володенька!» Не дождавшись, когда отхохочут, Семен тут же переключается на что-нибудь иное. В вопросах чего можно, чего нельзя, был серьезен и имел твердое мнение, к которому прислушивались. У него уже был опыт — несколько лет малолетки. Недолго гулял, теперь уже взрослых учит. Специализировался, кажется, на домашних кражах.

За столом, куда меня посадили, пестрая компания. Напротив, у стены Валера Ермолов (в фамилии не уверен, но близко). Рядом с ним Володя (Хакая? Ачия? — тоже не запомнил точно фамилии) — мегрел из Зугдиди. Тут же, за столом, Семен, разумеется. И прочие: Назар — сухощавый, небольшого росточка северокавказец с черной, как смоль, бородой; блатной прораб лет 40; здоровый, смирный парень — убийца, еще кто-то. Ели каждый свое или попарно: Семен, например, с Володей. Валера, который напротив, — интеллигентный молодой человек, с широким решительным лицом и густой, ухоженной шевелюрой. Держится подчеркнуто независимо. Семен и Володя-мегрел не раз шептали мне, чтоб в разговорах я был с ним осторожней, — он «козел», сдаст и глазом не моргнет — сам так и заявляет, поэтому его терпят и не трогают, иначе всю камеру по карцерам из-за него разбросают. У Валеры отец — генерал. Хотя, как говорил Валера, отец от него отказался, всем виделась генеральская тень за его спиной, и с этим были связаны быть может лишние подозрения и дистанция между ним и остальными зэками, простыми ребятами, для которых слово «генерал» кое-что значило. Однако, несмотря на предупреждения, если встречаются два интеллигента, им всегда найдется о чем поговорить.

История его путаная. Приговора при нем не было, говорит, что с собой не дали, оставили в спецчасти, а по рассказу выходило, что посадили из-за любовницы. Учинила скандал, он ударил ее или даже сама ударилась, добежала в поликлинику, потом к участковому и его упекли по 206-й за хулиганство. Любовница хотела его женить на себе, потом пригрозила: «Я тебе устрою, никому не достанешься». Но, по словам Валеры, истинная подоплека дела в другом. Его подозревали в связях и валютных операциях с иностранцами. Менты давно к нему подбирались и ждали любого повода. Он был уверен, что любовницу подучили менты. Кроме того, подозревали во взятках — он работал то ли начальником, то ли заместителем какого-то привилегированного

ЖЭКа. С поличным взять не могли — вот и накрутили. Валера не унывал. Частенько ходил то к адвокату, то еще к кому-то. Не скрывал, что его там подкармливают, приносил шоколадные конфеты и сигареты. Ни с кем не делился, меня иногда угощал. На неприязнь камеры отвечал тем же. «Жулье, плевать я на них хотел», — говорил громко, никого не боясь. Иной раз за столом поменяют ему сахар на соль или наоборот, или спрячут бутерброд с кружком сухой колбасы. Валера взревет, кроет матом. Народ потешается, но все возвращают, парень он был не вредный, ссоры и шутки с ним были не злы. Он был уверен, что из этой камеры уйдет домой. Ждал кажется пересмотра дела, в исходе которого адвокат не сомневался. Однажды под большим секретом, один на один, предложил передать через адвоката мою записку. Я написал Наташе. Но Валера принес записку обратно — что-то помешало адвокату, насколько помню, когда адвокат узнал по какой я статье, побоялся обыска и обещал через недельку. Больше мы к этому не возвращались.

Володя-мегрел был добр и активен, до ареста занимался угоном и продажей частных машин. Накуролесил немало: в приговоре вменено ему пять «Волг», — а сколько не раскрытых? Не упускал случая задрать мента. Смехом, но выскажет все, что думает. Любил поперечить. Обычно на прогулку хочешь иди, хочешь оставайся в камере, но одна смена выгоняла всех поголовно. Как-то эта смена объявляет прогулку и уже ключ ворочает в дверях. Володя снимает штаны и садится на унитаз. Люди выходят в коридор, мы с Семеном в хвосте, камера пуста и только Володя восседает на открытом толчке. Менты проверяют все ли вышли и видят сияющего Володю: «Как горный орел на вершине Кавказа, сижу я на самом краю унитаза». Солидный хобот между ног оскорбителен для ментов.

— А ну слезай!

— Живот болит, не могу, начальник!

Володю стаскивают. На ходу застегивает штаны. Мы на прогулку, его в другую сторону. Возвращается часа через три. Задница, куртка со спины — все в темно-зеленой краске. Затолкали его в только что выкрашенный отстойник метр на метр. «Лучше бы на прогулку сходил», — уразумел Володя, оглядывая испорченную одежду.

Я говорил с ним и с Семеном о Спартаке. Семен махнул рукой: «Это у вас личное». Володя написал по-грузински записку и отправил с баландой Спартаку. Какой получил ответ — мне ничего не сказал. Отношения наши остались по-прежнему добрыми.

Пожалуй, больше всего я общался с Назаром. Он осетин,

устроился по лимиту на стройке в Москве, женился, как всякий деловой строитель, постоянно халтурил — вообще жизнью был доволен. За решеткой оказался совершенно случайно. Шел поздно вечером около метро «Октябрьское поле», понадобилось позвонить. Автомат занят — звонит девушка. Назар подвыпивший, настроение хорошее, с девушкой заговаривает. Подходит, пошатываясь, милиционер, дохнул перегаром: «Чего стоишь? Пошел отсюда!» Назар мал да удал: «Сам пошел!» Милиционер рванул его за плечо, Назар дал по морде, и тут подъезжает машина, выскакивают менты и бросают Назара в кузов. В пути доблестные милиционеры распинали ему пах в кровь. В отделение привезли чуть живого. Сутки продержали в камере, не вызывая врача. А он истекал кровью и терял сознание от боли. Через день пришел врач и отправил его в больницу. Из больницы Назар пишет жалобу прокурору. Выписывается, месяц бюллетенит, приходит извещение, что на него заведено дело. Он пишет новую жалобу и требует привлечь к ответственности избивших его милиционеров. Его арестовывают и отправляют в следственный изолятор. Такой опасный оказался преступник, что до суда пришлось изолировать. На суде в качестве потерпевшего («терпилы») выступил милиционер раза в два выше и шире щуплого Назара. Дает чистосердечные показания, как Назар его избивал. Все свидетели — милиционеры. Беспристрастный суд, тщательно рассмотрев обстоятельства дела, объективно и всесторонне признал Назара виновным и приговорил к трем годам лишения свободы за нападение на представителя власти. Я читал приговор и нисколько не сомневаюсь, что Назар говорил правду. «Отсижу хоть десять лет, хоть стариком выйду, но найду этого мента и тех двоих, которые меня в машине пиздили», — строго говорит Назар. «Опять из-за говна сядешь». «Я умно сделаю, — мстительно щурится Назар. — А хоть и сяду, теперь все равно — дорожка проторена».

Был он честен и бесстрашен. Держался с чрезвычайным достоинством. В камере жил, ни на кого не оглядываясь. Над ним подтрунивали иногда, но никто не смел задирать его, как это обычно бывает с щуплыми. Мы с ним до того сблизились, что объединили тощий наш провиант и ели, как говорится, с одного котла.

Другой мой друг — Наркоша. Так звали залетавшего по наркомании. Круглое, прыщавое, ребячье лицо с — чистыми, внимательными, живыми глазками. Большая стриженая голова на тонкой шее. Озорной, шустрый, но непоседливость его не так бестолкова как, например, у Семена. Всегда какую-нибудь серьезную проблему для себя решал.

Семен мне Наркошу в пример ставил. В предыдущей камере донимал Наркошу один наглый верзила. Нашел щенка для развлечений. То пихнет, то водой обольет, то в одеяло закутает, то «велосипед» — есть шутка такая: спящему засовывают меж пальцев листок бумаги и поджигают, ждут, когда заверещит и ногами задергает — вот хохма-то. После такого «велосипеда» Наркоша выждал, когда верзила заснет, взял толстую, литую тюремную ложку и крепко приложил по глазу. Верзила взвыл, отправили его в санчасть. А Наркошу камера поздравила — многим досадил верзила. С тех пор Наркошу никто не обижал.

Кстати, о ложке. Эту модель ввели недавно: толстая чашечка на коротком круглом стержне с шишечкой — вылитая из металла культяпка. Очень неудобно ковырять ею в миске, зато ножа из нее не заточишь, штопором не свернешь — вечный инструмент, последнее достижение тюремной НТР. Наркоша нашел этой ложке удачное применение. Его уважали, было за что. Ни тени лукавства. Всегда честен, открыт, за справедливость — горой. Очень, интересовался моим делом, диссидентами. Абсолютно надежен, умрет, но не выдаст, есть в нем жажда большого дела. Пяток — другой таких людей, как Наркоша, могли бы здорово оживить диссидентское движение. Это тот тип деятельного надежного человека, который так сейчас необходим правозащитникам для работы с массой. Пока что диссидентство явно и неявно ориентировано на диалог с властями и поддержку цивилизованного Запада. Кризис правозащитного движения убеждает нас в том, что этого недостаточно. Властям диалог не нужен — они сами с усами. Елизавета, например, любила языки резать, нынешние правители расправляются с внутренними оппонентами не многим деликатнее. Ориентация на поддержку Запада воспринимается как измена. Интеллигентская оппозиция могла бы избежать разгрома, если бы имела опору в массах. Но она практически оторвана от народа, в этом главная слабость и уязвимость. Выражаясь марксистски, правозащитная идея станет материальной, неодолимой силой лишь в том случае, если она овладеет массами. А пока что власть спекулирует неряшливым силлогизмом: диссиденты не с народом, значит, они против народа, потому что шумят «с чужого голоса». И пока не установится кровная связь между правозащитниками и теми, кого они защищают, пока будет ставка только на заграницу, в несправедливом обвинении властей люди все же будут чувствовать «что-то такое есть». Конечно, мало кто верит, что диссиденты отщепенцы, предатели, но что-то «не наше», горький привкус в движении ощущается. Диссидентство, хватающееся руками за Запад, не ищет опоры на собственной земле. Властям

ничего не стоит сдернуть с этой перекладины гимнастов правозащиты и тем самым надолго прекратить их выступления, не опасаясь народных волнений, возмущения общественности, зная прекрасно, что ничего такого не будет, и мало кто отважится прийти на место тех, кого сдернули. Поэтому диссидентство в любой момент обречено на сокрушительный разгром. Движение существует, пока власти терпят. Как только им надоест, перещелкают без всяких для себя внутренних осложнений. Понеся страшные жертвы, поверженное арестами, отъездами и ренегатством, диссидентство замрет, не оставив заметного следа среди соотечественников. Это как раз сейчас и происходит.

Эффект диссидентства главным образом сказался на западном общественном сознании. Запад много узнал, много понял, укрепился в поддержке советского инакомыслия. А поддерживать стало практически некого: ведущие фигуры оппозиции, так или иначе, нейтрализованы, диссидентская арена перепахана и опустошена. А тех, кто остался, кто сидит — как поддерживать? Через кого? Что может сделать Запад, если диссиденты не имеют поддержки в своем народе? Однобокий крен на Запад, сектантская келейность воспрепятствовали широкой известности и пониманию задач и методов правозащиты внутри страны, сделали диссидентов чужими для собственного народа, ради которого они отважились на риск открытого диалога с властями. Люди больше знают о диссидентах не от них самих, а из пасквилей официальной печати да от публично отрекшихся и раскаянных.

Мне думается, что изоляции движения от родной среды немало способствовала ставка на открытые каналы информации и диалога, хотя надо признать, что этот принцип никогда не выдерживался — сбор, хранение, подготовка и отправка на Запад диссидентских материалов осуществлялись в основном нелегально. Так зачем отказываться от конспиративного распространения материалов внутри страны? Почему те же усилия и осторожность не употребить для просвещения тех, ради кого все это делается, кто больше всего в этом нуждается? Трудности размножения, доставки, распространения? Да в открытой форме это невозможно. Это надо сделать в подполье. Почему для Запада мы не гнушаемся конспирацией и видим ее эффект, а для страны ограничиваемся одиночными экземплярами самиздата, циркулирующими в замкнутом диссидентском кругу? Почему по всей стране не раскинуть сеть размножения и распространения, почему нет организации?

Сначала это не делалось потому, чтобы не пугать сердитых дедушек из Политбюро, не навлечь обвинений в подрыве и

ослаблении. Думали, что к небольшим инициативным группам, к открытой правозащитной деятельности дедушки будут терпимей. И, правда, кое-что дозволялось. Периодически дедушки пропалывали диссидентские сорняковые грядки, остальное росло. Политико-агрономический эксперимент: любопытно, откуда что растет? Забавлялись как кошки с мышками. А чертополох, несмотря на систематическую, но избирательную прополку, растет, мышки возомнили себя неуязвимыми, хотя только и шумели о жертвах кошачьих ногтей. Кошке-агроному это надоело, стала рвать и хватать всех подряд. И приговоры те, какие надеялись избежать: подрыв и ослабление. И срока несоизмеримые — стоила ли игра такого количества загубленных душ? То, что уходило на Запад, то, что изымали из диссидентского обращения, клеймится агитацией и пропагандой, распространением — так какая же разница, если б все эти материалы были массово запущены внутри страны? Те же срока и приговоры, зато сколько новых людей подхватили бы эстафету, как наполнился бы ручеек вешними водами, подлинного общественного движения, какая поддержка, сочувствие и зашита была бы от родной земли! Семена, брошенные в нее, взошли бы сторицей.

Не посеяли. Не сеяли прежде, не сеют и теперь. Идут по прежнему в лагеря не за понюх табаку, не сделав для своего народа и сотой доли того, что могли бы сделать, коли взялись. Пронадеялись иллюзией на позволительность открытой деятельности и диалога с властями, сетуя одновременно на нехватку людей, на то, что некому размножать и распространять, хотя для Запада находились люди. Сейчас иллюзий больше нет, но и людей действительно нет. Откуда же быть, если вовремя не позаботились? Лопнуло, растеклось диссидентство, как вода в песок. Кто же остался? Те немногие, кто пришел позже, кого заметили, не обошли, с кем подружились в свое время некоторые наиболее общительные и прозорливые правозащитники. На них и держится сейчас то, что есть. Но слишком мало, прижиты они больше по случаю, чем по сознательному отбору, поэтому слабы они и числом и умением. Средний диссидент сейчас хилее, менее представителен по сравнению с предшествующей разбитой волной. Жалкое наследство оставили у себя на родине доблестные правоборцы. Это их беда, но и вина — должны были об этом подумать. Оздоровление общества невозможно без активизации самого общества. Ни Запад, влияние которого сдерживается пограничным кордоном, ни правящий аппарат, перестановки в котором не вселяют надежд на радикальные перемены, сами по себе не сыграют решающей роли в

демократизации страны. Реальные шаги в этом направлении возможны лишь на ветру общественного стремления. Со всей очевидностью убеждает нас в этом свежий пример Польши. Следовательно, главной задачей оппозиции должна быть работа внутри страны, подготовка социальной базы массовых выступлений.

Много сделано за 20 лет открытого и активного диссидентства, но главная задача осталась невыполненной. Причина того не в репрессиях, не в малочисленности, а прежде всего в том, что эту задачу как следует не осознали и не поставили. Диссидентство оказалось открытым для Запада и закрытым для своего общества. Не сумело обрести общественной поддержки. Достаточно было одного удара властвующего кулака, чтобы все разлетелось вдребезги. Одних пересажали, другие уехали, а кто остался, как сами говорят, — «замерли». Пока дедушки позволяли, внучата резвились, а как запретили — замерли, «больше не буду», поразительное послушание. Борцы за права человека по долгу совести, но непременно с визой тех, кто эти права нарушает. Курьезы открытого забрала. Поза открытой деятельности — фиговый листок, прикрывающий трусость, боязнь настоящего дела ибо всегда было очевидно, что всерьез можно что-то делать только нелегальными методами. Открытая деятельность делает диссидента известным миру и недоступным для соотечественников, изолирует от тех, чьи интересы и права диссидент защищает. Такова тактика КГБ — выявить и отгородить от общества. Больше всего КГБ стремится не допустить проникновения свободомыслия в законсервированную массу. Это было бы реальной угрозой режиму. Но интеллигентского инакомыслия они не боятся. Имярек, заговоривший своим голосом, сразу попадает под колпак чекистов. Прихлопнуть, изолировать его ничего не стоит. И лишь ради показной демократии власти до поры до времени кое-кого терпят или даже заигрывают. Пока диссидент ориентирован на Запад, он не представляет опасности для режима, но как только возникает угроза его влияния внутри страны, его, так или иначе, изолируют. Это правило не знает исключений, поэтому ставка на открытые действия в наших условиях совершенно нереальна, неэффективна, если не лицемерна. Если же действовать не ради личной известности, а в интересах дела, то лучше быть самому неизвестным, чтобы труд твой стал известен обществу. Не надо даваться карателям в руки, пусть поищут, за это время можно сделать неизмеримо больше, чем открытыми акциями под пристальным наблюдением КГБ. Только такая тактика дает возможность работать на главном направлении — на

пробуждение общественного самосознания. Опора демократической оппозиции — активное общество. Любое движение, лишенное социальной базы, общественной поддержки, настолько уязвимо, что, можно сказать, существует лишь по прихоти властей. Диссиденты же ставят задачу повлиять на власть, требуют перехода от партийного деспотизма к законной демократии, к уважению прав человека. Кто их слушает? Власть уважает только силу. Сила нравственной оппозиции в поддержке масс. Будь она — не просто было бы убрать правозащитника, больше, чем его самого убоялись бы волны, которая захлестнет власть.

Диссидентство обречено, если не обретет опоры в массах на родине. Нынешний его кризис мало волнует народное сознание. Движение на краю пропасти. Труд и жертвы 20 лет насмарку. Еще толчок и ничего не останется. Для чего были тогда этот труд и эти изломанные, загубленные диссидентские жизни? Исчезли или устранились люди, пропала литература, ликвидированы группы, оборваны связи — будто ничего и не было, лопнуло, как мыльный пузырь. Все надо начинать сначала, практически на пустом месте. Так стоила ли игра свеч? Наверное, стоила, хотя бы для того, чтобы убедиться, что так играть больше не следует. Донкихотство — слабое средство против фашизма, диссидентский горох отскакивает от стен тоталитарного режима, поражая самих диссидентов. Надо действовать сообща и иначе. Надо искать такие формы, пути, подступы к общественному умонастроению, которые будили бы людей в невежестве, спячке, пьяной апатии — к активной жизни. Пока человек сам себе не захочет помочь, ему никто не поможет. А он не хочет того, чего нельзя хотеть, что кажется ему безнадежным. Безнадежны ли правозащитное движение, демократическая оппозиция? Судя по тому, что сейчас происходит, кажется — да, безнадежны. Но с учетом фактора времени можно взглянуть на дело с иной точки зрения. 20 лет открытого диссидентства показали, что в наших условиях борьба за человеческое достоинство, как ни трудна и рискованна все-таки возможна и необходима как единственный путь к спасению. Бесценный урок. Это надо растолковать, этому надо учить широкие массы. Но как?

Честная интеллигенция и народ в отрыве друг от друга бессильны перед диктатом государства. Не зря большевики разъединили их в страшных репрессиях: поголовно была уничтожена интеллигенция, устрашен голодный, обманутый народ. Времена изменились, последние два десятилетия показали, что в новой интеллигенции вырос активный слой, сосредоточивший ум и совесть современного «советского»

общества. Не так теперь голоден и менее восприимчив ко лжи народ. Однако замороченный очередями и дефицитами, отгороженный от остального мира, от голоса правды и разума, погрязший, в страхе, лжи и невежестве, народ наш по-прежнему блудит в растерянности. Плохо — да, это большинство понимает, но как дальше, куда идем, как лучше — темный лес. Народ не видит альтернативы казенной лжи. Но она есть. Надо идти навстречу, нужда заставляет интеллигенцию и народ искать опоры друг в друге. Порознь они бессильны перед государством, но вместе — сила, способная подчинить государство интересам общества. Соедините голову с туловищем, и вы получите организм, способный к активному сопротивлению. Тоталитарному государству может противостоять лишь тотальное, организованное сопротивление. Выступления лидеров диссидентства, сочувствие мировой демократии не будут иметь эффекта, пока не будут услышаны и поддержаны массовым движением внутри страны. Организация такого движения становится первостепенной задачей диссидентства и всей демократической оппозиции.

Но это не все. При всех обстоятельствах соединение интеллигентской головы с народным туловищем требует третьего промежуточного элемента — шеи, приводного ремня, актива, который способен был бы осуществить органическое соединение. Подготовка такого актива — первый необходимый шаг в организации. Он не был сделан за 20 лет, но сейчас с него только и надо начинать. И тут не обойтись без людей вроде Наркоши и Назара. Они как бы предназначены на эту роль — роль связующего звена. Команда обратной связи — так бы я назвал то, что предстоит создать. Черты этих людей: честность, надежность, активность, доброжелательность, неустрашимость, сочувствие и понимание задач оппозиции и ненависть к произволу властей. Все эти черты есть у Назара и, особенно, у Наркоши. Им можно доверить конспиративную работу, а через них и другим, не опасаясь за судьбу остальных в случае их ареста. Они не выдадут. Как воздух, нужны нам сейчас такие люди. И они есть, они ищут дела, надо только подать им руку. Эти люди нуждаются в оппозиционном движении не меньше, чем оппозиция в них. Это видно на примере Наркоши.

Пропадает ведь парень. Окончил строительный техникум, работал по специальности. Мог бы учиться дальше, внести свой вклад в «коммунистическое строительство», но в «светлое будущее» уже не верит и вкалывать за моральные стимулы не желает. Мог бы жульничать и халтурить, как водится обычно в строительстве, и жить, так сказать, не хуже людей. Но он из тех,

кто брезгует жировать на помойках, из тех, кто задыхается в духоте коммунального быта. Ему нужна перспектива, вера, уверенность в том, что он делает полезное, нужное дело. А этого нет. Официальные посулы и цели давно никого не вдохновляют, удовлетворение же личных интересов, сопряжено с грязью приспособленчества и махинаций. Во что верить? Для чего жить? Ради чего работать? Ни пионерские, ни комсомольские, ни партийные органы не дают Наркоше честного и удовлетворительного ответа на эти вопросы. А без ответа на них теряется интерес и к работе, и к жизни.

Посадили его за наркотики. Нашли в кармане несколько крошек плана. Три крошки — три года, хоть смейся, хоть плачь. И без того жизнь шла наперекос, теперь доламывают. А почему Наркоша соблазнился к наркотикам, а не поступил, например, в оперативный комсомольский отряд? Откуда душевный кризис у молодого человека в условиях развитого, завитого социализма, где вроде бы кризисов давно нету? Что заставляет искать выхода в алкоголе, наркотиках, а не кабинетах партучебы и партийных секретарей? Ни милицию, ни суд, ни законодателя подобные вопросы не волнуют. Наркотики — зло, отсидит и больше не будет, — отечески рассуждает законодатель. А что он потом будет делать? Предполагается, что потом Наркоша будет нормально жить и работать, т. е. здоровье, восстановленное в исправительных лагерях, употребит на благо законодателя, начальника, государства. Да не от того ли он обратился к наркотикам, что не хотел быть рабочей скотиной праздного бюрократа? Неужели будет работать после того, как убедился, что смысла в этой работе еще меньше, что начальство еще отвратительней, чем прежде он думал? Он покорится, если испугается, и тогда потеряет свое лицо, станет такой же козявкой, как и прочие усмиренные обыватели. Или начнет воровать, совершать преступления. И в том и в другом случае человек потерян. Сначала он махнет рукой на все то, к чему стремился, во что верил, потом на него махнут и оседлают. Государство порабощает, заводит человека в тупик. Диссиденты отстаивают ценность человеческой личности, указывают выход из тупика, перспективы, согласующиеся с нравственностью. Государство делает ставку на страх и насилие. Диссиденты стремятся к свободе и справедливости. Государство требует безусловного подчинения. Диссиденты говорят, что у человека помимо обязанностей, есть еще и права. Что выберет такой человек как Наркоша? А что бы выбрали вы, читатель?

До сих пор у Наркоши не было выбора. Был он и крепостная стена. Чах и гнил, как заживо замурованный. Диссиденты

показывают, что выход и выбор есть. И в невозможных условиях возможна оппозиция, способная оказать сопротивление, знающая как разрушить стены режима, превратившего страну в тюрьму для свободной личности. Для этого Наркоша будет работать. И страх его уже не остановит, как не останавливает вора, наркомана, любого человека, желания которого сильнее страха. Но вор, наркоман рискует из корысти, личной выгоды — это животные натуры. Мотивы нравственного человека сильнее: он не может быть счастлив среди несчастных, для него не существует личного блага без общего. Если личная выгода сильнее страха, то стремление к общему благу, к свободе и справедливости не запугаешь ничем — ни решеткой, ни костром, ни распятием. Дайте людям веру, что это возможно! Что борьба за свободу не только возможна, но и необходима и выгодна больше, чем материальная нажива, и если думать не только о себе, но и о детях, и о детях детей наших, то надо отказываться от корыстного воровства, алкогольного и наркотического запоя во имя своего и общего освобождения. Не так бы прогрессировало разложение нации в пьянстве и воровстве, если б открылись перед людьми цели и деятельность, альтернативные тому, что навязывается государством. Надо, чтобы все знали, что такие цели сформулированы и деятельность начата. Это сделали диссиденты и в этом исторический урок и заслуга пройденного этапа. Нынешний кризис диссидентства знаменует новый этап, главная задача которого просвещение масс, соединение мыслящей интеллигенции с лучшими представителями из народа. Надо найти Наркошу.

Ценой огромных жертв за два десятилетия активного диссидентства накоплены богатые материалы, разоблачающие режим до гола. О них знают на Западе, пусть же широко узнают и внутри страны.

Нарсуды учат, вбивают в диссидентские головы, что надо делать, так надо же когда-то прислушаться, приговоры за подрыв и ослабление, агитацию и пропаганду, за систематическое распространение — каждый такой приговор — шпаргалка, подсказывающая, что надо делать и чего власти больше всего боятся. Пару экземпляров найдут или тысячу, дома ты держишь или возишь по городам, бросаешь в почтовые ящики — все равно обвинят. Так хоть не обидно сидеть, когда делаешь. Подрывайте и ослабляйте диктатуру партократии, агитируйте и пропагандируйте против насилия и беззакония властей, систематически распространяйте правду о том, что происходит в стране. В этом нам поможет Наркоша — один из тех, кто составит команду обратной связи между интеллигенцией и народом.

О многом мы с ним успели поговорить. Я холодел от того, куда заводит, так сказать, ход моих мыслей. Не дай бог, думаю, узнают об этом — не дадут умереть своей смертью. А Наркоша ничего, кивает большой головой на тонкой шее, мол, само собой — так и надо делать. Спрашиваю: «Отвезешь чемодан с самиздатом?» Отвечает решительно: «Отвезу и отдам куда надо». Ни один мускул не дрогнул.

# Драки

Был в этой камере роздых мне наградой за пережитое. Можно и о своем подумать. Никто не досажал, никто не сказал дурного слова. Но разве зэковская камера живет спокойно? Что ни день — приключения. Семен будоражит хохмами и все время сходняки у него, зэковские собрания — это он воровские понятия разжевывает. Перевели его в другую камеру. Не успела дверь за ним закрыться, уже орет откуда-то — вызывает на «решку». «Я по соседству, — кричит, — Зашлите табак, тут курить нечего!» Засылаем с баландой табак. Семен обратно записку. Снова в окно орет, контролер ругается. Везде с ним у ментов хлопоты. Любимая забава у зэков — изводить мента.

После отбоя однажды гляжу: мой сосед под одеялом за нитку дергает.

— Что ты делаешь?

— Мента дразню.

— Как?

— Слышь скрипит?

Смотрю, нитка тянется к двери, оттуда слабенький скрип и жиканье. Закрепляется жевательным хлебом иголка к двери, а за нитку, продетую в ушко, дергают с двух сторон: мой сосед — за один конец, с нар, напротив — за другой. Нитка пилит ушко, получается жиканье, игла скребет железную дверь, слышно поскрипывание. Но звуки такие слабые: что может слышать контролер? Оказывается, дело в акустике. Со стороны коридора эти звуки гораздо сильнее. Контролер явственно слышит скрип и нечто похожее на подпиливание. Что за чертовщина? Контролер торопится на странные звуки. Услышав топот, в камере перестают дергать. Откуда звуки? Контролер заглянет в одни глазок, в другой — везде лежат, все спокойно, почешет за ухом, пойдет в конец коридора. Снова скрип и становится совершенно ясно: что-то подпиливают. Что? Это ЧП, от зэков всего можно ждать! Бежит контролер на звук, сломя голову, чтоб с лета застать. Но опять тишина. Звуки смолкают так же внезапно, как и начинаются. Мой сосед голову под одеяло — спит, не подумаешь. Нитку с иголкой в глазок не увидишь. Бегает контролер вдоль дверей, зыркает в глазки, цыкнет наобум, брякнет ключом с досады, а придраться не к чему, понять ничего не может. Тихо, а скрежет и пиление засели в голове, бродит по коридору, останавливается на каждый шорох. Уже чудятся всякие звуки, а он один в мрачном пустом коридоре, среди батарей бесконечных враждебных дверей. Как ни привыкай, а не по себе — жутковато. Начнет себя жалеть,

забудется. Пройдет полчаса и вдруг по натянутым, нервам гулко ударит таинственный скрежет. Мечется контролер полночи, пока зэкам самим не надоест.

Мы хорошо представляем, как себя чувствует контролер, все ж месяцами рядом, неразлучны. Нервничает, конечно, не знает что предпринять. Корпусного бы вызвать, да вдруг ничего страшного, если розыгрыш — засмеют: что ж ты, дурак, из-за пустяка панику поднимаешь? Он и без того знает, что дурак, но обидно дурнее другого дурака выглядеть, нет, не будет звать корпусного — сам найдет, разоблачит и накажет. Швыряет со зла козырьки глазков, матерится. Ему бы в контролерской чайку попить или подремать на стуле, или подняться на минутку на верхний этаж почесать язык со скучающим там контролером, но вместо этого приходится торчать у подозрительных дверей с ключом наготове. Зэкам того и надо. Камера прыскает под одеялами. Концерт: загоняли мента, как мышонка. Все злорадствуют: дай я подергаю, дай я! Так и я несколько раз дергал. Азарт необыкновенный! Редкий случай вернуть ментам хоть сотую долю их издевательств. Делают эту штуку именно вредным надзирателям, специально в отместку. Если он не знает что к чему, ни за что не догадается. Так испортят ему дежурство, что долго еще будет дергаться от скрежета, засевшего в дурной голове.

Но дошлого контролера не проведешь. Услышит откуда примерно, подберется на цыпочках и ждет. Зэкам не терпится: что такое — ни топота, ни мата, оглох, что ли? Наяривают нитку, сидя на нарах, без осторожности, контролер точно определит дверь и прыжком к кормушке: попались! Пильщики не успевают зарыться под одеяло, свисают с нар брошенные нити. Контролер записывает фамилии и отдирает с двери вещественные доказательства: хлебный мякиш, иголку с ниткой. А то сразу уводит на ночь в отстойник или холодную камеру. Или выведет, намнут бока в контролерской и обратно. Зэк охает, но счастлив: легко отделался, все же не в отстойнике.

Ну и свои концерты бывали — драки. Драться-то негде — тесно: проход узкий, стол, ребра нар, везде углы, железо. От толчка ударится человек и готов. Как бог их милует — ума не приложу. Носятся по всей камере, вверх вниз по нарам, стол трещит, люди шарахаются и ведь не споткнутся даже, ни один угол не остановит. Так разойдутся, что камера съеживается, кажется все развалится, железо сомнется, как сминаются морды под тяжелыми кулаками. Так дрались наши тяжеловесы Бык с Димой. Бык сорока лет, плотный, бугристый, лысый уже, а ума не нажил. Сидит первый раз, по хулиганке, но блатовал под

рецидивиста. Жаргонная смесь рабочего мужика, дворового пьяницы и хвастливого портняжки. Над ним посмеивались, но масса его впечатляла. Все-то он кого-то когда-то одним ногтем по стенке размазывал — обычная тема его разговоров. В своем краю, где лежал, мог кого-нибудь за водой послать, заставить носки простирнуть. Так, по мелочи. Найдет на него — изображает из себя «короля». Он-то всерьез, а со стороны смешно — обезьяна. Ради уморы принесут ему кружку воды, поддакивают во всем — надо его видеть в этот момент: раскинется на нарах холмом, дышит как паровое тесто, довольно, расслабленно, так он значителен, авторитетен, так ему нравится эта роль, что и он покровительственно благодарен «своим пацанам» за доставленное удовольствие. Сан «короля» и возраст, который он выдавал за воровской опыт, не позволяли ему говорить с молодежью на равных — он только «учил», врал сивым мерином. Кое-кого это забавляло, в своем углу его терпели. На роль камерного «пахана» этот незадачливый ударник московских новостроек не претендовал — хватало ума. Как он задрал спокойного, улыбчивого Диму — не пойму.

Сцепились они у стола, и Бык, набычившись, за то и звали Быком, что очень похож, грозил здорового, на голову выше, Диму по стенке размазать. Дима с неожиданной ловкостью быстро пригнулся меж толстых сцепленных рук и резко ударил головой по центру лица, в нос, туда, где быкам кольцо вешают. Смачно, как по кочану капусты. Бомба — любого быка свалит. Дима выпустил руки. Лицо Быка побелело, из носа-пипочки заструилась кровь, глаза стали красные. Пригнулся к столу, утерся. И вдруг боковым разворотом кинулся массой на Диму. Дима увернулся — на стол. Бык — за ним. Дима — на верхние нары. Бык снарядом, с воем и ревом следом. Обменялись на лету глухими ударами. Со скоростью, поразительной для громоздких тел, прогремели на пол. Бык, гири кулаков на весу, бросается на Диму. Тот прыгает к стене, изворачивается, берет Быка в клешни. На Быка жалко смотреть: битая морда горит, кровь размазана. «Я же убью тебя, — примирительно объясняет Дима, — Неужели ты еще не понял?» Дима бесспорно сильнее. Видит это и Бык, но как же быть в глазах камеры? Столько внушал о своих кулачных победах, вор, король — нет, он не мог признать поражения. Материт Диму на чем свет стоит, страху нагнал смертного, тут бы и разойтись при своих интересах. И у Быка оправдание: да, пропустил вначале, но зато уж его погонял, чуть не убил, да ладно — пускай живет. Он мог бы еще убедить себя, что спас репутацию, мог бы еще позволить себе поиграть в короля. Добрый Дима дал ему шанс — опустил руки. Но Бык сглупил: ударил его в челюсть. Тут уж Дима

взорвался по-настоящему. Прямым коротким боем прижимает Быка к стене и молотит своими кувалдами по месиву, хлюпающему под ударами там, где у Быка предполагалось лицо. Удивительно, как Бык на ногах удержался. Дима бросил его и пошел к умывальнику. Но Бык опять удивил. Придерживая руками то, что образовалось на месте лица, шатаясь на толстых, коротких ногах, тоже подошел к умывальнику и весь остаток сил вложил в последний удар, получилось слабо, вскользь по челюсти. Дима так и застыл с мокрыми руками, глазами не веря: рехнулся Бык что ли? А Бык опять руку заносит и головой на Диму. Хрясь — коротким прямым по лбу Дима отбрасывает Быка к стене. Уходит к себе на верхние нары, качая головой: «Сам бык, видел быков, но такого…» С полчаса Бык лениво обмывал изуродованную физиономию. И что, вы думаете он произнес после этого?

— По стенке размажу!

Он еле ковылял к своим нарам.

Только у него зажило, через несколько дней смотрю с утра: у Быка опять синячище на весь глаз, но подчеркнуто весел, бодрится, будто у него не фингал, а блатное украшение. Господи, откуда, вроде не дрался никто? Оказалось, друг его, Пончик, который с ним рядом лежал и воду носил, втихаря разукрасил. Ай, да Пончик, мал да удал! Я знаю его по Матросске, по 124-ой, мы тогда чуть не подрались. Лез за баландой без очереди, я ему резко сказал, постояли в боевой стойке, но он не кинулся. А парень плотный. Если Быка уделал, то и мне бы тогда не сдобровать. Жить опаснее, чем думаешь. Дошла, очевидно, эта истина и до Быка. Доблатовал — уже пацаны колотят. С тех пор присмирел, стал нормальным добродушным человеком каким и был по натуре, пока не вздумалось притворяться блатным. Лжекороль был низвергнут. Больше в этой камере никто не претендовал на корону.

Драки возникали по пустякам, страсти вспыхивали и быстро остывали, без каких-либо разборов и последствий. Пришел парнишка-грузин. Я в ту пору занимал место рядом с Володей-мегрелом. Устроился парень рядом с нами. Грузины, евреи, армяне — все национальности стремятся быть вместе. Особенно кавказцы. Они обычно в камерной аристократии. А если их двое-трое, то камера в их руках. Их называют «звери». Им это не нравится, но многих из них не назовешь иначе. Хитрые, жестокие, они умеют одновременно вызывать расположение сильных и нагонять страху на слабых. Однако Володя и новый парнишка-грузин — другие люди: человечнее, мягче. И тем не менее, разумеется, на положении аристократов. Все же кавказцы

выглядят более развитыми, ухоженными, проворными, чем основная русская масса камеры. Наш средний мужик замызганней и ленивей. Самому лень пальцем пошевелить, всего боится, поэтому даже рад, когда находится кто-то, кто берет на себя бразды правления камерным стадом. Есть у кого спросить, с кем посоветоваться и не надо напрягать худые мозги, чтобы самому решать чего можно и чего нельзя. Он легче подчинится, будет лебезить, угождать, чем отважится на самостоятельное решение. Толпа в 50–60 человек покорно отдает себя в распоряжение любого, рвущегося к камерной власти, будь он русский, кавказец, да кто угодно — лишь бы языком шевелил, да кулаки не ржавели. И малое честолюбие не позволяет смешиваться с серой, аморфной массой, достойнее особняком или над нею. Кавказцы достаточно честолюбивы, чтобы быть наравне с теми, кто сам себя не уважает. Смело занимают красные места за столом и на нарах, вносят рассудок в беспорядочные мужицкие беседы. Так повелось, что им уступают, будто так и должно быть. Зверь зверем, а все же на полголовы выше среднего. И дела у них покрупнее, и напора побольше, и хоть и с акцентом, а рассудит обстоятельнее русского. Поэтому парнишка-грузин сразу устроился среди первых людей камеры.

Но был он не так приятен, как Володя-мегрел. Хвастлив, всезнающ и блатной. Надо же как-то подать себя, а иначе он не умел, никто еще не научил его из чего складывается достоинство и уважение. Нагляделся по камерам, вот и кривляется. Сам же по себе неплохой парень, лучше, чем пытался казаться. Из показухи заспорил он с одним парнем по какому-то незначительному вопросу, влез не в свою беседу. Парень тот, солдат (посадили на срочной службе), заметил ему, чтоб не совался в чужой базар, у зэков это не принято. Но как посмел какой-то солдат с верхних нар ему, такому блатному вору да еще с такой мощной поддержкой в лице Володи, замечание делать! Огрызнулся крайне неприлично: «Е… в рот, чего ты понимаешь?» Солдат сверху: «Сам ты е… в рот!» Страшнее оскорбления в неволе не бывает. Грузин выскакивает на проход, солдат прыгает сверху оба длинноногие — обмениваются ударами на дальней дистанции. Грузин явно рассчитывал на поддержку Володи и, когда увидел, что драться придется один на один, оробел и с вытянутыми кулаками разразился угрозами: чего он только сейчас с солдатом не сделает, во что только не превратит, если тот хоть пальцем его коснется, то вынесут из хаты ногами вперед! Солдат видит, что грузин не дерется, плюнул и ушел к себе. Грузин «напугавши!» солдата, возвращается важно и, чтоб замять конфуз говорит Володе так, чтобы все слышали: «Не дай бог он мне на пересылке

этапом встретится!». Володя отводит глаза, не желая обидеть земляка иронией. Он и не подумал бы вместе колотить солдата. Во-первых, грузин — забияка, сам виноват. Таким полезно иногда сбить спесь. Во-вторых, в камере правило: в личных распрях — один на один, никто соваться не должен. Когда тон в камере задают путевые люди, жить можно. Нехорошие люди стараются казаться лучше, а хорошим и добрым никто не мешает быть хорошими и добрыми.

Месяц покоя. Никто в этой камере меня не дергал: ни менты, ни зэки. Но в начале апреля вызывают с вещами. Очень разволновался, ничего не пойму — куда? Третий месяц после суда, давно должен быть на зоне, но до сих пор не везут протокол на ознакомление, до сих пор по этой причине не могу отправить кассационную жалобу. Писал заявление в Мосгорсуд. Сверх положенного нахожусь в условиях пересыльной тюрьмы и рассматриваю это как неправомерное ужесточение режима содержания, определенного приговором. В самом деле: в соответствии с УПК не позднее трех дней после подписания должны ознакомить с протоколом, не позднее семи дней после ознакомления я должен отправить кассатку, за месяц ее должны рассмотреть после приведения приговора в законную силу; если кассационный суд утвердит приговор, не позднее десяти дней обязаны отправить в места не столь отдаленные. Таким образом, при нормальном прохождении процедур после суда на пересылке не должны содержать более двух месяцев. А я уже третий месяц и конца не видно. На зоне все-таки легче: хоть воздух свежий, небо видно. И писал заявление, чтобы ускорить. Вместо этого уводят из камеры, которую мне очень бы не хотелось менять на другую.

Первая мысль: так и есть, решили, что мне здесь чересчур хорошо, переводят туда, где больше горя. Вторая: на этап, на зону. Шиш тебе, а не протокол и кассация. Третья: освободят. Я все же не исключал этого. Сколько не примеривал свое дело к кодексам, — ну ни в какие ворота, ни за что сижу. Дошло, может, до высших инстанций, а оттуда, как только глянули в материалы, сразу звонок в Мосгорсуд: «Что же вы делаете? Позорите правосудие! Немедленно освободить!» На контрасте ожиданий — от пресс-хаты до дома, от спартачков до Наташи — то в жар, то в холод, выходил я озадаченный из камеры.

Ведут вниз, куда-то к выходу. Матрац, кружку — сдать, мешок — на стол, верхние вещи долой — капитальный шмон. Несут передачу: «Распишитесь». Отлегло от сердца — Наташа! Квиток заполнен ее рукой. Значит, с ней всё в порядке, а мартовскую передачу так и не взяли, наврали мне, и никакого письма от опера она не получала. Поместили на полчаса в отстойник, потом

отвели в закуток — за углом вестибюль и выход наружу: в тюремный двор. Снуют менты, вижу через парадную дверь — во дворе машины урчат. Пешком бы ушел. Может, правда, выпустят? Больше подумать не на что. Если б на зону, то не был бы я один. Если в суд или что-нибудь в этом роде, то возвращаться назад и, следовательно, не надо было сдавать матрац и спешить с передачей. Нет, расчет был окончательный и куда, если не домой? Больше некуда.

Трется рядом пожилой прапорщик. Пристреливаюсь к нему: «Сколь время?» Рявкает зло: «Твой срок не вышел!» «Что это он? — думаю. — Я, может, одной ногой дома, а он со мной, как с преступником». Поубавилось уверенности на счастливый исход. А какой иной — не представляю. В таких случаях надежда всегда на лучшее. Нахожу желаемое объяснение: прапор, очевидно, не в курсе, надо офицера спросить. Долго ловлю — офицера. К ним туда, в зал, нельзя, надо подстеречь, когда мимо пройдет. Подстерег, наконец: «Куда меня одного?» Зыркнул на бегу зрачками: «Отвезут, узнаешь». Счастливая моя гипотеза задымила. Но почему не говорят? Да и куда же? Наверное, ни черта они про меня не знают. Все они тут мелкие исполнители, а мой начальник солидный сидит в кабинете, сейчас вызовет и скажет: «Здравствуйте, Алексей Александрович! Извините, что так получилось — и в нашей системе, к сожалению, бывают ошибки. Идите домой. Но советую: не пишите, бросьте совсем это дело». Я с ним спорить не буду. Даст он бумагу — я как возьму ее, так и припущу со всех ног вон, подальше от чертова дома. Только бы за ворота!

Тут подходит злой прапор и указывает глазами на мой мешок, командует: «Пошли!» У выхода тот офицер дожидается. И воронок у крыльца. Обманул меня солидный начальник. Мешок — в кузов, следом ногу на железную лестницу. На площадке воронка — два солдата. Меня за решетку. Поехали. А куда — черт его знает.

От солдат узнаю, что едем в Матросскую тишину. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Для меня это могло означать только одно — раскрутка! Наплывает перекошенная гримаса Байковой: «переквалифицирую на 70-ю!» Кудрявцев: «Какая, по-вашему, разница между 190[1]-й и 70-й?» Желтолицый опер-капитан: «Можем — во Владимир, а можем — в Иркутск». Шурик, его соплеменник якобы из Лефортово, Спартак. Старлей-воспитатель: «Новые материалы в вашем деле». Насобирали-таки на 70-ю? О чем еще я мог тогда думать, трясясь в воронке на обратном пути в Матросску?

# Глава 8. По второму кругу

# Малолетки

Опять сборка, душемойка, матрац-матрасовка в одном окне, кружка-ложка в другом, и к ужину попадаю после двухмесячного отсутствия в 145-ю — осужденку. На круги своя. А почему не Лефортово? Если 70-я, то только туда. Другую статью подобрали? Какую? Вроде совсем уж не за что. Что же тогда? Сильно озадаченный входил я в знакомую камеру.

Полно народу и все новые. Полкамеры, почти вся правая сторона, — малолетки. В тюрьме им стукнуло 18, и их совершеннолетие отмечено переводом во взрослую камеру, это их аттестат зрелости. Снуют всюду, только их слышно и видно. «Профессор!» — кричат вдруг с дальнего шконаря. (На Пресне — нары, здесь — шконари). Иду на голос. Встает навстречу в черном трико знакомый парень. Играли мы раньше с ним здесь же в шахматы. Он силен, я не выиграл ни одной партии. Спрашивает: «Ты чего сюда?». Говорю, что не знаю, а ты чего застрял? Болезненно морщится, пальцем по горлу: «И не говори — вот так надоело!» Он ждал этапа на больничку или места в тюремной санчасти — что-то с желудком. И выглядел неважно, хуже прежнего. Обстановка грязной, душной, вечно переполненной транзитной осужденки, конечно, не для больного человека. Заморили парня. Из старого состава он один. Сотни, если не тысячи, прошли при нем через эту камеру. Еще тогда, при первом моем появлении, он сидел здесь не один месяц.

Странная, непонятная у него история, он особо не распространялся. Сказал только, что не из Москвы, откуда-то из Краснодара или Ставрополя. Там посадили, потом этапом через Ростовскую и Волгоградскую пересылки сюда, в Москву. В тех пересылках хуже, чем здесь. Вши, вонь, толканы не работают, загажены, вода с перебоями. Кормят плохо. Этап занял два-три месяца, на нем и испортил желудок. Сидит теперь на таблетках в полной неопределенности: то ли в больницу, то ли назад, в родной Краснодар, да хоть к черту на рога — лишь бы сдвинуться, с ума сойдешь в этой осужденке. Грязь, теснота — полбеды. Каждый день разные люди со всех камер, встречи врагов, разборки, драки, избиения, видеть все это — какие нервы нужны! Неделя изводит — терпенье лопает, скорей бы, скорей отсюда. И люди уходят, а ты торчишь, и так уже несколько месяцев. Здоровый не выдержит, каково же больному? Лицо изможденное, высох, забыл, наверное, когда улыбался. Господи, по какому приговору, за какие преступления так?

Место себе нашел наверху, мужики потеснились на нарах.

(Внизу шконки, а верхний ярус, кажется, нары, во всяком случае он сплошной, без проходов.) Распахнулась кормушка, за дверью гремит поварешка баландера, стук алюминиевых чашек. На ужин обычно каша: овсянка, перловая, пшенная. Сегодня перловая. Название-то какое — словно не крупа, а перлы, перлы народного благосостояния, правда, разварены эти перлы в серой вонючей жиже. Однако нос уж давно не воротишь — накладывал бы полнее. Очередь у кормушки трясет чашками: «Мало, давай норму!» «Я тебе сверх нормы бросил», — отбивается баландер и подает чашку следующему. Но смотрит в кормушку на того, кто добавку требует; не ровен час — полетит каша в лицо. Или откажется камера принимать баланду. Скандал! Зовут корпусного, может офицер прийти — неприятное разбирательство для баландера.

Положение этой категории зэков незавидное: впереди — голодная, агрессивная камера, за спиной контролер стоит. Не доложишь — зэк обматерит, переложишь — контролер обматерит. Трудно угодить обоим сторонам с такими противоположными интересами. Рад бы полнее поварешку, но, помимо мента, свой расчет: этой камере передашь — другой не хватит. От зэков достанется и с работы уберут. Этого баландеры больше всего боятся. Ведь из рабочей бригады, из хозобслуги назад к зэкам хода нет. Зэки презирают хозобслугу, особенно поваров и баланду. Чтобы остаться при тюрьме и не ехать на зону, надо писать заявление, т. е. проситься, чтоб оставили. Просить у ментов считается «западло». Добровольно работать на ментов, обслуживать их — также «западло». Кроме того, зэки знают, что из кухонного котла кормятся все смены контролеров, что менты и обслуга забирают самый навар — мясо, верхний слой жира, крупные куски рыбы — вот куда девается то, что по нормам положено, а мы не получаем. Подался в обслугу значит «козел», т. е. можешь работать на ментов и тайно и явно. Обслуга, баланда, рабочка держатся за свое место любыми способами. Не хотят терять более сытого и удобного положения, а главное, знают, что возвращаться в общую зэковскую среду им нельзя. В общих камерах, на пересылках, на этапе в вагонах их жестоко избивают и насилуют. Калечится вся жизнь. Отныне им место среди самых отверженных в лагерной жизни — в «пидарасах». Баландер знает, что его ждет и знает, что целиком зависит от воли начальника. На такой привязи нет поручения, которое бы посмел не выполнить баландер.

Хозобслуга — самые подневольные рабы администрации. Зэки призирают их за то, что отдаются они в рабство добровольно, по заявлению. Сама администрация не имеет права

оставлять для работы в следственном изоляторе без согласия зэка. И на зоне в хозобслугу зэк идет по своему заявлению, просятся вроде бы на работу — на кухню, прачку, парикмахерскую и т. п. — а на самом деле, отдают себя с головой, продаются ментам. Кто этого не знает, тому камера объясняет. Редко попадают в хозобслугу случайно, по незнанию. Да как не знать, если того же баландера на дню три раза матерят. Идут в хозобслугу сознательно, пишут украдкой заявление, стараются незаметно отдать, в общем, стесняются, а идут-таки. Некоторые, как хотел, например, Жора, — по нужде, чтоб не потерять прописку и площадь в Москве. Но в основном идут ради теплого, сытного. Рискуют честью, жизнью, теряют, так сказать, зэковское гражданство, исключая себя из категории мужиков, но идут лишь бы брюхо набить. Ментам угождают рабски. И первое, что от них требуют, — больше знать, чаще докладывать. Стучат друг на друга, на камеры, стучат на всех и обо всем, о чем ни спросит хозяин.

Нет ничего ненадежнее, чем «дорога», ксивы через баландера. Зэки об этом знают, однако пользуются их услугами. Баландер заинтересован выглядеть получше в глазах зэков: чем черт не шутит, может, заступятся, «отмажут» на пересылке, поэтому некоторые баландеры рискуют, соглашаются передать в другую камеру ксиву, а то за деньги добудут чай или что покрепче. Нередко это делается по сговору с контролером, для которого такая коммерция — основной доход, но сам вступать в сделку, по крайней мере, в московских тюрьмах боится — всегда в общей камере найдется стукач. Через баландера ему безопасней — есть козел отпущения. Однако при наличии камерных стукачей всякие «дороги» для ксив и коммерции были бы совершенно исключены, если б это не делалось с благословения оперативной части. Потаенная организация и контроль за такими «дорогами» — важнейший элемент оперативной работы. Через просмотр нелегальных ксив опера узнают новые факты по делу, зэковские секреты и связи, через коммерцию «подогревают» своих внутрикамерных работничков. Мог ли Феликс Запасник со своими «королями» в 124-й камере обменивать отобранные у мужиков вещи на чай и прочий «грев», если б им это не дозволялось за их козью службу? Да на следующий день начальство бы знало, и не сдобровать дежурному контролеру. Руками «королей» вроде Феликса и «паханов» вроде Спартака, периодически отдыхающего в санчасти, водворяется нужный ментам порядок в камере, осуществляется основной процесс «воспитания». Сами менты не без иронии называют такой метод «воспитанием через коллектив» и ссылаются при этом на

Макаренко. Как видим, все у них научно обоснованно и система скрытого стимулирования через «грев» — в полном соответствии с принципом социалистического распределения: «каждому по труду». «Кто на нас не работает, тот не ест».

Коварство «дорог» в том, что трудно определить какая контролируется операми, а какая нет, и ты можешь ею воспользоваться. Попадаются среди баландеров и контролеров добрые, а чаще корыстные люди, которые за деньги или хорошую вещь могут действительно иногда помочь: передать записку, письмо на волю, продать чай. Легче договориться в спецкамере, где сидит меньше народу. В общих камерах по 40–70 человек мало кто из ментов на свой страх и риск отважится на бизнес — наверняка кто-то «стукнет». Если «дорога» в общую камеру есть и она держится, — как правило, это козья тропа, подконтрольная операм. Иначе она просто не сможет регулярно существовать. Рано или поздно стукачи донесут кому следует и тогда опера либо вербуют попавшихся контролера или баландера, и «дорога» начинает работать на оперчасть, либо наказывают и выгоняют.

Понятно, что в последнем случае так поступают с более менее порядочными людьми, которые не соглашаются подличать или не пользуются доверием у оперов. Провинившегося баландера сажают в карцер, а затем «закрывают», т. е. переводят в осужденку и на этап, через пересылку, на зону. Могут не сажать в карцер, а сразу «закрыть», ибо менты знают, что в камере бывшему баландеру будет гораздо хуже, чем в любом карцере. Зэки наказывают страшнее. На зону баландер приходит обычно «пидарасом». Жестоко и несправедливо, если учесть, что менты обрекают на это тех, кто не согласился «работать» на них, кто делал не так и не то, что было поручено. Так случилось например, с моим земляком Вадиком. На Матросске его убрали с баланды, а на свердловской пересылке изнасиловали. В 20 лет парню искалечили жизнь. На зоне он жил в нашем отряде в углу таких же отверженных. А кто способен мать родную продать, тот благополучно отработает в тюремной обслуге и уйдет раньше срока на «химию» или освободится условно досрочно. Честных — в педерасты, подлецов — на волю, такова практика коммунистического воспитания в исправительных учреждениях. А потом удивляемся: почему преступность не падает? Как же падать, если власть сама ее творит и поощряет! Ох, не проста тюремная баланда! Много чего намешано в ней, если вдуматься.

…Зовут наверх, чашка моя уже там дымится. Едим на нарах. Разворачиваю мешок, достаю Наташины дары с передачи: сыр, яблоки. Мой сосед в клетчатой рубахе, моих примерно лет, настойчиво предлагает свое угощение: кусок копченой ставридки.

Я его потчую, он меня. Съел ломтик сыра, яблока — больше не берет: «Спасибо, попробовал — хватит». Нарезаю поровну:

— Все пополам.

— Нет, — говорит, — это твое, а мне положить больше нечего.

Вот ведь какой стеснительный, давно таких не встречал. Воркуем с нарастающей симпатией. С иным соседом яблоко не проглатывается, а с этим и перловка в удовольствие, приятный человек, приятный получился ужин.

Не успел сдать чашку, прыгает ко мне на нары мальчишка: «У вас какая статья?» Отвечаю, что у меня две статьи: 190 и 228.

— А правда, что за политику?

Быстро справки навели. Зовут парнишку Олег. Недавно «поднялся с малолетки», т. е. исполнилось 18 и его перевели к взрослым. Длинный шустрый, вертлявый. Чистое мальчишеское лицо, глаза открытые и наивные. Говорит звонко, болтливо, «х» вместо «г». Юморной, но с напуском серьезности. Он с Украины, приехал в Москву к тетке, поступать в техникум. Не поступил. Мать денег не шлет, ждет домой. Он не торопится, а жить не на что. Снял с кого-то ондатровую шапку — за то и посадили. Сейчас о маме беспокоится, она у него хорошая, пишет ей письма с просьбой передать учебники. В тюрьме получше подготовится, а когда выйдет, обязательно поступит — загладит вину перед матерью. «Принимают в техникум после судимости? — спрашивает с преувеличенной серьезностью и тревогой. И тут же рот до ушей. — Вы против ментов и мы, — показывает на шконари, занятые малолетками — тоже против ментов. Ребята приглашают вас в нашу семью».

— Спасибо, я здесь устроился.

— Нет, нет, найдем шконарь, и за столом с нами будете.

Берет мой мешок, скатывает матрац и вниз. Какой, думаю, может быть шконарь, если на сдвинутых двух по трое? Рыжий парнишка со строгим, решительным лицом, как оказалось, тезка мой — Леша, вяжет на проходе между шконарями лямки от старых штанов и разорванной матрасовки. На поперечные лямки бросает мой матрац, подушку и одеяло. Вместо прохода образовалась удобная постель, вроде шезлонга.

Их было меньше, чем вначале мне показалось. Не полкамеры, а восемь-девять ребят, но казалось их больше потому, что их только было видно и слышно. На каждого — пять-шесть взрослых, а между тем камеру держали они, малолетки. Остальных настолько заслонили, что из взрослых не помню почти никого. Не то, чтобы запугали и задавили, наоборот, все дышали свободно, в смысле отношений камере был полный порядок, просто взрослые

отходили после следственных камер и суда, опоминались, подготавливая себя к новой жизни, определенной приговором, а малолеткам, казалось, все — нипочем. Не припомню, чтоб они говорили о сроках, кому сколько сидеть — они жили настоящим. Их непоседливая активность днем и ночью будоражила камеру. Из малолетних камер, известных своей жестокостью и ревнивым соблюдением всевозможных зэковских «понятий», они привнесли свое, хотя и наивное, но твердое представление о справедливости и дерзко стояли за нее. Они вели списки беспредельных камер и фамилий нагонявших там страху «королей», чтоб узнать, не пропустить их тут, в осужденке. Взрослых это устраивало, мы были благодарны нашим малолетним защитникам и оставалось удивляться только: куда исчезает решимость и почему слабеет стремление к справедливости с возрастом? Или это новое поколение растет?

Если так, то наше будущее лучше настоящего. Горстка малолеток из нашей осужденки не только держала порядок в своей камере, но устрашила беспредельщиков всех общих камер Матросски. Борьба с беспределом была объявлена по всей тюрьме. В камерах знали о разборках в осужденке. Выявляя беспредельную камеру и имена тамошней блоти, малолетки забрасывали туда ксивы с предупреждением, требуя прекратить безобразия. Это было не сложно, так как из осужденки часто берут людей в помощь баландерам, разносившим по этажам, приглашают добровольцев в следственные кабинеты для опознания, так что контакт с камерами и зэками был довольно широкий. «Короли» и «паханы» в общих камерах поприжимали хвосты. Каждый знал, что рано или поздно ему не миновать осужденки. А тут их ждали.

Если фамилия вновь поступившего значится в списке беспредельщиков или на него указывают люди, что он жил в одной семье с беспредельщиками, то малолетки облипают стол и подзывают этого человека. Учиняется допрос. Поначалу человек, привыкший быть хозяином в камере, держать в кулаке других, смотрел хоть и настороженно, но с напускным весельем в надежде, если не отболтаться, то не очень-то и пострадать от мелюзги. На вопрос: «Кем жил?» — смехом отвечает: «Мужиком, кем же еще?»

— А говорят, «королем», мужиков дербанил, дачки отбирал?

Если начинает задираться, вся стая малолеток набрасывается и гоняет по камере, метелит чем попало, пока тот не попросит прощения и не выложит все как есть. Битый. В свежих кровоподтеках, вчерашний мордоворот сейчас дрожит, как осиновый лист, кается и просит «пиздить» его сколько угодно, но

умоляет не «чухать», т. е. не бросать головой в унитаз, в парашу или еще что похуже. Чуханутый считается «опущенным» зэком, ему не место среди мужиков, отныне его место на полу, в сторонке. Такому почти невозможно выправить свое положение, полшага до педераста, хуже быть не может. Кто дорожит честью, лучше даст себе вырвать глаз, чем приблизится к толкану. А беспредельшика как раз туда и толкают, из-за этого беготня по камере. Малолетки прижимают его к унитазу, в сторону от надзирательного «глазка», а он вырывается куда угодно, лишь бы подальше от страшного места. Если ему это удастся и если вина его не столь велика, то после первой разминки приговаривают виновного к кулакам. Исполнение наказания малолетки предоставляли остальной камере, мужикам. Охотников и людей, потерпевших от беспредела и желающих выместить, всегда было достаточно. Били. Затем беспредельщик смиренно растворялся в общей массе, больше его за прошлое никто не корил. До того становился шелковый, что нельзя и представить было, как такой добрый, хороший парень мог тиранить и обижать людей.

Из 124-й люди поступали затравленные и были разные мнения. Одни говорили, что там нормально, другие жаловались, что по-прежнему забирают лари и дачки, по-прежнему донимает шнырь со своей «химией» и Феликс, хотя и сложил с себя полномочия старшего по камере, на самом деле по-прежнему насаждает беспредел. Конечно, по-разному приспосабливаются люди: одним больше доставалось, другим меньше, третьи сами лизали задницу «королям», но было ясно, что порядка в камере нет и это прежде всего на совести Феликса. Он, как и раньше, проводил четкую линию на то, чтоб в камере не писали никаких жалоб. Жалобщиков травили так же, как и меня. Это ясно указывало на ту разновидность беспредела, которую я называю ментовским беспределом. Такие камеры еще называют «козьими хатами», где под видом блатных верховодят люди, проводящие линию администрации. Самый омерзительный вид беспредела, против которого я не стеснялся поднимать малолеток.

В этом меня поддержал некто лет 30, которого звали Журналист. Он с ужасом говорил о своем пребывании в 124-й, и когда увидел сочувствие и то, что эта камера нас особо интересует, активно присоединился к кампании против Феликса. Была с ним, правда, заминка — спорили: куда поместить и как вообще относиться к Журналисту? Не буду называть фамилии, назову просто Виктор. До ареста сотрудничал в московских газетах, работал в многотиражках. Посадили по заявлению бывшей жены за алименты. Эта статья не пользуется симпатией у зэков — собственных детей надо кормить — однако у Виктора

было сложнее. По его словам, он посылал с гонораров деньги, но беда в том, что квитанции с переводов у себя не оставлял. Последнее время работал по договорам, как говорят «на свободных хлебах». В штате нигде не состоял, поэтому квитанции были единственным оправданием на заявление жены, а их не было. Договорились с ней, что она не будет подавать на алименты, не мог он предвидеть подвоха. А у нее появились свои расчеты, кажется, хотела выписать его с их площади, появились союзники в лице участкового и следователя — накрутили дело за неуплату алиментов. Пишет из камеры жалобы во все инстанции. Феликс и «короли» запретили писать. Сначала ехидничали, потом стали травить: надавали «химий», заставили мыть полы, били, он уступал, а это такой народ — палец дай, по локоть откусят — докатился мыть унитаз. Большое удовольствие пролетариям, когда журналист за ними парашу моет. Он не подозревал, что тем самым они «чуханули» его, и уже всю тюремную жизнь он обречен мыть в камерах толканы и спать на полу или, в лучшем случае, на крайнем шконаре у сортира. Может быть, не уступил бы, если б знал, а не зная, как рассуждают: «Вымою раз или два, чтоб отвязались». Выходит, наоборот. В нашей камере ему тоже был уготовлен толкан и унизительное место на полу или с краю. Так принято. Пустъ с ним в 124-й поступили несправедливо — те, кто унизил, «опустил» его, должны ответить, — но его положение от этого не менялось: нельзя было уступать, есть граница, дальше которой падать нельзя. Пусть хоть убьют, но не теряй достоинства. Слабохарактерный человек больше всего рискует оказаться жертвой зэковского произвола и меньше всего может рассчитывать на сочувствие и поддержу.

Непросто было уговорить камеру и малолеток дать Виктору место поприличней. Я упирал на то, что Журналист не стал бы мыть толкан, если бы знал, что это означает. В нашей камере пусть моют беспредельщики: любили кататься — люби и саночки возить. Вполне отстоять Виктора было невозможно: нельзя брать в свою семью, сажать за стол, класть рядом с «путевыми» — пятно на нем еще слишком свежо, но от параши спасен и принят наравне с прочими мужиками — он был счастлив и этому.

Ждали Феликса. Если ему дадут общий режим, то не минует нашей осужденки. Феликс передал своеобразный привет Журналисту. Кто-то пришел из 124-й и сходу принялся его лупить. Разняли. Виктор поник и жалко, виновато улыбается. «За что?» — спрашиваем у нападавшего. «А хули он про камеру хуйню разносит? Там парашу мыл, а за глаза обсерает. Ребята сказали, чтоб он знал свое место и не лез к мужикам». Этого центрального нападающего спасло то, что он не имел прямого

отношения к «королям», не сидел с ними за столом. Но ему объяснили, что Журналист пострадал от беспредела, так поступать с ним было нельзя, поэтому относиться к нему нужно как к нормальному человеку, а вот с «королями» надо разобраться. «Да нет там никаких «королей», раньше что-то было, а Феликс свой парень», — держит оборону нападающий. Тех, кто сам не сидел в 124-й, не знал хитрого Феликса, столь разноречивые мнения озадачивали.

Малолетки решили сами проверить. Олег вызвался помочь баландеру, раздававшему на этаже, где помешалась 124 камера, и принес любопытный документ. Записка, адресованная «мужикам 145 хаты», убеждала не верить слухам и злым языкам, которые разносят всякую ерунду о 124 хате, и воздавала многословную хвалу Феликсу. Текст скреплен двумя десятками подписей. Феликс страхуется. Сочинил сам или по его поручению, а собрать подписи в покорной, затурканной камере «королями» ничего не стоит. «Очко заиграло, — удовлетворенно отметили малолетки, — теперь притихнут». Но возник вопрос: как быть с Феликсом? Допустим, придет он сюда: как с ним разбираться, кому верить? Двадцать подписей в его пользу нельзя отмахнуть, а как они добыты: угрозами или добровольно — надо еще выяснить, после этой записки приходили новые люди из 124-й и наше предположение об обстоятельствах ее появления подтверждаюсь. Кое-кто не помнил, чтобы ставил свою подпись, другие признавали, что по просьбе «королей» подписывали, не читая, третьи настаивали на том, что в камере все нормально и лучше Феликса зэка нет. Выяснилось, что когда «короли» услышали про разборки на осужденке, прекратили отбирать дачки и лари, а Феликс объявил о своей отставке и назначении другого старшего по камере, у него близилось окончание суда, прохождение через осужденку, этап, пересылку, где он чувствовал, придется делать «королевский отчет». То, что безобразия прекратились, — хорошо, но это не снимало ответственность за прошлые грехи, которые не отрицались даже теми, кто боялся и не хотел говорить.

— Если отбирали дачки, на ваших глазах били Журналиста за жалобы по делу, — как вы можете называть это нормальным и подписывать такую бумагу? — спрашивали мы людей из 124-й. Малолетки еще короче: «За слова отвечаешь? А за подпись?» Вначале хотели лупить всех подряд, кто подписывал хвалу беспредельщику Феликсу, но в основном это были напуганные, растерянные люди и было жалко: там их замордовали да мы добавим, нет, пусть лучше оглядятся, узнают, что такое нормальная хата, ведь они, кроме «королевского» беспредела,

ничего не видели и думают, что везде так. И правда, многие только сейчас, попав в осужденку, начинали понимать недопустимость насилия одних зэков над другими, недопустимость каких бы то ни было «королей». Малолетки преподавали правила зэковского общежития.

Противно и стыдно смотреть на это взрослое стадо, пацаны объясняли взрослым людям, многие из которых имели своих детей, что никто не вправе безнаказанно обижать невинного человека, что мириться с произволом нельзя, что надо отвечать за свои слова и поступки. А взрослые поддакивали и словно впервые открывали для себя, что эти простые правила меняют жизнь к лучшему, становится легче дышать. Они не знали, оказывается, что надо уважать себя и отстаивать свое мнение, свое достоинство, что нет ничего позорнее трусливого рабского подчинения рабам же, что уступка наглости и произволу не смягчает, а наоборот, усиливает произвол. Забитые, разобщенные взрослые люди отличались от принципиальных, сплоченных малолеток. Насколько очевидно нравственное разложение взрослых, настолько обнадеживали малолетки — может, это поколение обещает поворот к оздоровлению от затянувшейся тяжелой деградации? Так ли это? Хватит ли ума и духа у этого ближайшего поколения? Трудно быть уверенным. Оно само еще нуждается в руководстве, немало органических пороков и мусора несет в себе и это поколение. Но я открыл в нем развитое чувство справедливости, это чувство в основе нравственного поиска малолеток — это вселяло надежду. Инстинктивное стремление к справедливости может вывести на правильную дорогу. Пробьется ли оно через железобетон казенной демагогии, не захлестнет ли корысть, не погибнет ли в других стремлениях, увлекающих молодежь и приведших, в частности, в среду уголовщины — трудно сказать. Добрые идеальные намерения противоречиво переплетены со стремлением поживиться за чужой счет, с воровством, с садизмом жестокого хулиганства и беспричинного избиения обыкновенных прохожих.

Малолетки сидели в основном за воровство и хулиганство. И отнюдь не по случаю. Олег попался на шапке, сдернутой с пожилого прохожего, но эта шапка была у него не первая. Алеша-рыжий спокойно рассказывал обстоятельства своего дела, состав которого заключался в том, что они зверски избивали одиноких прохожих.

— За что?

— Просто так, от скуки.

— Как же так: здесь ты борешься с беспределом, на воле сам над невинными людьми издевался?

— Пусть под руку не попадают, не повезло, значит, — ухмыляется Алеша и поясняет серьезно: — На воле не я хозяин: то нельзя, это нельзя, поэтому я плюю на всех и что хочу, то и делаю. А камера — мой дом, тут все свои, поэтому надо жить правильно.

Сложными зигзагами пробивается у них чувство справедливости. Пример извращенной нравственности в условиях социального бесправия. Протест одного против всех в своей безысходности принимает уродливые формы, порождает бессмысленную жестокость. Что сделает с ребятами жизнь: научит ли чему или изуродует так, что не останется и следа от добрых побуждений? А что она сделала с другими ребятами, достигшими ныне половой, паспортной, аттестованной, дипломированной зрелости, с теми, которые сейчас в качестве взрослых составляют основную массу нашей камеры? Эти взрослые настолько прогнили, что пацаны, дети учат их уму-разуму. А ведь тоже когда-то бродила кровь и были добрые цели. Не та ли участь ждет и нынешнее поколение? Чему научит тюрьма? Уголовная среда, репрессивная администрация, массовая вербовка оперативных «коз» делают то, что люди получают здесь больше негативного опыта, внедряется психоз всеобщего недоверия и в этом уксусе утрачивается в человеке и то доброе, с чем он сюда пришел. Тюрьма и лагерь ломают человека. Не исправляют, как значится на фасаде этих учреждений, а ломают, калечат, убивают веру и уважение не только к людям, но и к себе. Стойких и сильных разобщают между собой, морят в карцерах и лагерных казематах, менее стойких вербуют в сексоты, из слабых, вообще, веревки вьют, растаптывают каблуками продавшихся зэков. Вот что ждет наших малолеток, тем любопытнее было наблюдать их первые шаги: с чем ушли они с воли, как начинают тюремную жизнь.

Бросается в глаза ненависть к ментам, неприятие власти и официальных ценностей и идеалов. На воле они пережили кризис разочарования в том, чему их учили взрослые в школе и дома. Этот кризис толкнул на преступность. После ареста, КПЗ, общения со следователями, ментами и правосудием у подавляющего большинства не раскаяние, а нечто прямо противоположное: неприятие официальных норм вырастает до лютой ненависти ко всему, что относится к власти. Отвращение ко всему красному — цвету государственного знамени и пионерских галстуков, принципиально не курят «приму» — пачка красного цвета. Не носят и не принимают в передачах вещей с преобладанием красного. Мать приходит на свидание в красной кофте или платье — сын отворачивается и уходит. Малолетки и

вообще молодежь любят колоться. Среди наколок популярны свастика, фашистские погоны, женщины в фашистской форме на голое тело, надписи вроде «раб КПСС» или нас триста лет татары гнули — не могли согнуть, коммунисты так согнули — в тыщу лет не разогнуть».

В камере колются так. Жгут резиновые каблуки, полученную сажу разбавляют водой или какой-то смесью и тычут иголкой по рисунку на коже. Больно, кожа взбухает на несколько дней. Колются в темном углу, подальше от «глазка», чтоб контролер не заметил — строго запрещено. Надписи типа «раб КПСС» или «СССР — тюрьма народов» администрация выжигает или вырезает в санчасти. Говорят, что часто не замораживают, чтоб было больнее и неповадно. Видел я большие глянцевые пятна, остающиеся после удаления кожи, и на груди, и на руках, даже на лбу. Сталина и Ленина на груди не вырезают. Распространено накалывание перстней на пальцах, чаще символических — этот, мол, воровской, этот означает принадлежность еще к какой-то масти, колют «спи» на веках, «сын преступного мира» вокруг шеи, «по дорогам» — на одной ноге, «преступного мира» — на другой, часто видишь кресты, женщин, купола церквей или мчится тройка на всю спину. Зачем им все это? Говорят: красиво. Многие просто обезьянничают, лишь бы чем-то себя занять, иногда доходит до мазохизма. Был среди малолеток Гешка, чудаковатый, простой парень, предмет постоянных, но беззлобных насмешек. Любимое его занятие — ковырять себя. Забьется в укромное место и то колется, то расковыривает, что наколол. Руки, ноги постоянно в болячках. Тычет по наколке огнем сигареты, запах паленой кожи, тычет не до волдырей, а до открытых горелых язв и не морщится. «Зачем, Геша, колешься, если потом выжигаешь — ведь больно?» «А хули делать? Закаляйся, как сталь», — мазохистски отшучивается Геша».

Впрочем, не все малолетки кололись. Олег, например, не портил свою нежную ребячью кожу. Даже среди сверстников он был мальчишкой. Носится по камере, вечно заводит споры, разговоры. А то будит меня часа в три ночи: «Профессор, Профессор! Какая скорость звука?» Продираю глаза, а они сидят рядом кружком, коротают ночь — лясы точат. По их мнению человек в очках, «профессор», все должен знать. Рявкаю, чтоб не будили по пустякам. Сон в тюрьме свят, человек забылся, ушел от кошмара тюремной камеры — возвращать, будить без нужды нельзя. Они как — будто согласны, но что поделаешь, если их сидит четверо и у каждого своя скорость звука? Конечно, находиться с ними в постоянном общении утомительно. Но досада с лихвой перекрывается тем интересом, с которым я

наблюдал новое, загадочное поколение, вселяющее то надежды, то огорчения. В этом возрасте они способны на все хорошее и все плохое. Ни в чем другом сейчас они так не нуждаются, как в ненавязчивом авторитетном руководстве. Дай им сильную руку и они пойдут за тобой в огонь и в воду. Но никто им руки не подавал, за собой не вел, молодая энергия нередко переходила в агрессию по любому поводу, а это беда. Прошлый раз в этой камере малолетки зверски избили человека.

Завели со сборки, после суда, группу новеньких. Обычно решается кому куда, спрашивают, где сидел, за что судили, сколько дали — от этого зависит, захочет ли кто потесниться и положить рядом, а если выясняется, что «чуханутый», например, парашу в камере мыл, то на пол без разговоров. Малолеткам, естественно, больше всего дела, слетались к вошедшим, и вокруг шум, возмущение — что такое? Оказывается, один человек по 120-й — развращение несовершеннолетней. Статьи от изнасилования до мужеложства, от 117 до 121-й, зэки не любят и допрашивают с пристрастием, приговор пошел по рукам. «Баб мало! Женатый, сука! Девчонке 14 лет»! — раздались выкрики, и вся малолеткина рать набросилась на мужчину. Били ногами, кулаками, маленький и юркий пацан, которого звали Башкир, ломал об него швабру, старались угодить в пах. Человеку было около 40, интеллигентного вида. Сносил удары покорно, без звука, охая лишь от особо болезненных. Лицо разбито в кровь, согнулся от боли, заметался, но всюду настигает град кулаков и ботинок. Взрослые почти не участвовали, смотрели молча, пацаны уже сами устали, переводят дух, бегут туда, где читают приговор, — снова взрываются и бьют, и бьют человека. Он еле держится на ногах, ни одного живого места на теле. В паузах потянется к крану кровь смыть, а его пинками к сортиру. Глаза заволокло, видно, что избит уже до бесчувствия. «В параше мойся», — толкают голову в унитаз. Хватит, кричу, совсем его опускать, он уже получил свое — куда там! «Он наших девчонок насилует, баб ему мало — ты за кого заступаешься?» — взбудоражены, ничего сейчас не докажешь. А человек под ударами, под злорадный писклявый вой черпает из унитаза воду и тяжело обмывает осоловелое, вспухшее лицо. Беру два папиросных листа, на которых отпечатана копия его приговора, и что же? — никакого насилия. Четырнадцатилетняя девица в течение года, два или три раза сама приходила к нему на квартиру. Мать ее как-то узнала и подала заявление. Медицинская экспертиза установила легкие повреждения краев влагалища. О девственности и половом сношении в приговоре ни слова, очевидно, кроме игры и ласки, ничего между ними не

было. Девица в 14 лет уже прекрасно знает, что к чему, на что идет, сама приходила к нему домой — кто кого совращал? Человек работал инженером, дали три года — за что? За что сейчас его бить? Когда малолетки поостыли, им возразить было нечего. Но дело сделано, гнут свое: «На хуй девчонок трогать? Баб вон навалом». Но без прежней уверенности, оправдываются. Разобрались бы пораньше, и побоища не было бы. По тому, как он молча и покорно сносил, видно было, что бьют его не впервой, а теперь еще жизнь испортили: застрянет теперь на параше и где-нибудь на пересылке изнасилуют. Превратности судьбы: одного ни за что «опускают», другой же всю жизнь сидит, всю жизнь стучит, кажется, давно бы «козла» убили — и ничего, каким-то чудом проносит. Кому как повезет. И что характерно: карты или колется кто — контролер заметит и учинит разнос, а тут рев, шум, убивают человека у самых дверей — и даже ключом же стукнет, наблюдает в «глазок» — спектакль для него. Воспитание коллективом, по Макаренко.

Рассказал я про этот случай нынешним малолеткам — как с их точки зрения? Единодушны: «Так и надо! Чтоб наших телок не трогал».

— А если ваши «телки» сами к мужикам ходят?

— Все равно!

Ставлю вопрос иначе: «Возьмем любое преступление. Человек наказан по приговору, перед вами ни в чем не виноват. Менты наказывают, а вы добавляете — заодно с ментами?» Как возмущены! Как я могу так оскорбительно спрашивать? А крыть нечем. Кто-то сказал неуверенно: «Менты — за свое, мы — за свое». Но сколько случаев, когда женщины, даже жены из мести или корысти обвиняют мужчин в изнасиловании. При желании любой бабе ничего не стоит посадить мужика. Или девчонка пошаливает, а мать заявление пишет — при чем тут мужчина? За что избивать человека? Ребята согласны — да, сначала надо разобраться, нельзя бить подряд только за статью. Но убедить их совсем не наказывать по этим статьям, так как человек уже приговорен, — невозможно. «На словах правильно, — говорит обиженным голосом Олег — а если он маму или сестренку мою изнасиловал: что я, смотреть на него должен?»

Впоследствии, на свердловской пересылке, видел я среди «петухов», т. е. педерастов, которые высовывались из-под нар только для уборки камеры, одного забитого парнишку. Говорили, что его «опустили» за то, что он изнасиловал двухлетнюю девочку и мальчика лет пяти и отрубил им на руках пальцы. Зэки набрасывались на него с яростью. Обыкновенного вида парнишка, его преступление в голове не укладывалось, удары по нему

больно потрясали меня, но жалости не испытывал. Знал по зоне другого парня, он был из Москвы и сидел по 117-й, за изнасилование. Надо сказать, что и без 117-й на уральских зонах москвичей не любят: «прилетели к нам грачи — пидарасы москвичи». Тем не менее, этот на зоне был один из самых блатных и уважаемых. Как же он выкрутился? Говорили, что ему «пришили» статью, на самом деле он не насиловал. Значит, разобрались, кто-то замолвил авторитетное слово. Ему повезло. Но он шустрый, может, и сам отвертелся — многое от самого человека зависит. С мужеложством вопрос решается проще: если активный, то молодец — свой человек, если пассивный, то пидарас — снимай штаны. Если из приговора не ясно, в этом случае судьба зависит от того, кто как назовется. Правда, я не знал ни одного по этой статье среди мужиков, все они оказываются в пидарасах. Никто из них почему-то не отрицает своих пассивных способностей.

В общих камерах много всяких условностей, у малолеток еще больше, и блюдут они свои правила и обычаи строже. Взялся за половую тряпку — «черт», коснулся рукой параши — «чуханулся». Нельзя касаться, выносить помойного ведра, которое называют «Аленка». (Кое-где иногда называют другим нежным именем, например, «Светланка».) Был среди малолеток рыхлый, крупный, вареный какой-то парнишка Андрюша. Он был чуть старше их, побывал у взрослых на Пресне, кстати, в той же 410-й камере, где борзел Спартак. В той камере он сидел до меня и первый вопрос: «Как там Спартак?» Я в свою очередь любопытствую, правда ли, что Спартак шестерых беспредельщиков укоротил? Андрюша кивает головой: да, правда, он любит разборки наводить. Тогда я рассказал о наших со Спартаком отношениях. Андрюша согнал улыбку, очень удивлен: «Не знаю, по-моему, Спартак путевый». Да, Спартак умел производить впечатление на таких, как Андрюша. Надо иметь репутацию блатного вора, чтобы иметь право на всякого рода разборки. И Спартак ловко вешал, как говорится, лапшу на уши непосвященным.

Впоследствии я не раз обсуждал с авторитетами различных режимов ту ситуацию, которая сложилась у меня со Спартаком, — никто не поддержал его обвинений.

Андрюша спокойный, добродушный парень, ни во что не лез. В осужденке давно, поэтому занимал достойный шконарь и место за столом, где сидели главные малолетки, ну и я, поскольку оказался в их семье. Но малолетки невзлюбили Андрюшу. Когда ищут повод, чтобы придраться, такой повод всегда находится. Однажды за столом обвинили Андрюшу в том, что он доставал из «Аленки» веревку и, кроме того, сел вместе со всеми за стол с

немытыми руками. Андрюша божится, что веревку не брал руками, а только посмотрел, но кто-то из малолеток утверждает, что своими глазами видел, как Андрюша конец этой веревки в рот брал, когда что-то ею завязывал. Андрюша чуть не плачет, говорит, что завязывал другой веревкой. Ему не верят. Предлагается изгнать Андрюшу из-за стола, из семьи и переместить с почетного шконаря на рядовые пары. Невесть какое наказание, но Андрюша уже видел разборки и знал, что уступить — значит потерять репутацию путевого зэка. Если начнут опускать, то могут опускать и дальше, не отмоешься, и потом придется оправдываться и объясняться в каждой камере. Андрюша решительно встает из-за стола. В одной руке самодельный нож, другой оттягивает толстую складку на горле: «Мужики, последний раз говорю: не брал я веревку. Блядь буду, если не верите, сейчас вскроюсь!» Все сидят и молчат. Андрюша так и сделает, такими вещами не шутят. Из-за чего? Из-за пустяка. Может, нарочно его оговаривают, а может, кому-то показалось, что он лез в ведро? В любом случае повод слишком ничтожный для наказания и кровопускания. Гляжу на ребят, они смотрят, будто поощряют: «Ну, давай, чего тянешь?» А он вот-вот полоснет. Не выдерживаю: «Вы что, с ума посходили? Ну-ка, Андрей, убери нож!» Возражений не последовало. Ребята встают из-за стола и расходятся. Значит, обвинение снято и Андрюша может оставаться на своем месте. Он убрал нож.

Так воспитывает тюрьма. Кто прошел малолетку и там не «опустили» — школа на всю жизнь. Из их зверинца выходят крепкие, бесстрашные, закаленные ребята. И жестокие: бей других, чтоб тебя не забили. В таких условиях нужен сильный характер, чтоб за себя постоять. Действительно — выживает сильнейший. Всем взрослым в камере, особенно таким, как Журналист, хороший урок, как надо защищать свою честь и достоинство. Андрюша и тот понимает, что есть вещи дороже жизни, без которых лучше совсем не жить. Трудно вернуть репутацию, если однажды ее утратишь.

Но есть люди, которым хоть кол на голове теши, — ничто их не научит. Много в тюрьме откровенных дебилов, дурачков — о них и говорить нечего: под чье влияние попадут, так и делают. Я имею в виду других, тех, кто считает себя умнее всех, кто, несмотря на жестокость зэковской расправы, все-таки продает себя и других ради выгоды. Почти в каждой камере есть такой, а то и несколько. Мы думали и гадали: откуда в 124-й камере узнали, что она занесена в черный список беспредельных, что ее называют «козьей хатой» и что «королей» и особенно Феликса с нетерпением ждут в осужденке? Их кто-то предупредил без

нашего ведома. После этого стали приходить оттуда «королевские» заступники вроде того парня, накинувшегося на Журналиста, после этого подготовлена оправдательная записка с подписями, которую отдали потом Олегу.

Подозрение упало на говорливого седого еврея, переведенного из подмосковной Каширской тюрьмы. Произносил он «Кашира», картавя на «р». По его словам, в «Кашире» он работал каким-то торговым администратором, посадили за хозяйственные махинации и очень возмущался и жаловался на то, что перевели его зачем-то в Москву, на Матросску. Был он в летах, сухой и подвижный. Первым рвался разносить бочки с баландой и чаем по этажам. Сначала ходил с кем-нибудь в паре, потом все чаще один, потом стал пропадать целыми днями и даже приносил чай. И почему-то сразу ко мне с докладом: где был, какие менты, какие новости. Надоедал иногда нестерпимо. Но зла вроде не делает, человек пожилой, пусть бегает. Когда началась заочная разборка и переписка со 124-й, зачастил он со своим мнением о том, как хорошо сейчас в той камере, что Феликс тише воды, ниже травы, он целыми днями на суде, и мы, наверное, зря плохо думаем о такой замечательной камере.

— Откуда ты знаешь, что там есть и что было?

— Я там баланду раздавал, ментов как раз не было, со всеми мужиками говорил.

Звали его Миша. Странно: чего он за них так заступается? О чем он чешет целыми днями с ментами? Перед моим уходом из камеры пошли о Мише нехорошие разговоры. Когда очутился на сборке, люди из разных камер спрашивали: знаю ли я седого старикашку из осужденки? Как не знать, а что?

— Козлище! Как вы его там терпите? Вся тюрьма про него говорит.

А что конкретно? Никто, разумеется, не знает, о чем конкретно он с ментами беседует, но, говорят, он сам, как мент, — открывает кормушки любой камеры, вопросики задает, может чаек пообещать, а потом из камеры кое-кого выдергивают. «Кое-кто, кое-кого» — не доказательство. Сборка в одном коридоре с осужденкой, вскоре узнаю, что Миша выломился. Побоялся заходить в свою камеру. Вещички ему в дверь покидали и вдогонку: «Козел!» Больше его не видели. Что ждет такого человека в тюрьме? Ничего хорошего. Он это прекрасно знает. И, тем не менее, продается ментам в надежде, что при его изворотливом уме всех обманет и выйдет на свободу раньше, чем раскроется. А если наоборот, как случилось с Мишей: раскроют раньше, чем выйдет? Что тогда?

# Протокол и первое свидание

14 апреля меня вызвали наконец для ознакомления с протоколом суда. В кабинете за столом прилично одетый молодой человек. Подает IV том дела, где протокол: «Ознакомьтесь и распишитесь». Но почему так долго? Зачем ради этого переводить опять на Матросску, почему нельзя было ему приехать на Пресню? У молодого человека каша во рту, бормочет невнятно: «Некогда… болели… нам удобнее сюда, Пресня дальше». Два с половиной месяца им было некогда сделать то, что должны были сделать не позднее трех дней после суда. А что такое перевод в другую тюрьму? Мотаешься по сборкам здесь и там, тут все сдаешь, там принимаешь, гоняют воронок, конвой, возня с бумагами — всем нервотрепка, у меня голова кругом, прощай передача и ларь: ведь родным не сообщают о переводе, приезжают сюда, потом туда — большое удовольствие мотаться по тюрьмам; и деньги идут по два месяца: пока дойдут до Матросски — я снова на пересылке, пока обратно — меня уж на зону, надолго лишаюсь ларя. И все это наказанье лишь потому, что мелкому клерку из Мосгорсуда удобнее приехать на Матросску, чем на Пресню, — на 15 минут короче.

Протокол — сорок с лишним листов, исписанных с обеих сторон крупным, четким почерком старшеклассницы. Похоже, написан с черновых записей, сделанных во время суда девчонкой-секретаршей, но как она это сделала! Безграмотно, масса грамматических ошибок и стилистических нелепостей, пропуски и искажения — по такому протоколу нельзя составить сколько-нибудь объективного представления о судебном заседании. Велась ли магнитофонная запись? Открыто — нет, что-то не верится. Если б запись была, могли бы проверить секретарскую абракадабру и устранить хотя бы нелепости. Очевидно, не только этого не было, но ни судья, никто не удосужился даже прочитать то, что написала секретарша. Уму непостижимо: как можно так относиться к протоколу суда — единственному документу, отражающему ход процесса? Неужели он не играет никакой роли, не имеет ни для суда, ни для дела никакого значения? А если процесс велся предвзято, с нарушением процессуальных норм? Где это еще может быть зафиксировано, если не в протоколе суда? В случае процессуальных нарушений приговор может быть признан недействительным, тогда вышестоящая инстанция передает дело на новое судебное разбирательство. Но разве сам этот неряшливый протокол — не нарушение?

Отчего же такая безалаберность? Объяснение только одно —

судья Байкова уверена в своей безнаказанности, как и в том, что в протоколе не может быть ничего, компрометирующего суд. Секретарь — один из членов суда, поэтому версия заседания излагается своим же сотрудником, как это надо делать — наверное учили девчонку прежде, чем доверять протокол. В результате искажены и пропущены многие показания, не зафиксированы многие реплики судьи. Нет, например, моих показаний о том, что рассказ «Встречи» восемь лет назад был возвращен мне милицией, не нашедшей в нем криминала. Нет показаний Наташи о хамском поведении следователя Воробьева и о ее заявлении по этому поводу, отправленном прокурору Москвы. Нет в протоколе реплики Байковой по поводу истребованного моего заявления прокурору Дзержинского района о нарушениях уголовно-процессуального кодекса следователем Кудрявцевым. Байкова сказала, что не видит в этом ничего предосудительного, и не стала зачитывать заявление. Совершенно упущены обстоятельства, связанные с последним словом, которое фактически мне не дали сказать. При такой «стенографии» судья и прокурор могут позволять себе что угодно, любые нарушения процедур, зная, что это не попадет в протокол. В деле останется только та версия суда, которую напишет сам суд. Без магнитофона протокол не поддается проверке и, как я убедился, может быть столь же тенденциозен, как и само судебное разбирательство.

Однако на протокол можно дать замечания, его можно опротестовать. Замечания по закону должны быть рассмотрены Мосгорсудом, который даст мне на них официальный ответ. Если будет так, как положено по закону, то можно надеяться на отмену приговора и пересмотр дела новым составом суда. Не по этой ли причине Байкова не хотела знакомить меня с протоколом? Не рассчитывала ли на то, что в передрягах пересылки я долго не выдержу и напишу кассационную жалобу, утратив надежду на ознакомление? Другой причины столь продолжительной задержки я не находил. Протокол привезли лишь после того, как я начал писать жалобы на задержку с ознакомлением. Значит, судья все-таки опасается замечаний? Этот оптимистический вывод вдохновил меня на обстоятельный анализ каждой протокольной страницы.

Молодой человек, видя, что я настроился на серьезную работу, скучно посмотрел на свои электронные импортные часы с крупными ребрами модного стального браслета и сказал, что в его распоряжении час-полтора. Я ответил, что закон не ограничивает времени на ознакомление и буду работать с протоколом столько, сколько потребуется. «Продолжим в другой

раз, — недовольно проворчал молодой человек, — сейчас мне действительно некогда».

— Но как вы можете тянуть два с половиной месяца и приезжать с этой галиматьей, которую называете протоколом, на час?

— Это не от меня зависит.

Перед уходом я спросил его: когда он будет в следующий раз?

— Думаю, вам привезут протокол завтра или послезавтра. А теперь подпишите, пожалуйста, акт об ознакомлении.

— С удовольствием, когда ознакомлюсь окончательно.

— Но надо сейчас, мы вас не обманем.

— В следующий раз.

Он не пришел ни завтра, ни послезавтра. Я извелся ждать. Очевидно, так много времени тратят на беззакония, что некогда выполнять закон и свое же данное слово. Меня вызвали только через неделю, т. е. еще неделю я не мог отправить кассацию.

На этот раз приехала сама автор протокола — тоненькая девушка без тени смущения подает мне свое бесподобное произведение.

— Что же вы тут понаписали? — спрашиваю ее.

— Я точно записывала, как было.

— Но ведь не мог же я говорить, что меня взяли под стражу 22-го, когда это случилось 19-го? показываю ей лист дела — 25 тома IV-го. — Как мог свидетель Герасимов говорить об инциденте 1979 г., когда это было десять лет тому назад? — показываю лист 50-й.

Девушка пожимает плечами и застывает недоступно и невозмутимо. Я за столом, приставленным торцом к ее столу, сажусь боком к ней. За полдня не проронили больше ни слова. Я скоро забыл о ее присутствии, спешил, хотелось сегодня кончить, чтоб ускорить кассацию и избавиться от смертельно надоевшей волынки по камерам, вдруг скажет, что ей тоже некогда — сколько протянется «следующий раз» и будет ли он? Нет, надо успеть, пока протокол на руках. Выписываю двадцать грубейших искажений в показаниях и три существенных пропуска — они имели принципиальное значение и легко могли быть установлены. По каждому пункту я цитировал протокол и писал замечание. Например, последний 20-й пункт протокола: «Следствие носило тенденциозный характер. И все, что было на самом деле, получило огласку, правдивую огласку, только здесь, в зале суда» — л. д. 63 об., т. е. обратная сторона 63-го листа дела. Через тире пишу замечание: «Судебное заседание имело не менее тенденциозный характер, поэтому несмотря на то, что весь

состав суда (кроме адвоката) были женщины, я не мог сделать суду такого комплимента». Было ясно, что протокол никуда не годится. Вечером я написал замечания и кассационную жалобу, которые отправил утром на следующий день, 22 апреля 1981 года. Замечания — в Мосгорсуд, кассацию — в Верховный суд РСФСР.

Через два-три дня приехал Швейский. Он ознакомился в республиканском суде с моей кассационной жалобой и привез свой вариант. Надо же — уже ознакомился, молниеносно дошло. Швейский доволен текстом моей жалобы. Его жалоба всего со страничку: не виновен, дело прекратить. Я тоже доволен. «Но вы понимаете, что практически надеяться не на что?» — спрашивает Швейский. Я не строил иллюзий. По особенностям своего дела я ничего не исключал, но готовился сидеть.

— Как вам понравилось мое выступление? — улыбнулся Швейский.

— Честно сказать, не слушал — дописывал последнее слово по речи прокурора.

— А молодец она, правда? — сияет. — Талантливая речь, без грубостей, как обычно у других прокуроров.

— Мясников не просто оклеветал — он «глумится», очень талантливо! — ехидничаю. А в голове и то, что Наташа Величко с Гавриловым оклеветала, и то, что Мясников — жертва болезненного самолюбия, он и на суде позирует перед друзьями, и злой высверк коричневых глаз, когда ответил на ее трюк с вопросом об эксплуатируемых трудящихся.

— Ах, слышали бы вы, как выступают другие прокуроры! — вздыхает Швейский. — Это была самая интеллигентная речь, которую я знаю на подобных процессах.

После кассационного суда он обещал еще раз навестить меня. Мы были одни — я протянул ему две тетради Последнего слова и несколько густо исписанных листов лефортовской статьи «Экономические причины преступности». Он вопросительно смотрит на меня, палец к губам и показывает наверх, в потолок, подает чистый лист. Я пишу: «Передайте Попову или моей жене». Он на этом листе размашисто: «Только на хранение, у себя». И вслух: «До вашего возвращения. Сейчас вам все равно не понадобится». Мне-то не понадобится, но я рассчитывал опубликовать, чтоб не зря сидеть три года. Но выбора не было. В тюрьме рано или поздно изымут, другого способа кому-либо передать не предвидится. Хоть на хранение. Этого я не говорил, только кивнул Швейскому и спросил относительно обвинительного заключения, которое он взял у меня перед судом: не отдаст ли? Отвечает, что обычно обвинительные акты своих

подзащитных оставляет у себя, но, если мне понадобится, он сохранит и отдаст по концу срока. Показывает на тетради, которые я брал с собой: «Когда сюда шли, при обыске не считали?» Опасается, что заметят недостачу тетрадей. Нет, не считали. Согласился взять записку для Наташи при условии: чтоб ничего лишнего. Написал ей только то, что она свободна. Буду нести свой крест сам, до конца, и очень благодарен ей за поддержку, но, если ей трудно, пусть не мучается, пусть ничего не делает через силу, против желания. Как бы ни сложилось у нас в дальнейшем, я буду ее любить и помнить все, что она сделала для меня доброго.

На последней нашей встрече, на Пресне, Швейский скажет, что Наташу моя записка обидела и она просила передать, чтоб больше я так не думал и так ей не писал. Впрочем, через пару дней она все скажет сама, на личном свидании здесь, на Матросске.

Это свидание было полнейшей неожиданностью. Ознакомление закончено, с адвокатом поговорил — жду этапа обратно на Пресню. Вдруг вызывают. С вещами? Без. Кто, куда? Ведут длинным подземным переходом, как в баню ходим. (Кстати, пока я был на Пресне, баня на Матросске стала еженедельной, а была раз в десять дней.) Переход в другой корпус. Но и там еще куда-то. По пути присоединяются другие зэки, с разных сторон поодиночке. Что за команда странная, куда ведут? Кто-то произнес слово «свидание». Шутка? Да нет, серьезно. Один говорит, второй, остальные, как и я, растеряны — не верят счастью. Идем по верху, по застекленному переходу, никогда здесь еще не бывал. В окнах зелень деревьев, где-то улица рядом. Похоже на правду. Ног не чувствую, горю, будто бензином облили. Не все разделы кодексов проштудировал — не предполагал, что до зоны могут разрешить свидание. Конечно, все от судьи зависит, но разве мог я ждать милостей от Байковой? Неужто разрешила? И с кем? Кто выпросил?

Сгрудили нас по нескольку в разных малюсеньких камерах — что-то вроде групповых отстойников. Стоим закуриваем. Тут стукнуло, что не прихватил карандаша и бумаги. Обычно всегда беру на вызов, а сейчас не ждал, не гадал. Выручили: кто-то дал огрызок карандаша, вырвали листок из записной книжки. Ну, теперь готов. Из соседнего блока выпустили. Перетаптываются, как перед стартом, и говор, от какого отвык, — звенящие нотки радости в голосах. «Тише!» — тоже не совсем обычно, не кричит, а как бы увещевает надзиратель. Слышим — пошли. И оттуда: «Мама!», «Света!», «Брательник!». Лязгает ключ уже в нашей двери, контролер в сторону, и мы — у порога зала свиданий.

Отводят по одному, каждого в свою кабину. Слева — спины зэков, прильнувших к телефонным трубкам, против них, через толстое стекло, тоже на телефонах — плачущие и смеющиеся, молодые и пожилые, мужчины и женщины. Иду вдоль ряда, глаз не свожу со стекла — кто же ко мне? Кабины за две впереди вижу: трепещет рука косым крылом, и Наташа на цыпочках, словно летит через стекло и кабины навстречу. Бегом, в два прыжка к ней, руками стекло пластаю, не соображаю, что делаю, дотронуться, что ли, хотел? Она необычайно красивая, родная моя, плещет озерами глаз и смеется, что-то тараторит и показывает мне головой и руками. Ничего не слышно. Догадался посмотреть перед собой, куда она показывает, — ба, телефон! Будь он проклят, поговорить по-человечески не дадут! Трубку к уху: живая вода Наташкиного голоса.

Ну о чем мы с ней говорили? Толком не помню. Волной накатило, потом схлынуло, почти все из памяти смыло. Только зрительно, как сейчас, она перед глазами стоит. Стройная, похудела, лицо острее, чем прежде, но как всегда изящная, и все-то на ней глаз радует, так близко ко мне, что кажется и через стекло вдохнул аромат ее тела с капелькой любимых ею французских духов. Серые вельветовые брюки, рубашка розовая, головка на длинной шее дрожит, как цветок. Лицо по-весеннему нежное, с первым поцелуйчиком майского солнца — и загаром не назовешь. Это солнце вкатывает в открытую дверь слева, сзади нее, откуда они пришли. И синева плещет, слепит — боже мой, как близок этот мир, откуда явилась Наташа, и как он далек и недоступен! Сердце щемило. Как мало мы ценим на воле то, чего нет дороже на свете: солнце и любимую женщину. Наташа торопится все сказать, увлекается, забывает о трубке, говорит прямо мне в стекло, я по ушам руками: «Не слышно», спохватывается, смеется смущенно и я слышу: «Лена приезжала, помнишь — из Киева?» «Да, — киваю, — помню», — жду, что дальше скажет. А дальше с пятого на десятое: «С работы сократили, ищу работу… Переехала к маме — меня выселили, прописку признали недействительной».

— Как, — говорю, — «недействительной»? Надо к прокурору. Зачем выехала, ведь площадь теряем.

Слезы, обида и мука в ее глазах:

— Куда мы только ни писали, были везде. Сначала удивляются, потом звонишь — говорить не желают. Как только узнают, по какой ты статье — круг замыкается. Ах, да чего там, ты даже представить не можешь: участковый с постели, в халате на улицу выгонял… — плачет. Смахивает слезы рукой, старается веселее. — Мама твоя приезжала, ходила к судье, просила

свидания, но уехала, не дождалась… Не волнуйся, у всех все в порядке. Все приветы передают. — И снова слезы и виноватая улыбка в ручьях. — Да что это я? Совсем нервы ни к черту… Ты-то как? Швейский был? Вещи тебе передавала — все получил? Что еще надо?

Ну и так далее, всего не помню. Говорила, что недавно судил ее товарищеский суд по новому месту жительства, у матери: «Собрались старички, посочувствовали, больше о тебе расспрашивали — никто не слышал про такие преступления, удивляются, что сейчас за это сажают. Ничего, поговорили и разошлись».

С пропиской у матери ее помотали. Оттуда выписали, здесь не прописывают, участковый грозит арестом за нарушение паспортного режима. Без работы уже седьмой месяц, не может устроиться. Мать сама пошла в КГБ, тряхнула памятью мужа, бывшего полковника КГБ, после этого сразу, без звука прописали. Господи, ее-то за что? Ну, изверги! И жаль ее до слез, и как помочь не знаю.

— Как ребята? — спрашиваю. — Не бросают тебя?

— Нет, что ты! Часто бываю у Олега с Наташей, и помогают чем могут, родные стали такие. У Филипповых постоянно, мама их только и признает. Чикины несколько раз звонили, приглашали.

— Ну и как они? — интересно, о чем между загранкомандировками Боб Чикин с Наташей разговаривает. Лицо ее опечалилось:

— Больше не пойду туда, Боб советует с тобой развестись.

Может, и не дурной совет, черт с ней, с печатью, лишь бы на пятки ей не наступали.

— Наташенька, делай как тебе лучше, я о том же писал тебе через адвоката.

Нахмурилась:

— Я разорвала эту записку, не пиши больше и не думай так.

— Свидание через минуту прекращается, заканчивайте! — голос ножом по горлу. Стиснул трубку, пальцы добела, не знаю, что еще сказать за минуту? А Наташа что-то пишет и мне через стекло: «Свобода» передавала. Открытки из Норвегии и от Вознесенской из ФРГ. Олег говорит: обзор твоих статей в английском «Экономисте».

Я скорописью на своем лоскуте: «Последнее слово и статья у адвоката. Возьми или скажи Олегу — пусть печатают».

— Да, да, хорошо, — машет головой и смотрит озабоченно: что еще успеть, не забыть в последние секунды. И снова обухом по голове: «Свидание заканчивается, расходитесь!»

— Лешенька, прости, что мы ссорились, — глаза влажнеют — нет ничего в мире прекраснее. — Я была глупая, сейчас корю себя.

— И ты прости, милая! Передавай всем привет! Целую тебя!

Расплакалась, но сияет, остатком силенок бодрится на прощание:

— Не думай ничего плохого. Я всегда с тобой, где бы ты ни был. Целую…

Враз оборвалось. Волшебная трубка пластмассово омертвела. Сзади контролер: «Расходитесь, время истекло». Наташа что-то говорит, целует пальчики и машет мне. Уношу ее в сердце, стонущем от боли за нее.

## Зэки и политзэки

В ту пору в камере был человек, с которым можно было отвести душу. И на воле встреча с ним была бы важнейшим событием моей жизни, можете представить: какой это был праздник в тюрьме! Чудо, без всякого преувеличения. Чудо из чудес, потому что в тюрьме таких встреч не бывает и не должно быть. Заключенных по 190 вместе не держат. Наши кураторы делают так, чтобы мы, постатейники, нигде не встречались, чтобы пути наши ни в коридорах тюрьмы, ни на этапах, не говоря уже о камерах и лагерях, нигде не пересекались. Восемь с лишним месяцев я жил час в час, бок о бок только с уголовниками или темными лошадками вроде лефортовского Дроздова. Ни одного близкого. Иногда начинало мерещиться, что сижу в темном погребе, кишащем тварями. Среди них хорошие и нехорошие, кусачие и некусачие, но в этой среде так мало человеческого, что часто чувствуешь себя словно среди крыс и насекомых. Встают перед глазами чудища Иеронима Босха. И вдруг дверь в этот погреб открывается и заходит улыбающийся человек. Так вошел к нам известный диссидент, и я благодарен тюрьме, которая нечаянно подарила мне дней десять общения с ним. Разве это не чудо? Я о нем обязательно расскажу, но сначала выскажу, что накипело по этому поводу.

Все же огромная разница между уголовными и политическими.

Содержание одного, годами исключительно в уголовной среде есть особое, изощренное изуверство над политическими заключенными. Строй уголовного мира определяют люди, живущие только для себя, для наживы. Воров сажают за то, что они берут. Политических — за то, что отдают. Саму жизнь готовы отдать людям, на благо людей. Уголовники жертвуют другими ради себя, политические жертвуют собой ради других. По отношению к жизни, к людям они на разных полюсах, но для властей одинаково преступны. Более того, политических власти карают строже, так сказать, с личной ненавистью.

Чем же они так страшны, политические? Вопрос возникает потому, что большинство из тех, кого молва относит у нас к политическим, вовсе не ставят задачи свержения и захвата власти, многие вообще не касаются непосредственно власти, поэтому, строго говоря, к политике они прямого отношения не имеют. Это социальные альтруисты. Это та категория людей, которая язвы и страдания общества переживает как личные язвы и страдания, чувствует собственную вину и ответственность за то

плохое, что происходит на их глазах, поэтому душа их и совесть не будет спокойна, если в меру своих сил они не будут делать все для того, чтобы помочь людям. Они просто не могут иначе, помните: «Не могу молчать!» Не власть их удел, а человек, не разрушение, а оздоровление и созидание. И не они виноваты в том, что стремление помочь человеку, не то, чтобы сделать его счастливым, а хоть облегчить жизненную юдоль его, власть рассматривает как покушение на власть.

Существование таких политзэков — ярчайшее доказательство античеловеческого, антинародного характера власти. Злоупотребления, нарушения ею же самой санкционированных законов и договоров — есть юридическое свидетельство преступного характера власти. Подобные методы управления содержат в себе состав преступления по законам управляемого государства. А когда в масштабах всей страны и десятилетиями — такое правительство, что бы оно официально ни декларировало, объективно ставит себя в положение злейшего врага своего народа. Ничто так не калечит, но разлагает, не одурачивает огромные массы людей, ничто так не тормозит общественное развитие, как преступные методы антинародного правительства. Ни одна мировая война не искалечила столько судеб, но унесла столько жизней, сколько искалечило и пожрало в своей же стране наше родное коммунистическое правительство. С лютым остервенением калечит и пожирает прежде всего совесть и мозг общества — честную интеллигенцию. Только ложь может видеть для себя смертельную опасность в правде, только подлость может уничтожать совесть и честь.

Не на любви и уважении, не народным избранием, а на подлости, лжи и насилии стоит такое правительство. Любит оно судить, да судимо будет. Осудит каждый порядочный человек. И чем это неизбежней, чем слышней близость народного суда, тем яростной огрызается власть, тем нетерпимее к людям, не принимающим ее. А это все честные люди, способные видеть то, что они видят. Вот почему власть так ненавидит, так истребительно жестока к честным людям. Вот почему они отнесены к разряду преступников. Для преступной власти социальный альтруизм опаснее уголовного эгоизма, лучший способ защиты — нападение. Судят, чтобы самих не судили, сажают, чтобы самим не сидеть. Себя не обелить, уже никогда не оправдаться, так единственный выход: на белое — черное. Нарочно валяют в грязи, мешают божий дар с яичницей: честных людей с бесчестной, нередко продажной уголовкой. Так сходятся крайности, этические полюса в одной камере. Изуверским насилием соединяют несоединимое.

Неестественность одинакового наказания и содержания за столь полярные вещи — за честь и бесчестие, за ум и глупость, за добро и зло, за альтруизм и эгоизм — поражают самих уголовников. Нередко выслушав меня, прочитав приговор, разводили руками: «Как ты сюда попал?» Но есть в искусственном соединении политических с уголовниками общая, органическая спайка: неприятие наказавшей и соединившей их власти. И те и другие чувствуют и сознают преступность самой карающей власти. Тюрьма лишний раз убеждает их в этом и порождает уже не просто неприятие, а личную ненависть к ментам и их правительству. Многие уголовники признают свою вину перед обществом, но не чувствуют себя виноватыми перед судом, перед властью, ибо считают, что их преступления — мелочь по сравнению с преступлениями властей. Власть куда более виновата перед ними, нежели они перед ней, поэтому они не признают ни суда, ни кары, не стыдятся и не прекращают своих преступлений.

Политические и подавно не видят за собой вины. Разве что не повезло, что родились в таком государстве. Это беда их, а не вина, а если вина, то не их, а родителей, которые думают, что производят на свет, а на самом деле в кромешную тьму, обрекая детей выстрадать это родительское заблуждение.

Сближение уголовников и политических на почве негативного отношения к власти очень облегчает участь последних в уголовной среде. Тут власть просчиталась. Официальная доктрина, заигрывая с уголовниками как временно оступившимися, ждет в ответ лояльности с их стороны. Расчет был — и методы оперчасти доказывают это, — затравить 1901 как собаками. По замыслу убиваются оба зайца: уголовникам внушают неприязнь, а лучше ненависть к противникам власти, а политическим — отвращение к уголовным, к народу, интересы которого они пытаются защищать. Не знаете вы народа и его интересов, не суйтесь не в свое дело, не мешайте нам, а то мы вас по попке, а народ — он бьет по голове. План жестокий и опять же преступный: запрещает закон натравливать одних заключенных на других. Официальное назначение оперчасти — профилактика правонарушений, в действительности она выполняет функции прямо противоположные. Если б этот план удался вполне, год на общем режиме политзэку казался бы дольше десяти лет строгой спецзоны. К счастью 190[1], «планов наших громадье» и в этом случае — не более чем попытка выдать желаемое за действительное. Мизантропический проект, несмотря на усердие тюремного и лагерного начальства, пока что не встретил единодушного одобрения зэков. Не все уголовники покупаются, и

политические в большинстве своем не пугаются. Единство в неприятии власти сильнее отталкивающих различий. По-прежнему живо среди основной массы уголовников традиционное уважение к политзэкам, о которое разбивается крепнущее стремление властей вбить клин между ними, дополнить «законное» насилие над инакомыслием «стихийным» насилием со стороны уголовников.

На том стоит оперчасть — воспитание через коллектив. Вербуют уголовников, создают «пресс-хаты» в тюрьмах, «козьи» отряды на зонах. Не миновать политзэку этих хат и отрядов. При этом всячески его изолируют от «путевых», или, как они называют, «отрицательных» зэков, для того и держат 190[1] по одному в камерах и на зонах, чтобы легче было окружить его «козами» и уменьшить контакт с общей массой. Плохо, очень плохо приходится нашему брату, когда операм это удается. И было бы еще хуже, если б «козы» сами всего не боялись. Знает «коза», что рога рано или поздно прорежутся, и тогда спасай опера сексота! Недавно сказали мне, что Спартака ухватили-таки в сборной камере и учинили разборку. Много чего на его хвосте, оказывается, еще с воли, с Бутырки, вспомнили ему и Пресню, в частности, наш с ним конфликт. Хотели Спартака «опустить», да были грузины и сказали, что сами с ним разберутся, но больше он так делать не будет. Есть «путевые» среди грузин, умеющие обломать рога, — им можно дать «козла на поруки». Бывает финал и похуже, и каждый сексот, как бы ни крутился, боится этого. Не так-то просто забодать политзэка.

И все же бодают. Из тысяч уголовников, из сотен камер всегда можно устроить одну-две, где политзэк попадает в лапы «козьего» беспредела. Московские тюрьмы особенно славятся. Душили меня, бьют сейчас Ходоровича, о всех не скоро узнаешь, но знаем точно: травят опера инакомыслящих зэками. И как далеко зайдут — неизвестно, ждать нужно чего угодно. На одного человека в камере или на зоне нетрудно найти несколько холуев, которые сделают с человеком все, что прикажут. И это действительно страшно. Дважды я стоял перед выбором: ломиться или убивать. С Феликсом не в счет: тогда я не думал убивать, а просто ушел из камеры. Но после того, как Спартак обвинил меня в том, что ушел, я понял, что этого делать нельзя — кому докажешь, ушел ты или выломился? Что тогда остается? Драться? Значит, быть битому, а битый и слабый всегда виноват. Значит, надо валить наповал. Впервые передо мной встала неизбежность убийства как единственного выхода из положения. Такой ценой испытывают опера нашу честь и достоинство. А какой это выход: раскрутка с приличным сроком из-за говна. И так и так — клетка. Но в

беспредельной камере ничего другого не остается: насилие можно остановить только силой, а силы нет, то ножом. Так поступают путевые зэки, политзэк обязан быть путевым: вступился за честь и человеческое достоинство, так и своего не теряй. Буковский высказался в том смысле, что, если бороться за права человека, то надо быть готовым сидеть. А подумаешь, как мы сидим, то быть готовым сидеть — значит, быть готовым убить или быть убитому. У него есть более емкая формула, охватывающая и права человека, и судьбу инакомыслия и каждого честного человека в нашей стране: «В Союзе одно право — право подохнуть, оставаясь самим собой». Тут нет преувеличения.

Первый раз пришла мысль об убийстве в камере со Спартаком. Выручила голодовка. Второй раз — на зоне, об этом потом, и всякий раз это было спровоцировано операми. Возможно, такой исход не входил в их расчет. Им надо унизить, сломать. Но ведь не могут же они не знать, чем заканчиваются острые конфликты между зеками! Значит, прямо или косвенно «воспитатели» из оперчасти провоцируют через своих сексотов не только конфликты и избиения, а вплоть до убийства.

Есть ли предел преступлениям власти? У произвола предела нет. Ни на воле, ни тем более в неволе. В неволе не столь страшны менты, сколько завербованные ими зэки. Это те же менты, их агентура, но еще более разнузданные в своей дикости и вседозволенности. Власть тычет носом: «Я — произвол? Ну, брат, значит, ты не знаешь, что это такое. Я покажу тебе настоящий произвол, после которого ты еще молиться на меня будешь». И вот через уголовку, через продажных «коз» — показывает, для того и ввели «легкую» статью 190[1] в 1966 г. при жизнелюбе Брежневе. Одного к уголовникам. На рога оперативных «коз». Вот тебе народ, вот тебе произвол! Через три года затошнит от народа, а воля покажется раем.

Однако не очень-то удается хищный проект. Основная масса уголовников поддерживает политзэка, а политзэк, в свою очередь, гнет свое, несмотря ни на что. Как и во все времена, кто идет за народ, не ждет сиюминутного понимания и благодарности от народа. Верно подметил поэт: «Вы всегда плюете, люди, в тех, кто хочет вам добра.» (Е. Евтушенко). Политзэк это понимает и готов ко всему. Узник совести — он несет свой крест потому, что не может иначе. Он уверен, что то, что он делает и думает, нужно не ему одному, а всем, в том числе и тем, кто этого пока не понимают. Никогда, ни при каких обстоятельствах гуманно мыслящий человек не ополчится против своего народа, против рода людского. Тот, кто несет в себе идею общего блага, не разочаруется в людях, ибо в них, в народе смысл его жизни,

который сводится к увеличению суммы добра, красоты, истины. Нет зла, которое переубедило бы его, — ведь в этом вся его жизнь и без этого смерть. Можно говорить о том, насколько угнетен, забыт, одурачен, замордован народ, но нельзя думать, что он туп, низок, плох по природе своей. Можно говорить о больном обществе, но не в упрек, а ради его выздоровления и развития. Вина народа — беда народа, и лучшим людям его, как Сократу чаша цикуты, во все времена доставалось испить эту общую горечь до краев. В них сосредоточена боль народа, им всего больней и невыносимей, поэтому они активнее всех стремятся к общественным переменам. В них надежда нации. Из национальной беды и боли выросло современное диссидентство. Как бы ни отрывали, ни отдирали, ни изолировали его от народа, как бы ни науськивали, ни травили его народом, диссидентство кровно с народом, немыслимо без народа, как голова без туловища. Рубят голову — вырастает другая. В антимире коммунистического государства и сказка наоборот: госдракон рубит народному богатырю голову — вырастают две, рубит две — вырастут четыре.

Прежде народ на что-то надеялся, шел за коммунистами в светлое будущее. Но вот уж сколько лет все смотрят и видят: коммунисты давно уже в светлом, а народ как был впотьмах, так и топчется, и ничто, ни один посул, ни одна программа, ему не светит. Не верят. Теперь всем, кажется, стало ясно: коммунистам верить нельзя. Нельзя верить ни в какую утопию, и в коммунистическую тоже. Угасание веры в коммунизм и коммунистов — смертельная трещина в фундаменте власти. Все меньше простодушного единодушия, все ближе неизбежный раскол. Все очевиднее людям, что не в того бога верили, что коммунистический идол, которому поклонялись, — не Спаситель, а своего рода Антихрист, князь не света, а тьмы. С начала 60-х, с ростом диссидентского движения быстро пошел процесс массового неприятия коммунистической идеологии и родного правительства, народ пробуждается от тяжелого сна, от гипноза примитивной и лживой идеологии и видит, какого паразита взгромоздил себе на загривок. Сколько шор понавесили, сколько песка в глаза, но прозрение началось. Кощунственны и оскорбительны для народа красные плакатики о единстве народа и партии, скромно величающей себя «умом, честью и совестью нашей эпохи!» Лед тронулся, раскол необратим. Была вера — нет веры. А что есть? Во что верить? Если не коммунисты, то кто? Если не коммунизм, то что? Что происходит в родном отечестве? Плохо — да. Банкротство партийных вождей — налицо. Как лучше? Кто лучше? Эти вопросы перемалывают сейчас тяжелые

жернова пробуждающегося общественного сознания. Ответы не в пользу вождей. Пусть рубят головы — быстрее разоблачат себя. Когда народ им верил, то покорно терпел на их операционном столе — потом лучше будет. Пережили все обещанные «потом», лучше не стало. Наоборот, изуродовали, и миллионные жертвы, оказывается, не для общего блага, а для блага горстки идейных палачей. Сейчас народное самосознание блуждает в поисках другой духовной и политической опоры: не эти, так кто же? К каждой отрубленной голове пристальное внимание: кто эти люди, не в них ли правда? Все больше отвечают на это положительно, вырастают новые головы. Прозревает богатырь, и лучше у него с головкой, отчетливее понимает, кто ему брат, а кто враг. Чем очевиднее партийная ложь и преступления, тем ближе народному сердцу те незнакомцы, кого непонятно называют диссидентами. Диссидентство, как общественное движение, родилось на почве недоверия народа к правительству, проросло сквозь трещины монолитного единства обманутого народа и лживой партии. Отрезвление и возрождение общественного сознания началось, оппозиция неистребима — ускорение этого процесса становится первостепенной задачей честной интеллигенции. Надо, чтоб люди больше узнавали и лучше понимали тех, кого называют диссидентами. Больше будет диссидентов среди народа. Дальше от партии — ближе к диссидентам, и недалек тот день, когда на партийное 2х2=5, весь диссидентствующий народ скажет 2х2=4 и проучит своих «учителей».

С возникновением общественного диссидентского движения образовался треугольник: оппозиция, народ, власть. До конца 50-х — начала 60-х у народа не было иного выбора, кроме существующей власти. В настоящее время выбор есть. Дальнейшая судьба общества зависит от того, на чьей стороне народ. Сейчас ни на чьей. В массе глубинное брожение, идет переоценка ценностей. Рано иди поздно народ, отшатнувшийся от партии, качнется в сторону оппозиции. Ускорение этого процесса сильно зависит от того, что представляет собой оппозиция.

Шоковый 56 год активизировал два общественных процесса: в народе — недоверие к власти, разочарование в коммунистических идолах, среди интеллигенции — открытую оппозицию. Это наиболее важная особенность общественной жизни последнего времени. Она знаменует новую историческую эпоху, начало крушения коммунистического режима. Кряхтенье и бурчанье масс, с одной стороны, критикующие интеллектуалы — с другой, сами по себе властям не страшны, но в соединении — это бикфордов шнур к пороховой бочке. Власть больше всего опасается этого контакта, ничто не преследуется с таким

остервенением, как распространение инакомыслия среди населения. Отсюда жесткая линия КГБ на изоляцию и охаиванье диссидентов на воле и натравливание на них уголовников в застенках.

Однако, уничтожая диссидентство, власти не заинтересованы уничтожать самих диссидентов. Иначе не имело бы смысла вводить трешник по 190[1], а всех бы под одну метлу 70-й: десять и пять «по рогам», сразу бы отнимали полжизни, а то и по-сталински — всю. Нет, для властей гораздо важнее если не выправить, то подчинить интеллигентские мозги. Борьба идет за каждого, кому фабрикуется щадящий срок. Думай о чем угодно, но про себя, витай в розовых облаках, но работай на нас. Народ и партия едины, а кто забывает об этом, тому ясно дадут понять, что ждет его на поприще блага народного и как он мог бы быть счастлив на службе госаппарата. Первое условие служебной карьеры — партбилет. Управляет партия, только партия. Ни одна группа, ни одна общественная организация, ни один человек не допускаются к механизму, обирающему и оболванивающему народ, пока, по закону мафии, они сами не станут соучастниками преступления, т. е. не вступят в ряды и не докажут преданности КПСС. Партия и народ — никого между. Это железный курс. Любой независимый участник — инородное тело, подобно песчинке он может развалить весь механизм диктаторской власти. Вашего управления, господа диссиденты, или, по-вашему, не было и не будет — участвуйте на здоровье в нашем управлении, помогайте нам грабить и оболванивать, тогда перепадет и вам кусок, несмотря на ваше особое мнение. Как заставить служить честную, мыслящую интеллигенцию? Да так же, как и животных: пряник и кнут. Партия щедра на поблажки и синекуры. А кому этого мало, кто не оценил партийной заботы, кто о народе заговорил, тот с жиру бесится, тому покажут такой народ, что затошнит от презрения и страха, столь знакомых властям предержащим. Битый интеллигент, ошалелый от ужасов уголовки, от надругательств оперативных «коз», вряд ли будет в восторге от такого соприкосновения с народом. И как только презрение и обида (все же он за народ, а народ его топчет) проникнут в интеллигентскую душу, от диссидента ничего не останется. Что бы он ни думал, в чем бы остальном ни расходился с партократией, он становится ее единомышленником в самом главном — в негативном отношении к народу.

Здесь в отношении к народу водораздел между демократической оппозицией и партийно-государственной политикой. Если человек не мыслит личного блага без благополучия общества и стремится к тому, он автоматически

вступает в противоречие с властью, которая чем больше болтает о светлом будущем, тем мрачнее делает настоящее, чем больше твердит о благе народа, тем циничнее жирует за его счет. Властям выгоднее поделиться награбленным, чем позволить кому-либо защиту общественных интересов. Власть не оставляет человеку другого выбора, кроме «со мной, или против меня». Когда человек говорит, что он не с властью, но и не против нее, что ему на политику вообще наплевать, что он сам по себе и хочет лишь одного: быть полезным обществу — это для властей уже инакомыслие. Защита общественных интересов воспринимается властью как покушение на власть. Не всякий диссидент, многие не могут понять, за что же их так жестоко преследуют, но власть прекрасно сознает, чем чревато для нее любое независимое мнение, к чему приведет любая независимая критика. Мир содрогнется, если выплывет наружу все, что она творит и творила почти 70 лет. Дай уцепиться за ниточку, а она выведет на такие делишки, таких фигур, что весь этот идейно-партийный марафет обернется жуткой картиной непрерывных преступлений против собственного народа. Что говорить о критике? Обыкновенная правдивая информация — острый нож для завравшейся партократии. Она вынуждена беспощадно преследовать всякое проявление независимости, будь то личное мнение, научная статья, публицистическое или художественное произведение, будь оно устным или письменным, опубликованным или неопубликованным. И все для того, чтобы не допустить, просечь распространение, ибо партократия отдает себе отчет в том, что ее судьба решатся характером отношений между интеллигенцией и народом. Нельзя нынче сочувствовать народу и одновременно служить партгосаппарату. Если ты неравнодушен к людям, ты не можешь быть равнодушен к тому, что делает власть. Слишком велик и очевиден теперь антагонизм между правительством и народом. Вот почему интеллигенция, ее отношения с народом — объект пристального внимания партократии.

Положительное отношение интеллигенции и народа взрывоопасно для партократии, поэтому она делает все, чтобы их отношения были негативными. «Ты, шляпа!» — с одной стороны, «Хам!» — с другой. Это вполне устраивает партократию, она разделяет и властвует. Диссидента прогоняют по уголовным камерам и лагерям, травят «козами», народными кулаками выбивают из головы саму идею народа. И если с кем-то это происходит, если диссидент разочарован в народе, то цель достигнута, больше властям ничего не нужно. Остальное встанет на место само собой. Когда диссидент отворачивается от народа, он остается один на один с властью, остаются только его

интересы и интересы властей. По этому поводу народная мудрость гласит, что два интеллигентных человека всегда найдут о чем поговорить. Почему бы не проявить взаимную гибкость и не договориться? В этом случае власть не скупится на поблажки, пусть даже интеллектуалы словоблудничают между собой, пусть уезжают, если хотят, — они изолированы от общества, это главное. Интеллигент, который негативен к народу, самоизолируется от него, поэтому для властей он не представляет никакой опасности. В отрыве от народа нет оппозиции и нет демократии. Интеллигенция не может быть сама по себе: если она не с народом, значит, она с партократией. Политика отчуждения интеллигенции от народа ориентирована на слабоумие общества и подчинение интеллектуалов интересам правящего аппарата. Слабее общество — сильнее власть, сильное общество — слабее власть. А сильное общество — это народная интеллигенция и интеллигентный народ.

При поляризации интересов общества и правящего аппарата интеллигенция не может быть в стороне, она объективно оказывается либо по одну, либо по другую сторону баррикад, т. е. либо предает народ и паразитирует на его горбу вместе с властями, либо выполняет свой долг и стремится служить народу, невзирая на сопротивление властей. Народ же, чем более отшатывается от партократии, тем с большей симпатией и надеждой всматривается в представителей оппозиционной интеллигенции. Сейчас судьба страны, наше ближайшее будущее зависит от того, как поведет себя интеллигенция, как она будет воспринята не только Западом, но, прежде всего, народом своей страны. Огромное достижение диссидентского движения состоит в том, что за двадцать лет открытых выступлений против режима и произвола оно доказало своему народу саму возможность эффективной оппозиции — это мощный стимул для пробуждения общественного самосознания и массовых акций протеста. Однако, зная о диссидентах, народ не знает самих диссидентов, не представляет подлинных их мотивов и целей. Они недоступны и изолированы от масс, а пропаганда столько за двадцать лет о них наплела, что за дымовой завесой клеветы действительно трудно разглядеть этих людей и чего они хотят. Массовое сознание еще не выработало определенного отношения к диссидентам. Одни говорят, что диссиденты защищают права человека и интересы народа, другие — что это агенты ЦРУ, одни говорят, что диссиденты бескорыстно жертвуют собой ради справедливости, другие — что это неудачники, преследующие свои личные цели: славу, доллары, выезд на Запад. Как разобраться в таком разноголосье? А вдруг и правда шумят они не со своего, а с

чужого голоса, радеют не для страны, а для себя — чем они лучше коммунистов? Скинут КПСС, будет ДПСС — Диссидентская партия Советского Союза — и та же дойка с кровью, тот же грабеж общества якобы на благо самого общества, да ладно сами, так еще мировой капитал засосет — где гарантия, что диссиденты у власти не будут хуже коммунистов у власти? Пока вопрос остается открытым, пока народ не видит гарантий, он будет терпеть партократию, не доверяя ни ей, ни диссидентам; партократии не доверяет, так как уже хорошо ее знает, диссидентам не доверяет, т. к. еще не узнал их как следует. А многое из того, что узнает, мало радует: контакты с империалистическим Западом, преобладание евреев, ориентация на выезд, кающиеся и продающие друг друга. Об этом народ узнает из пропагандистских пасквилей, публичных раскаяний диссидентствующих ренегатов, из грызни диссидентов между собой.

Нет дыма без огня, все это есть, но не это определяет подлинный характер всего многолетнего диссидентского давления. Это частности, которые усиленно муссирует пропаганда, чтобы замолчать, оболгать основное ядро оппозиции. Да, Запад нужен, но для того, чтобы через его эфир и печать пробиться к собственному народу. Солженицын и Сахаров не евреи, уезжать из страны не хотели — Солженицына выслали, а Сахаров, как известно, сослан, он в центре России, на Волге, но в Горьком он куда недоступнее, чем Солженицын в американском Вермонте. Что же касается диссидентской разноголосицы, то она вполне естественна в вопросах о том, как надо жить и что делать, ведь каждый делает то, что он может, зато все они единодушны в неприятии произвола, какую бы форму он ни принимал.

Пониманию и сближению народа с интеллигентской оппозицией сильно вредит ренегатство в диссидентской среде. Публичные покаяния Якира, Красина, Дудко, Репина, Радзинского и иже с ними компрометируют не столько их, сколько все демократическое движение. Поощряя репрессии, ренегатство к тому же рвет оппозицию изнутри. Каждый такой случай, во-первых, разваливает важные участки неимоверными жертвами созданного дела, во-вторых, ставит под удар десятки нужных людей, группирующихся вокруг этого дела. Пропаганда старается вовсю: ренегатов затаскивают на телевидение, на радио, в газеты. О них узнают миллионы и по ним судят о диссидентах. Каждый такой случай отшатывает народ от передовой интеллигенции, как бы подтверждает самые черные пасквили о диссидентах. Ведь по ренегатам судят о сотнях других, которых народ либо не знает, либо знает по газетной клевете: скажи кто твой друг и я скажу кто

ты. Создается нехорошее впечатление о всей оппозиции, сводятся на нет деятельность и страдания лучших сынов Родины. Действительно ли диссиденты всерьез озабочены интересами общества, кто поверит, что права человека для них важнее собственного благополучия? Пока диссиденты народ в этом не убедили. И в этом немалая заслуга публичных отступников, а также и тех, у кого язык не поворачивается назвать вчерашнего соратника так, как он сейчас должен быть назван, — предателем. Сегодня ночью слушаю по «Свободе» о выступлении главы американской делегации на Стокгольмской конференции. В списке жертв нарушений Хельсинской договоренности называет, например, Шатравко и Радзинского. Оба имени рядом, упомянуты с одинаковым почтением. Между тем огромная разница. Шатравко стойко держится не первый срок, ни в чем не изменил ни людям, ни своим убеждениям.

Недавно мы узнали, что, не выпуская из лагеря, ему еще добавили два с половиной года с переводом на строгий режим. Радзинский уже во время следствия отказался от своих друзей и убеждений, раскаялся и рассопливился во все тяжкие — выторговал ссылку вместо лагеря. Но и там неуютно: пишет спекулятивное обличительное письмо Рейгану, охаивает бывших соратников по группе Доверие — широковещательно разносит свое ренегатство по всем иностранным агентствам на весь мир. В результате половину якутской ссылки благополучно отбывал дома, в Москве. И вот портрет этого подлеца вижу на майке одного из ведущих членов Доверия, срамное имя его в одном ряду с Шатравко — что может быть оскорбительнее для страдающего человека? Предателя чтут наравне с глубоко порядочным человеком — какая же тут нравственность? Подобная беспринципность и неразборчивость внушает массам обоснованное сомнение в высокой нравственности всего диссидентского движения. А коли так, то какая разница между диссидентами и коммунистами? Шило на мыло, хрен на редьку — чего выбирать? Вопрос для народа остается открытым.

Задачей первостепенной важности становится популяризация имен и деятельности подлинных героев демократической оппозиции. Слава богу, она состоит не из одних Якиров, Репиных и Радзинских. Ни пятнышка, например, на совести диссидентских женщин. Не зря символ свободы — женщина. Образ наших мучениц коммунистического тоталитаризма не менее восхитителен, чем у Делакруа на баррикадах или в Нью-Йоркской гавани с факелом. Сквозь слезы сострадания гордость за них. Несгибаемы наши идеологи борьбы с тоталитаризмом Солженицын и Сахаров. Зажигателен пример подвижничества

Амальрика, Буковского, Орлова, Марченко и многих других известных и неизвестных. Несмотря на грязь клеветы, замалчивание и репрессии, эти люди пробудили дух сопротивления в подавленном обществе. В недрах железного занавеса из этих людей созрела стойкая нравственная оппозиция, сила, способная повести за собою народ. Вулкан зарокотал. Люди еще не видят, что там клокочет, что предвещает, но земля уже дрожит под ногами, бюрократическая гора сотрясается, и ничего хорошего не светит тем, кто наверху. Близкое извержение волнует всех. Что обещает оно: катастрофу или желанные перемены? Как к нему относиться: плохо или хорошо? Чем обернется: перетряской наверху или радикальным переустройством сверху донизу? Кто разъяснит это людям лучше самих диссидентов? Но их слово под строжайшим запретом. Сумеют ли они сказать так, чтобы народ их услышал? Пойдет ли масса за ними? Мне думается, что вопрос об отношении общества и оппозиционной интеллигенции со всей остротой встал именно в настоящее время.

Как ни слабо была организована диссидентская информация внутри страны, как ни пресекалось ее распространение, за последние два десятилетия кое-что все же проникло до самых глубин. Оппозиция ширилась, массы обратили на нее внимание. С обеих сторон дотянулись нити, связи, соединяющие, сближающие народ и интеллигенцию. Диссидентство вырастало в массовое оппозиционное движение, остановить которое чем дальше, тем труднее. Власти увидели реальную угрозу своему тотальному контролю над обществом. Можно обуздывать скованных ложью и страхом, можно обуздывать пьяных и равнодушных, но нельзя полновластно хозяйничать над трезвеющей и пробуждающейся массой. Единственный способ удержания власти — изоляция и уничтожение очагов инакомыслия.

Это они сейчас делают засучив рукава. Диссиденты, ориентированные на открытый диалог с властями, беззащитны перед карательной машиной государства. Оппозиционная интеллигенция в кризисе. Ее активного ядра практически уже нет. Одни далеко на Западе, другие далеко на Востоке, третьи, как сами говорят, — «замерли». Оборваны почти все связи с обществом, нарушены почти все каналы информации и распространения литературы. На что уж было налажено с Западом, и того почти нет. Что это — крах? Самороспуск? Поиски новых форм? Время покажет, пока ясно одно: все сейчас зависит от того, как поведет себя оставшаяся интеллигенция. Найдет путь к массам — выживет, нет — конец диссидентству, все надо будет начинать сначала. Рано или поздно народятся новые мозговые

центры оппозиции, которые завоюют доверие масс, за которыми пойдут в огонь и в воду, однако процесс оздоровления общества был бы значительно ускорен, если бы на новом этапе были учтены уроки разгромленного диссидентства, если бы диссидентская традиция выработала бы новые, более эффективные и жизнестойкие формы оппозиции.

Не все потеряно. Хотя более или менее легальные пути к народу отрезаны, остается все же один, указанный, как ни парадоксально, властями — через тюрьмы и лагеря. Власти задумали 1901 для исправления диссидентов уголовниками, но все-таки выходит обратное. Влияние политзэков сильнее, нередко они «разлагают» даже «коз» из своего окружения, сводя на нет многотрудную работу оперов. Трешник по 190[1] сводит политзэка с тысячами людей, большинство из них молодые, десятки друзей и приверженцев. Один инакомыслящий в тюрьмах и лагерях открывает глаза целому отряду потенциальных сторонников оппозиции из самой толщи народа. Да кое-кому из контролеров и администрации тоже заронит доброе семя. 190[1] — в центре внимания как ментов, так и зэков. Тем самым осуществляется контакт оппозиционной интеллигенции и народа — контакт, которого более всего опасается власть и для пресечения которого инакомыслящие изолируются в застенках и за колючей проволокой. Но ведь там миллионы. Пусть это не лучшая публика, за месяцы, годы жизни среди нее политзэки многих делают лучше. Диссидент сидит, они освобождаются и говорят о нем, о том, что узнали от него, — цепная реакция идет далеко за колючую проволоку. Ему и в неволе затыкают рот, не позволяют собираться вокруг него, но с кем-то же он живет и работает и хватает намека, одного-двух слов, просто наблюдают за ним, как он живет и о чем думает, да уже то одно, за что сидит, за что в наше время сажают, — расшевеливает мозги. А это и есть пробуждение. Главное, приучить людей думать, мыслить самостоятельно — дальше само пойдет.

…Мысли вразброс. Тороплюсь. Захлебываюсь от наплыва проблем, возникающих на оси политзэка — уголовника. Хочется сказать обо всем, чтобы ясно было, как много значит диссидент в общей камере, сколько нервных узлов общественного движения связано с его появлением и как любопытно было иметь уникальную возможность наблюдать явление диссидента народу.

Итак, Терновский.

# Терновский

Мне говорили, что с месяц назад был в этой камере кто-то «за политику». Некоторые сами видели здесь этого человека, другие со слов, но кто это был, по какой статье — ничего вразумительного. «Врач, в очках, поширше тебя будет». Фамилия, как зовут? «Профессор все звали, а зовут как-то странно», — морщат лбы, пытаясь вспомнить, и ничего не выходит. Почему «Профессор?» «Ну, сказали же, что в очках». Да, в тюрьме проще присваивают ученые звания. Потом кто-то вспомнил: «Терновский». Вспомнил, кажется, тот самый парень-шахматист, который уже полгода парится в осужденке в ожидании больницы или этапа. Он осмысленнее прочих, от него кое-что узнал: «Да, врач, психиатр, что ли. Ну когда здоровых по политике в сумасшедший дом сажают. А он разоблачал».

Я слышал о диссидентской группе по расследованию злоупотреблений психиатрией в политических целях, но никого из них не знал. Вообще не был вхож в диссидентские круги и не имел настоящих знакомств. Знал только Олега Попова, видел у него Альбрехта, мало вникая в их дела. Меня интересовала литература, «Хроника». Авторы этих замечательных, но запретных книг были где-то рядом, бушевали страсти вокруг судебных процессов, часто говорили о фонде и Гинзбурге но ни авторов, ни судимых, ни сколько-нибудь серьезных деятелей оппозиции знать не довелось. Складывалось впечатление, что все они либо сидят, либо высланы, либо уехали. В то же время существовали Хельсинкская группа, Международная амнистия, Комиссия по расследованию злоупотреблений психиатрией, появлялись очередные выпуски «Хроники» и самиздат — кто-то же все это делает, но кто? Хотелось бы встретиться с этими людьми, да хоть с теми «очень квалифицированными редакторами», к которым носил мои рукописи Олег, но то он кого-то лично не знал, то ссылался по конспирацию, и настаивать было неудобно. Деятельные фигуры оппозиции, настоящие диссиденты, полагал я, были для меня недоступны. И вот только что один из них был здесь, в этой камере. Хоть день бы вместе побыть. Ах, как хотелось познакомиться и поговорить!

И вина мучила — сколько времени, какие возможности я упустил! Будь я понастойчивей, разве не смог бы встретиться прежде? Надо было самому пройти через обыск, КПЗ, камеры, суд — через все эти чертоги господствующего произвола, чтобы вполне оценить нравственный подвиг тех, кого называют у нас диссидентами, чтобы понять, как беззащитен человек в таком

государстве и какая нравственная сила вдохновляет столь же беззащитных людей выступать в защиту других. Не просто «не могу молчать!», «не могу так жить!» — вот на каком накале страдающего сердца бросается протест разнузданной и жестокой власти. А ведь у диссидента тоже есть личная жизнь, есть семья и работа, никто не рвется нарочно страдать, все любят жизнь и, неверное, не меньше других, если считают, что она может, а значит, должна быть, более достойно и гуманно устроена. Прежде я думал, что все-таки есть законы, есть адвокаты, да и правительству не нужны лишние жертвы. Это же не 37 год, это эпоха 56 года, в тональности XX съезда я, как и многие, воспринимал происходящее. Ежедневные газеты, международные договоры, речистые заявления о гуманизме партии и правительства — «все для блага человека» — массированная пропаганда оглушает и обнадеживает. Видишь не то, но настроение благодушное: «Ну, не все у них получается, не семи пядей во лбу старикашки, но ведь не желают же они зла». Многое списываешь просто на невежество руководства и повальное наше воровство. Это поправимо. Во всяком случае, я был уверен, что явная несправедливость явление нечастое и с нею можно бороться и можно найти поддержку в официальных инстанциях. Ошибка типичная, так думают многие. Для того и усердствуют власти в наведении марафета законности, бравируют в газетах правозащитой по уголовным делам, изредка могут даже публично лягнуть провинциального прокурора или милицию, чтоб все думали, что в стране есть законы, которые соблюдаются и есть кому их защитить, доходят однако слухи, что с тем-то и тем-то поступили несправедливо, пересажали группу демонстрантов, раздавили бульдозерами художественную выставку — частенько в московских кухнях обсуждаются подобные новости. Но до поры, до времени все это воспринимаешь как частный случай, казус, всей подоплеки которого ты не знаешь. К тому же, например, Ягодкина, пославшего на картины бульдозеры, сняли с секретаря московского горкома. За книгу сажать, конечно, варварство, но, как недавно сказал один знакомый: «Я вашей правды не читал, поэтому не могу судить». Всему находится какое-то объяснение, у того сучок, у этого задоринка — поболтали, посочувствовали и живем по-прежнему, будто ничего не случилось. Пока самого не коснется.

Тут только, в следственных кабинетах и тюремных камерах, в недрах правосудия видишь воочию власть без маскарада. И миф о законности разлетается вдребезги. Откровенное нарушение процессуальных норм, цинизм отписок, угрозы, грязь невероятных оговоров, подтасовка материалов и свидетелей, издевательства —

и все это в отместку за то, что ты думаешь не так, как они — «так нельзя мыслить». И никто в огромном государстве не защитит. Ни одна газета, ни одна, так называемая, общественная организация, ни один твой влиятельный знакомый — никто не сунется, А ведь не о тебе только речь — надо защищать закон. Ведь сегодня ты вне закона, завтра — любой другой. Сегодня меня — за текст, завтра — тебя за слово, не понравился кому и уже за решеткой: да как можно жить так? А родня и друзья твои, как и ты до того, поболтают, посочувствуют и найдут какое-нибудь объяснение. Нашли, например, мне: «Жаль, конечно, но зачем писал? Умные люди помалкивают. Дурак, сам виноват». Перед кем? Кому сделал плохо? Разве в том, за что посадили, не больше толка, чем в том, за что получал зарплату и гонорары? В чем оклеветал непогрешимый госстрой? Кто опроверг хоть одну цифру, хоть один факт? Перед кем же я виноват? Перед людьми? Нет. Перед обществом? Нет. Перед законом? Нет, не нарушал. Опять я задаю дурацкие вопросы, которые умные не задают. «Виноват, потому что посадили», — вот и весь сказ. Досадно всем близким, это неприятное чувство — вот ты и виноват. Это трагедия. Лишний ты человек. Свет меркнет в глазах. И сердце обливается кровью.

Тут-то приходят на выручку посторонние люди. Они не знают тебя, ты им ничем не обязан, как они не обязаны участвовать в тебе по знакомству или по долгу службы, и, тем не менее, они единственные, кто поднимает голос в твою защиту, в защиту законности и прав человека. Их протест практически не поможет, но как он спасителен! «Ты не один!» — это сознание удесятеряет силы. Надо прочувствовать, в какой момент появляются эти люди, чтобы вполне оценить их поддержку. Тысячи юристов сидят в битком набитых аппаратах прокуратуры, судов, газет, денно и нощно блюдут закон и порядок советские и партийные органы, Наташа XXVI съезду писала и что ж? — вся эта огромная машина буксует по мановению пальца из потаенного кабинета. Реальная власть принадлежит тем, для кого не существует закона. «По щучьему веленью, по моему хотенью» — и ты один во всем мире, некому за тебя заступиться. Пиши, жалуйся — в пустоту, мертвое молчание или плевки отписок да издевательская брань следователя и ментов. И не найдешь адвоката, а если осмелится кто, то на то лишь, чтобы поведать суду какой он, адвокат, замечательный человек, ветеран войны, коммунист, и как не нравится ему подзащитный, но что поделаешь — долг адвоката защита, а потом скороговоркой сказать, что состава преступления нет, не виновен, и снова извиняться за то, что такая у него работа, он вынужден, как ни противно, констатировать отсутствие состава преступления.

Трусливые, предательские показания одних друзей, исчезают, отмалчиваются другие, отворачиваются родственники. Из сотен окружавших тебя с тобой остаются единицы, а чтоб в защиту — и вовсе никого. Ты один, как перст. Среди города, как в пустыне, все для тебя умерло, потому что для всех почти ты умер, «где стол был яств, там гроб стоит». В этой безысходности, когда надеяться не на кого, и ты сквозь слезы вспоминаешь экзистенциальную песнь одиночества, Штирнера и Камю, и дрожишь от холода опустевшего мира, в котором жил 35 лет и ничего не понял, вдруг появляется диссидентствующий правозащитник, как в моем случае, например, появился Олег. А диссидентствующий он потому, что к закону относится иначе, чем государственная машина правоохраны и правосудия. Если для чиновника начальствующий произвол — закон, то для диссидента произвол есть беззаконие. Если чиновник-юрист не стесняется поступать вопреки профессиональному долгу, то диссидент считает долгом своим выступать против произвола в защиту закона и прав человека. При этом считается, что чиновники делают правильно, а кто не согласен, кто мыслит иначе, тот диссидент. Орвеловский, сумасшедший мир. Антимир. Не много надо ума, чтобы узнать, что 2x2 = 4, но надо много мужества, чтобы заявить об этом в наших условиях, чтобы защитить тех, кто так говорит, подвергаясь при этом такой же опасности, в какой находятся те, кого защищают.

Что толку в словесных заявлениях там, где надо силу употребить? Я читал хорошие книги, что-то писал свое и думал, что надо ждать. Созреет, тронется масса — тогда открывай забрало, направляй стихию в нужное русло. Как она созреет, кто сдвинет ее с места, как это делается — это вопрос техники и времени. И только когда самого клюнуло, понял запоздало, что без этой рутинной работы, какой занимается Олег Попов и большинство диссидентов, можно сдохнуть от отчаяния. Отнимут полжизни, и с точки зрения государственного чиновника все будет правильно. Уважал и все же недооценивал я диссидентов, перед которыми отныне в личном долгу. Страшно представить мертвую тишину там, где исчезают люди, где свирепствуют произвол и беззаконие. Так бы и было, не будь Олега, не будь диссидентов. Кто еще протянул бы руку через колючую проволоку? Хочется теперь крикнуть «спасибо»! Но нас разводят. Не встретишься ни в камере, ни в коридоре. Повезло уже тем, что вижу и слышу людей, которые с ним сидели, гляжу на них с завистью, выспрашиваю до мелочей и все мало, да разве может так мало остаться в башке от общения с таким человеком? И камера уже не уголовный клоповник, а храм, который Он освятил.

Люди словно лучше стали от соприкосновения с ним.

И вот заводят кого-то и шикают мне со всех сторон: «Профессор — он! Смотри — его завели! Второй Профессор пришел!» Сначала не понял о ком, ведь и в мыслях не было, что такое возможно. Вдруг кричат по фамилии: «Терновский!» Я кинулся со шконаря навстречу вошедшему. В серой свободной куртке стоял плотный лысеющий человек с квадратным лобастым лицом. Щеки розовые, круглые серо-голубые глаза, за широкими стеклами элегантных очков светятся добротой и улыбкой. Он еще не отдышался, вытирал пот со лба. Смеемся друг другу, не переставая. Я — от радости, потому что знал и думал о нем, он — не знаю почему, может, надо мной, может, просто по доброте душевной. Понесли мешок-матрасовку и большую вещевую сумку к моему шконарю и тут, усевшись, представились. «Леонард», — сказал он мягким, женским почти голосом и подал руку. «А по отчеству?» «Ну, это необязательно, а вообще, Леонард Борисович». Редкое имя. Помнится, он объяснил происхождение своего имени каким-то недоразумением, будто в семье его называли иначе, а потом оказалось, что официально он записан в честь предка-поляка «Леонард». Говорил он, как бы несколько смущаясь, очень вежливо, на «вы», но четко по смыслу и слову.

Я так отвык от деликатных манер, что поражался, как мог он себя сохранить за год скитаний — его посадили на четыре месяца раньше меня, в апреле 80-го. Я блаженствовал от ощущения незапятнанной чистоты, исходившей от одного вида этого человека.

В отличие от меня, к нему не прилипала тюремная грязь. Будто он только что с воли. Ни мата, ни жаргона. Чистым кристаллом, нравственным абсолютом воспринимался этот человек с первых же минут беседы. С такими людьми, ну разве что за единственным исключением, еще не сталкивала меня судьба. Не от мира сего — в концертном зале консерватории, наверное, не часто встретишь такого, каково же было видеть его в мусорной куче! Найти бриллиант под шконарем было бы не так удивительно, как удивляло присутствие этого человека в уголовной преисподней. Как же он здесь очутился?

Терновский один из ведущих членов Комиссии по расследованию злоупотреблений психиатрией в политических целях, один из авторов и составителей Бюллетеня, материалов и документов, доказывающих факты таких злоупотреблений и регулярно публиковавшихся на Западе. Терновский, Бахмин, Серебров, кажется, Лавут и другие в течение ряда лет выпустили десятка три Бюллетеней с подробным описанием расследованных ими случаев помещения здоровых людей в психиатрические

лечебницы. Резонанс в мире огромный. Западные психиатры осудили и прервали контакты с советскими клятвопреступниками от медицины. Ходившие прежде слухи, показания отдельных лиц получали бесспорное подтверждение, весь мир убедился в том, что изоляция и принудительное «лечение» инакомыслящих в психушках — система в карательной политике советских властей. Косвенно это признал даже суд, приговоривший Леонарда к трем годам по 190[1]. Я видел его приговор и черновик кассационной жалобы. Приговор инкриминирует ему клевету в девяти случаях. Обвинение совершенно голословно и бездоказательно. Но даже если оставить это обвинение на совести следствия и суда, то остаются десятка два других информационных сообщений, сделанных Леонардом, которые ему не инкриминируются. Значит, в этих-то сообщениях нет клеветы, тут все правильно даже с пристрастной точки зрения партийного правосудия. Значит, суд, обвинив Терновского по девяти эпизодам, в двадцати косвенно признает его правоту и наличие в стране злоупотреблений психиатрией. Палка, занесенная над Терновским, толстым концом ударила по судьям и карательным органам. Сами же себя осудили. Не ему приговор, а им.

Леонард доволен: не зря поработали, навсегда зачтено еще одно преступление властей против собственного народа. Я завидовал: большое дело сделал, а у меня — ни строки — все погребено в помойках дознавателей, ничего не осталось людям и тот же срок. Как кур во щи, отсидка холостая: грызть, наверное, будет всю жизнь. Не дай бог кому так, пусть хоть будет урок. Все же чудно: я не публиковал, пришли и забрали — как же им дозволяли несколько лет открыто заниматься расследованиями и публиковаться за рубежом? Леонард, улыбаясь, пожимает плечами и, наоборот, моему делу удивляется: «В самом деле, Васто за что?» (Он всем, даже пацанам говорил «Вы», позднее лишь со мной стал на «ты».) Лет десять он подписывает различные заявления протеста в защиту многих пострадавших за убеждения, несколько лет совершенно открытой деятельности в комиссии. И ему звонили, к нему приходили. Каждый отчет о своих расследованиях они посылали в газету «Известия», в официальные органы — те отмалчивались. Поэтому другой экземпляр шел на Запад, там предавался гласности в печати, по радио, оттуда информация доходила до нашей общественности. Все эти годы над ними висела угроза ареста. Вызовы, беседы, предупреждения, обыски. Инициатор психиатрических расследований Буковский получил третий срок, лет 15. Подрабинек опубликовал на Западе книгу о злоупотреблениях в СССР психиатрией — сидит. Бахмина в начале 70-х окунули на

полгода в Лефортово, выпустили без суда, а теперь почти одновременно с Феликсом Серебровым, Лавутом засадили в 80-м году. Леонарда из группы взяли последним. Всех пересажали. Но они успели сделать полезное дело. Глядишь, поумерится психиатрическое хобби КГБ, кто-то спасен от психушки, но если и нет, то теперь власти творят свои преступления на виду всего мира, даром им это не пройдет.

Терновский был вхож в самую гущу диссидентства, лично знает почти всех ведущих деятелей оппозиции. Видел Сахарова, встречался с Буковским. «Как он?» — спрашиваю о Буковском. «Производит хорошее впечатление, энергичен». Дружил с Даниэлем. «Чем он сейчас занимается?». «Пишет стихи, в основном, переводы. Инако не пишет, — улыбается Леонард, — отошел». Близкий друг поэта и песенника Юлика Кима. Стихов Леонард знает бесчисленно. Декламирует напевно, с точечной четкостью акцентируя окончания ударных строк. На прогулках во дворике без конца читал Галича, лагерного Даниэля, Кима. Видно было, что не только мне, а и ему это нужно — в стихах он общался с теми, кто ему дорог, стихи, как кислородная подушка, спасали его от удушья, в них черпал силу и терпение. Много хороших стихов я услышал. Особенно полюбил лагерный цикл Даниэля. Переписал и заучил несколько стихотворений. По сей день нередко шепчу про себя прекрасные, хрестоматийные строки:

«Страна моя, скажи хотя бы слово!
Перед тобой душа моя чиста.
Неужто так надолго и сурово
Меня с тобой разлучит клевета?»

Много личного всколыхнуло во мне и другое стихотворение, написанное в форме разговорного диалога с другом в предчувствии близкого ареста. Налей по рюмочке вина, давай закурим. Ведут друзья беседу о том, о сем, выпили, поговорили, покурили, давай еще по одной — ну, а теперь «пускай придут и заберут». Прекрасный мастер Даниэль, жаль, стихов не помню. На зоне перед освобождением переписал я на листок оба эти стихотворения, первое пометил концом срока — 1983 год, второе — началом срока, 1980 годом. Переписал, чтоб сохранить, если бумаги пропадут. Но листок каким-то образом исчез прежде остальных бумаг и тетрадей, похищенных из тумбочки месяца за четыре до выхода из лагеря…

— Леонард, ты что — родился диссидентом или потом стал? Как это случилось?

— У-у, не сразу, — смеется Леонард. — До 56 года я был убежденным большевиком.

Леонард, кажется, из семьи подмосковных служащих. Мать — врач, отец — инженер. Оба уже умерли. Дед был вроде бы священником — отсюда в семье традиционное уважение к религии и нравственная крепость при смиренном поведении. Закончил Леонард московский мединститут, стал врачом-рентгенологом, последние годы работал во 2-м медицинском. С женой Людмилой учились вместе, она тоже врач, и дочка, пока безуспешно пытающаяся поступить в медицинский, работает на том же поприще. (Через год после освобождения Леонарда ее приняли, наконец, в институт.) Семья врачей и единомышленников. О жене и дочери Ольге Леонард говорит без всяких сантиментов, просто как о хороших друзьях, как о себе самом, будто здесь один Леонард, а там еще двое точно таких же. Вообще Леонард чрезвычайно сдержан и корректен в эмоциях, владеет собой безукоризненно. Даже неудобно иногда, будто держит дистанцию, в приятельском общении я привык к открытым характерам… Чуть-чуть от него холодило. И чувство и слово наружу пропускает через мозги, выходит хоть и отменного качества, но отфильтровано, дистиллировано — мне же в общении больше по душе самогон. Впрочем, рафинированный сахар все равно сахар. К тому же в наших условиях самодисциплина не мешает.

Итак, после саморазоблачений XX съезда спала с глаз пелена, Леонард понял, что слепо нельзя доверять никому, на все надо иметь собственное мнение. Началось трудное переосмысление усвоенных с малых лет штампов, приведшее к критическому отношению к методам партийного управления. На рубеже 60-х занесло их с женой на пару лет на Чукотку. Тамошняя экзотика оставила хорошую память и подарила близкого друга. Познакомились с человеком, который был дружен с песенником Кимом, и когда вернулись в Москву, то навестили Кима и близко сошлись. Ким тогда был популярен, то была эпоха бардов. Вся страна, от края до края, крутила и пела Высоцкого, Окуджаву, много других было известных имен, десятки бардов разъезжали с гитарой по городам и весям, пели в переполненных, в основном, студенческих, аудиториях. А сочиняли песен — не счесть. Росли, как грибы, клубы самодеятельной песни. Каждая вечеринка, каждая вылазка на природу — с бардовскими шлягерами на устах. В ту пору Высоцкому и Окуджаве еще не давали официальных гастролей, не было ни единой пластинки, мало что перепадало на радио, о других бардах и говорить нечего — это потом их запустили в эфир, а тогда профессионалы и чиновники

их брезгливо не признавали, будто их нет, а их было сотни и песни их высокими волнами прокатывались по стране, не замечая препятствий. Замолчать бардов было невозможно. Они оказались сильнее и влиятельнее властей.

Стихия инакопения воодушевлялась инакомыслием. Галич и Ким, никогда не сидевшие, были со своей лагерной политзэковской тематикой самыми диссидентскими из бардов. Они пели о том, о чем другие думали. Леонард и Людмила допелись до открытого диссидентства. Потом запретили моду на инакопение, стали сажать. Ким переключился на литературную поденщину, но запели и заговорили его слушатели. Ким давно уже помалкивает у себя дома, а Леонард пропагандирует его творчество в тюремном прогулочном дворике. Оба, кажется, довольны друг другом. Сложит ли Ким песню о Леонарде? Ведь он так любил и про бур, и про лагеря, пока не струхнул от опаски самому там очутиться. Кстати, слышал недавно старые записи Кима. Напористо, разухабисто бренча гитарой, Ким крикливо романтизировал тему диссидентства на зоне. Поразила лихая шутейность пионерского запевалы, с какой больше пристало бы «Взвейтесь кострами, синие ночи!» Не срока, а прогулка, не жуткая реальность, а веселый мультик. В шизо холод, голод, кровавые разборки, бумажки для сортира не дадут, а Ким смело воображает Галича, который сидит там «с гитарой нога на ногу-у!» Какая прелесть! Так-то чего не посидеть, чего не пострадать? Правда, себя Ким в шизо да и на зоне, очевидно, не представляет. Он поет о других, от того так ему весело. Стыдно было слушать. Стыдно перед теми, кто парится сейчас на зонах и в изоляторах, о чем другой поэт, например, не мог писать иначе, как «несчастью верная сестра — надежда в мрачном подземелье…». Не понарошку, не на магнитофонной ленте, а вправду мучаются люди по лагерям и бурам, а мы в этот момент развлекаемся диссидентской цыганщиной Кима. Не мог я слушать.

Чаще других Леонард читал и напевал на прогулках Галича, который не воспринимал Союз иначе, как большой концлагерь, разбитый на внутренние лагеря. Галич мне нравился, но в больших дозах тоже претил. Тоже, по-моему, переигрывает в шутливой интонации. Можно смеяться сквозь слезы, но нельзя по поводу слез.

В остроумии Галича частенько не слышно живой боли, этакие блистательные водевили о лагерях и зэках — над чем смеяться? Сразу видно, сам не сидел. Совершенно другая тональность определяет настроение в неволе, это знает каждый, кто там побывал. Может, поэтому, несмотря на широкую популярность и заслуженное признание Галича в интеллигентских квартирах, в

камерах и лагерях, как я могу судить, его не знают и не поют. Там не прижился. Несоответствие между тем, что он поет, и что в действительности чувствуешь в застенках, было иногда до того невыносимо, что я останавливал Леонарда и просил почитать что-нибудь другое. Леонарда удивляла моя реакция, он не видел фальши, которая резала мне слух. Может, и правда, дело не в Галиче, а в особенностях моего восприятия, однако, например, лагерный цикл Даниэля, пережившего то, о чем пишет, точно ложился на зэковское настроение, душа в душу.

На путь открытой правозащитной деятельности Леонарда толкнул 1968 год — год «Пражской весны» и советской оккупации «социализма с человеческим лицом». Подписал коллективное заявление протеста. После того десятки коллективных и «сольных», как он говорит, обращений к властям, заявлений, писем в защиту осужденных по политическим мотивам, наконец, Бюллетени о психиатрических злоупотреблениях. Дело и имя Терновокого получило мировую известность. Даже из Бутырки умудрился отправить письмо в защиту Татьяны Великановой, известной правозащитницы, осужденной на лагерь и ссылку. В Бутырке в одно время с Леонардом сидел Лавут. Леонард пытался передать ему записку, ее перехватили и обоим по 15 суток карцера. Кормежка через день, нары пристегнуты — днем не полежишь, можно сидеть на тумбе, стоять или ходить. Откуда-то течь — на полу вода, сырость, холодно! И так 15 суток в одиночке. На требование остановить воду или перевести в сухую камеру — ноль внимания. Когда вышел из карцера, написал жалобу. Все же он врач, к тому же страдает хроническим радикулитом. Вместо ответа его переводят из Бутырки в Матросскую тишину, подальше от Лавута и других. Видимо, переполнили Бутырку политическими. Боятся их держать не только в одной камере, но и в одном коридоре. И вот с целью более строгой изоляции переводят на Матросску, и чей-то недосмотр соединяет нас в одной камере. Перестраховались менты, запутались. Долго потом опера и мои кураторы из КГБ удивлялись тому, где я познакомился с Леонардом. Для того момента ничего удивительного, было отчего ментам сбиться с ног. Оба мы прошли осужденку и не должны были сюда возвращаться. Однако Мосгорсуд угораздило знакомить меня с протоколом на Матросске, а Леонарда вернули из зоны до кассационного суда и приведения приговора в законную силу. Перед съездом многих осужденных разбрасывали по временным зонам до утверждения приговора, чтобы разгрузить для показухи переполненные московские тюрьмы. Необычность наших маршрутов, видимо, спутала карты операм. Только благодаря

неразберихе, недосмотру и, наверное, тому, что в камере не было стукача, мы оказались вместе и прожили дней десять.

На зоне Леонард был месяц, в Саранске. Это не так далеко от Москвы, на Волге. Работал в строительной бригаде на выводе, т. е. отвозили под конвоем на закрытый объект, где Леонард помогал монтеру таскать кабель. Там, говорит, сносно. Обещали должность в санчасти, чуть ли не рентгенолога, он надеялся, что досиживать срок снова вернут в Саранск. Как бы не так!

Забегая вперед, скажу, что после кассации отправили его гораздо дальше, в Омск, а к санчасти и близко не подпустили — плел, как и я, сетки. В Саранске еще было тем хорошо, что через неделю стал получать письма. Доставка сравнительно быстрая и без потерь. Леонард дал прочитать письмо от близкого друга его семьи и соратницы по правозащите, адвоката Софьи Васильевны Калистратовой. Вместе с женой Сахарова Еленой Боннер, Люсей почему-то называют ее друзья, Софья Васильевна входила в Группу содействия выполнению Хельсинкских соглашений. Никогда так близко я не соприкасался со столь видной фигурой диссидентского движения. Софья Васильевна передавала Леонарду привет от друзей, сообщала о том, что Люся, т. е. Елена Боннер, бывает в Москве, но особенно я зарубил себе ее совет о том, что лучший способ сохранить в неволе здоровье и личное достоинство — это неукоснительно соблюдать внутренние требования режима. Не надо давать повода для лишних притеснении и наказаний. Совет будто мне адресован. Леонард и так выдержан, спокойней по темпераменту, прекрасно владеет собой. Мне же совет Софьи Васильевны пригодился. Может быть, благодаря тому, что я никогда не забывал ее наставления, я отсидел три года сравнительно спокойно, побывав лишь один раз в штрафном изоляторе. На зоне Софья Васильевна неожиданно обрадовала меня поздравительной открыткой к Новому году. В ответном письме я поблагодарил ее за совет и внимание и помечтал отметить когда-нибудь наше заочное знакомство свечкой к иконе «Нечаянная радость», что в Новодевичьем монастыре. Моего письма Софья Васильевна не получила.

По поводу моего дела Леонард искренне недоумевал: как могли посадить за неопубликованную рукопись, изъятую у автора дома? Как мог Олег целый год держать у себя мои тексты и почему не свел с людьми, от которых зависела публикация? Непонятная конспирация. Во-первых, если кому-то грозила бы опасность, то, прежде всего, автору. Темнить и передерживать рукописи не имело смысла, это привело лишь к тому, что, в конце концов, они были изъяты и похерены. Во-вторых, люди, имеющие отношение к самиздату и заграничным публикациям, достаточно

известны и не скрывают своей деятельности, как не скрывали своего авторства Бюллетеня Леонард и его друзья. Похоже, Олег Попов со мной допустил досадную небрежность, иначе трудно объяснить то, что произошло. Удивляло Леонарда и то, что помимо текстов, которые мне инкриминировали, безвозвратно забрали дневники, конспекты, прочие сочинения. На обысках у Леонарда также забирали его писания, но после его заявления рассказы, например, вернули. Как вообще могли посадить человека, который ничего предосудительного не публиковал, диссидентских заявлений не делал и не подписывал, которого ни разу никуда не вызывали, не предупреждали — посадили с первого же обыска? Леонард за десять лет открытой всему миру правозащиты пережил несколько обысков с изъятием литературы и материалов, неоднократно его вызывали и предупреждали — как видим, его аресту многое предшествовало, и мы думали и говорили, отчего так круто поступили со мной? Никакого иного объяснения не находилось, кроме того, что, очевидно, пошла волна поголовного и решительного искоренения вольнодумства, в нее-то я и попал. Я показал Леонарду все бумаги, какие у меня были. Лефортовскую статью «Экономические причины преступности» и тетради с последним словом он посоветовал как-нибудь передать на волю, во всяком случае, не иметь при себе — это грозило, по его мнению, раскруткой и наверняка их изымут. Я так и сделал, упросил адвоката. Несмотря на то что со смертью Швейского эти тексты не найдены, скорее всего, утрачены, думаю, что правильно сделал, что послушался Леонарда. Потом на зоне гэбэшник будет тыкать пальцем в оставшиеся у меня наброски и конспект обвинительного заключения и грозить экспертизой, которая, мол, ничего хорошего мне не предвещает. Бумаги отобрали, но нового дела все-таки не завели. А что, если б попались на глаза статья и последнее слово? Спасибо, Леонард, за добрый совет!

# Презумпция виновности

Дни, проведенные с ним в одной камере, — лучшие и самые содержательные за все три года. Пожалуй, одни из лучших вообще в моей жизни. Давно, с 60-х годов, еще не живя в Москве, я стремился познакомиться с деятелями оппозиции. Как-то перед поездкой на университетскую сессию хотел даже просить посодействовать в этом своего первого наставника по социологии, свердловского профессора Л. Н. Когана. В беседе постеснялся, написал записку, запечатал в конверт, но так и не решался отдать. Этот старый конверт был изъят на обыске, правда, следователь ни о письме, ни о Когане ни разу не упоминал. Сказал только, что я еще с 60-х годов стал плохо мыслить и, если не буду себя хорошо вести, то он с юных лет всю грязь про меня соберет. Что он конкретно имел в виду, я не знаю, но то, что я давно искал встречи с диссидентами, с такими людьми, как Леонард, — это правда. И когда сошелся с ним, я убедился, что искал именно то, что мне было нужно. Много важного почерпнул я от него. Много общего в наших взглядах и оценках на происходящее в стране. Но более всего и благотворнее всего действовал на меня нравственный облик Терновского. Людей столь высокой, абсолютной нравственной чистоты, кажется, не встречал. Важно было убедиться в том, что такие люди не миф, они реально существуют и чем честнее, чем чище человек, тем отрицательней относится к режиму, к загаженной атмосфере нынешнего правления. Из людей подобного типа вспоминаю двоих: школьного учителя и позднее своего друга и коллегу по институту социологии Колю Елагина. Терновский третий такой, но масштабнее, кроме того в тюрьме, в условиях уголовной камеры достоинства высокого интеллекта и духа особенно впечатляющи. Я припадал к общению с Леонардом, как жаждущий к роднику, и мечтал, чтоб судьба сохранила наши отношения, без которых не мыслил будущего. Где бы я ни был, я надеялся быть с Леонардом, подле него и таких же людей как он. Ничего больше я так не хотел, как этого.

В спертой духоте камеры, среди грязи, вони, клопов, мата и драк Леонард оставался самим собой, ничто его не пятнало. Его присутствие озонировало, очищало весь этот смрад, с ним дышалось легко. Со всеми на «Вы» — сначала это казалось чудачеством, но потом я стал замечать, что многие стали сами обращаться к нему на «Вы». К нему ничего не липло, он же заметно влиял на людей. Даже когда не всем это нравилось. Еще до его вторичного появления в камере малолетки ворчали, что

был вот такой Профессор, который мешал сводить счеты с беспредельщиками. Рассказывали, как однажды при Леонарде стали избивать человека, не обращая внимания на протесты Леонарда. Тогда он сел за стол и начал изо всех сил громыхать по столу. Это отвлекло от бойни, но поставило под удар Леонарда. По зэковским понятиям такое поведение недопустимо. Нельзя «впрягаться», т. е. вмешиваться в чужое дело, если не просят. А главное, стук привлекает надзирателей, это расценивается как обращение за помощью к ментам — самый непростительный грех для зэка, другому бы человеку несдобровать, но Леонарда не тронули. Чувствовали, наверное, что он просто не мог безучастно взирать на жестокость, от кого бы и по какому бы поводу она ни происходила. Леонард из тех людей, кто, видя, что человеку плохо, идет на помощь, не думая о себе. Ребята остались недовольны, однако зверства при разборках заметно поубавилось. При нас тоже поколачивали беспредельщиков, но не жестоко, а так, для порядка. Вначале Леонард срывался с места, кричал, чтоб прекратили. Я сдерживал его. Кажется, он все-таки согласился, что за беспредел, за надругательства над мужиками наказывать следует. Я рассказал про 124 камеру, про Спартака, про то, с чем сам он, к счастью, не сталкивался. Конечно, можно наказывать как-то иначе, например, заставить беспредельщика убирать камеру, парашу, т. е. делать то, что в прежней хате за него делали другие, в то время как он жрал их лари и передачи, но ведь боспредельщики — приблатненный народ, сейчас он сам просит, чтоб лучше отлупили, только бы не заставляли браться за тряпку. Ему идут навстречу и бьют. Так что это самое гуманное отношение из всего, что такой человек заслуживает. Тем более что при нас били с пощадой, не «вусмерть», как расправляются с беспределом обычно. И все же Леонард не мог спокойно смотреть. На него оглядывались и, верно, пропадала охота колотить. Несколько вялых тумаков, и жертву бросали. Портил Леонард удовольствие, на него косились, но что поделаешь, если при нем рука не поднимается?

Нашли ему приличный шконарь на нижнем ярусе, напротив. Потом освободилось место рядом со мной, так вместе и жили. Ел за столом в нашей семье с малолетками. Вся провизия у нас общая. В дележе малолетки безукоризненны: у кого что есть — всем поровну. Когда пришел Леонард у нас, кроме пайка, почти ничего не было. Он выложил все, чем был богат: сыр, копченую колбасу, конфеты. Мелкими дольками делили на 12 человек, хватило деликатесов на три застолья. Потом подошел ларь, пошли передачи тоже все поровну. Мои деньги из Пресни еще не поступили, я не отоваривался и так выходило, что жил

практически на чужой счет. Неудобно на харчах ребятишек, хотел выйти из семьи — куда там, слушать не стали! В последние мои дни в камере был особенно богатый ларь, почти все, кроме меня, в нашей семье отоварились. Леонарда уже не было — ушел на Пресню, я после ознакомления с протоколом со дня на день ждал этапа туда же, и вдруг мне дают пачек десять сигарет да сверх того пару пачек дорогих «Столичных», от которых совсем уже отвык, и это не считая того, что за столом. «Что вы, ребята, вот-вот уйду, век с вами не рассчитаться»! — не принимаю даров. «Нет, ты в семье, — это твое, всем поровну». «Да ухожу я, там получу передачу, а вы с чем останетесь?» Оставили на шконаре без разговоров. Еле упросил Олега взять хотя бы «Столичные» — отвык от фильтра, слишком слабы, а на его розовые легкие в самый раз. Он курил мало, предпочитая с фильтром — взял, но взамен принес-таки «Астру» и бесполезно было отказываться.

Лежу на шконаре, слезы навертываются. Что же это такое? В одной камере насильно отберут, в другой — свое отдадут. Люди, которые и на воле и здесь нацелены урвать, выкрутить, одновременно способны на чудеса бескорыстия. Вот жизнь — сплошные контрасты! В тюрьме они резче, человек и взаимоотношения просматриваются насквозь, наблюдаешь словно в большое увеличительное стекло, и все мы в камере как в лабораторной колбе. Как отсечь злое от доброго в человеке? Как направить жизнь в одну только сторону — сторону добра? Ведь если бы это было совсем невозможно, если добро и зло переплетены неразрывно, а то ведь, пожалуйста, — можно жить и без зла и все довольны. Неужели лишний кусок дороже человека и хороших отношений? Из-за того, что кому-то надо больше, чем есть у других, что кто-то считает себя вправе есть вкуснее, одеваться моднее других, возникает стяжательство, конкуренция в обладании вещами и благами, т. е., что сужает сферу добра и сеет зло, то, что разрушат человеческие отношения и противопоставляет людей друг другу. Леонард не даст соврать: в нашей камере никто ни у кого ничего не отбирал, каждый жил сам по себе, в семье все поровну и не припомню, чтобы хоть раз кто-то намеком обмолвился, мол, чего ради я должен делиться с тем, кто ничего не имеет. Малолетки менялись, кого-то уводили, кого-то заводили, но порядок оставался неизменным. Яркий пример того, как хорошо среди людей, когда они не вздорят из-за куска. Пирога не становится больше, когда люди ругаются или воруют, зато резко убывает доброта среди них, по сути дела, разворовывается не пирог, а разворовываются и разоряются человеческие отношения, любовь, уважение, себя же разворовываем, и тот, кто награбил, и тот, кого ограбили,

одинаково ущербны от одиночества, недоверия и ненависти. У нас большим удовольствием было что-то дать, поделиться друг с другом. Дележ — обычное яблоко раздора — у нас был источником взаимной радости и уважения. Все чего-то раздавали. Не только питание. Обменивались вещами, носками, платками, отдавали просто так, на память. Леонард раздавал вороха мелких вещей, накопившихся в его большой сумке. Мне досталась пара кожаных варежек, которыми я дорожил как памятью о Леонарде и хранил все три года. Жаль было с ними расставаться в конце срока, но как унесешь из зоны, когда в них нуждаются те, кто остается? Передал варежки Шурику: «Береги — это диссидентские, ни у кого таких нет».

Много времени проводили мы с Леонардом за шахматами. Играет бескомпромиссно. Оба мы оказались довольно азартны, лучшего партнера не придумаешь. Не скучал с ним ни минуты. И беседа всегда в удовольствие. Как-то коснулись наболевшего: «Живи не по лжи». Невозможно представить, чтобы такой человек, как Леонард, мог солгать, кого-то подвести, я доверял ему безгранично, но как на следствии? Что Леонард отвечал следователю когда, тот спрашивал его о других или об эпизодах, показания о которых могли повредить Леонарду? Всей правды на следствии нельзя говорить: потянешь людей за собой да и тебе хуже — обвинительного материала прибавится. Значит, все-таки не говорил правды? Ознакомившись в камерах с десятками дел, статью уголовного кодекса о чистосердечном признании как смягчающем обстоятельстве я комментировал так: «Чтобы не был больше лохом и запомнил впрок, что признанье — наказанье, больше скажешь — больше срок». Я, например, что касалось меня одного, выложил следователю начистоту. Он разворачивал передо мной кодекс на 38 статье о смягчающих обстоятельствах. Потом оказалось, что мои чистосердечные показания превратились в козыри обвинения, по ним следователь и суд доказывали распространение. Ничто так не осложнило защиту, как мое легковерие в смягчающую силу правдивых показаний. Нельзя им ничего говорить. Как бы на моем месте поступил Леонард? Он ответил, что подобные показания не стал бы давать. «Но как бы ты ответил следователю? Если «давал», то распространение, если «нет», то — ложь. И так и так плохо: в первом случае — юридическое преступление, во втором — нравственное. Как быть?» Леонард сказал, что в таких ситуациях он либо отказывается от показаний, либо говорил «не помню». Признаться, я не вижу принципиальной разницы между отрицанием «нет» и «не помню», если то и другое не соответствует действительности, однако Леонард предпочитает

неопределенный ответ откровенной неправде. Он убежден, что лгать нельзя ни при каких обстоятельствах, в том числе и не следствии. Нужно так строить линию поведения, чтоб, не давая пищи обвинению, в то же время ни на йоту не поступаться нравственностью. Отказ от показаний — наиболее достойный выход из положения.

Конечно, на практике все обстоит сложнее. Отказ от того или иного показания тоже несет для следователя определенную информацию. Кроме того, особенно новичка, весьма впечатляют пределы наказания, предусмотренного статьей. Вилка обычно огромная. Например, по 70-й статье 1 часть от полугода до 12 лет, по 1901 от сторублевого штрафа до трех лет лишения свободы, и следователь не устает твердить, что от тебя зависит, на какое острие подденут: уколют нижним концом или насквозь прошьют верхним. Легче всего попадают на крючок те, у кого дело мыльного пузыря не стоит. Человек не видит за собой большого греха, надеется выйти сухим из воды, говорит, как на духу. И наговаривает на себя недостающие следователю аргументы обвинения. Верить следователям, рассчитывать на их снисхождение нельзя. Если есть санкция на арест, то не может быть объективного расследования, ибо задача следователя сводится к обвинению, иначе он подведет прокурора, который выдал необоснованную санкцию и которому следователь подчиняется. Из опыта камерных бесед, знакомства с десятками обвинительных заключений и приговоров совершенно отчетливо вырисовывается стремление следователей по уголовным делам навесить обвиняемому как можно больше статей. В обвинительных актах нередко целые гроздья — по три, четыре, пять. Спрашивают следователя: «А это за что?» Трафаретный ответ: «Суд разберется». Суд действительно нередко отметает совсем уж абсурдные обвинения, но не пять, так три статьи остаются, а это дополнительный срок и дополнительные сложности при амнистии. Следователи всячески — угрозами, обманом, избиениями — выколачивают обвинительный материал из самого обвиняемого. Методы допроса, характер обвинения исходят из отношения к подследственному как к заведомому преступнику, из подозрения, что каждый обвиняемый совершает больше преступлений, чем удается вскрыть. Такая практика в корне противоречит основополагающему принципу расследования и правосудия — презумпции невиновности. Фактически в основе следственной и судебной практики совершенно противоположная установка.

— Презумпция виновности, — сказал Леонард.

Слово и дело, в теории одно, на практике другое — обманная

сущность всей нашей жизни. Правосудие вопреки краеугольному постулату юриспруденции — такое правосудие на словах, а на деле тут ничего общего с правом, это не право, а бесправие, не закон определяет поведение следователей и судей, а произвол ворочает законом. Презумпция невиновности, провозглашенная в теории, и презумпция виновности в следственной практике — не безобидная игра слов и не академическое противоречие. Эта подмена ставит юриспруденцию с ног на голову, поворачивает закон одним карательным лезвием, развязывает следователям руки для злоупотреблений. Предположение о невиновности человека направляет внимание следователя на объективное тщательное изучение обстоятельств дела, если же следователь заранее видит в тебе преступника, то его усилия сводятся к тому, чтобы доказать это. А коли так — чего церемониться? Следователь обращается с тобой, как с преступником, который во что бы то ни стало должен быть изобличен и наказан. Порок должен быть наказан — ради такой благой цели все средства хороши. У следователя появляется сознание морального права бить, обманывать, фабриковать. Он понимает, что тем самым он нарушает УПК, превышает власть, он сам становится нарушителем, но он считает себя морально правым отступить от служебных ограничений ради пользы дела. Ведь он исходит из интересов общества, которое должно быть ограждено от социально опасных действий. Пусть лучше он, следователь, несколько перешагнет закон, чем позволить избежать преступнику заслуженного наказания. Он знает, что начальство простит ему «мелкие» нарушения, но не простит оправдания «преступника», провала прокурорского обвинения и санкции на арест.

Презумпция (предположение) виновности сводит на нет абсолютную роль закона в правосудии. Судьба подследственного определяется не столько законом, сколько «внутренним убеждением» следователя и судьи. Я видел приговоры, где прямо указано, что суд выносит решение, «руководствуясь внутренним убеждением». Зачем трудиться искать доказательства? Если есть «внутреннее убеждение», доказательства всегда найдутся. Формируется установка на вседозволенность, на допустимость «доказательств» с потолка, на махинации с документами, свидетелями, на фабрикование дел, где законным процедурам отводится роль внешнего оформления «внутреннего убеждения» следователя и судьи. Официальное оправдание огульного произвола в так называемом правосудии. Превышение власти, подлог, должностные злоупотребления — эти преступления становятся нормой следственной практики, систематически

совершаются на глазах тех, кого обвиняют в преступлении. Странная картина: юристы осуждают людей, вина которых не доказана, преступники лишают свободы по сути дела невинных. Обычная картина, когда руководствуются не законом, а «внутренним убеждением», не презумпцией невиновности, а презумпцией виновности.

Все малолетки в голос рассказывают, как выбивали у них показания в КПЗ и кабинетах следователей. Палки в ящиках письменного стола. Палка — столь же необходимый атрибут следователя, как и ручка, которой затем пишется протокол допроса. Работник умственного труда, палач-интеллигент. Будь у следователей своя эмблема, — точнее всего перо и палка, как щит и меч у КГБ. Палкой, символизирующей избиения, обман, махинации, добиваются показания, пером — записываются — вот и вся работа следователя. Советскому следователю не нужно быть Шерлоком Холмсом, презумпция виновности делает излишним искусство розыска — зачем, когда под палкой сами во всем признаются. Была бы охота, он и сейчас добудет сколько угодно признаний «троцкистских агентов» и «немецких шпионов». Малолеток, мелкоту на допросах бьют сплошь и рядом. Эти не поднаторели в жалобах, с ними все сходит с рук. Кто постарше и способен написать жалобу — с теми поосторожней. Все-таки жалоба — лишние хлопоты, не известно к кому попадет, вдруг дадут ход — может быть выговор. Тут многое зависит от взаимоотношений внутри администрации. Но если есть уверенность, что останется без последствий, если по науськиванию самого начальства, то бьют невзирая.

Техника выколачивания показаний хорошо отработана. За примером далеко не надо ходить. В центре Москвы, на Петровке, говорят есть специальная камера пыток, есть снаряды, на которые подвешивают за руки и на весу выдалбливают печень, почки так, что после этого мочатся кровью. Стараются бить без следов. Очень удобно: и больно, и нет синяков. Эффект потрясающий. Я встречал несколько воров-домушников, которые попадались на одной квартире, а после соответствующей обработки брали на себя с десяток нераскрытых краж. Пытка — самый удобный способ избавиться от залежалых дел. Какой начальник осудит? Наоборот. Пытку он не «заметит», за закрытое дело отблагодарит. Бьют по голове, но стараются без шишек и ссадин: через подставленную руку, например, через подушку — человек дуреет, расслабляется, его тошнит — как раз то, что нужно для содержательного допроса. Лучше всего бить в перчатках — они не оставляют следов. У нас на зоне все знали: если начальник оперчасти майор Рахимов полез при тебе в сейф, значит, за

перчатками. Помахивал он как-то перед моим носом добротной плетью желтой кожи. Вроде шутя, но ведь не всегда же у него шутливое настроение, может и с женой поругаться. — как он в следующий раз распорядится плетью, ведь для чего-то лежит она на его столе, а коня у него не было, я это точно знаю.

Впрочем, зона — особая тема, об этом потом. К тому же зэки все-таки люди осужденные. Сейчас пока речь идет об издевательствах над невинными по существу людьми, ибо по Конституции никто не может быть признан виновным в преступлении иначе, как только по решению суда. На каком же тогда основании морят в КПЗ и следственных камерах, бьют и пытают в следовательских кабинетах до суда, преимущественно до суда, т. к. это делается главным образом с целью выколотить нужные показания. Что дает следователям такое право? Презумпция виновности. Это их право нигде не записано, но оно им дано, оно практически существует. Не окажется под рукою перчаток или дыбы, чтобы аккуратно подвесить, обойдутся и без. Невелика беда, если разгорячится мент, и распинает разобьет тебя в кровь, до переломов, до потери сознания. Спишется на презумпцию виновности. Напомню Назара. По пустяку несколько милиционеров распинали его всмятку по яйцам, полумертвого бросили в КПЗ, месяц провалялся в больнице. И что ж? Его осудили за нападение на представителя власти. И в качестве пострадавшего и свидетелей выступили на суде те, кто калечили его сапожищами в пах. Чем руководствовался суд при вынесении приговора? Законом? Доказательствами? Рассмотрением «всесторонним и объективным»? Тогда бы приговорили ментов. Но приговорили Назара, ибо руководствовались презумпцией виновности и, конечно, «внутренним убеждением» судьи.

Не знаю, шутя или серьезно Леонард сказал, что авторское право на тему «презумпции виновности» он оставляет за собой. Надеюсь, он мне простит невольное вторжение в эту тему. Невозможно касаться следственной практики и нашего правосудия, чтоб не сказать о краеугольном камне, на котором зиждется юридический произвол. Мои заметки не претендуют на серьезный анализ практики презумпции виновности, какого она несомненно заслуживает. Право на этот анализ, как и договорились, по-прежнему остается за Леонардом.

Спрашивал его: «Что дальше? Будет ли существовать их психиатрическая Комиссия?» Отвечает с грустной улыбкой, что Комиссии уже нет, все участники пересажены и новые жертвы не нужны — Комиссия сделала свое дело. Надо браться за что-то другое.

— За презумпцию?

— Не знаю, срок только начался — будет время подумать.

— А что, если заняться совершенно невинным делом?

Идея состояла в том, чтобы посмотреть, как совершается превращение действующего законодательства в свою противоположность, за счет какого нормативного механизма благополучно сосуществуют в теории, например, презумпция невиновности, а на практике — презумпция виновности? Поясню, о чем шел разговор. Необходимо исследовать всю систему законов и нормативных актов на их непротиворечивость друг другу и Конституции. Это позволило бы с большей эффективностью добиваться от властей выполнения принятых ими основных законоположений. Чтобы не было юридического оправдания перевертышам вроде той же презумпции, когда различные подзаконные акты, инструкции бюрократической пирамиды от ступеньки к ступеньке превращают закон в свою противоположность. Вполне очевидно, что госаппарат руководствуется не столько законом, сколько внутриведомственными инструкциями и положениями, часто с грифом «для служебного пользования» и нередко противоречащим гласным законам. Надо вскрыть эти противоречия, изучить трансформацию закона на всех ступенях бюрократической лестницы и добиваться отмены тех ведомственных постановлений, которые искажают закон. Весь законодательный механизм должен быть отлажен таким образом, чтобы нормативные акты, издаваемые для практического управления, строго укладывались в русло основного законодательства, Конституции. Конечно, само по себе это еще не гарантирует соблюдения законности, однако облегчает борьбу за ее соблюдение. Устранение произвола в нормативных актах — это тоже борьба с произволом, это необходимый шаг на пути к правовому управлению и эффективной правозащите. Дело нужное и безопасное — комар носа не подточит — можно заниматься вполне открыто. О подобных проблемах пресса пишет. Я привел Леонарду примеры из публикаций в центральной печати о ведомственных противозаконных постановлениях. А сколько беззакония в приказах, положениях, нормативном творчестве местных органов управления! Правда, печать не заходит дальше торговли, сферы обслуживания, почему скажем, бутылки у населения не принимают, но кто нам запретит взять шире и глубже? Последние годы я занимался этой темой в области трудового законодательства, применительно к трудовым ресурсам и знаю, что работы там непочатый край. Думаю продолжить. Но можно взять любой кодекс: Уголовный, Уголовно-процессуальный, Исправительно-трудовой,

Гражданский, Административный — любой — и проследить, насколько он сам соответствует Конституции и насколько соответствуют ему нормативные акты, регулирующие отношения в данной области. Я специализируюсь в одной отрасли права, ты — в другой, тот — в третьей и т. д. Мы могли бы создать общественный институт правозащиты под защитой самого права, т. е. основного законодательства, Конституции. Актуально и легально. И никакого риска, должны спасибо сказать. Леонард добрый человек. Внимательно посмотрел на меня, подумал и вслух согласился: «Что-то в этом есть». Понятно, мало шансов в этом проекте, а будет ли толк и подавно сомнительно. Но ведь надо же что-то делать. Надо искать щели минимального риска, в которые покуда можно протиснуться для доброго дела, не слишком опасаясь того, что тебя за это снова посадят.

После майских праздников, которые мы никак не ощутили и не отмечали, разве что перестали заводить к нам и отправлять от нас, переполненную осужденку начали энергично разгружать. Теплилась надежда, что на Пресню уйдем вместе с Леонардом, а там, чем черт не шутит, может и на одну зону. Нет, его вызвали первым, я не попал в их группу. Скатали его дряблый матрац, уложили казенную ветошь в широкую матрасовку. Крепко обнялись. Не хотелось думать, что расстаемся надолго. Прощались до встречи на Пресне. Контролер маячит в открытой двери. Леонард ушел в коридор, встал в группу. Близорукий голубой свет сквозь очки, мягкая, сроднившая меня с ним улыбка во все лицо, такой удивительный преступник — само воплощение добра стояло в коридоре лязгающего решетчатого чертога. И рядом ящерный лик вертухая. Дверь скрипнула. Что-то еще успели крикнуть друг другу. И больше я Леонарда не слышал. Увидимся ли когда? Другую встречу тюрьма вряд ли подарит. Почернело в камере с его уходом. Не нахожу себе места. Скорей бы мне отсюда. Не мог больше здесь оставаться. Тоска. Звучат в душе его голос, его стихи. Мурлыкает про какой-то «лепень модный» — часто на все лады напевал эту строчку из блатного романса за шахматами. У меня остался блокнот, куда я переписал насколько стихотворений, его адрес, вписанный между строк каких-то конспектов, кожаные варежки и благодарная память о нем.

Мы снова встретились почти через три года, после лагерей. Но и лагеря нас не разлучили. С зоны я написал его жене, Людмиле. Переписка соединила нас с Леонардом: Каменск-Уральск с Омском через Москву. Однажды я получил в одном конверте два письма: от Людмилы и от него. Ответил ему на адрес Людмилы. Но опера спохватились. Следующее такое письмо

от него мне не отдали, хотя показали и допросили: кто, откуда, зачем, почему? Но от Людмилы доходили все письма. Так что зона нас с Леонардом разлучить не сумела. Не знаю, как воля, которую по сей день мы оба не видим.

…Через пару дней после Леонарда, числа 7 мая, отправили и меня — обратно на Пресню.

# Снова Пресня

Надо извиниться перед читателями: память дает сбой. Не туда лоскуты пришиваю. Недавно выяснилось, что свидание с Наташей было не на Матросске, а на Пресне, в конце мая, после кассационного суда. Это было второе свидание. Оказывается, первое было в конце февраля здесь же, на Пресне, но его совершенно не помню. Поразительно — первое свидание напрочь из памяти смыло, словно и не было. Необъяснимы капризы памяти: что-то восстанавливается дословно, до мелочей и вдруг провал, полное беспамятство в каком-то важном событии. Наверняка путаю кое-какие имена, номера некоторых камер, неточен в отдельных датах. Правда, в этих местах я оговариваюсь, честно говорю «кажется», но хотелось бы поточнее, хотя понимаю, что очень-то полагаться на память нельзя. В этом смысле художественные вещи на материале личных воспоминаний, может быть, честнее, чем сами воспоминания. Беллетристика не претендует не протокольную достоверность, на то, чтоб по ней сверяли исторические часы, здесь автор более раскован и глубок в изображении того, что называют правдой жизни. У меня же ни богу свечка, ни черту кочерга. Одно мне не «кажется» и дает право писать — это достоверность впечатлений, моего свидетельства: я там был. Жанровая нелепость того, что пишу — что-то вроде дневниковых заметок и размышлений — образовалась из желания дать как можно более полное, искреннее свидетельство, на какое только способен человек, осужденный за клевету на советский государственный строй. В конце концов, в случае каких-либо сомнений читатель может обратиться к журналу МВД, который называется (опять «кажется») «К новой жизни». Там-то наверняка все должно быть правильно, так ли это — почитайте, узнаете. Но вот беда — журнал адресован сотрудникам исправительно-трудовых учреждений и почему-то в киосках не продается. А газета «Правда» на эту тему не пишет. Хотя… вот толоконный лоб — «Человек и закон»! Чуть не забыл. Есть, есть журнал! Орган Министерства юстиции рассчитан на широкого читателя и там в прозе, в стихах, в фельетонах про лагеря. Читайте «Человек и закон»! А если покажется, что и там чего-то все-таки нет, формат у журнальчика маленький, тут и сгодятся дополнительные свидетельства вроде моего. Тысячу раз извиняясь за кое-какие неточности повествования, которых журнал «Человек и закон», конечно же, не допустит, но преисполнен доверия к читателю: как-нибудь отличит заведомую ложь от незаведомой, а уж правду от кривды за версту увидит. И

потому пишу как бог на душу положил, как память диктует: как я жил, видел, запомнил — остальное читатель сам разберет, не маленький.

Нельзя не писать. Едва ли не полстраны прошло через исправительные колоды режима, миллионы и сейчас там, за тюремной решеткой и проволокой лагерей, а живем, будто ничего этого нет. Стесняемся. Слишком мало свидетельств. Когда-нибудь годы завитого социализма войдут в новый «Архипелаг Гулаг», но пока что о современном состоянии пенитенциарной системы очень мало написано. А это значат, что мы мало знаем вообще о государстве, о том, как оно проглатывает и переваривает целые пласты населения и для чего оно это делает. Исследования пенитенциарной системы характеризуют не показной, а, будничный, реальный облик государственной власти. Как о культуре домохозяина лучше судить по чистоте отхожего места, так и культура государственного управления ярче всего представляется по его карательной системе. Если мы хотим знать коммунистических правителей не по первомайский трибунам и лозунгам, а по тому, чего они хотят и делают, к чему стремятся и как идут к своим целям, лучшего объекта, чем исправительные учреждения, не сыщешь. Тамошняя структура власти и взаимоотношений — лабораторная модель того, что происходит во всем нашем обществе и что ждет его в светлом будущем. Режим, о котором я рассказываю тем и примечателен, что представляется мне не частной особенностью государства, но его сущностью, кровным его порождением, как яблоко от яблони, как малый лагерь от большого всесоюзного лагеря. Недаром этот режим официально называется «общим» — его основные черты воспроизводят общую ситуацию в стране, опутанной колючей проволокой изнутри и снаружи. Это острее чувствуешь, когда побываешь и здесь и там, когда по концу срока не выговаривается сказать «освободился», именно это чувство движет моим пером. Почему такое чувство возникает, почему оно так беспокойно, что я не могу не писать, — об этом, по существу, я рассказываю и тут уж память меня не подведет. Ну, а в деталях, простите, кое-что путаю, забываю.

Куда, например, делся милиционер — молодой сержантик, который сопровождал меня однажды в кузове воронка? В этот, последний раз, из Матросски на Пресню, точно помню, воронок был битком набит, пока доехали, слиплись от жары и прессовки в сплошной ком. Значит, милиционер вез меня до того, из Пресни на Матросску, когда я трясся в кузове, теряясь в догадках, куда везут. Упомянуть о нем надо бы. Впервые тогда я разговорился с одним из тех, кто форменной грудью отгородил нас от дома,

друзей, воли, кого так же как контролеров, офицеров, мы враждебно называем «менты». Что за человек такой? Скажу сразу: самый обыкновенный русский парень. Среди таких сижу. Может, чуть выше среднего уровня тех, с кем сижу, хотя не известно, каким бы он оказался там, в камере. Разговорился я с ним потому, что непонятно было, куда везут, а он не корчил из себя начальника, был вежлив и по-человечески прост. Ну, сначала потомил для приличия, все-таки служба — нельзя вступать в разговорчики, но мы были одни в кузове, кажется, в тот раз даже решетки между нами не было, и мы всю дорогу, минут 30–40, беседовали. Он сказал, что едем на Матросску, вместе гадали: к чему бы такой возврат? Его это, правда, не удивляло, часто приходится возвращать из Пресни на Матросску и совсем не обязательно на раскрутку. Могут вызвать на доследование, на очную ставку, да мало ли что? Говорит со знанием дела, доброжелательно — очень меня успокоил. Симпатично было простое, чистое лицо, прямой взгляд серых, незамутненных глаз, ровность тона. Живет с женой в общежитии, собирается переходить, как он выразился, в линейную милицию, в патрули, что ли — там быстрее дают квартиру. Как получат квартиру, попытается уйти из милиции. Неизвестно, отпустят ли? И потом без образования уходить — куда? Еще не решил. Если не отпустят, будет поступать в юридический.

— Не нравится работать в милиции? Вроде форма к лицу.

— Да нет, пока молодой, работать можно. Но нет перспектив. Дальше участкового не прыгнешь.

— Почему?

— Нужны связи, одного образования для карьеры недостаточно.

— Везде так.

— Ну, вы, наверное, не знаете милиции… А участковым в возрасте трудно.

Я дальше любопытствую: — Что значит «не отпустят»? Кончится договор и свободен.

— Прописка, квартира держат. Я ведь пока временно, сам из-под Рязани.

— Как же вы попали в милицию?

— Приехал из армии в цех, а тут набор в московскую милицию, мне предложили — решил попробовать.

— И коготок увяз?

— Некоторых выгоняют, — смеется. — Но если оставаться в Москве, приходится продлевать контракт.

— А жена?

— Так она тоже не москвичка, в нашей системе работает.

И самый больной вопрос: как относится к зэкам?

— Да тоже люди. Есть хорошие, есть всякие.

— А как вы думаете, почему зэки, ну не к вам лично, а вообще к ментам плохо настроены?

Сержант сделался очень серьезен и как бы посетовал:

— Сам не пойму. Два года работаю, вроде стараешься по-людски и все — «мент». Мы не виноваты, что они сидят. Служба есть служба. Тяжело им, а получается, как бы из-за нас, раз мы охраняем — вот и злятся.

Припомнил корпусного, отколотившего Колю Тихонова, комсомольца-контролера, пославшего меня на три буквы, прапора, продержавшего меня в отстойнике — целая галерея его коллег встала перед глазами и я рассказал об этом сержанту.

— Да, — согласился он, — и среди нас разные люди. По таким судят об остальных — вот что обидно, ведь в основном у нас нормальные ребята.

Такой случился в воронке доверительный разговор. Встретились как мент и зэк, а к концу поездки стали как два друга. Воронок встал во дворе тюрьмы, у входа в корпус. Сержант спрыгнул. Какой-то прапор, в форме внутренних войск, из надзирателей, скомандовал мне сойти и следовать за ним. Вижу своего сержанта в группе ментов. Проходя мимо, с улыбкой кивнул ему. Он скользнул пустыми глазами, словно не знает, не замечает меня, стоит с озабоченным видом. Я не ждал от него ни слова, ни жеста — могут заподозрить в контакте, но посмотреть-то он мог по-человечески? Однако вместо глаз — пустые глазницы. Пустые и равнодушные. Расстались мы, как и встретились, — как зэк и мент. «Служба есть служба».

Единственный раз я ехал в воронке в сопровождении милиционера. Да еще один на один. Обычно возят солдаты в зеленой форме внутренних войск, сидят двое в проходе, отгороженном от зэков решеткой. На зоне обязательно с собакой. В Москве собак в воронках не помню. Разве что в последний перегон — с Пресни на «столыпин», перед отправкой на зону.

* * *

…Итак, снова Пресня. Пересылка многоэтажно дышала всеми порами своих бесчисленных камер. От былой тишины и запустения периода партийного съезда не осталось следа. Пресня гудела переполненными камерами в учащенном ритме пересылочной тюрьмы. Вдох — и содержимое воронков исчезает в глубине извилистых коридоров и сборных камер. Выдох — и

мятый, стриженный, пестрый рой набивается в воронки, которые чаще всего идут к трем вокзалам и оттуда, из Казанского, Ярославского, Ленинградского затхлое дыхание Пресни расходится по всей стране, густо обдавая Восток и Север. Опять баня с капризными — то холодные, то горячие, то идет, то не идет — струями душевых леек, ночевка на голых нарах, на следующий день получение постельной матрасовки, мятой алюминиевой кружки и литой новейшего образца, кургузой ложки, которой Наркоша укротил однажды камерного циклопа. Со сборки распределял старый знакомый — желтолицый опер — капитан, поведавший однажды о том, на что способны опера, если я буду «мутить воду». Я хотел попасть в прежнюю камеру, откуда последний раз выдернули, и ждал момента, чтоб обратиться с просьбой. Но капитан с угрюмой неприступностью отдавал распоряжения кого куда и делал пометки на бумажке. Все-таки я назвал номер своей камеры и попросился туда. Капитан и ухом не повел. Нас двоих, с каким-то пареньком, отвели совсем в другое место. В камеру, где не оказалось ни одного человека.

Странное зрелище. Обычно, когда заходишь — кишенье людей, с них начинается устройство и только потом осматриваешься: где что. А тут будто вывернуто наизнанку: шмотье на нарах, на столе прерванная партия шахмат, не знаешь, куда приткнуться — везде кучно застелено, набросано, все чужое. Жилой дух, только что были люди, и вдруг как ветром сдуло. Да сдуло ли? Кажется, дышат, лежат, сидят за шахматами, но надели шапки-невидимки и замолчали с нашим появлением. В окна через решетки пробивается солнце. Блестит кафельный пол, плиточные узоры чисты и нарядны. Куда мешок, куда матрасовку? Не стоять же. Сели за стол, ждем. Где им еще быть — все на прогулке. Дружные ребята. Не припомню, чтобы где-либо вся хата выходила, всегда кто-то спит, кому-то лень, у кого-то дела — кто-нибудь остается. Во всяком случае вдвоем в пустой общей камере непривычно. Минут через двадцать за дверью вдруг загомонило. Возбужденная толпа покатила на нас, сразу в камере стало тесно и шумно.

За главшпана, очевидно, интеллигентный брюнет с сильной проседью. Густая щетка волос, массивные очки, плотный. Из закатанной по локти рубашки толстые, волосатые руки — рубит воздух, что-то доказывая собеседнику на смешанном языке столичной интеллигенции и уголовного жаргона. Приятный баритон. Речь ловкая, сыпет остротами, весь полон жизненной силы. Видно было, что человек темпераментный и неглупый и в камере держит верхушку. Впервые вижу еврея и интеллигента в роли камерного пахана. Чего только в тюрьме не насмотришься!

— Гриша! — сказал брюнет, протянув холеную руку, не знавшую физического труда.

Он подошел вместе с собеседником, высоким одутловатым молодцом и окружавшей их ватагой. Остановились у стола. Гриша сел рядом со мной. Вокруг сгрудились люди. Познакомились. Гриша Торчинский — так звали этого человека. Узнав, за что сижу, тут же обворожил и обласкал. Тоже, наверно, изголодался по общению. Сразу мы сделались друзьями и единомышленниками.

Места на нарах не было. Потеснившись, сдвинули по сантиметру весь ряд, чтобы устроиться рядом с Гришей на нижнем ярусе. Мой матрац за ненадобностью бросили под нары. Парнишка, пришедший со мной, поместился на противоположной стороне, наверху. Последнее мое место жительства в Москве.

Бок о бок с Гришей Торчинским. Я знал одного тележурналиста с такой фамилией. «Не родственник?» «Нет, Торчинских в Москве полно». Гриша Торчинский — детский хирург, специалист по сердцу. Примерно моих лет, около 35. Доктор медицинских наук, главный врач одной из крупнейших московских больниц. Даже лауреат — премия Ленинского комсомола за изобретение какого-то сердечного клапана. Главный хирург Москвы в области детского сердца. Да, не забыл подчеркнуть, что больница, которую он возглавлял, была с роддомом, — солидная больница, — объяснил Гриша. Как бы то ни было, ясно одно: все у него благоухало, шел вверх карьером и вдруг оборвалось. Посадили по 173-й, за взятку. За коробку конфет и коньяк от благодарных пациентов после операции. Этого Гриша не отрицал, удивлялся только: почему цветы не вменили, их тоже дарили, а иные букеты дороже коньяка. Остальное накручено. Свидетели — подчиненные. Я читал его приговор. В самом деле, обвинили по одиночным, неподтвержденным свидетельскими показаниями. Кому-то надо было остановить взлет восходящей звезды — взяли и потушили. Дали четыре года из десяти возможных — за взятку большие срока. Полгода уже провел на Крюковской зоне, в Зеленограде. Кстати, единственная, кажется, зона в Московской области, в 30 минутах на электричке. Трудно там сидеть — показательно-образцовая, экспериментальная, дисциплина строжайшая. Показал письмо, полученное на Пресне от друга на Крюковской зоне. Пишет друг, что родные много хлопотали, чтоб перевести его из Красноярска (Краслага) поближе к Москве, и сначала был рад, а теперь уже не рад, света белого не видит. Нормы выше крыши. После работы вкалывает столько же, чтоб выполнить. Иначе шизо, отмена свиданий и прочая. С утра допоздна, от

шконаря до шконаря — работа, работа, работа. Куда денешься — начал приспосабливаться, вроде полегче. Друг работает на промке т. е. в промышленной зоне, на производстве. Гриша жил и работал в санчасти. Почти не вылазил. Врачи приходят и уходят, вся нагрузка на Грише. За врачей, за медсестер, за шныря, ну и за зэка, конечно — об этом не давали забыть. Лагерные врачи слабы, их указания одно нелепее другого. Приходилось исполнять — на то и неволя. А спорить начнешь, вступишься за больного — это не любят. Упрямо стоят на своем. Хоть кол теши. «Как вы можете, — кипятился Гриша, — ведь вы же врач!»

— Я прежде всего офицер, а потом врач, — так отвечают.

Армейская присяга выше клятвы Гиппократа.

Кампания в защиту Торчинского вынудила судей согласиться на пересмотр дела. Поэтому он снова оказался на Пресне. Иллюзии нет. «Или освободят, или добавят, я на червонец настроился» — говорит Гриша. Сильные у него враги, далеко зашло дело, могут побояться выпустить — безопаснее для них упрятать его далеко и надолго. «Буду бороться, с рук им не сойдет», — Гриша говорит, что в его защиту выступило израильское радио, и если пересмотр будет не в его пользу, вопрос встанет на международном уровне. Когда бы ни вышел на свободу, сейчас или через десять лет, Гриша немедленно подаст на выезд. «Скорое всего мы с тобой встретимся за кордоном, — шутя прогнозирует Гриша. Но, смотрю, он не шутит. — Если я первый уеду, ты можешь меня найти на Западе через…» — и называет две израильские международные организации, ведающие устройством евреев-эмигрантов и имеющие представительства в европейских городах, в частности, в Вене. Дал московский телефон сестры.

Освободившись, я позвонил. Недовольный женский голос ответил, что такого человека они не знают, никогда не проживал. Другой наш сокамерник звонил на год раньше меня и тоже безрезультатно. А парень настырный, из-под земли найдет. Предполагает, что телефон неверный, Гриша там, как говорится, не ночевал. Не знаю, в чем дело. Клещами телефон я не тащил — сам дал. А интересно бы знать, как он, где сейчас?

Было в этой камере еще одно любопытное знакомство — с женщиной. Они сидели над нами, общались через «коня». Гриша одну «от сердца оторвал», я написал. Все, кто ее видел, говорили, что это молодая, красивая бабенка. Из переписки я узнал, что она с Северного Кавказа, «гастролировала» по городам. Посадили за мошенничество. Она — «кукольница». Благодаря привлекательной внешности и бойкому языку входила в доверие к случайным людям, обещала золотые горы, брала деньги и либо

сразу исчезала, либо «возвращала» деньги и след ее простывал. Человек разворачивал сверток и вместо денег обнаруживал пачку нарезанных бумажек, — настоящие купюры только сверху и снизу, а в середине — бумага. Это «кукла» Бойкая мошенница не стеснялась рассказывать мне в записках, как она это делала. Заходят с очередной знакомой, страждущей дефицита, в мебельный, например, магазин. Берет деньги, идет в служебное помещение. Возвращается, достает из сумочки заранее заготовленную «куклу». «Пусть деньги пока будут у вас. Товар есть. Анны Степановны нет, зайдем к концу дня. Только ее и видели. Или заводит свою клиентку в любое учреждение. «Подождите минутку» — в наглую шмыг в кабинет, чтоб легковерная покупательница видела, куда она вхожа. Там чиновник сидит. «Ах, извините, где же Иван Петрович?» «Какой Иван Петрович?». «Ну как же, рыженький, мы прошлое воскресенье на даче были». Выясняется, что Иван Петрович здесь не работает и больше того: оказывается, он работает в пищепроме, а здесь древлесбумпром. Но чиновник и кукольница довольны. Он — приятным знакомством, дает бумажку со своим телефоном, она — весело проведенным временем. Выскакивает из кабинета счастливая. Тряхнет на лету бумажкой с телефоном: «Вот! Считайте, что гарнитур ваш, виза получена! Подождите еще минутку. Минутку, минутку!» И кокетливо удаляется. Навсегда. Та дуреха прождет час, а то и полдня — плакали денежки. А в записках мошенница ну такая фифа — классная руководительница. И детей любит, и мужу верна, и что хорошо, что плохо — лучше всех знает. «Как же ты, такая правильная, людей-то обманывала?» — пишу ей. И глазом не моргнула: «Это не люди — это дураки, а дураков надо наказывать». Сквозило из ее строк, что верить человеку — глупость, а кто может обмануть, тот умен. Себя считает очень умной и добропорядочной женщиной. Не нужда ее сделала кукольницей. В деньгах, говорит, не нуждалась. Просто однажды заметила, что люди сами с удовольствием дают ей деньги. Зачем лишать людей удовольствия? С тех пор ей интересно: есть ли предел человеческой глупости?

— А сейчас, когда посадили, как думаешь есть предел?

— Нет, — отвечает, — я попалась случайно, от этого никто не застрахован.

Моему соседу, Вадику, писала другая девица, от записок которой хорошо пахло хлебом. Писаные корявым почерком, с ошибками, но добрые, теплые записки. Писать не горазда, поэтому доброту свою изливала в заботах: «Не надо ли чего?» Шила кисеты, вязала носки, достанет пару сигарет, когда без

курева у нас уши пухли. Конь от нее шел грузовой. Но долго не признавалась, за что сидит: «Не могу, не обижайся. Ты возненавидишь меня, но я не виновата». Однажды получает Вадик большое послание, где она пишет, что не может больше от него скрывать, но умоляет никому не говорить о том, что она сейчас расскажет. Была у нее подруга — проводница дальнего поезда. Стояли как-то у одного из московских вокзалов. Поезд готовили в рейс. А у подруги схватки, была, оказывается, беременная, но скрывала. Заходит в служебное купе бригадир: «Что с тобой?» — «Заболела». Когда ушел, проводница с помощью нашей Любы идет в соседний пустой вагон и там родила. Люба ей помогала. Проводница отсылает Любу в купе: «Иди, я скоро». Потом сама возвращается — одна, без ребенка. Бледная, больная. Люба укладывает подругу, сидит с ней ночь, день, делает за нее всю работу. На вопросы бригадира один ответ: «Нездорова». А наутро в помойном ящике соседнего жилого двора люди обнаруживают труп закоченевшего младенца. Милиция. Медики. На голове ребенка трещина — очевидно стукнули головкой о что-то твердое, прежде чем выбросить. В общем, убийство и по всем признакам — дело рук матери. Она должна быть где-то здесь, неподалеку. А тут поезд стоит. Спрашивают бригадира. Того осенило: вот она чем больна! Взяли проводницу вместе с подругой Любой. Одной восемь лет, другой шесть, за соучастие. Влопалась добрая душа как кур в ощип. Страшная история. Люба пишет, что никто в их камере не знает об этом, боится, побьют женщины. Слышала, что подругу бьют и изгоняют из камер. Нам от этой ксивы скулы свело. Но записка искренняя, в рыданиях. Жалко Любу. Да и ту тоже. Ведь что-то заставило, вызверило ее.

— Ну как? — опрашиваю Вадика.

Он растерян, но вида не подает:

— А что? Любка не виновата, та — стерва!

Вадик ответил сочувственной запиской. Благодарная Люба стала гонять «коня» раз по пять в день.

Вадик — тот самый высокий, круглолицый, рыхлый парень, с кем Гриша беседовал, когда я их впервые увидел. Достаточно развит, начитан, непременный участник наших с Гришей бесед. Сетовал обычно на то, как мало он знает. Кассационный суд скостил ему срок с двух лет до шести месяцев, т. е. до фактического времени, проведенного под стражей. Через неделю у Вадика как раз полгода и прямо из Пресни он уйдет на свободу. Редкий случай, чтоб смягчали приговор по кассации. В моей практике — единственный. Дело его, и правда, выеденного яйца не стоит. Сожительница хотела его женить на себе, он упирался. Повздорили, ударил по пьянке, она — ультиматум: в загс или в

милицию. Он ей еще добавил, да чем-то милицию рассердил, обматерил, кажется, когда брали. Все дела. Два года. Отмена приговора Вадику всколыхнула всю камеру. Все кругом видели, что кассационный суд автоматически утверждает приговоры, аргументы защиты не рассматриваются, все получали листочки кассационного определения, содранного с приговора. И вдруг отмена, смягчение наказания. Значит, есть справедливость! Есть гуманность! Это было открытием.

Люди кинулись ко мне с просьбой написать кассацию. Прежде не писали потому, что не верили, не хотели связываться, чтоб зря задерживаться в тюрьме. Теперь загорелось. «Опоздал, — говорю, — семь дней прошло». «Напиши, может, рассмотрят», — последняя надежда в глазах. А то приврет, начнет рассказывать, как у кого-то тоже семь дней прошло, но никто этого не заметил. Самое удивительное в этой реакции было то, что все знали подоплеку Вадикиной кассации, знали, что не могут равняться, и в отличие от него, остальным надеяться было не на что. У Вадика папа, дядя в высоких чинах, с хорошими связями. Вадик громко ругал отца, с которым у него неважные отношения и который палец о палац не ударил в начале — хотел проучить. Отец мог не допустить ареста, отскочили бы менты, как от стенки горох. Не рассчитывал папаша, что блудному сыну два года дадут, или сжалился наконец — нажал, куда надо. Блат, а не кассационный суд, выпускает Вадика на свободу. Старо как мир, никакого открытия. Тем не менее, событие все же необычное. Вадик даже несколько тронулся. Никак не мог поверить, что то, что написано в кассационном определении, — правда, что день-другой и он — на свободе. С полгодика в казематах за многими дверями, решетками, под охраной — действительно трудно поверить, что когда-либо можно отсюда выбраться. Вадик поглупел от счастья, радость и изумление застыли на круглой, невменяемой физиономии.

Если Вадик свихнулся, представьте ажиотаж других, особенно тех, кто пренебрег кассацией и сейчас не мог себе этого простить, торопился догнать, ухватить упущенный шанс. Никакая логика не помогала. Мы с Гришей держались мнения, что кассационный суд только и существует для таких вот блатных дел. Есть какой-то процент допустимого пересмотра и весь он идет на связи, на взятки, на высокие звонки. Обыкновенное дело, своим ходом попавшее на кассацию, практически не рассматривается, определение штампуется по приговору. Кассационный суд занимается только такими делами, за которые ходатайствуют чины или деньги. Вразумляешь очередного просителя: «На хрена тебе жалоба? Кто за тебя пороги бьет: министр, деньги?» Нет у

него ни министра, ни денег, зато после Вадика появилось неистребимое «авось». А вдруг? Будет свербить всю жизнь: зря не написал. Так чего маяться, почему не попробовать? Получить ответ и забыть. И вот подходят, мнутся, просят: напиши. Народу много, безнадежные дела я не брал. Но были приговоры, которые сам бог велел бы обжаловать. Приведу несколько примеров.

# Без вины виноватые

Как обычно, полно тунеядки. Преступление, предусмотренное статьей 209 Уголовного кодека. Формулируется так: «Систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством, а также ведение в течение длительного времени иного паразитического образа жизни — наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок. Те же действия, совершенные людьми, ранее судимыми по части первой настоящей статьи, — наказываются лишением свободы на срок до двух лет».

В камерах общего режима — ранее не судимые, поэтому все наши тунеядцы идут до первой части, т. е. до года Кто же они — новоиспеченные бродяги, попрошайки и паразиты? Вот типичный приговор. «Люблинский районный народный суд г. Москвы 16 февраля 1981 г. в составе председателя Титова В. С., народных заседателей Планкина Ю. Л. и Сивцева Т. В. рассмотрел дело по обвинению Лукьянова Валерия Александровича 1942 г. рождения, работающего слесарем-сантехником на хлебозаводе № 10 г. Москвы, имеющего двоих несовершеннолетних детей, несудимого — в преступлении, предусмотренным ст. 209 ч. 1 УК РСФСР». Оторопь берет: работающего человека обвиняют в тунеядстве — где логика? Читаю дальше: «Лукьянов виновен в ведении в течение длительного времени паразитического образа жизни. Будучи уволен с работы за прогулы, не работал с 11 июня 1980 г. и, несмотря на официальное предостережение от 27 ноября 1980 г., не трудоустроился, пьянствовал, жил на нетрудовые доходы (средства жены). Допросив свидетелей, суд считает виновность подсудимого доказанной… Лукьянова взять под стражу в зале суда, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в ИТК общего режима». Начали за здравие, кончили за упокой: «работающего» приговаривают за то, что «не трудоустроился, жил на нетрудовые доходы». Если человек уже работает, зачем его заставлять работать? Зачем сажать?

Суд приводит три доказательства того, что Лукьянов вел «паразитический образ жизни»: «не работал с 11 июня,… пьянствовал, жил на нетрудовые доходы (средства жены)». Ни одно из них нельзя считать доказательством. На самом деле Лукьянов работал, не пьянствовал, жил на трудовые доходы. К лету он нашел выгодную шабашку — ремонт подмосковных дач. С работы не увольняют — надо ждать два месяца, чтобы получить расчет, — ушел сам и это зачли за прогул. Черт с ним, за это пока

не судят, зато Лукьянов неплохо заработал, много больше зарплаты жены, на средства которой якобы жил. Суд требует справки: где работал? Не брал никаких справок, откуда знать, что понадобятся, но работал там-то и там-то, сделайте запрос. Судья отказывает, ссылаясь на то, что справки должен взять сам Лукьянов.

— Да хоть сейчас! Отложите суд и я принесу справки.

— Раньше надо было думать.

Отказ в этом ходатайстве — грубейшее процессуальное нарушение, достаточное основание для отмены приговора. Да пусть бы не было никакой шабашки, все равно не имели права обвинять в паразитизме. Ведь двое несовершеннолетних детей. Жена работает, муж ведет домашнее хозяйство, сидит с детьми — какое же это тунеядство? Суд ясно дает понять: то, что позволено женщине, мужчине не позволяется. Мужчина должен работать на государство, всякая иная работа — паразитизм. Мужчина — раб государства. Вслух это не говорят, но смысл приговора предельно ясен: «кто на нас не работает, тот…» Не хочешь — заставим. Не хочешь быть добровольным рабом, будешь подневольным. И делают это с беспощадным цинизмом, нагло перевирают обстоятельства, оговаривают человека, фабрикуют обвинение — под ширмой законности творят беззаконие.

«Жил на нетрудовые доходы» и тут же в скобках — «средства жены». Разве зарплата жены не трудовой доход? Почему муж может содержать жену, а жене отказано в праве содержать мужа? В бытовом обыденном смысле вроде возмутительно: что это за муж, которого содержит жена? Но ведь разные бывают обстоятельства. Во всяком случае, закон не запрещает. На каком же тогда основании допускается вмешательство в бюджет, в жизнь семьи? Почему люди лишены права самим распределять семейные роли? Лукьянову 39 лет, 20 лет трудового стажа — почему он не может какое-то время жить, не работая, на свои накопления. Накопления у Лукьянова были, но суду на них наплевать. «Он на нас не работает», — в этом его «преступление».

«Пьянствовал» — откуда взято? Из рапорта участкового Н. Л. Азаренко. Однако заключения нарколога в деле нет, жена не подтверждает и внешне Лукьянов не похож на пьяницу. Почему верят на слово участковому, а не верят жене? Какая мать доверит малолетних детей мужу-пьянице? Лукьянов — донор, регулярно сдавал кровь. У пьяниц, как известно, донорскую кровь не берут. Кстати, кровь он сдавал ежемесячно, платили 27 рублей — тоже не паразитические деньги.

На суде было два свидетеля: жена Лукьянова и участковый, жена отрицает все пункты обвинения, приговор сфабрикован

только по показаниям участкового. Тем не менее, пишут: «Допросив свидетелей, суд считает виновность подсудимого доказанной». Нарочно создается впечатление, будто доказательства обвинения получены не от одного свидетеля. О том, что свидетелем выступает участковый, скромно умалчивается. И ведь формально не подкопаешься. Допросили свидетелей? Да, допросили. Жена отрицает обвинение? Ну и что? Приговор не утверждает, что доказательства вины получены от жены Лукьянова. А в контексте смысл фразы таков, что и от нее тоже. Казуистика придает внешнюю убедительность приговору.

Тенденциозность в каждой строке. Отмечено, например, что не работал с 11 июня, но не говорится, когда трудоустроился. Неудобно признавать, что осудили за тунеядство человека, который почти месяц работает. Не приняты во внимание шабашка, несовершеннолетние дети, хозяйство, донорство, сберкнижка трудовых накоплений Лукьянова — нелепо выглядело бы обвинение в паразитизме занятого человека, живущего на свои заработанные деньги. Приговор акцентирует то, что Лукьянов якобы «длительное время не работал». А шабашка, дети, дом — не работа? Лукьянов несколько месяцев не числился в штате предприятия, на государственной службе — вот что имеет в виду приговор, лукаво подменяя понятие «работа» службой на государственном предприятии. Фактически обвинили не за то, что он «длительное время не работал», а за то, что работал на себя, а не на государство. За это его осудили, приговор, которым власть разоблачает себя, свою хищную суть: не работает на государство, значит, не работает на нас, кто на нас не работает, тот преступник. Логика рабовладельца и паразита. У них одна цель: заставить работать на себя. Вот для чего фабрикуются приговоры, разбиваются семьи, унижается человеческое достоинство, уродуется, отнимается жизнь. Вот для чего срока на всю катушку. Ведь год лишения свободы — это максимальное наказание. Часть 1 статьи 203 предусматривает до года или исправительные работы. Но я не встречал меньше года и не слышал, чтобы давали исправработы. Может, случается, но если не за понюх Лукьянову год, то не представляю кому. Сплошь и рядом в камерах по этой статье — год, год, ни месяцем меньше. По андроповскому указу 1982 года по части первой уже два года, по второй — все четыре. Растет аппетит госаппарата. Множатся жертвы коммунистического порабощения. Никакой закон, никакой адвокат их не защитит. Не защитит, пока не встретит поддержки в сопротивлении произволу. Надо бороться всеми способами. И, прежде всего, правовым: максимально использовать защитную силу закона, по которому тебя неправомерно карают.

Для того и нужна кассатка — инструмент разоблачения. Кассатка — форма протеста. Нельзя молчать. Нельзя упускать возможности бросить сфабрикованный приговор в бесстыдную морду псов произвола. Быстрее подавятся.

Другой пример без вины виноватого — цыган. Приехали с семьей за покупками в Москву. Дали кому-то в лапу — купили со служебного хода магазина три ковра. (Тогда ковры были сравнительно дешевы, но крайне дефицитны.) Вечером сидят на городском аэровокзале, ждут автобус на самолет. За полчаса до автобуса милиционер приглашает цыгана в специальную комнату — проверка документов. Цыган выкладывает паспорт, авиабилеты, просит не задерживать на автобус.

— Откуда ковры?

— Купил.

— Где?

— С рук.

— У кого?

Цыган вертится. Сказать у кого — подведет людей, а ковры отберут. Не сказать — начнут выяснять, на самолет опоздаешь.

— А что такого? Что я сделал?

— Зачем тебе три ковра?

— Два себе, один брату.

— Знаю — спекуляция!

Чрез 10 минут автобус. Цыган не вчера родился, сообразил, что и к чему: надо дать служивому, уж больно настойчиво просит. Вкладывает в паспорт 100 рублей и на стол. «Ладно, забирай документы, — меняет тональность милиционер и протягивает руку к паспорту, — Считай, что тебе повезло — не все такие добрые, как я». В это время заходит некто в штатском. А паспорт со сторублевкой у милиционера в руке. «Что у него?» — между прочим спрашивает штатский. — «Ковры, подозрение в спекуляции, — надменно отвечает милиционер и вдруг свирепеет. — А это что?!» Показывает на купюру в паспорте. Цыгану бы повалять дурака, мол, просто держит деньги в паспорте. Но считанные минуты до автобуса. Несколько раз заглядывала цыганка с цыганятами, и в отчаянии он делает роковую ошибку: просит обоих, милиционера и штатского, взять деньги, если мало — еще добавит, только отпустить. Многозначительный обмен взглядами: «Взятка!» Друг при друге они не берут, к тому же «штатский» оказался начальником. Пропали билеты — улетела цыганская семья, и хотя ковры не конфисковали, цыгана посадили за «покушение» дать должностным лицам взятку. Три года.

Но почему суд не учел, что цыгана вынудили к этому, что

задержали безосновательно? Ведь закон освобождает от ответственности по 174 статье людей, у которых вымогают деньги. Поскольку ковры не забрали, повода для задержания не было. Значит, превышение власти с целью вымогательства. Кого же надо судить? — Как две капли другой приговор, тоже с коврами. Племянник с дядей на перроне одного из московских вокзалов спешат с багажом к вагону. Останавливает милиционер: «Откуда ковры? Зачем столько?» Обоих в привокзальный участок. Пожилого дядю выпустили. А племянник, малый лет 30, — вот он, в этой камере: два с половиной года за четыре ковра на собственные, заработанные деньги — незаконное приобретение товара с целью спекуляции». «Незаконное?» Где доказательства? Наверняка, конечно, переплатили продавцу, брали из-под прилавка, но кто это установил? Говорят, с рук — кто доказал обратное? А если нет доказательств, то взятки гладки, — с рук покупать не преступление. «С целью спекуляции?» Где доказательства? Кто это показывает? Почему две семьи не могут приобрести для себя четыре ковра? Обвинение в спекуляции основано только на «внутреннем убеждении» милиционера, следователя и судьи, курам на смех. Если они не стесняются выносить подобные приговоры, значит, абсолютно уверены в своей безнаказанности, в том, что никто приговор рассматривать не будет, поэтому никакие жалобы не помогут. Что делают адвокаты? За что им деньги платят?

В этой камере срок подачи кассации почти у всех истек, я писал жалобы в надзорные инстанции: вышестоящий суд, прокуратуру. Серьезных надежд, конечно, никто, не возлагал, но отправляя жалобу, человек успокаивался: он сделал все, что мог, хоть перед собой не в долгу. Это сознание необходимо. Кроме того, в вакууме пустого, бессмысленного времяпрепровождения хоть чем-то наполнялась жизнь, было чего ждать, о чем думать и даже на что-то надеяться. По этой причине пыхтели, кропали свои жалобы и те, до кого у меня руки не доходили, чьи дела я считал безнадежными. «О чем же вы раньше думали? — не мог я взять в толк. — Почему вовремя кассацию не писали?»

— Да мы такой народ — пока жареный петух в жопу не клюнет.

У Гриши по всякому поводу наготове притча или анекдот. Так объясняет их психологию:

— Один пилит сук, на котором сидит, а другой говорит: «Что ты делаешь — свалишься!» «Пошел на х…!» Упал на землю, чешет задницу: «Кто ж это проходил, колдун, что ли?»

— Чему ты удивляешься, Профессор? — сквозь смех кричат со стороны — У нас все по-русски: своровал ящик водки, продал,

а деньги пропил.

— Ты на зоне богатый будешь, — говорит мне Гриша.

— Почему?

— Там все за деньги. Каждая жалоба, помиловка — не меньше пяти рублей.

— А сам ты почему не пишешь?

— Вначале писал, — говорит Гриша, — потом надоело. Одному поможешь — отбоя не будет. И бестолку. Кому это нужно? Думаешь, им нужно? Это они от нечего делать, лишь бы чем-то себя занять. Что я им — погремушка? Почему многие от адвоката отказываются, кассации не пишут? Потому что сами в тюрьму лезут. Пропьются, работать не хотят, из квартиры гонят — тюрьма для них дом родной. В тепле, трехразовая баланда — разве на воле они лучше живут? Жрать нечего, валяются где попало, надоест — нарочно сделают так, чтоб посадили. На хрена им кассация? Ты пишешь, а они смеются. Идут двое по болоту. Один по кочкам, другой по воде: по колено, по пояс, по горло. Тот видит — человек тонет, кричит ему «Иди по кочкам!» «Хули ты пристал, я здесь живу!» А ты им бесплатно кассатки пишешь.

Не исключено, может, бывает такое. Есть спившиеся и заблудшие», но я не встречал никого, кто бы сам норовил в тюрьму.

Нет, не видел я бродяги из О'Генри, который без гроша заказал в ресторане богатый ужин, чтоб зиму отсидеться в тюрьме. Кто совсем опускается, живет по принципу «будь что будет», однако никто не признавался мне в том, что нарочно хотел сидеть. Все-таки в тюрьме хуже. Вспоминаю Жору. Он понимал, что тюрьма спасла его от белой горячки, дала возможность протрезветь и одуматься. Самому же садиться и в мыслях не было. Жизнь затянула, течение. Почему затянула? Хуже или лучше стало от этого — другой вопрос. Ему одному из таких-то я и писал, и то не для смеха, а чтоб задержаться в московской тюрьме, чтоб не потерять прописки. В остальных случаях было что обжаловать, люди всерьез сетовали на несправедливость. Не пишут кассатки потому, что не могут, не умеют складно писать, к тому же не верят в успех — ворон ворону глаз не выклюет. Но главное, пожалуй, — боязнь суда, боязнь обратиться за помощью в официальное учреждение. Привыкли, что оттуда одни напасти, что закон — наказание. От суда, от тюремной администрации, не говоря уже о прокурорском надзоре, не ждут ничего хорошего. Надзор понимается однозначно, не слишком ли зэкам вольготно живется, какую бы гайку еще закрутить? А то, что это надзор не за зэками, а за соблюдением законности, что закон имеет защитную сторону, —

большинству и в голову не приходит. «Еще добавят», — вот первое чувство. Приходилось подолгу объяснять, тыкать носом в УПК, где говорится, что кассационный суд не может пересматривать приговор в сторону ужесточения наказания, чтоб развеять сомнения человека, желавшего справедливости. Но и это не все. Захочет, а не напишет. Что он в своей жизни официально писал? Объяснительные за прогулы, которые «Крокодил» публикует в рубрике «Нарочно не придумаешь». Известная проблема: чувствую, а словами выразить не могу. По-своему мог бы, конечно, написать — писал же когда-то школьные изложения, но тюрьма — не школа, и прокурор — не учительница, нужен особый язык, чтобы говорить с начальством. Если писать, то без промаха, должна быть грамотная, серьезная, жгучая жалоба, иначе связываться не стоит. Общий страх и растерянность перед официальным. Не знают, как надо, не чувствуют себя способными на написание жалобы. Вот бы специалист, знающий человек помог. А где его взять? Адвоката или нет, или такой, что лучше бы его не было. Среди тех, с кем сидит, такие же, как он, грамотеи. Некому написать кассационную жалобу. Но когда в камере человек, который, по их мнению, может изъясняться на языке начальства, тогда со всех сторон: «Напиши!» А если он еще и в очках, и на их глазах Вадика по кассатке освобождают, то кто усидит? Взрыв страстей! Жалобная эпидемия! Так мне представляется то, что Гриша считает «от нечего делать». Никто не хочет сидеть. И к суду довольно обоснованные и серьезные претензии. Но самые большие претензии надо бы предъявлять адвокатуре. Будь у нас хорошая и влиятельная адвокатура, по меньшей мере половина бы зэков совсем не сидела или бы не такие срока. Уже по суду первой инстанции. И от кассационного больше бы толка.

# Наш Сингапур

Отношения между Гришей и зэками оказались совсем не такие, как на первый взгляд. Бесспорно, он самая заметная фигура в камере, к его мнению прислушивались, но «паханом» он не был. Да, он диктовал, распоряжался, как у себя дома. Однако каждый мог возразить, спорить. Тем и хороша была камера, что всяк сам по себе. Гриша не угождал, не скрывал своего превосходства над остальными, и это сходило ему. Сидит полтора года, дольше любого из нас. Прихватил зоны, вводил в курс лагерной жизни, к которой все мы готовились. То, что он опытнее, на две головы умнее и образованнее, ни у кого не вызывало сомнения. Он умел ставить людей на место и говорить то, что думает. Кое-кому было неприятно, но человек не чувствовал себя оскорбленным и униженным. Есть грех, что правда, то правда, — и хорошо, что Гриша в глаза говорит то, что думает. За это на Гришу не дулись, наоборот — уважали. Ценили его остроумие, притчи и анекдоты. Веселье в невеселых условиях особенно ценится. В общем с Гришей интересно, ему прощали некоторое пижонство. А когда Гриша зарывался или кто-то чувствовал себя задетым, одергивали его так же, как любого другого. Внешне Гриша не обижался. В ссоре он умел сохранять достоинство и даже, когда уступал, относился к этому вполне философски. Точнее сказать, не допускал спору или размолвке разрастись до ссоры. А бывали моменты довольно острые.

Не все принимали Гришино старшинство. «Камера — наш дом, — рассуждали уважающие себя уголовники. — Мы тут хозяева. Почему, как и на воле, распоряжается интеллигент?» Отношение к интеллигенту, как к начальнику. Мало того, что интеллигенты на воле командуют, сажают, мучают в лице тюремной администрации, так еще и в камере устанавливают свои порядки. Воры, понимаешь, едят на нарах, а за столом грамотеи собрались. Время от времени кто-то бунтовал. Бычатся, реплики, насмешки репейником, волчьи глаза из глубины нар. Нацелятся и вперед — торпедой на Гришу. Однажды освободилось место за столом и кто-то сел за обедом без Гришиного разрешения. Гриша промолчал. Но после обеда возмутился: «Чтоб этого больше не было! Если каждый будет садиться и ложиться куда хочет, порядка не будет!» С противоположных нар: «Кто ты такой?» Средних лет, сухощавый, высокий человек с землистым лицом — он не упускал задираться с Гришей. Всегда серьезен и хмур, держался подчеркнуто независимо, как бы показывая нашему интеллигентскому крылу,

что и он не лыком шит. Во время наших — бесед обычно усаживался на некотором расстоянии, внимательно слушал, как бы принимал участие в «умных» разговорах, или прохаживался по камере, делая вид, что на все, о чем у нас разговор, он имеет свое особое мнение. Обычно он молчал. Когда встревал в разговор, то чаще всего невпопад и неловкость маскировал какой-нибудь контрой, выпадом против Гриши — знай, мол, и ты наших. Такая была оппозиция и сейчас: «Кто ты такой?»

— Что ты реплики из угла бросаешь? Иди сюда, я объясню, кто я такой, — спокойно приглашает Гриша этого человека к столу, где мы сидели.

Тот бойцовским петухом спрыгивает с нар и останавливается у стола: «Почему распоряжаешься, умнее всех, что ли?»

— Да, я умнее тебя, поэтому хату доверили мне, а не тебе, и будь любезен слушать меня.

— Я тебя не выбирал, ты такой же зэк, как и я.

— Но в хате должен быть порядок? — спрашивает Гриша.

— Ну, должен.

— Тогда садись на мое место и сам распоряжайся, где кому сидеть, где лежать, может, у тебя лучше получится.

— На хрен мне это нужно, — сердито буркнул бунтарь, но кулаки разжал.

— Чем же ты недоволен?

— Болтаешь много. Много на себя берешь. Был бы такой умный, здесь бы не сидел. Вот человек, — показывает на меня, — он за идею, ему можно верить, а ты кто? Взятки брал, аборты делал, а корчишь идейного. Язык у тебя длинный, вешаешь лапшу на уши.

— Ах вот ты о чем! Ну тогда слушай, что я тебе расскажу. В зоопарке посетитель угощает обезьян конфетами. Конфеты кончились. Обезьяны просят еще. Человек показывает пустой кулек. Обезьяны плюются. Не надо обижаться на то, что в тебя плюют обезьяны.

Гриша в своем амплуа: нечего ждать добра от народа и не следует на него обижаться.

— Хули с тобой говорить, — отмахнулся озадаченный бунтарь и ушел к себе не нары.

— Все, мужики! — обращается к камере Гриша. — Берите бразды в свои руки, делайте, что хотите. Я и так проживу.

Гриша заваливается на нары, камера молчит, потом раздаются примирительные голоса: «Да ладно, Гриша, не бери в голову. Пусть будет, как было». Тянутся с шутками, садятся на нары рядом: «Как мы без тебя, Гриша? Ты у нас самый главный. — И к камере с напускной угрозой: — Кто без Гришиного

разрешения сядет — пасть порвем!» Подхватывают: «Хвост надуем! Ноздри вырвем!»

И кто заходил из новых, опять к Грише: «Кого куда?» Гриша усаживался за стол или подзывал новичков к своим нарам, образовывался сходняк, беседовали: кто, откуда, за что, кем жил? Соответственно устраивали — кого за стол, кого к мужикам, кого к чертям. Педерасов в этой камере не было. Благодаря Гришной распорядительности в камере был порядок и не доходило до драк. Все же Гриша — медик, врач в камере лицо уважаемое. К тюремным лекарям, «лепилам», относятся примерно так же, как и они к зэкам, — так себе. Чего они налечат через кормушку? Таблетка аспирина напополам: половинка для головы, половинка для живота, да палочка с ватой, смоченной йодом. А тут свой врач: выслушает, посмотрит, нащупает, скажет диагноз, посоветует, что просить у «лепилы» при очередном обходе. Я рассказал Грише о сердечных приступах перед арестом и в КПЗ: чтобы такое могло быть? Он уточнил детали и сказал: «Микроинфаркт». Поинтересовался: как сейчас.

— Тяжесть в груди, иногда покалывает.

— Ментам помогаешь!

— Почему?

— Они изводят тебя, а ты сам себе роешь яму, — бросай курить.

И я бросил. Бросал курить накануне ареста, после приступа, но в КПЗ потихоньку опять начал — пропади пропадом, терять уже было нечего. В тюрьме же понял, что здоровье надо беречь, иначе совсем худо. В ту пору донимали меня приступы острой, до остановки дыхания, боли в правом боку, где печень. Тревожило не на шутку. Гриша осведомился, как раньше? Пощупал живот. И успокоил: «Бывает. От малоподвижности, недостаточного питания, нервы. Органических нарушений не должно быть».

Все к нему приходили, все на что-то жаловалась. Были больные, от мнительности, от нечего делать, лишь бы поговорить. Грише надоедало: «Чего ты ко мне подходишь? Я не терапевт, я — хирург. Наточи ступер и подходи: вырежу все, что у тебя болит». (Ступер — металлическая упругая пластина в подошве ботинок, ее затачивают и пользуются как ножом. С заменой алюминиевых ложек, которые легко затачивалась, на круглые, литые, ступер стал единственным материалом для ножей, без него и хлеб нечем нарезать. От ментов ступер прятали, обычно в щели нижней, тыльной части стола. Менты, конечно, знали об этом, но при шмоне на столовый ступер смотрели сквозь пальцы. А заберут — не беда, вспарываются другие ботинки и к баланде готов новый нож.) Но было одно, общее недомогание, которое врачебный

авторитет Гриши, если не устранил, то безусловно облегчил моральные муки. То самое недомогание, которое свойственно не больному, а здоровому организму, и чем отменней, лучше здоровье, тем сильнее заявляет о себе эта хворь. Люди в неволе крепко страдают от неудовлетворенной половой потребности. Не от того ли и мат кромешный — словесная компенсация сексуального голода? Единственное требование здоровой физиологии тела, которое остается без удовлетворения. Баланда, хоть и впроголодь, но еда. Воздух сперт, но дышать можно. Движения в два шага, но все же разминка. Вода есть. В чем совершенно отказано — это в женщине. Ни в чем другом из естественных нужд не обделены так зэк или зэчка, как в сексуальном партнерстве. Самая отличительная особенность неволи. В этом острие наказания. Лишение свободы означает прежде всего лишение полового общения. Едва ли не во всех отношениях разница между нашей волей и неволей чисто количественная — больше-меньше, как между большим лагерем и малым, принципиальное же отличие в одном: на воле есть женщина, в неволе женщин нет. Один ученый-физиолог сказал, что без «популяции» (так он выразился) люди не умирают. Я бы сказал иначе: не умирают, но и не живут, а страдают. Основная масса зэков беззащитна от разгула инстинктов. Слабая воля, хрупкое нравственное табу. Страсть ударяет в голову, мутит сознание, захлестывает молодое, первобытное зэковское существо, деформирует психику и человеческие отношения. Люди в плену, в магнитном притяжении, жизнь начинает вращаться по кругу черного солнца безысходной тоски, охватывающей всего человека: его язык, мышление, поведение. Жизнь настраивается на компенсацию того, чего больше всего ей не хватает. Неудовлетворенная потребность ищет выхода, сублимируется, как говорил Фрейд, т. е. превращается и направляется в другие русла, и тоже в условиях камерной праздности и примитивной бездуховности течет не туда, куда надо.

Отсюда мат, сексуальный настой в каждом слове. Повышенная агрессивность. Педерастия. Повышенный интерес к порнографии. Нервы и головная боль. Отсюда онанизм, повальная суходрочка. Обычные шуточки: «руки заняты», «мозоли на руках», песенки вроде «тихо сам с собою я веду бесе-е-ду». Но, слава богу, стесняются. Редко кто признается. Перебиваются тишком, по ночам. О себе, как правило, не говорят, над другими насмешничают. Но грешат почти все, в том числе женщины. В разгаре порнографической скачки «коня» какая-нибудь в ответной записке деликатно признается: «Получила удовольствие два раза». Есть, правда, люди выдержанные или везучие, кто

обходится без ручного стимулятора. У них автоматика. Гриша, например, среди ночи частенько вскакивал с нар и бежал к умывальнику, простирнуть трусы. Я вначале забеспокоился: «Что такое, Гриша?» Он вешает на батарею черные мокрые трусы и без тени смущения по-медицински откровенен: «Приплыл». А то скажет довольно: «Такой сон замечательный».

Кто к нам поближе спрашивает: «Гриша, а это не вредно?»

— Нет, конечно. Организм сам себя избавляет.

Грише хорошо, но как быть остальным, у кого не так легко получается? Все слышали, что онанизм вреден, боятся стать импотентами, а терпежу нет. Не будет ли потом худо? Смешками вокруг да около:

— Я раз приплыл — испугался, думал что-то сломалось.

— Бурлак! — уличают его.

— Ручонками тащил.

— На буксире приплыл!

— А правда, Гриш, «на буксире» не вредно?

Смеется, а в глазах комплекс неполноценности. Взгляд выдает, что человек делает чего нельзя делать, стыдно, признаться, как стыдно признаться в слабости, в безволии, от которого больше членовредительства, чем удовольствия. Ждали, что Гриша как медик скажет, что онанизм вреден, и каждый останется наедине с комплексом и страхом за судьбу своего беспокойного атрибута. А Гриша вдруг: «Кто вам сказал? Наоборот! Все хорошо, но в меру!» Народ ахнул: «Онанизм хорошо?» «С утра до вечера — плохо, а с вечера до утра — хорошо, — веселится Гриша. — Хуже, чем бессонница и головная боль. А вот тебе, Кузьма, — обращается к худощавому парню с нервным, прыщавым лицом и красными, припухшими веками, — я советую притормозить».

— Чего? — смутился Кузьма.

— Потому что ты злостный.

Бодрый, раскованный смех прокатился по камере. Так Гриша освободил народ от угрызений ущемленной совести. Дело естественное. Никто больше не опасался за свое здоровье.

Из собеседников, завсегдатаев нашего кружка, особенно памятны двое: Степа и Юра Столбиков. Степа приходил с противоположных нар, усаживался и сидел часами. Большой, сильный, он умел съежиться в тесноте так, что никому не мешал, — наоборот — на его широкую грудь, руки, ноги облокачивались, укладывали головы, этот диван всем был удобен. Когда основные ораторы выговаривалась и нечем было заняться, а расходиться не хотелось, Степе говорили одно слово: «Расскажи». Он будто ждал. Моментально включалась говорильная машина,

ровно, без перебоев, без единой паузы Степа молотил языком. Безостановочно болтал до тех пор, пока кто-то не остановит: «Ну, пиздобол! Хватит, дай отдохнуть». Степа отключался на полуслове и добродушно замолкал.

Сидел, кажется, за тяжкие телесные: кого-то помял с пьяну. Ему около 30, работал в колхозе, из родного украинского села, сроду никуда не выезжал. Все рассказы об одном: как пьют, как дерутся, как там у них с бабами. Про себя с самого детства, во всех подробностях, без конца, пока не остановят. Я его слушал и не слушал, но вот что удивляло: Степа никогда не повторялся. Сотый раз про пьянки и пьяные похождения, но всегда новые сюжеты, к известным уже именам прибавлялись новые лица и непохоже было, что Степа фантазирует — все черпалось из бездонной памяти. Неужели не истощится? Сколько из трех кирпичей можно построить, чтоб ни разу не повториться? Периодически поднимаю ухо и всегда что-то новое. На материале одного села Степа умудрялся складывать бесконечные вариации. Кажется, ему было все равно: слушают его или не слушают. Расходились, засыпали, а Степа все говорил, говорил. Обычно Гриша приглашал Степу после отбоя. Под мерное гудение хорошо засыпалось. Гриша лежит, подбрасывает изредка вопросики. Степа с юмором подхватывает и на радости, что его слушают, наращивает обороты неугомонного языка. Открываю среди сна глаза: уже никого рядом, все спят, Гриша шевелит тяжелыми веками, а Степа сидит и треплется. Просыпаюсь уже среди ночи: будто забыли выключить радио — гу-гу-гу «поспорили на бутылку, што Иванко полный стакан зубами выпьет и не прольет на капли взял руки назад нагнулся отпил с краев и зубами поднимает стакан пьет…» Гриша повернут спиной, давно спит, ни одного живого человека рядом. Степа сидит, прислонясь к стене, осоловело клюет головой, но говорит, говорит, как заведенный.

— Степа, ты что?

Враз останавливается, встряхивает головой и сонно оглядев душную камеру, встает тяжело и молча уходит к себе. Говорят «пиздобол», я понял, что это такое, когда послушал Степу. Так его все и звали. Он не обижался.

Юра Столбиков, или Столбик — в ином роде. Всегда исключительно серьезен. Молча просиживал среди нас, задавал иногда глубокомысленные вопросы, из которых невозможно было понять, о чем он и чего хочет. Не умея толком объяснить, он вспыхивая на нашу непонятливость либо уходил, либо с оскорбленным видом отшатывался в тень. Чаще его звали Окунь. Было в его остром лице, круглых немигающих глазах что-то рыбье. Как-то я тоже назвал Окунем — он обиделся. Очень

серьезно попросил больше его так не называть.

— Но разве это не твоя кликуха?

— Нет, это вон тот болтун так назвал, — зло метнул взгляд на Вадика, — а другие дураки подхватили. У меня есть своя кликуха с воли.

— Какая?

Юра оглянулся на Гришу, на Вадика: — При них не скажу, им бы позубоскалить. Я тебе потом, один на один скажу. Зови меня лучше Юрка или Столбик, а Окунем меня только дураки зовут.

Между тем к окуню, во всяком случае морскому, Юра имел прямое отношение. Несколько лет плавал матросом на рыболовных судах Дальневосточного пароходства. Охотно говорил о Сингапуре, Гонконге, Фиджи, где бывал. Из его междометий трудно было что-то понять, ничего интересного он не увидел или не умел рассказать. По телевизору я знал больше, чем от него. В международных портах в город только группой и под присмотром офицера. Ни шагу без спроса, туда нельзя, сюда нельзя. Но ведь и офицер иной раз живой человек. Удавалось посетить и кабачок, и кинотеатрик с фривольным фильмом, напивались и под присмотром до бесчувствия. Вот и весь Сингапур.

Чем-то не угодил начальству — тормознули загранвизу на год. Приехал домой на побывку, привез деньжат матери, — да так и остался дома, в Белом Городке — часа четыре от Москвы с Савеловского вокзала. «Ты с Белого Городка?» — там рядом, в деревне дача у моих знакомых, это художники-керамисты, поэты, Саша, Тамила и две ее дочери. У них гостили с Наташей последние выходные перед обыском. Рассказал Юрке о проделках местной шпаны. Незадолго до нашего приезда Саша пошел в Белый Городок за продуктами. Выходит из магазина, и его среди бела дня окружают несколько сопляков. Поигрывая ножами, уводят за угол и требует снять рюкзак. Садятся, достают из рюкзака водку, консервы, пьют, едят, наливают ему: «Выпей за наше здоровье». Саша отказывается. Побалагурили. Потом забрали вторую бутылку, деньги и покуражившись над нам досыта, отпустили. Он не помнил, как вернулся домой. «Теперь не хожу туда, — говорил Саша — Увижу — убью». «Меня там не было, — колышет мощной грудью Тамила, — я бы надавала по мордам». И с самой дачей — беда. В отсутствие хозяев разоряют. Взламывают замки, грабят дом. И так каждый год. Надо продавать дом, надоело.

— Зачем людей обижаете? — спрашиваю Юрку. Юрка божится, что ничего об этом не знает и уговаривает передать моим знакомым, чтобы они не продавали дом, больше их никто

не тронет.

— Если что, пусть спросят Юрку Столбика, или по кликухе — меня там все знают.

— Какая же твоя кликуха?

Юрка озирается: Потом скажу.

Однажды ночью, когда все спали, Юрка будит меня: «Знаешь, какая у меня кликуха?»

— ?

— Мишка! — выдохнул свистящим шепотом. Я едва сдержался от смеха, и слава богу, иначе оскорбил бы человека до глубина души. Выходило, что он мне одному доверил большую тайну и к этому следовало относиться со всей серьезностью. Но — «Мишка»? Я ожидал что-нибудь посолидней. И странно, почему из кликухи делается большой секрет, когда тут все называют друг друга по кличке? Не водится ли за «Мишкой» чего-то такого, чего он не хочет связывать со своим настоящим именем? Сидел он за мелкий грабеж, примерно за то, что его земляки сделали с Сашей Захаровым. Ну, а какие дела за «Мишкой» — Юра Столбиков явно не хотел говорить.

Как-то он попросил у меня тетрадь и кусок кожи.

— Зачем?

— Я тебе записную книжку сделаю.

Тетрадь была, а кожи не оказалось. Юрка разрезал тетрадь, сшил листы, долго ходил озабоченный в поисках материала для переплета. Так и не нашлось, но разве не трогательна сама готовность человека, осужденного за грабеж, сделать кому-то доброе дело?

Кстати, в камерах многие мастерят. Особенный спрос на белые носовые платки, из них делают «марки». Цветными стержнями наносят рисунок, замачивают платок в соленой воде, сушат и получают несмываемый рисунок на ткани — «марочка» на долгую память. Обычные темы рисунков: решетка и розы, решетка и женщина, решетка и птица. Иные творения весьма впечатляют. Собирать бы «марки», была бы очень интересная коллекция. Везде почти делают симпатичные ручки для шарикового стержня. Скручивают газету или бумагу, проклеивают хлебным клеем, затем переплетают разноцветными нитками, набранными из одеял, одежды, тряпья. Плетенье довольно искусное: монограммы, цветные узоры, шелковая кисточка. Вдоль ручки можно прочитать сплетенное имя владельца или год изготовления. Встречалось весьма виртуозное рукоделие. Подлинные художники. Я даже не пытался овладеть этим мастерством, настолько оно казалось мне хитроумным.

# Прощание с городом

В двадцатых числах мая дали свидание с Наташей. То самое, которое я ошибочно описал по Матросске, но как выяснилось, это свидание было на Пресне, после кассационного суда и приведения приговора в законную силу. Кассация состоялась 19 мая в Верховном Суде РСФСР. Присутствовали Наташа и Швейский. Никто там и не собирался ничего рассматривать. Грубая ругань прокурора, он был куда примитивнее Сербиной, зачитали кассационную жалобу адвоката, мою не зачитывали, будто ее и не было, и, разумеется, оставили приговор в силе. Сначала вынесли определение Осиповой Татьяне, потом мне — на обоих не больше 40 минут. Вот и весь суд — правый, кассационный, «объективный и всесторонний». Был там муж Татьяны — Ваня Ковалев. Наташа говорит, выглядел он неважно: измучен, маленький, исхудавший, «жалко его». Через два года, как известно, добрались и до Вани. Муж и жена по разным лагерям и ссылкам на долгие годы — такова участь молодых правозащитников в самой «конституционной стране». Много лет сидит отец Вани, Сергей Ковалев, осужденный на 12 лет. Вдребезги разбивают семьи. Рвут с корнем.

В тех же числах был у меня Швейский. Заглянул, чтоб сообщить о кассационном суде: «Не расстраивайтесь, я ведь предупреждал, что благоприятного исхода трудно было ожидать». Я не расстраивался, ибо давно уже не строил иллюзий. Когда отправят на зону? Он сказал, что в соответствии с ПК — не позднее десяти дней с момента приведения приговора в законную силу, т. е. после кассации — не позднее 29 мая. Советует покориться судьбе, соблюдать режим: «Три года — небольшой срок, осталось чуть больше двух, не давайте повода для нового дела, чтоб не добавили». Легко сказать «небольшой срок»! Еще два с лишним года отсчитывать минуты, часы, дни — волосы дыбом, честно говоря, мне бы вполне хватило того, что уже отсидел. Но Швейский прав: три года — не десять, все-таки меньше. Запомнились электронные часы с модным браслетом на тяжелой руке. Светящиеся цифирки в полоске синего циферблата. Грустная, прощальная улыбка на утомленном лице:

— Вы знаете, мои возможности ограничены, — я сделал все, что мог.

— Спасибо! Надеюсь встретиться с вами по возвращении.

— Буду ждать.

— Жаль, что пока не могу отблагодарить вас, как хотелось бы.

— Не беспокойтесь, ваша жена перечислила деньги по кассе. Больше от вас мне не нужно.

— За мной коньяк. Надеюсь застать вас в добром здравии.

Швейский улыбается:

— Буду рад видеть вас на свободе.

Это была наша последняя встреча. В декабре 1982 года Швейский внезапно умер. Знакомые адвокаты чтут его в десятке, а то и в пятерке лучших адвокатов страны. Конечно, имеется в виду опыт ведения уголовных дел. Но за пределами адвокатуры Шведский приобрел известность прежде всего участием в политических процессах. Как бы там ни было, какие бы реверансы суду он ни делал, в злобной атмосфере неправого судилища его «не виновен!» звучало протестом государственному произволу. Его защита не влияла на заранее предрешенный приговор и все же была огромной моральной поддержкой для подзащитного. Он был одним из немногих адвокатов, кто осмеливается поднимать свой голос в защиту закона и свободомыслия, для этого необходимы высокий профессиональный авторитет и большое личное мужество. Швейский обладал этими достоинствами. Когда видишь такого адвоката на политическом процессе, кажется, что не все потеряно. Если госаппарат вынужден допускать пусть одинокий, робкий, но все же квалифицированный публичный голос протеста против натиска карательной машины, если абсурдному обвинению противопоставляется аргументированная защита, значит, есть еще зерно жизни в этом государстве, есть надежда на восстановление законности и правосудия и есть возможность за это бороться. Вот только куда делись обвинительное заключение, мои тетради, которые Швейский взял на хранение? Его жена, тоже адвокат, обещала поискать. Несколько раз я звонил ей, — не нашла. По-моему, она искренне хотела вернуть бумаги, не скрыла того, что знает, где их искать, — куда же они могли запропаститься? На последний звонок она сказала, что осмотрела весь архив, перерыла антресоли и неуверенно предложила как-нибудь еще позвонить — может, попадут на глаза. Смысл сказанного сводился к тому, что бумаги должны быть дома и их нет. Где же они? Я консультировался с доверенным адвокатом, хорошо знавшим Швейского:

— Может, передал моим друзьям?

— Если брал на хранение, то вряд ли.

— Но кому же еще нужны материалы по моему делу? КГБ? Мог ли Швейский выдать их КГБ?

— Это не исключено.

В адвокатской среде существует сильное подозрение, почти

уверенность, что адвокаты, которых допускают для ведения политических дел, так или иначе связаны или даже зависят от КГБ. Может, это частное мнение, я не имею возможности опросить всех адвокатов. Может, к Швейскому это не относится. Хотя бумаги не найдены, я не хотел бы оскорбить памяти Швейского. Для меня он был и останется единственным моим официальным защитником, человеком, в лице которого советская юстиция и компартия нашли аргументы в мое оправдание. По советским законам свобода мнения, убеждения не может считаться клеветой, не является преступлением. Швейский твердо заявил это на процессе. Тем самым он дал понять, что закон преступает не тот, кто за свои убеждения оказался на скамье подсудимых, а тот, кто сажает за это. Судей это не останавливает, но пусть знают, что противоправное обвинение на их совести, это не мое, а их преступление, за которое рано или поздно они сами должны ответить. Швейский проиграл все свои политические процессы, но только потому, что эти процессы не имеют ничего общего с правосудием. Каждый такой процесс с участием Швейского изобличал не подсудимого, а самих судей и прокуроров, противозаконность судилища. Конечно, Швейский это не говорил, может быть, и подумать не смел, но объективно он расшатывал деспотическую самоуверенность произвола уже тем, что защищал закон и свободу. За это ему вечная память.

Итак, в день кассационного суда, 19 мая, приговор вошел в законную силу. Май на исходе. Со дня на день я ждал «законки» — уведомление о приведении приговора в законную силу и этапа на зону. Десять дней, предусмотренные законом, прошли, но ничего не было. Наконец, 1 июня вручают пару листков папиросной бумаги — определение кассационного суда. Судебная Коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР в составе председательствующего Гаврилина К. Е., членов суда — Осипенко И. Ф. и Палегайко М. И. рассмотрела в судебном заседании дело по кассационным жалобам осужденного и адвоката Швейского на приговор Мосгорсуда. Моя жалоба не зачитывалась и не рассматривалась. Тем не менее, пишут «Анализ материалов предварительного следствия, судебного разбирательства в сопоставление их с доводами кассационных жалоб показывает, что суд *всесторонне, полно, объективно* (курсив мой — А. М.) исследовав обстоятельства, проверив доказательства и правильно их оценив, обоснованно пришел к выводу о виновности Мясникова в преступлениях, установленных приговором суда». Далее кассационный суд «всесторонне, полно и объективно» утверждает, что я «неоднократно подтверждал, что изготовленная статья содержит клевету на советский государственный и

общественный строй». И это при том, что с самого начала и до конца я отрицал это обвинение. Повторяется бессмыслица продажной экспертизы об изготовлении текста не менее пяти экземпляров. А порнографический характер рассказа «Встречи» оказывается подтвержден «показаниями осужденного». Кассационный суд не смутило намеренное отсутствие на суде главного свидетеля обвинения Гуревича, то, что остальные названные свидетели, не говоря уж обо мне, ни единым словом не обмолвились о порнографии. Перов, например, и на следствии, и на суде прямо заявлял, что не считает рассказ порнографическим. На суде я спрашивал своих судей: возбуждает ли в них рассказ эротическое желание? Если нет, какая же это порнография? Они отмолчалась, а в приговоре воспользовалась, как шпаргалкой: «Это сочинение имеет своей целью нездоровое возбуждение полового чувства». Судебная Коллегия Верховного суда считает этот вывод обоснованным. В кассационной жалобе я написал о том, что с момента написания рассказа прошло восемь лет, поэтому его «изготовление» нельзя вменять уже по той причине, что истек пятилетний срок давности. Определение отвечает на это лукаво: «Преступления, за которые осужден Мясников, были совершены им в 1977–1979 годах». При чем тут рассказ, «изготовленный» в 1972 году? Самое интересное тут то, что хотя моя жалоба на заседании кассационного суда не рассматривалась, в определении создается видимость рассмотрения. «С учетом вышеизложенного судебная коллегия считает, что для отмены приговора и прекращении производства по делу или направления дела на новое судебное рассмотрение, как об этом просят осужденный и адвокат, оснований не имеется». Я не просил «направлять дело на новое судебное рассмотрение». Швейский нарочно предупредил меня не поднимать об этом вопроса во избежание нового суда, который, по его мнению, мог бы закончиться дополнительным сроком. Шаблонное заключение: «Приговор оставить без изменения, а жалобу — без удовлетворения». Ни слова о том, что я просил в кассации: возвратить мои рукописи, дневники, конспекты, не имеющие отношения к делу, но изъятые под видом вещественных доказательств. В кассационном обвинении лишь повторяются сфабрикованные обвинения суда первой инстанции, да добавляются злопыхательства. Гуще ложь, подтасовка, извращение жалоб. Это они, действительно, делают «всесторонне, полно и объективно».

Лучше б никакого ответа, чем такое определение. Отшибает всякую надежду и охоту писать еще куда-то. Но надо. Надо пройти до самых верхов, обращаться куда только можно, чтоб

исключить случайность, чтоб понять, до какой степени, какой границы, какого верха идет произвол, и засвидетельствовать это документально. На уровне республиканского суда — все ясно, вот его кассационное определение. По закону надзорную жалобу теперь надо писать в следующую инстанцию — Президиум Верховного суда РСФСР, но так нескоро доберешься до союзных органов. Пока дождешься ответ да и получишь ли? Снова надо писать. Время уйдет. Лучше сразу в союзный или Генеральному прокурору. Но не отсюда. Не сегодня — завтра этап. Надзорную пошлю с зоны, с новым, постоянным уже обратным адресом.

Прошел день, другой, две недели уже с момента приведения приговора в законную силу, а меня не вызывали. В камере мы изнывали от жары и духоты. Май-июнь выдались жаркие. Зной пробивался сквозь намордники и двойные решетки, кафель пола парил от нашего пота и мокрого дыхания. Мы валялись на нарах голые, взопревшие, пот заливал глаза, от удушливой влажности полотенца не сохли. Обтирались рубашками, чем придется, не найти сухого лоскута. Майор Назаренко, замполит, продолжал ежедневные воспитательные радиобеседы: «Кто меня слушает, тот слышит, а кто не слышал, тому передадут те, кто слышал…» Но не было сил не то чтобы передать, но даже слушать любимую передачу, двое-трое стояли посреди камеры и крутили полотенцами. Искусственный ветерок «вентилятора» и можно было дышать. Но сколько можно крутить? Руки уставали и снова обдавало жаром парилки, из которой не было выхода. Жили от прогулки к прогулке. 30–40 минут ясного синего неба, свежего воздуха. Но не успеешь очухаться, снова как в топку, за железную дверь. Ад кромешный! К черту на рога, но скорей, скорей отсюда!

Люди рвались на этап, на зону. Кого-то вызывали, счастливчикам пинали набитую матрасовку, и они навсегда исчезали за дверью. Но из следственных тюрем приходили новые люди, камера постоянно была переполнена. Ждали большого этапа. Ходили слухи. Наутро раскачиваешься от тяжелого сна с надеждой: сегодня? Но угорал еще день и спасаешься искрой в очумелых мозгах: может быть завтра? Отправку задерживали почти всем. В тюрьмах продохнуть негде, но что-то мешает администрации разгрузить пересылку. Не позднее десяти дней после приведения приговора в законную силу администрация обязана отправить человека на зону, она бы и рада избавиться, он тюрьме не нужен, но это требование закона совершенно не соблюдается. Я получил кассационное определение, являющееся одновременно уведомлением о приведении приговора в законную силу, лишь на 13 день после кассационного суда и еще неизвестно, сколько дожидаться этапа.

Нередко «законку» ждут месяцами. Крайнев Виктор приговорен по ст. 122 — алименты — 20 марта, приговор приведен в законную силу 28 марте (он не писал кассатки), а уведомление пришло лишь 25 мая, почти через два месяца. Ему сидеть год, надо платить алименты, ведь за неуплату его осудили, значит, суд должен был требовать немедленной отправки на зону, где ему предоставят работу. Между тем, полгода, половину срока, его держат в следственной и пересыльной тюрьме. Как до суда, так и после, ребенок не получает содержания, но теперь уже не по вине Крайнева, а по вине суда. Получается, что наказан не столько Крайнев, сколько ребенок, в защиту которого, по идее, вершится приговор. Наказано государство, налогоплательщики, на средства которых содержится Крайнев вынужденным иждивенцем. Да и самому Крайневу осточертела камерная благодать, безделье, растет задолженность по алиментам. Всем плохо, всем в ущерб, никому не нужна эта задержка из-за халатности какого-то судебного крючкотворца. Вот из его бы зарплаты и вычесть сумму задолженности в пользу ребенка. Куда смотрят прокурор по надзору, тюремная администрация, контролирующие органы? У меня сохранилась запись, сделанная в начале июня: Столбиков Ю. Н. — в законную силу 22 апреля, а расписался за «законку» 25 мая и еще не ушел на зону; два месяца ждал уведомления о «законке» Хаталибек (Баширов?) из Андижана. Девять дней или два месяца — есть разница? И никто за это — за общий вред, за лишние мучения осужденных, за нарушение закона — не несет ответственности.

Можно считать, мне повезло: я ждал этапа «всего» двадцать дней. Через неделю после того, как я получил кассационное определение, 6 июня, под вечер, вызывают с вещами сразу почти половину камеры. Из старого состава месячной давности, когда я пришел в камеру, остались, пожалуй, лишь Гриша Торчинский, Степа, Юрка Столбиков — он же Столбик, Окунь — «Мишка». Они помогли мне собраться. Проводили до порога распахнутой двери. Похлопали по горбу упакованной матрасовки. Матрасовка через плечо, в другой руке — неизменный мой спутник по тюрьмам и камерам, лефортовский холщовый, белый когда-то мешок, — и вперед, в толпу в коридоре. Камера заметно опустела. Обнажились ребра нар. Раздетые по пояс, до трусов, голые, мокрые от льющего пота, жалкие, истомленные фигуры оставшихся. У Гриши на голове полотенце чалмой. Хоть духоты поубавится, меньше народу — больше кислороду. «Счастливо, ребята!» — чуть было не сказал по привычке. Да спохватился: какое тут счастье? Быть бы живу. Поднял кулак: «Держитесь!» И

двери захлопнули.

Кочевали на голых нарах, на сборке. Гадали — куда? Кто-то раздобыл расписание. Под большим секретом, чтоб не разнюхали менты и не теребили «откуда?», шушукались над клочком бумажки, где было что-то вроде: понедельник — Вологда; вторник утром — Пермь, вечер — Архангельск, Коми; среда — Саранск; четверг утро — Ульяновск и т. д. Нам на 7 июня по этому расписанию выпадала, кажется, Вологда. Хочешь верь, хочешь не верь. Толком никто ничего не знал. Но больше говорили о Вологде, о злой охране на тамошних зонах — солдаты, говорили, из местных, их не хвалили, зоны голодные — в общем, ничего хорошего. Одно утешало: не так далеко. Настраивались на Вологду.

Ночью потянулись из разных сторон длинной очередью по коридору. Передние встали у закрытых дверей. Открыли, дальше пошли — вниз, на первый этаж, к выходу. Столпились опять у дверей. Снуют сердитые контролеры, прижимают к стенам: «Тише, такую-то мать!» Резвый прыщавый парнишка в распахнутом пальто ерзает нетерпеливо, толкается узелком: «Чего встал? Зоны боишься?» Даю дорогу, он ткнулся в спины, видит, у закрытых дверей стоим, остановился рядом. «Не знаешь, куда этап?» — уже по-дружески. Я не знал.

— На Пермь пойдем, — заговорил нервно и беспокойно. — Дальняя командировка, а мне никак нельзя от Москвы отрываться. — Шепчет мне на ухо: — Рыжье на даче осталось. Кровь из носу — до Нового года надо забрать, а то пропадет, понимаешь?

Что мне до его «рыжья», т. е. золота по жаргону? Странный пацан, какой-то психованный. Отвернулся от него, ноль внимания.

— Как зовут? — спрашивает. — Тезка! И меня Алексей — Лешка Котов.

— С такой фамилией лучше на Пресне остаться, — имею в виду начальника Пресненской тюрьмы майора Котова. Вспыхнул парень, чертыхнулся насчет такого однофамильца. Все-то в нем: и слова, и жесты, — деланное, будто подбирает ключ и не может подобрать: то скорчит блатного, то нормального, то стушуется, как двоечник. Ищет себя. Впоследствии вместе попали в транзитную пересылку, на одну зону, потом слышал о нем. Не раз он меня озадачивал, да так, что я начал его избегать. На знаю, нашел ли он себя или все еще ищет, но его точно нашли — сексот. У меня возникло подозрение, потом появились свидетельства, которые не оставляли сомнений.

…Впереди пошли группами на обыск. Мешок на стол.

Вытряхивают и проверяют солдаты. Бумаги мои, ручки — вразлет. Обычные насмешки: «Писатель». Крутят книгу «Биология человека»: положено или не положено? Тем временем раздеваешься у перегородки, когда до трусов, когда донага — столько за три года шмонов, не помню точно когда как — прапора лезут в карманы, гнут швы. За перегородкой торопят: «Быстрей!» А надо одеться да успеть бумаги собрать. Запаздываю, народ напирает, прапора орут и всегда что-нибудь пропадает: то ручка, то сигареты. С горем пополам укладываюсь и в смежную комнату: там паек на столах — две буханки черного хлеба, столовая ложка сахара в бумажном кулечке, пара селедок в промасленной бумаге. Оттуда в камеру. Народу — тьма. А с обыска идут и идут. В углу кружку запаливают — чифир. Бумаги нет, жгут полотенце, обмахивают едкий дым, но духота и сумрак такие, что гуще всякого дыма. Удивительно: как чай пронесли? Обыск догола, все швы прощупали, сидора вверх дном, но не успели одеться, как уже на сборке «хапают»: пьют чифир.

Открывается коридорная дверь — вызывают по фамилиям. Большой группой, человек двадцать, выходим в тюремный двор. Ночь. Прохлада. Воронки урчат. Поехали. Куда — никто не знает. Есть примета: две буханки — два дня пути, значит, этап неблизкий. Но куда? На какой вокзал? В воронке — два солдата с собакой. От них ничего не добьешься, решетку на запор и молчок.

Выгружаемся на дальнем перроне одного из вокзалов. По ночным силуэтам и огням видно, что вблизи Комсомольской площади: то ли Казанский, то ли Ярославский, но толком оглядеться не дают. Солдаты, собаки. С воронка нас на корточки, по пять в ряд. Пересчитали. Подняли. Вдоль по пустынному перрону в дальний вагон. У вагона снова на корточки. Перрон не такой высокий, как пассажирская платформа, а низкий, на уровне рельсов. Слева на расстоянии вытянутой руки колесо, просвет под вагонами и воля, но между нами и вагонами солдаты, собаки, автоматы. Ничего себе зрелище со стороны. Сам к себе начинаешь серьезнее относиться. Автоматы, собачки — не для шуток. Словно ты государственный банк взял, пару раз из тюрьмы бежал — такое повышенное внимание. А меж собой, глядя на колеса, говор: кто, когда, точно в такой ситуации проскочил под вагон и деру. Неподалеку в фонарном свете одинокая фигура лицом к вагону, спиной к нам. Тоже на корточках. Чудовищно смотрится, будто обречен больше, чем мы. Даже лица не видать. Почему его отделили? Попытка к бегству? Особо опасный? Педераст?

Передние пятерки поднимают в вагон. Дошла и до нашей очередь — лезу в полутьме по железным ступеням. Вот он — «столыпин». Клетки вдоль коридора. Проходим мимо одной,

другой — там кишит битком. Прапор кричит: «Пятый!» Солдат указывает нам свободную клетку. Втискиваемся. Дверь-решетка закрывается на замок. Две полки внизу, две наверху, а нас двенадцать. Но наверху оказывается складная — разложили и получились сплошные нары с отверстием у дверей, чтобы пролезть. Восемь человек наверху, четверо внизу — по двое на каждой полке. Наверху теснотища, боком впритык, иначе не помещаемся. Лицом к окну.

Ночные огни привокзальных задворков. Дальше россыпь огней сгущается. Меж контурами ближних строений и высотных домов светящаяся полоса городского горизонта. Москва. Полжизни в этом городе, а по весу — вся жизнь. 18 лет назад, когда мне было столько же, впервые очутился в многолюдье ревущих проспектов. В троллейбусе девушка в белой вязаной кофте — краше я не видал. На остановке интеллигентный мужчина в берете, держит свернутую трубкой рукопись. «Наверное критик, — подумал я. — Или поэт». Университет. Кое-что я узнал в этом городе. Кое-что сделал. Но, наверное, больше, чем следует. Думалось ли тогда, что город, вставший из мечты моей юности, наложит запрет и границы тому, что следует знать, а что не следует? Знание, как и творчество, — бесконечно. В этом его удивительное притяжение. Я верил в это свято, и в этом городе вера моя укрепилась. И вдруг он сказал мне: «Так нельзя мыслить!»

Город меня учил, открыл двери редакций, одарил всеми радостями, доступными человеку. Это он, город, дал знание и развил мое мышление, а теперь наказывает за это, выпинывая в запертой клетке «столыпина». Выходит, я выучился здесь на зэка. Университет, исследовательские институты, редакции, тюрьмы — полный курс жизненной академии. И я за все благодарен тебе, мой город. Я не преступник — ты это знаешь не хуже меня. Я хотел познать жизнь и ты предоставил мне эту возможность. Что поделаешь, если тюрьма тоже важная часть нашей жизни и без нее курс моих наук был бы неполон? Знание, как и искусство, очевидно, требует жертв. Плачу сполна, даже ценой изгнания.

Я любил тебя, город. Все, что ты мне дал, я хотел вернуть тебе сторицей. Я желал тебе только добра, поэтому говорил то, что есть. Но ты оклеветал меня за то, что я не мог и не хотел тебе лгать. Ты кажешься себе лучше, чем ты есть. Ты обманут, город! Ты гораздо хуже того, что думаешь о себе, что внушают тебе люди, зарабатывающие на лести и лжи. Они-то и делают тебя хуже, чем ты можешь быть. Они-то и разлучают нас с тобой.

Бедный, родной, великий мой город! Когда-нибудь ты узнаешь правду. Она нужна мне, потому что нужна тебе. Ты

содрогнешься, увидя себя без прикрас, увидя, как испохабили тебя твои нынешние хозяева. Тебе не нужна показуха, не надо казаться и ты станешь лучше, чем ты есть, станешь тем, кем и должен быть: здоровым сердцем здоровой Родины. Ради этого я делал и делаю все, что в моих силах. Я не лгал тебе и впредь никогда не солгу. Все, что ты дал, что я узнал благодаря тебе, и все, что ни переживу — все это я верну тебе, мой город. Нам еще будет о чем поговорить.

Поезд стоял всю ночь. Побледнели огни, светает за решеткой окна «столыпина». Графикой строго очерченных зданий, холодным рельсовым блеском вставало черно-белое утро. Асфальтовый перрон дрогнул и медленно попятился в хвост поезда. Город поплыл перед глазами. Прощай, Москва! Спасибо за науку! За твои университеты и тюрьмы! «За все, за все тебя благодарю я!»

Набирая скорость, поезд торопился вглубь страны, навстречу восходящему солнцу. Поезд вез почту. И один вагон пассажиров, которые смотрели на утреннее солнце, на весь белый свет через решетку. Они не знают, куда их везут. Но знают зачем. Затем, чтоб решетки тюрьмы и «столыпина» сменить на колючую проволоку далекой, пока еще неведомой зоны.

# P. S

Состоялась ли книга? Не мне судить. Но я убежден в том, что подобные свидетельства, очерки, книги крайне необходимы. Хорошо, если они хорошо написаны. Однако не это главное. Ценность подобных свидетельств определяется их содержанием, самой темой, запретной в советской печати. Каждое такое свидетельство — не просто биографические заметки, это документ, без которого нельзя получить представления о характере, сущности и биографии политического режима, государственного строя в нашей стране, история — это не только то, что пишется историками и делается политиками. Историческим фактом является и то, о чем умалчивает или что извращают казенные труженики от пера и науки, то, о чем вы никогда не узнаете из лживых уст политических говорил. К таким фактам относится практически все, что касается советской карательной системы, свободомыслия и судеб политических узников в стране полного, развитого, зрелого, реального социализма.

Правда — в загоне, истина — за решеткой, кляп вбит в рот — кто скажет, как и для чего мы живем и страдаем! В каких материалах, источниках отразится действительная история наших дней? В этих условиях единственная надежда — подпольная литература, личные свидетельства, которые факт за фактом, в совокупности рисуют достоверную картину советской действительности. Вот почему я пишу, вот почему я призываю каждого политзэка писать, фиксировать факты, хранить свою память, предавать гласности опыт свой и других заключенных.

Мы не имеем права рассматривать свой лагерный и жизненный опыт как частный случай личной биографии. Выдавать за частное то, что является типичной чертой, сущностью коммунистического режима. Молчать о том, что замалчивается, перевирается, истребляется из исторической памяти летописцами партократии. Скромничать или трусить в то время, когда требуется протест во весь голос. Наша бездеятельность на руку тем, кто калечит наши судьбы, кто отравляет нашу жизнь — да только ли нашу? Когда голос правды не слышен, громче и правдоподобнее становится ложь.

Надо писать. В этом наша правда, наш долг и наша борьба. Осуждение невиновных есть вина осуждающих. Противоправное заточение разоблачает беззаконие власти. Свидетельства мнимых преступников это обвинительные акты настоящим преступникам, ответственным за положение дел в государстве. Это документы

национального позора и горя, факты, отражающие подлинную жизнь современной России.

«Московские тюрьмы» — первая книга задуманного цикла. Вторая будет о зоне. Третья — о нынешней жизни моей после срока, в опале, в изгоях, под официальным присмотром родной милиции и негласным надзором «невидимок» из КГБ. Об этой, третьей, думаю с особенным интересом: тема не очень замусоленная, но очень богатая. Таким образом, господствующий режим предстанет перед нами в трех проекциях: вид из тюрьмы, из лагеря и так называемой воли. И со всех точек зрения он видится мне одинаково противозаконным, бесчеловечным, страшным. Лютый режим. Так я и называю всю трилогию.

Сразу по окончании срока я собрал и восстановил сохранившиеся у меня документы следствия, суда и пребывания за решеткой. Составил подробную хронику трех зэковских нет. Некоторые даты и события требуют уточнения и дополнения. Сейчас нет возможности заниматься корректировкой, ибо не держу тетради при себе. Как-нибудь в другой раз, когда позволят обстоятельства. Но в целом и в основном материалы вполне достоверны. Поэтому я вижу эту тетрадь необходимым приложением к «Лютому режиму».

Как и любому автору, мне, конечно, хотелось бы видеть свой труд напечатанным. Это нужно и для пользы дела. Но я пока повременю. Не отдаю в печать, вообще, не хочу пока какой-либо огласки. В моем теперешнем положении это было бы самоубийственно. Сейчас моя задача отчитаться перед людьми и сохранить материал. Еще поработать. Хотя бы написать две остальные книги трилогии. Только после этого можно будет подумать о публикации. Тороплю время, когда это станет не только необходимо, но и возможно.

Однако уже сейчас, незамедлительно, нам надо решить, что же делать с очерками, воспоминаниями, рукописями наших политзэков? То, что можно публиковать, по-моему, надо объединить и печатать серией. Например, под рубрикой «Советские политзэки 60-х». Соответственно: 50-х, 60-х, 70-х. И так из десятилетия в десятилетие, начиная, может быть, прямо с 17–18-х годов и до текущих дней. Чтобы трезвон стахановских пятилеток не заглушал стона и ярости порабощенных десятилетий. В зэковских летописях сконцентрирована наша национальная боль и наша надежда. Пусть звучат они заупокойной мессой историческим авантюрам вроде большевистского Октября. Пусть восторжествует истина. Это нам только и нужно. Ничего так но боятся коммунистические правдолюбцы, как истины, но без ее животворного света

невозможны ни мир на планете, ни доверие, ни социальное выздоровление. Освещающий зло утверждает добро.

**1985 г.**

# Рецензия или донос?

Книга закончена в 1985 году, как раз в конце апрельского Пленума, пришествия Горбачева и перестройки. Через два года показалось, что вроде не шутят и в самом деле собираются встать с головы на ноги. Я достал спрятанные тетради, переписал на машинке и отнес в издательство «Советский писатель».

Сегодня я прочитал рецензию писателя Юрия Скопа на мою книгу. Она мне очень понравилась. Большая, на 12 страниц, написана что называется от души Я никогда не то чтобы не читал, но и не слышал большей похабщины. Впрочем, меня он обвиняет в том же. Он собрал, как выражается, эмоции в горсть и подарил мне кучу эпитетов — от предателя Родины до прихвостня сионизма, антисоветчика, подонка, развратника — «да я бы… впрочем, собака лает… сама подохнет». Очень хорошо, пишет Ю. Скоп, что я набрался наглости принести свою чудовищную рукопись в издательство — теперь меня можно брать голыми руками. Я, конечно, еще отведаю лагерей, но посадить меня мало. Ю. Скоп опасается шумихи вокруг моего ничтожного имени. Он так и не решил: сразу меня сажать или немножко погодя, или как-то иначе избавиться, но то, что я должен быть уничтожен, это Ю. Скоп доказывает весьма обстоятельно. Обвиняя меня в ненависти к коммунистической партии, к правосудию, а также в симпатиях к махровым преступникам, сам он тем не менее заканчивает рецензию по-блатному — «западло». Хорошая рецензия. Не слишком грамотная, зато с открытым забралом: сразу видно, кто есть кто, кто должен жить и кто должен подохнуть.

Ю. Скоп бьет себя в грудь: он коммунист, русский, у него есть Родина, а я предал Родину, густопсовый антисоветчик, наслушался радиоголосов, не нужен ни здесь, ни там, за рубежом, В лучшем случае он хотел бы видеть меня в западной тюрьме, где «дальше параши» меня бы не пустили. Я действительно пишу о тюрьме, где параша — точка отсчета на «чертей» и блатных, где мат-перемат, который литературно переврать я не в силах, так же как не в силах деликатничать с партократией, доведшей страну до разора и разложения. Но ведь речь-то идет о советской тюрьме, и не я ее так устроил, я лишь невольный свидетель того, что там происходит по милости таких квасных «патриотов», как Ю. Скоп. Вот их-то как раз в путевых хатах не жалуют, не знаю как на Западе, но здесь таких коммунистов точно дальше параши камера не подпускает.

Ю. Скоп должен бы знать почему. Потому, что именно в таких коммунистах люди видят главных виновников национального

горя, продолжающегося вот уже более 70 лет. И не то преступление, что мы пишем об этом, а то, что они не дают нам писать. Они гробят страну, а возразить им не смей. Довели страну до маразма — это не считается преступлением, говорить же об этом — преступление. Не случайно же в период «гласности» литературная рецензия больше похожа на обвинительное заключение партийного следователя.

Ю. Скоп грозился отнести ее в КГБ. Хотя рецензия написана в форме диалога со мной, Ю.Скоп прямо ко мне обращается, он все же потребовал от редактора, чтобы на руки его сочинение мне не давали. Явно не хочет огласки. Почему? Неужто собственного «патриотизма» стесняется? И вот я — подонок и трус, а он, значит, храбрый. Храбрость заплечных дел мастера. Не боится доносить в КГБ, а выйти один на один и публично поспорить почему-то стесняется — настоящий советский писатель. Между тем рецензия мне настолько понравилась, что я с удовольствием поместил бы ее в качестве предисловия или послесловия к своей книге.

Вот с таким «патриотизмом» мы сталкиваемся. У них своя «правда» и другой они знать не желают. К чему же все сводится? «Кто не с нами, тот против нас!» — к наказанию, к лагерям. Таковы по сей день «литературные» аргументы и выводы. Неискоренимо. Чувствуется, что это надолго. Скучно и страшно. Писатели в роли прокурора Вышинского или следователя, сочиняющего очередной «объебон». Отнесет ли сам Скоп в КГБ или сделает это сотрудник издательства — неважно. Важно другое: у органов появилось основание для обыска и ареста. Рецензия как будто специально для того и написана. Значит, книгу нельзя при себе держать, надо прятать, надо спасать — дело привычное, все, как и раньше.

А.А. Проханов, певец «ограниченного контингента» в Афганистане, рекомендовал, говорят, тому же издательству рукопись несколько иного рода: автор — агент КГБ, некогда внедренный в НТС. Его книга посвящена более актуальной теме, нежели моя: как бороться с диссидентами. Это у них не «западло», это наверняка напечатают. Отличный образец гласности в нынешней перестройке. *06.04.88 г.*